АЗБУКА ВЕРЫ

Болеслав Михайлович Маркевич

Бездна. Книга 3

Художественная литература · azbyka.ru

Бездна. Книга 3 – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/bezdna-kniga-3

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Бездна. Книга 3

Болеслав Михайлович Маркевич

Полное собрание сочинений Б. М. Маркевича. Том десятый. С.-Петербург. Типография (бывшая) А. М. Котомина, Фонтанка, д. No 93. 1885.

Бездна. Правдивая история[1]

Посвящается Елене Сергеевне Рахмановой.

Tempora quibus nec vitia nostra, nec remedia pati possumus.

Livius.

Пролог

I

Пред троном красоты телесной
Святых молитв не возжигай…

Н. Павлов.

Глухой, словно осипший от непогод и времени, колокол старинной каменной церкви села Буйносова, Юрьева-тожь, звонил ко всенощной. В воздухе начинало тянуть предвечернею свежестью на смену палившего утром жара. Высоко под лазоревым небом реяли ласточки, бежали волокнисто-белыя гряды веселых летних облачков.

Церковь со своею полуобрушенною, как и сама она, оградой и пятью, шестью кругом нея старыми березами, Бог весть каким чудом уцелевшими от безпощадного мужицкаго топора, стояла особняком у проезжей дороги, на половине разстояния между селом и усадьбой бывших его господ, принадлежавших к древнему, когда-то княжескому и боярскому роду Буйносовых-Ростовских. Когда-то верст на двадцать кругом сплошь раскидывались владения этих господ… Но времена те были уже далеки…

В минуту, когда начинается наш разсказ, у церковной ограды остановилась легонькая, на рессорах, тележка с тройкой добрых гнедых лошадок в наборной по-ямщицки сбруе. Молодой парень-кучер, стоя лицом к кореннику, озабоченно и поспешно оправлял свернувшуюся на езде несколько на бок дугу. Чей-то запыленный, легкой летней материи раглан лежал на обитом темно-зеленым трипом сидении тележки.

— Что это, Григория Павловича лошади? раздался за спиной кучера звучный гортанный голос молодой особы, медленно подходившей к церкви со стороны пространного сада, за которым скрывалась усадьба.

Тот обернулся, узнал знакомую «барышню», снял шляпу и поклонился:

— Точно так-с, ихния!

— Где же он?

— А сичас вот в церковь прошли… ко всенощной стало-быть…

Какая-то странная усмешка пробежала по ея губам.

— Откуда едете? коротко спросила она чрез миг.

— Из Всесвятского… От генерала Троекурова, добавил он как бы уже с важностью.

Она чуть-чуть усмехнулась еще раз, вытащила из кармана юпки довольно объемистый кожаный портсигар, прошла за ограду и, заметив в мураве растреснутую могильную плиту с полустертыми следами высеченной надписи, уселась на ней, дымя закуренною тут же папироской.

Парень искоса повел на нее глазом и как бы одобрительно качнул головой. «В акурате барышня!» говорило, казалось, его румяное, бойкое и самодовольное лицо.

«Барышня» была действительно очень красива в своем простеньком, но изящно скроенном платье из небеленого холста, убранном русскими кружевами с ободочками узора из красных нитов, под которым вырисовывались пышно развитыя формы высокаго девственного стана, и в соломенной шляпе à la bergère, утыканной кругом полевыми цветами, только-что нарванными ею в поле. Из-под шляпы выбивались густыя пряди темных, живописно растрепавшихся волос кругом правильнаго, строго-овальнаго и бледнаго лица. Над большими, цвета aquae marinae глазами резко выделялись от этой бледности кожи тонкия, как говорится, в ниточку, дуги почти совершенно черных бровей… «Берегись женщины бледной, черноволосой и голубоглазой», говорят в Испании…

Она курила и ждала, упершись взглядом в растворенную дверь храма, откуда доносилось до нея уныло торопливое шамканье старого дьячка.

Так прошло с четверть часа.

Но вот на проросшую травой каменную паперть вышел из церкви белокурый, статный молодой человек лет тридцати с чем-то, с пушистою светлою бородкой и миловидным выражением свежаго и нежнаго как у женщины лица. Он сразу заметил девушку и, с мгновенно засиявшим пламенем в глазах, поспешно сбежал со ступенек к ней.

— Что-жь это вы до богомольства уже дошли? с какою-то холодною едкостью насмешки спросила она его первым словом, не трогаясь с места.

Он покраснел, не находя ответа, смущенный не то вопросом, не то радостною неожиданностью встречи с нею.

— Да-с, вот проезжали, зашли, возразил за него грубоватым тоном вышедший вслед за молодым человеком толстяк средних лет, в черепаховых очках и просторном люстриновом пальто, — не мешало бы и вам, полагаю, зайти лобик перекрестить: завтра большой праздник, второй Спас…

— Ах, доктор, это вы! перебила она его с пренебрежительным движением губ, в ответ на его замечание:- Вы к нам? Сестра посылала в вам сегодня нарочно…

— Да-с; посмотрим вот да него, посмотрим… Новые симптомы какие-нибудь заметили?

— Все то же!… Возбужден очень был вчера вечером, ночью никому спать не дал…

Толстяк скорчил гримасу:

— Ну, и требовал?..

— Само собою!

— И дали?... Сколько?

— Не знаю, спросите сестру... Я в это не вмешиваюсь, — гадко! воскликнула она вдруг с отвращением, подымаясь со своей плиты и направляясь за ограду.

— А на чьей это могилке изволили вы проклажаться между прочим? спросил, оглянув покинутое ею сидение, все с тою же гримасой на толстых губах, доктор, в котором читатель, смеем надеяться, успел узнать знакомаго ему Николая Ивановича Фирсова[2].

— Не знаю, ответила она через плечо, — кого-нибудь из доблестных предков, надо полагать...

Он быстро и значительно поглядел на молодаго человека, как бы говоря: «хороша, а?» Тот подавил вырывавшийся из груди его вздох и опустил глаза.

— Прикажете, я вас довезу, Антонина Дмитриевна? спросил ее Фирсов, когда они втроем вышли на дорогу, где стоял экипаж приезжих.

— А Григорий Павлович же? В этой таратайке третьему места нет.

— А Григорий Павлович маленько подождет меня... Я к вам ведь не на долго-с. Мы вот спешим, чтобы засветло к ним в Углы поспеть: у Павла Григорьевича Юшкова опять подагра разыгралась.

Антонина Дмитриевна иронически прищурилась на него:

— А я предлагаю вам ехать одному. Это будет удобнее для вас... и для меня. А мы вас с Григорием Павловичем подождем в саду... Пойдемте, Григорий Павлович, проговорила она чуть не повелительно, двигаясь по краешку пыльной дороги.

Молодой человек послушно пошел за нею.

Доктор досадливо поглядел ему во след, но делать было нечего: он крякнул, ввалился кое-как с помощью кучера в тележку и покатил в усадьбу.

— Вам запрещено к нам ездить? не замедляя шага и не глядя на своего спутника, спросила его нежданно девушка.

Ему точно кто плеснул водой в лицо. Он вскинул на нее сверкавшие глаза, но сдержался.

— Я не мальчик на помочах, Антонина Дмитриевна, выговорил он, насколько мог спокойнее, — и ваш вопрос по меньшей мере странен...

— И чтобы вы не вздумали ослушаться, к вам даже ментор приставлен, продолжала она тем же тоном, будто и не слышала вовсе его возражения.

— Ментор? кто это?..

— А вот этот Фальстаф. который вас по заутреням возит. Скажете — нет?

И она громко разсмеялась:

— Как он это тонко придумал увезти меня, чтобы спасти своего Телемака от соблазна, и как, должно быть, бесится теперь, что это ему не удалось!.. Какой ответ в самом деле будет он теперь Троекуровым держать?..

Досадой и тоской отзывались эти шпильки в душе молодаго человека. На лице его сказывалось страдание.

— С чему говорите вы мне этот… вздор? вырвалось у него невольно.

— Не «вздор», — это вы напрасно! Кому же неизвестно, что вы состоите на положении любимчика у здешняго великаго генерала, насмешливо подчеркнула она, — и что вы им предназначаетесь в мужья его Машеньки? Он поэтому, как дальновидный господин, и счел нужным установить заранее наблюдение за вашею moralité.

— Ничего подобного нет и не бывало! горячо протестовал Юшков: — Машенька Троекурова — пятнадцатилетняя еще девочка; родителям ея вероятно и, в голову до сих пор не приходило думать о ея замужстве… И не такие они люди вообще, чтобы загадывать об этом заранее… Я эту семью глубоко уважаю и люблю, Антонина Дмитриевна, поспешил он прибавить веско, в очевидном намерении не допускать ее продолжать разговор в этом тоне,- а Борису Васильевичу лично многим обязан…

— Как же, слышала, невозмутимо объяснила она:- от жандармов спас когда-то и нигилиста обратил в верноподданного и «блюстителя основ», как говорит Щедрин.

Юшков вспыхнул до самых волос. Он разсердился не на шутку.

— Вы напрасно думаете уколоть меня вашими насмешками, проговорил он дрожащим от внутренняго возбуждения голосом, — я убеждения мои не почитаю нужным оправдывать ни пред кем.

Она обернулась к нему и широко улыбнулась:

— Я вас об этом и не прошу. Какое мне дело до ваших, да и до чьих бы ни было «убеждений»? У меня у самой их никаких нет.

Улыбка у нея была прелестна, а низкий гортанный голос, мягкий и проницающий, так и просился в душу молодаго человека. Гнев его стих мгновенно.

— Мне никто не «запрещает» и запретить не может бывать у вас, Антонина Дмитриевна, начал он чрез минуту с заметною уже робостью и прерываясь в речи, — но, признаюсь вам, я сам… удерживаюсь, и если бы не встретил вас сейчас, я… действительно… я не вошел бы к вам в дом, а дождался бы вот тут, у церкви, пока Николай Иванович не вернулся бы от вашего батюшки…

— Очень любезно! Почему же это так, можете ответить?

— Вы сами знаете…

— Что я знаю?

— То, что вам до меня никакого дела нет.

— Нет, медленно промолвила она, — я люблю таких… невинных, как вы.

Он готов был разсердиться опять…

— Это я вам не в укор говорю, успокоительно добавила она:- напротив! Сама я, может быть, чувствовала бы себя счастливее, если бы могла, вот как вы, во что-то верить, чему-то служить…

— Да разве без этого, скажите, можно жить? с оттенком чуть не отчаяния перебил он ее.

— Вот как видите, засмеялась она, выпрямляясь вся, словно для того, чтобы дать ему возможность оценить весь безукоризненный склад ея роскошного облика, — и даже железным здоровьем пользоваться при этом.

Он безсознательным движением схватился за голову.

— Зачем напускаете вы на себя такой цинизм, Антонина Дмитриевна!

Она пожала плечами:

— Кто же вам сказал, что я «напускаю на себя», во-первых; и почему правда, по-вашему, — «цинизм»?

— Да разве можно так думать в ваши годы, с вашею наружностью… при вашем уме, наконец? пылко воскликнул он:- неужели «ничего во всей природе», как сказал Пушкин, благословить вы не хотите?

— Ни кто и ни что «во всей природе» в благословении моем не нуждается, иронически возразила она на это.

— Ведь это ужасно! продолжал он горячиться. — Я первую такую, как вы, девушку — женщину вообще — встречаю в жизни. И я не хочу верить, не верю, чтоб это было искренно… Нет в мире, даже в животном мире, существа, которое могло бы обойтись без привязанности, без ласки… без любви.

— На языке науки то, что называете вы «любовью», имеет другое имя, безпощадно отрезала она в ответ:- вы напрасно о «животном мире» упомянули. Физиология не допускает произвольных фантазий вашей эстетики.

Он не отвечал: это было уже слишком резко, слишком «цинично», действительно…

Они стояли теперь пред рвом, окаймлявшим старый, пространный и запущенный сад усадьбы ея отца. Ров успело уже почти до верху завалить от времени и неприсмотра.

Люди и животныя ближайших деревень равно безпрепятственно проникали чрез него для всякой своей потребы в этот «барский» сад, — разбитый при Елисавете искусным в своем деле французом, выписанным из Версаля тогдашним владельцем Юрьева, генерал-поручиком Артемием Ларионовичем Буйносовым, сподвижником Апраксина и Ласси в Семилетней Войне,- и распоряжались в нем на полной своей волюшке: поедали и вытаптывали молодую поросль, сдирали кору с лип и берез, рубили на веники сиреневые кусты… Следы старых аллей давно исчезли; их заменили змеившияся во все стороны тропинки. проложенныя овцами и крестьянскими детьми, бегавшими сюда, в силу старой рутины, «по ягодки и орешки», давно уже повыведенные здесь в общем разоре… Угрюмо звенели посохлыя вершины, чернели пни поломанных бурей или сваленных наспех воровским топором вековых деревьев; вытравленная

скотом на луговинах трава выдавалась кое-где по низям приземистою, жидкою отавой…

Юшков вслед за Антониной Дмитриевной перепрыгнул через ров и очутился с нею в саду. Она, молча, бережно и гадливо глядя себе под ноги, повела его извилистою тропинкой по направлению к видневшейся издали каменной скамье, серевшей под низкими ветвями коряваго старого дуба.

— Знаете вы, как называлось это место в старину? спросила она вдруг, дойдя до него и оборачиваяясь к своему спутнику.

— Не знаю.

— Храм утех.

Он засмеялся.

— Сериозно! Тут стояла, говорят, статуя Венеры, и напудренныя бабушки назначали здесь по ночам своим любезным амурныя rendez-vous.

Молодаго человека снова покоробило от этих слов. Она заметила это и надменно повела губами:

— Что, не понравилось выражение? Mauvais genre находите?

— Нахожу некрасивым, да, твердо произнес он, — но меня еще более возмущает эта вечная злоба в ваших речах.

— Злоба! повторила она как бы невольно, опускаясь на скамью, глянула ему прямо в лицо и проговорила отчеканивая:

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть[3].

Жуткое чувство охватило его вдруг. Он точно в первый раз видел теперь эти глаза… В первый раз, действительно, поражало его в соединении с тем, что выговорено было ею сейчас, соответствующее выражение ея голубых, с мертвенным блеском цветного камня глаз… «Тут все порешено и похоронено, тут ни пощады, ни возврата к свету нет», пронеслось у него в мысли внезапно и скорбным откровением… По телу его пробежала нервная дрожь; он сел подле нея, провел себе рукой по лицу:

— Вы решительно желаете упорствовать в своем человеко и мироненавидении? сказал он насилованно-шутливым тоном.

— А вам бы очень хотелось помирить меня с ними?

Он быстро поднял голову:

— Да, я долго лелеял в душе эту надежду.

— А Троекуров, что же… а ваши пуритане — отец и дядюшка — что бы сказали?

Он готовился ответить… Она остановила его движением руки:

— Нет, пожалуйста, без объяснений; я знаю заранее все, что можете вы мне сказать. Это

потеря слов была бы одна…

— Позвольте однако, Антонина Дмитриевна, вскликнул он неудержимо, уносимый тем странным, мучительным обаянием, которое, не смотря ни на что, производила она на него, — я хотел только заявить, что если бы вы захотели…

— Вы бы не остановились ни перед каким препятствием, договорила она за него:- знаю наперед, я вам сказала. И я на это отвечу вам со свойственным мне «цинизмом», как вы выражаетесь. Я бы со своей стороны ни на что и ни на кого не поглядела, если бы выйти за вас замуж почитала для себя выгодным. Но я этого не нахожу.

Он переменился в лице, растерянно взглянул на нее…

Она обвела взглядом кругом:

— Вы видите это разорение, нищету, мерзость? Мне нужно по меньшей мере полтораста тысяч дохода, чтобы вознаградить себя за все то, что выносила я до сих пор среди этого.

— Я их не могу вам дать! с прорывавшимся в голосе негодованием выговорил Юшков.

— Я знаю, невозмутимо подтвердила она: — а Сусальцев повергает их к моим ногам, промолвила она с ироническим пафосом.

— Вы думаете итти за Сусальцева? чуть не криком, крикнул молодой человек.

— А что?

— Ведь это купчина, человек иного мира, иного воспитания!…

Она перебила его смехом:

— Сословные предразсудки en l'an du Christ dix huit cent septante six, как выражается мой маркиз-папаша? Вы прелестны своею наивностью, Григорий Павлович!…

— Вы правы, воскликнул он опять, вскакивая с места, — я наивен, я глуп, — я совсем глуп, чувствую! Пред вашею реальностью мне остается только смиренно преклониться, подчеркнул он с каким-то ребяческим намерением уколоть ее в свою очередь.

Она и бровью не моргнула на это.

— Как жаль, что сестра моя Настя не видит вас в этом прекрасном негодовании, медленно проронила она; — она почитает себя нигилисткой, но имеет сердце чувствительное и питает в нем тайное, но страстное обожание в вам.

— Ваш сарказм и сестру родную не щадит! возразил он досадливо, морщась и краснея невольно.

— Напротив, это я из участия к ней. А что вы не последовательны, в этом я не виновата.

— Чем «непоследователен?» недоумело спросил он.

— Вы так хлопочете о спасении, о примирении с жизнью женских душ, погибающих в «отрицании». Отчего же относитесь вы неотступно с этим ко мне,- к неисцелимой, вы знаете, — а не попробуете там, где действительно, я вам отвечаю, «елей ваших речей благоуханных»

может пойти в прок… Или в самом деле, примолвила она, зорко остановив на нем загадочный взгляд, — олицетворяющееся во мне зло имеет такую неотразимую привлекательность для добродетельных эстетиков, как вы?

Юшков растерянно взглянул на нее — и не нашел еще раз ответа…

II

Ed or, negletto e vilipeso, giace
In le sue case, pover, vecchio e ciecco…

Machiavelii.

Доктор Фирсов, между тем, въехав на красный двор усадьбы, давно поросший травой и на котором паслись теперь три стреноженныя чахлыя лошади, велел остановиться пред крыльцом длиннаго, каменного дома, с таким же над середкой его каменным мезонином, построенного в том казарменном стиле ящиком, в каком строилось все и вся в русских городах и селах в Александровскую и Николаевскую архитектурныя эпохи. Он осторожно спустил с тележки свое громоздкое туловище и, приказав кучеру отъехать ждать его на большую дорогу позади сада, прошел в открытыя настежь сени, не совсем доверчиво ступая подошвами по разсохшимся и разъехавшимся местами половицам. Сени вели в огромную, бывшую танцовальную залу с безчисленным количеством окон по длине ея и ширине, с полуобвалившеюся штукатуркой расписанного букетами плафона и с разбитыми стеклами взбухших и загнивших рам, хлопавших от сквозного ветра с треском ружейного выстрела; вместо всякой мебели стоял в этой зале объемистый, нагруженный пудовыми булыжниками, каток для белья и, от окна к окну, подвязанныя концами к задвижкам, тянулись веревки, на которых просыхали какия-то женские шемизетки. Две, следовавшие за залой, гостиныя представляли тот же вид запущенности и разорения: окна без занавесей, надтреснувший от мороза долго нетопленных зимой комнат мрамор подоконников, выцветшие и порванные обои с пробитыми в обнаженном кирпиче дырьями гвоздей из-под висевших когда-то на них ценных зеркал и картин, давно сбытых или хищнически забранных в чужия руки… Сборная, недостаточная по объему покоев мебель, увечные столы и стулья всяких эпох и видов мизерно лепились здесь вдоль панелей или кучились по углам безпорядочным и безобразным хламом, покрытым черным, сплошным слоем пыли, к которому годами не прикасалась человеческая рука… Ряд «приемных аппартаментов», в которых очевидно давно уже никто не принимался, замывала «боскетная», служившая теперь жилищем владельцу этих развалин, — бывшему советнику посольства, отставному камергеру и действительному статскому советнику, Дмитрию Сергеевичу Буйносову.

Здесь было несколько чище и удобопоместительнее. Комната оправдывала свое название «боскетной» довольно хорошо сохранившимися на стенах ея старинными, теперь уже не находимыми более нигде обоями, изображавшими древнегреческий пейзаж, во вкусе Первой Империи, с оливковыми рощами, аттическими храмами, стадами белорунных овечек, пастушками и пастушками, лежащими обнявшись на зеленых берегах голубых ручьев. Разделена она была пополам грубо крашеною под красное дерево, домодельною сосновою перегородкой, на которой навешано было в почернелых рамах несколько фамильных портретов: суровыя или улыбающияся лики пудреных кавалеров с лентами и звездами на форменных, обшитых галунами кафтанах… Такой же домодельный, длинный жесткий диван, крытый дешевым ковром, расположен был вдоль перегородки; проделанная в ней дверь вела в заднюю, темную часть комнаты, уборную хозяина. В передней, кроме дивана, стояли старинный письменный стол Jacob (красного дерева с медью), такое-же бюро со стоявшими на нем английскими часами Нортона, звонившими каждую четверть часа каким-то таинственно-

серебристым звоном, и два, три древния, глубокия кресла, обитыя порыжелым сафьяном. Темныя сторы завешивали на половину длинныя, в четыре стекла вышины, окна, выходившие в сад.

У одного из этих окон сидел теперь сам больной в новеньком, изящном, о двух больших, легких колесах, кресле-самокате, обратившем первым делом внимание входившего доктора.

— С обновкой! проговорил он веселым тоном, останавливаясь на пороге комнаты: - давно-ли обзавелись?

— А, доктор, здравствуйте! как бы несколько свысока произнес Дмитрий Сергеевич, уронил руки на колеса и двинул ими кресло свое шага на два вперед;- да, вот видите, j'ai acquis le moyen de me remuer quelque peu.

— Из Москвы выписали?

— «Выписал!» захихикал он вдруг горьким смехом:- un gueux comme moi, на какия деньги мне… «вы-пи-сы-вать?» повторил он таким же ироническим и не совсем твердым голосом:- милостивец один, un bienfaiteur, преподнес мне… в даяние…

— Это такой? допытывался любопытный как женщина провинциальный эскулап.

— Ну, этот здешний… le Rothschild de l'endroit, vous savez…

— Совсем не саве, засмеялся тот, — не знаю, про кого вы говорите.

— Ну, как же (и рука недужного неверным движением махнула по воздуху)… Je ne puis jamais me mettre dans la tête ces fichus noms-là… Суз… Сусликов enfin! вскликнул он чуть не радостно, словно поймав за хвост ускользавшее от него имя.

— Су-саль-цев, Пров Ефремович Сусальцев, протяжно отчеканивая, поправил его из-за перегородки чей-то женский голос.

— Суздальцев, c'est èa! закачал он утвердительно головой, — Пров Ефимович Суздальцев… Суздаль, une ville du gouvernement de Wladimir… Пров, qui évidemment vient du latin: probus… Bien nommé du reste, très juste, — этакая, знаете, простая, честная русская душа… Il me revient tout à fait (то-есть он мне совсем нравится) ce garèon-là! тоном покровительственного одобрения примолвил он.

— Здравствуйте Настасья Дмитриевна! крикнул доктор, не слушая его более.

— Здравствуйте, отозвалась она, выступая из двери с наволочкой в руке,- спасибо, что приехали!..

Она была ниже ростом сестры, которую напоминала, впрочем, общим характером черт, худа, или, как говорится, жидка на вид. Густая масса темных, довольно коротко остриженных волос, собранных под черную синелевую сетку, словно придавливала к низу ея тонкий и легкий облик своим безполезным для нея изобилием. Но ея большие, нисколько не похожие на глаза Антонины, коричневые в синем белке, словно из-за какой-то чуть прозрачной дымки строго и спокойно глядевшие глаза — были великолепны. На желтовато-бледном лице явственно сказывались следы забот и безсонно проводимых ночей… Одета она была в длинную, синяго цвета, похожую покроем на рясу монастырского служки, холстинковую блузу, перетянутую в талии широким кожаным кушаком на пряжке.

Фирсов, сморщив брови; повел на нее искоса участливым взглядом.

Она подошла ко креслу отца, вытащила из-за спины его подушку, быстро сменила грязную наволочку принесенною ею свежею и, не глядя ни на кого, заговорила, обращая речь к доктору:

— Я вас опять просила приехать, Николай Иваныч, потому что знаю вас за порядочного человека и что вы не откажете, хотя мы не только не в состоянии платить вам за визит, но еще…

— А вот и не приеду больше никогда, с сердцем перебил он ее, — коли станете чушь городить!

Недужный в свою очередь заметался в своем кресле.

— Quel manque de goût, quelle absence de tact! восклицал он, хватаясь за голову и принимаясь качаться со стороны на сторону:- ведь они теперь ничего этого не понимают, доктор… Дочь моя, ma fille, скорбно подчеркнул он, она не понимает, что это ложное смирение, cette fausse humilité… что это всем обидно… и вам, и мне… Ну да, я теперь нищий, un gueux… Я когда-то давал des dix pounds[4] à Londres за докторский визит… а теперь не могу… я ничего не могу… Но я — je suis un Буйносов… я не всем стану одолжаться… Я умею ценить ваши procédés… Вы порядочный человек, вы не требуете как лавочник… comme ce sacré кабатчик, mon ex-раб, который смеет… отказывать… когда я умираю с холода… Кровь моя стынет, доктор, лед, у меня лед в жилах… я согреться прошу… согреться… et ce misérable… ce misera…

Язык у него путался; он оборвал, уткнул нежданно свою всклокоченную седую голову в угол подушки и всхлипнул жалобным, ребяческим всхлипом.

Тяжелое впечатление производили эти жалкия и безполезныя как в бреду слова его и слезы… Это был человек лет шестидесяти пяти, сухо сложенный и мускулистый, с породисто-тонкими чертами гладко выбритаго лица и со сказывавшимися в каждом его движении признаками тщательнаго, по-старинному, прежде всего светского, но несомненно культурного воспитания. Красиво изогнутый нос, строго очерченныя, еще совершенно черныя брови и чрезвычайно изящная линия губ, свидетельствовавшая о сильно развитом в его природе чувстве вкуса, вызывали на первый взгляд понятие чего-то характерно-своеобразного и далеко не дюжиннаго. Но налитая кровью сеть подкожных жилок, бежавших как нити паутины по этому оголенному лицу; но отекшие, слезившиеся глаза, то тревожно бегавшие по сторонам, как бы с намерением куда-то запрятаться, то нежданно и лихорадочно вскидывавшие свои неестественно расширенные зрачки под безобразно приподнимавшияся брови; но робкий, срывавшийся звук голоса, странно противоречивший иной раз самоуверенному и властному, по старой привычке, пошибу его речи, не оставляли сомнения, что пред вами находился давно порешенный, давно отпетый человек…

— Вы слышали? мрачно улыбаясь кривившимися губами, указала на него взглядом дочь:- из-за этого вот он в прошлую ночь грозил мне, что повесится… Мочи моей с ним более нет! вырвалось у нея чрез силу.

— Не хорошо, Дмитрий Сергеич, не хорошо! произнес укорительным тоном Фирсов, грузно опускаясь в кресло подле его сидения и отыскивая у него пуль-с под рукавом его затасканнаго, из больничного верблюжьяго сукна скроеннаго, по-домашнему, длинным рединготом, халата.

Буйносов наклонился к нему и заговорил порывистым и дребезжащим шопотом.

— Вы не верьте… не верьте всему, cher docteur… Ну да, c'est vrai, j'ai été un peu excité hier soir!

Но я… мне тоже «мочи нет» — со мной здесь поступают, как… как дочери Лира avec leur pauvre père, «most savage and unnatural»…[5] Elles ont beau jeu… я без ног, без сил, без денег, un pauvre paria mis hors la loi… Moi, un Буйносов!

— Ну, конечно, словно прошипела дочь (чувствовалось, что, она была раздражена до полной невозможности сдержаться), — в день венчания на царство батюшки-осударя Алексея Михайловича «князь Юрий, княж Петров сын, Буйносов Ростовский на обеде в Грановитой палате в большой стол смотрел». Не раз слышала от вас об этом подвиге… Еще бы не гордиться после этого!…

Старик замахал руками.

— «Смотрел», потому что он старший стольник был, c'était son devoir, и в тот же день в бояре пожалован был. Я это сто раз объяснял ей, доктор, а она нарочно, elle le fait exprès…

— А есть у вас еще те капельки, которыя я ему намедни прописал? спросил Фирсов, оборачиваясь на девушку.

— Есть.

— Дайте ему!… Ему раздражаться вредно, примолвил он, заметно напирая на последния слова.

Губы и брови ея сжались. Она молча направилась за перегородку.

— Вот моя жизнь, доктор! тотчас же начал опять больной. Он приподнял голову, глаза его заискрились болезненным блеском: — «Таков-ли был я разцветая»? comme a dit Пушкин.

— Ну, что уже об этом, Дмитрий Сергеевич! Не вернешь! молвил Фирсов убаюкивающим голосом старой няни: «Ничего, мол, светик мой, зашибся, — пройдет»…

Но тот продолжал возбужденным и обрывавшимся в безсилии своем языком:

— Нет, вы не знаете, вы поймите только! J'ai reèu une éducation de prince, я говорю на пяти языках… я был самым блестящим кавалером моего времени. В двадцать лет maître de ma fortune… И какая фортуна! пять тысяч душ, не заложенных, в лучших губерниях… Il ne m'en reste plus rien que ce trou, эта Аракчеевская казарма, от одного вида которой у меня под ложечкой болит… Выстроил ее при отце моем un triple coquin d'intendant, который тут был, Фамагантов…

Он засмеялся вдруг почти весело:

— Quel nom, ah? Фа-ма-гантов… C'était si comique, что я пятнадцать лет продержал его здесь из-за этого… из-за смеха, который доставляла мне каждый раз эта подпись: «маиор Фамагантов» — под его рапортами… Он мне рапорты писал, по-военному… C'était un майор в отставке. Et voleur avec cela!… Я сюда прежде никогда не ездил: вид этого дома me soulevait le coeur. Когда мне случалось приезжать летом в Россию, я бывал в моем Тамбовском имении, Заречьи, qui me venait de ma mère, — она рожденная княжна Пужбольская была… Там дом — дворец, строенный по планам Растрелли… On me volait de tous les côtés, я знал, mais qu'y pouvais-je faire? Я служил за границей, при посольствах… le meilleur de mon existence y a passé… Я самим покойным Государем был назначен почетным кавалером, chevalier d'honneur, при коронации de la reine Victoria… Первый секретарь в Париже, потом советник в Вене aux plus beaux jours de l'aristocratie autrichienne… Des succès de femme en veuxtu — en voila, et partout… Я с именем моим и состоянием мог жениться на знатнейшей невесте в Европе et

arriver à tout…

Доктор счел нужным вздохнуть и развести руками в знав участия в этой исповеди.

— J'ai agi en gentilhomme… Я дал имя мое бедной дворянке — они мне соседи были по Заречью, — que j'avais eu la maladresse de séduire, проговорил он шопотом, — я женился на ней… On m'a toujours reproché cette bêtise… С такою женой, действительно, — elle ne savait même pas le franèais, — я не мог уже более думать о дипломатической карьере… даже в Петербурге не мог жить… Но я всегда был un honnête homme: я как совесть мне говорила, так и сделал… Et puis c'était une si excellente et douce créature, — знаете, как по-русски говорится, безответная такая, m'adorant de toute son âme…

Он тихо заплакал и стал искать кругом выпавший у него из рук платов — утереть глаза.

Фирсов поднял его с полу и подал ему. Он продолжал, всхлипывая и разводя платком по лицу дрожавшими пальцами:

— Она мне говорила, умирая: «Без меня у тебя все прахом пойдет; ты слишком барин большой, слишком доверчив и прост»… Прост, — elle me l'a dit en toutes lettres, конечно не в обиду мне, pauvre femme… И она была права: после ея смерти началась для меня la grande dégringolade… Я тогда жил в отставке, в Москве…

— А там двухаршинныя стерляди, инфернальная Английского клуба, Цыгане и прочая. усмехнулся и подмигнул отставной жуир-доктор.

— А эманципацию вы забыли? вскликнул Дмитрий Сергеецич, — l'émancipation qui m'a achevé?

— Ну да, конечно, согласился тот;- так ведь с этим ничего не поделаешь, ваше превосходительство, помириться: надо… И слабость осилить постараться, добавил он впоилголоса.

Старик заметался опять в своем кресле, отворачиваясь от него:

— Oh, mon Dieu Seigneur, оне здесь pour un petit verre de plus готовы съесть меня!

— Вы вот из-за этих птивер без ног сидите, а будете продолжать — и того хуже будет, предваряю вас серьезно.

Глаза сверкнули и туловище недужного быстро перевалило в сторону говорившего:

— Что хуже, что еще может быть хуже? залепетал он трепетным шопотом:- la mort?.. Я зову ее, как избавительницу. Я сам… я сам… (Он оборвал на полуфразе, испуганно оглядываясь кругом)… Чем скорее, тем лучше!.. Все прошлое, все мое сокрушено и попрано… Я родился барином, таким и умру dans ma misère, — а они, ma descendance, вы слышали, они плюют… ils crachent avec délice на все, что было свято для меня и для отцов моих… Сын был — и нет его… Он ушел «народу служить»… учить мужиков господам горло резать… Это мой сын… первенец мой, comme on dit!.. На что же жить еще, для кого? Нищ, стар, безсилен, un fardeau et une honte pour tout ce qui m'entoure…

Он засмеялся нежданно опять, как бы про себя, едким? надрывающим смехом:

— Avoir passé la moitié de sa vie à danser des cotillons avec des princesses du sang — и дойти до того, что какой-нибудь кабатчик…

— Да какой кабатчик? что это он вам дался, Дмитрий Сергеевич! перебил его Фирсов с изумлением.

— Я вам это скажу, ответила вместо него дочь, выходя из-за перегородки и протягивая доктору пузырек с лекарственными каплями:- он (она кивнула на отца,) вчера, не довольствуясь тою порцией (она как бы не решалась прибавить, чего,), которую вы дозволили ему давать, стал требовать от меня еще. У меня оставалось в бутылке на небольшую рюмку. Я налила ему. Ему показалось мало. Начались крики, слезы, отчаяние… Я ему говорю: «вам это вредно; запрещено, да и нет больше, все: в целом доме ни капли более не найдешь». Он и слушать не хочет: «посылай на село, к Макару»!.. А с чем послать? Мы забрали у Макара на двадцать рублей слишком в долг, и он, отпуская последний штоф, объявил решительно Мавре, что не станет больше в кредит давать… А у меня ни гроша не было, — я так и говорю ему, но он…

— Epargnez nous ces ignobles détails!

И Дмитрий Сергеевич замахал руками… Но голос его звучал гораздо более принижением, чем повелительностью:- доктору это нисколько не может быть интересно…

— Я и не для «интереса», не для забавы его начала об этом, возразила девушка (она говорила теперь с полным самообладанием, медленно и отчетливо): — я передаю ему факты, я не имею права скрывать их от него… Вы сравниваете себя с королем Лиром, жертвой безчеловечных дочерей. Пусть доктор, специалист, скажет, насколько вы правы, а я виновата, стараясь удержать вас от того, что вам вредно… Что он дозволил, я вам даю, — вы и сегодня утром и пред обедом получили вашу порцию. Макар не давал больше в кредит, — у меня кольцо с изумрудом оставалось от покойной матери: я сегодня отправила его в кабак в обезпечение долга, и вы свое получили… Что же еще делать, чтобы вы не почитали вашу «descendance» вашими злодеями?…

Старик внезапно схватил себя за голову и залился истерическим плачем, встряхивавшим все его тело как в жестокой лихорадке:

— Кольцо, l'anneau de sa mère… в кабак… она его в кабак отдала… для… для меня!.. Я… je suis un monstre, docteur!.. Я довел детей моих… до нищеты… до такого унижения… Настя, ma fille, прости… отца, несчастного твоего отца!.. Я… я обезумел от старости и страданий, ma pauvre tête s'en va… Я оклеветал ее, обидел, а она… C'est mon Antigone, docteur, она тут, всегда, при мне, день и ночь, ходит за мною, старается развлечь… Она мне книги читает… Elle m'a relu mon vieux Corneille, Shakespeare… и недавно, вот, комедию одну Островского… C'est horriblement vulgaire… Но у нея талант… не будь она Буйносова, из нея выйти бы могла une grande artiste… Elle a des inflexions de voix si touchantes, что я плачу… как ребенок… Как вот теперь… когда она… когда она отдала… а ее misérable Макар l'anneau de son infortunée mère.

— Ну успокойтесь, ну успокойтесь, ваше превосходительство! заговорил Фирсов, наклоняясь опять к нему и вглядываясь ему в лицо. — Накапайте-ка ему капелек двадцать пять, обернулся он к девушке.

Она подошла к отцу с рюмкой, приставляя ее к его губам. Он послушно выпил до дна, откидываясь назад, с пригвожденным к ней взглядом, и, оторвавшись от стекла, прильнул к ея руке с тихим всхлипыванием:

— Mon Antigone! прошептал он чуть слышно.

Все лицо ея дрогнуло; она отвернулась, отводя руку из-под его губ.

— Что, спит как — плохо? поспешил спросить доктор, морщась, чтобы не выдать защемившего у него на сердце чуветва безконечной жалости к обоим им…

— Всю ночь на пролет не спал сегодня, сказала Настасья Дмитриевна.

— Аппетит есть?

— Никакого.

— Мне холодно, проговорил старик плачущим голосом, глядя искательным взглядом на Фирсова.

— Ну, ну, не замерзнете! усмехнулся тот:- это вам от безсонницы кажет…

Он поднялся с места и, обращаясь опять к девушке:

— Чрез полчаса дайте ему ложку хлорала и затем каждые полчаса по ложке, пока уснет. Сон абсолютно необходим вам, Дмитрий Сергеевич: вы и согреетесь от него, и успокоитесь… Ну-с, а теперь прощайте! На возвратном пути из Углов, денька через два, заеду в вам опять.

— А вы в Углы… Зачем? быстро спросила Настасья Дмитриевна.

— У Павла Григорьевича подагра разгулялась опять… Не молод человек, увечен, серьезное может разыграться. Приехал за мною Григорий Павлович, мы вот с ним и отправились.

— Григорий Павлович с вами? Где же он?

— А мы тут у церкви встретились с вашею сестрой, отвечал Фирсов, хмурясь:- сидит с ней у вас в саду, меня дожидаючись.

Словно искра блеснула и тут же померкла в коричневых глазах девушки. Она быстро отвела их.

— Ну-с, сказал доктор, — прощайте!.. А вы, ваше превосходительство, надеюсь, будете умницей: ни себя волновать понапрасну, ни дочь огорчать не станете… Надо вам и ее пожалеть, добавил он ему на ухо, протягивая руку на прощанье.

Старик ухватился за нее обеими своими:

— Я знаю, доктор, знаю, зашептал он, весь дрожа и ежась, — я ее измучил бедную, я… Mais soyez tranquille, я ничего не буду просить больше у нея, я послушен буду… Только теперь позвольте… мне холодно… un petit verre, un tout petit verre… согреться… réchauffer mes veines glacées…

Фирсов пожал плечом:

— Птивер… опять! Не можете до ужина дождаться! Ведь этак мы никогда сна не добьемся. Извольте-ка хлоралу принять, а там получите положенное в свое время, промолвил он строгим тоном.

Дмитрий Сергеевич испуганно заморгал слезывшимися глазками и словно ушел весь в глубину своего сидения.

— Мавра, посиди с отцом! приказала между тем Настасья Дмитриевна вошедшей в комнату приземистой и колодообразной бабе, повязанной платком и с передником под мышками:- я

доктора провожу…

И она вышла с ним из комнаты.

III

Из ближайшей гостиной выходила дверь на балкон с лестницей в сад.

— Держитесь ближе к стене, молвила девушка Фирсову, спускаясь по ней:- доски посередке все прогнили, того гляди провалятся.

Толстяк испуганно прижался к сторонке, медленно переступая ногами по краю ступенек.

— А вы бы поправить велели, пробормотал он, — не Бог знает, чего стоит.

Она уже сбежала вниз и глядела на него оттуда невеселым взглядом.

— «Не Бог знает чего», повторила она, — а откуда его взять? Живем-то все мы, знаете, на какой доход? Чудом каким-то мельница осталась у него одна, свободная от долгов. Четыреста рублей платит. Все остальное заложено в банке и по второй закладной у Сусальцева. Землю обрабатывают крестьяне изполу, и дохода от хлеба и других статей едва хватает на уплату процентов… Я зарабатываю переводами в журнале Прогресс рублей тридцать в месяц. Ну и считайте, сколько-то всего выйдет. А ведь всех накормить, напоить и одеть надо, и на лекарство ему что идет… да что на одне тряпки свои сестрица моя, Антонина Дмитриевна, из общаго дохода издержит, добавила она со внезапным раздражением в голосе.

— Мое дело сторона, барышня, молвил на это доктор, успевший тем временем благополучно спуститься бочком с ненадежной лестницы, — а только мне известно, что еще в прошлом году Борис Васильевич Троекуров предлагал вашему батюшке…

Глаза у Настасьи Дмитриевны так и запылали; она перебила его.

— Ах, пожалуйста, не говорите об этом!.. Милостыни мы от вашего большаго барина принимать не намерены… Он, действительно, присылал сюда прошлою зимой Григория Павлыча со всякими великодушными предложениями: уплатить Сусальцеву и перевести закладную на себя, причем хотел Юрьево взять в аренду, из доходов его уплачивать проценты по всем долгам, а отцу моему обезпечить чистаго дохода две тысячи четыреста рублей в год.

— Так чего же вам лучше! воскликнул Фирсов.

— Он нам подачку предлагал! с сердцем возразила она:- я знаю. что может дать Юрьево: земля выпахана, лугов мало, скота содержать нечем, — за уплатой процентов он «аренду» выплачивал бы отцу из своего кармана… и тешился бы сознанием, что он содержит нас от щедрот своих. А этому никогда не бывать!.. Господин благодетельствовать нам вздумал, и в то же время презирает нас со всей высоты барства своего и денег…

— С чего это вы взяли?

Но она перебила опять:

— Не притворяйтесь незнайкой, сделайте милость, меня ведь вы не проведете! Вы лучше меня знаете, какого мнения во Всесвятском о нашем «нигилистическом гнезде», как они там говорят… Когда мы поселились здесь, он (она разумела отца,) непременно требовал, чтобы мы

туда ездили… Я не могу без отвращения вспомнить теперь об этих поездках! Когда мы приезжали, весь дом превращался в окаменелость какую-то. Сама краснела, конфузилась и, если тут находилась дочь ея, спешила под разными глупыми предлогами выслать ее из комнаты… чтоб она одним воздухом не дышала с такими зачумленными, как мы. «Генерал» ваш становился учтив до гадости, — тою грансеньорскою учтивостью учтив, которая в намерении своем равняется пощечине и на которую пощечиной же так и подмывает тебя ответить… С ним, с несчастным нашим, были очень любезны, — но во всех глазах так и читался трепет, как бы он не сделал чего-нибудь неприличнаго… Ну и дождались! Не доглядела я раз как-то, он и показал себя им во всей прелести… С тех пор мы туда ни ногой, а они, разумеется, и тени не показали желания продолжать с нами знакомство… Так с какого права, с новым взрывом гнева заключила Настасья Дмитриевна, — осмеливается господин Троекуров предлагать нам милостыню!..

— Ну-с, это ваше с ним дело, как знаете! молвил на это Фирсов, нетерпеливо дернув плечом (он с видимым неодобрением и неохотой слушал ея речи), — а что касается вашего больнаго, то я скажу вам-с, что он плох… и что вам следовало бы как-нибудь… помягче что-ли… обращаться с ним. Что-жь понапрасну-то раздражать человека в таком положении!.. Да-с, помягче, повторил он, внезапно нахмуриваясь, — и присмотром не оставляйте. Он вот все о смерти толкует… и такое словечко у него вырвалось: «Сам я, говорит, сам»… При его мозговом состоянии идейка-то эта легко в манию превратиться может… а тут и до греха не далеко… Так вы уж поосторожнее с ним как-нибудь!…

— Ах, болезненно вырвалось у девушки в ответ, — знаю я все это, знаю!… Сердце переворачивается у меня от жалости в нему… А с тем вместе такое зло иногда на него берет!… Я справиться с собой не могу. Сейчас бы, кажется, отдала всю себя за него на растерзание, а иной раз сама готова, рада колоть его и мучить… Он добр, да, мягок как ребенок, но в сущности глубокий эгоист. Он в сущности всю жизнь прожил «барином», то-есть ни о ком не заботясь и ни о чем серьезно не думая.

— Такой уж век их был, барышня, ничего с этим не поделаешь, заметил примирительно доктор.

Но она, не слушая его, продолжала с возрастающею горячностью:

— Он жалуется на нас, на брата… А как воспитал он нас?… Матери мы лишились рано; он сдал нас на руки глупой старой Француженке, бывшей своей… любезной, которая весь день спала, или румянилась и ходила жаловаться ему на нашу непочтительность, а он при нас. же издевался над ней и называл «vieille ramollie»… Учились мы, Бог знает, как и чему. Пока были деньги, нанимали нам учителей всяких наук, нужных и ненужных, потом и совсем никаких; сами мы уж с сестрой, вздумали в гимназию… С братом тоже: он был очень способен, но не усидчив, пылок, перебывал во всевозможных заведениях, нигде не упрочился, безцельно ходил вольнослушателем в университет. Отец относился в этому с полным равнодушием… Если, как говорит он теперь, сын его «плюет на все то, чем жили и чему веровали отцы», и отдает свою жизнь на… на другия цели, как бы через силу выговорила девушка, и черная тень пробежала по ея лицу, — то кто же виноват в этом? Что посеешь, то и пожнешь, не даром сказано…

«Действительно», молвил про себя Николай Иванович Фирсов: «безобразие сеяло, безобразие и взросло, только с другаго конца, а какое лучше — уж право не знаю»!..

— Скажите, спросил он громко своим добродушно-грубоватым тоном:- давно стал он зашибать?

— Еще в Москве, ответила она с глубоким вздохом, — вот когда начался этот его разгром… Случилось это как-то вдруг разом… Имения наши, дом в Денежном переулке, последний

стакан в этом доме,- все было продано. Мы переехали во флигелек дома тетки, сестры его, графини Лахницкой, на Остоженке. Сестру Тоню она вызвала жить в себе в Петербург, а мы тут, брат Володя и я, провели с ним полтора года в четырех маленьких комнатах. Вот тут он с отчаяния, полагаю, и от скуки… В Английский клуб он перестал ездить: он не имел духа являться «нищим», как говорил он, пред людьми, знававшими его в другом положении, никого не хотел видеть, не принимал, — и целые дни не выходил из комнаты… Началось с того, что он все больше и больше рому стал подливать в чай свой вечером… Я ему как-то раз заметила; он засмеялся и отвечал мне, что «Англичане пьют каждый вечер, но что это не мешает им быть владыками Океана». Но после этого он стал скрывать от нас, прятал бутылки в печь, под кровать… В это время умерла тетка Лахницкая, дети ея продали дом какому-то купцу, Антонина Дмитриевна вернулась из Петербурга, никого там не заполонив… и мы решились переехать все сюда, в единственный угол, принадлежащий еще нам на этом свете… и то, с горькою улыбкой договорила Настасья Дмитриевна, — благодаря исключительной любезности господина Сусальцева.

— Да, действительно, грузно засмеялся толстяк, — купчина этот, видно, самых галантерейных правил индивидуй: не то ужь, что подносит, на колесах подвозит дары свои.

Он подмигнул с явным намерением лукавства:

— Его превосходительству на пользу; а в угождение чье, можете мне сказать?

— Не в мое, конечно!

И она как бы презрительно поморщилась.

— Та-ак-с! комически протянул он:- сестрица Антонина Дмитриевна на сей раз заполонила?… Ну, что-жь, и прекрасное это дело! не дождавшись ответа, воскликнул он чрез миг, весело потирая руки: — одно разве, что купец, да по нынешним временам где же богачей дворян взять! На батюшкину фанаберию сестрица ваша, само собою, внимания не обратит, — так я говорю, барышня?

— А вам этого очень хочется? нежданно выговорила Настасья Дмитриевна.

— Чего это? спросил он, несколько огорошенный.

— Чтобы сестра вышла скорее за Сусальцева и отняла бы этим у вас страх за Григорья Павловича Юшкова?

Толстяк добродушно засмеялся опять:

— А ведь вы в точку попали, барышня, в самую точку! Дай Бог сестрице вашей в полное свое удовольствие лгать, в золоте купаться, а что для Григорья Павловича она особа совсем не подходящая, это точно, скажу вам, так!.. И не только не подходящая, примолвил он с усиленным выражением, — а даже опасная, можно сказать.

Ироническая, чтобы не сказать горькая, усмешка скользнула по губам девушки:

— И, по-вашему, опасность эта для него минет, как только станет она женой другаго?

Он поднял разбежавшиеся глаза на нее, но она уже вскинулась с места и торопливо пошла вперед по тропинке, ведшей в глубь сада, вглядываясь прищуренным взглядом в каждую прогалину, открывавшуюся меж деревьев.

Фирсов, тяжело отдуваясь, засеменил за нею на своих коротеньких и пухлых ножках.

IV

Антонина Дмитриевна и Гриша (мы позволим себе для удобства называть его старым, знакомым читателю[6] уменьшительным его именем,) сидели на каменной скамье бывшего Храма Утех, о существовании которого здесь свидетельствовала действительно безобразная груда извести и камня, — обломки пьедестала давно кем-то я куда-то увезенной статуи Венеры. Разговор их смолк. В полускучающей, полуусталой позе, закинув руку за затылок и прислонясь им к стволу дуба, покачивавшего над ними свои вырезные листья, девушка недвижно и безцельно глядела вверх на проходящия облака, а Гриша, опустив слегка голову, с ноющим сердцем и приливавшею в голове кровью, пожирал искоса взглядом ея соблазнительный и надменный облик… В памяти его проносилось где-то давно читанное им сказание о таинственных нимфах древней Эллады, обитавших в заповедных лесах, посвященных Диане; неисцелимым безумием карали оне дерзновеннаго, решавшегося проникнуть под ревниво хранившие их от взора смертных сени и узреть их роковыя красы. «Любовь к ней — гибель одна», говорил себе молодой человек, «но отчего же неотразимо так влечется в ней чувство?»… И он вздрагивал под впечатлением какого-то мгновенного суеверного ужаса…

— А вот и Ментор ваш идет за вами, а с ним и ваша жертва, услышал он, как сквозь сон, ея металлический, насмешливый и невозмутимый голос.

Он быстро поднял глаза и невольно покраснел, увидя подходившую в нему Настасью Дмитриевну.

— Здравствуйте, Григорий Павлович, протягивая ему руку, проговорила она, насколько могла спокойнее, но с такою же невольною краской на лице и с мучительным сознанием смущения своего в душе.

Он, молча, с глубоким поклоном пожал ея холодные пальцы.

— А мы о тебе сейчас говорили, сказала ей сестра все тем же своим насмешливым тоном:- Григорий Павлович питает к тебе большую симпатию.

Брови Настасьи Дмитриевны судорожно сжались:

— Я твоих шуток не прошу! отрезала она.

— Нет, право! Спроси его самого.

Выразительные глаза девушки вскинулись на миг на Гришу, полные тревожного ожидания, и тут же опустились. пока он учтивым и несколько смущенным голосом произносил вынужденный ответ свой:

— Я вас действительно очень уважаю, Настасья Дмитриевна…

— Очень вам благодарна… Не за что!

Она отодвинулась от него, но, как бы спохватившись, спросила тут же:- У вас, говорит Николай Иваныч, батюшка заболел?

Он не успел ответить.

— Если бы не такой случай, мы бы конечно Григория Павловича у себя в Юрьеве не имели счастия видеть, протянула Антонина Дмитриевна. И звук ея голоса был теперь почти нежен и каким-то внезапным задором сверкнули остановившиеся на нем глаза.

Его всего словно приподняло вдруг; взгляд его загорелся…

— Вы никогда особенно не ценили это «счастие», mademoiselle Antonine, произнес он дрогнувшим голосом в виде шутливаго со своей стороны упрека, но Настасья Дмитриевна мгновенно побледнела от этих слов.

Сестра поглядела на нее, улыбнулась победною улыбкой и тут же, в довершение торжества:

— Да, почти презрительно сказала она:- я ценю только то, что может быть на что-нибудь полезно…

Губы молодаго человека побелели от досады и боли:

— Слова ваши даже не совсем учтивы, Антонина Дмитриевна!…

Она захохотала:

— Учтивость — вещь не современная; спросите у Насти: она у нас по части прогресса сильна.

— Оставишь-ли ты меня когда-нибудь в покое! гневно воскликнула та…

— Пора, Григорий Павлович, пора! послышался голос нагнавшего компанию доктора.

Гриша снял шляпу и, как бы забывая в-торопях подать руку своим собеседницам, поклонился им общим поклоном и тронулся было к своему спутнику. Он чувствовал себя злым донельзя…

— Мы вас проведем до дороги, молвила тем временем, как ни в чем не бывало, Антонина Дмитриевна, подымаясь со скамьи.

— Позвольте мне в таком случае предложить вам руку, поспешил сказать Гриша сестре ея, подвертывая локоть.

Антонина Дмитриевна, не удостоивая их взглядом, прошла мимо и, продев руку свою под руку доктора, зашагала с ним в ногу.

— Вас, конечно, не скоро теперь увидишь? порывисто и полушопотом спросила Настасья Дмитриевна Гришу, пройдя с ним несколько шагов.

— Это более чем вероятно, ответил он с напускною небрежностью тона: — от меня здесь никакой и никому пользы ждать нельзя, иронически добавил он, намекая на только-что сказанныя ему сестрой ея слова.

Она окинула его быстрым взглядом и засмеялась нервным, глухим смехом:

— А пословицу знаете: от мила отстать, в уме не устоять?

Он понял, поморщился и пожал плечами:

— Я отвечу вам другою: и крута гора, да миновать нельзя… Желаю от души вашей сестрице исполнения всех ея желаний…

Они молча дошли до канавы, чрез которую, все также ведя под руку красавицу Антонину, осторожно перебирался теперь толстяк доктор.

— Я прощусь здесь с вами, Григорий Павлович, сказала Настя, останавливаясь:- мне пора к моему больному… Надолго, значит, прощайте? вырвалось у нея помимо воли.

— Не знаю, Настасья Дмитриевна, но во всяком случае, если бы… еслиб я на что-либо мог пригодиться вам, или кому из ваших, прошу не стесняясь располагать мною; я готов во всякое время.

— Спасибо!… Даже верю, что с вашей стороны это не одни слова… Вот, добавила она с насилованным смехом, — если удастся мне когда-нибудь поступить на сцену, я напишу вам, чтобы вы непременно приехали на мой дебют.

— А разве вы собираетесь?

Но она, не отвечая, кивнула ему коротким кивком и побежала стремглав по направлению в дому. Нервы одолевали ее: еще миг, думалось ей, и она «разревется как дура, — очень нужно!»…

— А вы куда же мою романтическую сестрицу девали? спросила Антонина Дмитриевна Гришу, когда он очутился подле нея и доктора на большой дороге, где ждали их лошади.

— Достойная особа сестрица ваша! наставительно отчеканил вместо него Фирсов, строго воззрясь в нее сквозь очки.

— Чего же это именно достойная? насмешливо подчеркнула она.

— Известно чего: всякой похвалы — и подражания, да-с, подчеркнул он в свою очередь, с явным уже намерением укола.

— Ни того, ни другаго, презрительно уронила на это она, — потому что она никогда не достигает того, чего ей хочется. Métier de dupe est un sot métier, говорят Французы.

Фирсов досадливо передернул очки свои, готовясь ответить ей какою-нибудь резкостью, но Гриша дернул его за рукав:

— В разговорах с Антониной Дмитриевной последнее слово всегда остается за нею: это аксиома, проговорил он тоном учтивой шутки:- нам остается только преклониться и уехать.

— Воистину так! засмеялся толстяк, сдернул фуражку с головы, низко опустил ее, надел опять и полез в подъехавшую к ним тележку.

Гриша отвесил девушке такой же почтительный поклон и прыгнул в экипаж вслед за своим спутником.

Антонина Дмитриевна послала рукой поцелуй в воздух:

— Передайте это от меня Машеньке Троекуровой! произнесла она с насмешливым пафосом, прищуренно глядя на молодаго человека.

— Пошел! крикнул он кучеру, надвигая на лоб шляпу чуть не злобным ударом по ея мягкой тулье.

— Экая ведь язва эта особа! заговорил доктор, едва тронулись они с места.

Гриша не отвечал.

— А хороша, говорить нечего, чертовски хороша; гетера древняя, как выражается дядюшка ваш Василий Григорьевич… Поразительный даже можно сказать женский субъект, примолвил толстяк, косясь на все так же безмолвного своего товарища. — А я ведь секрет про нее знаю, выложил он чрез миг опять, подмигивая и хихикая с самым лукавым видом.

— И я знаю, произнес спокойно Гриша.

— А ну-те-ка, ну-те, что вы знаете?

— Замуж она выходит…

— За кого?

— За купца за этого, за Сусальцева.

— В точку! Неужто сама сказала?

— Сама.

— Ишь ты, шельма!…

И он всем грузным туловищем своим повернулся к Юшкову:

— Ну, а вы что-жь?

Гриша не мог не улыбнуться.

— А я что? Я — ничего.

— Ничего? протянул, покачивая сомнительно головой, тот:- смотрите вы, вам, может, как вот раненым в сражении, с перваго раза и не кажет, а потом… резать приходится…

— Я давно ее от себя отрезал, Николай Иванович, поверьте! не дал говорить ему далее молодой человек, подымая на него свои голубые, внезапно заискрившиеся глаза;- в ней есть что-то демоническое, неотразимое… какое-то обаяние бездны что-ли, — я сознавал это в минуты самаго безумного увлечения ею… С вами я буду говорить совершенно откровенно, как никогда не решился бы, да и не имел случая говорить с отцом или с Борисом Васильевичем… Они оба ни единым словом никогда не проговорились о догадках своих насчет отношений моих в ней, хотя я в глазах их постоянно читал, что они об этом думают… Раз только у Александры Павловны вырвалось: «Vous vous perdez, Гриша!» когда, в ея присутствии, подали мне во Всесвятском записку, посланную туда на мое имя Антониной Дмитриевной и в которой она просила меня просто о какой-то книге. Я показал эту записку, вместо ответа, Александре Павловне, но она только вздохнула, покачала головой и вышла из комнаты…

— Помню, при мне было, сказал Фирсов;- известно, каждому, кто вас любит, радости мало видеть, как вас в омут тянет… Ну, а с наставлениями опять, да советами к вам лезть без спроса тоже ведь не приходится, потому вы не маленький: сам-мол, скажете, знаю, что мне вред, а что польза!…

— И знаю действительно, почти с сердцем вскрикнул Гриша, — и давно знаю! Вы совершенно

правы, — я не маленький, мне тридцать четвертый год, — давно пора самому уметь отличать добро от зла… Я так и поступал: вы знаете, что я пред нынешним днем полтора месяца сюда носу не казал, и не вздумал бы и сегодня… У нас с вами так и условлено было, что вы зайдете к больному, а я буду вас у церкви ждать… Я не виноват, что она тут очутилась, когда мы вышли на паперть…

Все это было так, — но он слишком горячился, слишком доказывал, и старый практикант не то недоверчиво, не то лукаво усмехался кончиками губ, внимая его пылким речам.

— Знаю, знаю, молвил он, — собственнолично бичевочкой себя повязали, на хотение свое намордничек надели — полные баллы за это заслуживаете… А только что скажу я вам на это одно…

— Что еще? вырвалось нетерпеливо у Гриши.

— А то, что искренно вам желаю я никогда более не встречаться с нею.

Молодой человек усмехнулся через силу:

— Она выходит замуж, — гарантия, кажется, достаточная для вашего успокоения.

Толстяк вздохнул даже:

— Ну, батюшка, гарантии этой два гроша цена… И даже напротив!

— Что «напротив?»

Тот обернулся на спрашивавшего, воззрился в его недоумевающее лицо — и неожиданно фыркнул:

— Ах вы невинность, невинность!..

Он не договорил и, пыхтя от натуги, полез в карман своего раглана за портсигаром…

V

Ужасный век, ужасныя сердца!

Пушкин. Скупой Рыцарь.

Красавица Антонина долго и недвижно следила прищуренными глазами за удалявшимся экипажем. Обычная ей, не то злая, не то скучающая, улыбка блуждала по ея губам. Она чувствовала себя в ударе; она еще бы потешилась над этим «Телемаком с его Ментором», исчезавшими за облаком пыли, поднявшейся из-под колес их тележки, словно говорила эта улыбка.

Солнце садилось. Большое крестьянское стадо, мыча и теснясь в узком прогоне меж двух плетней, выбегало с пароваго поля на дорогу к селу; с глухим звяканием его колокольцев сливался в гулком воздухе визгливый гик погонявших его босоногих мальчишек в заплатанных рубашках, в рваных шапках на затылке. Лохматыя собаки неслись за ними, лениво полаивая, как бы во исполнение давно надоевшей им обязанности…

Девушка гадливо поморщилась: «русская идиллия», как выражалась она внутренно, была ей глубоко и как-то особенно ненавистна, — и отвернулась от поднявшейся опять из-под коровьих

копыт пыли, которую ветер нес ей прямо в лицо. Глаза ея в ту же минуту остановились на подвигавшемся довольно быстрыми шагами с этой стороны дороги по ея направлению каком-то прохожем.

Он был одет в дырявый и длинный монашеский подрясник, перетянутый наборчатым ремнем,[7] как любят носить у нас деревенские коновалы и Цыгане-барышники, с черною суконною фуражкой фабричного фасона на голове и узловатою палкой в руке. Высокий и тонкий, с реденькою, короткою и светлою бородкой, он, повидимому, был еще очень молод, не смотря на далеко не юношеское выражение испитаго лица его, истрескавшегося от солнца, ветра и наслоившейся на нем нечистоты в продолжение очевидно дальняго пути.

Девушка глядела все внимательнее по мере его приближения: из-под воспаленно-бурой коры, покрывавшей это лицо, все яснее для нея выступали как бы знакомыя ей черты. В глазах ея загорелось видимое любопытство…

Он также, и давно, узнал ее. Поравнявшись с местом, на котором стояла она у канавы, он торопливо и как бы тревожно окинул взглядом кругом и, убедясь, что, кроме их двоих, никого нет, поспешно перебежал разделявшую их ширину дороги и очутился подле нея.

— Тоня! проговорил он глухим голосом.

— Так это ты в самом деле! вскликнула она:- гляжу издали, точно Володя… Что-жь это за костюм? Откуда ты?

Он сурово глянул на нее:

— Долго разсказывать — и не здесь конечно!.. Говори скорее: могу найти я у вас убежище, дня на два, на три… Потом уйду опять…

— Травят, — а? коротко выговорила она, и пренебрежительная усмешка скользнула слегка по ея алым губам.

Его передернуло.

— Отвечай на то, что спрашивают, отрезал он:- никого у вас?

— Никого. Был Юшков с доктором; сейчас уехали.

— А чрез сад пройти — не увидят?

Она пожала равнодушно плечами.

— Не знаю, а впрочем кому там?

— Так идем скорее!

Он перебрался вслед за нею чрез канаву в сад.

— А что старик? спрашивал он, шагая рядом с нею под деревьями и поминутно оглядываясь.

— Все то же.

— То же? как бы уныло протянул он.

— От хороших привычек отставать к чему же? ответила она со злою усмешкой.

— По тебе вижу! такою же усмешкой ухмыльнулся и он.

— Что по мне?

— Та же ты все!

— Какая?

— Змея, известно, объяснил он, вскидывая плечом.

Но она не сочла нужным оскорбиться:

— По мудрости, засмеялась она, — сравнительно с тобою и Настей, — змея действительно!

— А Настя что, здравствует? оживляясь вдруг, спросил он.

— Твоими молитвами, — на сцену готовится, примолвила она, все так же смеясь.

— С ним все возится?

— Как следует… Он ведь теперь совсем без ног, примолвила Тоня будто en passant, — с того самаго дня, как ты исчез…

Что-то словно кольнуло молодаго человека под самое сердце; брови его болезненно сжались.

— Доигрался! проговорил он сквозь зубы по адресу отца, как бы с намерением осилить занывшее в нем чувство. И тут же переменяя разговор:

— А куда вы меня поместите? спросил он: — в комнату мою, бывшую рядом с ним, я полагаю, теперь не удобно… Да и показываться-ли мне ему — не знаю, право, промолвил он, задумавшись.

— Комнату твою теперь занимает Настя… а ты, пожалуй, можешь в ея бывшую, в мезонине, небрежно объяснила Антонина Дмитриевна, — я тебя туда проведу и скажу Насте, она устроит как-нибудь…

— У меня, сказал помолчав Володя, — давно намечено одно место в доме. В буфете, в углу за шкафом, люк есть, а под ним лесенка в пустой подвал: там вина да варенье хранились, должно быть, в пору барства… Ну, а теперь соломки охапку или сенца натаскать туда, и преотлично будет на этом царском ложе последнему из Буйносовых, подчеркнул он со злобною иронией. — У вас все одна Мавра слугой?

— В доме одна… Кухарка и прачка на кухне живут…

— У Мавры девочка дочь… Ну, эта не выдаст — немая! усмехнулся он. — Так я вот там поселюсь… В случае чего шкаф стоит только на люк надвинуть — и ищи меня под землей! процедил он, кривя губы.

— А искать будут?

И она пытливо вскинула на брата свои красивые и холодные глаза.

— Ну, веди, веди! нетерпеливо возгласил он вместо ответа, кивая на выходившее в тот же сад «черное крыльцо» дома, в которому подходили они в эту минуту.

Она, не торопясь, все с тем же пренебрежительным выражением в чертах, поднялась по ступенькам крылечка, прошла чрез пустую бывшую «девичью» и вывела брата в длинный и широкий коридор, освещенный с противоположного конца его стеклянною дверью, выходившею в «танцовальную залу», уже знакомую читателю. Прилепленная в одной из стен этого коридора, крутая и почти совершенно темная лестница в два колена подымалась в мезонин, состоявший из четырех весьма просторных комнат, отделенных одна от другой тонкими досчатыми перегородками (в предположениях строителя дома, майора Фамагантова, мезонин этот должен был служить «запасною половнной», предназначавшеюся для приезда гостей, или помещения «гувернанток» и «учителей»; но половина эта так и осталась не отделанною ни им, ни его преемниками). Одна лишь из этих комнат, избравшая себе в жилище Антониной Дмитриевной, имела несколько жилой вид. Она нашла средство оклеить голое дерево чистенькими обоями, обить пол дешевым серым сукном, повесила ситцевыя занавеси на окна и кисейныя над кроватью, и велела перенести сюда и отчистить и исправить все, что нашла еще годного в мебельной рухляди дома. На стенах у нея выглядывали из золотых рам кое-какия хорошия гравюры, на столах и комодах разставлены были иныя ценныя bibelots, полученныя ею в дар в пору пребывания ея в Петербурге у тетки, графини Лахницкой, или поднесенные ей недавно «Ротшильдом de l'endroit», как выражался ея отец, Провом Ефремовичем Сусальцевым. Она теперь одна жила в мезонине — жила особняком, выходя из своей комнаты лишь для прогулок и изредка в обеду вниз (ей «претила» грубая кухня деревенской кухарки, и она по целым неделям иной раз питалась шоколатом, конфетами и страсбургскими пирогами из дичи и foie gras, которые привозил ей вместе с Массou новейших французских романов, буквально поглощавшихся ею за один присест, все тот же очарованный ею Сусальцев). К отцу заходила она раз в день, по утрам, «когда», по выражению ея, «он был еще возможен», здравствовалась с ним, обменивалась двумя, тремя словами (он сам как бы смущался ея присутствием, ежился и помалчивал,) и величественно удалялась в свой «апартамент», где проводила целые дни за чтением Габорио, Зола e tutti quanti, и куда, кроме Сусальцева, которого принимала она здесь «в виде особой милости», имела доступ лишь Варюшка, дочь Мавры, немая, но шустрая девчонка лет четырнадцати, специально забранная ею себе в горничныя, и которую она весьма скоро отлично умела выдрессировать на эту должность.

«Непрезентабельнаго» брата, в его «лохмотьях и грязи», она, само собою, не сочла нужным допустить в это свое sanctum sanctorum, и повела его прямо в отдаленнейшую от своей, выходившую на двор, бывшую Настину комнату. Мебель здесь состояла из какого-то криваго стула, двух стульев и старого дивана с вылезавшею из-под прорванной покрышки его мочалой.

Молодой человек так и повалился на этот диван, раскинув руки и упираясь затылком в его деревянную спину.

— Ну же и устал я! проговорил он, усиленно дыша и с судорожным подергиванием лицевых мускулов.

Он скинул фуражку; длинные, белокурые волосы его, влажные и спутанные, разсыпались жидкими косицами по плечам… Была пора, еще недавно — это был цветущий красивый юноша, но целый век темных деяний и смертельных тревог успел пройти для него с той поры…

Что-то похожее на жалость промелькнуло на ледяном лице безмолвно взиравшей на него сестры:

— Я тебе сейчас Настю пошлю, сказала она и вышла из комнаты.

Он долго сидел так, порывисто и тяжело дыша, с раскинутыми руками и ощущением глубокаго физическаго изнеможения. Он словно теперь только, достигнув «убежища», сознавал, до какой степени доходила его усталость… «Вздумайся им арестовать меня теперь, я бы, кажется, и пальцем пошевельнуть не мог», пробегало у него в голове.

Но за этою мыслью пронеслась другая. Он привстал, приподнял свой подрясник и вытащил из-под него два, подвязанные к пёрекрещивавшимся у него через плечи бичевкам, довольно объемистые холщевые мешка с какими-то повидимому бумагами или книгами.

«Куда бы припрятать это покамест?» думал он, окидывая взглядом кругом себя.

Гул быстро подымавшихся по лестнице ступеней донесся до его слуха… Он первым побуждением готов был подвинуть мешки под диван, но тут же приостановился:

— Это Настя!…

Это была действительно она, запыхавшаяся, с тревожным волнением в чертах, в выражении широко раскрытых глаз…

— Володя! чрез силу воскликнула она, переступая через порог комнаты и не чувствуя себя в силах произнести другаго слова.

Она быстро направилась в нему, протягивая на-ходу руку… Ее подмывало кинуться ему на шею, прижаться головой в его груди… Но она знала: он не любил «нежничанья».

Он и точно удовольствовался коротким, товарищеским пожатием этой сестриной руки и спокойно проговорил: «Здравствуй, не ожидала?» Но по блеснувшей на миг искре под его веками она поняла, что он был рад ее видеть, рад в самой глубине своего существа.

Она, удержав руку его в своей и сжимая ее безсознательным движением, тихо опустилась на диван подле него.

— Что? выговорила она только шопотом, неотступно глядя ему в лицо.

— Что! повторил он дрогнувшим вдруг от злости голосом, воззрясь в свою очередь в ея коричневые глаза:- по всей России как зайцев пошли ловить…

— Но ты…

— Я?… был, да весь вышел.

— Это что же? не поняла она.

— Очень просто: взяли, да уйти успел.

Она похолодела вся, выпустила его пальцы:

— Ах, Володя!…

Он чуть не сердито дернул плечом:

— Ты что же думала, будут они век с нами в жмурки играть? Глупы они, глупы, а все же и у них

самолюбие когда-нибудь должно заговорить…

Он машинально поднялся с места, по давней привычке толковать «о сериозных предметах», расхаживая по комнате, но тут же сел опять; ноги его дрожали и подкашивались.

Сердце сжалось у сестры его:

— Как ты утомился, Володя, тебе бы лечь, уснуть…

— Теперь не заснешь пожалуй от самой усталости этой… А поесть чего-нибудь да выпить, я бы с удовольствием… С утра ни маковой росинки…

Она вскочила:

— Ах, а я и не подумаю!… Сейчас!… У нас сегодня баранина была, осталась… Выпить тебе чего же, квасу хочешь?

— А посущественнее не дашь? усмехнулся он:- для него ведь держишь, чай?…

— Ты уж успел привыкнуть! вырвалось у нея со вздохом:- хорошо, я принесу…

В дверях в эту минуту показалась Антонина с папиросой во рту:

— Ну, а в чистый вид не полагаешь ты его привести уж кстати? брезгливо кивая на Володю, спросила она сестру.

— У тебя тут в комнате умывальник, вода… Могла бы сама предложить! с сердцем возразила Настя, поспешно выходя за дверь.

— Пожалуй!… Пошли мне снизу Варюшу, я велю подать ему.

Брат повел на нее недобрым взглядом. Губы его шевельнулись с очевидным намерением «оборвать» ее. Но он сдержался и проговорил обрывисто:

— Дай папиросу, — двое суток не курил.

Она молча подошла в дивану, высыпала на него все папиросы из своего портсигара, поморщилась еще раз с видимым отвращением на лохмотья брата и все так же безмолвно и величественно повернулась и ушла к себе.

VI

La fiammo d'esto incendio non m'assale.

Dante. Inferno.

Она пришла опять чрез час времени. Ее весьма мало озабочивала судьба брата, — она давно разумела его как «tête fêlée» и «неудачника», которому «ничего в жизни и не оставалось делать, как гибнуть вместе с такими же, как сам он, шутами»; но приключения его могли, «должны» были быть любопытны. Эти переодевания, скитальчества, бегства — «тот же Габорио», говорила она себе… И пришла слушать, как ездила в Петербург на литературныя чтения, устраиваемыя известными господами в пользу какой-нибудь отставной гарибалдийки" (sic) или "студентов, не имеющих возможности кончить курса в университете по независящим от них обстоятельствам".

Володя, — мы будем продолжать называть его так, — умытый, в статском платье (Настасья Дмитриевна добыла ему жакетку, брюки и сорочку из оставленных им дома белья и одежды) и сытый, сидел на своем диване, рядом с младшею сестрой и затягивался всласть оставленными ему Тоней папиросами, закуривая их одну вслед за другой о пламя стоявшей на столе одинокой стеариновой свечи в позеленелом медном шандале. Он как бы просветлел весь лицом и духом, облекшись в это свежее белье, насытив голод и подкрепив силы двумя большими рюмками очищенной. Какое-то на миг затишье слетело ему в душу, а с ним и иное что-то прежнее, лучшее...

Он уговаривался с Настей "об отце", когда Тоня вошла в комнату: ему хотелось видеть "несчастнаго", но он и боялся этого, — он знал, что окончательный удар старику был нанесен им, Володей, его исчезновением из-под родительского крова, для целей, которых сам он не скрыл от отца. Старик, действительно, лишился ног в тот самый день, полтора года назад, когда Володя под каким-то предлогом уехал на крестьянских дровнях в ближайший уездный город и прислал ему оттуда письмо ("и к чему я это сделал тогда? лучше было бы просто ничего не писать, пусть бы думал, что я в Москву уехал попытаться что-ли опять в университет поступить", говорил теперь сестре молодой человек, покусывая губы), письмо, в котором говорил отцу, что он идет, что он "обязан итти в народ, помочь избавиться ему от тираннии правительства и господ"...

— Что же бы ты теперь мог сказать ему? тоскливо и тихо говорила в свою очередь Настасья Дмитриевна:- ведь ты не отказался от своих убеждений?

— Конечно, нет! ответил он с каким-то намеренным жаром, взглянув искоса на подошедшую в ним старшую сестру.

— Так чтобы хуже ему после этого свидания не сделалось, Володя! Ведь он непременно начал бы говорить с тобою об этом, — это его idée fixe, главное, что его гложет... Он еще сегодня: "Mon fils", говорит, "un Буйносов, ennemi de son souverain et de sa caste"...

Володя слушал ее, раздумчиво покачивая головой.

— Феодал, молвил он как бы про себя, — наивный, убежденный феодал! Он и между своими-то ископаемое какое-то... Сравнительно с остальною консервативною слякотью некоторого с этой стороны даже уважения достоин.

— От вас это "уважения"? презрительно отчеканила Тоня, скидывая ногтем мизинца пепел с папироски.

Он не удостоил ее ответом.

Она протянула руку к столу, на котором лежали теперь его мешки с бумагами:

— Что это ты с собою притащил: прокламации?

— Оставь, пожалуйста! крикнул он, схватывая их и закидывая себе за спину.

Настало общее молчание.

— Что, ты будешь, или нет, разсказывать свои aventures? заговорила она первая:- я для этого пришла сюда.

— И с этим можешь отправляться восвояси, отрезал он:- никакими моими "aventures" потешать

я тебя не намерен.

— И не нужно! Le petit chose Доде, по правде сказать, гораздо интереснее того, что ты можешь разсказать… Bonsoir, la compagnie! заключила она театрально-комическим поклоном и удалилась.

— И что это она из себя изображает? злобно, едва исчезла она за дверью, спросил Володя Настасью Дмитриевну.

Та пожала плечом.

— Как всегда: презрение ко всему, что на нее не похоже.

— А у самой-то что в голове? вскликнул пылко молодой человек.

— Собственная персона и деньги.

— Которых нет, хихикнул он.

— Но будут, и большия.

Он взглянул не нее вопросительно.

— Откуда?

— Про Сусальцева слышал?

— Это который Шастуновское Сицкое купил…

— И которого мы состоим должниками;- он самый.

— Ну, так что же?

— Она положила выйти за него замуж.

— Так мало-ли что!..

— Нет, это у них дня три как порешено.

— Что ты!

— Я тебе говорю.

— А он знает? спросил помолчав Володя:- ведь это опять ему удар будет: "дочь-мол моя, Буйносова, за аршинника, за пейзана", примолвил он, явно насилуя себя на иронию.

— Я ему не говорила и не скажу, поспешила сказать девушка.

— А сама придет ему объявить — и того хуже, заметил он, морщась.

Настасья Дмитриевна взглянула на брата влажными глазами.

— Подождала бы хоть… Ему не долго, по словам доктора…

На миг настало опять молчание.

— Когда я ушла от него, он засыпал, начала она опять:- я ему дала хлоралу, он сегодня принял без отговорок. Если тебе хочется видеть его, Володя, я тебя проведу потом к нему, когда он будет крепко спать…

Но мысли брата ея были уже далеко от предмета их разговора. Он, встав с дивана, шагал теперь вдоль комнаты, опустив голову, и лицо его, казалось ей, становилось все мрачнее каждый раз, когда он из темного угла выступал опять в круг света, падавшего от свечи, стоявшей на столе… Собственная ея мысль с новою тревогой словно побежала за ним.

— Володя! тихо проговорила она.

— Что?

Он остановился.

— Как же ты…

Она не имела духа досказать вопрос свой. Но он понял.

— Да вот как видишь, молвил он, силясь усмехнуться, — где день, где ночь, с севера на юг, с запада на восток… Россию-матушку вдоль и поперек исходил, всякия рукомесла и коммерции произошел: во Псковской губернии кузнечил, в Саратовской наборщиком был, в Киеве в Лавре богомолкам финифтяные образки продавал… Да и мало-ли! махнул он рукой, не договорив и принимаясь опять с нервным подрагиванием плеч шагать по комнате.

— Где же, вся холодея, спросила она, — где же тебя… взяли?

Он остановился опять и заговорил, — заговорил со внезапным оживлением, как бы ухватываясь инстинктивно за случай выговориться, "выложить душу", пред этою сестрой, единственным существом, нежность которого была ему обезпечена в этом мире.

— Под Нижним, в деревне Мельникове… Три дня сидел я там в кабаке, мужиков поил водкой, объяснял им, что пора скинуть им петлю, все туже с каждым днем затягивающуюся кругом их шеи, пора отказаться от податей, питающих правительственный деспотизм, пора наконец отнять у дворян и эксплуататоров землю, обрабатываемую мозолистыми руками обнищалаго народа… Объяснял, разумеется, счел нужным прибавить Володя в ответ недоумело-вопрошавшему взору сестры, — объяснял понятным, мужицким их языком…

— И что же? спросила она.

— Поддакивали, горько жаловались в свою очередь на "тяготу", на безземелие, на полицию, — и пили, жестоко пили, благо подчивал я не щадя… Вел я все в тому, что-б они миром положили податей не платить и требовать прирезки от помещичьей земли…

— И согласны они были?

— Галдели во все голоса, — а их тут чуть не вся деревня собралась, — одобряли: "не знаем-мол, как тебя звать, а только спасибо тебе, что нас, темных людей, уму-разуму учишь, и безпременно мы так, значит, миром всем положим… Что-жь мол дармо платить-то!.. И насчет земли все это ты по истине говоришь"…

— Чем же кончилось?

Саркастическая усмешка, словно помимо воли разскащика, пробежала по его губам:

— Сидел, говорю, я с ними тут три дня. Голова от дурмана разлететься готова, а в кармане ни гроша уж не осталось. "Ну, говорю, ребята, надо какой-нибудь конец сделать, а то что же так попусту нам с вами в кабаке языком ворочать; сходку собрать надо, говорю, теперь, порешить настоящим манером, а то у меня и денег-то больше нету поить вас"!.. "Н-е-е-ту"? протянули кругом. И за этим словом вся эта пьяная орава так и навалилась на меня: "Ребята, к становому его"!.. И отвели.

Настасья Дмитриевна будто предвидела это заключение и только головой повела.

— Дальше что же?

— Становой, как следует, в "темную" посадить велел, а становиха, сочувствующая нам личность, уловчилась выпустить меня, — сам-то он благо уехал в другой конец уезда, где тоже один из наших орудовал; снабдила меня вот тем подрясником, в котором ты меня видела, — брат у нея тут случился, послушник из Бабаевской пустыни, — и пять рублей на дорогу дала… Разлюбезная особа, усмехнулся Володя:- денег мне ея до самой Москвы хватило, на пароходе до Твери, а оттуда на товарном поезде…

— А из Москвы как жь ты?…

— Как видела, пешандрасом пятый день марширую…

— И как же? дрогнул голос у спрашивавшей:- кормиться ведь чем-нибудь нужно было…

— Гроши!… В ином месте даром кормили из-за этого самаго монашеского подрясника… Да и перехватил к тому же малую толику в Москве, у одного там нашего, легальнаго.

— Долго оставался ты в Москве?

— Утром приехал, к ночи ушел.

— Разве негде было тебе остановиться?…

— Ненадежно… Общая травля пошла, забирают одного за другим… Ловкий прокурор завелся у них… Ну, и жандармерию подтянули, как видно… Весь клубок до конца размотают, злобно пропустил он сквозь зубы.

Наступило молчание. Сестра с побледневшими губами, вся выпрямившись на диване. следила за ним глазами. И кто скажет, какою мукой исполнены были теперь голова ея и сердце! "из-за чего, из-за чего обрек он себя на гибель!" стояло гвоздем в ея помысле.

— И у других… та же неудача? пролепетала она.

Он вопросительно взглянул на нее…

— Народ пропаганде вашей не сочувствует? пояснила она.

Он только кивнул, закусив губу.

— Так что же тогда, Володя!…

Темною тучей обернулось на нее лицо брата.

— Наше дело правое, мы должны были итти — и пошли! промолвил он с горячим взрывом, как бы оправдывая себя не только в ея, но и в собственных глазах.

Она почуяла этот оттенок в его выражении:

— Правое-ли, Володя, подумай! воскликнула она, безсознательно заламывая руки: — правое-ли, когда те, для кого приносите вы себя в жертву, не признают, не принимают вас и выдают врагу!...

— Все равно! возразил он нетерпеливо: — вековое рабство отняло у этих людей всякое сознание их гражданских прав: наш долг пробудить их! Мы должны были итти, и пошли... и будем действовать. пока последняго из нас не забрали! повторял он с лихорадочно прерывавшимся голосом и путаясь ногами на ходу; — революцию можно вызвать в России только в настоящее время, — понимаешь? Теперь, или очень не скоро... быть может, никогда! подчеркивал он: — теперь обстоятельства за нас; чрез десять, двадцать лет они будут против нас... Понимаешь ты это... донимаешь?

Она уныло закачала головой:

— Нет, Володя, не понимаю... То, что я вижу вокруг себя, то, с чем сам ты вернулся теперь, все это, напротив...

Он махнул нетерпеливо рукой, прерывая ее:

— Да, ты не понимаешь! Так слушай...

Он продолжал, как бы отчитывая выученный урок:

— Каждый день, каждый час, отделяющий нас от революции, стоит народу тысячи жертв и уменьшает шансы на успех переворота... Это очень просто, пояснил он; — пока, теперь то-есть, самый сильный и могущественный враг, с которых приходится нам бороться, — это правительство. Но враг этот стоит совершенно изолированный; между ним и народом не существует еще никакой посредствующей силы, которая могла бы помочь врагу остановить и удержать народное движение, раз бы оно началось. Дворянство сокрушено самим правительством; tiers état еще не успело выработаться... Но пройдет еще несколько лет, и условия эти изменятся. Уже теперь существуют в зародыше все условия для образования у нас, с одной стороны, весьма сильного консервативного элемента крестьян-собственников, с другой — капиталистской, торговой и промышленной, консервативной же буржуазии. А чем сильнее будет это образовываться и укрепляться, тем возможность насильственного переворота станет более проблематическою... Говори же, должны-ли мы были, или нет, итти в народ с революционною пропагандой именно в настоящий момент, когда нам благоприятствуют общественныя условия?...

— Да, медленно и тихо проговорила она, — вы и пошли, и чего же достигли?... Ведь дело ваше оказывается та же сказка про синицу, которая похвалялась, что море зажжет...

Он не ожидал этих слов, этого обидного сравнения; изможденныя щеки его покрылись мгновенным румянцем, глаза сверкнули.

— Давно-ли ты стала плевать на наши убеждения? крикнул он язвительно, закидывая назад свои длинные волосы машинальным движением руки.

Но она не смутилась; она решилась высказать ему все:

— К чему ты говоришь это, Володя? Вопрос не в "наших убеждениях", а в том пути, который вы избрали, чтобы помочь народу. Путь этот не верен, вы должны это видеть теперь… То, что ты мне сейчас проповедывал, вы вычитали у ваших женевских вожаков: вы могли обольщаться их теориями, пока пропаганда была еще у вас только в намерении… Но теперь, теперь, когда вы испытали на деле такое ужасное разочарование… Ты упорствуешь, ты хочешь доказать мне и себе самому, что вы были правы… Но я тебе не верю, ты не можешь этого сериозно думать!… Я не умнее тебя, но я предчувствовала, и с каждым днем становилось для меня яснее, что ничего, кроме того, с чем ты вернулся теперь домой, не может ожидать ваше дело.

— Откуда же этот дар пророческого предвидения? спросил он с неудачным намерением глумления, затягиваясь во всю грудь и пуская дым в потолку, что-б избегнуть невольно тревожившего его блеска устремленных на него зрачков ея.

— Оттого, пылко выговорила она, — что я хочу правде прямо в глаза смотреть, а не тешиться обманом, как бы люб он для меня ни был… Народу не нужна ваша пропаганда, он ея не хочет!… Он совсем не то, что мы думали… Мы с тобою в Москве читали Лассаля, изучали вопрос о пролетариате. Но наш крестьянский мир, народ, это совсем не то. Я теперь третий год вожусь с крестьянами, бываю в их избах, лечу их; я пригляделась в ним, прислушалась, поняла… То, что ему нужно, этому народу, вы никогда не будете в состоянии дать ему! Вы все на экономической почве думаете строить, а у него в мозгу и в сердце два крепкия слова засели, которых топором у него не вырубить: Бог на небе и Царь на земле. И не верит он вам потому, что чует в вас врагов этих своих заветных понятий.

— Да, силясь усмехнуться, возразил ей брат. — пока не успели насчет сего научить его уму-разуму.

Она пожала плечами.

— Нет! Народ наш гораздо умнее, гораздо проницательнее, чем мы это себе представляли, Володя… Он свою правду, ту правду, которую мы признать не хотим, держит неколебимо в голове… Вспомни, например, хоть историю Герцена с раскольниками, у которых он думал найти ядро для революции в России, и как он удивлен был, что эти же раскольники, преследуемые правительством, оказались, — я еще недавно перечла разсказ об этом у Кельсиева, — самыми верными подданными Царя…

Володя перебил ее гневным возражением:

— Кельсиев, разве это авторитет! Он предатель был и шпион.

— Ах, опять эти слова! воскликнула Настасья Дмитриевна возмущенным голосом, — шпион, предатель!.. А если это неправда, если он действительно, вот как я теперь, мучительно. но неизбежно пришел… должен был притти к этому разочарованию во всем, чему пред этим верил!.. Ведь и я, значит, по-твоему, тоже предательница, потому что не верю больше в революцию, не верю тому, о чем мы с тобой так пламенно мечтали, думая, что это так необходимо и так легко должно осуществиться… Но не могу же я вдруг обратиться в слепую и глухую, когда то, что я вижу кругом, говорит мне с каждым днем все сильнее, что эти мечтания наши — ложь была одна и призрак, что ты… что все вы губите себя напрасно, и мало того, что губите себя, совершаете еще величайшее преступление пред тем же народом, во имя которого вы будто бы действуете…

— Преступление! растерянно повторил Володя.

Страстная убежденность сестриной речи пронимала его насквозь; она забирала его теперь за

самые корни тех мучительных сомнений, которыя не раз охватывали его душу в продолжение его революционной эпопеи и против которых каждый раз ратовала его воля с тою же энергией, с какою выступали древние отшельники на борьбу с соблазнами искушавшего их духа тьмы.

— Да, преступление — и худшее из всех! подтвердила она с какою-то неженскою силой выражения:- вы под именем свободы хотите навязать ему деспотизм, в тысячу раз ненавистнейший, чем тот, от которого вызываетесь избавить его; вы насиловать совесть его хотите, снести с лица земли то, что искони ему дорого и свято — и заменить это... Чем заменить? воскликнула она зазвеневшим вдруг какою-то безнадежностью голосом, — что могли бы дать мы, ты подумай, этому народу вместо богов, которым молится он до сих пор?... Ведь у всех у вас идеала никакого нет, кроме все той же революции, во что бы ни стало!... Разве этим может быть жив человек народа, выросший на иных...

Брат перебил ее еще раз (он видимо хватался за последний аргумент свой):

— Мы ничего не намерены "навязывать"; мы стремимся уничтожить тот старый, сгнивший до тла сословный и правительственный строй, который препятствует свободному проявлению народной воли, — мы анархии хотим!...

— Анархии, да, знаю... Ну, хорошо! а там что?

— Там, молвил он, качнув головой снизу вверх, — там сама жизнь покажет, что нужно будет делать[8].

— А хочешь, я тебе скажу, чем бы выразилась эта народная воля, если бы вы как-нибудь, помимо ея, успели разнести "старый правительственный строй" и заменить его вашею анархией? Он, народ, призвал бы того же Царя, против которого вы идете, и чем безпощаднее стал бы расправляться Царь с вами, "бунтовщиками", тем выше поднялся бы он в его глазах... Дико это, невежественно, — как хочешь разсуждай, — но для меня это так же неопровержимо теперь, как то, что предо мною эта свеча горит!..

Молодой револкционер прыгнул с места, словно ужаленный.

— Так что же из слов твоих вывести следует? что мы не только не нужны, но еще и вредны тому сахому, скованному по рукам и ногам, русскому человечеству, мужику и рабочему, на освобожденіё которого обрекли мы свою жизнь, — что мы же, мы — злодеи его и губители?...

— Не нужны ему и вредны для самих себя, да, молвила Настасья Дмитриевна, усиленно переводя дыхание;- я чувствую, как это тяжело тебе слышать от меня, чувствую по той мучительной внутренней работе? чрез которую сама я прошла, пока дошла до того? что ты теперь от меня слышишь... Ведь и мне досталось это не легко, Володя, не легко было мне отказаться от того, на чем воспитали мы себя с тобою с тех самых пор, как стали самостоятельно думать... Когда ты решился итти тогда, полтора года назад, после этого письма к тебе от Волка, я уже прозревала нашу фальшь, чуяла ошибку, но ничего не сказала тебе, не останавливала, — я еще не доверяла вполне своим впечатлениям... Ты для меня, ты знаешь, был до сих пор самое близкое существо на свете,- но ты знаешь тоже, что я сумела бы пожертвовать всем, начиная с себя самой, тому, что для меня истина; я духом не робка и не слабонервна. Я понимала хорошо, на какую опасную игру ты шел тогда, и не отговаривала тебя ни единым словом потому, что ваше — наше еще тогда для меня — дело казалось еще мне великим и необходимым... Еслиб я продолжала в него верить, я, не моргнув глазом, приняла бы весть о ссылке твоей в Сибирь; я видела бы в тебе мученика святой идеи, которой покланялась всю жизнь... Но теперь, когда ты сам на себе испытал весь этот обман, я не могу, я должна

тебе все выговорить. Безсмысленно итти на каторгу и унести с собою за это в награду презрение и проклятие того самаго народа, который ты воображал себе облагодетельствовать… И ты сам это чувствуешь, сам понимаешь, Володя! горячо вскликнула девушка, — не можешь не понимать…

Она замолкла мгновенно, пораженная видом мучительного страдания, которое прочла теперь на его лице. Он был бледен как полотно, губы его дрожали…

— К чему ты это мне говоришь!… забормотал он прерывавшимся голосом:- еслиб я и в самом деле… к чему говорить!… Итти мне назад — разве это возможно? Отказаться… от революции значит не жить более… Ведь это — ты верно сказала, — одно, одно, что у нас есть!…

Она трепетно и безмолвно прислушивалась к его словам, опустив глаза, чтобы не смущать его их выражением, чтобы дать ему полную волю выговорить все, что лежало у него на дне души и неудержимо, чуяла она, просилось теперь наружу.

Он зашагал еще раз по комнате, сожмуривая веки как бы от какой-то внезапной физической боли.

— У нас нет других идеалов… задач других нет, говорил он все так же обрывисто и глухо, — вне этого дела мы… мы ни на что не годны, да!.. Ведь на этом, пойми ты, на этой абсолютной идее революции успело воспитаться уже целое поколение молодежи… поколение, восприявшее с детства одни лишь чувства отрицания и ненависти ко всему существующему строю…

Он вдруг оборвал, подошел к сестре и заговорил мгновенно изменившимся, почти ласковым голосом:

— Скажи сама: ну что-б я стал делать, перестав быть революционером? Куда бы ты определила меня: в сторожа, в солдаты, в надсмотрщики по акцизу?..

— Ах, Володя, неодолимо сказалось ею, — все лучше, чем твоя жизнь!..

Он горько усмехнулся.

— Но ведь для иной нужно то, чего у меня нет. Я ничему сериозно не учился, ни к чему не приготовлен… Да и не впряжешься в другия оглобли. Когда мысль как по рельсам привыкла в течение целых годов бежать все по одному и тому же направлению, не заставишь ты ее с бухты-барахты повернуть в другую сторону и начать на изнанку то, над чем изощряла она себя целые годы… Ты женщина: у вас эти переходы как-то легче и естественнее совершаются… Искреннее-ли вы, или беззастенчивее, не знаю… Но я…

Он вдруг словно что-то вспомнил, вздрогнул, — и проговорил мрачно и веско:- Понимаешь-ли ты, чем пахнут эти слова: "ренегат" и "предатель!"… Ты говоришь: "разочарование"; положим, я могу видеть… Но до этого никому нет дела, я должен итти, подчеркнул он, — итти до конца…

— Куда: в тюрьму, в Сибирь?..

— В тюрьму, в Сибирь, как бы безсознательно повторил он, встряхнув головой, и добавил с насилованною веселостью:- у нас, известно, из Сибири прямая дорога — в Женеву.

— А там что: нищета, праздность, толчение воды…

— Пошлют сюда опять, сказал он на это.

— И ты снова… не договорила она.

— Снова! кивнул он утвердительно.

— Ведь это безумие. безумие! могла только выговорить она.

Недобрым блеском сверкнули глава брата в ответ ей. Дух тьмы успел уже вполне восторжествовать теперь над колебанием его на миг смутившейся воли.

— Каждое положение в жизни, заговорил он наставительным тоном, — влечет неизбежно за собою известныя, истекающия из самой сути его последствия в ту или другую сторону. Медик может заразиться в своем госпитале и умереть в три дня от злокачественной жабы, но за то может прославиться; солдату в сражении предстоит или пуля в лоб, или Георгиевский крест за отбитое знамя… Мы — те же воины революции, и шансы в той же мере у нас: Нерчинские рудники, или перевернуть Россию и стать над нею главами… Кто же, скажи, из нас, из проклинающей с детства весь существующий порядок молодежи, — а имя ей легион, — откажется от этой игры?

— Вы проиграли ее, о чем же говорить еще! горячо возразила девушка.

Он засмеялся коротким, презрительным смехом:

— Наше дело — та же тысячеглавая гидра древних; оно безсмертно. Снесешь одну голову, — на место ея наростают тут же три другия. Мы разбиты сегодня, — завтра мы воспрянем с новыми, свежими силами на борьбу, на победу!…

— На победу! повторила она с болезненным звуком в голосе.

— Да, сказал он, кривя губы, — ея по-твоему быть не может, потому, что народ не свободы, а все того же своего Царя-де хочет?

Она только головой повела…

Он подошел к ней, низко наклонился, — лицо его вдруг стало каким-то зеленовато-бледным, — и он процедил медленно и чуть слышно:

— Ну, а что, если мы его подымем не против Царя, а из-за Царя?

Она не поняла, но вздрогнула вся разом внезапным лихорадочным ознобом и широко раскрытыми зрачками вперилась испуганно в это позеленевшее братнино лицо…

Но он быстро откинулся от нея, отошел… и в то же время догоревшая до конца свеча в шандале вспыхнула в последний раз и потухла. Настасья Дмитриевна вскочила на ноги и зашаталась… Ей сделалось вдруг невыразимо страшно.

VII

Ночь была безлунная, тучи заволакивали небо…

— У Тони есть свечи; погоди, я сейчас… молвила девушка, направляясь в потьмах к двери.

— Тсс!… послышался ей вдруг в этой тьме встревоженный шопот брата.

Она остановилась как вкопаная, напрягая слух, притаив дыхание…

Из коридора доносились подымавшиеся снизу по лестнице легкие, но торопливые шаги.

— Идут! проговорил чуть слышно над самым ухом ея Володя.

— Нет, это… это Варюша… к Тоне верно за чем-нибудь…

Она ощупью добралась до перил лестницы, схватилась за них, наклоняя голову вниз:

— Варюша, ты?

Девочка, услыхав голос, прыгнула через три ступеньки на площадку, схватила ее за платье, взволнованно мыча что-то своим немым языком.

— Ты к Тоне? спросила замирая Настасья Дмитриевна.

— Мм!… мм!… все также дергая ее судорожно за платье, отрицательно, как поняла Настасья Дмитриевна, ответила та.

— Ах, Боже мой, тут как в погребе, я не вижу тебя… Погоди!

И она кинулась на узкую полоску света, выбивавшуюся из-под дверей у Антонины Дмитриевны на другом конце коридора, рванула замок, вбежала в комнату…

Сестра ея, в ночном белом пудермантеле, в атласных туфлях на босых ногах, с распущенными по плечам длинными, высыхавшими волосами (она только-что совершила свои омовения пред сном), сидела, протянувшись на кушетке, и читала Le petit chose при свете стоявшей подле на столике розовой спермацетовой свечи в изящном бронзовом бужуаре,- подарке все того же влюбленного Сусальцева.

Настасья Дмитриевна, не проронив слова, схватила этот бужуар и выбежала с ним в коридор.

— Это что за невежество! визгнула разъяренно Тоня, бросаясь за нею.

Но растерянное выражение сверкавших глаз брата, испуганный вид Варюшки — оба стояли теперь тут, за порогом ея комнаты, озаренные пламенем свечи, которую держала в руке Настя, — обратили негодование ея в изумление и чаяние чего-то необычайнаго.

— Что случилось? пробормотала она. — Ты что, Варюшка?..

Немая девочка разом вся обратилась в движение; голова, плечи, руки, лицевые нервы — все заходило у нея. Она то приподымалась на цыпочки, будто намереваясь достигнуть какой-то высоты, то протягивала пальцы вперед и загибала их один за другим, жалобно цыкала языком, кивала в сторону дома, обращенную на двор, не то вопросительно, не то испуганно поводя взглядом на Володю…

— Какие-то люди, и много их, проговорила Антонина Дмитриевна, привыкшая понимать ее. — Тебя ищут, скороговоркой примолвила она по адресу брата.

— Да, да, закивала утвердительно немая.

— Ты была на дворе?

— Да.

— Для чего?

Девочка как бы смущенно усмехнулась и поникла своею маленькою, худенькою головкой.

— Это ты ночью в огород бегала огурцы воровать? строго проговорила Антонина Дмитриевна: — кого же ты видела?

Варюшка быстрым движением подняла руку в уху.

— Разглядеть не могла, темно, — но слышала разговор: так?

— Да, да!

— Что же ты слышала?

Девочка так же быстро указала глазами на Володю и перехватила наперекрест пальцами кисти своих рук.

— Выследили, арестовать приехали, процедил сквозь зубы Володя.

— Уходи, уходи скорее… чрез сад можно! воскликнула через силу Настя.

— Не уйдешь теперь… оцепили, должно быть…

— Да, да! закивала опять немая.

— Лишь бы успеть, вспомнил он вдруг, — в буфете люк есть, в подвал… я говорил Тоне… Если надвинуть шкаф… не отыщут…

— Так скорее идем, идем! возгласила Настасья Дмитриевна и побежала к лестнице.

— Отдай мне мой бужуар! крикнула ей вслед сестра:- как же это ты туда с огнем идешь? Ведь если дом окружили, так со двора вас как на сцене увидят… В буфетной даже и стекла в окнах все разбиты…

Та остановилась, растерянно обернулась на поспешавшего за нею брата.

— Как же найти в этой темноте?… пролепетала она.

Глаза у немой так и забегали. Она схватила молодаго человека за руку:- "я и в потьмах найду место", говорило все как бы радостно загоревшееся лицо ея, — и потащила его за собою.

— Она прячет в этом подвале все, что стащит в огороде, объяснила смеясь догадливая Тоня, — можете ей довериться!

Она взяла бужуар из рук сестры, посветила им, пока они втроем спускались с лестницы, и, вернувшись в свой апартамент, закурила папироску и уселась опять за чтение Le petit chose.… Но строки и буквы прыгали у нея пред глазами, и она досадливо кинула книгу на столик… "Дорвался таки до последняго, проносилось у нея скачками в голове,- как глупо!… Переодевания, прятания в подвале, точно в старых романах… И все равно отыщут, в тюрьму посадят, сошлют… Да еще какия-то прокламации с собою притащил, вспомнила она, — что-б и нас всех заодно с ним, пожалуй, затасуали". И брови ея сжались озабоченно и злобно.

А виновник ея довуки с Настей и Варюшей, спустившись в нижний этаж (они, чтобы не отстать

друг от друга, держались за руки, — немая впереди,), пробрались в буфетную и направились к левой ея стене, где, между дощатым кухонным столом для мытья посуды и старым крашеным шкафом, в котором до ближайшей стирки держала Мавра, мать Варюши, грязныя господские скатерти и салфетки, прорезан был в полу люк над пустым давно ни в чему не служившим каменным подвалом, вышиной в полтора человеческого роста, и пространством шага в четыре во все стороны, с двумя решетчатыми отдушинами, выходившими на "красный двор" над самой землей.

Девочка, присев на корточки, тотчас ощупала железное кольцо, ввинченное в люк, приподняла его и, удерживая одною рукой над головой своею, с замечательною для своих лет силой юркнула под него, как змея, на узкую лесенку, спускавшуюся в подвал, не выпуская руки Володи и как-то особенно дергая ее: "Спускайся-мол скорее!"

— Придержи; Настя! шепнул он сестре.

Она различила в темноте край приподнятаго люда, уцепилась за него обеими руками… Спутники ея благополучно спустились в подземелье…

Пронизывающею, могильною сыростью обдало там сразу молодаго революционера; он вздрогнул всем телом, машинально шагнул к отдушинам, откуда несло еще не успевшим остыть после жаркаго дня воздухом…

А Варюша между тем совала ему в пальцы что-то гладкое и хвостатое: это были две длинныя морковки, оставшияся у нея тут в углу из запаса всяких съедобных в сыром виде овощей, которыя она имела страсть похищать тайком с огорода.

— Спасибо, сказал он, невольно усмехаясь и сжимая ея руки, — я есть не хочу…

Вдруг он почувствовал, что ея губенки крепко прижались в его руке, и что-то влажное и теплое капнуло в то же время на нее…

— Ты добрая девочка, Варя, вырвалось у него дрожащим звуком:- поцелуй меня!..

Но она уже карабкалась вверх по лестнице, словно ничего не слышала… Люк опустился.

— Ну, вот и погребли заживо! с напускною шутливостью, чтобы не дать воли забиравшему его жуткому чувству, сказал себе чрез миг Буйносов, услыхав глухой скрип чего-то тяжело скользившего над головой. Это Настя с Варюшкой общими усилиями, напрягая мышцы и напирая руками, передвигали с места, на сколько могли беззвучно, к счастию их — в эту минуту пустой и потому не особенно грузный сосновый на ножках шкаф, норовя наугад поставить его так, чтобы скрыть под ним кольцо и железныя петли люка.

— Должно быть, довольно, прошептала наконец Настасья Дмитриевна; обшарь рукой, Варя!

Девочка кинулась на земь, тщательно обвела ладонями кругом и под шкафом: дно его прикрывало теперь совершенно и кольцо, и петли… Она задергала утвердительным движением барышню за платье.

— Верно, Варя? спросила для большаго убеждения своего та.

— Мм!.. мм!.. промычала немая и потянула ее за собою в двери: "Нечего-мол более нам делать здесь".

Оне, все также в потемках, поспешно поднялись вверх в мезонин. Варюша побежала к Антонине Дмитриевне. Настя осталась в коридоре, прижавшись к перилам лестницы в ожидании, "что будет далее". Сердце у нея невыносимо билось, ноги подкашивались...

Брат ея тем временем стоял у своей отдушины, напряженно прислушиваясь к долетавшим сквозь узкое отверстие ея звукам: кто-то будто переступал подошвами по траве тут же, в ближайшем от него разстоянии, и от времени до времени тяжело переводил дыхание. Но, кроме стеблей росшаго у стены бурьяна, которые мог он сквозь решотку осязать рукой, Володя ничего во мраке различить не мог... "Стоит тут кто под окном, или мне это только представляется?" как винтом сверлило у него в голове,- и ничего мучительнее этого вопроса, казалось ему, не испытывал он еще с самаго рождения; в его душе ныла злобная, невыносимая тоска...

Но вот уже совершенно явственно зашуршали в бурьяне чьи-то ноги: кто-то торопливо подходил к дому, к тому самому окну буфетной, под которым находился подвал.

— Что? донесся до Володи короткий шепотком вопрос басоваго голоса.

Другой — "а, вот он, стоял-таки тут!" пронеслось в голове молодаго человека, — такой же низкогортанный голос отвечал тем же шопотом:

— Приходили, кажись, сюда в комнату, ваше всблародие, — верно это. Без огня, и разговору не слыхать было, а только ходили, стульями что-ль двигали... И с опаской, надо быть, ваше всбл... потому, чтобы шуму не было старались, это я верно дослышал.

— Предварить успели! досадливо пробормотал первый из говоривших:- из-за плетня, я заметил тогда, выскользнула какая-то фигура... Гляди, если бы вздумал кто из окна, ты так и навались...

— Будьте покойны, ваше... пропуску не дадим.

— Да окно заметь хорошенько...

— Замечено, с угла четвертое.

— Ну, значит пропал я! проговорил мысленно Буйносов, стискивая зубы...

VIII

Следовавшие за возвращением ея наверх минуты показались вечностью Настасье Дмитриевне. Она все стояла на верхней площадке лестницы, опершись о перила ея, устремив глаза вниз и ожидая каждый миг, что "вот они сейчас, сейчас войдут, пойдут шарить по всем комнатам..." "Они к нему заберутся, разбудят!" ударило ее внезапно словно камнем в голову: вся поглощенная тревогой о брате, она забыла об отце "несчастном"...

Она кинулась вниз, пробежала в свою комнату, соседнюю с покоем старика; осторожно потянула дверь к нему, вошла на кончиках ног...

Он спал, уложенный подушками, у окна, в глубоком вольтеровском кресле, служившем ему обыкновенно ложем, (больныя его ноги не переносили лежачаго положения,) — спал мирным, редко дававшимся ему сном. Маленькая керосиновая лампа под стеклянным колпаком, прикрытым зеленым бумажным абажуром, поставленная на какой-то старинной тумбе из красного дерева, за спинкой кресла. освещала ободком падавшего от нея света верх его черепа, его всклокоченные, густые и не совсем еще седые волосы. Дыхания его почти не было

слышно…

"Заснул как ребенок, после стольких ночей, и если вдруг теперь…" И сердце нестерпимо заныло у девушки.

— Мавра, наклонилась она к толстой бабе, приставленной ею к больному на время своего отсутствия и качавшейся теперь от одолевавшего ее сна. сидя на стуле насупротив его, — если будет шум в доме… и его разбудит, скажи… скажи ему, повторила она прерывавшимся голосом, — что-б он не безпокоился… что гости… господин Сусальцев — знаешь? — Пров Ефремович… Ну, что он приехал… понимаешь?..

— Пров Е… А чего-жь этто он по ночам ездит?.. У нас, барышня, сами знаете, про гостей белья нет… Разве с собою привезли… залепетала в ответ, протирая глаза обеими руками и зевая до ушей, мать Варюши.

— Тебя о белье не спрашивают, возразила ей чуть не плача Настасея Дмитриевна:- ты только скажи ему… если он услышит и спросит: кто… Успокой его, понимаешь? Скажи, что приехали… ночевать, гости… И ни за что сама не отходи от него, пока я не вернусь!…

— Чего-жь уходить-то, сама знаю, не бросить их недужнаго! пробурчала угрюмо Мавра, очевидно уколотая раздраженным тоном барышни.

Та, все так же поспешно и осторожно, выскользнула из комнаты и направилась опять в коридор.

На противоположном конце его, за стеклянною дверью, ведшею в залу, блеснул, показалось ей, свет — и в тот же миг погас… Но вот опять вспыхнул он, все сильнее разгораясь… Там были люди, до нея уже доносился гул двигавшихся ног… "Сени у нас со двора никогда не запираются, там и замок давно проржавел", сообразила она, — "они прямо и взошли".

Она безтрепетно направилась в залу, отворила дверь…

— Кто тут, что нужно? громко и твердо выговорила она.

Только-что зажженный фонарь с круглым медным рефлектором мгновенно приподнялся на уровень ея лица и ослепил ей в первую минуту глаза. Но в то же время раздался чей-то, будто уже слышанный ею голос, и кто-то быстро подошел к ней:

— Mademoiselle, je vous prie, ne vous effrayez pas, nous ne sommes pas des brigands! говорил он, сопровождая эти слова каким-то слащаво-любезным хихиканьем.

Она узнала не очень давно назначенного в их уезд исправника, который, не далее как две недели назад, приезжал к ним в Юрьево "рекомендоваться" и очень потешал ея сестру Тоню своею комическою особой. Это был худой, на длинных ногах, господин лет тридцати шести, с придурковатым выражением вытянутаго вперед, как бы постоянно чему-то удивлявшегося лица и с необыкновенным апломбом размашистых движений и витиеватой французской речи. Звали его Сливниковым. Бывшего гвардейского кавалериста, "des revers de famille" — успел он объяснить в тот же первый приезд свой, — "заставили его обратиться теперь в одну из спиц государственной колесницы, un des rayons du char de l'état"… Тоня, пронеслось нежданно тут же в памяти Настасьи Дмитриевны, так и расхохоталась ему на это в лицо, и когда он спросил ее, "чему она так весело смеется", она пресерьезно уверила его, что это от удовольствия, доставленного ей его "остроумным сравнением"…

— Mademoiselle Bouinossof, одна из двух дочерей здешняго владельца, с церемониймейстерскою важностью округляя руки и сжимая губы сердечком, представлял он между тем Настасью Дмитриевну, двинувшемуся к ней за ним военному в голубом мундире с полковничьими погонами, державшему в руке осветивший ее потайной фонарь. Другой, довольно большаго объема, экипажный фонарь с зажженною в нем свечей выступил в то же время из сеней, несомый здоровым, усатым жандармом, за которым следовали какой-то мизерного вида человечек в сибирке, подпоясанный красным крестьянским кушаком, и знакомый Настасье Дмитриевне мужик с бляхою на кафтане — полицейский сотский села Буйносова. Военный (она не ясно различала черты его немолодаго, обросшаго волосами лица,) подошел к ней с учтивым поклоном:.

— Долг службы, сударыня, заставляет нас потревожить ваш покой… произнес он как бы несколько конфузливо, низким и приятным голосом:- вы, впрочем, повидимому, не изволите рано ложиться спать? добавил он тотчас за тех совершенно иным — "инквизиторским", сказала она себе,- тоном.

— У меня старик-отец больной… я иногда всю ночь не раздеваюсь, проговорила она поспешно. — Что же вам угодно… в эту пору… ночью? сочла она нужным спросить еще раз, придавая, насколько позволяло это ей все сильнее разыгрывавшееся внутри ея волнение, выражение недоумения своему лицу.

— О болезненном состоянии вашего батюшки нам известно…

— Oh, mademoiselle, croyez bien que je me suis fait un devoir de le constater! вмешался, разводя руками и склоняя галантерейно голову, изящный исправник.

— Нам известно, повторил, хмурясь и неодобрительно взглянув на своего болтливаго спутника, полковник, — и мы постараемся, насколько это будет зависеть от нас, не безпокоить его…

Он примолк на миг и произнес затем будто несколько смущенно опять:

— Мы имеем поручение арестовать брата вашего, сударыня… бывшего студента Владимира Буйносова…

— Брата! его здесь нет! крикнула она с какой-то внезапною злостью.

Он с видом сожаления повел плечами и возразил тихо и не сейчас:

— Братец ваш выслежен шаг за шагом от самой Москвы и прибыл сюда в седьмом часу вечера… Нам очень тяжело, поверьте, сударыня, примолвил он с выражением полной искренности в интонации, — она почуяла это, — но мы обязаны исполнить наше поручение.

— Le service de l'état, mademoiselle, счел опять нужным присовокупить от себя исправник Сливников, выкидывая вперед обе руки и ловко вытягивая при этом кончиками пальцев безукоризненно выглаженные рукавчики сорочки из-под обшлагов своего полицейского сюртука.

— Это ваше дело! отрезала Настасья Дмитриевна замиравшим голосом, — но я предваряю вас, что вы… никого не найдете… и только перепугаете на смерть моего несчастного отца… Он теперь заснул после многих ночей… страдания… Не входите по крайней мере к нему, ради Бога! вырвалось у нея безсознательным стоном из груди.

Голос у жандармского штаб-офицера дрогнул в свою очередь:

— Клянусь вам, сударыня, что мы войдем к нему лишь в крайнем случае… Где его покой?

— На противоположном конце дома… Из этой залы направо, через две комнаты, боскетная, — так называли прежде, — это его спальня теперь…

Полковник кивнул головой и, приподняв фонарь свой, двинулся к коридору:

— По левой руке что? спросил он.

— Ряд необитаемым или пустых комнат; бывший кабинет, столовая… буфетная, словно проглотила она, — большая девичья, в которой спит единственная наша служанка в доме, с девочкой-дочерью, и выход на черный двор…

— А братец ваш где помещается? спросил опять полковник самым натуральным тоном.

Она была так озадачена этим вопросом, что осталась без языка в первую минуту…

— Брат, когда жил с нами, резко и подчеркивая проговорила она оправившись, не видя, но чувствуя "инквизиторский взгляд этого человека", неотступно прикованный в ней, — занимал комнату рядом с отцом, ту, в которой живу я теперь… Но он уже полтора года как уехал отсюда… и мы с тех пор не видали его…

Полковник направил пламя своего фонаря в глубь коридора:

— Эта лестница в верхний этаж ведет?

— Да, в мезонин.

— Большое там помещение?

— Четыре комнаты.

— Заняты кем-нибудь?

— В одной из них живет сестра моя; другия тоже пусты… там и не бывает никто: нас всего ведь трое в этих хоромах, с плохо выходившею у ней иронией отвечала она, между тем как все сильнее и невыносимее разбирали ее страх и тоска.

— Прелестная сестрица ваша только-что започивала, надо полагать? молвил игриво господин Сливников, улыбаясь и покручивая вытянутые в нитку à la Napoléon III усы свои.

— Не знаю… я сидела внизу, у батюшки… Она давно спит, вероятно; теперь уж поздно…

— Нет, мы видели сейчас свет на верху… mais un instant après огонь погас, tout est retombé dans l'ombre…

— Комната вашей сестрицы на двор выходит? спросил жандармский полковник тем же своим неторопливым и естественным тоном.

— Нет… в сад, ответила она, инстинктивно запинаясь…

— Значит, не в ея комнате, подчеркнул он, — видели мы сейчас со двора огонь?

Вся кровь прилила к голове Насти. В той комнате, откуда они со двора могли видеть огонь, она

сейчас была с Володей, и там — только теперь вспомнила она, — остались его мешки с бумагами… с бумагами, которыя все откроют, все докажут… А он забыл о них и она также… О, Господи!..

— Я сейчас узнаю, я у нея спрошу, пробормотала она растерянно, порываясь вдруг бежать на верх.

Штаб-офицер остановил ее движением руки:

— Я попрошу вас, сударыня, позволить мне сопровождать вас… Фурсиков, обратился он к не отставaвшему от него маленькому человеку в сибирке,- свету бы побольше!..

— Сею минутой! быстро ответил тот, вытаскивая из кармана два стеариновые огарка и зажигая их тут же о свечу фонаря у жандарма.

— Не угодно-ли, сударыня? промолвил полковник, кивая по направлению лестницы и в то же время наклоняясь в уху Фурсикова, которому прошептал несколько слов. — А ты бери свечу, свети нам! приказал он стоявшему у дверей коридора сотскому.

Деревенский полициант, приняв дрожавшими руками огарок из рук Фурсикова, двинулся вперед с испуганным лицом, немилосердно стуча своими смазными сапогами.

— Разуться бы ему, ваше… а то на весь дом слыхать, шепнул полковнику, юркнув к нему бочком, человек в сибирке.

С сотского мигом стащили сапоги, причем он, по собственной уже инициативе, поспешно скинул с себя кафтан и, легкий теперь как птица, неся высоко над головой зажженный огарок и постоянно оборачиваясь на следовавших за ним "жандарского командира и барышню", зашагал вверх по ступеням.

Девушка едва волочила ноги; в глазах у нея двоилось, ссохшияся губы словно прилипли одна к другой. "В голове ни одной мысли не осталось", чувствовала она.

Не доходя двух ступенек до коридора в мезонине, она вдруг дрогнула вся и чуть не опрокинулась навзничь… Спутник ея поспешно поддержал ее за спину. Она откинулась, словно ужаленная этим прикосновением, прижалась к перилам с каким-то внезапным, нервным страхом, устремив глаза на пламя свечи в руках стоявшего над нею, уже на самой площадке, сотского…

И в этот миг услышала она громкий, преувеличенно громкий, возглас сестры:

— Кто это, кто идет?… нельзя… я не одета!…

Настя вдруг теперь, будто вскинутая рессорой, очутилась наверху и жадно устремила глаза вперед…

Антонина Дмитриевна в ночной кофте, с распущенными по плечам волосами и бужуаром в руке, стояла на пороге той роковой комнаты но правой стороне коридора, где…

"О, Боже мой, если она только догадалась и успела спрятать, пронеслось в голове ея сестры, — я ей все, все прощу я буду благословлять ее всю жизнь!"…

А та все с тем же преувеличенным выражением недоумения, испуга и негодования

продолжала восклицать:

— Настя, кто это, зачем?... Ах!... визгнула она уже совсем отчаянно, увидав поднявшегося вслед за сестрой голубаго штаб-офицера с потайным фонарем своим в руке, дунула на свою свечу, подалась телом назад в комнату и захлопнула пред собою обе половинки двери.

— Прошу вас, сударыня, не извольте безпокоиться... начал было тот.

Но она не дала ему продолжать:

— Дайте мне выйти, дайте пройти в свою комнату!... Я сюда зашла нечаянно... Вы меня в осаде держите! кричала она из-за двери не то сердитым, не то шутливым голосом.

— Сделайте одолжение, извольте пройти, мы вам не мешаем.

За дверями послышался ея смех:

— Как "не мешаете?" Я вам говорю, я не одета, а у вас целая иллюминация... Отойдите хоть немножко от двери... я проскользну как тень за вами.

Невольная улыбка пробежала под густыми усами пожилаго жандармского служаки: его подкупил на миг этот женский молодой смех, звучавший так искренно, казалось ему. "Веселаго темперамента особа", подумал он.

— Извольте, сударыня, я глядеть не буду.

И он подвинулся вперед на несколько шагов.

— Тоня, можешь пройти! крикнула ей сестра.

За спиной полковника послышался скрип раскрывшихся дверных половинок, легкие шаги быстро скользнули по половицам, и с другой, левой стороны коридора раздался голос: "Благодарствуйте, monsieur le gendarme", и щелк замкнувшейся двери.

Штаб-офицер поспешно обернулся и направил фонарь свой вслед этому голосу: чуткое ухо его различило в них какую-то подозрительную ноту...

Но особа с "веселым темпераментом" успела уже исчезнуть за дверями, противоположными тем, из которых она только-что выбежала.

Он поморщился с выражением упрека по собственному адресу и, молча, в сопровождении не отстававшего от него сотского, вошел в эту только-что оставленную его комнату.

Настасья Дмитриевна, остановясь на пороге, так и вонзилась дальнозоркими глазами в глубь ея.

Там, на столе, еще не прибранные, стояли блюдо с объеденным до кости бараньим ребром, прибор, графинчик с водкой... Сердце у нея захолонуло... А на диване, на диване — она помнила, как брат, сидя на нем, вырвал мешки, свои у Тони из рук и кинул в угол, — там-ли еще они?... Нет, их там нет более, нет!... "Тоня успела пронести их за спиной этого голубаго, — умница, спасительница!"... А он, он, видимо, имел подозрение и думал тут найти что-нибудь... Как он осматривает все внимательно!... наклонился вот над диваном... даже руку, руку в прореху под покрышку сунул... "Ищи, ищи, хитрее тебя нашлись!" говорила себе мысленно девушка с охватившим ее теперь мгновенно безумно-радостным ощущением и отважно, с

невинным выражением на лице, глядя на обратившегося к ней в эту минуту штаб-офицера.

— Это ваш братец изволил здесь ужинать? иронически проговорил он, зорко в свою очередь глядя ей в глаза.

Она молча и пренебрежительно приподняла лишь на это плечи, как бы не находя даже нужным ответить словом на такой несообразный вопрос, и тут же безсознательно обернула голову на шум раздавшихся за нею в коридоре торопливых шагов.

Мимо нея, напоминая собою ручного журавля, готовящагося взмахнуть со двора на кровлю птичника, пронесся на длинных ногах своих исправник Сливников, направляясь к жандармскому штаб-офицеру. Он наклонился к его уху и зашептал о чем-то, возбуждавшем очевидно в нем необычайное волнение. Его вытянутое вперед, кувшином, лицо изображало одновременно таинственность, усердие и внутренний трепет…

— А-а! протянул в ответ на это шептание штаб-офицер с мимолетною усмешкой. — Я вас попрошу остаться здесь, сказал он ему, сжав вдумчиво брови, — и…

Он приостановился, повел взглядом на девушку:

— Если бы сестрице вашей угодно было… одеться и принять господина исправника в своем покое, я был бы вам очень благодарен.

— Зачем это? вырвалось у нея невольно испуганным тоном.

Он продолжал, как бы не слыхав:

— Я бы и вас попросил пробыть с сестрицей и господином Сливниковым… имеющим честь быть вам лично знакомым, покамест я не вернусь сюда?

— Что же, это вы нас теперь арестовать хотите? вскликнула Настасья Дмитриевна с намеренною запальчивостью.

Ее поразил тот оттенок чуть не женской мягкости, с которым отвечал ей этот "инввизитор":

— Не имею относительно этого никакого приказания, а смею просить вас остаться здесь, сударыня, из одного, поверьте, участия к вам.

Она похолодела вся вдруг: тайник брата ея отыскан, поняла она как-то разом…

Полковник отвел между тем исправника в угол:

— Постарайтесь непременно, обрывисто и вполголоса молвил он ему, — войти к этой барышне… к другой…

— Знаю, замигал тот, и сумрак его лица внезапно сменило сияние удовольствия, которое обещало ему возлагаемое на него поручение:- mademoiselle Antonine, персона необыкновенная!

— Чем так?

— Красота… Une cariatide, mon colonel! И ум… пирамидальный ум!… Она воспитывалась в Петербурге, в доме тетки, известной графини Лахницкой… в салоне которой и я блистал когда-то! примолвил он нежданно и испустил глубокий вздох.

— Ну, так посмотрите, что-б она не провела вас, эта умница!... Придется, может быть, сделать обыск в ея комнате, а до времени я буду вас просить внимательно наблюдать за нею... да и за сестрой не мешает... чтобы чего-нибудь не успели оне утаить или уничтожить...

Господин Сливников усмехнулся самодовольно и игриво:

— Полковник, можете быть покойны; самыя коварныя женщины в свете, могу сказать, не были в состоянии провести меня; j'ai des yeux de lynx pour pénétrer leur astuce... Но полковник не счел нужным слушать далее. Он вышел в коридор и, приказав сотскому оставаться со своим огарком на площадке лестницы "и никого не пускать вниз до его возвращения", сам быстро спустился по ступенькам в нижний этаж.

IX

"Что же делать, что же делать теперь?" словно клещами рвало в мозгу Настасьи Дмитриевны. За несколько мгновений пред этим "ни одной мысли не оставалось у нея в голове", говорила себе она;- тысячи обрывочных, путавшихся, противоречивых, мучительных мыслей одолевали ее теперь. "Бежать вниз за этим голубым, или не бежать?..." Они, очевидно, объясняла она себе, отыскали подвал под буфетом, — "оне с Варюшкой в темноте не надвинули, верно, шкафа так, чтобы прикрыть им весь квадрат люка, и поперечная линия одной из сторон его могла обозначиться на глади некрашеного пола," — они брата ея берут в эту минуту... А если нет, перекидывало ее вдруг в противоположную сторону, — если она ложно истолковывает волнение, замеченное ею на лице этого прибежавшего снизу "глупаго исправника", и его шушукание à parte с тем?... Может быть, напротив, "они там в отчаянии, что ничего найти не могут..." Бежать туда, показать, что этим интересуешься, — не усилит-ли она этим их уверенность, что тот, за кем приехали они, спрятан в доме?... Она и без того уже, казалось ей опять, "слишком много разговаривала с этим жандармом, недостаточно хорошо сыграла роль: ей следовало не разговаривать, а показать самое решительное негодование, что смеют ночью врываться, из-за каких-то безсмысленных подозрений, в дом мирных граждан, к больному старику и беззащитным женщинам..." Да, но они не приняли бы слов ея в уважение, и вышло бы хуже: "они без церемонии ворвались бы в нему, к несчастному..." Нет, итти нельзя, — надо оставаться здесь "гордо и равнодушно", спокойно ждать. А между тем, всплывало снова кипучею волной в голове ея, — а между тем "они теперь его, Володю..."

— С чем это вы сейчас прибежали к этому... господину жандарму? не выдержав, обратилась она со внезапным вопросом в исправнику, очутившись с ним вдвоем в коридоре, в полутьме.

Он тотчас же напустил на себя вид необыкновенно таинственный, выкинул руки вперед, вытягивая рукавчики свои из-под обшлагов, и отчеканил медленно и веско:

— Вы мне позволите не отвечать вам на этот... тенденциозный вопрос, si j'ose m'exprimer ainsi.

— Почему так и что тут тенденциознаго? протянула она с досадливою иронией в тоне.

— La discrétion est le premier devoir de mon état, mademoiselle, объяснил он, склоняя голову несколько набок и быстро, старо-кавалерийским пошибом, сдвигая в то же время каблуки свои, на которых, впрочем, увы! уже не звенело шпор.

— Это одне пошлыя французские фразы — больше ничего! вскликнула Настя вне себя.

Господин Сливников очень оскорбился.

— Позвольте, милостивая государыня, процедил он с ядовитою учтивостью, — выразить вам

мое удивление, слыша со стороны женской особы… такия… странныя определения!.. Я имел честь быть принятым у тетушки вашей, la comtesse Lachnitzki… и вообще dans les meilleurs salons de Pétersbourg… и никак не ожидал, чтобы из ваших… pour ainsi dire, уст… Я, впрочем, не считаю себя в праве, прервал он себя вдруг, — заниматься моею… personnalité в эту минуту. Обязанность моя заставляет меня просить вашу сестрицу… mademoiselle Antonine Bouinossof… сделать мне честь принять меня для… для некоторых… Где ея комната? отрезал он, никак не отыскав надлежащаго термина, чтобы выразить, для чего именно нужно было ему видеть "mademoiselle Antonine".

— Сестра моя ложится, если не совсем уже в постели! с неодолимым испугом в голосе ответила ему на это девушка, — ея нельзя видеть!

— Я не имею права в этом сомневаться, возразил он на это с оттенком все той же некоторой ядовитости: — час, действительно, несколько поздний… Но, вы понимаете, le service de l'état avant tout, я вижу себя принужденным…

— Но это не возможно, совершенно не возможно! громко, горячо, не давая ему продолжать, протестовала она.

— С кем это ты споришь, Настя? раздался голос Антонины из-за двери в ея комнату ("спорившие" стояли как раз насупротив этой двери).

— С господином исправником… monsieur Сливников, которого ты знаешь… Он непременно для чего-то. хочет тебя видеть… Разве можно этого требовать… от девушки… в такое время? растерянно залепетала ей в ответ сестра.

— Pour service d'état, mademoiselle, жалобною фистулой, для вящшаго убеждения красавицы, счел нужным пропеть в свою очередь исправник, — иначе, vous comprenez, я слишком… je suis trop bien élevé, mademoiselle…

— Вы одни? спросила Антонина.

— То-есть вдвоем, захихивал он:- mademoiselle votre soeur и я.

Она тоже засмеялась за дверями:

— А тот же где, l'oiseau bleu?

— Он пошел вниз… ответила, не договорив того, что просилось ей на язык, Настя.

— А-а!.. Хорошо, погодите, я сейчас сделаю себя презентабельною, к страшному изумлению своему услышала она ответ сестры.

Сливников вскинул победно голову вверх и вытянул еще раз из-под обшлагов свои безукоризненно свежие рукавчики.

Минут через пять ключ щелкнул в замке, дверь отворилась, показалась щедушная фигурка Варюши, с любопытством устремившей свои большие, черные глаза на незнакомаго ей господина, и из глубины только-что освещенной лампою, просторной, наполненной мебелью и представлявшей вообще весьма "комфортабельный" вид комнаты послышались слова хозяйки:

— Войдите!… Bonsoir, monsieur Сливников!

Она полулежала на низкой кушетке, словно вся потонувшая в широких и длинных складках облевавшей ее кашемировой блузы пунцоваго цвета с бежавшим по всем краям ея широким узором à la turque; такого же цвета ленточный бант с длинными концами перехватывал на затылке ея распущенные волосы. Белая, изящная, до локтя обнаженная рука свободно подымалась над опавшим вокруг ея широким рукавом блузы, упиралась на спальныя подушки, лежавшие под головой ея, и на ладонь этой руки опирался в свою очередь ея чуть выдававшийся вперед, словно выточенный подбородок... Она смотрела какою-то "восточною царицей" в этой лежачей, нестесненной позе, в этих ярких цветах и пышных складках: так, по крайней мере, представилось восхищенному исправнику, "блиставшему когда-то" в салоне графини Лахницкой. "Клеопатра, принимающая Антония", пронеслось у него несколько смутным, но приятно защекотавшим его вдруг воспоминанием.

Он быстро направился к ней, расшаркиваясь от самаго порога и широко округляя руки.

— Mademoiselle, j'ai bien l'honneur...

— Mo-onsieur, протянула она преувеличенным тоном французской актрисы.

Она приподнялась слегка и медленно повела на него снизу вверх не то скучающим, не то насмешливым взглядом.

Он стоял теперь пред нею и глядел на нее в свою очередь не то восторженно, не то растерянно, с высоты своего длинного туловища.

— Садитесь же, раз вы здесь, уронила "Клеопатра", видимо тешившаяся его заметным смущением. — Вы желали видеть меня для какого-то... service d'état. Так вы, кажется, сказали?.. Что же вам угодно?

Бедный Сливников окончательно растерялся: в мозгу его никак не слагалось ясного представления, какая именно роль предлежала ему в этом "service d'état".

— Mon Dieu, mademoiselle, промямлил он, — vous comprenez qu'il y a des circonstances...

— Говорите, пожалуйста, по-русски, перебила она его тоном капризного ребенка:- мы ведь с вами не мазурку на бале танцуем...

— Да, вы правы, Антонина Дмитриевна, воскликнул нежданно на это со вздохом, похожим на стон, бывший кавалергард, встряхивая плечами, на которых уже давно отсутствовали рогожки блестящих серебряных эполет, — время счастливых мазурок для меня навек миновало; я здесь по должности... je ne suis que l'esclave d'un triste devoir...

И, проведя себе рукой по волосам, он эффектно опустился прямо против нея на стул, стоявший рядом с валиком кушетки, в который упирались ея, вдетыя в крохотныя туфли, обнаженныя ноги, и так и замер вдруг в страстном созерцании их. Глаза у него заискрились, как у старого кота пред куском курятины.

Она, не смущаясь и не отдергивая этих выступавших из-под края блузы нежно белых, узеньких, породистых ног, чуть-чуть охваченных кругом меховою темною оторочкой ея пунцово-атласных "mules", застукала ими как бы нетерпеливо по валику:

— Вы мне все же не объяснили, в чем состоит теперь этот ваш "devoir?"

Он хотел ответить... но только руками развел.

— Ваша светскость не решается выговорить роковаго слова, засмеялась она своим холодным, ироническим смехом; так я вам скажу сама. Вам нужно у меня… как это говорится?.. обыск сделать?

Исправник прижал стремительно обе руки ко груди:

— Mais pas du tout, mademoiselle, вы ошибаетесь… Я, во всяком случае… мне ничего подобного не предписано…

— Пожалуйста, можете! молвила она на это, будто не слыхав его возражения и все также лежа с закинутыми за голову руками. — Варя вам даст мои ключи, ищите! Je vous défie найти что-нибудь у меня: я ни сама писать, ни получать писем терпеть не могу, а когда получаю — рву, прочитав…

— Я вам верю, Антонина Дмитриевна, верю! поспешил заявить он, наклоняясь с места чуть не до самых туфель ея ("сейчас бы их долой, а губами к этой peau rose — и не оторвался бы, кажется, до смерти! " проносилось в голове господина Сливникова в эту минуту).

Но вдруг он невольно приосанился и насторожил уши:

— А еслиб у меня были… еслибы мне вздумалось держать у себя… чьи-нибудь бумаги, говорила "Клеопатра" с каким-то загадочным подчеркиванием и разстановкой, — неужели вы думаете, что я… не успела бы их скрыть, уничтожить… сжечь наконец, прежде чем вы или этот ваш голубой господин догадались бы притти искать их у меня?

— Сжечь? повторил совершенно безсознательно исправник, — где?

— А хоть бы вот тут! медленно проговорила она, ленивым движением руки указывая на печь со створчатыми медными заслонками, подле которой стояла ея кушетка. — Вы разве не слышите, что здесь гарью пахнет? спросила она его чрез миг с тем же загадочным выражением на подергивавшихся злою усмешкою губах.

Он недоумевая глядел на нее… Гарью, и даже именно жженою бумагой, пахло действительно, казалось ему, даже казалось, что он это почувствовал, как только вошел в комнату… Но, "еслиб это была правда, неужели бы она решилась первая, так открыто и смело…"

Настасья Дмитриевна, вошедшая вслед за ним и с мучительною тревогой прислушивавшаяся к этому разговору из глубины комнаты, встретилась в эту минуту взглядом с глазами Вари. Девочка стояла в углу, за спиной исправника, и указывая ей быстрым движением опущенных век на две чугунныя вьюшки, вынутыя из трубы и лежавшие на полу за выступом печки… Сомнения не оставалось: Володины мешки сгорали в эту минуту за этими притворенными медными заслонками… Настасья Дмитриевна, со внезапным порывом. подбежала к сестре, схватила ея руку и крепко, судорожно сжала ее.

Та мельком оглянула ее, и в мимолетной усмешке, скользнувшей по ея губам, сказалось обычное ей высокомерное, чтобы не сказать презрительное, выражение.

— Вы видите, как сестра моя довольна много, monsieur Сливников? обратилась она тут же к нему.

— Я вижу, что вы ужасно любите мистифировать вашего ближняго, широко засмеялся он на это, решив внутренно, что "прелестная красавица" тешится и даже несколько кокетничает с ним.

— Вы думаете?..

И, не ожидая ответа, она, с капризным laisser aller светской женщины, перекидывающейся от скуки с предмета на предмет в беседе с неинтересным гостем, перебила себя новым вопросом:

— Скажите, пожалуйста, как мог такой человек, как вы, попасть в исправники?

Сливников так и просиял (он, разумеется, понял ея слова в самом лестном для себя смысле,) и, отблагодарив ее за любезность нежно умиленным взглядом, взъерошил волосы нервною рукой и вдохнул из самой глубины легких:

— Hélas, mademoiselle, я сам часто делаю себе этот вопрос… Mais que voulez vous, — la fatalité! Я был молод, мое положение, чад некоторого успеха в свете, и… puisqu'il faut tout avouer, примолвил он с неподражаемым пафосом, — и… заблудшия женщины меня потеряли…

Антонина Дмитриевна привскочила на своей кушетке, спустила ноги, подалась. лицом прямо к его лицу:

— Как вы сказали: кто вас потерял, какия женщины?.. И, не выдержав, так и покатилась со смеху…

Бывший гвардеец чуть не свалился со своего сидения. Он не ожидал этого безцеремоннаго, этого оскорбительного смеха, — он так мало ожидал его в эту минуту… Все лицо его запылало, губы задрожали. Неведомо, что нашел бы он ответить "дерзкой особе", если бы в этот самый миг гул выстрела, внезапно раздавшегося в нижнем этаже дома, не поразил слуха всех бывших в комнате…

— А-а! безотчетно крикнули в перепуге обе сестры…

Настя кинулась со всех ног в коридор. Исправник, опрокинув впопыхах два стула, сверкая не то злобно, не то растерянно блуждавшими глазами, понесся стремглав за нею.

— Куда вы, куда, сударыня?.. нельзя, я не могу позволить! кричал он, догоняя ее и схватывая за руку.

Она с негодованием вырвала ее.

— Пустите меня… пустите… вы с ума сошли!..

— Нельзя, говорю вам, нельзя… я не дозволяю!… Сотский! наскочил он в азарте на злосчастного мужика с бляхой, который ни жив, ни мертв, с побледневшим как полотно лицом, продолжал все так же стоять у перил со своим огарком, — ты мне жизнью своей и детей твоих ответишь, если кто-нибудь выйдет отсюда без моего приказания!…

И он чуть не кубарем, путаясь и цепляясь каблуками за ступени, полетел вниз по лестнице.

X

Настасья Дмитриевна не ошиблась в первом предположении своем: тайник брата ея был открыт маленьким человеком в сибирке (это был один из самых бойких московских "агентов", действительно выследивший нашего "пропагандиста" от самой Москвы и успевший о прибытии его в Юрьево дать знать верст за восемь в уездный город находившемуся там по случаю начавшихся в губернии арестов жандармскому полковнику,), — открыт по следу, оставленному

подошвами ея и Варюши на слое пыли, покрывавшей пол буфетной, и по продольной щели люка, выглядывавшей из-под шкафа… Об этом обстоятельстве и прибежал наверх Сливников известить жандармского штаб-офицера. Тот, осмотрев место, тотчас приступил к делу; велел отодвинуть шкаф, поднять люк за открывшееся кольцо его и, наклонившись сам над зачерневшею пред ним глубиной подвала, направил в нее свет своего фонаря… Из глубины этой в тот же миг раздался выстрел…

Когда наш, глубоко уязвленный сестрами Буйносовыми, исправник влетел в дверь буфетной, он в первую минуту едва мог дать себе отчет в том, что совершалось пред ним. Со двора в окно, с грохотом сабли и звоном стекла, посыпавшегося из сорванных рам, стремительно влезал на звук выстрела оставленный там для наблюдения жандарм. Полковник, все также держа в руке свой простреленный, но не погасший фонарь, стоял над отверстием подвала рядом с Фурсековым, светившим кому-то вниз большим экипажным фонарем в одной руке и зажженным огарком в другой. Снизу из темени подвала доносился гул какой-то борьбы, глухие возгласы и тяжелый хрип ускоренных дыханий.

— Гляди, что-б он в тебя… коротко, не договаривая, остерегал сверху полковник.

— Не выпалит, ваше всбл… за руки держу, отвечал снизу голос.

— Держи! кричал Фурсиков, быстро передавая фонарь свой и огарок подоспевшему со двора жандарму и готовясь сам спуститься в подземелье с развязанным кушаком своим в зубах.

— Оставь… сдаюсь! послышался из подвала другой голос.

— Как отняли, так и сдаешься, ответил на это добродушный солдатский смех. И из подвала поднялась до пояса по лестнице бравая фигура другаго служиваго в жандармской форме, прыгнувшего туда прямо, помимо этой лестницы, едва успел раздаться выстрел.

— Ривольвер ихний извольте получить, ваше… доложил он, протягивая оружие начальнику и принимая веревку из рук сыщика. — Связать прикажете? обрывисто и понижая голос спросил он чрез миг.

— Выходите! молвил вместо ответа штаб-офицер, наклоняясь в отверстию.

Фигура служиваго исчезла, и вместо него, медленно подымаясь по ступенькам, показался бледный как смерть "пропагандист", порывисто переводя дух сквозь судорожно стиснутые зубы, злобно сверкая глазами, неестественно бегавшими по сторонам.

— Обыскать… может нож… или что… подшепнул как бы в виде вопроса Фурсиков на ухо полковнику.

Он, не ожидая разрешения, подскочил в Буйносову и как-то очень быстро и ловко провел сзади руками по обеим сторонам его туловища от плеч и до сапожных голенищ, запустив по пути эти рук и в карманы (оказавшиеся пустыми) его жакетки, плачевно изодранной в пылу единоборства… и, также быстро выхватив переданный им в руки жандарма зажженный огарок, кинулся с ним светить оставшемуся в подвале товарищу:

— Гляди, Лазарев, шептал он, ложась грудью на край люка и опуская свой светоч в отверстие на всю длину руки, — не подвинул-ли он где чего… Кирпич ощупай… может где вынут…

— Ваша фамилия? коротко, для формы, спрашивал между тем арестованного штаб-офицер.

— Не желаю отвечать, резко ответил на это тот.

— Ах, батюшки-светы, барин наш молодой! визгнула в то же время какая-то женщина у двери, выходившей в коридор.

— Что за особа? вскинулся с места безмолвный до сих пор исправник Сливников, находя нужным заявить и о своем усердии. Он кинулся было за нею…

Но "особа" — это была старуха Мавра, выбежавшая стремглав на шум выстрела из комнаты старика Буйносова, — успела уже исчезнуть во мраке коридора…

Охая и вздрагавая с испуга, вбежала она теперь обратно в "босветную", где больной, разбуженный и встревоженный тем же выстрелом, лихорадочно метался в своем кресле.

— Qu'est ce qu'il y a?… что за шум… кто стрелял тут? забормотал он;- вы оставили меня одного… Настя где, ma fille? говорил он озираясь, — где барышня?..

— Не знаю, батюшка, ничего не знаю, заголосила баба в ответ, — не видала… Стало, и их забрали…

— Кого?.. кого "забрали"?.. Что ты говоришь? вскликнул старик, затрясшись весь и ухватываясь костлявыми пальцами за ручки кресла.

— И ума не приложить, кормилец, что у нас тут деется! Народу понаехало — страсть! Полиция, жандары, видать… И с барчуком с нашим, с Володимером Митричем…

— С Вольдемаром, с моим сыном! перебил ее барин:- жандармы, говоришь ты, привезли? Жандармы!…

Он тяжело, судорожно перевел дыхание, примолк на миг, как бы соображая

— Ils l'ont pris, — c'est cela!… Так должно было кончиться, je l'avais prévu depuis longtemps…

Голос его оборвался. Он разсуждал громко с самим собою, примешивая, по обыкновению, французские фразы к русской речи, болезненно мигая отяжелевшими веками и растерянно уставившись на свою толстую собеседницу…

— Доподлинно доказать этого не могу, батюшка, объясняла она ему тем временем:- привезли, стало, их, аль сами они были тут попрятамшись, а только я своим глазам видела: они сами и есть, из подвала, что под столом в буфетной, изволите знать, — гляжу, по лестничке оттедова подымаются, Володимер Митрич наш, значит… А их тут сичас жандар, аль какой там другой из ихних, — потому дым и тёмно, хоша фонари у них, так комната-то глубокая, сдали не различить, — только он его, голубчика моего, за рученьки, за ноженьки… вязать знать хотел… Я тут сичас и убегла со страху, всхлипнула в заключение Мавра, жалостливо качая головой.

Глаза старого "кавалера посольства" мгновенно блеснули искрой:

— И он, Voldemar, выстрелил в того, кто наложил на него руку?

— И, что вы, барин, не стреляли они, не, чего Бога гневить!… Разве в подвале стреляли… потому оттедова дым шел… а чего не видала — не могу сказать…

— Il a voulu же tuer, le malheureux, лепетал про себя Дмитрий Сергеевич, — il a songé à l'honneur de son nom… Un Буйносов "на скамье подсудимых", comme ils disent a présent! Смерть

лучше, да, — cela aurait mieux valu… Он жив? как бы безсознательно спросил он вслух.

— Живы, батюшка, живы, насчет этого не извольте безпокоиться! Говорят. Сама слышала: "Не хочу, мол, говорят, отвечать"!… Громко так выговорили, в голос… А уж что им отвечать требуется — не могу доподлинно доложить, не дослышала…

Голова старика изнеможенно упала на грудь:

— Они привезли его теперь сюда pour le confronter avec sa scoeur, с Настей… Elle a toujours partagé ses idées subversives… Они и ее возьмут, — ils me la prendront… Ah! c'est le dernier coup!… вырвалось у него стоном.

Мавра подбежала к нему:

— Не извольте убиваться, батюшка-барин, может Бог даст…

Он повелительным движением руки заставил ее замолчать и повел кругом себя долгим взглядом неестественно расширившихся вдруг зрачков. Внутри его словно созревало в эту минуту какое-то важное, крупное решение…

— Assez souffrir! проговорил он наконец чуть слышно, и, обращаясь к Мавре:- ты ступай, ступай опять туда! сказал он, — и оставайся пока… ну, пока они там совсем… Ты мне не нужна, понимаешь?

Она недоумевая поглядела на него. Ее так и подмывало бежать опять на зрелище происходившего в буфетной, но она боялась "барышни", строго наказывавшей ей не покидать недужнаго.

— А как если вам что потребуется, барин? нерешительно проговорила она.

— Ничего мне не требуется; ступай! Я… я спать буду…

— Разве барышню отыскать пойду… Спросить их…

Он замахал опять руками и чуть не плачущим голосом:

— Не нужно, крикнул он ей, — никого мне не нужно, говорят тебе, ни тебя, ни барышни… Я, понимаешь, я покою… я спать хочу…

Баба помялась на месте — и вдруг широко осклабилась:

— Может, выкушаете… на сон грядущий? не то лукаво, не то таинственно подчеркнула она.

Глаза его внезапно так и запрыгали, губы судорожно затряслись:

— А у тебя… есть? прошептал он, подмигивая.

— На шкалик осталось… С моим удовольствием, примолвила она, выходя за перегородку и, повозившись там с минуту, вынесла на подносе большую рюмку светлой влаги.

Он схватил ее дрожащими от жадности руками, пригубил, сморщившись, будто от какого-то гадливаго ощущения, и торопливо опрокинул затем себе в горло.

— Ну, вот… вот теперь и согрелся, заговорил он, гладя себя рукой по груди, с блаженным

видом:- теперь я усну... крепко усну, засмеялся он каким-то странным смехом. — Прощай, Мавра, спасибо!...

Он приткнулся головой в подушке и закрыл глаза.

Мавра постояла, постояла над ним, — он оставался недвижим.

"Должно, започивали в самделе", решила она, "потому ежели теперича и сына у них родного забрали, так это они вполне чувствовать не могут; потому все, почитай, как не в полном своем разсудке,- и как если им, значит, во время свою плепорцию отпустить..."

Разсуждения своего она до конца не довела и, скинув для большей предосторожности стоптанные башмаки свои, которые сунула тут же под ближайшее кресло, поспешно понеслась босиком в коридор, пугливо прижимаясь во мраке к стенке и со страстным любопытством направляясь на свет, слабо выбивавшийся из буфетной.

Туда только-что вошло теперь новое лицо: невысокаго роста молодой человек, лет двадцати восьми, с жиденькими белокурыми волосиками на кругленькой головке и золотым pince-nez на вздернутом к верху пуговкой носике. Это был товарищ прокурора, Тарах-Таращанский (товарищи по Училищу Правоведения называли его "Трах-Тарарах",), заигравшийся в ералаш у председателя Управы, в городе, и потому несколько опоздавший своим прибытием (он вместе с жандармским полковником состоял членом той же особой коммиссии по политическим делам и извещен был им своевременно об имевшем быть в Юрьеве арестовании).

Он тем более, казалось, старался придать внушительности своей наружности, чем менее дано ему было от природы. Он глядел надменно сквозь свои оптические стекла, и все лицо его имело такое выражение, будто он говорил себе в это время: "Ах, как здесь скверно пахнет"!

В расположении духа он был сквернейшем: во-первых, проиграл у председателя пять робберов сряду, а, во-вторых, выходя из тарантаса, запнулся высоким каблуком о подножку, упал и несколько зашиб себе коленку.

— Тут у вас сам чорт ногу переломит, говорил он фальцетом, фыркая и морщась, Фурсикову, выбежавшему на шум его экипажа встречать его в сени с огарком в руке. — Что, накрыли? коротко и как бы презрительно кинул он ему вопрос.

Агент передал ему обо всем происшедшем.

— Так!... Где-жь это у вас там? Проведите! произнес он повелительным и скучливым голосом.

Он вошел, прихрамывая, в буфетную, не протянул, а сунул, не размыкая пальцев, всю руку свою в руку жандармского штаб-офицера, тут же отдернул ее и проговорил сквозь зубы: "вы без меня уже все покончили, кажется", закинул голову в сторону арестанта, которого один из жандармов держал за локоть.

— Это что за живыя кандалы! грозно крикнул он вдруг:- прочь руки!

Ошеломленный служивый поспешно вытянулся, пристегнув по форме эти руки во шву своих брюк, и вопросительно покосился в сторону своего начальника.

Полковниу только чуть-чуть поморщился.

— Господин Буйносов? спрашивал между тем арестанта, разглядывая его с любезною, словно

поощрительною улыбкой, товарищ прокурора. И тут же:- Вы, впрочем, нисколько не обязаны отвечать, поспешил он прибавить, — дело следствия уяснить и определить вашу личность.

Он отошел опять в полковнику и проговорил скороговоркой:

— Ничего не нашли при нем?

— Были, по всей вероятности, у него прокламации и эти их книги, отвечал вполголоса тот досадливым тоном, — но это, кажется, успели уничтожить… У него тут две сестры, пребойкия, повидимому, девицы. Я просил господина исправника понаблюсти за ними, пока я тут… распоряжался. Но, кажется, поздно. Он сейчас передавал мне: по его мнению, оне все сожгли в печке пред тем, как он вошел к ним. Он слышал, входя туда, запах жженой бумаги…

Таращанский разсмеялся, словно ужасно обрадованный:

— Само собою! Что же вы думаете, все эти лица глупее нас с вами, полковник? проговорил он почти громко.

Сливников, вертевшийся около разговаривавших, поспешил заявить в свою очередь, таинственно наклонясь к его уху:

— Un petit обыск у этих девиц ne serait pas à dédaigner, monsieur le substitut, подчеркнул он, считая нужным дать понять, что мне-мол, видите, известно даже то, как называется во Франции товарищ прокурора: — ce sont des personnes fort délurées, et même très insolentes, промолвил он, напирая (очень уж он чувствовал себя оскорбленным этими "девицами").

— Вы же сами сейчас говорили полковнику, что эти "девицы" успели уже все сжечь, пренебрежительно ответил ему Таращанский, не глядя на него и вертя вокруг пальца шнурком своего pince-nez, — чего же там еще искать!.. И как это вы все, господа, любите безполезно усердствовать! проговорил он вдруг на манер сентенции: — арестуют теперь эту молодежь десятками по всем углам России, и у всех одно и то же находят: те же прокламации, та же Сказка о четырех братьях… Возы этого добра в Москву навезли. Лишний экземпляр вам что-ли нужен?..

Он пожал плечами, прищурился на молча внимавшее ему серьезное лицо пожилаго штаб-офицера и пропустил как бы в специальное назидание его:- Раздули все это юное фантазёрство в государственный заговор и…

Громкий голос арестанта не дал ему договорить:

— Что же вы, долго меня на ногах держать будете? насилованно грубо говорил он:- я устал, спать хочу.

— Вас отвезут сейчас спать в город, строго проговорил ему на это жандармский полковник.

— Оформить, действительно, можно будет там, завтра, одобрительно кивнул на это товарищ прокурора, разчитывавший застать партнеров своих еще в сборе у картежника-председателя.

Шум спора, торопливый топот чьих-то шагов за раскрытыми дверями буфетной прервали его еще раз.

— Это оне, вскликнул Сливников, — malgré ma consigne!..

Он кинулся в коридор.

— Что там такое? досадливо уронил Таращанский:- еще какой-нибудь избыток официального усердия!..

И он, вздев на нос pince-nez и вскинув голову вверх, отправился за исправником.

Он увидел его, раскидывающаго в волнении руками, лицом к лицу с молодою особой, казавшеюся не менее взволнованною, чтобы не сказать раздраженною, чем он сам. Мужик-сотский, все с тем же перепуганным видом, освещал ея бледное лицо, держа высоко над головой своей облепивший ему все пальцы стеарином огарок.

— Я не могу... я не хочу, наконец, говорила она вне себя, — оставаться там далее под стражей... Я не арестантка, я у себя в доме, имею право на полную свободу моих действий... Да, я насильно вырвалась оттуда, я оттолкнула вашего сторожа... и сбежала сюда... Что же, вы за это меня колесовать будете? вскрикнула она в заключение вызывающим тоном и сверкая влажными от проступавших на них слез негодования глазами.

— Mais permettez, mademoiselle, восклицал в свою очередь исправник, продолжая разводить руками, — вы понимаете, ma consigne...

— Позвольте! визгливо перебил его голос господина Тарах-Таращанского, и сам он выступил вперед. — Я имею честь видеть одну из... из хозяек этого дома, не правда-ли? обратился он к Настасье Дмитриевне;- я здесь представитель прокурорской власти, сударыня, и в этом качестве обязан выслушать... и удовлетворить всякое ваше... законное требование. Что вам желательно?

— Мне желательно, все так же пылко ответила она, — свободно пройти к больному отцу... к себе в комнату, наконец... А господин исправник поставил на верху у лестницы своего сотского и приказал никого не пускать оттуда...

— Mademoiselle, je ne fais pas de l'arbitraire, горячо протестовал Сливников, — я только исполнял приказание, данное мне господином пол...

— Позвольте! не дал ему договорить опять тот же фальцет. И низенький "представитель прокурорской власти" глянул снизу вверх на длинного исправника, как будто хотел его тут же спалить молнией своего взгляда.

Сливников, действительно, как бы оторопел весь... Видимо довольный произведенным впечатлением, Таращанский отнесся снова в девушке:

— Я не нахожу возможным одобрить образ действий господина исправника в настоящем случае, но, великодушно примолвил он, — смею думать, что он при этом руководился соображениями гораздо более гуманнаго, чем, так сказать, чисто полицейского свойства. Формальности службы заставили нас всех съехаться сюда для арестования одной личности... Я считаю безполезным называть ее... И зрелище этой процедуры не могло, конечно, доставить вам особенного удовольствия...

— И ее арестовали... эту личность? поспешила и едва была в силах проговорить она.

— Повидимому.

— Что это значит? удивленно спросила она, глядя на него во все глаза.

Он чуть-чуть усмехнулся:

— Арестованный назвать себя не пожелал.

"Я так и знала", пронеслось в голове Насти: "он не сказал своей фамилии; есть, может быть, надежда"…

— Скажите, вдруг вспомнила она, — кто стрелял здесь, — я слышала сверху, — он?

— Само собою, небрежно промолвил на это представитель юстиции, оглянулся и, видя, что сконфуженный исправник ушел опять в буфетную:- Это не должно безпокоить вас, добавил он. — выстрел не имел последствий, и мы обойдем вероятно и вовсе этот эпизод в нашем протоколе… А бумаги его вы сожгли? так и ошеломил он ее нежданным вопросом.

Она вся в лице переменилась, вздрогнула…

Он ухмыльнулся уже со всей высоты своего величия:

— Я, надо вам сказать, вообще всему этому не придаю никакого серьезного значения!…

Вышедший в коридор в эту минуту штаб-офицер притронулся к его локтю. Таращанский обернулся и отошел с ним в сторону.

— Я свое кончил, Валериан Петрович, сказал полковник, — и увожу сейчас арестанта. Если бы вы с вашей стороны сочли нужным произвести дальнейшее дознание в этом доме…

— Никакого! отрезал тот:- я бы девять десятых и тех, которые у нас сидят, отпустил на все четыре стороны, а не то что-б увеличивать их число…

Штаб-офицер мотнул головой, как бы говоря: "Это ваше дело"! и отправился распоряжаться своим…

XI

Кто-то в то же время дернул растерянную Настасью Дмитриевну сзади за платье.

Она быстро обернулась и увидала Мавру… Толстая баба вся тряслась, тяжело переводя дух…

— Что такое?… зачем ты здесь?… что батюшка? пробормотала девушка со внезапным замиранием.

— Не знаю, барышня, что и сказать, выговорила та чрез силу:- тёмно у них… и голосу не подают…

— Что значит "не подают"? Он спит?

— Не могу доподлинно сказать, матушка-барышня, потому вошла я к ним сичас — тёмно, смотрю, а сами видели — лампа у них горела… "Барин, говорю, а барин"!… а они голосу не подают. Я тут очень спужалася и побегла вас искать…

— Он спал, да, я видела… и у него горела лампа… Погасла как-нибудь, верно… Я говорила тебе не оставлять его… зачем ты ушла?… обрывались слова у Насти, пока она, не теряя времени, беглым шагом неслась в темную глубину коридора, по направлению к девичьей, чрез которую был ход в спальню больнаго.

— Сами они послали меня сюда, матушка, объясняла Мавра, поспешая за нею, — потому, как здесь выпалили, они мне: "Поди сичас, узнай", говорят... И вдругорядь посылали опять, после того, значит, когда я им про барчука, про Володимира Митрича докладывала...

— Ты ему сказала про брата?.. Господи!.. Разве не могла ты понять, что не следовало этого говорить ему!..

— А почем мне понять, барышня! Кабы вы приказывали, али что, а то, сами знаете, баба я темная, где мне разсудку занять... И ничего от эвтаго от самаго, что я сказала, вреда им не случилося, ей-же ей, говорю... "Ступай, говорят, опять туда, а я спать хочу," — только всего и сказали они на этто...

В глубокой темноте вошли оне в девичью.

— Тут на лежанке коробка со спичками была, сказала девушка, — сыщи скорей!.. Шандал у него за перегородкой на комоде стоит...

И с нетерпеливою тревогой, с нестерпимо бившимся сердцем вошла сама, не ожидая, в его комнату, добралась ощупью до этого комода, судорожно ухватилась за попавшийся как-то сразу под пальцы ей шандал и проговорила полугромко — не испугать-бы, если спит:- "Папа"!..

Отзыва не последовало.

Она сдержала дыхание, судорожно насторожила ухо... "Папа"! крикнула уже она теперь...

— Мати Пресвятая Богородица, спаси нас! визгнула в свою очередь на этот крик Мавра, роняя из рук коробку спичек, с которою пробиралась к барышне.

Она кинулась подымать их с полу... Но дрожавшие пальцы только безсильно тыкались о шероховатыя половицы...

— Давай же, давай скорее огня! задыхающимся голосом взывала в ней меж тем Настасья Дмитриевна.

Она чиркнула об пол попавшуюся ей наконец под руки спичку, поднялась с нею. приложила к светильне, которую протягивала ей барышня...

Девушка выбежала с загоревшеюся свечей за перегородку.

Первым делом кинулись ей в глаза блеснувшие от света чуть не под самыми ногами ея осколки стеклянного матоваго колпака лампы, каким-то непонятным в первую минуту образом свалившейся с довольно широкой деревянной колонки, на которую она была поставлена... Колонка эта, как уже было упомянуто нами, стояла в одном из передних углов комнаты, рядом с окном, выходившим в сад, и за самым креслом больнаго, помещавшимся у этого окна. Взгляд девушки устремился на угол спинки этого кресла, в котором так привыкла видеть она потонувший в глубине большой подушки тонкий профиль старика-отца... Угол был пуст теперь, подушка лежала на сидении, наполовину свесившаяся вниз, — а внизу, у ножки кресла...

— Папа! крикнула она еще раз, бросаясь со свечей к тому чему-то невообразимо страшному, что увидела она тут, упала на колени, низко наклоняясь лицом в полу, простирая руки вперед...

— Мавра, ножницы... нож... скорее... разрезать! простонала она...

Баба метнулась к ней, наклонилась в свою очередь и отпрянула в невыразимом ужасе;

— Царица Небесная, покончили себя!.. Матушка-барышня, чтобы нам с вам в ответ не попасть! Полицея тут, жандары… Звать надо, людей звать скорее…

И, полоумная от объявшего ее страха, она выскочила из комнаты в коридор, голося:

— Кормильцы, родимые, спасите… со старым барином несчастие!..

Из буфетной в эту минуту выводили арестанта. Она прямо ринулась к нему:

— Сердечный ты наш, голубчик сизый, ведут тебя в темницу темную, за семь замков железныих, хоша бы дали тебе, младу вьюноше, напоследях с отцом родныим проститися!..

— Чего ты причитаешь, старая, что там случилось? перебил ее, быстро подходя, жандармский полковник.

— Не моя вина, батюшка, ваше сиятельство, видит Царица Небесная, не моя! заголосила она в новом перепуге,- сами они меня погнали…

— Кто погнал, куда? говори толком!

— Барин, генерал наш, сюда послали, когда палить тут стали, значит…

— Ну, и что же?

— А пока я тут в колидоре стояла, они, остамшись одни…

— Ну?…

— И сказать не смогу, ба-атюшка… страшно! истерически зарыдала она: там… над ними…. - барышня, Настасья Дмитриевна, убиваются…

Арестант, бледный как смерть, обернулся к штаб-офицеру; он сразу понял все:

— Слова ея значат, что отец мой лишил себя жизни, неестественно резко зазвенел его голос:- я хочу взглянуть на него!…

— Извольте! качнул головою тот.

— Еще не поздно, может быть, помочь можно, вскликнул товарищ прокурора, двигаясь первый с места:- куда итти? ведите! обратился он к Мавре. — Да огня давайте сюда побольше!…

— Quel drâ-ame, monsieur le substitut! вскидывая длинныя руки свои вверх, трагически протянул, шагая за Таращанским, исправник Сливников; на нем лица не было и губы его тряслись.

— Лазарев, ступай, можешь понадобиться! отдал полугромко приказание полковник одному из жандармов.

Все быстро направились в "месту пронсшествия"…

Настасья Дмитриевна стояла на коленях, поддерживая приподнятую ею с полу бездыханную голову отца. Он был еще совсем тепел, но надежды у нея не оставалось: жизнь — это было для

нея очевидно, — безвозвратно покинула его… С перваго же взгляда стали ясны для всех условия, при которых мог он осуществить свое гибельное намерение. На стороне окна, ближайшей в креслу, в котором он проводил ночи, вбит был в стену большой гвоздь, о который обматывался толстый снурок подъемной сторы, никогда не спускавшейся на этом окне (недужный, просыпавшийся обыкновенно с зарей, любил глядеть на первую игру лучей солнца, восходившего прямо против него, в вершинах и прогалинах сада). Двойной конец этого снурка спускался до высоты ручки кресла и на разстоянии вершка от нея. Старик, по всем признакам, притянул в себе этот конец, сложил его в петлю, всунул в нее голову и рванулся всем телом со своего сидения вниз… От размаха откатившееся назад кресло ударилось в стоявшую за ним тумбу и свалило толчком стоявшую на ней ламцу, а снурок так оттянуло к низу, что голова кочти "асалась пола… Когда, покинутая перепуганною Маврой, Настасья Дмитриевна, с тою сверхъестественною мускульною силой, которая является у самых слабых существ в минуты великих опасностей и безумного отчаяния, приподняв на половину одною рукой рухнувшее наземь тело, вырвала другою из стены самый гвоздь, с которого спускался роковой снурок петли, и распустила ее, отец ея не подавал уже и признака жизни…

— Кончено! проговорила она теперь с каким-то потрясающим спокойствием, почти безсознательно обводя взглядом толпу собравшихся вокруг нея пришлых, чуждых ей лиц.

Никто из них не нашелся ответить в первую минуту. Слишком сильно было впечатление, слишком поразительна это зрелище…

— Помогите… поднять, проговорила она, осиливая себя.

Служивый жандарм, которого звали Лазаревым, выступил вперед.

— Не трогай! повелительно крикнул раздраженный голос.

И Владимир Буйносов, с перекошенным лицом, кусая губы и сверкая взглядом, протеснился к сестре:

— Держи крепче за затылок, обрывисто выговорил он, подходя к мертвому и ухватывая сам его под колени.

Но бодрость изменила девушке,- она пошатнулась… Сливников, забывая свои "обиды", кинулся к ней:

— Permettez moi de vous remplacer, mademoiselle!..

Тело перенесли на диван.

Глубокое безмолвие стояло кругом. Никто повидимому не знал, что ему делать далее…

Товарищ прокурора, как бы исполняя какую-то особую формальность, подошел к трупу со свечей в руке, освещая деревеневший уже лик и стеклянно-мутные, страшно выкатившиеся из-под век яблоки глаз…

— Глаза бы вы ему закрыли! шепнул словно сердито арестанту пожилой штаб-офицер, морщась и оттягивая себе усы до боли.

Молодой человек, машинально повинуясь, наклонился над этим страшным лицом, протягивая к нему дрожавшую руку… Рука сестры предупредила его: она опустила веки мертвеца, прикрыла их ладонью и как бы замерла вся при этом.

Она очнулась чрез миг, взглянула на брата безконечно-скорбным взглядом и, в неудержимом порыве, кинулась ему на грудь.

— Володя, прошептала она с прорвавшимся рыданием, — не забывай, на чью совесть должно пасть это!..

XII

Да как же не любить-с, сами изволите разсудить: Алимпиада Самсоновна — барышня, каких в свете нет…

Островский. Свои люди, сочтемся.

На другой день после переданного нами читателю, часу в одиннадцатом утра, у Антонины Дмитриевны в комнате ея, в мезонине, шел живой разговор со стоявшим пред нею рослым, чуть-чуть дородным, красивой наружности мущиной лет тридцати двух, с небольшою русою бородкой, подстриженною щеткой, и огромными, мужицкими, руками, выпиравшими из его лиловаго цвета шведских перчаток. Одет он был безукоризненно, в сплошной, темно-серый летний костюм; синий атласный галстук заколот был ценною черною жемчужиной величиною в ноготь; венские ботинки из желтой юфти обували его огромныя, как и его длани, ноги… Стоял он по привычке к вечному движению, не дозволявшей ему и четверти часа усидеть на месте…

— И, сделайте милость. говорил он, — не безпокойтесь ни о чем. Все будет, можете поверить, сделано прилично и хорошо… Если сестрице вашей, Настасье Дмитриевне, уж непременно этого требуется, мы можем счесться с нею после… А теперь уж позвольте мне все это взять на себя… Почитаю, так сказать, своим долгом… заранее, подчеркнул он со страстным взглядом по ея адресу, и тут же покраснел по самые волосы.

— Можете, протянула она в ответ с легкою усмешкой…

Она полулежала в кресле с закинутыми за затылок руками и глядела на него в упор своими прекрасными аквамариновыми глазами. — Знаете что, Пров Ефрем… Нет, перебила она себя, смеясь, — а никогда не привыкну к этому вашему имени!…

— Мудреное, действительно, усмехнулся и он, но брови его слегка повело: — на латинском языке значит хороший человек… Такой я и есть, могу сказать по истине, промолвил он уже совсем весело, — таким и здешний народ меня прозвал, — может, сами слышали: "строг, говорят, а справедлив"…

— А вы бываете, и точно, "строги?" спросила она, прищурясь и пристально воззрясь в него опять.

— Случается… С вами никогда не случится! воскликнул он неожиданно, с сияющим от внезапного прилива счастия лицом.

— Я и не позволю, медленно и холодно возразила она на это.

Проф Ефремович Сусальцев в свою очередь теперь пристально устремил на нее свои большие карие глаза. "Посмотрел бы я, как бы ты не позволила, кабы мне вздумалось!" словно сверкнуло на мгновение в этих глазах. Но он как бы тут же устыдился своей мысли и несколько смущенно промолвил:

— Вы, кажется, о чем-то начали было, Антонина Дмитриевна?

— Да, я хотела… Вы будете очень рады?

— Чему-с? изумился он.

— Повезти меня с собою в город… Ведь вам туда нужно?…

— Нужно, какже… насчет гроба и прочее… И вы со мною желаете прокатиться? Прелесть вы моя неописанная!…

Он схватил ея руку и жадно прильнул в ней губами.

— Да, к похоронам нужен траур, а у меня ничего черного нет… А, главное, уехать хоть на несколько часов ото всего этого, примолвила она со внезапным выражением отвращения на лице: — я мертвых, как ребенок, боюсь… мне везде слышится будто запах трупа…

Она вздрогнула:- я заболею непременно, если это должно продолжаться более суток…

— К чему же тянуть, помилуйте; завтра, в одиннадцатом часу, свезем на кладбище.

— Затруднения могут быть, говорят: ведь он не своею смертью умер…

— Будьте покойны: затруднения — побоку; имелись в виду — и устранены. Такой случай вышел благоприятный. Ночевал я в городе, на фабрике… На самом выезде она у меня, как знаете… Встаю я всегда рано, а тут так случилось, что, за счетами, да перепиской, и вовсе не ложился. Вышел на заре голову несколько освежить. Иду по шоссе, гляжу, в город тарантас едет. Знакомый господин, вижу, товарищ прокурора Тарах-Таращанский. "Откуда?" спрашиваю. Он мне тут и объяснил про ваш здешний… камуфлет… Очень я, знаете, обезпокоился за вас, и решил тотчас же сюда ехать; а между тем, в предвидении неприятностей, выспросил у него все, что и как, относительно вот этого самаго обстоятельства, что "неестественною смертью", как вы говорите… Он, Тарах этот, барин, знаете, очень легонький, — уж такая, должно быть, у всех у них порода, у этих судейских теперешних, с добродушным смехом ввернул говоривший, — за то с ним, спасибо, все легко и оборудовать. Человек в этом отношении самый, можно сказать, либеральный!.. Насчет исправника и говорить нечего: телячья голова, из кавалеристов, порядков никаких не понимает, — ну-с, и крючков тоже от него никаких ожидать нельзя. Главная загвоздка тут — поп здешний, он же и благочинный по этой местности… Только с этим народом известно какой разговор!.. Имел я уже с ним таковой: разстались мы вполне довольные друг другом… На всякий случай надлежащее свидетельство можно еще будет попросить у доктора, у Николая Иваныча, лечившего покойнаго; он человек хороший, конечно не откажет… Словом, заключил Сусальцев, — ail right, как говорят Джон-Були; проводим усопшаго до последняго жилища, как следует по закону христианскому, с честью и поминовением.

Но Антонина Дмитриевна не слушала его и преследовала свое в голове:

— Я бы часу лишняго не хотела провести здесь после похорон, сказала она:- придумайте, как это сделать; вы человек практический.

Он глянул стремительно ей в лицо и покраснел опять по самыя уши.

— Очень просто, ответил он дрогнувшим голосом, — переезжайте в Сицкое.

— С вам? Одна? вскликнула она, будто изумившись, — потому что сестра Настя ни за что не согласится…

— А хотя бы одне!.. Церковь у меня тут же в доме, Антонина Дмитриевна, поспешил он прибавить, испугавшись вдруг "неприличия", как подумалось ему, своего предложения:- когда лишь захотите назначить… не гостьей, хозяйкой станете в этом самом Сицком жить…

Она, словно застыдившись вся, поспешно опустила глаза.

— Не мне, а вам… назначить следует, пролепетала она невинным голосом пятнадцатилетней девочки.

Пров Ефремович нежданно всем своим грузным телом рухнул ей в ноги:

— За это слово миллиона мало! вскликнул он в неописуемом восторге:- впервой решились вы наконец подарить меня им. А то было у нас все будто кончено, а решительнаго, последняго, — вот этого самаго, — недоставало… Красавица вы моя желанная, женушка названная, — он безумно целовал ей колени, — так от меня, от меня зависит?.. Извольте! Чрез три дня. — дольше терпеть душа не в силах!..

— "Чрез три дня", повторила Антонина все тою же невинною интонацией, — какой вы решительный!.. Я впрочем таких люблю! усмехнулась она, и рука новой. Далилы как бы невольным порывом нежности пробежала по щетине волос Самсоновой головы, преклоненной пред нею. Алыя губы ея коснулись уха Сусальцева и прошептали чуть слышно:- хорошо, я согласна!..

Он вскинул голову вверх, ухватил ее за стан своею огромною рукой, привлек к себе и так и впился губами в ея губы.

Она оттолкнула его, вскрикнула от неожиданности и гнева:

— Мужик! вырвалось у нея… Но тотчас же, сдержавшись:- хоть бы позволения попросил сначала! примолвила она мягко, с капризною ноткой в голосе, давая этим оброненному ею жесткому слову значение шутки.

Он между тем вскочил на ноги, ударил себя ладонью по широкой груди:

— Эх вы, кисейная барышня, мужики-то получше ваших бояр умеют любить!..

— Это я вижу, сказала она, и Пров Ефремович мгновенно, как лед под лучами весенняго полудня, растаял и расплылся весь пред тою неотразимою улыбкой, с которою она теперь взглянула на него:

— Нет у меня противу вас ни воли, ни разсудка, вот что я вам скажу-с, проговорил он страстно и досадливо:- в бичевку вы меня, чувствую, скрутить можете… а куда уж я, кажись, на мягкую пряжу не похож! разсмеялся он громко своему сравнению:- так уж вы меня, барышня, поберегите сами немножко!

— А вот вы сядьте тут, против меня, — что это у вас за привычка вечно на ногах торчать, точно башня какая-то; затылок заболит глядеть на вас снизу! Садитесь и поговорим толком…

— Сел-с! возгласил он с веселою покорностью, опускаясь на стул прямо против ея кресла и укладывая каждую из рук своих на каждое из своих колен.

Она продолжала улыбаться ему своею очаровательною улыбкой:

— Вы вот сказали: "чрез три дня", и я согласилась. Но разве это можно?

— Почему не можно?

— Нужны формальности…

— Это точно, кого у кого в кармане грош. А если деньги, так всю эту формальность не то в три дни, в три часа обделать можно.

— Положим… Но мне, например, посаженые отец и мать нужны, шафер…

— Вопрос, действительно!..

Он качнул головой:- Вы как желаете, чтобы пофорсистее было, или попроще?

Она невольно поморщилась:

— Что это за выражение "пофорсистее" и для чего вы меня спрашиваете?

— За выражение извините, действительно мужицкое, другой раз не скажу. А спрашиваю потому, что если с шиком справлять свадьбу, так вам Бориса Васильича Троекурова с супругой в посаженые пригласить надобно: первыя лица по здешнему месту.

— Никаких Троекуровых и никакого шика! пылко возразила она:- и никого на свадьбе, кроме необходимых лиц.

— Сам я так полагал… особенно в виду того, что только-что вот, скажут, отца похоронили… Хорошо-с, перебил он себя:- в таком случае Николая Ивановича Фирсова, доктора, просите с супругой: люди подходящие, простые…

— Пожалуй, молвила Антонина с легкою гримасой.

— Ail right! Ну-с, а теперь на счет шафера… Имеете кого в примете?

Словно какая-то змейка пробежала у нея в глазах; она прищурилась, прикусила губу и чуть-чуть повела головой:

— Есть.

— Кто таков?

— Юшков, Григорий Павлович; вы его знаете?

— Предводителя старика сын, земец наш? знаю! Что же, малый отличный.

— Вы находите? сказала она насмешливо.

— Чего-жь не находить! Про него худа не слышно. Председателем в управу думаем его даже выбрать.

Антонина Дмитриевна закачала головой.

— Только он не пойдет, сказала она.

— Куда это: в, председатели управы?

— Нет, ко мне в шафера.

— Во! Почему так?

— Потому, что я выхожу за вас.

— За "мужика!"

У Сусальцева глаза засверкали.

Она лукаво значительным взглядом глянула на него:

— Если бы вы даже были великий князь, — все равно.

Он понял и широко, добродушно осклабился:

— Ривал, значит, мне был! Что-жь, губа-то у него не дура, сказать по правде…

Он наклонился, протягивая руку к ея руке:- Позволения прошу, подчеркнул он со смехом.

Она милостиво поднесла ему теперь сама эту руку свою под губы. Он с преувеличенною почтительностью приложился к ней и, удерживая ее в своей:- А дозволено будет спросить, молвил он со внутреннею тревогой, которую она тотчас же угадала под его веселым тоном, — почему у вас с этим самым Григорием Павловичем Юшковым дело не вышло?

— То-есть, почему я не вышла за него замуж?

— Вы сказали, красавица моя!

— Почему? повторила она — и так и погрузилась глазами в его глаза: — потому, что сила силы ищет, а он тряпка!

Сусальцев прыгнул с места, ударяя себя ладонью о ладонь в порыве восхищения:

— Сказали-то ведь как метко: "сила силы ищет"! Как свайкой в самое кольцо хватили… Богатырь вы у меня просто, прелесть моя!…

Он сел опять, счастливый, польщенный, радостный…

— Ну, значит, и не нужно нам Григорья Павдовича! Поищем другаго… Прикажете, я вам моего Потемкина представить мору. Старенек, на ноги пал маленько, а господин совсем приличный, холостой, шаферскую должность исправить еще может отлично.

— Какой "Потемкин"? с любопытством спросила девушка.

Он расхохотался:

— Потемкинь, известно, фаворит был, так я этим самым прозвищем барина этого и зову; фамилия ему Зяблин, штабс-капитан в отставке, аристократ тоже, — потому он в той же фаворитской должности век свой провел, а теперь на подножном корму, так сказать, остался.

— Почему вы его вашим называете?

— А так, продолжал смеяться Пров Ефремович, — что я его, почитай, с имением, с этим самым Сицким, приобрел. Купил я его, как вам известно, у одного князька безпутнаго, Шастунов по фамилии, за полцены купил, сказать по истине... Один лес там всех моих денег стоит, увидите!... Ну-с, а как купил я, да въехал туда хозяином, узнаю, старичек там один во флигеле обретается на жительстве. Ни управитель, ни в должности какой, а так, докладывают мне, живет с самой смерти княгини покойницы, матери, то-есть, моего продавца. А баба эта, слышно, кулак была, миллиончика два сыну оставила; ну, а он, известно, по дворянскому обычаю, живо, годиков в пять, в шесть, все это в трубу спустил... Так у этой княгини, узнал я, жил в фаворитах лет двадцать сряду этот самый барин, Зяблин, и все, говорят, водила она его обещанием выйти за него замуж. Выйти не вышла, да и обезпечить его не подумала. Хватило ее в один прекрасный день ударом, как громом, пикнуть не успела. А он так и остался, как рак на мели: ни спереди, ни сзади ничего нет, и головы приклонить некуда... Так и застрял он тут в своем флигеле, в роде старой мебели. Князек, в память матери, велел его не трогать и довольствие ему отпускать. Ну, можете представить, какое уж тут довольствие, в пустой усадьбе: щи, да баранины кусок носили от управляющаго, — а человек-то на серебре, Французом-поваром изготовленное кушанье есть привык, — тяжело-с!... Пожелал я с ним познакомиться; вижу — человек воспитанный, деликатный: и робость-то в нем, и гонор барский при нищете, все это, знаете, сразу видать... "Вы, говорит он мне, сделайте милость, не стесняйтесь, я могу сегодня же выехать отсюда". — "Куда же вы, говорю, думаете?" А он мне на это: — "Все равно, говорит, и на улице умереть можно"... Меня, скажу вам-с, всего будто перевернуло от этих слов, жалость такая взяла... "А я так думаю, говорю ему, что вам здесь все же покойнее, чем на улице будет, и насчет смерти тоже повременить можно, а как если не побрезгуете моим обществом, так я очень рад буду; вдвоем, говорю, известно, позабавнее будет время волочить"... Так он у меня и живет четвертый год.

— Что же, он вас в самом деле очень "забавляет"? уронила насмешливо Антонина.

Сусальцев поморщился:

— Да вы, как это, может полагаете, что я его у себя в роде шута держу? Очень ошибаетесь в таком случае. Не таков, во-первых, у меня характер, да и шутовь-то вообще в нашем коммерческом мире в настоящее время встретить можно разве только в комедиях господина Островского; мода на них давно прошла, поверьте слову!.. А насчет Евгения Владимировича Зяблина, так если я в шутку — и то не в глаза ему, — Потемкиным его называю, так в действительности-то я к нему, скажу вам откровенно, как к родному привязался. Барин, говорю, воспитанный, деликатный, и в доме его не слышно... Одна слабость...

— "Слабость", как бы испуганно повторила дочь покойного Дмитрия Сергеевича Буйносова.

— Самая невинная, не безпокойтесь, разсмеялся опять ея собеседник:- туалет. По целым часам проводит старичек у зеркала, галстуки новенькие повязывает, да ботинки примеряет... Открыл я ему кредит, до 800 рублей, у портного моего и сапожника в Москве,- он и блаженствует... Так вот-с, если вам угодно будет его себе в шафера взять, он таким джентльменом выйдет венец над вами держать, что лучше и не надо.

— Я очень рада буду, сказала Антонина Дмитриевна, помолчала и чрез минуту:- А после свадьбы куда мы с вами? спросила она небрежным тоном.

Сусальцев несколько оторопел:

— Я полагал, поживем в имении... Ведь у меня в Сицком дом дворец, Антонина Дмитриевна, добавил он в виде убеждающаго довода.

— Знаю… но я думала…

— Что вы думали, красавица моя? Как прикажете, так и будет!

— Я полагаю, что так как мы думаем жениться тотчас после… этой смерти, здесь кругом всякие толки пойдут, вы сами сейчас упомянули об этом. Я вообще глубоко равнодушна к тому, что про меня могут сказать; вы, не знаю!.. Во всяком случае лучше, чтобы ни до вас, ни до меня не доходили пока никакие людские пересуды и сплетни. А для этого, по-моему, самое разумное уехать.

— И то дело, согласился он с полувздохом. — Куда же прикажете?

— За границу.

— Можно!.. В местечко Париж, первым делом, разумеется? Могу послужить вам надежнейшим гидом. За науку много там денег просадил…

— Вы говорите свободно по-французски? сочла нужным справиться Антонина.

— Говорю… А по-английски и совсем хорошо, отвечал Пров Ефремович:- отец покойный три года выдержал меня на конторе у мистера Броули и К° в Лондоне… А для чего это вы меня спросили, говорю-ли я по-французски? молвил он через миг.

— Хотела знать…

Не совсем искренняя усмешка пробежала по его губам:

— Боитесь, что-б я в обществе держать себя прилично не умел?.. Будьте покойны, прелесть моя: не посрамим земли Русской и Богом данной нам аристократки-женушки.

— Перестаньте вздор говорить, сказала Антонина, шутливо ударив его пальцами по руке,- а распорядитесь лучше, чтобы коляску вашу подавали. Ѣхать в город, так сейчас. Ступайте, а я оденусь и сойду к вам на крыльцо.

— Повинуюсь моей повелительнице!…

Он все так же преувеличенно церемонно расшаркнулся пред нею и вышел из комнаты своею увесистою, слегка вздрагивавшею, как бы от преизбытка силы, походкой.

"Повелительница" его вдумчиво, нахмуренным и долгим взглядом повела ему вслед, потянулась в своем кресле, высоко подняв руки над головой, и, как бы от неодолимаго утомления уронив их разом на колени, прошептала:

— Уф, как с ним трудно будет!…

XIII

Quo vos vi, e quo vos vey!…

Из поэзии трубадуров.

Sunt lacrymae rerum.

Борис Васильевич Троекуров часа полтора назад вернулся во Всесвятское из своего

малороссийского имения, куда он уехал только дней за десять пред тем и где думал прожить с месяц времени, но откуда поспешно примчался назад, испуганный телеграммой жены, извещавшей его, что сын их, тринадцатилетний Вася, заболел сильным дифтеритом.

Опасения оказались преувеличенными. Вернувшийся отец, прямо из коляски пробежавший в комнату мальчика, нашел его уже совершенно здоровым, и Николай Иванович Фирсов, которого он застал тут вместе с Александрой Павловной, воспользовался случаем сделать "при генерале жесточайшую", как выражался он, "сцену его барыне" за ея "вечные, безсмысленные страхи" и зато, "как она осмелилась, без ведома его, врача, отвечающаго за все, послать мужу лживую телеграмму".

Громкий, веселый смех присутствующих — обычное во Всесвятском последствие "грубостей" добряка-доктора — отвечал на его выходку. Но толстяк долго не хотел успокоиться и, уйдя от Васи вслед за Троекуровым в его кабинет, продолжал, расхаживая вдоль и поперек комнаты, язвить невыносимый нрав Александры Павловны, у которой-де "букашка вечно выходит Монблан, что в Швейцарии".

Хозяин, слушавший его и шутливо от времени до времени поддакивавший ему из-за растворенной двери своей спальни, где он теперь совершал омовения после дороги и переменял белье, но которому это наконец начинало надоедать, счел нужным переменить разговор:

— А что у нас новаго здесь? спросил он.

— "Новаго!" повторил Фирсов, останавливаясь на-ходу и как бы весь встряхиваясь от удовольствия, доставленного ему этим вопросом (он был "живая местная газета", как называл его Троекуров): — короб целый успели набрать, ваше превосходительство, за неделю вашего отсутствия.

— Вот как! Например?

— Перво-наперво — поимка политического преступника, с переодеваньями, прятаньем в подземелье, стрельбой и прочими бенгальскими огнями, как следует быть мелодраме; второй акт, самоубийство старца; третий, похороны и пир в три этажа по этому случаю. Апофеоз — неожиданная свадьба. И все это в четыре дня времени! Живо? По сенсационности "событиям из американской жизни", как пишется в газетах, не уступит, а?..

Борис Васильевич, вымытый, переодетый, вышел из спальни, присел к своему письменному столу и, закуривая папироску:

— Что такое, разсказывайте! промолвил он с обычною ему сдержанностью тона.

Доктор со свойственными ему в свою очередь кудреватостию и обилием речи пространно передал о "катастрофе" в усадьбе Буйносевых.

— Это ужасно! вырвалось с невольною дрожью у его слушателя.

— Я предвидел, что он этим кончит, бедный старец, молвил Фирсов, — и предварял дочь, Настасью Дмитриевну, что-б она глядела за ним в оба, что она и делала, надо ей в этом отдать справедливость... Да тут случилась эта история поимки брата ея, нигилиста... минутки не доглядела, а тот и... Эта Настасья Дмитриевна изо всей семьи одна заслуживает сочувствия и даже уважения... хотя и с нея этою нигилятиной маленько каплет, да все она человек, а ведь те...

— Что она думает делать?

— И сама, полагаю, не знает пока… Вот осмотрится…

— Не нужно-ли ей чего? спросил, как бы застыдясь и глядя себе в ногти, Борис Васильевич.

Доктор понял и махнул рукой:

— Не примет! Гордости у нея в сколько! — он показал себе на горло:- в актрисы все собиралась…

— А сестра ея?

— Сестра? повторил со внезапным смехом толстяк:- а это вот самое интересное. После всей этой катастрофы положение девиц, изволите понимать, оказалось не особенно утешительным. В доме ни гроша меднаго; отец чуть не на глазах полиции руку на себя наложил, значит, лишен по закону христианского погребения; брата в ту же ночь забрали жандармы. Хоть волком вой ведь в таком казусе; как быть, к кому прибегнуть?.. И тут-с неожиданно, — я-то впрочем об этом ранее знал, — как кукла из табакерки выскакивает молодчина, купецкий сын, известный вам Пров Ефремов Сусальцев, и, знаете, как в песне солдатской поется: "прилетел орел, все в порядок привел". Кого попросил, кого подмазал, похороны безпрепятственно справил, а после похорон закатил в городе,- Настасья Дмитриевна, да и та тоже, Антонина, ни за что не хотели поминального обеда у себя в доме,- закатил, говорю, пир в три этажа, на который пригласил все наше чиновничество и земство и за шампанским, встав в рост, объявил нам…

— И вы там были? усмехнулся Троекуров.

— Как не быть! Я тут в некотором роде главную роль играю; слушайте дальше!… Объявил вам, говорю, что "он имеет честь вступить чрез два дня в брак со старшею дочерью того достойного лица, которому только-что отдан последний христианский долг, Антониной Дмитриевною Буйносовой, и считает по этому случаю своим долгом принести сердечное извинение своим одноземцам и вообще достопочтеннейшим лицам зде присутствующим" — так и выразился, буквально, — "за то, что не имеет возможности пригласить их на свадебное торжество, так как, вследствие семейного горя, постигшаго будущую жену его, торжество это может произойти лишь в самом тесном родственном кружке "и, так сказать, инкогнито". Не вру, так и отпустил — нарочно, примолвил Фирсов, — потому малый он далеко не глупый и не безграмотный, а выдавать себя за простячка и тем легче людей морочить страсть любит!… После этого вынимает он какое-то письмо из кармана, с глубоким поклоном передает его мне, я как раз против него за столом сидел, и обращается торжественно с речью: "Позвольте-мол, высокоуважаемый Николай Иванович, передать вам заключающуюся в этих собственноручных строках к вам нареченной невесты моей Антонины Дмитревны просьбу ея, как не имеет она никого в эту минуту более близких ей, и по особому уважению своему к вам, сделать ей честь принять на себя быть ей за отца при бракосочетании ея со мною, а также передать достойнейшей супруге вашей, Анфисе Дмитриевне, таковую же просьбу удостоить быть у нея заместо матери…" И заметьте, шельмец, как ловко подвел, передавая мне эту просьбу и письмо ея при всех и врасплох, что-б я, в случае чего, и предлога не успел найти к отказу…

— Ну, и что же свадьба?

— Перво-наперво выехали мы туда, часу в одиннадцатом, в великолепном экипаже, ландо, который он прислал за нами. Проехали пятнадцать верст в какия-нибудь двадцать пять минут; кони — черти! Хорошо-с! Подкатили под крыльцо. Глядим, вышел встречать нас

невообразимый франт какой-то, в перчатках, в лакированных ботинках, усы в сосульку помадою прикрученные. Шляпу снял, расшаркивается и мямлит что-то непонятное. А лицо — что твое яблоко печеное и ножки от ветхости подвертываются. Воззрился я в него… Батюшки, да это Зяблин, — знаете, тот, что при старухе Аглае в должности помпадура состоял; находится он теперь у Сусальцева в том же Сицком на положении не то приятеля, не то метрдотеля… Поняли мы из его жестов, что хозяин нас на верх просит. Пошли. По лестнице бежит навстречу нам сам. Жену мою сейчас под руку и ведет в гостиную знакомить с невестой; та с похорон отца за два дня пред тем на жительство к нему переехала. Очень любезна, само собой, благодарит нас и, как настоящая уже хозяйка, предлагает повести нас и бывших еще тут посаженых самого, тетку его какую-то старую и дядю-глухаря, дом осмотреть. Сам, услыхав это, так и просиял. "На половину, говорит, князь Лариона ведите"! Этот самый князь Ларион Шастунов, значит, о котором вам известно от Василия Григорьевича Юшкова; ну а что он за барин был такой — моему Прову, разумеется, не ведомо. "Пожалуйте", только говорит, и Анфису мою опять под руку… Вижу, и мне тоже надо, подвернул локоть калачиком, подхватил Антонину, — зашагали… Ну-с, палаты барские — одно слово!.. И не съумею вам просто выразить, Борис Васильевич, как тяжело мне тут стало вдруг, сказал доктор, и в голосе его нежданно послышалась далеко не привычная ему невеселая нота. — Не родился я барином, как вам известно, и никаких особенно аристократических инстинктов в себе до сих пор не замечал. А тут мне как бы обидно за прошлое стало, за то, что в этих палатах со всех стен будто живым словом говорит… Сын этот Аглаин, шушера, должно быть, безмозглая, продал заглазно Сусальцеву имение с усадьбой все как-есть, со всем в ней находившимся, не выговорив себе, хотя бы на память о роде своем, ни единой вещицы от предков… И все это так тут и осталось на этой половине "князь Лариона": портреты их семейные. Матушка-Екатерина во весь рост, генералы на конях в звездах и лентах — времени ея орлы, бюсты мраморные, миниатюры, картины чудесныя…

— Знаю, перебил, сдвинув слегка брови, Троекуров, — я все это хотел купить у Шастунова после смерти его матери, но он не согласился, и вслед затем, как меня известили, поспешил покончить с Сусальцевым… Он очевидно мне не хотел продать…

— Отчего так?

И у любопытного доктора так и запрыгали брови.

Борис Васильевич только плечом пожал, и мимолетная, не то презрительная, не то унылая усмешка скользнула под его полуседыми усами.

— Что же Пров Ефремыч, спросил он тут же, — очень чуфарится доставшимся ему наследием Шастуновых?

— Ходит кругом, как медведь по гумну, пальцем тычет: "Взгляните, говорит, вот на этот портретец: сочно как писано!" Про сочность-то он от кого нибудь слыхал, а кем писано и кто писаный — ничего он про то не знает и ничего-то это ему не говорит. Батька его в Вятской губернии лыком торговал, с того богатеть начал что на 500 верст кругом липовые леса ободрал, так что о них теперь и помину в тех местах не осталось. Одну он эту родовую доблесть и завещал сынку. Так этот, знаете, ходит теперь посередь тех ликов мраморных и писаных, да и думает, должно быть, про себя: "те, с коих вас тут сняли, господа были большие, воины знаменитые, кровью своей и делами Россию великою сделали, а вот я, вахлака-кулака сын, в хоромах ихних теперича хозяином состою, потому, значит, пришло наше царство мужицкое, и мы теперь на место их потомков сядем"…

Троекуров одобрительно кивнул на эти слова и спросил опять:

— Ну, а супруга его теперешняя что?

— Про нее что говорить! Как рыба в родной стихии в этой роскоши себя чувствует; большая барыня из нея так светом и светит, хотя по званию и купецкая жена она теперь… Покажет она Прову видов, да и отполирует его при этом, пожалуй. Он, полагаю даже так, не без этого разсчета и жениться на ней вздумал, между прочим, потому, говорю, малый по природе далеко не глупый и не без амбиции…

— А курьезный она экземпляр женщин новой формации, насколько я мог заметить, когда она еще ездила сюда с отцом, вдумчиво сказал Борис Васильевич:- из нея будто воздушным насосом всю женскую сущность вытянули и в жилы вместо крови накачали какого-то vinaigre de toilette с подмесью доли крепкой водки. Цинизм безсердечия, который она любит выказывать, совершенно в ней искренен, и доходит у нея даже до известного градуса действительной силы: она многих покорит в течение своей жизни, но едва-ли найдется, кто покорил бы ее в свою очередь.

— Я таких бы в пеленках еще придушивал! пробурчал с сердцем Фирсов.

Собеседник его разсмеялся:

— А еще посаженым отцом у нея был. Хорош!

— Был-с, действительно, разсмеялся и доктор, — и не только посаженым, а и за шафера, противу всякаго закона, все время, почитай, выстоял.

— Как так?

— А так, что шафером у невесты назначен был этот самый помпадур бывший, Зяблин, да уж больно ветх оказался на эту должность. Как вынес поп венцы, да пришлось ему руку, во всю длину вытянув, — рослая ведь она, знаете, — на цыпочки подняться с этим венцом над нею, не выдержал старый франт: ноженьки подогнулись, рука туда, сюда… Думаю, или по голове ее сейчас хватит обручем медным, или сам свалится. А рядом с ним женихов шафер, родня ему какой-то, верзила здоровенный; ему бы, олуху, сейчас товарищу в помощь притти, подхватить у него венец другою рукой, да продержать, пока тот отдохнет, а он стоит истуканом, глазами в затылок Прова упершись, не видит ничего. Ну, а я тут сзади с Анфисою стою по званию нашему посаженых. Вижу, плохо дело, подскочил, взял у Зяблина венец, держу… А он и совсем осовел, отошел назад, на стул опустился… Я так все время и отбыл за него, и кругом налоя за ними крутился…. с животом этим моим, можете себе представить! Анфиса моя чуть не задохлась, зажимая себе рот платком, чтобы не наскандалить смехом на всю церковь… Ужь за то что хохоту было потом, за завтраком, когда старый франт стал извиняться пред новобрачной, уверяя ее, что "зрелище счастия, ожидающаго единственного друга его, Прова Ефремовича, так глубоко взволновало его, что он не мог удержать своих слез и, как в тумане, передал на несколько мгновений, не помнит кому, венец, который держал над головой прелестной новобрачной"… Ну-с, а после завтрака, поспешил докончить Фирсов, заметив выражение как бы некоторой скуки на лице своего патрона, — подкатил под крыльцо великолепный дорожный дормез, выписанный Провом по телеграфу из Москвы, единственно для переезда с молодою женой из Сицкаго в город, двенадцать верст всего-с, а там сели они на железную дорогу и покатили.

— Куда?

— За границу.

— А! Надолго?

— Я вот с этим самым вопросом обратился к Прову; только вместо него она мне ответила: "А сколько, говорит, мне поживется!..." Подольше бы, матушка, подумал я тут, — тем нам приятней!..

— А вам что?

Он повел губами:

— Я все, знаете, в виду нашего... Григория Павлыча...

Борис Васильевич иронически усмехнулся:

— Дитятку от лихорадки оберегаете?

— Подальше от зла, все лучше, знаете...

— А мужественно схватиться с ним грудь о грудь и побороть его — нет!.. Удивительное переживаем мы время! Сильных бойцов оно дает лишь на гибель и преступления, а в противоположный лагерь подставляет одних каких-то... сладкопевцов Сикстинской капеллы, чтобы выразиться прилично, не годных ни на какую борьбу, безвластных над самими собою...

Он оборвал, примолк на минуту и договорил:- Еслиб этой барыне вздумалось его только пальцем поманить, Григорий Павлович ваш промучился бы и простонал бы сутки целыя, забившись в какой-нибудь угол, а на другия помчался бы на четвереньках за нею за границу, хотя бы это должно было стоить жизни старику отцу его!..

Николай Иванович Фирсов открыл было рот для возражения, но не нашел или не хотел высказать его и только вздохнул; вслед затем, вытащив часы, проговорил скороговоркой: "А мне в больницу пора", и торопливо вышел из кабинета.

XIV

И как вино, печаль минувших дней
В моей душе чем старей, тем сильней.

Пушкин.

Борис Васильевич остался один.

Он оперся локтем о ручку кресла и головой об руку, закрыл глаза и впал в глубокое раздумье...

Двенадцать лет прошло с тех пор, как разстались мы с ним, читатель, и десять с того времени, когда он снова, генералом в отставке, водворился на постоянное жительство в своем Всесвятском, покидая его лишь изредка для недолгих поездок за границу на морские купанья или в Рагац, где он лечился от испытываемых им в довольно сильной степени нервных страданий, — последствий тяжкой раны в череп, полученной им в лесах Люблинской губернии, во время польского мятежа... Ему в настоящую минуту минуло сорок семь лет. Не смотря на почти сплошную седину волос его и бороды, он все еще казался свеж и моложав на вид; но в глазах, глубоко ушедших теперь под полукруг бровей, не сверкал уже прежний, непреклонный блеск стали; его заменил сдержанный, как бы безотрадный пламень мысли, прошедшей чрез суровую внутреннюю работу...

Тревога, причиненная ему телеграммой жены, безсонная ночь в вагоне, разсказ доктора о смерти старика Буйносова и наконец разговор о Грише Юшкове, все это ударило опять по его нервам и болезненно натянуло их... Он был не доволен собою, "резкостью" суждения, выговоренного им сейчас о молодом человеке, горячую привязанность которого к себе он знал и в котором сам — давно-ли еще это? — видел будущаго зятя... Нет, конечно, не такого "нетвердаго на своих ногах" спутника жизни нужно его Маше,- и "Александра Павловна согласится с ним"... Но имел-ли право он, Троекуров, относиться так неснисходительно к тому, что заставило бы, как выразился он, этого молодаго человека "побежать на-четвереньках" за чужою женой, за женщиной, к тому же не любившею его? Ту же вековечную повесть безсмысленной или преступной, но поглощающей, но неодолимой страсти, не довел-ли он сам ее некогда до последней страницы, и при каких условиях, при каких отягчающих обстоятельствах! Гриша свободен;- он был женат, отец семейства, он губил — безпощадно сознательно, "мерзко" губил — не одного себя, и не пал окончательно в бездну не по своей воле...

Много воды утекло с той поры, но, благодаря-ли раздраженному состоянию его организма, или тому строгому, чтобы не сказать аскетическому, настроению, которое уже давно владело им, воспоминания о заблуждениях его прошлаго принимали у него с течением лет все более и более острый характер. На него находили иной раз припадки душевной тоски, в которых он проникался какою-то нестерпимою злостью к самому себе, ко всему "безсмыслию и греховности" прожитой им жизни, и томился, и казнился ими, как какой-нибудь отшельник древней Фиваиды...

И теперь такия же едкия воспоминания проносились пред ним. Но они бежали далее, захватывали период времени, следовавший за отъездом его из Всесвятского, куда он в те дни думал никогда не вернуться... Он видел себя командиром полка среди враждебного края, где все кругом дышало изменой, где в глазах самих офицеров своих, смущаемых доходившими до них чрез Евреев листками Герцена[9] и социалистическою проповедью петербургских журналов, он читал недоумение и колебание... Он весь отдался делу своему, службе, вызывая примером своим ревность в подчиненных, строго затягивая узды распущенной до него дисциплины. Полку его суждено было принять удары первых, еще веривших в себя, сил поднявшегося возстания. Банды были многочисленны, схватки упорны; солдаты выбивались из сил, преследуя чрез густые леса и болота по горло выроставшие как из-под земли то здесь, то там новые и новые сброды повстанцев. Троекуров был неутомим: в тревожной, ответственной боевой жизни он находил отвод от тех мучительных личных помыслов, которые глодали ему душу; чем-то былым, юным, "кавказским" веяло на него среди этих лесов Холмщины, из-за каждаго дерева которых выглядывал враг, ожидался выстрел... И вот однажды — как живо помнил он этот день! — он, во главе двух рот, над которыми принял начальство сам, выступил ночью в поход и, после утомительнейшаго перехода во мраке по неведомым лесным тропинкам, очутился на заре пред помещичьею усадьбой, в которой, как было ему донесено лазутчиками, имела ночевку довольно значительная банда инсургентов. Застигнутые врасплох, лишенные рачительно принятыми мерами возможности бежать в какую бы то ни было сторону, повстанцы решились отчаянно защищаться. Они засели в двух-этажном хозяйском доме, в службах, окружавших его, в хлевах и амбарах, и производили оттуда чрез все отверстия убийственный огонь по осаждавшим. Из числа последних человек уже тридцать выбыло из строя. Разъяренные солдаты натаскали под градом путь охапки соломы, сена и и щепок под входную, загроможденную изнутри, дверь дома — и зажгли их... Дверь вспыхнула чрез несколько мгновений; огненные языки побежали вверх, цепляясь за решетчатую дратву стенной облицовки, обнаружившейся из-под обвалившейся от выстрелов глиняной штукатурки; дым черными клубами повалил в окна, на половину заваленныя со стороны осажденных всякими подушками и перинами... "Они сдадутся сейчас, или ни одному из них не выйти оттуда

живому", сказал себе Троекуров. Он слез с лошади, кинув поводья ея сопровождавшему его всюду конюху своему, Скоробогатову, — котораго, надеемся, не забыл читатель, — и стоял шагах в тридцати напротив загоравшегося здания, внимательно следя за происходившим и постукивая машинально по высокому сапогу кончиком нагайки, висевшей у него по обыкновению на кисти правой руки. Действительно, чрез несколько минут из круглого окна чердака под самым фронтоном дома высунулась длинная жердь с подвязанным к ней, в виде парламентерского флага, белым носовым платком. Троекуров кинулся к своим, вламывавшимся уже сквозь пламя на лестницу, с поднятою рукой и громким приказом: "Ребята, сдаются... Смотри, брать живыми, не колоть!" И в то же мгновение он услыхал за собою испуганный возглас Скоробогатова: "Берегись, ваше вскблагородие!" а над собой из второго этаж голос, кричавший по-польски с сильнейшим русским акцентом: Пальце (стреляйте), панове, то сам их довудца (начальник) есть!" Он быстро поднял голову на этот голос, показавшийся ему знакомым. Он узнал теперь и говорившего... Тот мгновенно свесился всем туловищем через подоконник с револьвером в руке и крикнул уже прямо по его адресу по-русски: "А, нагаечник! Так на-жь тебе!.." Глаза Троекурова мгновенно застлало туманом, — он ничего уже далее не помнил...

Когда он, как узнал это впоследствии, на десятый день пришел в сознание, была ночь. Он лежал на постели в довольно просторной, незнакомой ему комнате, освещенной низкою лампой, заставленною от него каким-то развернутым большим фолиантом, но тусклый пламень которой дозволил ему различить две человеческие фигуры, безмолвно и недвижно сидевшие у него в ногах. Одною из них был доктор Фирсов, другою — жена... Он скорбно вспоминал теперь: он узнал ее тотчас же и тут же закрыл поспешно глаза под наитием какого-то досадливого, чуть не злаго ощущения. Он как-то сразу сообразил все: он был ранен, она извещена была об этом и приехала, не теряя минуты, оставив детей на руках "какой-нибудь Лизаветы Ивановны", — приехала с домашним врачом своим, со всеми средствами к успешному его врачеванию, с несказанною тревогой в душе, с неотступною решимостью не покидать его постели до его выздоровления... или смерти... Ко всем винам его пред нею присоединялась еще новая ответственность за все те муки, которыя испытывала она теперь из-за него, присоединялась и тяжесть благодарности за ея "непрошенное великодушие"...

И долго не был он в состоянии одолеть это чуть не враждебное чувство к ней, к этому преданному и тихому женскому существу, исхудавшему и бледному как наволока подушки, на которой покоилась его забинтованная голова, молча и не отрываясь глядевшему на него своими впалыми, казавшимися теперь огромными, темно-карими глазами. Долго еще, пользуясь своего действительною физическою слабостью, он притворялся, что не замечает ея присутствия, избегал ея взгляда, не говорил ни с ней, ни с "ея" доктором, внушавшим ему теперь со своей стороны какое-то отвращение, и отвечал на их вопросы отрывистыми междометиями, имевшими целью отнять у них надежду на дальнейшия объяснения... Но, угадывала или нет Александра Павловна то, что происходило на душе у ея мужа, он ни разу не мог заметить в выражении лица ея, в тоне речи или невольном движении какой-либо признак неудовольствия или тайного упрека. Он был жив, спасен, рана шла к лучшему, — ей ничего, казалось, другаго не нужно было... Она неслышною походкой скользила по комнате, подносила ему безмолвно лекарство в урочные часы, "перстами легкими как сон" приподымала и поддерживала больную голову его, когда полковой доктор, специально пользовавший своего раненого командира, с помощью Фирсова переменял на ней перевязки; и словно вся сама, благоухающая как ландыш в смирении своем, горела при этом лишь трепетным желанием, чтоб он не замечал ея, не почитал себя обязанным благодарностью за непрестанный, денный и нощный, уход ея за ним...

Он заснул как-то рано вечером и проснулся глубокою ночью. Та же лампа за большим

фолиантом мягко освещала комнату. Но Фирсова в ней не было. Одна она сидела на обычном месте, в ногах его, — сидела, уронив голову на край его ложа, и он, вглядевшись в абрис затылка ея и плеч, увидел, как вся она вздрагивала от рыданий, которыя заглушала в складках одеяла, покрывавшего его… Безконечное чувство раскаяния и жалости охватило его в эту минуту. "Саша"! проговорил он задрожавшим голосом… Она вскинула голову вверх, испуганно устремила на него глаза… "Прости меня"! прошептал он. Она вскрикнула, перекинулась через кровать к его руке, прильнула к ней — и так и замерла…

Месяца чрез полтора он ехал с нею в покойном дорожном дормезе, à petites journées (он далеко не был еще в состоянии переносить переезды по железным дорогам), на юг, в Италию, ища врачующей благодати солнца и уединения… Они нашли их в маленьком городке Пельи, на Генуэзской реке[10], огражденном от ненастий севера полукругом поросших пиниями гор, — счастливом уголке,?где вечно ясны небеса", где розы круглый год цветут не отцветая,

In grimer Laub die Gold-Orangen glüh'n,
Der Lorbeer hoch und still die Myrte steht[11]…

они поселились над городом, на Villa Doria, в старом palazzo XVII века, с фресками на стенах, высокими залами и волшебным видом на Геную и зелено-голубую даль Средиземного моря. Чрез две недели затем Анфиса Дмитриевна Фирсова, сияющая счастием (она лишь за два месяца пред тем вышла замуж за толстяка-доктора, сопровождавшего со Скоробогатовым Троекуровых за границу), с нянею и Немцем-курьером, говоривших на всех языках, привезли в полном здравии в Пельи детей из Всесвятского… Александра Павловна, как выражалась она, почувствовала себя теперь "как в Царстве Небесном"…

Медленно между тем поправлялся раненый. Он вспоминал, как в те дни просиживал по целым часам на террасе, под жгучим теплом италиянского зимняго солнца, устремив глаза на золотистую рябь тихо плескавшегося моря, без мысли, без движения, "живя, как говорил он себе теперь, сладкою и тупою жизнью растения". Его словно оковала здесь какая-то парализия психических отправлений, отупение ощущений и сознания… В таком состоянии провел он почти всю зиму… "Оттает, погодите!" утешал никогда не унывавший Николай Иванович Фирсов Александру Павловну, начинавшую серьезно тревожиться.

Скоробогатов, исправлявший теперь должность камердинера при своем "генерале" (Борис Васильевич произведен был в этот чин за то самое дело, в котором был ранен, — дело, кончившееся полонением почти всей банды, застигнутой в усадьбе), каждый раз, как входил к нему утром со свежевычищенным барским платьем на руке, вглядывался в него избока своими узкими, татарскими глазками и, сердито отвернувшись вслед затем, мурлыкал себе что-то под нос.

— Что это ты? спросил его однажды, заметив это, наконец, барин.

— Что-б тому, говорю себе, ваше превосходительство, неожиданно ответил старый служивый, — шельмецу этому на том свете ни дна, ни покрышки!

— Кому это?

— А что вот сделал вам так, что и по сейчас прежняго куражу не можете вы себе достать.

Глаза Троекурова усиленно заморгали… В первый раз в эту минуту воскресало в его памяти то, что произошло с ним тогда. Но он усиленно усмехнулся:

— Да, угодили меня ловко! как бы небрежно уронил он.

— А кто? полушопотом и подчеркивая молвил Скоробогатов, наклоняясь с нему, — успели заметить?

— Ннет! с усилием произнес Борис Васильевич.

— А я его признал, ваше пр… Самый тот есть шарлатан, с подвязною бородой, изволите помнить, что в Крусановских лугах кость вам перешиб. Наш, Русский, не то что-б из Поляков, — изменщик, стало быть… Не успел в матушке-Расее набаламутить, так, значит, в безмозглым с эвтим в слуги пошел… Беда! Стою этто я с вашим рыжим, как вы изволили слезть, — гляжу, флаг они выкинули: ну, думаю, пардону просят, наша взяла!… Вы тут сичас к дому бросились, — а он, вижу, в тот самый раз подбег к окну… Он, ваше превосходительство, он самый! Хоша в чамарке и на голове четыруголка ихняя, а я его издалечка сразу признал, — белесый такой, плюгавый из себя… Подбег, говорю, своим чтось кричит, а сам перегнулся понад вас и из ривольвера сверху целит… Я тут лошадь бросил, с вам: "Брегись, кричу, ваше…!" А вы, гляжу, уж и с ног валитесь… Ах ты, Господи!… И Скоробогатов отчаянным движением ударил себя изо всей силы ладонями по бедрам… — Не дали-жь ему за то пардону солдатики, добавил он чрез миг, сверкнув глазами, — в решето штыкам искололи…

Троекуров с побледневшим лицом уперся в него взглядом. Он хотел сказать что-то… и не мог. Но старый солдат понял упрек, выразившийся в этом взгляде:

— А что-жь ему, анафеме, другого сделать, ваше пре — ство? возразил он недовольным тоном: — потому, первое сказать, Бога он своего забыл, противу своих воевать пошел; а вторым делом, как же он, пес, когда флаг они выкинули, — сдаемся, значит, в полон, — а он в само-то время стрелит?.. Собаке, говорится, собачья и смерть, так ему и надо было! сурово заключил он.

— Разсказывал ты об этом кому-нибудь здесь? спросил его Борис Васильевич после довольно продолжительного молчания.

— Что-жь мне разсказывать, ваше пре — ство! Сам понимаю…

— Что ты понимаешь?

И внезапная краска выступила на лице Троекурова.

— Потому что-жь тут хорошаго, что вы от своего чуть смерти не получили!.. За Расею стыдно, ваше… добавил он в виде объяснения.

— Хорошо, ступай… и что-б об этом никому!…

— Слушаю-с…

На летаргическое состояние, в которое погружена была до этой минуты мысль Троекурова, разговор этот произвел действие электрической искры. Он как бы вдруг встряхнулся весь, загорелся опять пламенем жизни… Но не на радость ему было это мгновенное воскрешение. Образ "изменщика", выстрелившего в него и исколотаго затем "в решето" его солдатами, стал неотступно и болезненно преследовать его теперь… "Почему так случилось", спрашивал он себя с какою-то странною, суеверною внутреннею тревогой, — "что среди вооруженного сброда повстанцев-Поляков я должен был натолкнуться именно на того единственного русского человека, которому убить меня могло доставить удовольствие? Неужели приписать это тому чему-то безсмысленному, что люди зовут "слепым случаем?"… Нет, слепых случаев не

бывает, — все тесно связано к органически истекает одно из другаго в этом мире, причины и последствия, зло и наказание, и закон роковаго возмездия стоял не даром краеугольным камнем в верованиях древних народов... Кто мне докажет, что этот несчастный, стреляя в меня, не был избранным орудием кары, назначенной мне высшим определением, после чего погиб сам жестокою смертью за все то злое, что совершено было им в свою очередь на этой земле?.."

И то жгучее чувство самоосуждения. с которым он в Москве, по получении письма от княжны Киры[12], решил уйти ото всего в темные ряды армии, разгоралось у него с новою силой... Гроза тех страшных дней навсегда повидимому миновала теперь. Не исполнил-ли он в настоящее время, говорил он себе иронически, "все, что от порядочного человека требуется в подобных случаях": покаялся, просил жену простить ему, и она великодушно, без колебаний и условий, даровала ему это прощение... Но всели это, удовлетворен-ли он в душе своей?... Нет, далеко, не все! Состоялось примирение, вернулось согласное супружеское сожитие; но обрел-ли он вместе с тем тот "истинный смысл жизни", которого не доставало ему до сих пор, ту высоту духовного подъема, которым определяется этот смысл?.. "Надеть узду на себя не трудно, — надо знать, для чего ты ее надеваешь", разсуждал Троекуров; "Александре Павловне никакой узды не нужно, чтобы находить в себе удовлетворение, которое та (он разумел Киру,} и я тщетно искали всю жизнь. Не потому-ли это, что она век свой думала о других и забывала о себе"?..

К жене он испытывал теперь чувство совершенно для него новое — чувство какого-то набожного благоговения. Душевный цвет ея будто впервые распустил пред ним все свои лепестки и охватил все существо его своим неотразимым ароматом... Чувство это выражалось у него наружно в какой-то прилежной, как бы почтительной внимательности в ней, к ея словам и мнениям, в малейшему желанию, которое он угадывал у нея. Прежний фамилиарный, легкий, чуть-чуть насмешливый тон его с нею, тон первых времен супружества, в котором сквозь нежность влюбленного мужа всегда невольно проглядывало сознание умственного превосходства его над нею, заменил теперь оттенок постоянной серьезности и уважительности в отношениях, в разговорах его с нею, будто боялся он оскорбить шутливым или легкомысленным словом ту чистую святыню, которую носила она в себе. Он будто постоянно ждал от нея каких-то откровений, каких-то "светочей в ночи"... Александра Павловна — все та же неизменная "Сашенька" первых дней — весьма скоро заметила эту перемену, но она не польстила ей, не обрадовала ея, — она ее страшно испугала. Она почуяла, что этот "сильный, умный человек", муж ея, чего-то требует теперь от нея, требует именно, объяснила она себе тут-же, того же "умнаго, что находил он, у Киры"... и чего "откуда же я ему возьму"? с отчаянием восклицала она внутренно... И вся она как улитка ушла вслед за этим в свою скорлупку...

Увы, благосклонныя читательницы мои, между этими супругами, которых бурная волна жизни вынесла, казалось, благополучно к новым медовым берегам, стало с этой минуты какое-то роковое недоразумение, образовался провал, которому с течением времени суждено было все упорнее итти в глубь. То, что по всем данным должно было им служить к теснейшей связи между ними, чуть не разводила их опять. "Не то, не то", сказывалось в душе Сашеньки в ответ на благоговейную внимательность к ней мужа, — "не то, что в те счастливыя времена, когда сажал он меня на колени и говорил: "Ну, разсказывай, глупая моя девочка"! Он кается, бедный, ему все еще стыдно предо мной, потому что он честный, благородный, и я ему навсегда простила все, все... но он ее все еще помнит, ему все хочется найти во мне то, что было в ней, а я не могу, не могу, заключала она со мгновенно проступавшими у нея из глаз слезами. "Она родилась ангелом милости и всепрощения", говорил в свою очередь мысленно Троекуров, — "но забыть все же она не в состоянии. Согнутый лист бумаги, как ни расправляй

его потом, сохраняет навсегда след своей складки; в такой нежной душе, как ея, согнутому не разогнуться до самой смерти. Прошлое обаяние исчезло... Прежняго доверия... прежняго счастия она уже не в силах мне дать"!.. Оставалось довольствоваться, как с горечью выражался он мысленно, "внешним обрядом супружеского благополучия"...

Они вернулись в Россию. Борис Васильевич со страстною жадностью погрузился в дело управления своими обширными поместьями. Он весь был полон теперь помыслов "о других" и решимости осуществить их на практике.

Годы проходили. Многаго успел он достигнуть, — еще более посеянного им осталось безплодным, благодаря новым условиям быта нашей бедной родины... Но он не отчаивался, он упорно шел вперед в своих планах экономического и нравственного преуспения зависевшего от него сельского и рабочаго населения...

Годы проходили, но "согнутое" все также не разгиналось; между женой его и им состояло все то же густое облако недоразумения, для разсеяния котораго достаточно было бы, может быть, одного слова, одного освещающаго слова... Но такия слова почему-то никогда не срываются с уст наших, когда они нужны... Троекуровы мало-по-малу как бы сжились с этим положением. Для обоих их проходила уже пора, когда человек дерзко и упорно требует у судьбы личнаго, непосредственного счастия. У них подростали дети, — подростала красавица-Маша, в которой отец ея с тайным восхищением узнавал всю душевную прелесть ея матери с чем-то более полным, более широким...

Образ ея в эту минуту проносился в мысленном представлении Бориса Васильевича. Стянувшияся на лбу морщины мгновенно разсеялись, и тихая улыбка пробежала по его губам. Он поднял веки.

Кто-то стучался к нему в дверь из гостиной и спрашивал его оттуда:

— Можно войти?

— Конечно! поспешил он ответить, узнавая голос жены и вставая итти навстречу ей.

Она была все еще очень хороша, не смотря на некоторую опухлость очертаний, причину которой следовало приписать гораздо более безтревожию деревенской жизни, чем тому, что названо Расином "des ans l'irréparabl outrage". Ей было еще только тридцать четыре года... Ея глаза "волоокой Геры" глядели все так же строго и прямо, но в складках губ было что-то невыразимо мягкое и притягательное... Губы эти как бы слегка подергивало теперь от волнения:

— Мне сейчас, тревожно заговорила она, входя, — доложили, что приехала Настенька Буйносова, — ты помнишь, la cadette, которая ходила за отцом... Он так ужасно погиб, — разсказывал тебе Николай Иваныч?... Тй верно что-нибудь нужно, и я велела скорее просить ее. Но она приказала ответить, что желает тебя видеть... Ты никогда их не любил... но она так несчастна теперь... Ты позволишь пригласить ее к тебе?

— Для чего спрашивать. Alexandrine? само собою!...

— Так я скажу...

Она повернулась итти и, приостановясь на пути, проговорила с радостною усмешкой:

— Васю Николай Иваныч пустил в сад гулять.

Он кивнул на это, усмехнувшись тоже, и спросил:

— А Маши все еще нет?

— Ведь раз верхом, она вечно на полдня пропадет! чуть-чуть поморщившись, проговорила Александра Павловна и вышла.

XV

Троекуров прошел сам в гостиную встречать приезжую.

Бледная, осунувшаяся, вся в черном, она была видимо несколько смущена, входя, но также видимо поборола тут же решительным усилием это смущение и, пожав слегка дрожавшими пальцами протянувшуюся к ней руку хозяина, проговорила твердо и спокойно:

— Вас вероятно должно удивить то, что вы видите меня у себя, Борис Васильевич, но…

— Прежде всего я этому искренно рад, Настасья Дмитриевна, перебил он ее действительно искренним и участливым тоном, как-то сразу заполонившим ее: — я был в отсутствии, вернулся только сегодня и сейчас узнал от Николая Ивановича Фирсова о вашем несчастии. Но не пройти-ли нам во мне в кабинет; там нам будет удобнее разговаривать…

В кабинете он усадил ее на мягкий диван и сел сам на стул против нея, ожидая, что она скажет.

Она начала не сейчас, как бы сосредоточиваясь и колеблясь:

— Смерть отца — не одно несчастие, павшее на меня, Борис Васильевич; в ту же ночь — вам вероятно известно? — брата моего увезли жандармы.

Троекуров повел утвердительно головой.

— Я о нем… о моем брате приехала говорить с вами, вымолвила она через силу.

Он с невольным в первую минуту изумлением глянул ей в глаза… Она поняла и, внезапно оживляясь:

— Я знаю, вам это может показаться…. безсмысленным с моей стороны, воскликнула она скорбно зазвеневшим голосом: — но я теперь… я одна на свете, не знаю, к кому обратиться за советом… за помощью.

Он порывисто ухватил ее за обе руки и крепко пожал их:

— Что могу я для вас сделать, Настасья Дмитриевна?

— Спасти его, если можете!

— Как? веско проговорил он.

Она опять замедлила ответом, как бы соображая, что именно хотел он выразить этим вопросом. Печальные глаза ея поднялись на миг на Троекурова и снова опустились…

— Я не знаю, заговорила она наконец, прерываясь чут не на каждом слове,- я решилась обратиться к вам, потому что мне известно… Григорий Павлыч Юшков мне сам это

разсказывал... когда он студентом еще попался за прокламации... он вам одолжен был... что его выпустили... Вы, конечно, можете мне возразить, что Григорий Павлыч другое дело, что ваши семейныя отношения, дружба с его отцом...

— И прежде всего, договорил за нее Троекуров, насколько мор мягче, — и прежде всего уверенность, подчеркнул он, — что его революционерство было лишь временным безразсудством молодости, которое не имело и не могло пустить в нем корней, что заключения недельки на две меж четырех стен будет совершенно достаточно как для наказания, так и для отрезвления его. Так поняли и в Петербурге тогда, и его мальчишество не имело для него более серьезных последствий.

Он примолк на время, сосредоточиваясь в свою очередь, пытливо глянул ей в лицо и продолжал:

— Брата вашего я совсем не знаю... не видал даже никогда, кажется. Но вам я верю, Настасья Дмитриевна, произнес он с ударением, — и ото всей души желал бы помочь вам. Если вы дадите мне честное слово, что брат ваш такой же не совсем твердый на ногах, но не испорченный в корень молодой человек, попавшийся в сети, разставленныя ему каким-нибудь негодяем-товарищем, как было это тогда с Юшковым, я обещаю вам сделать для него все, что сделал... что был в состоянии сделать для того в свое время... Порядки по политическим делам, если вам известно, усложнены теперь участием в них суда; за успех моего ходатайства я могу отвечать еще менее, чем прежде... Но все равно, я готов поехать в Петербург, обратиться к министру юстиции, — я его знаю давно... и за отличного человека, — словом, сделать все, что от меня зависит... Но мне для этого надо ваше слово, Настасья Дмитриевна, заключил он.

Она сидела растерянная, глядя на него во все глаза: что должна... что могла она ответить ему?

— Брат мой не "негодяй", пробормотала она, ухватываясь в своем смущении за одно из выражений, употребленных им сейчас, нисколько не относившееся к ея брату:- он заблуждается, я признаю... Но побуждения его чисты и высоко честны!...

Глаза у Троекурова усиленно заморгали:

— Вес и значение слов, сказал он, — так передерганы у нас в последнее время, что в них разобраться трудно. Я оставлю поэтому совершенно в стороне вопрос о том, что следует в действительности разуметь под "чистотой" и "высокою честностью побуждений" вашего брата. В виду того, для чего вам пришла добрая мысль обратиться ко мне, мне нужно знать только одно: полагаете ли вы, что он в состоянии отказаться от этих своих "побуждений" и всего того, что из них исходит в его теперешнем катихизисе, или нет?

Она судорожно заломила скрещенные пальцы своих бледных рук:

— Что мне сказать, как отвечать за него!... Я знаю только, что его взяли... что его сошлют...

— Думаете-ли вы, что это будет несправедливость? спросил он.

Она пристально воззрилась в него и как-то неожиданно для самой себя воскликнула:

— Нет, я этого не думаю... но простить всегда можно!...

— "Простить", повторил он, — прекрасно! Что же, брат ваш после такого прощения отказался бы от революционной пропаганды и обратился бы в мирного гражданина?

Она безсознательно вздрогнула: последний разговор с "Володей", его заключительныя слова во всем их ужасе пронеслись у нея теперь в памяти:

— Не знаю… прошептала она чуть слышно.

— Из вашего ответа, извините меня, молвил на это помолчав Троекуров, — я, кажется, имею право заключить без ошибки, что тот, о "прощении" которого вы хлопочете, не сбитый временно с толку юноша, но убежденный, непримиримый враг существующаго порядка и может быть удовлетворен только полным разрушением его. Так это?

Он ждал ответа.

— Пропаганда их безвредна, нежданно ответила вместо этого ответа девушка, — и сами они это теперь видят. Народ не принимал их и выдавал властям.

Не то печальная, не то ироническая улыбка пробежала по лицу ея собеседника:

— А властям в свою очередь надлежало возмутителей отпустить на все четыре стороны, дабы народ знал, что то, что он извека, вместе со своими правителями, разумел делом преступным, правители эти теперь считают безвредною шалостью, что они слишком гуманны и либеральны стали, подчеркнул он, — что-б осмелиться мыслить и поступать так же безхитростно и здраво, как он, как этот народ?… Ведь так это выходит по вашему Настасья Дми…

Он не успел договорить. Двери из его библиотеки шумно распахнулись настеж и из них вылетела молодая девушка со шлейфом амазонки, перекинутым на руку, и в маленькой круглой мужской шляпе, тут же слетевшей наземь с прелестной, будто выточенной головки в порывистости движения, с которою она кинулась в Борису Васильевичу:

— Папа, голубчик, ты вернулся, как я счастлива! лепетала она низким грудным голосом, охватывая шею отца обеими руками и звонко, на всю комнату, целуя его в обе щеки: — мы только-что во двор вскакали, со Скоробогатовым, а Анфиса Дмитриевна мне из флигеля в окошко кричит: "генерал приехал!"… Я сейчас поняла почему — и прямо помчалась в твоему крыльцу… Et me voilà! расхохоталась она, раскидывая руки врознь: — тебя напугала телеграмма maman, да? Она отправила ее без меня, я бы никогда не допустила…

— Ты не видишь, что у меня гости, Маша? прервал он ее с улыбкой, словно солнечным лучом озарившею ему все лицо, поворачивая ее за плечо лицом в Настасье Дмитриевне, глядевшей в свою очередь со своего места на девушку глазами, полными невольного восхищения.

Она была в самом деле очаровательна. Высокая, широкоплечая и тонкая, белокурая как был отец, с более ярким, чем у него, золотистым оттенком целаго леса волос, двумя толсто-сплетенными косами падавших у нея до колен, с темными, как у матери, глазами и бровями, она была свежа как майская роза и здорова как горный воздух… Ей еще четырех месяцев не хватало до полных шестнадцати лет, но она была развита физически как восемнадцатилетняя особа и уже года полтора носила длинныя платья по настоянию отца, находившего "смешным, ridicule", говорил он, — "одевать ее ребенком, когда она успела на полголовы перерости мать", и к некоторому неудовольствию Александры Павловны, верной старым традициям, которую покойная Марья Яковлевна Лукоянова одевала в коротенькия юпочки и панталончики до шестнадцатилетняго возраста невступно.

— Ах, Боже мой, mademoiselle Буйно… Настасья Дмитриевна, вспомнила она, быстро подбегая в гостье с протянутою рукой, — как я вас давно не видала!..

— Давно! конфузливо улыбаясь, ответила та, пожимая ея пальцы;- я бы вас не узнала, вы так выросли… и волосы совсем будто другаго оттенка стали: они у вас теперь цвета спелаго колоса…

Троекуров утвердительно закивал:

— Blonde comme les blés, промолвил он смеясь.

"Que je l'adore et qu'elle est blonde"… — Чистыми, звучными контральтовыми нотами залилась вдруг во всю грудь Маша… И тут же, покраснев по самые глаза, с заблиставшими мгновенно на ресницах росинками слез, схватила обе руки гостьи, прижала их к себе…

— Простите, простите! воскликнула она:- вы в трауре… я знаю, у вас умер отец, а я, сумасшедшая…

Она также мгновенно опустилась, уронила себя в соседнее кресло и закрыла себе ладонями лицо.

Настасью Дмитриевну это ужасно тронуло. В этом доме, о котором еще так недавно она с такою желчью отзывалась доктору Фирсову, она чувствовала себя теперь как бы охваченною нежданно целою атмосферой искренняго благоволения и участия к ней… Она невольным движением нагнулась к девушке, притронулась к ея локтю…

Та откинула руки, повернулась к ней вся прямо:

— Поцелуйте меня, чтобы доказать, что вы на меня не сердитесь!..

И сама горячо прижалась к ея изможденному лицу своими свежими губами…

— Настасья Дмитриевна, я уверен, не сердится на тебя, потому что уже успела узнать тебя насквозь, сказал ей отец, продолжая счастливо улыбаться: — coeur d'or et tête folle.

— Да, maman меня за это всегда пилит, за мои extravagances, жалобно проговорила Маша по адресу Настасьи Дмитриевны.

Та не могла оторваться глазами от нея:

— Вы катались верхом? спросила она ее.

— То-есть, как "катались"? возразила девушка как бы чуть-чуть обиженно, — я по делу ездила.

— Куда? сказал Троекуров. И по тому вопроса гостья поняла, что он совершенно сериозно относился к сказанному дочерью.

— К отцу Алексею, в Блиново, отвечала она, — насчет Евлаши Макарова… Вообразите, обратилась она снова в Настасье Дмитриевне,- мальчуганчик необыкновенно способный, нравственный, — он у нас тут в школе на заводе первый ученик был, — и вдруг мать вздумала отдать его на бумагопрядильную фабрику в Серпухов. А там дети безо всякаго призора и учения, и страшное пьянство между рабочими; это значит погубить мальчика! Я и поехала в отцу Алексею, — его крестьяне там все очень уважают, что-б он уговорил его мать оставить Евлашу здесь… Ее какой-то брат там в Серпухове с толку сбивает…

— Что-жь отец Алексей?

— Ах, папа, он очень жалуется, бедный! Ты помнишь, он добился, что Блиновские положили приговором, как у нас давно во Всесвятском, закрыть бывший у них кабаке, и ужасно этому радовался. Действительно, он говорит, ползимы прошло как нельзя лучше, безо всяких "скандалов", как он выражается; сами крестьяне очень довольны были и благодарили его. Только узнал об этом в Царстве Польском Троженков и велел поставить у себя постом кабак на самой меже Блиновских. "С тех пор, говорит отец Алексей, хуже прежняго пошло... Две семьи на прошлой неделе опять там положили разделиться: осенью"... Он просто в отчаянии... Ах, чтобы не забыть: я ему про твою мысль о страховании урожая сообщила...

— А! Что же он говорит?

— Говорит "превосходно", но что, по его мнению, это дело "всероссийское", а не одного уезда или даже губернии, а тем более одного хозяйства, как бы пространно оно ни было, что этим следует сериозно заняться правительству...

— Еще бы! вскликнул с живостью Борис Васильевич:- я записку об этом в прошлом году в Петербург послал... И, само собою, она там так и погибла в каком-нибудь департаментском столе... Виноват, Настасья Дмитриевна, перебил он себя, — мы тут с дочерью о своих делах, будто никого третьяго нет...

Она не успела ответить.

Маша с обычною ей стремительностью вскочила с места:

— А мне еще к maman нужно: она не знает, что я вернулась, и верно безпокоится, selon son habitude...

И она побежала к двери гостиной... но, не добежав. обернулась к отцу:

— Папа, а я Григория Павлыча видела!

— Где?

— Встретились на дороге. Он по своей должности (Юшков служил непременным членом в уездной управе,) ехал какия-то сведения собирать. Он сказал мне, что Павлу Григорьевичу совсем лучше, а что сам он сюда к обеду будет... Будет, будет, будет, чуть-чуть не запела опять Маша, но сдержалась, и со словами: "я сейчас вернусь, Настасья Дмитриевна!" выпорхнула из комнаты.

— Какая она у вас прелесть. Борис Васильевич! вырвалось неудержимо, едва она исчезла, у Буйносовой.

— Д-да! протянул он с благодарным взглядом:- даровита и дельна не по летам, не смотря на все свое ребячество...

Он замолк и задумался...

Что-то будто кольнуло теперь Настасью Дмитриевну. "Что же однако я здесь делаю?" вспомнила она: "в Володином деле он мне, как я предчувствовала, помочь отказывается. и я за это винить его не могу." прошептал ей внутренний голос: "а за тем что-же у меня общаго со всеми ими!"... Но, странное дело, ей вместе с тем не хотелось уезжать...

Она тем не менее двинулась на своем диване с намерением встать и проститься, когда Маша

влетела опять в кабинет, запыхавшаяся от быстрого бега через весь дом:

— Настасья Дмитриевна, ужасно торопясь заговорила она:- maman велела вас спросить, позволите-ли вы ей возобновить знакомство с вами? Ей очень хочется и, если вы согласны. она сейчас придет к вам сюда. *

— Ах, Боже мой, зачем же! вскликнула та, ужасно смутившись от мысли о неучтивости, сделанной ею, когда, но приезде своем, на приглашение слуги "пожаловать в генеральше" она весьма сухо ответила, что "желает видеть Бориса Васильевича Троекурова", и, быстро подымаясь с места:- я пойду к ней, если она позволит, подчеркнула она. — Ступайте, ступайте, Настасья Дмитриевна! с какою-то отеческою ласковостью в звуке голоса сказал ей на это Троекуров:- если кто-либо способен понимать и умягчать чужое горе, так это конечно Александра Павловна.

XVI

Как это сделалось, Настя Буйносова не съумела бы сказать, но колокол в столовой звонил к обеду, а она все еще сидела в маленьком будуаре хозяйки дома, вдвоем с нею, как бы вовсе забыв, что на свете есть нечто, называемое временем. То, что испытывала она теперь, похоже было на блаженное состояние усталаго и измерзшаго в долгом зимнем странствовании путника, погружающагося изнемогшим телом в теплую и благовонную ванну. Задушевный обиход ея собеседницы, сердечность ея незатейливой речи и неотразимая улыбка, глухая тишина уютного покоя, в котором беседовали оне, самая обстановка его, не резавшая глаза своею роскошью, но ласкавшая взгляд гармонией и изяществом общаго ея тона, убаюкали скорбную душу девушки. Накипь раздражения и муки, нанесенная в нее годами неумолчной тревоги, семейного разлада и унижающей нужды, распускалась в каком-то давно, или, вернее сказать, никогда еще неведанном ею чувстве внутренняго затишья. Она словно переставала быть прежнею собою и втягивалась вся в этот чужой, но уже как бы близкий и дорогой ей мир иных, мирных чувств, иных привычек, иных помыслов и задач... "За что же я их так не любила, что именно не нравилось мне у них"? проносилось у нея урывками в мозгу, — и она никак теперь уяснить себе этого не могла... Она только-что передала Александре Павловне, как после похорон отца дошла до такого изнурения, что не могла даже быть на свадьбе у сестры и пролежала у себя три дня одна одинешенька в Юрьеве, не имея силы двинуться ни единым членом, в каком-то каталептическом состоянии, — почувствовала себя получше только третьяго дня, "и едва," говорила она, "вернулась способность думать, мысль о брате заныла во мне с такою силой, что я готова была сейчас же хоть пешком отправиться в Петербург... Но что могла бы я там сделать одна, всем чужая?... И тут я вспомнила разсказ Григорья Павловича Юшкова о том, что сделал для него ваш муж когда-то... и целый день вчера промучилась в колебании: обратиться к нему, или нет?..."

— Боже мой! даже воскликнула Александра Павловна:- что же могло вас остановить?

— Теперь мне самой это почти смешно кажется, с откровенною усмешкой ответила Настасья Дмитриевна, — но вчера я была еще под впечатлением прежняго... а прежде, я вам прямо признаюсь. Александра Павловна, мне тяжело было здесь.

Та вдумчиво остановила на ней свои большие глаза:

— Я вас понимаю. Вам приходилось переносить столько мучения и лишений, а у нас всего слишком много, и мы кажемся такими счастливыми, сказала она, выражая говорившее в ней глубоко христианское чувство этими наивными, в светском смысле почти неуместными словами.

— "Кажетесь?" повторила девушка с изумлением:- неужели только?..

Троекурова слегка смутилась и покраснела:

— Полное счастие — в небе, а здесь у каждаго свой крест и, по мере сил, дано каждому… И за все надо благодарить Бога! заключила она поспешно, увидав входившего слугу.

— Кушать подано, доложил он: — господа в столовой дожидаются.

— Пойдемте скорее! молвила хозяйка, вставая; — мы заболтались и прослышали звон, а им там всем есть хочется…

— Что же это такое! вскликнула растерянно Настя, — сколько наконец времени я у вас сижу!

— Чем долее, тем лучше, возразила хозяйка, пропуская руку под ея локоть и увлекая ее с собою к двери. Настасья Дмитриевна не противилась…

В столовой оне нашли в сборе весь домашний кружок Всесвятского. Только-что приехавший Гриша Юшков разговаривал спиной в двери с Машей, стоявшею в амбразуре окна, сквозь которое косой луч клонившегося к западу солнца обливал ея молодую красоту каким-то победным пурпурным сиянием. Она ему передавала что-то с большим оживлением, разводя руками и глядя ему прямо в лицо весело сверкавшими глазами… Увидав входивших, она бросила его, кинулась в гостье и возгласила громогласно. указывая рукой на молодаго человека:

— Настасья Дмитриевна, а вот и Григорий Павлович!

— Очень рада, пролепетала девушка со внезапным биением сердца. — Мы давно знакомы, сочла она нужным прибавить, пытаясь улыбнуться.

Он живо обернулся на ея слова, поклонился ей преувеличенно низким поклоном, причем в немалой досаде своей почувствовал, что покраснел, и, не отвечая, поспешил подойти к руке хозяйки.

— Павлу Григорьевичу лучше, мне Маша сказала, молвила Александра Павловна, целуя его по-старинному в лоб.

— Он даже к вам собирался сегодня, ответил он? — может быть, и прикатит после обеда.

— Ах, как я буду рада; сто лет мы с ним не видались!…

— Здравствуйте, барышня, здравствуйте! говорил тем временем подошедший к Насте Николай Иванович Фирсов;- узнал, что вы здесь, нарочно обедать пришел… Хвалю, хвалю, давно бы так! добавил он шопотом и подмигивая ей смеющимся взглядом.

— А вот этого джентльмена помните, Настасья Дмитриевна? спросил ее с улыбкой Троекуров, подводя в ней сына, тонкаго, как жердь, не по летам выросшаго мальчика, изяществом наружности своей представлявшего действительно тип юного "джентльмена", благовоспитанного и благодушнаго. Он, в противоположность сестре, был черноволос, как мать, с голубовато-серыми, как у отца, глазами, никогда словно не улыбавшимися.- Miss Simpson; monsieur Blanchard; Вячеслав Хлодомирович Павличек, воспитатель моего сына; Петр Петрович Молотков, преподаватель нашего училища; Владимир Христианович Пец, директор здешняго сахарного завода, медленно и явственно называя имена стоявших у стола лиц,

познакомил с ними девушку хозяин… Она кланялась конфузливо и робко в ответ на их поклоны, обводя кругом разбегавшимися глазами: она так давно не была "в обществе", так отвыкла видеть "людей"…

Хозяйка посадила ее между собою и доктором, пригласив по другую свою сторону Пеца, которому хотела поручить что-то в Москве, куда он ехал завтра. Маша заняла обычное свое место, подле отца. Остальные разместились, кто как хотел. Обедали за большим круглым столом, одна форма которого как бы исключает всякую иерархию мест…

Общий, оживленный разговор завязался вслед за первым же блюдом. Мотив подала ему Маша, сообщившая учителю Молоткову о поездке своей к отцу Алексею в Блиново и об его обещании уговорить мать Евлаши Макарова оставить сына в школе.

— А не "уговорит", усмехнулся Борис Васильевич, — можно будет иначе…

Глаза Маши блеснули; она всегда угадывала мысль отца с полуслова:

— Я так и сказала отцу Алексею, папа, что я готова из своих денег заплатить ей вдвое против того, что мог бы ей посылать Евлаша из своих заработанных денег на Серпуховской фабрике.

— Не разоришься, усмехнулся он опять, — да и недолго бы пришлось платить. Ведь он у вас кончает, кажется? обратился он в Молоткову.

— В последний класс переходит, ответил тот.

— А потом что же: все-таки не миновать ему этой бумагопрядильни, которая так страшит Марью Борисовну?

— Жаль было, Борис Васильевич, сказал Молотков, упершись взглядом в оконечность приподнятаго им ножа, — мальчик замечательно способный!

— Так вы что же бы думали?

Молотков с улыбкой повел глазами в сторону Маши, подгонявшей его через стол самыми поощрительными кивками, и отвечал:

— Я бы мог его в год времени, Борис Васильевич, ко второму классу гимназии приготовить: он отлично пошел бы там.

— Зачем это вы мне ранее не сказали, Петр Петрович?… вмешался Юшков:- дядя мой, вы знаете, располагает процентами с капитала, оставленного ему князем Ларионом Васильевичем Шастуновым именно вот на такие случаи…

— Ах, оставьте, пожалуйста, Григорий Павлович, жалобным голосом прервала его Маша:- разве не можем мы это сами с папа устроить!… Ты молчишь, папа? тревожно воззрясь в отца, вскрикнула она тут же.

— "Устроить" не долго, сказал он ей, — но вопрос не в этом, а в том, на благо-ли это будет мальчику? Раз в гимназии, он приобщается в так-называемому у нас миру "интеллигенции" и порывает с тем, к которому принадлежит по рождению, по всем впечатлениям и складу понятий своего детства… Этот разрыв, как бы рано ни произошел он, не может не отзываться на всей дальнейшей жизни человека…

— Да, сожалительно, что в России это так есть! промолвил в полголоса Павличек, наставник Васи Троекурова, обращаясь к сидевшему подле него воспитаннику своему.

— Что вы говорите, Вячеслав Хлодомирович? спросил хозяин, до которого донеслись эти слова.

— Я говору, скромно, чтобы не сказать робко, отвечал молодой ученый, Моравец родом, успевший в течение четырехлетняго пребывания своего в России совершенно удовлетворительно овладеть ея письменным и разговорным языком, но до сей минуты все еще не справившийся, как говорил он, "со свистящею Ю и деревянным Л", — я говору, что следует весьма сожалеть о том обстоятельстве, на которое ваше превосходительство сейчас указало. В других странах образование не мешает оставаться в том кругу и при тех бытовых условиях, среди которых человек родился.

— Oh, en France c'est pourtant exactement la même chose, возразил m. Blanchard, бывший воспитанник Парижской политехнической школы и инженер, состоявший при заводе Троекурова по технической части и дававший детям его уроки французского языка и математики:-un fils de paysan qui a passé par le collège devient un bourgeois et ne retourne plus à la charrue de son père.

— Я знаю, знаю, во Франции это тоже так, завивал утвердительно головой Павличек; — но в Дании, в Швеции… в нашей стороне это не так, не так! Вы в Богемии… у Чехов, поправился он, — весьма часто можете видеть поселянина, имеющаго свое testimonium maturitatis в кармане, а иногда даже диплом от университета и который сам запрягает своих коней в фуру и едет с ними в поле работать.

— Ну, до этой мифологии нам далеко! громко засмеялся Николай Иванович Фирсов, почитавший как бы обязанностью своею постоянно относиться скептически к тому, что называл он "классическими фантазиями" Павличка, с которым был, не смотря на то, величайший приятель:- у нас как только "вышел из народа", так сейчас на теплое чиновничье местечко, а не выгорело — в нигилисты норовит.

— А Ломоносов, а наши иерархи? вскликнул неожиданно Вася с широко выступившим у него на щеках румянцем.

— Николай Иванович преувеличивает, по обыкновению своему, заговорил опять Борис Васильевич, быстро окинув сына как бы тревожным взглядом; — не один Ломоносов выходил и будет, надо надеяться, выходить в России из народа. Но по тому судя, как у нас ведется дело теперь, можно опасаться, что от народной почвы будут все чаще отрываться искусственно привлекаемые к высшему образованию люди дюжинных способностей и дрянного характера, годные лишь разве на пополнение известной армии "умственного пролетариата", то-есть жальчайшаго и вместе с тем опаснейшаго класса лиц, какой только может существовать в государстве.

— И это тем более верно, молвил директор завода Пец, Русский и православный, не смотря на свою немецкую фамилию, — что в последнее время стал замечаться такой факт, что этот люд низменное происхождение свое в какую-то заслугу себе вменяет и за нее привилегий требует… У нас в Технологическом институте, разсказывали мне, недавно такой анекдот произошел. Поставил профессор одному такому за ответ единицу на экзамене. Тот в амбицию, объяснения требует. "Сколько вы заслужили, столько я вам и поставил", говорит ему профессор. А тот себя в грудь кулаком, и выпалил: "Я, говорит, из народа вышел, мне лишний год на курсе просидеть разсчет составляет, так вы что-же мне кол ставите!"… Точно будто кто его просил "выходить!"…

— Ну, а профессор, само собою, доводом таким умилился до слез и выправил кол на тройку? спросил, надрываясь от смеха, толстяк доктор, за которым так и залился своим звенящим молодым хохотом Вася.

— Не знаю, но очень вероятно… там у нас либерализм теперь во всей силе.

— Eh bien, c'est la roue qui tourne, комически возгласил Blanchard, пожимая плечами: — on disait autrefois: "Saluez, vilains, voilà Crillon[13] qui passe!" Ils disent aujourd'hui: "Je suis vilain: fils des croisés, chapeau bas"..

— Bravo, monsieuer Blanchard!

И Маша порывисто захлопала в ладоши.

Галантный Француз приложил руку к сердцу и низко склонил по ея адресу лысую голову свою над тарелкой. Она снова обратилась к отцу:

— А я все же, папа, к прежнему, о Евлаше. Согласен ты на предложение Петра Петровича?

— А я вижу, ответил он с притворною досадой, — что у вас с Петром Петровичем устроен по этому случаю против меня заговор… Смотрите, примолвил он сериозно, — вы на ответственность свою берёте большое дело: целую судьбу человека… От бумагопрядильни, разумеется, следует его избавить. Но у нас же тут, во Всесвятском, ему, на самый-ли завод поступил бы он, или в контору, если он склонен более к письменным занятиям, обезпечена будущность, вполне соответствующая той рамке, в которой он родился, обезпечен заработок на все время, пока он будет к состоянии работать, и безбедное существование под старость…

— У нас на заводе особенное рабочее положение, объяснил вполголоса Пец, перегибаясь через стол к Настасье Дмитриевне, жадно, как он заметил, прислушивавшейся к разговору: — плата постоянным нашим рабочим увеличивается на десять процентов чрез каждыя пять лет; из нея же вычитается обязательно четыре процента в особую эмеритальную кассу, куда Борис Васильевич вносит со своей стороны ежегодно шесть процентов из чистой заводской прибыли. Из образовавшегося у нас теперь уже довольно значительного капитала рабочий, прослуживший у нас безупречно пятнадцать лет, получает от завода весь нужный материал и помощь деньгами, по разсчету, на перестройку, обязательную же, избы своей на каменную, по одному из имеющихся у нас для этих построек планов, по его выбору; а чрез двадцать пять, если захочет выбыть из завода, две трети последняго жалованья, которое он получал за работе, будут обращаться ему в пожизненную пенсию…

— Да это Лассалевское учение на практике! восторженно воскликнула девушка.

Пец засмеялся:

— Ужь не знаю, право, своим умом дошли, кажется…

— Я об этом предмете много думал в последние дни, Борис Васильевич, говорил тем временем Молотков;- у нас действительно теперь, благодаря льготам по военной повинности, многочисленным стипендиям в заведениях и так далее, искусственно, как вы верно заметили, привлекается к высшему учению много молодых личностей из низших сословий, для которых полученное ими образование обращается затем часто в источник страданий, а иногда и в гибель, развивая в них потребности не но мере средств и претензии не по мере способностей… Но ведь есть однако в народе натуры, исключительно даровитыя, для которых тесный круг образования элементарной школы оказывается недостаточным.

— Эти натуры сами, так или иначе, не безпокойтесь, всплывут на верх, веско выговорил Троекуров, — но народная школа никак не должна иметь в виду эти исключительныя натуры. Из крестьянского ребенка сделать грамотного христианина, а при этом подготовить его по возможности твердо, то-есть практично, к какой-либо ремесленной или промышленной специальности, которая дала бы ему средство зарабатывать хлеб свой там, где земля не окупает полагаемаго на нее труда, — вот единственная задача народного обучения. Задаваться иными, более "широкими" soi-disant целями, как делают это наши петербургские или екатеринославские педагоги, не только ошибка, а преступление, по-моему!..

— Никак уж не "мои", возразил усмехаясь молодой учитель, студент Вифанской семинарии, — уже потому, что эти господа ровно ничего своего здороваго не сказали нам до сих пор, а все лишь пережевывают и перемалывают, что прочтут в немецких книжках. Немецкая же школа нам не указ: вся она построена на рационализме, а у нас она может стоять только на Церкви; иной народ наш не признаёт, да и не признает никогда, пока останется верным себе и своей истории, Церковью созданной.

Троекуров утвердительно кивнул.

— Папа, возгласила Маша, сидевшая как на иголках в продолжение этого разговора. — уверяю тебя, что Евлаша останется таким же хорошим христианином и честным мальчиком в гимназии, как он был у нас в школе, а сидеть за книжкой ему, само собою, будет гораздо приятнее, чем за теркой стоять.

Все разсмеялись.

— Да, добавил Молотков, — у мальчика голова рефлективная.

— "Рефлективная!" повторил Борис Васильевич с веселою, безобидною иронией:- после этого мне остается конечно только сложить оружие.

Прелестные вишневые глаза Маши заблистали, как две звездочки:

— Так это можно почитать конченным, папа, да?... Она наклонилась к нему и в полголоса:- и умоляю тебя, что-б это из жалованья, которое ты мне даешь... Я хочу, что-б он был... как это говорится, Боже мой!.. да, что-б Евлаша был моим, собственно моим, стипендиатом, пока он будет в гимназии, а потом в университете... Потому что он непременно в университет поступит... и на исторический факультет, — я непременно потребую от него, — это самый лучший предмет занятий... И вообрази, папа, — голос ея звенел уже громкими и восторженными нотами, — из него вдруг выйдет замечательный человек, знаменитый ученый, которым похвалится вся Россия!...

— Россия учеными своими не привыкла хвалиться, комически застенчивым тоном произнес доктор.

— Потому что она их не знает, возразил Пец.

— Потому что они блещут в ней своим отсутствием, отпарировал тот.

— Потому что хвалить свое вообще, кажется, не в натуре русских людей, примирительно заметил Павличек, сидевший между ними.

— И любезно будто бы, и ядовито, у, как! расхохотался Фирсов:- сейчас виден Славянин, прошедший чрез горнило европейского образования; наша братия, неумытые русские люди,

передразнил он слегка выговор Павличва.

Miss Simpson, чопорная пожилая Англичанка, молча все время пережевывавшая блюдо за блюдом своими длинными и крепкими зубами, при слове "неумытые" (она понимала по-русски), будто вскинутая пружиной, так и впилась через стол негодующим взглядом в лицо господина, выражавшегося так не gentlemanly.

Еще не подали сладкаго, как под окнами столовой, выходившей на двор, послышался стук подъезжавшего ко крыльцу экипажа.

— Это Павел Григорьевич! обратилась с радостным взглядом ко Грише Александра Павловна, безмолвствовавшая до сих пор, как всегда, когда при ней, как выражалась она не то шутливо, не то смиренно, "заводилис умныя речи".

— И даже с дядей, ответил он, глядя через спину в открытое окно.

Хозяин поспешно встал с места итти навстречу старикам-братьям; хозяйка последовала его примеру, а за нею поднялись и все остальные…

— Ну вот, ну вот, так и знал, архиерейская встреча, послышался затем в дверях смех и еще бодрый, густой бас старого моряка:- ну, не стыдно-ли? Ведь, чай, еще не дообедали?…

— Сейчас кончаем, говорила Александра Павловна, целуя его и Василия Григорьевича в голову.

— Ну и кончайте, а мы посидим с вами…

— Не хотите-ли чего-нибудь?

— Что это вы! Ведь мы с Василием старосветские помещики. Со смерти бедной моей Веры Фоминишны, вздохнул Павел Григорьевич (Вера Фоминишна скончалась от простуды года четыре пред тем, напившись ледяной воды из ключа после двухчасовой варки на солнце, при тридцати градусах жары, какого-то диковинного смородинного сиропа), — он у меня за Пульхерию Ивановну состоит: в час пополудни заставляет меня обедать.

— И что же, хорошо, Паша, ближе к природе, возразил тот с тихим и счастливым смехом, нежно пожимая в то же время обеими своими толстожилыми, дрожащими руками тонкую руку Маши, подбежавшей к нему с радостным приветом.

— Вот он и удовлетворен, продолжал смеяться моряк, указывая на брата, — увидел свой предмет и в небесах! Вы думаете — он для кого напросился приехать со мною сюда? Единственно для Марии Борисовны. Ночью ею бредит, не шучу!…

— Не совсем, не совсем, а есть немножко! сияя своими уже тускневшими, но все еще юношески восторженными глазами, молвил на это старик, не отрываясь ими от девушки.

— Не балуйте меня очень, Василий Григорьич, смеялась она, — а то я еще хуже стану, чем есмь.

— Нельзя, нельзя, пролепетал он как бы таинственным шопотом:- на разстоянии четверти века другую вот встречаю…

Он не договорил, и из-под его старческих покрасневших век выступили две крохотныя, как

брызги осенняго дождя, росинки слез.

— Борис, говорила тем временем хозяйка, — у нас сладкое сегодня мороженое; я велю подать в гостиную. Messieurs et dames, je vous prie!…

Маша подхватила старого своего поклонника под руку и, медленно подвигаясь с ним нога в ногу, молвила ему на ухо:

— А я вот сейчас с вашим племянником так ссориться буду!…

— Чем он провинился, птичка моя райская, чем? испуганно пробормотал он.

Она засмеялась:

— Пусть сам вам потом разскажет. Только это не страшно, промолвила она успокоительно.

XVII

В гостиной хозяйка посадила опять подле себя гостью и, обращаясь к Павлу Григогорьевичу Юшкову:

— Вы Настасью Дмитриевну Буйносову помните? проговорила она, глядя ему прямо в глаза с выражением — будьте-мол, очень вас прошу, любезны с нею.

Услыхав фамилию Буйносовых, старый моряк безсознательно передернул обрубком отрезанной своей руки, и видимая тень неудовольствия пробежала по его лицу. Но взгляд Александры Павловны тотчас же смягчил его и переменил расположение к "этой особе"… "Не даром же, видно, взял ее под крылышки наш ангел" (так называл он в глаза и за глаза Александру Павловну), разсудил он.

— Какже-с, встречались здесь… А давно этому, годика два будет, отвечал он приветливым тоном.

Он подал ей руку, сел подле нея…

— Настасья Дмитриевна… совсем одна осталась теперь, как бы что-то желая объяснить, с задержкой произнесла Троекурова.

— Знаю, знаю… горе немалое! участливо вздохнул он, глядя на девушку, на впалые глаза ея и щеки. "С сестрой очевидно ничего общаго!" пронеслось у него в голове. — Вы остаетесь у себя в Юрьеве? спросил он.

— Нет, сказала она как бы несколько смущенно, — я думаю на днях в Москву ехать.

— На долго?

— Не знаю, но сюда я вероятно не вернусь.

— Тяжело слишком, я понимаю, промолвила Александра Павловна.

— В Москве поселитесь? спросил опять Юшков.

— Едва-ли, ответила она не сейчас и не сейчас опять добавила:- там меня прямо не примут…

— Куда?

Настя вдруг и совсем смутилась. Ответ — прямой ответ на вопрос, вызванный ея же словами, — как бы не осмеливался теперь выпасть из ея уст. "Как покажется это здесь странным, диким!" думалось ей… Она робко подняла глаза на хозяйку, но тут же, как бы прочтя в ея улыбке нежданное себе поощрение, мгновенно решилась:

— Я желаю поступить на сцену, выговорила она слегка дрогнувшим голосом.

Первая мысль ея однако оказалась верною. Павел Григорьевич, хмурясь, задергал себя за длинную, белую теперь как лунь бороду и опустил глаза; что-то испуганное, жалостливое сказалось в чертах хозяйки:

— В актрисы! скорбно дрогнул ея голос.

— Жить чем-нибудь надо, а я ни на что другое не способна, поспешно, с выступившею у нея вдруг краской на лице, объяснила девушка, будто извиняясь и стараясь в то же время доказать себе, что ей "все равно, что бы они ни думали об этом"…

Александра Павловна взяла ее за руку и, не выпуская ея из своей:

— Ведь это ужасная карьера, милая, прошептала она, — со всех сторон…

— Много уж грязи придется видеть! брезгливо отметил моряк.

— Знаете что, поторопилась заговорить Троекурова, испугавшись, что-б эти слова не оскорбили как-нибудь девушки, — не решайтесь так, сейчас… Поговорите сначала с Борисом Васильевичем. Он так много жил, видел в своей жизни и думал… Он вам может хороший совет дать…

— Верно! И Павел Григорьевич качнул головой:- Борис Васильевич в этом случае всех нас компетентнее, как пишут у нас теперь в газетах, как бы с новою брезгливостью добавил он.

— Право, милая, настаивала Александра Павловна, нежно пожимая ея руку и глядя ей тревожно в лицо, — поговорите с ним!… Вот он теперь толкует с monsieur Бланшаром и Николаем Ивановичем о новом корпусе, который они хотят пристроить в нашей больнице, а когда он кончит, мы его позовем…

— Ах, право, это напрасно, я… начала было Настя и не договорила: она чувствовала себя в каком-то заколдованном кругу, из которого не имела силы вырваться…

Маша тем временем, усадив подле Василья Григорьевича Юшкова учителя Молоткова, с которым он тотчас же и вступил по обыкновению в прение по поводу какого-то ненравившегося ему "новаго педагогического приема", поманила к себе рукою заговорившего было с miss Simpson Гришу, увлекла его с собою к окну, в сторону сада, и начала с оника:

— Зачем вы так не любезны были с нею?

— С кем это, с miss Simpson? с притворным смехом спросил он, будто не понимая, про кого она говорит:

— Без уверток пожалуйста! строго выговорила Маша:- Когда она вошла с maman в столовую, я нарочно назвала вас: вы поклонились ей, будто в первый раз ее видите. Это, во-первых,

неучтиво, а во-вторых, une finesse cousue de fil blanc.

— Какая finesse? досадливо сморщась, воскликнул он, избегая в то же время ея глаз.

Но она неумолимо допекала его:

— Вы хотели показать maman… и всем, что вы с нею едва знакомы, когда это неправда, когда вы к ним постоянно ездили… Правда, не для нея, подчеркнула она с какою-то странною смесью веселой насмешки и серьезного упрека, — но ведь это все равно…

— Как, и вы туда же? вырвалось неудержимо у молодаго человека.

Брови у нея сдвинулись:

— Куда "туда же"? холодно и гордо уронила она.

Гриша глянул на нее искоса и счел за лучшее засмеяться опять:

— Кто это, скажите, дал вам право меня допрашивать… и вообще командовать мною? подчеркнул он как бы в шутку.

— Кто? пылко повторила она с засверкавшими глазами:- вы сами, ваше поведение!…

— Это еще что? какое "поведение"?…

— Разве мне не досадно… ведь вы мне как брат с детства… разве не досадно мне видеть, как вы маетесь и не имеете при этом le courage de vos sentiments… Ведь я вас насквозь вижу: вы стараетесь показать себя спокойным и равнодушным, думаете всех обмануть, а вам слово промолвить трудно со времени одной свадьбы.

Он хотел возразить, остановить ее, но она не дала ему на это времени:

— Все говорили, что это было бы для вас самое большое несчастие, и вы сами это, верно, увидели… потому что допустили, что не вы, а другой взял ее… Так будьте же тогда мущиной, не выдавайте, что вас мучит!… Еслиб это со мной случилось, я бы или поставила на своем против всего мира, или так съумела бы себя стиснут, что моя подушка не знала бы, что я думаю и чувствую! вскликнула красавица-девочка с выражением страстной и неодолимой энергии.

Гришу эта выходка окончательно взорвала:

— А я вас прошу, Марья Борисовна, отчеканил он, весь побледнев даже от досады, — избавить меня от ваших уроков. Я чуть не на двадцать лет старее вас…

— На семнадцать! поправила она скороговоркой.

— Все равно!.. И делать вам замечания мне относительно того… что до вас во всяком случае отнюдь не касается, пробормотал он, — по меньшей мере смешно!..

Она покраснела до самых ушей… но тут же разсмеялась, жалостливо глянула на него:

— Ну, так и погибайте, как знаете! А я таких мущин, как вы, уважать не могу…

И, стремительно вскинувшись с места, понеслась в противоположную сторону комнаты,

опустилась на стул подле Василия Григорьевича и проговорила ему на ухо:

— Выпела ему все до конца.

— Что это, моя птичка? обернулся на нее; не поняв в первую минуту, старец.

— А я вам говорила: Грише, племяннику вашему…

— Да, да, Грише, блаженно засмеялся он;- "выпели", говорите… И хорошо, чтобы долго помнил, а?

— Желала бы!

И тонкия брови Маши сдвинулись еще раз.

— Ну, а он что же, благодарил, надеюсь?

Она чуть-чуть пренебрежительно приподняла плечи:

— Изволили разгневаться, по обыкновению… Он уедет с вами теперь в Углы и неделю целую потом сюда не покажется, чтобы доказать мне свое великое неудовольствие… А чрез неделю соскучится, положит гнев на милость, и все по-прежнему пойдет… Ведь я его наизусть знаю, дядя Базя, с легким вздохом примолвила девушка, несказанно радуя старика ласкательным уменьшительным, которым называла она его в детстве.

Большие голубые глаза его остановились на ней с невыразимою любовью:

— Пери вы моя!.. Виденье райской стороны!.. лепетал он восторженно на своем романтическом языке времен Светланы и Рыцаря Тогенбурга…

— Борис, молвила Александра Павловна подошедшему к ним мужу, — Настасье Дмитриевне надо будет посоветоваться с тобою об одном… предмете.

— Очень рад, поспешил он ответить, — тем более, что мы, кажется, утром не совсем успели договориться… Не пройдем ли мы опять ко мне, Настасья Дмитриевна, предложил он девушке,- здесь нам будет не так свободно.

Он усадил ее в кабинете на прежнее место, а сам опустив вдумчиво голову и засунув руку за борт застегнутаго сюртука, медленно зашагал по комнате:

— Мне не хотелось бы оставить в вас ни тени сомнения, начал он, — относительно искренняго, сердечнаго, скажу я, желания быть вам на что-либо пригодным. С несчастию, вы отнеслись ко мне, прося содействия именно в том, в чем я самым решительным образом должен отказать вам. Я не могу ходатайствовать, поймите, у властей по делу, к которому, будь я на их месте, я отнесся бы по всей вероятности еще строже, чем они… Вы говорили сегодня о "прощении". Я не допускаю прощения для тех, которые прежде всего о нем и не просят и, главное, не дали бы его сами никому, если-бы власть когда-либо попалась им в руки…

Он остановился на-ходу и пристально взглянул на молча внимавшую ему девушку с улыбкой, сквозь которую пробивалось выражение едкой внутренней горечи:

— На ваше счастие, сказал он, — таких безпощадных, как я, не много найдется в гуманнейшей России наших дней. Если я не почитаю возможным принять на себя ходатайство за вашего брата, то вы от этого нисколько не потеряете, — напротив! Выгородить его или довести, по

крайней мере, степень его виновности до минимальнейших размеров будут стараться лица, гораздо более влиятельныя тут, чем мог бы быть в этом случае я.

— Кто такие? изумленно вскликнула Настя.

— Весь тот судебный персонал, чрез руки которого пройдет он: адвокаты, прокуроры, судьи…

— Вы думаете?… И в мысленном представлении ея в ту же минуту выросла маленькая и решительная фигура "представителя прокурорской власти" Тарах-Таращанского, и визгливый фальцет его прозвенел еще раз в ея ухе: "Я ведь всему этому не придаю никакого серьезного значения*. — Вы думаете? оживленно повторила она.

— Уверен, ответил с тою же едкою улыбкой Троекуров: — ведь судьи и подсудимые того же взращения цветки будут, тем же духовным млеком вспоенные, на тех же Чернышевских и компании воспитанные… Но об этом довольно!… Вы не гневаетесь на меня за мою откровенность? спросил он нежданно, протягивая ей руку.

— Хотела бы, не могу! слабо усмехнулась она, пожимая ее:- еще собираясь к вам, я внутренно чувствовала, что вы не можете дать мне другаго ответа, и поехала только, чтобы не обвинять себя потом, что не сделала в этом случае всего, что было в моей власти.

— И не раскаиваетесь теперь, что поехали? тихо и мягко спросил он.

— Нет, Борис Васильич, — и глаза ея засияли добрым сиянием: — я не ждала, признаюсь вам, того сердечного приема, который встретила здесь… и никогда не забуду его…

— Ну, и прекрасно, прекрасно!… не дал он ей говорить далее. Он подвинул кресло и сел к столу, прямо против нея: — а теперь поговоримте собственно о вас. О чем желает Александра Павловна, чтобы вы "посоветовались" со мною?

— Ее очень испугало, молвила со слабою усмешкой Настя, — намерение мое поступить на сцену.

— А вы желаете?…

— Да!… Вы этого тоже не одобряете? вырвалось у нея невольно…

— Это будет зависеть… сказал он.

— От чего?

— От того побуждения, которое подвигает вас на это намерение.

— Я сказала Александре Павловне: жить чем-нибудь надо, а у меня к этому, кажется, способность есть.

— И только?…

— Что?

— Только способность? подчеркнул он.

Она поняла… и поняла то, что "этот человек поймет ее" в свою очередь, что "ему можно будет сказать все", все то, о чем так много передумано ею, и чего до сих пор не находила она

возможным поверить ни одной душе живой в среде своих… Не даром же глядел он на нее теперь "такими добрыми и умными глазами"…

— Ах, Борис Васильич, проговорила она задушевно, — я так намучилась… я туда ушла бы вся…

— В искусство? пояснил он.

— Да!… Я так давно живу одною этою надеждой!… В те долгие часы, которые я, бывало, проводила по ночам над ним… над несчастным отцом моим, вымолвила она чрез силу, с судорожным подергиванием губ, — я знала, что… при его состоянии… ему не долго жить, что я останусь потом одна, без средств, что надо будет мне приложить к чему-нибудь руки, я все упорнее… все любовнее, спешно примолвила она, как бы поймав на лету желанное выражение, — ухватывалась за эту мысль… Это был мой якорь спасения, Борис Васильич, примолвила она и смолкла на миг.

Он не отрываясь глядел на нее, от времени до времени поводя сверху вниз головою. как бы приглашая ее продолжать.

— Жить мне… да и всем нам… в Юрьеве было не легко, начала она снова:- с сестрой мы мало сходились, у нея другия требования… другия понятия… Брат ушел. Он… с этою слабостью своей… вечно терзавший себя воспоминаниями об утерянном прежнем, недовольный собою и нами, ни с чем не мирившийся и на все досадовавший как ребенок… И каждый день те же грошовые разсчеты, мелкия лишения, старческия, малодушныя жалобы его на недостаток удобств, в которым привык он с пелен… О муке я не говорю, но что горечи, что злости набиралось мне в душу, если бы вы знали!… А я не родилась злая, Борис Васильевич, мне тяжело ненавидеть и проклинать… Смириться я тоже не могла: недостаточно христианка я для этого…

— Вы не веруете? спросил совершенно спокойно Троекуров.

Но этот вопрос как бы смутил ее несколько.

— Я не атеистка, впрочем, словно извиняясь, ответила она, — я признаю неведомую… высшую силу… Но Провидение, как говорится, было слишком безпощадно ко всем нам, чтобы могла я верить в его "безконечную милость" и сносить с покорностью его удары во имя его "будущих…" гадательных наград, добавила Настя с неудачным намерением улыбки;- еслиб я веровала, сказала она по минутном размышлении, — как дается это иным… я ушла бы теперь, не задумываясь, в монастырь, в пустыню, "спасать себя молитвой и постом", как говорит старец Пимен у Пушкина…

Она остановилась вдруг, пораженная выражением страдания, сказавшегося в эту минуту на лице ея собеседника.

— Вы дурно себя чувствуете? быстро спросила она.

— Ничего, также поспешно проговорил он, — в голове несколько подергивает… старая обычная у меня боль, нисколько не мешающая мне слушать… Продолжайте, сделайте милость!

Девушка заговорила опять; она в этой исповеди своей находила какое-то неведомое ей до тех пор душевное удовлетворение.

— Христианского смирения во мне не было, повторила она, — но и доброму, что оставалось у меня в душе, я не хотела дать погибнуть в этом аду… Чем наполнить, на что отдать ее, душу,

думала я безустанно, чтобы стоять внутри себя выше житейских терзаний… чтобы было у меня что-нибудь главное… недосягаемое… чему бы я могла предаться так, чтобы все возмущающее в жизни потеряло для меня всякое значение… Не знаю, так-ли я выражалась и понятно-ли для вас это чувство, Борис Васильич?…

— Совершенно, сказал он, — и совершенно понятно, что это "главное", на что могли бы вы "отдат душу", вы попытались искать в искусстве…

— Да, радостно воскликнула она, не правда-ли?… У меня к театру была страсть с детства; я помню, в Москве, на последния деньги, бывало, едешь с братом плакать над Садовским в Любиме Торцове… А что ночей на пролет провела я за Шиллером и Шекспиром… Я долго однако боролась с собою: я люблю детей, и у меня диплом из гимназии есть; я думала сначала посвятить себя педагогии, поступить куда-нибудь в учительницы. Но я слишком раздражена, слишком нервна; я бы воспитанникам своим принесла более вреда, чем пользы… А на сцене те же нервы могут еще службу мне сослужить: с помощью их я буду в состоянии вернее, тоньше принимать в себя и передавать внутреннюю жизнь лиц, которых мне придется изображать…

Она говорила с воодушевлением, с разгоравшимися все ярче глазами, и все лицо ея, впалое и желтое, словно преобразилось под светом этих дымчатых и глубоких глаз… "Да она просто красива"! сказал себе в изумлении Троекуров…

Он продолжал глядеть на нее, тихо покачивая головой.

— У вас сценическая, выразительная, подвижная наружность, — безспорно. Остается знать…

— Есть-ли у меня талант? договорила она за него.

— Да, усмехнулся он.

— Кажется, есть, ответила девушка без притворного скромничанья: — покойный отец думал так, по крайней мере, а у него было много вкусу и навыка, он так много видел на своем веку… Я прочла с ним много женских драматических ролей: Корделию, Дездемону, Марию Стюарт, Теклу в Валленштейне, и из нашего репертуара…

— Знаменитую Катерину в Грозе? неожиданно спросил Троекуров. И Настя не могла разобрать, похвалою-ли или иронией отзывался у него этот вопрос. Он впрочем не дал ей времени объяснить себе это:

— Во всяком случае вам следует, я полагаю, пройти известную подготовительную школу с каким-нибудь хорошим специалистом… А для этого, и не для одного этого, пока вы не поступите на сцену… средства нужны, Настасья Дмитриевна, молвил он, не глядя на нее и понижая голос.

— Я теперь обезпечена, воскликнула она: — тетка наша, Лахницкая, оставила по завещанию три тысячи рублей сестре моей Антонине с тем, чтобы она пользовалась процентами с них до замужства, а когда выйдет, передала бы их мне в полное распоряжение. Тетка предчувствовала, что Антонина со своею красотой найдет себе скоро богатаго мужа и не будет нуждаться в этих деньгах…

— Какия же это деньги три тысячи рублей? возразил оне: — на проценты их не проживете, а начнете брать из капитала, на долго-ли хватит?

— До поступления на жалованье. Ведь если окажется талант, не гроши же дадут! А не будет

таланта, и капитала никакого не нужно будет: пойду в какую-нибудь общину, в сестры милосердия.

— Вы желали бы поступить в Московский театр?

— Конечно; но все равно, я и в провинцию готова.

— Там… потяжелее будет, проговорил он с разстановкой.

Она вздрогнула слегка и твердым голосом:

— После того, что суждено мне было испытать, сказала она, — ничто меня не устрашит и все от меня отскочит.

И так много внутренней силы послышалось в этих словах, что Троекурова точно всего приподняло:

— Идите же с Богом в путь, порывисто вырвалось у него, — и да хранит Он вас от недочетов и уныния!…

— Вы благословляете? благодарно и ласково глядя ему в лицо, проговорила Настя.

Он задумался вдруг и отвечал не сейчас:

— Александра Павловна будет, конечно, не довольна таким моим "благословением…" хотя, по обыкновению, ничем мне не покажет этого, добавил он с какою-то странною, унылою улыбкой и словно про себя;- для нея точно так же трудно допустить, чтобы девушка, как вы, могла решиться итти в актрисы, как и то, что-б эта девушка была "недостаточно христианкою", чуть-чуть подчеркнул он; но я позволю себе быть несколько… как бы это сказать, чтобы не слишком обидеть себя?… несколько объективнее в этом случае… Не всем дано, как ей, родиться безгрешною, impeccable et immaculée! Дух веры и смирения есть дар, величайший дар, и не дается он всякому, кто захочет. А душу живую все же чувствует в себе каждый, и так или иначе ищет отрешить ее от буднишней грязи, алчет — и у скольких это напрасно выходит, — отдать ее на что-то "главное недосягаемое", — вы хорошо это сказали! — в чем поглотилось бы его личное, назойливое, вечно ноющее я… Вы нашли его в искусстве — что же, с Богом, идите! повторяю. Искусство — то же спасение! Оно тоже луч из того неба… в "награды" которого вы не веруете.

Он оборвал вдруг и сморщился, будто от чего-то горькаго, как всегда это бывало с ним, когда иное слово в пылу разговора, вырывавшееся у него из глубины души, могло, по его мнению, быть сочтено за "фразу" слушателями его.

— Я однако в поэзию пустился, кажется, промолвил он с насилованным смехом, подымаясь с места.

— Ах, если бы вы знали, вскликнула на это горячо Настя, — как давно я ни от кого не слышала этой "поэзии" и как сладко мне ее слышать!…

— Очень рад!…

Он присел опять к столу.

— Так вот что, Настасья Дмитриевна, поспешил он заговорить опять:- я дам вам письмо в

Москву к одному хорошему моему знакомому; зовут его Ашанин. Большой повеса, весело промолвил Борис Васильевич, — но золотой по сердцу человек; он свой в театральном мире, поставит вас там в сношение со всеми, кто будет вам нужен, и сделает для вас вообще все, что только можно сделать, — отвечаю вам за это… Но при этом уговор, заключил он.

— Какой? с некоторым изумлением спросила она.

— Во-первых, вы остановитесь по приезде в доме моем на Покровке и устроитесь там на все время, пока пробудете в Москве…

Она хотела возразить, но он остановил ее движением руки:

— Во-вторых, вы должны обещать Александре Павловне… и мне, что будете почитать Всесвятское родным для себя местом, куда станете приезжать проводить время, которое окажется у вас свободным. Артистам уединение и отдых бывают нужны в интересе же их таланта, а здесь вы будете пользоваться ими среди людей, искренно к вам расположенных и так же мало стесняя себя вместе с тем, как если бы вы были у себя в Юрьеве.

Настя не успела ответить.

В незапертыя из гостиной двери кабинета входила хозяйка дома:

— Что, кончили? спросила она с порога.

— Надеюсь, ответил Троекуров, вставая и направляясь к ней, — но боюсь, что ты останешься не совсем довольною тем, к чему мы пришли.

— Вышло несогласно с вашими убеждениями, Александра Павловна, сказала в свою очередь девушка, подходя в ней с улыбавшимся лицом.

— Ах, милая, вскликнула она на это, — какое громкое слово вы сказали: "убеждения"! У меня на это никакой претензии нет. Я просто думала… как ужасно должно быть для порядочной девушки в этом мире театра, где кругом так много дурных чувств… и дурных примеров, как бы робко домолвила она.

— И ты совершенно права en principe, сказал ей муж, — но для Настасьи Дмитриевны все это не так страшно, как для другой, менее испытанной жизнью; я тебе объясню, и ты, я уверен, согласишься…

— Это зачем же, Борис! прервала его словно испуганно Александра Павловна: — ты конечно лучше меня в состоянии разсудить все в этом случае… "Объяснять" мне ничего не нужно… Я наперед с тобою согласна, если ты находишь, что так надо…

Брови Троекурова на миг как бы болезненно сжались, — но тут же с прояснившимся лицом:

— Настасья Дмитриевна, сказал он, — обещает за то приезжать к нам во Всесвятское проводить все время, которое будет у нея свободным во время ваканта, если она поступит на Московскую сцену, или между своими ангажементами, если поедет в провинцию.

— Я не обещала еще, Борис Васильевич! протестовала девушка…

Александра Павловна протянула ей обе руки:

— Не отказывайте!… Ведь там у вас опять душа наболит! быстро и чуть не шопотом

проговорила она.

Слезы нежданно так и брызнули из глаз Насти и руки ея в неудержимом порыве обняли шею Троекуровой:

— Какая вы добрая, какая вы добрая! лепетала она, сдерживая, насколько могла, свои нервы, что-б и совсем не расплакаться…

XVIII

Ich sehne mich nach Thränen.

Heine.

Поздно, часу в двенадцатом ночи, уехала она из Всесвятского. Вечер пронесся для нея с неимоверною быстротой и в каком-то чаду… Ей то-и-дело представлялось, что это было не явь, а сон, невозможный сон. Так радостно, светло, обольстительно, куда ни взглянешь, было в этой большой гостиной с ея картинами в золотых рамах по стенам и темною зеленью апельсинных дерев и камелий в ея углах! Приветливыя и милыя, молодыя и старыя лица кругом, незлобивыя, увлекательныя речи, нежданные взрывы девичьяго смеха, от которого "будто запахом фиялок весной на всех повеет вдруг", говорила себе Настя Буйносова. О, как все это далеко было от мрака, от уныния, от злобы веявших на нее столько лет в стенах и от стен Юрьева!… "Неужели же все это богатство делает?" спрашивала она себя. Но нет, она помнила, когда и у отца ея были хоромы полныя ценных картин и редкой утвари, когда там давались пиры на всю Москву, когда они, дети, ходили в шелку и в бархате,- а не то это было, не эта "благодать", не это что-то "умиряющее и подымающее"… Старый моряк Юшков был особенно в ударе в этот вечер: он разсказывал про Малахов Курган, с которого его с оторванною рукой снесли матросы бегом на перевязочный пункт за несколько минут пред тем, как по настилке дымящихся русских трупов вбежали в укрепление торжествующие Французы; про адмирала Нахимова, которого он звал не иначе, как по имени и отчеству: "Павел Степанович", — причем голос его, чуялось ей каждый раз, как будто "надтрескивался"… "Ведь все равно-с, все мы тут ляжем", приводил он с улыбкой, которая так и врезалась в ея памяти, безсмертныя в смиренном мужестве своем слова его, "Павла Степановича", при отдаче приказания подчиненным не подвергать себя неприятельским выстрелам без нужды. И не могла она забыть того глубоко вдумчиваго выражения, с каким из-за кресла отца внимал этим разсказам тринадцатилетний сын Троекуровых, и внезапный тут же, дрожавший от сдержанных слез, возглас его сестры: "Ах, вы все там святые какие-то были!…" Да, это был неведомый поныне для Насти мир, старый, "честный" мир семьи и родных преданий, в который не верила, или который презирала она так много лет сряду с высоты своих "освободительных идей", и который открывался теперь пред нею во всем обаянии своей тихой прелести. Словно какие-то золотые лучи прорывались насильственно сквозь ткань облекавшего ее траурного покрывала… "Есть же у нас в России свое, крупное и дорогое", сказывалось внутри ея, — "из-за чего горят восторгом эти молодыя создания и сверкают эти чудесныя слезы на их глазах, из-за чего легли там Павел Степанович и тысячи таких же смиренных и великих душою, как он. А мы с Володей не знали, не хотели и знать всего этого… Он и теперь не сдался бы на моем месте; он и среди всех этих милых людей остался бы таким же… непреклонным", вспомнилось ей при этом вдруг каким-то режущим и смущавшим ее диссонансом…

И, по мере того, как старыя, дребезжавшие дрожки — единственный вегикул, сохранившийся в сараях Юрьева, — на которых ехала она, приближались к ея усадьбе, мысль о брате возвращалась в ней все настойчивее, а с нею возникало мало-по-малу какое-то странное раскаяние за то душевное умиротворение, которое выносила она из Всесвятского. Ей

представлялось, что с ним порывались последния нити, связывавшие ее с этим братом, бывшим для нея до сих пор самым дорогим существом на свете. Она припоминала, что для него, в виду единственно его спасения, поборола она в себе то враждебное чувство, которое внушали ей до тех пор Троекуровы, и решилась ехать к ним. И что же? Она не нашла там в его защиту тех горячих слов, которыя, казалось ей, когда она уезжала из Юрьева, польются из уст ея с неотразимою силой убеждения. Она сдалась, сдалась на первые же доводы этого "очаровательнаго", — она сознает это, — но все же "узковатаго барина", не желающаго признать "честныя", хотя бы и ошибочныя "побуждения молодежи". Он ей прямо сказал, что "не допускает прощения для тех, кто о нем не просит", и она не протестовала: хуже, — она как бы согласилась в ту минуту в душе своей, что Володе нельзя, не следует прощать... А затем она и как бы совсем забыла о нем думать... Ее как-то разом затянуло всю в очарованный круг этого дома, в эту мирно текущую, счастливую чужую жизнь. Она уехала вот сейчас оттуда светлая духом, чуть не радостная. Имеет ли она на это право? спрашивала себя теперь Настя, роясь с какою-то внезапною жаждой новой муки в только-что затихшей бедной душе своей... Нет, она "не может и не должна мириться с жизнью", пока он, Володя, томится и страдает; как бы ни признавала она его неправым, как бы ни расходилась ныне с целями, которыя преследует он... с тем чем-то ужасным, на что намекнул он ей в тот страшный вечер, — она "не станет рвать цветов под окнами его тюрьмы", сказала себе девушка каким-то внезапно пробежавшим у нея в мысли поэтическим оборотом, заставившим ее тут же невольно усмехнуться, и голова ея машинально наклонилась к большому букету азалий и роз, который держала она в руке... Букет этот пред отъездом ея принес ей из оранжереи Гриша Юшков, и она видела, как красавица-Маша зоркими глазами следила за ним, когда он робко и неловко подносил ей, и с лукавою улыбкой шепнула что-то на ухо его старика-дяди, а тот так и просиял весь и весело закачал своею седою, всклокоченною головой... "Он сам бы конечно не подумал о такой любезности, ему очевидно она, эта прелестная девочка, приказала сходить для меня к садовнику за этими цветами". И Настасья Дмитриевна вздохнула... "А интересно, прочат-ли там в самом деле за него эту девочку?" пронеслось у нея чрез миг опять, но она немедленно затем махнула рукой и проговорила громко под гул колес своего допотопного экипажа: "Ах, какое мне до всего этого дело!..."

Когда она очутилась опять дома, в своем запустелом, неуклюжем и мрачном обиталище (с нею жила тут теперь одна толстая, успевшая за эти дни от непробудного спанья одуреть чуть не до идиотизма, Мавра; немую Варюшку Антонина Дмитриевна Сусальцева увезла с собою за границу), ее охватило вдруг каким-то ледяным холодом. Весь ея старый, безотрадный строй мысли словно вихрем налетел на нее опять и сжал за горло железными когтями, звеня ей в ухо: "ты моя, и никто тебя теперь от меня не вырвет!..." Пока ея грузная слуга, тыкаясь во все углы спросонья, готовила ей постель, она, уложив голову на руки, долго сидела недвижно, уткнувшись безсознательно взглядом в пламя единственной свечи, стоявшей пред нею на столе. "Готово, барышня!" второй раз пропел над ея ухом тягучий голос бабы, когда она наконец вышла из своего оцепенения.

— Я завтра в Москву еду, Мавра, сказала она и, опустив руку в карман, вынула оттуда два письма.

На одном из них читалось: Владимиру Петровичу Ашанину и адрес. Другое было на имя управляющаго домом Бориса Васильевича Троекурова, на Покровке.

Она положила первое письмо на стол рядом со шляпою, скинутою ею с головы.

— А это не нужно! решила она, разрывая на четыре куска письмо к управляющему:- они благородные, добрые, чудесные люди, я вся распустилась с ними, но отдаться я им все-таки не хочу, как и никому на свете! "Душа наболит опять", говорила эта милая женщина. Пусть! И у

нея свое что-то, должно быть, наболело тоже... А мне и некогда будет: не своею я отныне жизнью жить буду, а тех, кто устами моими говорить будут, слезами моими плавать... Тоже "луч с неба", вспомнила она слова Троекурова, — и какая-то неопределенная улыбка скользнула на миг по ея изнеможенному лицу...

КОНЕЦ ПРОЛОГА.

Часть первая

O vol, ch'avete l'intelleti sani,
Mirate la dottrina che s'asconde
Sotto I velame delli versi strani.

Dante.

I

Près des bords où Venise est reine de la mer...

André Chénier.

Близь мест, где царствует Венеция златая...

Пушкин.

Светлою месячною ночью, в половине августа 1878 года, от Шацетты в Gran Canale спускалась серената. Над широким, квадратным досчатым помостом, настланном на двух больших, связанных бок-о-бок, барках, возвышался сквозной павильйон из длинных брусьев, обтянутых спирально полосами яркой пунцовой ткани в переплет с гирляндами из свежей зелени, бежавшими от них вверх лучеобразными нитями в невысокой мачте, составлявшей центр постройки и над которою, под набегами слабаго ветерка, дувшего от Джудекки[14], тихо шуршали в прозрачном воздухе складки италиянскного флага с красным савойским крестом на его белой середине. Трепетный мутный свет безчисленного количества разноцветных бумажных фонарей обливал со всех сторон собранную на помосте довольно большую толпу мужского и женского хора, играл инде капризными бликами на видневшихся в руках музыкантов инструментах, на серебряных клапанах флейт, на блестящей меди труб и валторн, — и розы в волосах певиц словно млели и трепетали под этим им неведомым фантастическим сиянием. Впереди, темными силуэтами рисуясь на голубоватом фоне ночи, три гондольера, стоя на корме в той своей классической наклонной позе, которую обезсмертила кисть Каналетто, тужась и усердно ворочая руками, работали каждый своим единым длинным веслом, двигая вниз прикрученное веревками к гондолам их все это тяжелое пловучее здание.

Серената устроена была с целью какой-то патриотической подписки хозяевами многочисленных отелей в Венеции, и должна была у каждаго из них исполнить назначенный для него по программе музыкальный нумер. В момент остановки павильйон освещался весь пламенем красных, зеленых, синих огней; из отеля в ответ взлетали к небу шипящия ракеты, и бумажная монголфьерка с пылающим под нею спиртом медленно подымалась в воздух, приветствуемая восторженными кликами целаго роя детей, с заборов, с балконов, с крыш взиравших на "spettacolo questo divino", на такое "божественное зрелище"...

Все далее плыла серената, и с каждым мгновением становилось значительнее число

примыкавших к ней гондол. Стройныя, таинственныя и мрачныя в своем традиционном траурном облике[15], выплывали оне из соседних лагун и малых каналов, беззвучно и мягко, как полет ночной птицы, скользя по зеркальной глади зеленых вод. Со всех скинуты были будки и с сидений их жадно, в свою очередь, глядели на зрелище forestieri всех стран, возрастов и видов: голубоглазыя английские миссы и деревянные Немцы, совершающие свою прогулку по Италии, Французы-художники с козлиною бородкой, в остроконечных и широкополых шляпах, оливколицые Индийцы в чалмах, прибывшие для чего-то с последним пароходом из Бомбея в Европу, Далматинцы из Триеста с усами в три этажа, с добродушно суровым выражением своих славянских лиц... Разноязычныя восклицания, живой говор раздавались кругом в интервалах между исполнением музыкальных пиес. Новоприбывшие гондолы изворотливо, как змеи, втирались в тесные ряды ближайших в павильону, все шире и шире раскидывая сомкнутый круг их; слышался металлический лязг сталкивавшихся бронзовых коников[16], плеск забиравшего вперед весла? и все это, лихорадочно спеша и теснясь, боясь быть оттертыми в свою очередь, неслось затем разом за отплывавшим опять с места пловучим концертом...

Исполнено было уже несколько нумеров. Усердный, хотя и не совсем стройный оркестр, составленный из любителей, лавочников и ремесленников, проиграл увертюру из Сороки воровки и марш венчания из Пророка; хор пропел смело, чтобы не сказать лишняго, молитву из Моисея; какая-то не молодая, с большим носом и надтреснутым голосом, особа пролепетала слащавенький романс Stella confidente... Серената въезжала в Gran Canale.

Новая остановка; снова ракеты и бенгальские огни, и из-за пламени и дыма их зазвучал на помосте голос...

То был мужской, проницающий голос, высокий баритон с тем грудным теноровым тембром, какой дается только "сынам Авзонии счастливой", голос не прошедший — было ясно, — никакой школы, певший, как поет птица, но страстный, но нежный, но неотразимо обаятельный в безъискусственности своей голос.

La bionditia in gondoletta

пел он старую, известную местную канцонету, и чем-то словно эпическим, стародавним и благоухающим понесло вдруг от этих звуков, среди этой лунной и праздничной ночи, пред этими старыми, волшебными в запустелой красоте своей дворцами Венеции, из мраморных окон которых когда-то в такия же месячныя ночи внимали задумчиво певцам таких же серенат патрициянки-красавицы Тициана и Веронеза, белокурыя дочери Лореданов и Дандоло...

Таково, по крайней мере, было впечатление, произведенное певцом и его песнью на молодую, одетую всю в черное, женщину, сидевшую рядом с другою и в обществе трех сопутствовавших им мущин (из которых один был очень красивый и в очень красивом мундире италиянский офицер), в большой гондоле Hôtel Danielli, управляемой двумя гондольерами, облеченными ливрейно в матросский белый с синим костюм:

— Ah, marquis, громко вскликнула она, — on se croirait vraiment au temps des doges et il ne manque qu'une pâle Desdémona au balcon de cet adorable palais Grimani!

— Ou si vous aimez mieux rester dans l'histoire, comtesse, благовоспитанно засмеялся маркиз, человек лет сорока пяти, с тонкими чертами и лукавым выражением глаз.- une Catherine Cornaro à la veille de partir reine pour Chypre.[17].

— И как он поет, этот человек! возгласила она опять со вздохом восторга.

— Monsieur Vermicella, проговорила на это пренебрежительно-насмешливым тоном на том же французском языке другая сидевшая в гондоле дама, облеченная в изящнейшую тальму из темно-синяго drap de velours, богато обшитую золотым шнурком по тогдашней моде, и с газовою на круглой шляпе вуалью, спущенною до самаго подбородка, во избежание вреда, какой мог нанести ночной воздух ея свежему и прекрасному лицу, и дама кивнула на офицера, сидевшего по другую сторону: — Monsieur Vermicella говорит, что он хорошо знает этого человека: его зовут Луиджи Керубини; он сапожник.

— Si, si, ze (то-есть, je) le connais bien cet uomme (homme) puisqu'il me coud mes stivale… mes bottes, поспешил перевесть с самодовольным смехом офицер Вермичелла, который был настолько же обижен природой в умственном отношении, насколько щедро одарен ею с наружной стороны, и говорил при том по-французски непростительно дурно.

Графиня, не отвечая, взглянула на него чуть не с ненавистью и замолкла, будто обиженная.

— Кстати о палаццо Гримани, знаете-ли вы его легенду? спросил ее маркиз.

— Нет! отрезала она.

Он чуть-чуть повел кончиком губ, как бы засмеявшись внутренно тому, что угадывал под ея внезапным неудовольствием, и заговорил своим светским, несколько изысканным языком:

— Я начну как в сказках: жил да был (il y avait une fois) здесь дож по фамилии Тиеполо[18] и ему принадлежал вот этот, прямо напротив, не менее прелестный palazzo той же лучшей эпохи Возрождения. Дворцом этим уже несколько лет восхищалась Венеция, когда на месте палаццо Гримани все еще стояло старое обиталище этой фамилии, не отличавшееся ни размерами своими, ни изяществом. Тогдашний владелец его был человек богатый, но разсчетливый или скудой, l'histoire ne le précise pas, и довольствовался скромным жилищем, оставленным ему предками в это блестящее Cinque Cento (в XVI веке), когда страсть к искусству неудержимо увлекала всю остальную тогдашнюю венецианскую аристократию к постройке всех тех художественных чудес, мимо которых проезжаем мы теперь… Но у этого Гримани был сын, а у Тиеполо дочь, и молодые люди влюбились друг в друга. Так как обе фамилии были равно богаты, равно записаны в Золотую книгу[19] и в отношениях оне были не враждебных, то Гримани, не допуская и мысли, чтобы могло быть ему отказано, отправил к дожу посланных просить для сына руку его дочери. Но к немалой досаде своей узнал о таком ответе того: "Скажите Гримани, что я отдам дочь мою за его сына, лишь когда он выстроит palazzo, равный красотой моему, а то у меня каждое утро болела бы душа, глядя чрез канал, при мысли, что моя дочь из великолепных палат моих перешла на жительство в такой жалкий домишко, как его". "Так объявите же Тиеполо", воскликнул Гримани, "что я выстрою такия палаты, что балкон их будет шире всего фасада его дворца"… И исполнил свое слово: сплошной балкон, облегающий, как вы видите, весь фасад палаццо Гримани, длиннее протяжением фасада дворца Тиеполо… Это chef d'oeuvre знаменитаго тогдашняго венецианского архитектора Саммикиели… Знаете, что на одни основания его — место тут было страшно болотистое, — пошло миллион двести тысяч свай, протянул он подчеркивая, — превосходнейшаго красного леса… Одна французская компания предполагала в прошлом году купить этот дворец, чтобы снести его и вытащить для продажи эти сваи, приобревшие теперь, после такого долгаго пребывания в воде, крепость железа и огромную ценность. К счастию, город не согласился на такой акт вандализма…

— Спекуляция хорошая; дрова здесь очень дороги, с быстротой и краткостью телеграфной депеши промолвил, обернувшись к офицеру Вермичелле, третий из мущин гондолы, высокий и полный, стоявший на носу ея и не принимавший до этой минуты никакого участия в разговоре,

а глядевший, не отрываясь, на серенату сквозь огромнейший бинокль, футляр которого висел у него на ремне через плечо.

Дама под вуалью быстро и как бы испуганно вскинула голову по его направлению; но он уже успел замолкнуть и снова навел свой бинокль на павильон с его певцами и музыкантами.

— Это очень мило, что вы разсказываете, скучливо-любезным тоном сказала дама, обращаясь к маркизу: — у вас много еще таких историй?

— Есть, если вам не скучно слушать, история palazzo Contarini, dit dette, figure, ответил он, глядя впрочем не столько на нее, сколько на ту, которую назвал графиней.

Но эта молодая женщина видимо не интересовалась его историями. Под негромкие звуки его повествования она всем ухом прислушивалась к разговору, который велся рядом с нею в гондоле, только-что оттеснившей ту, в которой за несколько мгновений пред тем видела она невзрачную чету каких-то старых Англичан с зубами, длинными как у верблюда, и с неизбежным Murray[20] в руке. Их заменили теперь двое молодых людей; из которых один, обросший волосами чуть не по самые глаза и в истрепанной мягкой шляпе, надвинутой по самыя брови, сидел, укутавшись в какой-то не то плед, не то одеяло, словно от холода; другой, белокурый и стройный, одетый прилично, глядел, прищурившись, на palazzo Grimani, о котором только-что разсказывал маркиз. Он, поняла она с первых его слов, слышал этот разсказ:

— Да, брат-Волк, говорил он по-русски своему спутнику, — на это вот зданьице миллион двести тысяч однех свай пошло… Глубоко запустили свои корни эти старыя цивилизации, процедил он чрез миг, перескакивая очевидно чрез целый ряд мысленных посылов.

— А ну их с чорту! прохрипел человек в пледе.

Белокурый разсмеялся:

— Ты все так же прямолинеен, вижу, Волк, сказал он.

— А ты не аристократничай! отрезал тот как бы грозно.

Настало на минуту молчание, после чего белокурый начал опять:

— Как же ты сюда добрался?

— Известно как: кочегаром.

— От Суэза?

— Во! от самаго Сингапура.

— Тяжело?

— Чего "тяжело!".. Ничего… В Красном море жарконько было, будто вспомнил он нечаянно.

— С языком как ты справлялся?

— Какого там языка нужно! Пришел наниматься, говорю: сох, на руки показал. "Well", говорят, ступай!.. Разговор не долог.

— Жалованье получал?

— А то как!… Кормили то-жь… Пять фунтов чистогану приобрел, как бы уже с некоторою торжественностью примолвил он.

— В Россию… думаешь? после новаго молчания спросил белокурый, понижая голос.

— Как вот решим… в Женеве, как бы нехотя промычал тот.

С платформы грянул в эту минуту хор из Травиаты.

Графиня с нетерпением ждала, когда он умолкнет. То, что пришлось ей услышать сейчас, возбудило в высшей степени ея любопытство. А любопытства и воображения было у нея много, очень много…

Незнакомые ей молодые люди продолжали свою беседу между тем, не слушая музыки и не обращая видимо никакого внимания на то, что происходило пред ними. Они были вполне поглощены теперь друг другом… Когда пение прекратилось, графиня услышала следующее:

— …Четверо суток проплутали мы в этом бору, говорил белокурый; — в сентябре дело, было, холод там в ту пору уже лютый, дождь ледяной, а на нас сермяги одне крестьянския… до костей пронимало… Из сил выбились к тому же; если-бы не фляжка с коньяком, которую она выкрала для меня у отца и дала на прощанье, я, пожалуй, так и сгинул бы тут от изнеможения…

— Знаю, промычал опять тот, которого звали Волком, — было со мной такое-жь на Шилке… Что-жь этот твой Степка… как бишь его?…

— Степка Фролов, по прозванию Зарез… Эх, знатный парень! перебил себя говоривший:- вот оружие чудесное на какое угодно предприятие… если-бы понадобилось, проговорил он веско и вполголоса.

— Д-да, протянул загадочным тоном Волк:- из рабочих?

— Маляр, Питерец… грамотный, у Ивашнина в школе был…

Тот повел головой:

— Готовый, значит?

— Насквозь!… Дороги он сам не знал, за то знал хорошо, что проведали бы про то, что он способствовал мне бежать, его бы в тюрьму, как пить дать, упекли. Сам я ему об этом говорил. "А наплевать, говорит; что там будет — дело незнамо, а теперича тебя, Владимир Митрич, выручать надо"… Ну, и повел… и погибал там со мною, в лесу в этом…

— Как же выдрались-то?

— Очень просто: нежданно, негаданно, сквозь лес вода блеснула… Оказалось, мы к Сухоне вышли…

"Сухона, Сухона, припоминала графиня, — это где-то près Архангельск. Он туда был сослан и ушел à travers cette forêt, где чуть-чуть не погиб. А другой из Сингапура — c'est dans l'Inde… кочегаром, бедный… Ужасно!… Он тоже бежал… из Сибири, это ясно, — на каком-нибудь американском пароходе… И теперь оба здесь, à Venise, devant ces merveilles de l'art…

Политические преступники, des réfugiés politiques", перевела она — и воображение ея разгоралось все сильнее и сильнее. "Как это интересно, как интересно!.. И непременно un petit roman во всех этих случаях!.. Как бы я хотела знать, кто была эта женщина... une femme mariée ou une jeune fille?.. которая украла у своего отца ce flacon de cognac и дала ему "на прощанье?"... Она его любила, — непременно!.. Как она плакала, может быть, бедняжка, когда отдавала она ему это!.. L'amour, toujours, partout l'amour"...

— Ах, опять этот голос! вскликнула она тут-же громко.

Луиджи Керубини, сапожник офицера Вермичеллы, пел теперь арию из и Furioso Доницетти.

Raggio d'amor parea
Neir primo april degli anni...

и как пел! "A réveiller une morte", говорил, чуть-чуть подчеркивая и усмехаясь одним уголышком губ, маркиз. Она слушала... Сердце у нея сильно билось, а глаза не могли оторваться от белокурого незнакомца, сидевшего в своей гондоле так близко к ней, что она могла бы дотронуться до него рукой. И среди этой синей венецианской ночи, под эти страстные звуки юга, пред мысленными очами ея стоял мрачный, страшный северный лес, занесенный снегом, — тот самый лес, что писан на декорации последняго акта Жизни за Царя, — и там, под нависшею елью, "в шубке", дрожа от холода и муки, стоит она, — "jeune fille ou femme mariée", — любившая его, и говорит ему: "Прощай, спасайся, будь счастлив, а я... я умру без тебя, но что тебе до этого! Мы, женщины, рождены, чтобы любить, страдать... et mourir pour vous"...

— Vous rêvez, comtesse? спросил шепотком маркиз, наклоняясь к ней вслед за последнею нотой арии.

Она вздрогнула, усиленно моргнула глазами:

— Oui, et d'un mauvais rêve, быстро проговорила она, приникая опять ухом к тому, что говорилось в соседней гондоле.

— Так где-жь тебя найти тут? спрашивал Волк.

— А я, как приехал с Бортнянскими, так и остался в Hôtel Bauer, только в дешевый нумер перебрался...

— Какие такие Бортнянские? спросил опять тот.

— Семейство одно русское... Случай мне вышел в Вене: ехали они в Италию на зиму, учитель нужен им был к детям...

— Что-жь, дело! хихикнул Волк почему-то.

— Да... да не выгорело.

— А что?

— Телеграмму здесь получили они. Родственник какой-то их богатый умер в Петербурге, они скоропостижно и взмыли все туда, наследство делить... Так я и остался...

— Гм!.. Это где же твой Бауэр?

— Подле San-Moise; церковь такая есть… Вспомни десять заповедей, засмеялся молодой человек, — и пророка Моисея.

— Добре, не распространяйся, найду… Нумер?

— Двадцать девятый. Пролетова спроси, maestro russo Proletof.

— Пролетов, повторил по слогам Волк, — по виду что-ли? коротко спросил он тут же.

— По самому настоящему, ответил молодой человек с новым смехом:- подписано: "с. — петербургский градоначальник"… Ишь, загалдели как! перебил он разговор, словно после какого-то сна возвращаясь к сознанию окружавшей его действительности и устремляя прищуренные глаза вперед.

С гондол, с берега, неслись крики и громкия рукоплескания пр адресу восхитившего публику певца. "Cherubini, bravo! Fora (выходи), Cherubini, avanti (вперед)!"… И в багровом освещении загоревшихся вновь по этому случаю потешных огней выступил к самому краю помоста человек лет под сорок, невзрачной наружности, в изношенном пальто и с шеей. повязанною каким-то лиловым кашне, и принялся неловко раскланиваться направо и налево, откидывая в сторону, по-италиянски, руку со шляпой во всю длину ея, будто солдат на карауле, салютующий проезжающему командиру.

— Il n'est pas beau votre cordonnier! все тем же своим скучливо-пренебрежительным тоном проговорила дама в вуале соседу своему Вермичелле.

Графиня внезапным порывом наклонилась в ея уху и прошептала ей:

— А посмотри тут влево, подле меня, этот… (она почему-то не сказала срывавшееся у ней с языка "наш Русский")… Точно Ван-Диковский портрет…

Тот, о котором говорила она, стоял теперь в рост в своей гондоле, озаренный отблеском огней с серенаты, и действительно в строгом облике его молодаго, правильного лица с белокурыми волосами, вившимися под низкою и мягкою черною шляпой, было в эту минуту что-то эффектно, картинно-красивое.

Дама, склонив несколько голову набок, потянулась ею вперед по указанному направлению и вдруг быстрым, словно испуганным движением, откинулась всем телом назад в спинку своего сиденья…

Спущенный вуаль не дозволял видеть выражения ея лица, но спутнице ея этого не было и нужно. Целый мир самых смелых, невозможных догадок и соображений зароился мгновенна в пылкой голове графини… Но она была слишком благовоспитана и светски опытна, чтобы выразить это чем-либо наружно. Она поспешила даже отнестись с каким-то вопросом к маркизу, которого знала за очень тонкаго и наблюдательного человека, что-б отвлечь его внимание от внезапного смущения своей соседки, в случае, если он успел заметить его.

— Madame elle est incommodée?[21] спрашивал между тем ту, сложив губы сердечком и голосом, "как мед Гимета сладким", офицер Вермичелла, горевший к ней пламенною страстью и следивший поэтому за каждым ея жестом с зоркостью лягавой собаки.

— Я озябла, ответила она, успев тут же овладеть собою, — воздух очень свеж сегодня… Находите-ли вы, примолвила она чрез миг как бы шутливо и не относясь ни к кому особенно, — что эта музыка стоит того, чтобы мы прослушали ее до конца?

— Другими словами, засмеялась графиня, — "мне скучно, поедемте домой!"... Счастливый супруг, повышая голос, обратилась она по-русски к мущине, стоявшему на корме гондолы, — вашей жене бай-бай хочется.

— A vos ordres, Madame! торопливо оборачиваясь и шагая в остальному обществу, проговорил тот свороговоркой имевшуюся у него словно всегда готовою в кармане французскую фразу.

— Le modèle des époux! произнесла с комическим пафосом молодая женщина и продолжая на том же языке:- я вас втроем с monsieur Вермичеллой высажу к Даниелли, а мы с маркизом, если ему не будет скучно, проедемся еще немножко... Я сегодня в мечтательном настроении, смеялась она, — а он удивительно умеет угадывать и отвечать на всякое женское настроение...

— Oh, comtesse!... благодарно вскликнул он, только прикладывая руку к сердцу...

Высадившись на Riva dei Sehiavoni, у отеля Даниеллй, дама в вуале обратилась к мужу и сопровождавшему их офицеру:.

— Messieurs, я спать хочу и потому не приглашаю вас к себе... о чем вы впрочем очень сожалеть не будете, так как, по обыкновению, отправитесь вероятно играть в домино к Флориани, что гораздо веселее моего общества.

— Ужинать к Квадро[22] поедем... avec bouteille champagne, быстро проговорил на это муж на ухо офицеру и подталкивая его под локоть.

Но Вермичелла в ответ испустил глубокий вздох, повел на даму долгим взглядом своих прекрасных миндальных глаз и произнес чуть не плача:

— Oh, madame elle est très messante (méchante) ce soir!..

— Bonne nuit! крикнула она, не отвечая ему, оставшимся в гондоле маркизу и графине.

— Bonne nuit et beaux rêves, Tony! засмеялась опять та — до завтра!... Ты в котором часу зайдешь за моим Никсом в Лидо на купанье?

— Как всегда, в час! крикнула Tony скороговоркой, исчезая за дверями отеля.

Муж подхватил офицера под руку и повлек его с собою чрез Ponte délia paglia по направлению к площади Святаго Марка. Для взаимного обмена мыслей они поставлены были в необходимость употреблять французский язык, на котором оба объяснялись невозможным образом, но это нисколько не мешало им повидимому отлично понимать и находить величайшее удовольствие в обществе друг друга. "Счастливый супруг", по крайней мере, не мог и дня провести без обожателя жены своей, причем поил и кормил его со всею безудержностью русского угощения, от которого столбенел, а иной раз приходил в совершенное отчаяние бедный Вермичелла, чувствовавший себя гораздо более созданным "ухаживать за signora Russa", чем для обжорства с ея законным обладателем.

— Куда же мы едем, графиня? спрашивал между тем свою спутницу маркиз.

— Куда хотите, где потемнее и пострашней... К Ponte dei Sospiri прежде всего.

— Я вижу, усмехнулся он, — что вы не в "мечтательном", как сказали, а в каком-то мрачном настроении духа находитесь...

— Совсем нет, прервала она его, — я хочу только сильных впечатлений сегодня. Разскажите мне какую-нибудь ужасную историю!

— О выходцах с того света? спросил он, уже совсем разсмеявшись.

— Нет, нет, напротив: что-нибудь… политическое…

Он внимательно покосился на нее своими умными глазами:

— Странное впечатление однако производит на вас музыка, графиня! Elle ne vous poétise pas; elle vous prosaïse au contraire, il me semble, примолвил он как бы тоном нежного упрека.

— Почему это? Потому что я произнесла слово "политика?" Политика политике рознь: я говорю не о той скучной вещи, которою занимаются дипломаты и газеты, а о том, что так часто бывает интересно, как в романе или в опере… как в Гугенотах например, борьба партий, тайные заговорщики, узники, убегающие из своих тюрем, и так далее…

— Это значило бы прочесть вам курс современной истории моего отечества, с 1815 года и до самаго вступления нашего в Рим, сказал на это маркиз: — вся Италия в продолжение полустолетия только и делала, что конспирировала.

— Да, да, как бы радостно проговорила она. — Silvio Pellico…

Она запнулась, не припоминая в голове никакого другаго имени.

— И много других… включая сюда и вашего покорного слугу, добавил он как бы мимоходом.

— Вы, вы были заговорщиком! вскликнула она, оборачиваясь к нему всем лицом.

— И даже приговорен к смерти.

— О!.. могла только сказать она и вся вздрогнула.

Ponte dei Sospiri возносил прямо пред ней в эту минуту смелый изгиб своего перекинутаго свода, и тусклое пламя масляного фонаря со стороны дворца дожей дрожало унылым световым пятном на крайнем из его решетчатых окон. Точно кто-то внутри пробежал мимо этого окна с факелом в руке, представилось на миг ея возбужденному воображению… Она усмехнулась, но то жуткое ощущение, которого искала она в этот вечер. продолжало блаженно сжимать ей грудь. Чем-то гробовым действительно веяло от высоких, почерневших стен вековых зданий, мимо которых плыла она с бежавшею впереди ея гондолы узкою лентой зеленой, коварной воды, "унесшей в море", думалось ей, "так много жертв, так много жизней молодых, прекрасных, благородных"… Ей было и страшно, и сладко среди немой, словно зловещей тишины, царившей кругом, и не хотелось ей прервать ее, не хотелось вырваться из-под ея мрачного обаяния. Точно ее живую захватили какие-то невидимые призраки и увозили в царство теней, и сам подземный владыка в огненной короне ждал ее на суд где-то там далеко впереди, где пламя одинокой свечи из чьего-то открытаго окна отражалось трепещущею искрой в дремлющей влаге канала…

Легкая дрожь пробежала у нея по телу; она чуть-чуть встряхнула головой и обернулась еще раз к своему спутнику:

— Вы были приговорены к смерти, повторила она; — когда же это было?

— В 1849 году. Мне было едва двадцать лет. Кругом Карла Альберта собирались тогда все, у кого в груди билось италиянское сердце. Я поступил волонтером в Пиемонтскую армию… Я родом Ломбардиец, — следовательно в ту пору австрийский подданный, следовательно изменник, — а Австрийское правительство не шутило с этим… Король, как вы знаете, разбит был при Новарре, армии его не стало… Дело мое было ясное: я и мои земляки, сражавшиеся в ея рядах, подлежали смерти… К счастию. я успел вовремя перебраться во Францию, где и прожил, — приговоренный заочно к растрелянию австрийским военным судом, — в течение десяти лет сряду.

— Десять лет далеко от родины… от такой родины, как ваша, словно поправилась она. что-то вспомнив, — это ужасно!..

— Ужаснее было то, возразил он со внезапною горячностью в звуке, в выражении голоса, — что у меня, у нас, и родины в действительности никакой не было. Италия в те годы, как говорил Меттерних, была только "этнографический термин".

— За то она ваша теперь вся после стольких веков чужаго владычества, вы свободны… О, какая эта великая вещь — свобода! вскликнула вдруг графиня с каким-то странным в устах ея пафосом:- я понимаю, что за нее отдают жизнь… И в моем отечестве, в России, есть молодые люди, une jeunesse ardente et généreuse, которые всем ей жертвуют, но их преследуют, ссылают на галеры (aux galères), или они должны бежать за границу, как это было с вами… Но вы, Италиянцы, уже пережили ужасное для вас время, вы победили, вы счастливы теперь…

К немалому ея удивлению, собеседник ея отвечал на это тяжелым вздохом:

— Это уж другое дело, comtesse! задумчиво проговорил он.

— Как это?

— Не знаю, ответил он не сейчас: — оттого-ли, что лучшия силы наши ушли на ту борьбу… или потому, что мы тогда молоды были… но l'Italia una, единая Италия, лучше была, кажется, когда нам дозволено было только представлять ее себе в мечтаниях…

Он оборвал вдруг, как бы отгоняя докучную мысль, и, наклоняясь с места к молодой женщине, промолвил сладким и вкрадчивым голосом:

— Верьте, графиня, на свете есть только одно неизменно прекрасное, это все же любовь… Но вы не хотите слышать об этом…

— Любовь, машинально повторила она и усмехнулась внутренно, вспомнив, что за полчаса пред тем говорила себе то же, "почти в тех. же выражениях"… Но ей не понравилось, что он вздумал начать об этом "опять" здесь, в этой гондоле и мраке, и этим "вкрадчивым и сладеньким" голосом, и так близко наклонившись к ней, что краем своей шляпы чуть не задел ея лица:- Мне кажется, cher marquis, сказала она со смехом, — что мы оба с вами слишком зрелы (trop mûrs), чтобы думать об этом.

— Вы не имеете никакого реального основания говорить это относительно себя самой, пылко возразил он;- что же меня касается, то я скажу вам, что пока у человека бьется сердце, он заставить его перестать любить не в состоянии…

— О, да это уже становится серьезным! продолжала она смеяться, и понизив голос:- вы, кажется, желаете дать повод нашим гондольерам разсказывать о нас завтра всякия небылицы в отеле…

Он выпрямился весь с обиженным выражением в лице, подавил вздох, вырывавшийся у него из груди, и замолк.

Прошло несколько минут молчания…

— Не сердитесь, любезный маркиз? тихо промолвила она, протягивая ему руку.

Он почтительно пожал ее.

— Вы всегда умеете обезоруживать меня одним словом, одним движением… Сердце у вас пленительно доброе, но природа холодная, сказал он с выражением, имевшим все подобие искренности.

Она усмехнулась.

— Что же делать? "Tel est mon caractère", профредонировала она вполголоса припев из Brigands Оффенбаха. — А вы должны оказать мне услугу, маркиз, как бы вспомнила она вдруг.

— Приказывайте, графиня!

— Вот видите, начала она не совсем уверенно, — я не знаю, как быть с моим мальчиком. Ему уже десятый год. Я почти все время моего траура провела за границей; теперь живу здесь для его морских купаний, зиму думаю провести во Флоренции или в Риме. Он учится со своим Англичанином, но родной язык начинает совершенно забывать… да и нужно, что-б он серьезно, грамматически начал ему учиться…

— Вы желали бы учителя русского языка? Во Флоренции я могу вам рекомендовать…

— До Флоренции еще далеко, с живостью прервала она его, — мне хотелось бы скорее… Мне… вчера… говорил мой Giacomino, — он от кого-то слышал в отеле,- что одно семейство моих соотечественников привезло сюда с собою учителя… Но оно принуждено было почему-то вернуться в Россию, а он, говорят, остался…

Маркиз зоркими глазами и опытным ухом следил за выражением ея лица и звуком речи…

— Молодой человек этот учитель?

Он чуть не поймал ее этим нежданным вопросом. "Какое вам до этого дело"! чуть не вырвалось у нея досадливо в ответ. Но она сдержалась вовремя и, приподняв слегка плечи:

— Я этого никак не могу вам сказать, не видав его никогда в лицо, не зная даже, как его зовут… Вероятно молодой, примолвила она совершенно спокойно;- теперь, у нас по крайней мере, совсем нет, кажется, старых учителей…

— Я завтра же наведу справки, графиня.

— Ах да, он, кажется, живет в Hôtel Bauer… говорил мне Giacomino… Да, именно в Hôtel Bauer, я хорошо помню теперь…

— Найти его легко таким образом, сказал маркиз с легким подергиванием лицевых мускулов.

— Но вот в чем просьба, начала она опять тем же не совсем уверенным тоном: — я бы, не хотела послать пригласить его… от себя. Вы понимаете, это заранее связало бы меня некоторым образом…

— Вы желаете, то-есть, чтобы я, как бы ничего не слыхав от вас, но зная только, что вы ищете учителя для вашего сына и желая оказать вам одолжение, отыскал его от себя, подчеркнул он, — и привел в вам?

— Как вы догадливы, дорогой маркиз! воскликнула молодая женщина.

— На беду себе, проговорил он сквозь зубы, учтиво наклоняя в то же время голову. — Завтра же желание ваше будет исполнено.

— Благодарю тысячу раз!

И она еще раз протянула ему руку.

— Но становится и в самом деле холодно, кажется... A casa (домой)! обернулась она с приказанием стоявшему за нею на корме гондольеру.

II

Графине Елене Александровне Драхенберг было никак не более двадцати девяти лет. Но, по особаго рода хвастовству, она не упускала ни одного удобного случая говорить о себе, как о женщине, имеющей "sa trentaine bien sonnée", как бы с целью заявить этим о тех правах на полную свободу поступков, которая, по ея мнению, сопряжена была для женщин с тридцатилетним возрастом, а, может быть, просто из-за удовольствия выслушивать возгласы недоверия и горячия опровержения, которыми отвечали на эти ея уверения поклонники ея и "друзья"-мущины (друзья-женщины верили ей само собою на-слово). Она действительно была замечательно молода на вид. Роста выше средняго, чуть-чуть полна, рыжа как белка летом, она, как все рыжия, отличалась необыкновенною тонкостью, белизной и свежестью кожи. Черты ея были неправильны, лоб не в меру высок (она в виду этого еще раньше моды кудрявила волосы на лбу), но все вместе взятое составляло нечто своеобразно милое и привлекательное, благодаря живому выражению прекрасных карих глаз и прелестному очерку свежих и полных губ, из-за которых ослепительно сверкали ея, словно подобранный жемчуг, крупные и ровные зубы. С этою наружностью она могла нравиться, и нравилась более, чем многия женщины самой безспорной красоты.

Единственная дочь умного и деловитаго отца, умевшего нажить огромное состояние на золотых приисках и всяких иных толково и счастливо ведомых предприятиях, Елена Александровна, последняя отрасль древняго новгородского рода Борецких, выдана была на девятнадцатом году жизни матерью, Полькой по рождению, за Немца-мужа, глубокий траур по которому, по свойственной ей своеобразности, продолжала носить молодая женщина до сих пор, хотя имела бы уже по существующим на то в свете правилам полное право заменить шерстяныя свои ткани шелковыми, так как шел одиннадцатый месяц со дня его кончины. "Une faèon d'expiation, объясняла она, полувздыхая, полусмеясь, близким ей людям, — pour m'être tant ennuyée avec ce brave homme de son vivant". Граф Отто Фердинандович Драхефон-Драхенберг был и точно достойнейший, но тяжеловеснейший из смертных вообще и из супругов в особенности... "Остзейский дворянин" в полном значении понятия, выражаемаго этими двумя словами, он был примерный, равно уважаемый начальством и товарищами, эскадронный командир одного из гвардейских кирасирских полков, строго держался законов "хорошаго общества", отчетливо и усердно оттанцовывал все танцы на придворных балах, и в вопросах чести дочитался авторитетом всею петербургскою военною молодежью. Тридцати с чем-то лет от роду, он был полковник и флигель-адьютант, и при весьма небольших средствах. которыя получал из родительского замка в Курляндии, умел жить приличнее многих из своих однополчан, тративших тысяч по тридцати в год и бежавших в нему же во дни безденежья

"перехватить рублей триста на недельку времени", в чем он находил возможность никогда им не отказывать. Наружности он был совсем рыцарской, более внушительной, чем красивой; потомок меченосцев сказывался с перваго взгляда в его высоком, сухом и мускулистом стане, в холодном блеске бледно-голубых глаз и в силе растительности безконечно длинных и кудрявых льняных усов, — "первых по всей гвардии", говорили с гордостью "за полк" и с тайною завистью по отношению к самим себе новоиспеченные корнеты, которых муштровал он на офицерской езде... Лучшаго супруга для дочери не могла и представить себе Гедвига Казимировна Борецкая, рожденная графиня Лахницкая, во внутреннем чувстве которой каждый "родовитый" иноземец, в силу уже одной крови, текущей в его жилах, должен был быть не в пример аристократичнее, цивилизованнее и "надежнее как муж во всех отношениях" любаго "Московита", хотя бы самаго знатного и добропорядочнаго. "Этот, по крайней мере, не истощил себя с кокотками и не проиграет состояния твоего в Яхт-клубе", напирала она, исчисляя дочери достоинства графа Драхенберга. Дочь, со своей стороны, была такого мнения, что с Драхенбергом вальсировать очень ловко, что немецкий акцент в его французской речи "не особенно противен" и, наконец, что никто лучше его не ездит верхом на каруселях придворного манежа... Благодаря сочетанию таких лестных о нем мнений, счастливый курляндский граф выхватил, как говорится вульгарно, "из-под носу" своих совместников руку одной из богатейших невест в России... С первых же шагов своих на супружеском поприще он осуществил возлагавшияся на него Гедвигою Казимировною надежды в мере, далеко превысившей даже ея ожидания. Он уплатил ей чистыми деньгами причитавшуюся ей вдовью часть, исчислив оную, "с соизволения графини Елены Александровны", тысяч на семь дохода выше того, на что имела она право по закону, и счастливая теща, благословляя такого "beau fils modèle", переселилась вслед затем в Вену, где года два спустя вышла вторым браком за графа Пршехршонщовского, прокутившегося галицийского помещика, который лет на пятнадцать был ея моложе, и на которого заглядывались женщины, когда он на гулянье в Пратере с высоты элегантнейшаго лондонского догкарта приветствовал знакомую даму "d'un coup de chapeau", правя своими four in hands кровными лошадьми модного цвета Isabelle... Состояние жены своей, оставленное покойным отцом; ея в несколько запутанном виде, граф Отто Фердинандович в несколько лет управления привел в такое блестящее положение, что ежегодный доход с заводов ея и земель, не превышавший семидесяти пяти тысяч, когда он вступил с нею в брак, возрос чрез пять лет до ста двадцати, и Драхенберг, уже тогда отец, указывая на маленькаго сына, говаривал, потирая руки, в веселыя минуты, что он "к совершеннолетию этого шибсдика надеется благоразумною экономией сколотить свободный миллиончик, за который тот, надо полагать, скажет ему mercі"...

Все это было бы прекрасно, если бы муж Елены Александровны удовольствовался своим положением финансоваго главы того товарищества на паях, которое называется супружеством в свете. Но он, в силу своих патриархальных понятий, почитал еще себя серьезно призванным быть духовным руководителем "данной ему небом подруги жизни (seiner Lebensgenossin)" и это призвание свое исполнял с такою убийственною добросовестностью, что в первое время их супружества доводил жену чуть не до лютаго отчаяния. Отто Фердинандович берег супругу свою и ея репутацию пуще зеницы ока, неуклонно следовал за нею повсюду, тревожно следил за каждым словом ея и движением, производил в уме тщательную разценку нравственных качеств ея светских приятельниц и бальных кавалеров. Возвращаясь с нею с бала или раута, он начинал еще в карете и продолжал затем, идя за нею в ея спальню, безконечно длинно и безконечно нудно подвергать "правильному обсуждению" "неприличную смелость" такого-то оброненного ею пред тем-то "фатом" выражения, или опасность, которая могла-де грозить ей от сближения с такою-то слишком "фривольною" женщиной из ея знакомых. "Обсуждение" заканчивалось неизбежным нравоучением о том "достоинстве", с каким должна держать себя женщина "высокаго рождения (eine adelige Person)" вообще и носящая его имя в особенности, причем пускался в тот дидактический "высокий" тон, присущий с детства каждому Немцу,

которым говорит ему проповедник с кафедры и лицедей с театральных подмосток. У молодой женщины начинало нестерпимо ныть под ложечкой и сводить судорогой пальцы на ногах. "Ну хорошо, оставь меня только, я спать хочу"! восклицала она, махая руками, готовая разрыдаться от досады и скуки... Но неугомонный супруг переходил тогда к соображениям по части хозяйства и "светских обязанностей". Начиналось подробнейшее изложение тех причин по которым "им необходимо" дать обед такого-то числа, пригласить к нему тех-то лиц и потратить на него столько-то денег; вытаскивалось из кармана menu, "требовавшее внимательного разсмотрения" и которое "en tonte confidence" составлено ему было "по дружбе" одним приятелем, известным гастрономом... "О, Боже мой, оставишь-ли ты меня наконец"! плакала уже впрямь теперь жена, насилу сдерживаясь от желания швырнуть ему в голову только-что снятым ею с руки браслетом. Отто Фердинандович, весьма боявшийся женских слез, расширял каждый раз после этого все так же недоумело свои бледно-голубые глаза, осторожно приподнимал плечи и удалялся, но на другой же день являлся утром к жене с тем же menu в руке и с озабоченным видом приглашал ее пройти с ним в столовую, "сделать маленькую репетичку" предполагаемаго "их" обеда, "чтобы наперед знать, кто подле кого будет сидеть, так как в этих случаях очень важно, чтобы не посадить рядом людей, которые терпеть друг друга не могут", а также, чтобы "сговориться заранее" насчет тех нюансов, — он особенно хлопотал о "нюансах", — которыми должны они, муж и жена, руководиться, каждый со своей стороны, в своих frais d'amabilité относительно "главных" и "неглавных" из своих приглашенных...

Но графиня Елена Александровна была не того рода особа, чтобы долго терпеть "назойливое" попечительство своего супруга. В один прекрасный вечер она замкнула на замок дверь своей спальни, а на следующее утро объявила ошеломленному мужу, что она родилась в свете и знает, как вести себя там, по крайней мере, так же хорошо, как и он, что по ночам она спать хочет, а не слушать его пасторские сентенции (так и сказала "пасторския", что особенно показалось "giftig", язвительным и ужасным бедному Отто Фердинандовичу). "Я хочу наконец дышать свободно", безпощадно объясняла она; вы имеете право требовать от меня лишь одного, что-б я не делала скандала, не срамила вашего имени, и на счет этого вы можете быть покойны: я не стану вас обманывать хотя бы уже потому, что по-моему это ставит и мужа, и жену в равно глупое положение. Лучшее доказательство этому то, что я вам теперь говорю: другая женщина на моем месте давно бы кинулась на шею первому встречному мущине из одной злости на ваши проповеди, и вы об этом никогда бы не узнали, по примеру всех мужей на свете,- а я предпочитаю объясниться с вами откровенно. C'est à prendre ou à laisser: или вы оставите меня жить по моему разумению, дружиться с кем я хочу, ездить куда мне вздумается и, главное, без вас и без ваших нотаций, — или я завтра же уеду к матери, в Вену, где, говорят, гораздо веселее жизнь, чем здесь, и тогда я ни за что не отвечаю"...

Выходка эта страшно перепугала графа Драхенберга. Он настолько уже успел узнать характер графини, чтобы не сомневаться в том, что она буквально исполнит угрозу свою — уедет в Вену к этой "старой дуре", своей матери, "die alte Närrin", как называл он in petto тещу, "на пропащее житье", если он не подчинится предъявляемым ему требованиям. В душе его первым ощущением заныло жгучее и злобное раскаяние по поводу "безсмысленных уз", которыми связал он себя: ему, Драхенбергу, благородному плоду чистых соков германского древа, возможно-ли было взять в подруги этот прямой продукт славянской несостоятельности и распущенности (Liederlichkeit), да еще в его двойном букете — русской и польской крови! "O lieber Gott, nein, das war doch ein Wahnsinn, ein Wahnsinn!" бледнея, восклицал он про себя, растерянно упершись взглядом в раскрасневшееся от волнения лицо той, которая так дерзко дозволяла себе заявлять о своем каком-то праве дышать свободно, отдельно от законного своего сожителя... Но эта дерзкая "способна на все", подумал он тут же, способна не только уехать, но еще увезти с собою его сына... а с этим, пожалуй, взять у него назад "полную

доверенность", данную ему на управление ея имениями, и дать подобную же первому попавшемуся негодяю, который разорит ее и их наследника... Отто Фердинандович был человек чувств самых возвышенных, конечно, но он был вместе с тем и человек положительный, ein solider und praktischer Mann: негодование клокотало в благородной душе его, но он не счел благоразумным дозволить себе выразить его на словах:

"Не выпустил из уст он пламенных речей
И бога гневного сдержал в груди своей"[23].

Он только "убедительно" просил графиню Елену одуматься, разсудить, "насколько правильно с ея стороны пренебрегать теми полезными для нея указаниями, которыя он, как ближайшее к ней мужское лицо и друг"... Она не дала ему продолжать. "C'est à prendre ou à laisser!" с жестокосердою настойчивостью повторила она... Отто Фердинандович вспомнил еще раз о "наследнике"... и о "доверенности" и уступил.

Но помириться с новым положением своим он все-таки не мог: ему не доставало того легкомыслия, или того добродушия, с каким славянский муж ужился бы с таким положением, находя в нем даже некоторую привлекательную сторону, и Отто Фердинандович считал нужным при всяком случае давать это чувствовать своей обидчице. Наливал-ли он ей воды за столом, спускал-ли ее с лошади в манеже, или принимал чашку чая из ея рук на вечере у ней en petit comité, куда он каждый раз признавал для себя необходимым являться, его уныло вытянутое лицо говорило ей неизменно то же: "ты видишь-мол, как я приличен, учтив и даже мил с тобою, но я все же уязвлен, и ты это понимай!"... Елена Александровна понимала действительно: вид "этого spectre de Banco", котораго, как уверяла она, изображал теперь ея обезоруженный "властелин", раздражал ее хуже зубной боли. Но это нисколько не располагало ее отдать себя снова под его ярмо. Она только старалась до возможности избегать всяких встреч и разговоров с ним, и свидание с глазу на глаз допускала лишь в тех неизбежных случаях, когда ему бывала необходима подпись ея под каким-либо документом по ея имениям, которыми он продолжал все также полноправно и удачно управлять. Обитая под одним кровом, супруги наши были теперь так же чужды друг другу, так же разнились в образе жизни, как жители противоположных полушарий. Отто Фердинандович командовал полком в окрестностях столицы, где и проживал половину своего времени, вставал с зарей, весь день проводил на службе. Жена его подымалась с постели в два часа пополудни и ложилась в пять утра, принимала каждый день "между пятью и шестью", обедала, ездила по театрам, чаевала и ужинала в "coterie intime" отчаяннейших "кокодеток", — их же царство настало в те дни, — говорила, самым модно-циническим argot парижских бульваров, декольтировалась "avec un chien de tous les diables", по выражению толстенькой графини Ваханской, ближайшей ея приятельницы, и укладывала в лоск своим кокетством все сонмище военных и гражданских сановников, папильйонирующих в виде "отдыха" от великих трудов своих на благо отечества в известных гостиных петербургского большаго света. "В сияющей лысине каждаго из этих государственных старцев", уверял какой-то mauvais plaisant, "вы можете видеть как в зеркале отражение неподражаемой chute d'épaules графини Драхенберг"... Сам граф Анисьев, занимавший теперь весьма видный пост и не смотря на свои давно ушедшие за полвека годы, слывший у женщин за "homme irrésistible", предпринял правильную осаду сердца огневой красавицы — "la femme de feu", — ее же не без ехидства прозвала так, по заглавию одного, весьма скабрезного романа Belot, все та же маленькая и толстенькая Lizzy Ваханская (носившая вследствие этого в свою очередь прозвание Boulotte), намекавшая этим якобы единственно на рыжеватость своей "meilleure amie". Но сердце это не сдалось графу Анисьеву, и прозвище, данное графине Драхенберг, могло действительно — весьма долгое время по крайней мере — относиться с единственно огненному цвету ея волос. При всей суетности ея жизни и распущенности речей, усвоенной ею в обществе приятельниц своих "кокодеток", в

душе ея теплилась не малая доля идеализма своего рода, смутного искания чего-то "интереснее" того, что "в области чувства" могла она ожидать от петербургских свитских генералов и статских карьеристов... Дав им наглядеться бывало вволю целый вечер на свои блистательныя плечи, наслушавшись их казенных любезностей и острот, понадерганных из Figaro и всяких французских книжек, поставляющих готовыя mots российским "козёрам", она садилась в карету, глубоко утомленная, и с нервною зевотой гадливо говорила себе, укутываясь в пушистый белый мех своей ротонды: "Они еще скучнее со своими обольщениями, чем мой муж со своею добродетелью".

Так прошло несколько лет. Но то, что Французы насмешливо называют "психологическим моментом" в жизни женщины, не минуло наконец и ея. За год пред тем, как встречаемся мы с нею в Венеции, она в Крейцнахе, куда ездила лечить ребенка своего от золотухи, встретилась с человеком, пред которым разлетелась в прах вся ея нерушимая до той минуты внешняя безупречность. Это был некий Венгерец, граф Шегедин, музыкант, поэт и путешественник. Лет он был уже не совсем молодых, прихрамывал притом на правую ногу, как лорд Байрон, но его полуцыганская, полуразбойничья наружность носила отпечаток такой силы, в черных как ночь глазах горела такая неотразимая воля соблазна, что "женщина, — говорили про него бывалыя барыни, — которую он удостоивал своим вниманием, должна была или безпрекословно сдаться ему тотчас, или бежать от него скорее в какой-либо неведомый еще людям уголок земли (так как все ведомые исхожены-де им были вдоль и поперек), где бы не имел он возможности преследовать ее... Репутацию имел незавидную: он, по ходившим о нем слухах, проиграл и прожил на своем веку два или три огромныя наследства, был два раза женат, каждый раз на богатых красавицах, и каждый раз красавицы эти умирали спустя год после брака, неизвестно как и от чего, в какой-нибудь отдаленной стране, куда влекла их мужа страсть к приключениям или наживе, и откуда вести едва доходили до Европы. Уверяли, что он когда-то служил в английской армии в Индии, покушался произвести возмущение между сипаями, был в этом уличен, судим и приговорен к смерти, но спасся каким-то чудесным образом при помощи жены какого-то раджи, очутился затем на одном из островов Малайского архипелага, населенном дикими, провозгласившими его якобы царем над ними... Все это, конечно, сильно отзывалось сказкой; верно было то, что он принадлежал действительно к одному из древнейших родов Венгрии, но не владел там, ниже в какой иной земле, никаким недвижимым имуществом, что значительных капиталов за ним тоже никто не знал, что не мешало ему проживать тысяч пятьдесят гульденов в год, и что его же одноземцы называли его "средневековым condottiere, странною игрой судьбы перенесенным целиком в XIX век"... Дурная слава графа Шегедина, как это неизбежно бывает в подобных случаях, послужила ему на пользу в глазах Елены Александровны еще более, может быть, чем его музыка, французские стихи и звеняще-проницающий голос. Он с этим своим темным прошедшим, напоминавшим легенду о Рауле Синей Бороде, с загадочными условиями настоящаго своего существования, со своею наружностью "кондотьериа", так мало походил на "прилизанные", шаблонные, "до гадости один другаго повторяющие" типы дешевых невских Ловеласов!

Он не ухаживал за нею, не расточал слов, но она была окололдована с первой минуты... Он овладел ею нежданно, внезапно, — она сама потом не в силах была объяснить себе как... Он сидел однажды у нея после обеда со своею цитрой, на которой играл с каким-то удивительным, захватывавшим за тончайшие нервы слушательниц его выражением. Она внимала ему, не отрываясь взглядом от его поникших в инструменту век, вся захолоделая от непонятнаго, никогда еще до той минуты неиспытанного ею волнения... Шегедин оторвал вдруг на полутакте руки от струн и протянул их к ней, устремив на нее в упор свои сверкавшие черные глаза. Она поднялась с места и безответно, безвластно пошла на этот немой зов... Он охватил ея стан железною рукой, привлек в себе, приник к ея губам пылающими губами... Она ничего далее не помнила...

Из Крейцнаха он поехал за нею на Таунское озеро, в Гмунден, где мальчику ея предписано было пользоваться горным воздухом. Русских там не было никого, ниже каких-либо знакомых графини из чужеземцев. Она свободно могла отдаваться своей любви… Любовью-ли впрочем называть то, что испытывала она в те дни? Нет, это было скорее какое-то навождение, что-то похожее на рабское подчинение ясновидящей таинственному влиянию своего магнетизёра: тут было упоение и трепет, блаженство и страх, — "неправедныя ночи и мучительные дни". Было что-то безудержное, чуть не зверское в знойных порывах страсти этого человека, вызывавших в ней иной раз, невольно такие же пламенные отзвуки… Но за ними следовали у нея часы какой-то надрывающей физической тоски, если можно так выразиться: она не раскаивалась, не упрекала себя ни в чем, она готова была, казалось ей, назвать графа Шегедина любовником своим пред целым светом, — но ей было тяжело, словно пред смертным часом… Он еще менее, чем она, способен был объяснить себе то, что происходило в ней в ту пору, и со свойственною ему раздражительностью упрекал ее в холодности: "Я безсильна", отвечала она ему, слабо усмехаясь, — "я безсильна отвечать, как бы вы желали, à votre amour de tigre"…

— Вы называете меня "тигром", сказал он ей однажды на это:- да, я люблю вас лютым и ревнивым как у хищника чувством и не выпущу вас более из моих объятий; вы должны быть моею на веки… моею женой…

— Но я замужем, je suis mariée, вы знаете! воскликнула она.

— Vous vous démarierez, voilà tout, резко выговорил он;- вы разведетесь: я этого хочу! Муж ваш не препятствие, если вы меня любите.

Она подняла на него глаза и тут же опустила их и замолкла. Развод, это значило разлука с сыном; муж, "закон" отняли бы его у нея в этом случае, она понимала, а ребенок ея был дорог ей, и никогда ей так сильно не сказывалось это, как в ту минуту… Но возражать она не имела силы: у нея своей воли уже не оставалось; вся она. чувствовала молодая женщина, была в "его" власти.

Она согласилась на все, отгоняя все возникавшие в ея голове возражения… Граф Шегедин, как оказывалось, был весьма сведущ по части существующих к России постановлений о разводе. Он объяснил молодой женщине, что муж ея должен "принять вину на себя", дабы дать ей законное право выйти замуж за него, Шегедина, и что весь вопрос заключается в том, "какую цену захочет положить граф Драхенберг за свое отречение"… "А если ни за какия деньги не захочет согласиться?" вырвалось у нея невольно. Шегедин только плечами пожал на это и презрительно улыбнулся, — и ей самой тогда представилось, что "хотя муж ея и считается самым благородным человеком в Петербурге", но что все же он "разсчетливый Немец" и предпочтет "соглашение à l'amiable" за крупную сумму "открытому скандалу"…

Наступала осень; графине давно было пора вернуться в Петербург. Шегедин долго не решался отпустить ее. Он звал ее в Вену, к матери, с которою близко был знаком и чрез посредство которой, по его мнению, можно было начать "прямые переговоры" с графом Драхенбергом… "Это значило бы все испортить", возражала молодая женщина: "моя мать не пользуется никаким авторитетом в глазах мужа; напротив, я одна, личным объяснением с ним, могу склонить его дать мне свободу…"

Страстный Венгерец сдался на ея убеждения, но с тем, что сам он месяц спустя после приезда ея в Петербург приедет туда "на помощь ей и покровительство…" Она уехала.

Но, очутившись снова в доме своем на Сергиевской, Елена Александровна пришла вдруг в смущение. Она как-то внезапно почуяла, что "разсчетливость" Отто Фердинандовича дальше

известных пределов не пойдет, что он действительно "настолько все-таки рыцарь, что продать жену свою другому ни за какия деньги не согласится," а следовательно нечего и начинать с ним разговор об "этом..." Да и когда же было ей разговаривать с ним? Русская армия стояла в те дни под Плевной. Войска мчались на парах с севера за Дунай, а в числе их полк, которым командовал граф Драхенберг. Он только-только успел дождаться ея возвращения, чтобы "проститься с сыном" и передать ей, "графине", в запечатанном пакете "на случай, если он не вернется", подробное изложение "системы действий", которой следовал при управлении ея имениями и которую "он осмеливается ей советовать удержать и впредь, когда другой станет этим заниматься". Возможно-ли было ей, в самом деле, в такую минуту заявлять ему, что она желает развестись с ним?.. Она чуть не расплакалась даже, когда он, прощаясь с нею в передней, прижал руку ея в губам, и перекрестила мгновенным движением его наклоненную голову... А тот между тем слал ей каждый день из Вены, куда переехал из Гмундена и где успел совершенно привлечь на свою сторону графиню Пршехршонщовскую, пламенныя и тревожныя письма, допытываясь, "в каком положении стоят их дела", напоминая ей о ея "обетах (ses serments)" и заявляя, что невыносимое безпокойство, испытываемое им, заставит его по всей вероятности ускорить приезд свой в Петербург. А в Петербурге, в том особом светском кружке, в которому принадлежала графиня, связь ея с Шегедином была уже предметом общих разговоров. О Гмунденской "идиллии" первая узнала каким-то чрезвычайным путем графиня Ваханская, находившаяся в ту пору в Биарице, и, вернувшись оттуда, разблаговестила об этой "amusante histoire" по всем благоприличным домам столицы, в тот приемный час пред обедом, когда в "интимный кабинет" хозяйки расчесанный франт-слуга в белом галстуке вносит уставляемый на раздвижном столике серебряный tea-kettle с чайным прибором и всяким сладким печеньем... Венгерский дон-Жуан не покидал еще своей квартиры на Ringstrasse, а на набережных Невы уже каждая из "кокодеток" готовилась in petto к состязанию, имевшему конечною целью отбит его у "femme de feu,"- между тем как ее, эту счастливицу, резали на кусочки кругом того же tea-kettle и сладкаго печенья на раздвижном столике, с тем единодушием завистливаго злословия, которым отличается искони изящный петербургский гранмонд. Графине Драхенберг в то же время сообщали те же приятельницы, под видом сердечного участия и предостережения, об "ужасных клеветах, "atroces calomnies," на ея счет, которыя оне-же разносили по городу... "И это пока еще нет его здесь; что же будет, когда он приедет, когда мы с ним как на сцене принуждены будем являться предо всеми ими?" тревожно думала молодая женщина и все чаще об этом задумывалась... Под владычеством странного чувства находилась она со времени разлуки своей с ним, она, как сказочная царевна, словно только-что ушла из очарованного замка, где все дышало обольстительною, но ревнивою, но страшною властью похитившего ее волшебника, и жадно вбирала в себя воздух вновь обретенной ею свободы. Та власть и любезна была ей, и пугала ее... и с каждым днем все сильнее брало это последнее ощущение верх над первым... Ну да, она любила его, любила несомненно, никого еще до него не любила она так, да и вовсе не любила; но ведь эта любовь ея к нему — "рабство"... "Рабство", докучливо стучало у нея в голове: "он всю тебя хочет, каждый твой помысел, каждое сердечное движение". Он ничего не способен оставить ей, даже для сына... для сына! Он ревновал ее в этому ребенку, он "ненавидел его в душе, потому что не могла-же разлюбить его совсем из-за него"...Не даром зовут его "Синею Бородой": кто знает, сделайся он ея мужем, и дрожь пробегала у нея по телу, "не кончила-ли бы и она так, как его первыя две жены?"... Ну да, она его любит, но "имеет-ли она право отказаться для него от сына... и ото всего"... И когда же? Теперь, когда "политические дела в таком положении", когда муж ея... отец ея ребенка понес свою жизнь на поле сражения... Нет, нет, я люблю этого человека, но есть минуты, когда надо уметь жертвовать собою...

В одно прекрасное утро графиня Елена Александровна поехала в главное управление Красного Креста, просидела там более часу, вернулась оттуда прямо домой, велела никого не принимать и засела за большое "объяснительное" письмо в графу Шегедину. В письме этом она сообщила

ему, что у нея "сердце нестерпимо сжимается при мысли о том, какое впечатление произведут на него ея строки", но что есть в жизни обстоятельства, "des circonstances impérieuses pins fortes que la volonté humaine", пред которыми человек должен поневоле смириться, и что под гнет таких обстоятельств попала она вслед за возвращением в отечество. "Нравственная обязанность, падающая на нее, как на лицо, владеющее значительным состоянием, в ту трудную годину, которую переживает ныне Россия, столько же, сколько и желание, заявленное ей в высших сферах (dans les hantes sphères de notre Cour), поставили ее в необходимость, пожертвовав крупную сумму на раненых, принять еще лично в заведывание один из госпиталей, устраиваемых Красным Крестом в различных местностях на театре войны за Дунаем (какой именно, она не говорила), и она немедленно должна туда ехать". Она "умоляла" его не сетовать на нее за то, что называла она "печальным, но священным долгом", и отложить "их лучезарныя мечты (leurs rêves radieux)" до лучшаго будущаго... Нелицемерная слеза, действительно выпавшая при этом из глаз нашей графини и размазавшаяся большим кляксом по ея свеженачертанному лиловыми чернилами писанию, должна была, по ея мнению, убедить его самым неотразимым образом в несомненной искренности тех "sentiments douleureux et amers" и жалоб на "sort fatal", на роковую судьбу, отдаляющую момент их свидания "на неопределенное время", которыми заканчивалось ея послание.

Но, получив его, венгерский "тигр" заскрежетал от ярости. Эта "белоснежная" женщина с ея русскими миллионами его покидала, бежала от него, бежала очевидно нарочно в район местности, занимаемой русскою армией, куда его не пустят, где ей нечего опасаться его преследования... Но, может быть, еще не поздно, он еще застанет ее в Петербурге, свидится с нею... А свидится — победа останется за ним: он знает власть свою над нею, он возьмет свое, "хотя бы сто тысяч московских чертей, кумушек и соперников стояли между ею и им"... И в тот же день вечером граф Шегедин, угрюмо уткнувшись в угол вагона Венско-Варшавской дороги, катил, новый Язон, добывать ускользнувшее из рук его золотое руно к ледяным берегам Финского залива.

Но он уже не застал там графини, и Lizzy Ваханская, с которою он ранее встречался за границей и в которой, зная о ея дружбе с той, поехал тотчас же по приезде, к немалому ея восхищению, злорадно объявила ему, что она не далее как вчера получила телеграмму от этой "pauvre Elly", которая в настоящую минуту находится в Никополе, "ужасной, нездоровой трущобе, где она рискует потерять белизну своей кожи, son plus beau titre à l'adoration des hommes", домолвила она со своим ехидно-добродушным остроумием.

Шегедин тем не менее еще не потерял надежды. "Женский каприз, славянская безтолковость, жалкая боязнь глупых толков", объяснял он себе тем или другим мотивом нежданное бегство своей жертвы; — "но ей там скоро надоест, он легко убедит ее вернуться". И между тем как общество "кокодеток" à qui mieux mieux расточало пред ним свои соблазны, — он попал в моду с перваго же появления своего в гостиной Lizzy; он собирал всякими тонкими путями точныя сведения о состоянии, о прошлом, о "специальном" положении графини Драхенберг в свете, об отношениях ея к мужу, — и тем сильнее росло в нем решение овладеть ею, во что бы ни стало, чем яснее становилось для него, что ни "Двор" (он почему-то воображал себе сначала, что Двор может стать между ею и им, ни муж, ни иныя "внешния условия" не послужат помехой его желанию, если только она останется верна своим обетам...

Но, к немалому изумлению его и тревоге, она не отвечала на страстныя письма, которыя продолжал он слать ей каждый день, да и никому не писала, как бы нарочно для того, чтобы лишить его возможности иметь какия-либо о ней вести... Граф Шегедин был человек внезапных и дерзких решений: он собирался ехать в Одессу, а оттуда под чьим-либо паспортом, под видом какого-нибудь агента поставщиков провианта на армию, перебраться за Дунай, отыскать ее... как вдруг какое-то, откуда-то полученное им сообщение заставило его,

совершенно неожиданно для всех, мгновенно выехать из Петербурга за границу... Куда? зачем? — осталось тайной, объяснения которой тщетно добивались очарованныя им петербургские mondaines у чинов австрийского посольства; транс- и цислейтанские дипломаты отвечали на вопрос загадочными пожатиями плеч и холодными улыбками, причем официально заявляли, что "l'embassade impériale n'en a aucune connaissance"... Заходили между тем какие-то странные слухи неведомаго происхождения, заговорили о "подделке" каких-то австрийских бумаг, о "государственном преступлении", в котором будто бы принимал участие этот недавний любимец петербургских гостиных и раскрытие которого заставило его бежать де в Америку... Дамы с тем большим негодованием протестовали in corpore против "такой клеветы", чем настоятельнее повторяли ее поклонники их, завидовавшие успехам венгерского "condottiere" в их очаровательной среде...

Весть об этом, поспешно сообщенная в Никополь графинею Ваханскою, Елена Александровна приняла почти равнодушно... Увы, страсть ея к графу Шегедину была для нея в настоящую пору покончeнное дело, что Немцы называют "ein überwundener Standpunkt"; она пережита была ею и сдана в архив с тем легким духом, с тою простодушною безсовестностью, на которыя имеют особую привилегию женщины. Иными помыслами и впечатлениями полно было ея пылкое воображение. Дело Красного Креста — к которому примкнула она первоначально, видя в нем для себя лично выход из затруднительного положения, — стало теперь в глазах ея делом жизни. Она отдалась ему, сама не зная как, порывисто, мгновенно, с какою-то внезапною жаждой самоотвержения и жертвы, как отдалась Венгерцу, все тем же безсознательным побуждением своей впечатлительной природы. Эта изнеженная, избалованная, капризная светская барыня оказалась вдруг самою деятельною распорядительницей, самою неутомимою и усердною сестрой милосердия, проводила дни и ночи в госпитале, перевязывала самыя гнойныя раны, не морщилась ни пред каким надрывающим зрелищем искалечения, ни пред каким претящим обрядом ухода за больными. Способность преодолевать чувство отвращения, которой отнюдь не подозревала она в себе до тех пор, доставляла ей глубокое внутреннее услаждение, "Я воображаю, что было бы с Lizzi на моем месте!" говорила она себе с улыбкой торжества и сожаления по адресу приятельницы. Она сыпала деньгами на "своих" раненых, "своих" врачей, "своих" сестер, и совершенно искренно была убеждена в ту минуту, что врачевать увечных и недужных "телесно и духовно" было ея настоящим призванием на земле...

Долго-ли продолжалось бы в ней это восторженное душевное состояние, сказать трудно; но ея деятельность по Красному Кресту прервана была на третьей же неделе смертью мужа, убитаго наповал пулей в грудь... Она все кинула, отправилась на место битвы, испросила разрешение вырыть тело и повезла его в свинцовом гробе чрез всю Россию в замок предков его в Курляндию, где Отто Фердинандович, как стало известно ей по вскрытии пакета с его завещанием, положенного на хранение в полковой ящик, желал быть похороненным в фамильном склепе, подле отца своего, убитаго под Гроховим в Польскую кампанию в рядах того же полка, во главе которого так же доблестно, как он сам, погиб теперь сын его.

К госпиталю своему графиня более не возвращалась. Пока приводила она в исполнение волю мужа и утешала, сама проливая при этом чистосердечнейшия слезы, его старушку мать, русские войска успели дойти до Сан-Стефано. Война почиталась оконченною... "On n'a plus besoin de moi", решила молодая вдова, у которой, за смертью мужа, оставались на руках заботы об управлении своим огромным состоянием. Не мудрствуя лукаво, она передала это управление пожилому Немцу, бухгалтеру, состоявшему у покойного в большом доверии, которого назначила своим главноуправляющим, и первыми вешними днями отправилась с сыном в Швейцарию... "Неприятной встречи" за границей ей опасаться не приходилось: как она узнала, ея "тигр", которого ошибочно считали скрывшимся в Америку, убит был, на родине своей, на поединке с редактором одной пештской газеты, опубликовавшей какой-то жестоко

позоривший граф Шегедина документ. Извещенный об этом, Шегедин понесся прямо из Петербурга в венгерскую столицу, где нанес диффаматору своему публичное оскорбление, и пал затем с простреленным черепом, унося в могилу ключ к разъяснению этой истории, — о ней же в Петербурге имелись весьма смутныя сведения, так как прежде всего там в свете никто не читает немецких газет, да и в самых венских листках по этому предмету никаких особых подробностей не заключалось... Какое впечатление произвела эта новая смерть на графиню, не знаем; во всяком случае она окончательно делала ее свободною...

В Люцерне, где сын ея пользовался молочным лечением, она нашла довольно приятное общество, в том числе отставного русского генерала Троекурова с прелестною семнадцатилетнею дочерью. Она тотчас же поспешила познакомиться с ними: девушка наружностью своей и милым нравом очаровала ее с перваго раза, а об отце ея она слышала много в Петербурге, как об "элеганте", и покорителе сердец прежних времен. Живых следов этого былаго "элегантства" она не могла не признать в нем, но сам он показался ей мрачным и надменным, "un orgueilleux taciturne". Он действительно держался относительно ея на строго учтивой ноге и видимо не желал допустить никакой интимности между ею и своею дочерью. Это стало особенно заметно ей со времени приезда в Люцерн одной русской четы.

Графиня Елена Александровна по матери была племянница некоей, весьма светской, много принимавшей и любимой в Петербурге старушки, графини Лахницкой, рожденной Буйносовой (муж ея, давно умерший генерал-адьютант, был родной брат Гедвиги Казимировны). У нея познакомилась она в одно прекрасное утро с прибывшею из Москвы, незнакомою ей до тех пор племянницей этой тетки, дочерью ея родного брата, Антониною — "Tony" — Буйносовой, которую старушка выписала в себе на житье, так как, говорила она, вздыхая, на ушко графине Драхенберг, "брат мой совсем разорился, бедной девочке есть нечего дома". Узнав об этом, Елена Александровна по свойственной ей восторженности и мягкости сердца сочла нужным оказать девушке самый горячий прием, стала с перваго же раза называть ее "ma cousine" и "ты", хотя в сущности ровно никакого родства между ними не было, приглашала постоянно к себе, вывозила на балы, на которых старуха-тетка перестала уже бывать. Действительные двоюродные братья "Тони", сыновья графини Лахницкой, оба женатые и занимавшие уже видныя положения. были гораздо менее сочувственно расположены к своей бедной родственнице. Они — да и вообще таково было впечатление, произведенное юною Москвичкой в петербургском high life, — находили, что при ея "незавидном материальном положении" она должна была бы чрезвычайною скромностью "se faire, pour ainsi dire, excuser sa trop éclatante beauté", а она, напротив, "смотрит и говорит так величаво, будто уверена, что весь мир должен быть у ног ея". На это графиня Драхенберг пламенно возражала, что "Тони тысячу раз права; что в другия, лучшия времена, когда у людей было больше поэзии в сердце, весь мир действительно лежал бы у ног такой красавицы", и старалась доказать это всем молодым людям, "Jeunes gens à prendre" своего круга, которым безпрестанно ставила на вид, как "они глупы", не предлагая руки своей и сердца ея "splendide cousine", как выражалась она. "Jeunes gens à prendre" отвечали ей на это, смеясь, что кузина ея без сомнения хороша на диво, но что она уж "слишком умная и ученая"... У графини за этим опускались руки: ей было хорошо известно, каким пугалом представляются "ум" и "ученость", да еще у женщины, Боже мой! в золотой среде петербургского Яхт-клуба... Так прошла целая зима, а в конце ея умерла почти внезапно старушка Лахницкая. За этою смертью Тоня Буйносова оставалась в Петербурге без крова, так как ни один из ея двоюродных братьев не предложил ей поселиться у него в доме. Предложила Елена Александровна. Но девушка не согласилась принять "положение приживалки" у этой мифической родственницы; "а другаго, как ни верти", откровенно сказала она ей, "мы с тобою для меня не выкроим".

— Да, ты такая, задумчиво заметила на это графиня: — для тебя все или ничего.

— А пока придет, промолвила Тоня, кривя свои побелевшие от внутренней кипени губы, — отправляюсь в Москву на черстный хлеб моего маркиза-папаши.

— И неужели не вернешься более в Петербург?

Красавица глянула прямо в лицо спрашивавшей:

— Вернусь, когда буду хоть на половину так же богата, как ты.

Она, действительно, уехала на другой день, и графиня с тех пор совершенно, как говорится, потеряла ее из виду. Друг другу оне не писали… Так прошли целые четыре года.

И вот одним сияющим июньским днем, совершая свою обычную утреннюю прогулку, в обществе попавшихся ей по дороге Троекуровых, отца и дочери, и недавно представленного ей Италиянца, маркиза Каподимонте, увидела она шедшую по аллее навстречу им стройную, очевидно новоприезжую в Люцерн, даму в восхитительном туалете, в котором опытный глаз светской женщины тотчас же признал произведение великаго Ворта. "Из Парижа, и непременно Русская"! сказала она себе, взглянула пристальнее…

— Tony! вскрикнула она в изумлении.

— Я! ответила та, спокойно улыбаясь и подходя в ней.

Графиня радостно схватила ее за обе руки, прижалась губами к ея щеке.

— Ты здесь… давно-ли?… Замужем… за кем? вырывались у нея торопливо один за другим вопросы.

— Замужем, да! коротко ответила дама. И, оборачиваясь в Троекурову, который, приподняв учтиво шляпу, отходил от них с дочерью под руку:- Le général ne me reconnaît pas, il paraît? проговорила она веско.

Он чуть-чуть сдвинул брови, но все так же учтиво приподнял шляпу еще раз:

— Узнаю теперь: госпожа Сусальцева, если не ошибаюсь? ответил он на том же французском языке.

"Су-саль-цева, quel nom' cocasse!" пронеслось в голове графини, между тем как молоденькая дочь Троекурова не то тревожно, не то с каким-то жадным любопытством — показалось Елене Александровне,- вскидывала на "Тоню" свои лучистые глаза.

— Папа, тебе пора в ванну! как бы вспомнила она чрез миг, увлекая отца вперед по аллее.

Молодыя женщины остались одне.

— Ну, разсказывай скорее про себя, разсказывай все, все! торопливо заговорила графиня Драхенберг, подхватывая "кузину" под руку и усаживая ее рядом с собою на ближайшей скамейке.

Через четверть часа она знала о ней все в главных чертах, дополняя остальное своим фейерверочным воображением. "Tony богата, очень богата теперь… Конечно, au prix d'une mésalliance". Но графиня не видела в этом особенного неудобства. "Родовые предразсудки" говоря демократическим языком. никогда не пускали особенно глубоких корней в мировоззрение русского общества; да и в силу чего держались бы они?

У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней,

замечено не даром великим поэтом... А графиня Елена Александровна к тому же, столько же из противоречия "балтийскому феодализму" наскучившего ей мужа, сколько из личного убеждения "qu'il faut être de son siècle", издавна почитала и заявляла себя женщиной "либеральною" и безусловною поклонницей новейших прогрессов... Она поэтому тотчас же разсудила, что Tony, выйдя замуж за этого "richissime négociant", поступила как умная женщина, "comme une personne d'esprit, qu'elle est"... что, конечно, довольно неприятно называться madame Sousaltzef и что особу с такою фамилией княгиня Андомская в Петербурге ни за что не допустит перейти за порог своей гостиной... "Mais on peut parfaitement se ficher de la princesse Andomski après tout!" отважно возражала она себе тут же, "а если муж Тони сколько-нибудь приличен, то они со своими миллионами везде будут приняты... Ведь ездят же все к биржевикам Довонаки и Гиневену..."

— Ну вот, ты и добилась своего! радостно говорила она "кузине";- помнишь твои слова пред отъездом?... так и вышло: из "ничего" "все".

— Не совсем, проговорила, чуть поморщившись, та и поспешно прибавила:- но главное сделано: я почти в седле (j'ai le pied dans l'étrier)...

Графиня, как бы поймав налету недоговоренную ею мысль, громко разсмеялась:

— Да, говорят же ведь теперь, что надо только раз уметь выйти замуж, а там...

Появление мужа Тони прервало их разговор. Он произвел на графиню очень благоприятное впечатление. "Слишком плотен, но хорош лицом и одеваться умеет", решила она по первому взгляду. Когда же на вопрос его жены по-английски, где он был, Сусальцев на том же языке — несколько уличным лондонским акцентом, "avec un accent quelque peu cockney", не могла не заметить она, — но совершенно свободно ответил, что ходил на почту справляться, не получено-ли на их имя писем, poste restante, — светская барыня нашла, что он "совершенно приличен pour un mari", и положила принять его под свое особое покровительство.

Она и чета Сусальцевых стали неразлучны с того дня, виделись с утра до вечера, совершали вместе прогулки по горам и озеру, устраивали пикники на высотах Авсенштейна[24]. С ним обыкновенно присоединялся маркиз Каподименте, человек очень светский, "приятный", начитанный и умный, ухаживание которого за нашею графиней становилось с каждым днем все заметнее... Она со своей стороны как бы не замечала этого ухаживанья и старалась держаться с обожателем своим тех "товарищеских", чуть-чуть фамилиарных приемов, которыми женщина дает чувствовать не нравящемуся ей мущине, что он "ни на что более претендовать не должен". Она была в те дни в каком-то стихе брезгливости, при котором и салонный flirt, и amour de tigre были ей равно противны. "Моя созерцательная жизнь (ma vie contemplative) вполне удовлетворяет меня, и я ничего другаго не прошу от судьбы", говорила она и про себя, и вслух, наслаждаясь совершенно искренно, как всегда это бывало у нея, сознанием объявшего ее теперь полного безстрастия и соответствовавшим такому настроению ея духа величавым спокойствием окружавшей ее альпийской природы... маркиз чуть-чуть вздыхал вслед за такими ея заявлениями, но все так же мягко, осторожно и упорно продолжал, выражаясь языком поэтов, сыпать под стопы ея розы своего "ничем несокрушимаго" боготворения. "Allez, cela flatte toujours une femme!" говорила ему по этому поводу в виде поощрения г-жа Сусальцева своим вечно ироническим тоном. Муж ея за то пользовался всяким случаем выражать влюбленному Италиянцу свое безграничное в нему сочувствие. Он видимо изучал его и старался подражать изящной непринужденности всего его внешняго

склада, его манере покручивать прищуриваясь усы, носить шляпу под известным углом наклона и закидывать небрежно ногу одну на другую. При каждой встрече с ним он жал ему, в избытке чувства, руку с такою силой в своих огромных лапах, что тот каждый раз морщился от боли и отправлял мысленно в чорту московского медведя. Сам Сусальцев в обществе играл по большей части в молчанку, но самым внимательным образом прислушивался в занимательным разсказам много видевшего маркиза и к "умным разговорам", ими вызываемым, заявляя о принимаемом ими в них интересе одобрительным кивком или значительною усмешкой в-пору, — иной раз целою несложною, но правильно произнесенною фразой... "Он по-французски плох и жены боится", давно решено было графиней; но когда шла у нея речь о ея protégé с другими, она самым серьезным тоном говорила о нем, как о человеке, поглощенном обширными экономическими предприятиями, и которому постоянная забота об этих "предприятиях" мешает принимать участие, "comme il l'aurait pu, à nos frivoles causeries mondaines".

С Троекуровыми отношения графини со времени приезда Сусальцевых как бы совсем прекратились. Она не могла не заметить, что ея компания не приходилась по вкусу ни отцу, ни дочери; встречаясь с нею на прогулке, они холодно раскланивались и проходили мимо, не останавливаясь. Сусальцев при этих встречах, как бы движимый невольным чувством почтения, скидал поспешно первый шляпу с головы и отвешивал им низкий поклон...

— Вы могли бы быть менее усердны в ваших учтивостях! желчно отрезала ему однажды жена по этому случаю.

Он слегка покраснел:

— Что-же, человек почтенный, пролепетал он, — и девица дочь его опять...

— Такая же противная фуфыря, как он сам! перебила она.

Он замолк.

— У тебя что-то с ними есть, Tony, вмешалась графиня:- vous ne vous aimez pas, pourquoi?

— Я к ним совершенно равнодушна, уронила та в ответ с высокомерным и презрительным движением губ, — но имела la malchance внушить несчастную страсть одному жалкому господину, которого monsieur de Troëkourof прочил в мужья своей царевне, и они мне вдвоем этого простить не могут.

— Вы его знаете? быстро обернулась графиня к Сусальцеву.

— Кого это-с? спросил недоумело тот.

— А вот этого, которого жена ваша называет "жалким господином".

— Знаю-с, широко осклабился он.

— И что же он в самом деле жалкий?

— Ничего не "жалкий", возразил он, самодовольно встряхивая плечом: — весьма даже благоприличный, по-моему, и вполне комильфотный молодой человек... А впрочем, как вам известно, ваши женские вкусы с нашими редко когда сходятся.

Графиня зорко вскинула глазами на него, на "кузину" и громко разсмеялась.

— Oh, les maris! вскликнула она, отвечая на какую-то пробежавшую у нея в голове мысль и заметив подходившего к ним в эту минуту маркиза:- Ah, voici notre ami Capodimonte! Что же, решено, куда мы отправляемся?..

Дело шло о решении, куда ехать всею компанией из Люцерна, где всем начинало становиться скучно. Сусальцевы уже второй год проводили за границей, переезжая из Парижа в Швейцарию, или на какия-нибудь германские воды, и обратно. Дела давно звали мужа в Россию, но он все медлил отъездом: очень уж хорошо жилось ему, очень уж "лестны" были для него успехи жены на "чужой стороне". А успехи ея были несомненны. В том пестром, легко доступном Вавилоне всевозможных "племен, наречий, состояний", что именуется парижским светом, где плебейские звуки ея фамилии "Sousalzef", возглашаемые huissier в серебряной цепи на пороге блестящей залы, не шокировали ничьего иноземного уха, а красота, роскошные туалеты и широкое русское хлебосольство ея мужа приманивали в ея дом на обеды и вечера целыя тучи поклонников, льстецов и прихлебателей, — она с перваго появления своего попала в звезды первой величины. Без нея не обходились ни один праздник, ни одна "première" (первое представление) в театре; Etincelle[25] в Figaro чуть не каждую неделю распространялась в детальном изложении о необыкновенных кружевах, тканях, шляпках и уборах, "marqués au coin du goût le plus pur et le plus distingué", в которых "tout Paris" мог ее видеть на таком-то рауте, бале или приеме новаго члена в Académie franèaise; все иностранныя sommités и высочества из Almanach de Gotha, попадающия в постоянно движущийся калейдоскоп "великаго града (la grande ville)", спешили представляться ей и расточали ей то, что Пушкин, говоря о Вольтере[26], называл "земных богов напитком"... Но все это не удовлетворяло ее лично. В натуре ея было презирать то, что легко ей доставалось. Она презирала этот окружавший ее сброд нажившихся вчера богачей изо всех стран вселенной, аристократических имен, носимых людьми с лакейскою наружностью, лавочников, состоящих в звании республиканских министров, весь этот мир цинической рекламы, всепоглощающей корысти и пустозвонства без конца... Роскошь, в которой купалась она, (они прожили тысяч триста с половиной за это время,) приедалась ей; ей хотелось чего-то другаго, власти, влияния, значения. Положение, приобретенное ею, представлялось ей чем-то "не настоящим", самозванным, ему недоставало санкции Петербурга. Ее влекло туда, в этот угрюмый, "скучный Петербург", знакомый по одному лишь сезону, проведенному ею там, и не оставивший в ней особенно отрадных воспоминаний, но в котором, говорила себе она, "есть по крайней мере une vraie vraie, общество, к которому принадлежит она по рождению, и роль в котором, казалось ей почему-то, может действительно польстить самолюбию женщины..." Так или иначе, она чувствовала какой-то внутренний зуд "попробовать Петербурга". И чем труднее, сознавала она, было для нея теперь быть снова признанною (réaccepтée) там "своею" при том имени, которое она носит, при том муже, "которого она дала себе", тем сильнее сказывалась в ней жажда борьбы и чаяние победы. Она исподоволь готовила в ней свои подходы, улавливала в свои тенета всех петербургских перелетных птиц из крупных, завязывая нити "дружеских" отношений с ними, для чего laisser-aller парижской жизни представляло ей полное удобство... Игру свою вела она с чрезвычайным искусством. Лукаво холодный задор ея кокетства производил на тех редких избранных, для которых почитала она нужным прибегать в нему, неотразимое обаяние, между тем как безупречная tenue ея в свете, та самая величавость ея приемов, в которой обвиняли ее в петербургских гостиных, когда она была девушкой, и которую теперь находили совершенно уместною в ея положении замужней, красивой и "независимой" (то-есть богатой) женщины, вызывала одобрение со стороны самых collets montés из ея соотечественниц. "C'est une femme très bien!" возглашали оне хором, многодумно кивая челами. Сама княгиня Андомская, которая, по мнению графини Драхенберг, "не дозволила бы в Петербурге госпоже Сусальцевой перейти за порог ея гостиной", — княгиня Андомская, от преизбытка важности не произносившая уже более буквы а, заменив ее буквою е, как требующею более умеренного раскрытия челюстей, встретившись с нею, с тою же

madame Sousaltzef у английского посла в Париже, протянула ей три пальца и, изобразив на своем couperosé лице нечто в роде намерения улыбки, произнесла почти слышно: Il y é longtemps que vous hébitez Péris?... Да, разсуждала Tony, у нея уже теперь успел образоваться — "а далее еще более будет" — достаточно обширный круг отношений в петербургском grand monde, что-б иметь ей право надеяться, что, когда она переедет туда, все успеют уже приобыкнуть к ея "невозможной фамилии"... Останется все-таки муж, конечно... Но ведь это неудобство отвратимо: мужа "можно будет там просто не показывать"...

Встреча с Elly Драхенберг являлась для нея новым, очень веским шансом для этого чаемаго ею в будущем преуспеяния своего в Петербурге. Ей нужна была именно "так поставленная" в тамошнем свете, с таким решительным характером и такою "горячею головой (tête ardente)" женщина, чтобы послужить ей верным лоцманом, "pour la piloter" между всяких подводных утесов, которые даже при самых счастливых условиях могли бы все-таки встретиться ей на пути. И она обеими руками ухватилась за нее. Графиня в свою очередь была очень рада ей. Она ценила в Тоне ея решительность, ея невозмутимый aplomb и саркастический, чтобы не сказать прямо презрительный, взгляд на жизнь и на людей, представлявшийся молодой вдове такою "силой" сравнительно со способностью к "вечным иллюзиям", которую она торжественно признавала за собою.

— Остается знать, кто из нас счастливее? говорила ей графиня.

— Счастья нет и вовсе, коротко ответила на это та.

— О!... могла только вскрикнуть графиня:- ты не веришь в счастье?

— Его нет, повторяю; есть известное состояние духа, как говорится, при котором тебе менее скверно, чем обыкновенно; есть условия жизни, ставящия тебя в возможность менее страдать, чем другие люди; но то абсолютное, всестороннее удовлетворение, которое разумеется под названием счастья, — вещь несуществующая, да и немыслимая.

Elly пристально уперлась ей взглядом в лицо:

— Tu est trop savante, voistu, Tony, и ты никогда видно не любила!

— Никогда, это правда, чуть ухмыльнулась Сусальцева;- а ты?

Графиня вся как бы ушла в себя, глубоко вздохнула и медленно повела головою сверху вниз.

— Ну, а что же Каподимонте! продолжала насмешливо "кузина".

Elly быстро вскинулась и замахала рукой:

— Ах нет, такого не нужно!...

— Какого же тебе надо?

— Ужь не знаю, право... Никого не нужно теперь, никого! решила она, громко разсмеявшись.

III

"Кузины" уже вторую неделю жили в Венеции, куда приехали с италиянских озер, где прожили месяца полтора, побывав и в Лугано[27], и в Белладжио[28], и на Isola-Bella[29]. Графиня все так же, как и в Люцерне, восторженно наслаждалась там природой. Здесь, в "столице

Адриатики", присоединилось к этому восхищение искусством. Врожденное в ней чувство изящного никогда еще не сказывалось у нея с такою силой, не охватывало ее так цепко и так алчно. Она по целым часам с дрожавшими на ресницах слезами умиления простаивала пред мадоннами Gian[30] Bellini в церкви del Bedentore (Спасителя) и готова была каждый раз чуть не разцеловать жидвобородаго капуцина, указывавшего ей на них костлявым, страшно грязным пальцем все с тою же своею заученною фразой: Sono i fiori della pittura veneziana (это цвет венецианской живописи); она "не хотела уходить" со внутренняго двора palazzo дожей и уверяла, что "велит принести себя сюда пред часом смертным, что-б отдать Богу душу на ступенях Scala dei Giganti, унося таким образом в небо последнее впечатление того прекраснейшаго, что создано человеком на этой земле". Tony снисходительно только улыбалась "фантастическим бредням, fantaisies saugrenues" своей приятельницы. Сама она, по ея выражению, "дозволяла возить себя смотреть то, что, говорят. непременно будто нужно видеть", прибавляя с этому с какою-то торжествующею презрительностью: "я ровно ничего не понимаю в этой старой мазне, но что-нибудь, надо же делать: буду ездить смотреть на эту "мазню"... Она в сущности очень скучала в Венеции, но не решалась уезжать. В Биариц, во-первых, куда она по требованию моды ездила купаться два года сряду, было слишком рано, а во-вторых, сюда, как узнала она по газетам, должен был на днях приехать князь Іоанн, высокое лицо, с которым ей очень хотелось и было удобно познакомиться здесь (он должен был пробыть в Венеции несколько дней), где поневоле "каждый день будешь встречаться на площади Святаго Марка", и которого к тому же Elly давно и хорошо знает, а следовательно представит ей... "а там уже она знает, как повести дело"... И madame Sousaltzef, "от нечего-делать покамест". принялась, вместо купанья в шумных волнах океана, ездить каждый день на Лидо погружаться в мирныя струи адриатического побережья, куда возила с собою, по просьбе кузины, ея девятилетняго сына. которому такия же ванны предписаны были доктором. Их обыкновенно сопровождали на пароходе туда и обратно муж ея и офицер Вермичелла, ожидавшие, пока она и мальчик выйдут из воды, на широкой деревянной террасе кафе-ресторана, устроенного на сваях над самым морем наряду с купальнями, попивая сироп из сока тамаринда пополам с коньяком и обмениваясь веселыми речами на мифическом французском языке. Этим способом скучающая барыня нашла возможность убивать большую часть утра, из которого "без этого она не знала бы, что делать"... Тем временем графиня, в сопровождении маркиза Каподимонте, плавала в гондоле до всем каналам и каналеттам запустелаго города, обозревая подробно каждую его достопримечательность, отыскивая в магазинах и лавчонках антикваріев всякое художественное старье, к которому разыгралась у нея теперь настоящая страсть. Маркиз, как это нередко случается встретить в Италии в среде людей его круга и возраста, был тонкий и начитанный знаток художеств и оказывал своей "прекрасной спутнице" настоящия услуги, предостерегая ее против тех ухищренных обманов, которым подвергаются богатые дилеттанты из иностранцев при покупках этого рода, научая ее распознавать отличительные признаки руки действительного "артиста" и знакомя ее по этому случаю с целою историей искусства в его отечестве в различных проявлениях его и фазисах. Молодая вдова слушала его с жадным вниманием, называла "homme charmant" и благодарно жала ему руки. Поощренный этим, он пытался не раз заговаривать о своих "чувствах", — но она решительно отклоняла все подобныя изъявления. Она все еще находилась в полосе "безстрастия"... Да и помимо того, ей, как говорила она Тоне, "не такого было нужно". Маркиз. Конечно, был одарен всякими привлекательными качествами: он был и вполне светский, — тонкий и благовоспитаный, — и почти ученый человек; наружность его была изящная, "distinguée", черные глаза блестели как у двадцатилетняго юноши, говорил он и "разсказывал" с замечательным красноречием и горячностью; он даже, она не сомневалась, действительно любил ее, — "конечно, ея большое состояние имелось им в виду, но и сама она, ея blanche nature du Nord", как выражался он, "возбуждала в нем страстное чувство", — она это видела по его глазам... Но это не представляло для нея ничего новаго; это было в ея понятии "что-то среднее между любовью того, "тигра", и тем "тепленьким", чего до оскомины, в течение десяти

лет сряду, наслушалась она в Петербурге от свитских генералов... Она все это "наизусть знала", она "насквозь видела ее cher marquis"... Нет, Gian Bellini, Веронез, Palma Vecchio и вся эта "феерическая декорация неба, моря и старых дворцов", — вот все, все, что ей теперь нужно"!...

Вчерашний случай — этот "интересный émigré politique, которого Tony непременно знает", — откинул ее вдруг в сторону ото всех тех волшебств природы и искусств, созерцание которых поглощало воображение ея все это последнее время. Ей жадно, до боли жадно захотелось теперь открыть тайну любви, le secret d'amour, она не сомневалась, существовавшую между "этою ледяною Tony и тем белокурым", бежавшим с дальняго севера чрез темные леса, где спас его "ce flacon de cognac", подарок женщины, его любившей... "Он был, может быть, первым единственным предметом ея, Тони, и, разлученная с ним, она решилась выйти de désespoir за своего... Сусальцева... Или, может быть, тот жестоко обманул ее, и она тогда с досады, par dépit"... Во всяком случае она, Elly Драхенберг, узнает непременно эту тайну. Tony — замкнутый замок, от нея ничего не добьешься: но он, этот молодой человек... маркиз его непременно отыщет и привезет, она пригласит его, — сыну ея, действительно, надо начать учиться хорошенько родному языку, — пригласит давать ему уроки, она приголубит его ("je l'apprivoiserai"), внушит ему доверие, дружбу... О, она все узнает, что его касается, всю его эпопею любовную и политическую, "toute son épopée amoureuse et politique"...

Она даже проснулась сегодня ранее обыкновеннаго, завтракала — что не всегда случалось у нея, — с сыном и воспитателем его, мистером Уардом, совершенно деревянным Англичанином лет сорока, и объявила им, что "нашла для Никса русского учителя, так как очень стыдно, что он до сих пор почти совсем не умеет писать по-русски", причем не то вопросительно, не то тревожно глянула в лицо Уарда, как бы желая прочесть на нем впечатление, какое могло произвести на него это известие. Но ровно ничего не прочла она на этом лице: Англичанин, не подымая глаз, продолжал уписывать свою баранью котлетку.

— Он молодой, этот новый учитель, мама? с любопытством спросил ее за то Никс по-русски, и этот вопрос как-бы несколько почему-то смутил ее.

— Что тебе до того, молодой он или старый? сказала она, усмехаясь:- все равно надо тебе будет с ним учиться, и хорошо учиться.

— Ах, как же можно, возразил мальчик. — С молодым мне гораздо будет веселее, чем с mister Уарорм; тебе тоже, правда, мама?

Графиня даже покраснела слегка:

— Ты все вздор болтаешь, Никс!..

Она отправила его после завтрака гулять со своим Англичанином в Giordino Reale (Королевский сад), и в ожидании маркиза, являвшегося в ней обыкновенно между полуднем и часом с программой "экскурсии", предполагавшейся ими на тот день, уселась на балконе своего "appartement" в бельэтаже, выходившего на Riva dei Schiavoni. Очаровательнейший вид Венеции открывался, с этого балкона. Прямо насупротив его, над широким водным пространством, заворачивающим крутым изгибом вправо в Джудекку, облитые блеском италиянского утра, словно любуясь отражением своим в изумрудном зеркале влаги, победно возносились изящные купола Santa Maria della Sainte и San Georgio Maggiore; над башенкой таможни золотая Фортуна с зеленым шаром под ногой отчетливо вырисовывалась в разреженном воздухе; высоко, под яркою голубизной неба, висели недвижно легкие и белые как пух клубы облачков, будто не решаясь разстаться с этим чудным краем земли, а ниже,

виясь над высокими черными гребнями скользивших по лагуне гондол, реяли большия морские птицы серо-молочного цвета, сверкая на солнце серебристыми оконечностями своих длинных и сильных крыльев…

Графиня, защищенная от солнечных лучей полотном опущенной над балконом маркизы, глядела не отрываясь на эту уже привычную ей картину, прислушиваясь невольно к доносившемуся до нея вечному гулу речей и смеха баркаголов (лодочников) на ближайшей пристани, в зазывным крикам продавщиц рыбы и фруктов… "Что же за праздник для глаз должен был быть здесь, невольно проносилось у нея в голове, когда помимо всего этого корабли со всех окраин мира везли свои сокровища царственным купцам этого волшебного города, когда из окон этих разрушающихся теперь дворцов вывешивались на диво толпе многоценные ковры и ткани Востока, и сами они, и дочери их, и жены, и все, и все население облечены были во всю эту разнояркость цветов и живописность покроя эпохи Возрождения, которыя так обаятельно глядят на нас с исторических полотен в palazzo дожей, из рам портретов Тициана!… Увы, я родилась слишком поздно, мне надо было увидеть свет здесь, тогда… jaurais été peut être une seconde Catherine Cornaro, о которой говорил вчера маркиз," вспомнила она, насмешливо улыбнувшись по собственному своему адресу.

А глаза ея между тем как бы машинально приковывались к каждой из гондол. пристававших в Riva dei Schiavoni. В каждом лице, подымавшемся с пристани на набережную, она чаяла увидать маркиза…

Пушечный выстрел на площади Святаго Марка уже довольно давно известил город о полудне, а его все еще не было. Молодую женщину начинало разбирать нетерпение.

Но вот, кинув случайно взгляд по направлению Пиацеты, она увидала его, всходившего по мраморным ступеням… Он был не один: рядом с ним легкою, молодою поступью, под широкополою шляпой на голове, шагал ея вчерашний незнакомец, "l'objet de Tony". Она его сейчас узнала… У нея даже сердце слегка забилось: она никак не ожидала, чтобы маркиз "так поспешил исполнить ея поручение"…

А Каподимонте в свою очередь, прищуривая глаза от солнца, не отводил их, с приближением к Hôtel Danielli, от балкона, на котором еще издали, под низко опускавшимися фестонами маркизы, отличил он облаченный в белый батист, по-утреннему, силуэт предмета своей страсти… Подойдя к самому балкону, он поднял глаза и, притронувшись к шляпе, спросил снизу:

— Vous êtes visible, comtesse?

В голосе его она тотчас же почуяла какое-то раздражение.

— Toujours pour vous, cher marquis, поспешила она ответить с оттенком чуть не нежности в звуке голоса, слегка свешиваясь к нему головой через перила и быстрым взглядом окидывая тонкий облик его спутника.

Тот, не подымая на нее глаз, стоял внизу с видом полнейшаго безучастия в этому разговору и разсеянно глядел куда-то в сторону.

Маркиз проговорил ему несколько слов, притронулся еще раз в шляпе и быстро вошел в двери отеля. Молодой человек, видимо замедляя шаги, последовал за ним.

"Pas empressé du tout, et l'autre — furieux", сказала себе со внутренним смехом графиня: "интересно знать — почему?.."

Она занимала целый аппартамент в пять или шесть комнат, из которых первая с лестницы служила чем-то в роде приемной, где постоянно дежурил курьер ея Джиакомино.

— Маркиз Каподимонте, доложил он теперь, появляясь на пороге гостиной, куда только-что прошла с балкона его госпожа.

— С ним еще кто-то? как бы небрежно спросила она.

— Si, eccelenza, но его сиятельство приказал доложить только о себе.

— Просите!... Не хочет-ли он мне сделать сцену? подумала она, и брови ея озабоченно сжались.

Она не ошибалась. Едва ступив в комнату и отвесив ей преувеличенно учтивый поклон, Каподимонте начал:

— Графиня, я исполнил ваше приказание, что-б дать вам новое доказательство моей нелицемерной преданности и дружбы в вам: я отыскал... и привел сюда этого господина, которого вы... желали видеть. Но я желаю со своей стороны, чтобы вы (он видимо едва сдерживал клокотавшую в нем досаду), чтобы вы не думали, что провести меня легко...

— Из чего же вы заключили, что я могу это думать? прервала его она тоном холодного достоинства, вопросительно в то же время подымая на него глаза.

Он продолжал более спокойно, но с язвительным оттенком в выражении:

— Вы говорили мне, что ищете учителя вашего языка для сына и что вы... случайно... узнали, что есть такой здесь, в Венеции... Из ваших слов следовало заключить, что вы никакого понятия об этом учителе не имеете, никогда в лицо его не видели, не знаете его фамилии.

— Все это правда; что же дальше? перебила она его опять.

— Но тем не менее адрес этого таинственного незнакомца, — все так же случайно, конечно, — вам был известен, и по этому адресу я, повинуясь вашему желанию, отыскал его... и нашел не учителя, а...

— А кого же?

— Un beau jeune homme, хихикнул насилованно маркиз, — qui ne m'a pas le moindrement l'air d'un marchand de participes (который нисколько по-моему не похож на учителя).

— Почему же это вам так кажется? резко выговорила графиня; она начинала сердиться...

Он так и вперил горящие зрачки свои в ея лицо.

— Потому что это тот самый молодой человек, который вчера на серенате сидел в гондоле рядом с нашею и с которого вы все время глаз не спускали!...

— Вы видели! помимо воли, неудержимо вырвалось у нея.

— Видел, с горечью воскликнул он, — и еще вчера догадывался... а теперь мне это совершенно ясно...

Она вдруг, к немалому его удивлению, разразилась громким смехом:

— Что вам ясно, vilain jaloux? что вы видели? Ничего вы настоящаго не видели и не догадываетесь…

Он недоумело глядел на; нее…

— Eh bien, c'est vrai, он сидел там подле нас в гондоле, и я слышала его разговор с товарищем и узнала, что он — я вам поверю его тайну: вы, я знаю, не выдадите ни его, ни меня, — un réfugié politique, — но я, клянусь вам, видела его вчера в первый раз в жизни… Я узнала тоже из этого разговора, что он приехал сюда с одним русским семейством в качестве учителя, и подумала, действительно, о моем сыне..

Она как бы запнулась на миг…

— И только? подчеркнул Каподимонте, не отводя от нея тревожного взгляда.

— Нет, я не хочу скрывать от вас, молвила она, широко улыбаясь своими пышными и свежими губами, — есть одно обстоятельство, возбуждающее во мне большой интерес к этому молодому человеку… Но не по отношению ко мне лично, уверяю вас! поспешно примолвила она, слагая крестообразно, для вящшаго убеждения его, руки свои на груди:- Тут другое лицо заинтересовано.

— Кто же? так же поспешно спросил он.

— Я не назову… не могу назвать вам ее… Я и сама, впрочем, ничего не знаю и подозреваю только… Я для этого и хотела познакомиться с ним… Я должна убедиться… Попросите его войти, пожалуйста, вы оставили его там же morfondre avec mon courrier в передней: ведь это неучтиво…

На выразительном лице маркиза сказалось страдание.

— Я ничего не понял из ваших объяснений, печально молвил он, — но я должен, я хочу вам верить: вы пожелали ближе узнать этого никогда до вчерашняго вечера вами невиданного молодаго человека не из какого-либо личного чувства, а единственно из любопытства. Положим так, но я осмелюсь вам напомнить, что любопытство, подчеркнул он, — погубило на этом свете не одну женщину.

— La vieille histoire de grand'mère Eve, разсмеялась она в ответ, пожимая плечами:- будьте покойны, я ученая, je suis bien apprise… Подите, приведите мне его сюда!

Маркиз глубоко вздохнул, поклонился и пошел за "ним".

IV

Die Kälte kann wahrlich brenneu
Wie Feuer.

Heine.

Чрез несколько минут графиня и маркиз вышли вместе в гостиную.

— Графиня, начал официальным тоном маркиз, — позвольте вам представить monsieur… monsieur Po… Pospelof, si je prononce juste, выговорил он с некоторым трудом.

— Juste, подтвердил тот, как бы снисходительно кивнув головой.

Графиня из-под полуопущенных ресниц окинула его недолгим, но зорким взглядом, указывая ему в то же время на кресло подле себя учтивым движением руки. Дневной свет, при котором видела она его теперь, дозволил ей отчетливо разсмотреть его правильныя, бледныя черты, — "будто слегка полинявшие краски на пастелевом портрете", сказала себе она, — острый блеск его серых зрачков, тонкий и нервный склад всей его наружности… Она осталась довольна. "Il doit être de bonne famille", сложилось у нея тут же заключение, "и многое успел перечувствовать на своем веку"…

Маркиз уселся на легоньком стуле, уставив его так, что-б иметь возможность равно следить за выражением лиц хозяйки и своего спутника, и заговорил опять:

— Вы меня просили, графиня, справиться, возможно-ли вам будет найти в Венеции un professeur de langue russe для вашего сына, и я… после многих неудачных попыток, подчеркнул он лукаво, — имел счастие узнать о monsieur Pospelof… которого и упросил сегодня побывать со мною у вас.

— Bien merci, cher marquis! не дала ему продолжать' она и, обращаясь к "профессору":- Вы давно уже здесь? спросила она его по-русски.

— Нет, не очень, выговорил он словно нехотя.

— И давно из России?

— Я в Вене пред этим жил, уклончиво и морщась ответил он: ему видимо не нравились эти вопросы.

Но она продолжала:

— Вы здесь одни, или с кем-нибудь?…

— Я приехал с одним семейством, но они должны были вернуться в Россию, а я… предпочел остаться…

— Вы давали уроки… в этом семействе?

— Давал.

— Русского языка?

— Русского языка… да и всего, в сущности, чуть-чуть улыбнулся он опять: — дети еще только в гимназию готовились.

"Улыбается, точно снисходит; une nature fière, я очень люблю это в мущинах", пронеслось в голове нашей графини.

— Мой сын тоже маленький, громко заговорила она:- ему всего девять лет. У него Англичанин… но я бы хотела, что-б он начал русскую грамматику и арифметику тоже en russe… и если бы вы согласились…

Она договорила, взглянув на молодаго человека чуть не молящим взглядом.

Он только головой качнул: что же, мол, извольте, если этого вам так хочется.

— Он очень добрый и способный мальчик, вы увидите… Он ушел теперь гулять с mister Уардом,

но сейчас должен вернуться… Я непременно хочу показать его вам…

Поспелов опять молча повел головой.

— Вы учились в университете, не правда-ли? спросила она его вдруг,

— Д-да, пропустил он сквозь зубы и с запинкой, не ушедшею от ея внимания.

— В Петербургском?

— Н-нет… в Московском.

— Вы там многих знаете… в Москве?

— То-есть, кого же это?… Из вашего круга никого не знаю, счел он нужным, и притом несколько грубовато, пояснить ей.

— Нет, я спросила вас потому, что здесь… в этом же отеле… живет одна московская… родня мне…

Он глядел на нее, будто говоря: "какое мне до этого дело?"

"Погоди же", молвила она мысленно в свою очередь, "что вот ты сейчас скажешь?"

— Madame Sousaltzef, Antonine, рожденная Буйносова… Вы не слыхали о ней?

Она пристально, жадно глядела ему теперь в лицо… Лицо это мгновенно дрогнуло, — она это видела, "ясно видела", — едва произнесла она имя "Tony", глаза метнули искру, брови тесно сжались как бы от напряжения мозга над ворвавшеюся в него докучливою мыслью. Но он тотчас же оправился, вскинул голову и глянул в свою очередь ей в глаза не то пытливым, не то вопрошающим взглядом.

— Нет, не слыхал; а что? выговорил он совершенно твердо и спокойно.

Она же сконфузилась теперь.

— Tony… Madame Sousaltzef… настоящая красавица, пролепетала она, — и обращает этим на себя общее внимание… Я думала, вы могли с нею где-нибудь встретиться… хотя бы здесь, в Венеции… Но вы говорите, что вы еще очень недавно здесь…

Поспелов, не отвечая, глядел на нее все тем же смущавшим ее взглядом.

Она отвернулась от него к маркизу. Он сидел, насупясь, отчасти обиженный этим продолжительным ея разговором на непонятном ему языке, еще более досадуя на живую игру физиономии молодой вдовы, которая, совершенно основательно разсуждал он, имела бы совсем иной вид, если-б у нея с этим "réfurié russe" шел разговор об условиях найма его в учители ея сыну.

— Je parlais à monsieur de l'exquise beauté de ma cousine Tony, сказала она ему, как-то особенно усмехаясь.

"А!" тотчас же сообразил тонкий италиянец, "мне дается понимать, что la cousine и есть та особа, о которой она мне говорила; но она не проведет меня: господин этот интересует ее лично, а не косвенно, по отношению к другой. Una perfida comédie и questo, предательскую

комедию разыгрывает она со мной". И губы его даже побелели от ревнивой досады.

Но губы эти любезно усмехались в то же время.

— Ah oui, très belle en effet, très belle, madame Tony, говорил он по адресу чаемаго им соперника.

Но тот, с видимым желанием положить конец этим речам, обратился к хозяйке с вопросом по-русски:

— В какое заведение полагаете вы нужным подготовить вашего сына?

Вопрос этот застал ее в расплох.

— Я, признаюсь вам, до сих пор об этом еще серьезно не думала. Мальчик мой записан в Пажеский Корпус, но он до сих пор все еще не укрепился здоровьем, и я боюсь, что он вообще для военной службы не будет годиться. В таком случае надо будет его в Лицей…

— Само собою! иронически как бы сорвалось с языка Поспелова.

— Что это значит? изумилась она.

— Значит, что куда же поступить сыну вашему, как не в привилегированное заведение! подчеркнул он с прежним невозмутимым выражением в лице.

— Вы…

Она приостановилась на миг:- vous êtes démocrate?

— В молодом поколении вы аристократических убеждений не найдете, коротко ответил он с полупрезрительным движением губ.

— Я знаю… Я сама du reste… je suis très libérale d'opinions, промолвила графиня и даже веско кивнула сверху вниз, в виде вящшаго подтверждения своих слов.

— Да, вмешался маркиз, — и это меня всегда удивляло в русских женщинах.

— Удивляло? повторила она: — это должно было бы вас радовать, мне кажется. вас, чуть не поплатившегося жизнию за свободу…

— Не за женскую, во всяком случае, засмеялся он;- эманципация женщин, то-есть обезличение, то-есть опошление женской обособленности — это не только конец всякой поэзии, это еще конец всей человеческой цивилизации.

— Reste à savoir, заметил на это Поспелов чистейшим французским акцентом, — насколько эта "поэзия цивилизации" дала хлеба голодающим человеческим массам.

И этот акцент, и мысль, выраженная в его фразе, совсем подкупили графиню: она одобрительно и быстро завивала головой.

— Да, это большой вопрос! промолвила она глубокомысленным тоном, который был столько же не обычен, сколько забавно мил в ея устах.

Маркиза это еще пуще взорвало. Глаза его загорелись, он готовил громоносное возражение…

Но в это же время в восхитительном утреннем платье из soie écrue, обшитом кружевами и большими голубыми бантами, под широкою соломенною шляпой, кругом которой бежала пышная гарнитюра из белых и голубых перьев, показалась в растворившейся двери соседней комнаты Антонина Дмитриевна Сусальцева.

— Никс здесь? спросила она с порога, не входя.- Bonjour, marquis!…

Он сидел прямо в полосе света, врывавшегося с улицы сквозь продольную щель не совсем притворенных половинок двери, выходившей на балкон (все жалузи окон, по обычаю теплых стран, в эти часы дня были опущены), и Сусальцева его одного в первую минуту различала в полутьме покоя.

Он с учтивым поклоном поднялся с места в ответ ей.

— Никс сейчас вернется… Да войди же, Tony! послышался ей тут же голос графини, сидевшей спиной в балкону.

Антонина Дмитриевна сделала несколько шагов вперед по направлению в ней.

— Ma chère Tony, позволь тебе представить соотечественника, monsieur Поспелова, проговорила та, как бы намеренно растягивая слова, указывая рукой на сидевшего против нея молодаго человека, которого скрывала до тех пор от глаз вошедшей высокая спинка его кресла.

Он и Сусальцева обернулись в то же время лицом друг в другу…

У нея мгновенно дрогнули приподнявшияся веки и побелели губы; глубокая морщина сложилась между бровями Посцелова… Но coup de théâtre, которого ожидала графиня Драхенберг, не случилось. Они глянули друг другу в глаза — и разом поняли друг друга. "Я для всех — незнакомый тебе человек", сказал ей тягучий, чуть не грозный взгляд его. "Мне только этого и нужно", ответили ему ея холодные глаза. И с банальною полуулыбкой светской женщины, которой представляют в гостиной ничем, для нея не интересного незнакомца, она небрежно сулонила голову, не ожидая его поклона, молча прошла в столу подле хозяйки, села и протянула руку за сигареткой в вазочке из венецианского стекла, стоявшей на этом столе.

"Mon effet est manqué!" досадливо пронеслось в голове графини:- "они, очевидно, оба умеют необыкновенно владеть собою и успели — она после вчерашней серенаты, он после того, что я сегодня говорила о ней (и в чему я говорила!), — приготовиться в возможной встрече не у меня, так в ином месте… Но они не даром сейчас так взглянули друг на друга! Я прочла в их глазах: ils se connaissent, ils se sont aimés и хотят скрыть этот бывший роман свой ото всего света"… И более чем когда-либо заговорило в ней желание "aller au fond de ce mystère, проникнуть в самую глубь тайны"…

— Monsieur Поспелов так добр, что соглашается давать уроки моему Никсу, сказала она громко.

Сусальцева, ни на кого не глядя, вынула восковую спичку из коробочки миланского изделия с раскрашенным изображением какой-то, сцены из Niccolo de'Lapi[31], закурила папироску и уронила медленно с губ:

— Еслиб у меня были дети, я бы их ранее десяти лет ровно ничему не учила.

— Ceci est de l'exagération, madame, заметил ей смеясь маркиз, который в свою очередь

наблюдал внимательно за нею и "réfugié russe", и точно так же, как и предмет его страсти, уловил "подозрительное" выражение обмененных ими в первую минуту взглядов. "La rossa ha forse raggion, рыжая (то-есть графиня Драхенберг) права, быть может, в своих предположениях", говорил он себе радостно в эту минуту, "и не обманывала меня, говоря о другой..."

— А вы не находите, продолжала между тем "кузина" все на том же французском языке, щурясь на Поспелова с каким-то иронически вызывающим выражением на лице,- что это раннее учение ни к чему в сущности ненужных вещей вызывается почти всегда гораздо более капризом маменек (des mamans), чем действительною потребностью детей?

"Это в мой огород; она, кажется, начинает ревновать меня", — и графиня с безсознательным вопросом на глазах повела ими на маркиза Каподимонте... Она прочла в его улыбке подтверждение своей догадке, и ей стало вдруг как-то необычайно весело...

"Змея"! думал в то же время эмигрант: "пользуется тем, что я ее тут при всех оборвать не могу, и подпускает свои шпильки"...

— Это зависят... начал было он громко, но вбежавший в эту минуту в комнату кудрявый и красивый мальчик, сын графини, избавил его от досадливой необходимости продолжать.

— I am ready, aunty, я готов, тетя! восклицал набегу Никс, кидаясь в Антонине Дмитриевне.

— Никс, поди сюда! кликнула его мать. И, оборачивая в себе спиной, она указала ему на сидевших против нея мущин:- Ты видишь ces messieurs? кланяйся!

Мальчик послушно шаркнул ножкой, протягивая рученку маркизу и, обернувшись тут же к матери, спросил робко и вполголоса:

— Who is this other gentleman, m'a (кто этот другой господин, мама)?

— Поди познакомься с monsieur Поспеловым, ласково толкнула она его вперед, — ты с ним будешь учиться писать порядочно по-русски... не так, как теперь ты пишешь, что мне даже стыдно за тебя...

Сусальцева поспешно поднялась со своего места и, прерывая ее:

— Однако нам пора, Никс, пароход сейчас пойдет...

— Mister Ward уже пошел туда и твой husband (муж) тоже, воскликнул мальчик и кинулся из комнаты, так и не познакомившись с "monsieur Поспеловым"...

Графиня поднялась в свою очередь проводить уходившую за ним "кузину" (она сгорала нетерпением "остаться с нею минутку наедине").

— Послушай, сказала она, как только очутились оне в соседней комнате, схватывая ее за руку, — ты должна мне все, все разсказать!..

— Что это "все"?

И "Топу" мгновенно нахмурилась, как небо в сентябре.

— Tu connais ce jenne homme... и ты... Ты в ссоре с ним теперь?...

— Откуда ты это взяла?

— Ты была с ним так неучтива сейчас!.. On n'est impertinente comme cela qu'avec un homme qu'on a aimé.

— Et avec ceux que l'on veut vous imposer! гневно отрезала Сусальцева, не глядя на нее и торопливо выходя в коридор.

Вернувшись опять на свое место в гостиной, графиня почувствовала себя вдруг как-бы неловко: она сознавала, что никакого теперь общаго разговора не могло установится между ею и двумя ея собеседниками, из которых один — нужно-ли называть маркиза? — очевидно все более и более тяготился присутствием другаго. Ей это ясно говорили его глаза, нетерпеливое покусывание им своих прекрасных усов, которые он нервным движением то-и-дело забирал как-то вниз нижнею губой…

Он и заговорил первый, с видимою целью выжить того, "другаго".

— Графиня, я ничего не говорил о ваших условиях à monsieur Pos-pelof, так как вы их мне не сообщали…

Она, вся покраснев, быстро прервала его:

— Oh, mon Dieu, это совершенно будет зависеть от monsieur Поспелова… Я заранее согласна на все…

— Я получал у Бортнянских 150 франков в месяц… на всем готовом, примолвил как бы нехотя молодой человек (ему, видимо, точно также было не приятно говорить об "условиях").

— Так мало! вскликнула графиня:- я не смею вам предложить ("une si jolie tournure et parlant si bien le franèais!" проносилось у нея в голове), — но мне кажется… ведь я бы желала, чтобы вы каждый день давали час урока Никсу… мне кажется, что по… по 10 франков за час… Напасть за границей на хорошаго русского преподавателя — это такая находка!… И вы мне сделаете удовольствие, не правда-ли? сказала она по-русски и как-то очень торопясь, — приходить кушать с нами: мы всегда и завтракаем, и обедаем, сын мой, mister Ward и я, одни чуть-чуть подчеркнула она, — здесь, в моем appartement…

Он как бы подозрительно глянул на нее изподлобья, помолчал и по минутном размышлении:

— Это, пожалуй, все вместе гонорар и чрезмерный составит… не соответствующий настоящей цене труда… А впрочем, как вам угодно, сказал он чрез миг под набегом какой-то новой мысли, — я согласен.

Он прищурился и повел взглядом в сторону. Она в свою очередь словно конфузливо опустила глаза… Наступила минута молчания.

— Я позволю себе напомнить вам, графиня, заговорил опять маркиз (его опять начинала охватывать ревность), — что вы сегодня собирались ехать со мною смотреть портрет Cesare Borgia в Fondaco de'Turchi.[32]

— Ах, да!… но мы успеем! пролепетала она…

Поспелов тотчас поднялся с места со шляпой в руке:

— Когда же приходить на первый урок? спросил он обрывисто.

— Да завтра же… Непременно завтра, вскликнула она, и опять так же поспешно и по-русски: — а сегодня вечером приходите на музыку, на площадь Святаго Марка; я там буду… Мне так бы хотелось поговорить с вами… о Никсе,- но теперь неловко произнесла она веско, намекая на присутствие третьяго лица и с оттенком дружеской доверчивости в тоне.

Тон этот, впрочем, насколько дано ей было прочесть на лице, не произвел никакого подкупающаго впечатления на "интересного эмигранта". Он все так же безучастно поглядел на нее, склонил голову, холодно пожал ея руку, еще холоднее притронулся к протянувшимся тут же к нему с торопливою любезностью пальцам маркиза и, не сказав ни да, ни нет на приглашение молодой женщины, медленно и молча вышел из комнаты.

Едва смолкли шаги его за дверью, графиня с каким-то строгим выражением в чертах повернулась всем телом к маркизу:

— Avez vous compris maintenant?

Он чуть-чуть усмехнулся:

— Relativement à madame Tony?.. Oui, il y a quelque chose. Mais quoi, то-есть, что именно? спросил он, напирая.

Графиня как бы жалостливо глянула ему в лицо, пожала плечом — и быстро поднялась с места:

— Ѣдемте в ваш Fondaco de'Turchi!..

V

— Ad augusta.
— Per augusta.
— Les morts nous servent.

V. Hugo. Hernani. Acte IV, же. III.

В Hôtel Bauer, куда прямо вернулся наш эмигрант от графини Драхенберг, дебелый, похожий на пивной котел и от пива и шнапса сизо-красного цвета Немец "Portier", постоянно относившийся свысока к "бедному чорту, armer Teufel", занимавшему самый скромный, тесный и мрачный нумер во всей гостинице, внушительно заявил ему, что его спрашивал "какой-то подозрительный малый чуть не в лохмотьях, ein liederlicher Kerl", изъясняющийся на каком-то "никому неведомом диалекте", и изъявлял желание ожидать его, des Herrn Pospelof, возвращения в его комнаты, но что он, "Portier", разумеется, в виду возложенной на него прямой обязанности "оберегать покой и имущественную целость высокоуважаемых господ (der hochgeächteten Herrschaften), в отеле "пребывающих", не пустил эту "сволочь (Lumpgesindel)" — несомненно-де "приходившую просить милостыни", — даже на лестницу подняться, вслед за чем тот просил, "насколько можно было понять aus seinem verworrenem Zwirne, из его путаницы", передать г. Поспелову, что ему очень нужно его видеть и что он будет ожидать его по близости, на площадке пред церковью San-Moise.

Поспелов, внезапно вспылив (он тотчас же догадался, кто его спрашивал), резко ответил на это, что к нему приходил не какой-то "Kerl", а добрый его приятель, и что он в свою очередь просит на будущее время, "пока только останется сам жить в этой немецкой трущобе", пускать это лицо к нему в нумер, "без дурацких умствований", во всякое время дня и ночи… И тут же,

заключив по разсвирепевшему мгновенно лицу Немца цербера, что на такую откровенную речь его тот отпустит ему немедленную реплику, нечто в роде того, что ты-мол такая же "сволочь" и "нищий", как твой приятель, он поспешил выйти из сеней и быстрыми шагами направился к San-Moise.

Он не ошибся: там, усевшись на верхней ступени маленькой пристани протекающаго мимо церкви канала, прямо насупротив дома, занимаемаго русским в Венеции консулом, ожидал его Волк, в своей помятой, с порванными полями шляпе и истасканных действительно до "лохмотьев" пальто и нижнем платье.

Он был страшно, в буквальном значении этого слова, дурен собою, с какими-то негритянскими, шлепающими губами) грубо мясистым носом, переломленным посредине вследствие падения в детстве, и зловеще выглядывавшими из-под низко нависших бровей узкими и хищными глазами (этим глазам своим и крупным, острым зубам, способным, казалось, перегрызть надвое за один раз самую твердую сапожную подошву, он и одолжен был своим прозвищем Волка). Роста он был невысокаго, плотно сложен: толстыя синия жилы, разбегавшияся по его огромным, коричневато-красным рукам, походили на веревки или на какое-то изображение сети речных притоков на географической карте большаго масштаба. Целая шапка мохнатых, жестких, как конские, и вспутанных волос спускалась ему почти на самые глаза… "Натолкнется на тебя в лесу баба, от страха помрет", подшучивали над этого наружностью его товарищи… Но он не последнюю роль играл между этими товарищами в общем их деле…

Он был неповоротлив и медлителен в своих движениях, и Поспелов тотчас же заключил о значительности того, что имел ему сообщить Волк, по той необычной ему поспешности, с которою тот поднялся на ноги, завидев его, и пошел в нему навстречу.

— Читать на здешнем языке можешь? было его первым словом. И, быстро вытащив из кармана смятый лист вышедшаго в тот же день нумера Gazetta di Venezia, ткнул пальцем на отдел телеграмм: — гляди тут, из Петербурга…

Поспелов италиянского языка не знал, но по сродству его с хорошо знакомым ему французским языком тотчас же разобрал и понял сообщавшееся здесь известие.

— "Сегодня, в 9 часов утра"… начал он переводить задрожавшим от волнения голосом…

— То-есть, вчера это, значит, пояснил скороговоркой Волк:- ихняго 16-го, нашего 4-го числа.

— "На прогулке, начальник русской политической полиции и генерал-адьютант Императора, Мезенцов, убит неизвестными людьми. Преступники успели скрыться"… Это наших дело! вскликнул тут же Поспелов с загоревшимися мгновенно глазами.

Волк не счел даже нужным ответить: он повел только на товарища не то торжествующим, не то презрительным взглядом: "какое же, мол, может быть в этом сомнение!"…

— "Ammazato", перечел Поспелов слово, корня которого он не находил во французском языке,- я, может быть, не так понял: он, может быть, только ранен — значит?…

— Убит, грозным тоном отрезал тот: — на пароходе моем механик сказывал, "killed" говорит, и даже рукой показал, как когда кого ножом… Killed слово я знаю.

— Удачнее еще, значит, чем с Треповым вышло, нервно засмеялся на это его собеседник.

— Известно, мужская рука; да еще если кинжалом…

— А как ты думаешь, чья? чья именно? Я полагаю, что…

— Полагаешь, так держи про себя! сердито прервал его Волк:- для дела безразлично.

Молодой человек моргнул несколько смущенно веками и промолвил уже как бы невольно:

— И ушли… "скрылись"… В белый день… Молодцы!..

— Не выдает никто… общественное сочувствие… Верочкин процесс показал, ронял медленно слова свои Волк в ответ с таким выражением на лице, что "все-то это тебе еще объяснять надо"…

— Да, кивнул утвердительно Поспелов, — особенно теперь, когда правительство так осрамило себя на этой войне… и в Берлине… Наступил самый настоящий момент активной борьбы… Ведь у них очевидно это теперь систематически организовано, по верхам пошли, намеченные: Трепов, теперь Мезенцов…

Безобразный рот Волка растянулся в широкую, зверскую усмешку (так должны ухмыляться шакалы, почуяв запах падали):

— По горлам всех пройтись надо, понятно! прошипел он сквозь стиснутые зубы.

Товарищ его видимо разгорался все сильнее в свою очередь.

— Ведь это открытое объявление войны! воскликнул он:- убийством этим социалистская молодежь смело кидает перчатку в лицо автократии… Наконец-то, наконец!… Он судорожно и радостно потирал себе руки. — И если она не сдастся теперь, так ведь и повыше достать можно…

Он оборвал вдруг и безсознательно обвел кругом себя глазами… Но все было тихо на безлюдной площади. Лишь старый бедняк, отставной гондольер[33], кормящийся чентезимами[34] от "buona mano", подачки господ, гондолы которых подтягивал он багром к пристани, дремал на ступеньках с этим своим багром в морщинистых руках, пригреваемый горячим солнцем, да издали с канала доносился от времени до времени тот протяжно гортанный, специально свойственный местным баркаиолам, крик, которым, во избежание столкновений, дают они о себе знать собратьям, пред заворотом в то или другое из безконечных колен водных протоков Венеции: "Тхе-е-у"!..

Волк молчал, тупо уставя глаза в грудь товарища; только мясистыя губы его подергивала та же усмешка хищного зверя, чующаго запах трупа…

— Ведь они там замышляют теперь, действуют, борятся, Волк, начал снова Поспелов, волнуясь, — а мы тут с тобою, безполезные, задыхаемся в бездействии!..

— Я сегодня вечером еду, коротко сказал тот.

— В Россию?…

— В Женеву. Справки, первое, навести нужно… а там само собою…

— И я с тобой. К чорту мою графиню с ея гонораром! вырвалось каким-то неудержимым и веселым взрывом у Поспелова.

Узенькие глаза Волка так и впились ему в лицо:

— Какая графиня?

— Мне тут опять кондиция выходит: мальчишку учить.

— Во! пропустил сквозь зубы тот:- Русские?

— Фамилия немецкая, только она Русская.

— "Она", кто это то-есть?

— Графиня эта, мальчишки мать.

— А муж?

— Мужа нет: она — вдова.

— Во! повторил как бы машинально Волк. — Молодая?

— На вид моложе меня кажет, улыбнулся почему-то невольно Поспелов, — а впрочем кто-жь их разберет, светских этих…

— Попал-то как к ней?

— А уж это у нея спроси! Отродясь и фамилии ея не слыхивал: Драхенбергь, петербургская… Не думал я, не гадал, является нынче утром в мой отель Итальянец какой-то, маркиз; велит просить меня в салон, что очень-мол ему нужно переговорить со мною… Ну вот, с этим самым предложением пришел, что одна-мол его знакомая, ваша, говорит, "компатриотка", ищет преподавателя русского языка для маленькаго сына и что он, узнав, что я в этом качестве приехал сюда с одним русским семейством…

— Ты и отправился? перебил его Волк.

— Повел он меня сам.

— Ну?

— Я и пошел за ним, засмеялся Поспелов озабоченному виду, с которым внимал ему товарищ.

— И порешили?

— Да… Ведь я еще не знал… что… молвил молодой человек, как бы оправдываясь.

Но собеседник его не дал ему продолжать:

— Кондиции как?

— И не ожидал даже! Сама по 10 франков за час урока предложила, а урок каждый день и кормежка от нея же.

— Ишь ты! вдумчиво пропустил Волк и чавкнул безсознательно челюстью, как бы вкушая инстинктивно всю ту сладость "кормежки", которая ожидала товарища за столом графини. — Богачка значит?

— По обстановке судя, и очень даже… Да и Итальянец этот, маркиз, намекнул как-то про это… Сам-то он, как я понял, виды на нее имеет, усмехнулся еще раз Поспелов.

— А молодой сам-то?

— Ну, нет! Молодится из последняго, видать, а на макушке-то уже редко и в бороде седью пробивает. Только шельма, видно, прожженая, эксплуататор…

— А ты не дозволь! нежданно проговорил Волк.

Поспелов с изумлением взглянул на него:

— Это как же?…

Тот в свою очередь повел на него прежним, пренебрежительным взглядом: "ничего-мол ты сам сообразить не в состоянии"…

— Дело-то кажись ясное, медленно протянул он;- аристократке этой аманта требуется, не из старья, а из свежатины, само-собой; денег на него жалеть она не будет, что хошь проси, только по вкусу придись…

Поспелов понял и весь вспыхнул:

— Что-жь это ты мне, воскликнул он с сердцем, — сойтись с женщиной из-за денег предлагаешь!…

— А хоша бы! грубым мужицким языком отрезал Волк. — Аль не нравится занятие?… А ведь баб-то, почитай, не мало на своем веку загубил, примолвил он, хихикнув. И в его прищурившихся в щелочку, с каким-то неумолимым выражением глаз можно было прочесть и решительный приказ Поспелову, и злорадное чувство торжества над человеком, которому Волк почитал себя в праве предлагать унизительную роль, и тайную зависть к этому молодому, красивому товарищу, которому такую роль можно было предложить.

Поспелов отвернулся от него и проговорил поспешно и досадливо:

— Я на свинство не пойду, и еду с тобою сегодня в Женеву, благо на проезд и жратву дорогой денег хватит, добавил ос, стараясь перейти на шутливый тон.

— Да ты что, чорт тебя подери, услышал он вдруг зашипевшую как у змеи речь Волка, — ты революционер, аль нет? Ты в свое удовольствие жить думаешь, аль нашему делу служить?

— Я оттого и хочу ехать с тобою, горячо возразил молодой человек, — что хочу служить ему…

Но Волк не слушал его:

— В нашем деле нет "свинства", кроме измены ему! говорил он грозно, и пена закипала в углах его безобразных губ:- что на пользу его, то и свято. Ты дворянский-то гонор свой в печку кинь, коли хочешь честным революционером быть! Все против врагов добро, все пригодно; какое в руках средство есть, тем и орудуй: подвохом-ли, насилием, страхом или лаской, все едино, — пока не настал час, когда передушит их всех до одного социальная революция!..

Это был какой-то дикий, бешеный порыв, полуискренний, полуразсчитанный на эффект, — один из тех, которыми угрюмый, тупо молчаливый по обыкновению Волк "билъи в известных случаях "наверняка" в той среде, к коей принадлежал он и где слыл за человека с "огромным

запасом воли" и большою "организаторскою способностью"; в эту свою "способность" прежде всех верил он сам... У Волка было самое настоящее "революционное прошлое": родом из мещан, он был студент Петровской академии в пору "Нечаевской истории", каким-то чудом не попал в число заведомых участников ея, принадлежал потом в кружкам Долгушина и Чайковского и в так называемом "Жихаревском" процессе имел честь очутиться в числе тех десяти избранных изо 193 призванных, которых "гуманнейшее" судилище отечественных сенаторов увидело себя, скрепя сердце, вынужденным сослать в Сибирь... Он был на несколько лет старее того, кто теперь назывался Поспеловым и которого он же, лет за пять назад, вовлек в "дело революции". Он привык издавна тешиться "рабским" подчинением ему, "вахлаку", как любил он называть себя с особаго рода гордостью, этого барчука-молодчика, и замеченное им теперь в нем какое-то "своеволие" взорвало его.

— Голубаго енарала устранили, продолжал он, — так у тебя и слюни потекли. Вот-мол поеду, сейчас и на мою долю выпадет героем себя показать... А если в тебе там вовсе и не нуждаются?.. Что ты тут знаешь, из Архангельских лесов вернувшись?.. Я сам в Россию теперь прямо не пру (Поспелова так и покоробило от этого "я сам", ясно указывавшего на разстояние, которое отделяло положение его от положения Волка в "революционной" иерархии), а еду добывать языка, что там и как: указание будет — отправлюсь. А так, зря, — он дернул плечом, — спасиба никто не скажет... В ловкачах недостатка у них нет (то-есть, "поболее тебя людей умелых", прочел опять Поспелов в глазных щелочках Волка), — уж чего желать лучше: в белый день, посередь столицы, ножом пропороли и ушли! — И голос Волка дрогнул от внутренняго чувства удовлетворения. — А что им средства нужны, подчеркнул он, — так ты этого, конечно, не разумеешь, а мне оно из самаго этого факта явствует. "Скрылись", сказано. Как скрылись? Не бегом же: городовые кинулись бы, захватили бы тут же... Значит, в экипаже, лошади добрыя, не у извощика взятыя, и не чьи-нибудь господские опять, — по ним тотчас бы на след напали. Лошади свои, значит, были, купленныя, и экипаж. На все на это денег не мало пошло... И если дальше, все более и более средств понадобится... Средства всегда для нашего дела нужны! вдруг оборвавши, махнул он рукой, как бы почитая безполезным излагать громко далее роившияся в голове его соображения;- понимаешь теперь?

Поспелов молчал: авторитетный тон, с которым обращался в нему Волк, одновременно и возмущал и как бы порабощал его внутренно.

— Понимаешь теперь, что от тебя требуется? веско повторил тот.

— Послушай, Волк, начал молодой человек, встряхнувшись, — ведь это же одна твоя фантазия! Из того, что барыня эта пригласила меня на уроки сыну, далеко еще не следует, что-б она... Он как бы застыдился договорить, и в то же время каким-то "лучом, просящимся во тьму"[35] пронесся в его памяти свежий облик графини Драхенберг с ея пышными губами, и под ухом его точно зазвучал ласковый голос, говоривший ему: "приходите вечером на площадь Святаго Марка; мне очень хочется переговорить с вами..."

— Приложи труд! На баб язык-то у тебя медовый, известно! цинически опять хихикнул Волк: — становаго дочку, что бежать-то тебе помогла, съумел окрутить ведь?

— Так там прежде всего дело убеждения было, поспешно возразил Поспелов: — я ее пред тем в нашу веру совсем обратить успел.

Глаза Волка так и запрыгали:

— А тут тебе кто-жь мешает! Бабы-то все на один лад, как если только добре примется ловкий молодчик... А тем тебе чести более будет, как если аристократка. Сам же ты, дворянский сын,

все эти барские выкрутасы проделывать можешь... Послушай, Володька, начал он вдруг горячим и как бы ласкательным тоном (голова его видимо работала над целым планом, мгновенно возникшим теперь в ней), — тут может для тебя дело большое выйти, выдвинуться в глазах всей партии можешь, крупное положение занять!.. Привлечь эту твою барыню к нашему делу, воспользоваться средствами ея, связями, — богатая штука! Ведь там на верхах-то тоже горючаго материала не мало: подожги лишь умеючи — вспыхнет!..

— Она мне сказала, что она очень "либеральна", как-то невольно вырвалось у Поспелова.

Волк презрительно подобрал свои огромныя губы:

— Ну, это мы "либеральство-то" ихнее знаем, — гроша медного не стоит, фарисейство поганое одно!.. А ты в настоящее ее введи, в самую суть, чтобы вняла она и прониклась....

— Время все же нужно было бы на это, раздумчиво молвил Поспелов, — а долго-ли она тут думает остаться — не известно... Да и оттерли бы, пожалуй...

— Кто это?

— Да мало-ли! неопределенно уронил он, и краска чуть-чуть выступила на его бледныя щеки. Он почему-то не счел нужным сообщать товарищу о г-же Сусальцевой, которую именно имел в виду, говоря о возможности быть "оттертым".

Тот повел на него подозрительным взглядом, но не счел нужным в свою очередь выразить громко то, что думал в эту минуту.

— Ну, твоя забота! quasi-равнодушно произнес он:- а только повторяю: большое дело может выйти, помни!..

— Так ты решительно не хочешь, что-б я с тобой ехал? воскликнул молодой человек.

— Сказано раз! как топором отрубил Волк:- урок тебе задан — орудуй!

Поспелов безмолвно приподнял плечи и опустился, как бы подшибленный этим разговором, на верхнюю ступеньку пристани, на которой дремал с багром своим в руке старик-гондольер... Но в душе его, рядом с оскорбительным сознанием нравственной подчиненности своей, журчало, как ручеек весной, что-то ему еще неясное, но тихо убаюкивающее, примешивавшееся к мысли о "заданном ему уроке"...

Волк поглядел сверху вниз на склонившегося как бы к ногам его товарища, и глаза его будто усмехнулись... "Хороший денек выдался" ему сегодня... Он чувствовал себя снова силой в той обычной ему области нелепо-злой и судорожной деятельности, из которой исторгла его ссылка и в которой возвращался он теперь при открывавшихся его "делу" новых, широких горизонтах. Пред ним в воображении развивался целый ряд "неслыханных", имевших поразить "весь мир" дерзостью своею, "предприятий", которым может, — должно будет", поправился он мысленно, — положить начало "великое событие" 4 августа в Петербурге. Он предвкушал вескость той роли, которая неминуемо должна будет пасть на его долю в этих "предприятиях", — и его животно-алчное самолюбие торжествовало заранее. Слепое покорство "барчука" служило ему теперь как бы мерилом того значения, какое примет он там, "на месте", среди коноводов "движения"... "Подвиг удивительный, безспорно", проносилось у него в голове, "миллионы людей содрогнутся от ужаса, прочтя сегодняшнюю телеграмму; но сам-то подвиг может быть, и даже более чем вероятно, — лишь изолированный факт, не истекающий из общей, ясно определенной и последовательной программы". А она-то именно и нужна, нужна

сильная, твердо сплоченная "организация"... "Но они — он их всех знает, — никогда не могли добиться ничего подобнаго". Он один, Волк, способен создать такую "органивацию" и встать во главе "всего"...

Размышления эти навели его на какое-то светлое — если только допустить, что оно могло быть у него, — настроение духа; он почти весело заговорил с товарищем:

— Ты на меня, Володька, полагаю, за поручение печаловаться не станешь; кормежка будет тебе сладкая, прочее занятие и того сладчай...

— Я не для этого вступал в партию! с новою досадой в голосе вскликнул белокурый эмигрант.

— Понадобишься на иное — вызовем! с покровительственным оттенком в тоне возразил ему Волк:- может, все потроха скоро потребуются; на то идет... Что удрал-то ты — наши в Женеве знают?

— Я еще из Вены Михайле и Вейсу писал; не отвечали.

— Может, и нет их там... А в Вене из наших кто?

— Полячек и Арончик... Арончик мне и место у этих Бортнянских сыскал, — а то чуть было с голоду совсем не околел...

Волк качнул головой:

— Отъешься теперь... Гляди-жь, орудуй, — большое дело!... Дней чрез пять жди письма. Может, шифром напишу, как если что особенное... Ключ помнишь?

— Старый?

— Известно... Инструкцию тебе пришлем... Ну, а теперь прощавай!

— Куда же ты?

Поспелов вскочил на ноги...

Но Волк, не отвечая, заворачивал уже за угол церкви.

Молодой человек недоумело глядел ему во след... "А на счет денег как, есть-ли у него? проносилось у него в голове: я бы мог ему дать, из последних, а там получить за уроки, хоть вперед, всегда можно... Так, ведь, нужны бы оне ему были, он бы просто сказал: "дай!" Проводить его поехать вечером разве?... А если он на это да еще грубостью мне ответит: "что за нежности, скажет, при нашей бедности!"... "Сильная натура!" как бы объяснил себе тут же Поспелов, — и тут же вздохнул каким-то безсознательным вздохом облегчения, увидав себя одного на площади вместе со стариком-гондольером, все так же сладко дремавшим на солнце со ржавым багром своим в руках...

VI

Над piazza di San-Marco — этим, по выражению Наполеона I, "салоном, которому одно солнце достойно служить люстрой," — сиял полный месяц светлей, чем дневное светило в полунощных странах. Бронзовые вулканы на Torre dell'Olorogio[36] прогудели молотами своими по колоколу десять часов, и за последним их ударом военный италиянский оркестр, только-что отыгравший, под гром рукоплесканий теснившейся кругом него толпы, какое-то увлекательное испанское

jaleo, собрав пульпеты и ноты и закинув за спину валторны и трубы, отправился вспять в свои казармы. мерно и гулко ударяя по мраморным плитам грубыми подошвами пехотных полуботинок[37]. Толпа разбрелась вслед за ними, и только величавая тень, падавшая от Campanile (колокольни св. Марка), чернела теперь на сплошной пелене лунного света, обливавшего площадь. Но под длинными аркадами обрамляющих ее "Старых" и "Новых" Прокураторий горели огни фонарей и ярко освещенных магазинов, сновали еще с остатками товара на лотках продавцы confetti (засахаренных плодов), набеленныя и нарумяненныя по самые волосы fioraie (торговки букетами) подносили с умильными улыбками свои розаны и гвоздики под нос прохожим, да охрипший уже до сипоты газетчик выкрикивал напоследях: "Tempo, signori, Tempo, Gapitano Fracassa, Messagiere, ben arrivati da Roma"[38].

Насупротив кафе-ресторана Quadro, наполовину под аркадами, наполовину выступив стульями на площадь, вокруг вынесенных туда двух-трех столиков с мраморными досками, расположилось общество, состоявшее из лиц, уже знакомых читателю, и некоторых других, которых мы поспешим ему представить.

Между графиней Драхенберг и г-жей Сусальцевой, составлявшими центр круга, с моноклем в правом глазу, в цилиндре на полулысой голове, уткнувшись безстрастным лицом в созерцание ботинки своей правой ноги, горизонтально вскинутой на левую, сидел одутлый и неказистый русский дипломат из "новейших", барон Кеммерер, только-что прибывший "на отдых" с Берлинского конгресса. Это был один из тех вечно скучающих и наводящих собою невыносимую скуку индивидуумов, которых, именно потому, должно быть, что они так скучны самим себе и другим, вы неизбежно встречаете повсюду, где люди собираются с целью по возможности весело провести время. В Париже, Стокгольме, Вене, куда ни кидала барона его служебная одиссея, он всюду производил впечатление "пудовика", но за то повсюду он всех знал и все его знали; нигде не бывало праздника, интимного вечера, детского бала, куда, словно под каким-то неизбежным гнетом обстоятельств, не сочли бы необходимым пригласить в числе первых барона Кеммерера... Он приехал лишь сегодня утром, но успел уже отыскать в Венеции и посетить с полдюжины знакомых, в том числе графиню Драхенберг, которая собиралась в эту минуту отправиться en pique-nique отобедать со своим обществом у Quadro и таким образом как бы вынуждена была пригласить и новоприезжаго соотечественника (они после обеда все тут и остались, по-италиянски, предаваться на чистом воздухе dolce far niente).

Совершенную противоположность ему представлял сидевший против Сусальцевой у столика за кружкой лимонной воды, из которой он то-и-дело отпивал глотки в пылу разговора, крепко сложенный барин, лет сорока восьми, с огненного цвета бородой лопатой, почти такого же цвета загорелым лицом под мягкою черною шляпой, которая в жару беседы сдвинулась ему на самый затылок, и с подвязанною широким черным платком левою рукой. Звали его князь Пужбольский[39]. Он участвовал в войне за Балканами, поступив в ряды глубокой армии тем же прапорщиком, каким вышел из нея по окончании Крымской кампании, был ранен под Плевной, пользовался в том госпитале Красного Креста, где одно время распоряжалась графиня Елена Александровна (он приходился ей каким-то родственником по отцу,) и, по заключении Сан-Стефанского договора, очутился опять в своей роли перелетной птицы, тем же старым и разореным холостяком, страстным любителем искусства и неисправимым болтутом и спорщиком. Он только часа два тому назад вернулся из Падуи, куда ездил специально "взглядывать еще раз (Пужбольский все так же плохо справлялся с глагольными формами родного языка,) на божественныя фрески Джотто в церкви Madonna dell'Arena", — и так неистово доказывал теперь маркизу Каподимонте, что из них Страшный суд писан самим великим maestro, а не "каким-нибудь ученичком его, Taddei Gaddi", как утверждал тот, будто дело шло в эту минуту о судьбе целой его жизни.

Маркиз в свою очередь вел прения несколько более нетерпеливо, чем это было в его привычках. Его внутренно глубоко раздражала "эта рыжая русская сирена" в ея вдовьих тканях, которая, казалось ему, "никогда еще не была так соблазнительна, как нынче, в эту светлую ночь, С ея озаренным луной, каким-то необычно радостным лицом"... Нет, он "положительно никогда еще не видел у нея такого лица"... И, "что она ни говори", он знает. откуда это лицо. Вот он сидит за нею — "ея эмигрант": он тут сейчас "бродил (andava vagando) у музыки, нисколько повидимому не намереваясь или даже не осмеливаясь подойти к их компании, но она следила за ним глазами, — он, Каподимонте, хорошо это видел, — и позвала его, не стесняясь, громко, с тою чертовскою развязностью, какою владеют все эти Русские (questa desinvoltura di tutti diavoli ch'hanno questi Russi), и посадила за собою на стул, и то-и-дело теперь оборачивается к нему с какими-то речами на их проклятом языке". "Per Dio, есть от чего с ума сойти"! восклицал внутренно маркиз, между тем как Пужбольский, завладев окончательно речью и, теми невероятными прыжками, которыми отличался его разговор, перескочив неожиданно от Джотто и Таддео Гадди к римским катакомбам, а от катакомб к Мамелюкам-Бахаритам, с каким-то страстным визгом в голосе доказывал в этот момент своему собеседнику "огромное влияние персидской культуры на искусство Египтян в царствование Псамметиха II и его наследников".

— Знаете что, ведь это очень скучно, ваш ученый диспут, messieurs, перебила его, не стесняясь, — "и на самом интересном месте", сказал он себе досадливо, — г-жа Сусальцева (он был только-что представлен ей графиней), поднося руку в лиловой перчатке в своему зевнувшему рту.

Неизбежный офицер Вермичелла, сидевший подле нея и которому разговор о Бахаритах и Псамметихе II казался тоже невыносимо скучным, с торжеством поглядел теперь на мужа красавицы, уместившегося за столиком рядом с ним:

— Gabbato il seccatore![40] фыркнул он чуть слышно ему на ухо.

Тот не понял слов, но доверчиво подмигнул и ущипнул, в знак сочувствия, приятеля своего за локоть так, что бедный Вермичелла чуть не взвизгнул.

Пужбольский хотел ответить чем-нибудь "колким", но не нашел, как всегда это бывало с ним в таких случаях, слегка смутился и только сдвинул нервным движением свою пуховую шляпу с затылка на самые глаза.

— Tempo, capitano Fracassa, ben arrivati da Roma! прохрипел над самою головой его проходивший мимо газетчик.

Он вздрогнул нервно от этого голоса, сердито обернулся, — но тут же, сунув два пальца в карман жилета, вытащил оттуда десять centesimi и протянул их продавцу.

— Второй день не знаю, что творится в мире, проговорил он, в виде объяснения, ни к кому не обращаясь особенно:- что говорит телеграф?

Он развернул нумер Tempo, нагнулся к столику, на котором горела свеча в стеклянном колпаке в виде тюльпана... и вдруг вскрикнул.

— Qu'est ce 'qu'il y a? вскрикнула в свою очередь испуганно графиня.

— Мезенцов убит! едва имел он силу выговорить...

— Seigneur mon Dieu!...

Все головы кругом невольным движением словно принагнуло к нему, как ветром колосья на ниве; все они теперь были бледны, как и он сам. Только на красивом, но глупом лице офицера Вермичеллы изображалось детское недоумение: "chè cosa (что такое)?"

— Как убит, что… Читайте, читайте текст! залепетали кругом словно чем-то сдавленные голоса.

Пужбольский прочел, переводя по-французски и комментируя уже с пылающими от негодования глазами:

— En plein jour, au centre de la capitale!…

И, вспомнив вдруг о том, что тут в их обществе и по соседству сидели иностранцы, завизжал на своем фантастическом русском языке:

— И эти негодяишки, ces misérables, успели скрываться, — им позволили скрываться, убегнуть… Тут не было, видать, ни полиции, никого… Это только у нас, dans la chère matouchka, возможны des choses pareilles!…

Быстрым и острым как молния, никем не замеченным в общей тревоге взглядом обменялись г-жа Сусальцева и сидевший за стулом графини "эмигрант". "Это ваша братия сотворила?" словно говорила она. — "А еслиб и так!" ответили ей мгновенно сверкнувшие глаза его.

— Как это их тут же народ в клочки не разнес! воскликнул в то же время Сусальцев, разводя своими огромными ручищами, словно сам собираясь "разнести" кого-то "в клочья".

Дипломат, скинув ногу с коленки и выпустив монокль из глаза, потянулся машинально к листку, лежавшему пред Пужбольским.

— C'est officiel? спросил он единственно по привычке к подобным вопросам, сам видимо сознавая, насколько это не имело смысла в данном случае.

— Да разве такия известия могут сочиниваться, напустился на него князь по-русски опять, — и разве вас удивляет, что у нас, dans la cara patria, все, все, mêm ces choses incroyables, все возможно…

— Pauvre Мезенцов, я так хорошо его знала! жалостливо, вздохнула графиня Драхенберг.

— Tué, mais pour quelle cause, за что убит он? заговорил маркиз Каподимонте:- личное мщение, как вы полагаете?

— E chè! чисто итальянскими возгласом и движением плеча запальчиво возразил Пужбольский, воззрясь в спрашивавшего, как будто намеревался вцепиться ему в глаза, — вы слышали, он был главный начальник русской политической полиции…

— Елена Александровна, вот приятная встреча! раздался неожиданно в эту минуту за спиной графини чей-то голос.

Она обернулась, подняв голову…

— Monseigneur! вскликнула она, поспешно вставая.

Дипломат вскочил со стула в свою очередь. Остальное общество как бы невольно последовало его примеру. Один Поспелов, безсознательно поднявшийся вслед за другими, тут же, с

вызывающим выражением на лице, опустился снова на свое место, — но этот подвиг гражданского мужества пропал безследно: его никто не заметил.

— Мы никак не ожидали вас так скоро, говорила тем временем графиня, горячо пожимая протянутую руку подошедшаго:- в газетах говорилось, что вы должны быть сюда 20-го, по нашему 8-го то-есть.

— Газеты лгут всегда, известно, засмеялся он, — впрочем я сам поспешил, хотел сюда скорее… Как хорош этот город, эта площадь! говорил он, обводя вокруг себя восхищенным взглядом. — Можно присесть к вам? спросил он графиню, опускаясь на близ стоявший порожний стул. — Вы согласны, господа? обернулся он с полуулыбкой в двум сопровождавшим его пожилым людям.

— Граф Тхоржинский, назвал он их молодой вдове, указывая на высокаго, бодраго, с румяным лицом и целым лесом серебристо-седых волос старика, который сразу одним щегольством поклона, отвешенного как-то одновременно всему сидевшему здесь обществу, отрекомендоваль себя всем вполне светским человеком: — генерал Троекуров…

— Мы знакомы с генералом, живо промолвила графиня, протягивая руку Троекурову и отвечая в то же время любезною улыбкой уст и глаз на поклон седаго графа. — Вы давно из Люцерна, или, может быть, с тех пор где-нибудь еще были?.. Et votre charmante enfant, mademoiselle Marie, она не с вами?

— Она поехала гулять в гондоле с одними знакомыми, коротко ответил Троекуров, опускаясь на стул, насупротив Пужбольского, старого своего знакомаго, которому молча протянул руку через стол. "Plus grinchu que jamais", сказала себе молодая женщина, взглянув на его сморщенный лоб и подтянутыя губы (он видимо не по своей охоте попал сюда).

— С целым пансионом дочерей и племянниц леди Динмор, с которым вот мы все приехали на одном поезде сегодня из Милана, прибавил веселым тоном. кивнув на своих спутников, тот, которого графиня Драхенберг назвала "monseigneur": — прелестнейший молодой цветник, в котором дочь генерала стоит действительно первым нумером.

— Elle est adorable! восторженно воскликнула графиня и, обернувшись тут же на своих:

— Monseigneur, permettez moi de vous présenter… Le prince Jean, молвила она скороговоркой, вспомнив вовремя, что большая часть ея компании не знает, кому намерена она ее представлять:- ma cousine Sousaltzef… née Bouinosof, поспешила она прибавить…

Князь Іоанн пристально взглянул на голубоокую барыню, которая, полувстав на миг, медленно склоняла, в ответ на его быстро учтивый поклон, свою прекрасную голову с какою-то очень изящно выходившею в своем ансамбле смесью почтительности, любезности и чего-то самоуверенного и вызывающаго на улыбавшемся лице?

— Не знаю, помните-ли вы меня, но я как теперь вас вижу, сказал он ей, как бы желая этим дать присутствующим обращик той специальной памяти на лица, которою владеют по большей части особы его положения: — на бале в английском посольстве, в Петербурге, зимой 1874 года, вы были вся в белом, с гирляндой сирени на голове,- цвета несколько более лилового, чем в природе, заметил он смеясь, и с такими же букетами на платье…

— А я могу вам сказать на это, немедленно возразила она, — что на этом же бале вы были в вашем гусарском мундире, который я так люблю.

— Et qui semble créé pour monseigneur! ввернул тут же с какою-то особенною, чисто польскою ловкостью льстиваго тона граф Тхоржинский.

— Но с тех пор вы как-то исчезли из Петербурга? продолжал князь Іоанн, видимо любуясь "точеным обликом" той, с которою говорил.

Графиня Драхенберг не дала ей ответить… Она ужасно радовалась успеху кузины и сочла нужным еще "подогреть" его:

— Да, она с тех пор переселилась в Париж, где всех с ума сводит, от Мак-Магона до Гамбетты, и совсем забыла о своем отечестве. Не правда-ли, monseigneur, ей непременно надо вернуться, и теперь же, зимой, приехать в Петербург?…

Князь Іоанн не успел ответить, так как в то же время радостно улыбавшаяся графиня встретилась взглядом со странно раскрывшимися и так и упершимися в нее глазами Прова Ефремовича Сусальцева, все еще стоявшего в рост у своего стула: "а меня, мол, что же думаешь ты представить, или нет?" — и она заторопилась заговорить опять:

— Monsieur Сусальцев… муж моей кузины, произнесла она с таким невольным оттенком в голосе, как будто в силу единственно этого его звания мужа она и находила нужным его называть.

Пров Ефремович быстро, по-военному, прищелкнул каблуками венских своих ботинок, наклоняясь в то же время всем корпусом вперед, в знак глубочайшаго своего почтения, — но лицо его было темнее тучи: он понял этот оттенок графини и вскипел сердцем…

А она, как бы во избежание могущаго завязаться за этим разговора между "monseigneur" и им, начала скорее представлять под ряд всех остальных сидевших в кружке ея лиц.

— Le marquis Capo di Monte, un grand ami a nous; monsieur Vermicella, officier de Tannée italienne…

Вермичелла вскочил, поднес правую руку к своей расшитой золотым галуном и шнуром фуражке и проговорил как на плацпараде:

— Luogotenente dello quattordecesimo regimento…[41].

Но графиня продолжала, не дав ему договорить:

— Князь Пужбольский…

— Старый знакомый! усмехнулся князь Іоанн. Вы поступили в армию опять, я слышал, и ранены были? спросил он его.

— Поступил и ранен был! пропищал фальцетом своим словно обиженно Пужбольский.

Графиня слегка испуганно взглянула на него — и тотчас же отвернулась:

— Барон Кеммерер…

— Здравствуйте, Кеммерер! закивал ему князь Іоанн:- вы откуда теперь?

— Из Берлина…

— А! на конференциях были?…

Тот только молча головой повел.

Оставался последний в кружке, ближе всех сидевший к графине, а следовательно и в высокому собеседнику ея, "эмигрант". В подвижных чертах молодой вдовы на миг сказалось колебание: "представить и его, или нет?"… Но она тотчас же осилила себя и, взглянув на молодаго человека с улыбкой, как бы говорившею ему: "ты ничего не бойся!" храбро произнесла:

— Monsieur Поспелов!…

Князь Іоанн чуть-чуть прищурился на незнакомое лицо — и любезно протянул ему руку…

Сусальцева глядела на них во все глаза. Поспелов чувствовал на себе этот взгляд — и с какою-то иронически победною улыбкой наклонился и пожал эту руку. Он потешался в душе в эту минуту…

Настало на миг молчание, которое тут же прервано было словами князя Іоанна:

— Вы сейчас, кажется, о чем-то очень горячо разсуждали, и я помешал вам продолжать?…

— Ах, мы действительно говорили о таком печальном предмете, вскликнула графиня: — ce pauvre Мезенцов… вы знаете?…

— Знаю! ответил он коротким кивком, и лицо его потемнело.

— Вам известны какия-нибудь подробности, monseigneur?

— Ровно никаких! живо возразил он: — узнал сегодня из газет, как все.

— Ужаснее всего, она понизила голос, — что это. кажется, политическое дело.

— Oh, on ne peut pas savoir, mo иеще не звестно, счел нужным перевести на ломаный русский язык граф Тхоржинский, приподымая плечи.

Пужбольский так и привскочил на своем стуле…

— C'est à dire qu'on ne peut pas en douter! визгнул он. И, вспомнив опять об "иностранцах, сидящих тут", которых он в эту минуту отправлял мысленно к чорту, продолжал по-русски:- но у нас, кажется, не хотят увидать (то-есть видеть), что делается, и закрывают глаза нарочно. Я, ровно месяц назад, был в Одессе, когда там был этот суд над нигилистами: Ковальским et consorts… Я чуть не плакал de rage et de honte. C'était… Это был стыд из стыдов! Все власти растерявались, les accusés плевали судьям в лицо, à la lettre, les grots mots летели в воздухе… на улице стреливали в солдат…

— Я его смолоду знаю, промолвил улыбаясь князь Іоанн на ухо графине Драхенберг:- все так же без толку горячится и нелепо говорит по-русски.

— Incorrigible! сказала она громко, смеясь и покачивая головой на Пужбольского…

Проходивший под аркадами в эту минуту высокий, здоровый, замечательно красивый человек, лет под сорок, со смуглым лицом и чрезвычайно энергичным, чтобы не сказать жестокосердым, выражением этого лица и черных, с каким-то красноватым отливом, глаз, остановился на миг неподалеку от нашего общества, увидел князя Іоанна и быстро направился

в нему, приподнимая шляпу в виде извинения пред находившимися тут дамами.

— Monseigneur, заговорил он на французском языке с заметным иностранным акцентом, — я ездил сегодня в Мурано[42] и, только вернувшись сейчас, узнал о вашем приезде, был у вас в отеле — и меня направили сюда… Мне так хотелось скорее увидать вас…

— И мне тоже, monseigneur, я очень рад вас видеть, молвил князь Іоанн, вставая и пожимая протянутую его руку.

— Si vous vouliez faire un tour avec moi, сказал тот:- мне многое хотелось бы вам сказать.

— С удовольствием…

Они взялись под руку.

— Я сейчас вернусь, шепнул, проходя мимо Троекурова, князь Іоанн.

— Il duca di Madrid, don Carlos[43], промолвил вполголоса Вермичелла, указывая кивком на удалявшегося с князем Іоанном смуглаго красавца, — oun (un) bien bel uomme (homme)!

Красавца впрочем почти все присутствовавшие уже знали в лицо, встречая каждый вечер под аркадами.

— Да, хорош! сказала как бы снисходительно г-жа Сусальцева.

— Зверски хорош! вскликнула графиня Драхенберг и чуть-чуть вздрогнула, вспомнив внезапно о своем "тигре".

— C'est le représentant des deux plus grands principes de la terre, громко и внушительно произнес граф Тхоржинский:- la religion et la légitimité.

— Un mauvais représentant! заметил на это усмехнувшись маркиз Каподимонте.

— Это потому, что он зверь, un fauve, как говорит ma cousine Drachenberg? напустился на него вдруг князь Пужбольский, — а я говорю, что таких надо ценить в наше дряблое время… А, Троекуров, правда? повернул он опять на русский язык: — я только и мечтаю видеть таких, des fauves, у нас во власти!

И, не ожидая ответа, продолжал, кипятясь все сильнее:

— Власть… власть, опирающаяся на… на население, поймал он как бы налету слово, — в восемдесять, — теперь даже может быть во сто миллионов людей, со всеми способами, орудиями в руках, — и дозволять убить своих fonctionnaires en plein jour, давать преступникам скрыться, не уметь справиться avec une horde de chenapans, с какими-то… козлами, которые смеют думать, что они могут (он опять не находил слова,)… могут пободать ее своими скверными рогами!…

Графиня, Сусальцева, сам Троекуров не могли не расхохотаться комизму этих слов и произношения, в соединении с тем гневным тоном, которым произносились они.

— Э, все равно! весь покраснев, вскликнул Пужбольский, махая рукой:- вы все хорошо понимаете, что я хотел говорить!…

— Виноват, я не понял, выдвигаясь из-за стула графиня Драхенберг, промолвил "эмигрант",

необычайно спокойным; видимо разсчитанным на эффект тоном.

Все, действительно, обернулись на него взглядом.

— Что вы не понимали, что? яростно взвизгнул Пужбольский.

— Вы сейчас сказали, что власть, опирающаяся на столько-то миллионов народа и имеющая в руках все средства делать все, что ей вздумается, не может справиться с какими-то несколькими "козлами", — вы так, кажется, выразились? — которые бодаются вместо того, чтобы послушно плясать по дудке ея пастухов...

— Ну да, я сказывал... Я это сказал, поправился пламенный князь.

— Но "справиться-то" с "козлами" все же эта власть желает, надобно полагать? вопросительно промолвил Поспелов.

— Ну, для чего вы это спрашиваете, что хотите вы доказывать? горячился тот:- résumez!...

— Если же она с ними не справляется, продолжал невозмутимо молодой человек, — значит, не может справиться.

— Как не может!... Власть в России не может!... Почему не может? разъяренно лопотал Пужбольский.

— Потому что органическая, существенная сила, которая могла бы пользоваться успешно теми материальными "орудиями", как вы говорите, что действительно находятся еще в руках этой власти, отошла уже, повидимому, от нея, объяснил Поспелов, стараясь выражаться тем "приличнее", чем несдержаннее были диалектические приемы его возражателя, и угадывая каким-то инстинктом сочувствие к своим словам, сказывавшееся на лице сидевшей к нему спиной графини Драхенберг, — потому что сама она чувствует себя несостоятельною со всех сторон.

— Милостивый государь, крикнул князь, судорожно вскинув голову, отчего шляпа очутилась у него опять на затылке,- я вас не знаю и... ("и знать не хочу", чуть не соскочило у него с языка,) вижу только, что вы принад... изволите принадлежат, иронически поправился он, — к так называемым "новым людям", которые не хотят знать ни истории, ни духа народности... и я с вами дальше дискютировать отказываюсь. Я вам только могу сказывать, что вся Россия...

— Россия, ухватываясь за это слово, не дал ему договорить эмигрант, и губы его сложились в язвительную улыбку, — которую за всю кровь ея народа, пролитую на Балканах, наградили Берлинским трактатом...

Пужбольского точно кто внезапно ведром холодной воды окатил. Он разом смолк, передернул еще раз свою шляпу с затылка на глаза и раскинул руками:

— Против этого я ничего не могу сказать!...

Графиня Драхенберг быстро обернулась со стулом своим прямо к молодому человеку, апплодируя ему кончиками пальцев:

— Браво, monsieur Поспелов, разбит Пужбольский, совсем разбит!...

Маркиз Каподимонте, болезненно следивший все время за выражением ея лица, весь

побледнел теперь и, обращаясь к Вермичелле:

— Caro mio, прошептал он ему скороговоркой по-италиянски, — пойдемте прогуляться: вы видите, что у них пошли тут какие-то свои, домашние разговоры…

Вермичелла растерянно и послушно поднялся за ним с места…

— Маркиз, дайте мне руку, вставая в свою очередь, сказала г-жа Сусальцева (злой огонь пробегал в ея аквамариновых глазах), — я пройтись хочу.

Муж ея, покусывая стриженые усы свои, угрюмо повел взглядом во след уходившим и тотчас же отвернулся. Он остался "слушать".

— Позвольте однако, заговорил как рыба молчавший до сих пор барон Кеммерер, заговорил, словно камни ворочал, ни на кого не глядя, а прищурившись правым глазом на кончик ботинки, вскинутой им опять на колено ноги своей, как будто искал в ней мотивов для своей аргументации, — эти жалобы на Берлинский трактат… которыя мне не раз уже приходилось слышать… и читать в патриотической… московской, разумеется, печати, подчеркнул он ироническим тоном, — мне кажутся не совсем основательными… Не мог же в самом деле ареопаг Европы, собравшийся в Берлине, пропустить… une chose aussi absurde, entre nous, договорил дипломат, окинув беглым взглядом внимавших ему и сообразив, что "можно говорить", так как оставалась одна "русская семья", — aussi absurde que le traité de San-Stefano!…

— Да какое нам дело до Европы, до вашего "ареопага"! На что нам было в Берлин итти! завопил на это еще бешенее прежняго князь Пужбольский;- тут не какия-то ваши политические комбинации… тут шел вопрос о вековой задаче России… В Константинополе, под звон колоколов святой Софии должны мы были решить его…

Барон Кеммерер, лениво усмехаясь, качнул головой с пренебрежительным видом человека, посвященного в высшия тайны, которому приходится объяснять азбуку малолетним:

— Надо было avant tout войти туда, уронил он словно с высоты башни.

— Pardieu! вздернул только плечами Пужбольский.

— И как же это: без пушек, без обоза, чуть не без сапог, с Австрией на фланге и английским флотом в Галлиполи?

Пужбольский ударил всею ладонью по мрамору столика, стоявшего пред ним:

— И ничего, ничего бы не помешало!.. Я был там сам, слышал, глядел… Des mirages, которые сейчас бы разсеевались, как только начальство поняло бы то, что понимал каждый маленький офицер, каждый солдат…. русской душой своей понимал. Не обозы, не "сапоги" решают дело в таких случаях, а дух войска, дух страны, которая поставляет его под ружье!.. За всю ту кровь, он кивнул на Поспелова, — "которая была пролита" на этой великодушной войне "за идею", мы должны, comprenez vous, должны были planter nos aigles, нашего двуглавого, sur les murs de Byzance и "ударить в колокол в Царь-Граде", как сказал admirablement pauvre feu Тютчев!..

Барон, сунув монокль свой под правую бровь, повел на горячившегося "оригинала" тоскливо скучающим взглядом: какая, мол, обуза объясняться с профанами!

— И к чему-жь бы это повело? спросил он сквозь зубы, ожидая какого-нибудь нового, "нелепаго

ответа, quelque réponse saugrenue", как выражался он мысленно.

Генерал Троекуров, безмолвно, с нервно-помаргивавшими глазами прислушивавшийся все время как бы разсеянно к этим спорам, поднялся в эту минуту со стула, собираясь итти навстречу завиденной им издали целой группе дам, переходившей площадь со стороны Новых Прокураторий, — и, предупреждая чаемый дипломатом ответ Пужбольского:

— Прежде всего, сказал он, приостанавливаясь на-ходу на миг, — к тому бы "повело", что не было бы поводов к тем выводам, которые мы имели случай слышать сейчас в разговоре (глаза его медлительно скользнули по лицу поднявшего голову слушать его эмигранта), ни к тем фактам, состоящим с ними в ближайшем родстве, обращик которых вы могли видеть в сегодняшней телеграмме из Петербурга.

И он прошел мимо.

— Oui, ils sont jolis les факты: оправдание Верочки et le reste! крикнул ему вслед одобрительным возгласом Пужбольский… Он повел кругом себя торжествующим взглядом. Сказанное Троекуровым, в его понятии, "резюмировало всю сущность прения и разрешало его"… И все, очевидно, говорил он себе, поняли это точно так же, как он Пужбольский: барон, опустив голову. словно разжевывал новую и не легко дававшуюся пониманию его мысль; Сусальцев утвердительно покачивал головой; графиня Драхенбергь недоумело вопрошала глазами молодаго — "новаго", как назвал его тот же Пужбольский, человека, которому она только-что апплодировала; "новый человек" в свою очередь морщился и кусал губы, видимо чем-то недовольный… Один граф Тхоржинский, сидевший в полутени позади дипломата, как-то странно улыбался, показалось нашему князю…

— Ах, папа, какое волшебство эта Венеция! раздался за ним в это время звучный молодой голос.

Он живо обернулся…

Ухватившись обеими руками за руку Троекурова, скользила беззвучно и гибко по плитам площади, словно ласточка над прудом, прелестная белокурая девушка, направляясь к аркадам, в обществе пяти или шести таких же юных и цветущих существ, как она сама. Это был "цветник" леди Данмор, возвращавшийся под водительством самой маменьки, высокой, внушительного вида и красноносой дамы, как подобает быть английской peeress, с ночной прогулки в гондоле, в занимаемые им покой в Hôtel San-Marco, помещающемся в том же здании Старых Прокураторий.

— Здравствуйте, моя прелестная! остановила девушку на проходе, поймав ее за руку, графиня.

— Ах, извините, я вас не видела, вскликнула та, отрываясь от руки отца и оборачиваясь всем сияющим лицом своим к молодой вдове,- здравствуйте… или, вернее, добрый вечер!.. Мы сейчас в гондоле до самаго Лидо доехали и назад. И такая прелесть эта Венеция, это море!..

— Good night, Mary dear, sleep well! залепетали в то же время прощавшияся с нею молодыя девицы, пока Троекуров учтиво раскланивался, благодаря леди Динмор за дочь.

— O, she's charming, она очаровательна, и так хорошо говорит по-английски! восклицала та в ответ:- надеюсь, что мы завтра соберемся опять вместе на экскурсию куда-нибудь.

— Непременно, непременно!..

Последовали рукожатия, поцелуи, смех, обмен каких-то раковин, найденных в компании на прибое волн в Лидо…

— Посидите немножко с нами, говорила графиня, когда "Mary" осталась одна с отцом.

— Поздно, она устала, ответил Троекуров, взяв опять дочь под руку.

— Вы уж домой собираетесь? раздался за ними голос князя Іоанна: — я предлагаю отвезти вас в моей гондоле, мы с вами в одном отеле.

С князем под руку шла г-жа Сусальцева, маневрировавшая пред тем так, чтобы встретиться с ним под аркадами в ту именно минуту, "quand il en aura assez разговора своего с дон-Карлосом". В разсчете она не ошиблась, и достигнутый ею новый "успех" сказывался в улыбке, чуть игравшей на ея холодных чертах.

— Всем пора домой, впрочем, двенадцать бьет.

И графиня Драхенберг внезапно поднялась с места. — Маркиз исчез? проговорила она как бы озадаченно про себя, оглядываясь кругом.

— Вы где стоите? спросил ее князь Іоанн.

— Вот с нею, указала графиня на "кузину", — у того же Даниелли, два шага отсюда.

— Так мы вас проводим… Вы знакомы с Марией Борисовной? обернулся он к своей даме, указывая смеющимися глазами на девушку.

— Mais certainement! поспешно вымолвила Сусальцева, протягивая ей руку, — а с генералом и давно, добавила она капризно "милым" тоном, — но он меня. никогда узнавать не хочет.

— Вы ошибаетесь, и Троекуров отвесил ей низкий поклон:- не узнавать вас нельзя, проговорил он загадочно, между тем как мгновенно похолодевшие пальцы его дочери едва ощутительно сжимали лиловую перчатку красивой барыни.

— Вы видите, сказал Сусальцевой смеясь князь Іоанн, — как умели быть любезно находчивы люди прошлаго поколения… Итак в путь, mesdames et messieurs!.. Граф Тхоржинский, я надеюсь еще увидеть вас как-нибудь в течение тех трех дней, которые разсчитываю провести здесь?

— Sans faute, monseigneur! ответил тот, низко кланяясь.

— Вы остаетесь только три дня здесь? словно воркнула г-жа Сусальцева под ухом князя Іоанна.

— Увы, только! весело подчеркнул он.

— А отсюда куда?

— Во Флоренцию думаю.

— Ах, как это хорошо! уже громко вскликнула она:- и я туда же сбираюсь.

"Без меня что-ль?" чуть не крикнул ей муж, за отсутствием друга своего Вермичелли, видевший себя теперь таким же одиноким и покинутым среди всей этой компании, как Робинзон на своем острове. И какая-то злая волна нахлестнула и сдавила ему грудь…

— Passez, monseigneur! говорила между тем графиня князю Іоанну, приглашая его движением руки пройти висред со своею дамой и, пропустив за ними Троекуровых, отца и дочь:- Барон, вашу руку! обернулась она к Кеммереру.

Пары двинулись.

Пужбольский побежал solo за ними.

— До свидания, monsieur Поспелов, сказала, приостанавливаясь на миг, молодая вдова сурово глядевшему на нее, показалось ей, эмигранту (он стоял недвижно, ухватясь рукой за спинку стула, с которого только-что поднялась она), и голос ея зазвучал для него какою-то неотразимою ласковостью, — я вас жду завтра, не правда-ли?.. К завтраку, в половине одиннадцатаго, добавила она уже шопотом, уходя под руку с Кеммерером.

Он чуть-чуть качнул головой в ответ, опустился снова на стул и вытащил из кармана пачку дрезденских папирос Лаферма.

Пров Ефремович Сусальцев повел на него неопределенным взглядом. "Не пригласить-ли этого, чорт его знает, кто он такой, выпить бутылочку холодненькаго?" проносилось у него в голове… Будь тут Вермичелла, он с ним теперь и не одну бы выпил… Ну, а с этим, "нет, не приходится!.." "И куда этот дьявол Итальянец девался?" спрашивал он себя, морщась и озираясь кругом:- "поди, ревнует тоже!" пропустил он, хихикнув, сквозь судорожно заскрипевшие вдруг зубы.

И как-то разом, вскинувшись весь, Пров Ефремович зашагал своею подрагивающею походкой в догонку удалявшихся пар по направлению Пиацетты.

VII

И путает, и вьется, и ползет,
Скользит из рук, шипит, грозит и жалит.
Змея, змея!…

Пушкин. (Борис Годунов.)

— Желаете огня? спросил Поспелова чей-то голос.

Он поднял глаза.

Граф Тхоржинский, оставшийся теперь один с ним, протягивал ему с любезною улыбкой на красивом старческом лице зажженную восковую спичку.

Молодой человек поблагодарил, наклоняясь к огню со своею папироской в губах.

— Вы очень спорите приятно, я с большим удовольствием слухал, проговорил тот, глядя на него смеющимися глазами, — чего не могу сказать про тех, кто вам оппонировал, прибавил он уже несколько презрительно.

— Да, с невольным самодовольством сказал Поспелов, — этот споривший со мною… князь, что-ли?… путаный какой-то… И тот, генерал…

— А так, так!… Баламуты москевской школы.

— Вы полагаете — славянофилы?

— А так… Патриоты российски, з их слов видно — все иеще в силу кнута верют.

Поспелов несколько недоумело глянул ему в лицо.

— А вы-жь слухали, объяснил веселым тоном Тхоржинский, — о власти Российского правительства, "о-пи-ра-ю-щейся" протянул граф старательно и трудно выговаривая слоги, — на 80 и даже на 100 миллионов жителей, и что она власть, может все затруднения, в которых теперь находится, кончать по-прежнему палкой.

Эмигрант презрительно приподнял плечи.

— Да, это старье из аристократов тешится и по сейчас еще подобными иллюзиями… Вы впрочем сами, спохватился он, как бы слегка извиняясь, — сами, кажется, титулованный…

Тхоржинский уже громко засмеялся.

— Я человек Европы, европейский человек, и с той стороны, vom andern Ufer, смотрю на Россию, а чрез то-жь само очень мне так понравилось слово, что вы сказали: "не-со-стоятельность", отчеканил он опять, напирая с особенным тщанием на букву о и понижая голос: — Забиение генерала Мезенцова доказывает действительно большую "несостоятельность" со стороны Российского правительства, как ни объяснять его будем, добавил он.

— А вы как его объясняете? с любопытством спросил Поспелов.

— А яжь ниц не кем… я ничего не знаю, поспешно поправился тот, вскидывая вверх плечами, — я только, что в газетах писано, то я и знаю… Как и вы, я думаю?

И живые глаза его так и вперились в лицо молодаго человека.

— Как и я, сказал тот с небрежною улыбкой.

— Un fait bien regrettable en tout cas! начал опять Тхоржинский. — Вы будьте так ласкавы позволить мне говорить по-французски? как бы извинился он:- я хотя и российский подданый есмь, хихикнул он слегка, — але всежь на вашем языке не могу объясняться свободно.

— Сделайте милость, я говорю по-французски…

Разговор продолжался на этом языке, на котором польский граф выражался с заметною изысканностью и щеголеватостью несколько стародавняго салонного пошиба.

— Прискорбный факт во всяком случае! повторил он, покачивая головой с озабоченным видом.

— Которому вы извинения не находите? с прорывавшеюся в голосе раздражительностью спросил эмигрант.

Собеседник его пожал плечами:,

— Я человек старых традиций и не могу допустить, чтобы дозволено было самопроизвольно убивать на улице беззащитных людей, каков бы ни был приводим к тому мотив.

Он приостановился на миг, раскурил сигару и продолжал; приискивая и отчеканивая слова, будто говорил с кафедры:

— Но я, с другой стороны, знаком с историей и знаю, что бывают эпохи… несчастныя эпохи (он

даже вздохнул). когда роковая сила обстоятельств выбивает, так сказать, целыя поколения из колей нравственного разумения, почерпаемаго нами в христианском учении. Это почти исключительно те эпохи, когда деспотизм властителей достигает точки, где народы — в лучших их представителях по крайней мере — не в состоянии более переносить его. Возмущение Спартака в древнем Риме, гёзы при герцоге Альбе, флибустьеры[44] в XVIII веке, греческие клефты и множество тому подобных примеров, — все это в разныя времена является все тем же живым протестом лучших людей того или другаго народа против тираннии…

— Ну конечно, само собою! закивал утвердительно Поспелов, очень обрадовавшись этому подбору исторических фактов, о которых никогда не приходилось ему слышать в "революционных дебатах" его партии.

— При этом, к сожалению, тем живым бы проповедническим тоном говорил граф Тхоржинский, — развивается почти всегда не в меру фанатизм идеи, доходящий до попрания всего, что до тех пор почиталось людьми святым, и заставляющий иногда лиц самых благородных, самых великодушных по природе прибегать к средствам, не только не гуманным, но и нередко совсем безчеловечным.

— Средства эти вызываются крайнею необходимостью, возразил молодой человек, — и винить в них следует не тех, кто принуждены ими пользоваться, а тот порядок вещей, который заставляет прибегать к ним.

Красивый старец загадочно усмехнулся на эту фантастическую аргументацию:

— Конечно, протянул он, но для меня остается еще весьма сомнительным… Не знаю, как для вас, — и он пытливо вскинул глаза на Поспелова:- назрел-ли протест против существующаго в России порядка настолько, чтобы в этом факте, с которого начали мы наш разговор (он кивнул подбородком на листок газеты, оставленный Пужбольским на столе), можно было действительно видеть дело народной, или, вернее выражаясь, общественной Немезиды…

Эмигрант не дал ему договорить:

— Оправдание Веры Засулич судом присяжных, горячо вскликнул он, — доказало, кажется, достаточно ясно, как относится русское общество к людям, жертвующим собою для освобождения его от деспотизма автократии, а следовательно и чего оно само желает.

Граф Тхоржинский утвердительно кивнул:

— Так было понято и в Европе — невероятное, надо сказать, по тамошним понятиям — оправдание этой русской Charlotte Corday, как назвал ее, кажется, Рошфор; но при этом однако…

Поспелов перебил его еще раз:

— Высшие сановники правительства публично, изо всех сил апплодировали вместе с прочими, когда присяжные вынесли свой приговор; чего вам еще больше!

— Знаю, каким-то ехидным смехом засмеялся Тхоржинский, — царедворцы Людовика XVI тоже апплодировали первым революционным речам в Jeu de paume… Вы знаете латинское изречение: Quem vult perdere dementat, тех Бог ослепляет, кого хочет погубить; в истории опять найдем мы не мало таких примеров: правительства стремятся быть либеральнее, чем этого желают сами их народы, и этим готовят себе пропасть… Не то-ли, быть может, происходит теперь и в России, — я не знаю (он приподнял плечи и еще раз вопросительно

взглянул на молодаго человека)... В Петербурге, действительно, и общество, и правительственныя сферы настроены, повидимому, весьма либерально; но в Москве — она ведь до сих пор почитается сердцем России, подчеркнул насмешливо граф, — в ея печати высказывается, кажется, против этого весьма сильная оппозиция?...

Поспелов гневным движением швырнул на площадь окурок своей папироски.

— Какой же порядочный человек обращает внимание на то, что говорит и печатает это московское мракобесие!...

Польский граф как бы недоверчиво повел плечом.

— Они однако опираются на сочувствие масс... не интеллигентных масс, конечно, прибавил он как бы в утешение своего слушателя.

— У нас эти массы — дубье, безыдейная толпа, не знающая, чего ей нужно и куда ей переть своею тупою головой! отозвался желчно молодой человек с каким-то, казалось, особенным, личным раздражением против этой "безыдейной толпы."

— А-а! протянул словно удивленно тот, — но, сколько мне известно, интеллигентная молодежь в России в своих освободительных попытках имела до сих пор в виду исключительно эти массы и их экономическое благополучие, другими словами, переворот на началах социализма. Разве это переменилось в последнее время, и движение, протянул он, — задалось другими целями?

Этот прямой, категорически поставленный ему вопрос смутил в первую минуту нашего эмигранта. Он не желал, — да и "не мог бы" в сущности, уколола его пронесшаяся при этом у него мысль, — отвечать на него положительно.

— Я этого не знаю! вырвалось у него досадливо.

Граф Тхоржинский прищурился, сбросил ногтем мизинца пепел своей сигары и, набравшись дыму, пустил его вверх тонкою струей...

— Вы были в Вене? уронил он лениво, с видом человека, спрашивающаго о чем-то первом попавшемся, чтобы спросить что-нибудь, и нисколько не интересующагося имеющим последовать ответом.

Но эмигрант как-то мгновенно почуял, что вопрос имел значение и цель.

— Бывал, неопределенно ответил он, зорко следя за выражением лица своего собеседника.

Но лицо это ровно ничего не говорило ему: оно куда-то глядело вверх по направлению церкви Святаго Марка...

— Давно? услышал он новый вопрос.

— Н-нет, не очень...

— Не знаете-ли вы там, спросил чрез миг все тем же ленивым тоном граф, — одного молодаго человека... по фамилии (он как будто старался ее припомнить)... Зюдервейн, кажется?

— Арончик... чуть не вырвалось у того, — Аарон Зюдервейн? спросил он громко.

— Его зовут "Аарон?" Я не знал... Он действительно по типу Еврей, но совершенно Русский по

языку, показалось мне… и по способности увлекаться, добавил красивый старец с улыбкой.

— Я там тоже Квицинского знаю, проговорил вдруг смело Поспелов, каким-то внезапным, внутренним откровением почуявший вдруг опять и готовый теперь побожиться в том, что говоривший с ним знал "всю подноготную" не только об "Арончике" и Квицинском (носившем в партии кличку "Полячка"), но и о нем самом, Поспелове, и о таких лицах, принадлежащих к партии, о которых сам Поспелов до сих пор не имел понятия.

— Квицинского, равнодушным тоном повторял между тем граф, — нет, я не знаю такого ("ты врешь, наверное врешь!" пронеслось тут же в голове эмигранта)… А с господином Зюдервейном имел удовольствие встретиться у одного моего венского знакомаго: он показался мне очень способным… хотя и с слишком горячею головой… Это вообще недостаток, сколько я мог заметить, нынешняго молодаго поколения.

— Вы находите? пробормотал Поспелов, не отрываясь от него любопытствующим и несколько тревожным взглядом.

Граф Тхоржинский принялся смеяться каким-то тихим и чрезвычайно благодушным смехом.

— Я питаю некоторую слабость к молодежи, признаюсь вам. Человек я одинокий, старый, давно простился с волнениями света и, "забыв его, забытый и им", по выражению Горация, — oblitusque eorum, obliviscendus et illis, проскандировал он даже с видимым самоуслаждением, — живу себе в стороне, ни во что не вмешиваясь и следя издали за тем, что происходит в мире, в роде старого моряка, знаете, давно отказавшегося от плаваний, но которого все тянет на берег глядеть на эволюции проходящих мимо кораблей. Из любопытства живу, можно сказать, — время теперь такое интересное… Das alte stürzt, как сказал Шиллер,

Es ändert sich die Zeit
Und neues Leben blüht ans den Ruinen,[45]

и вот эта именно молодая жизнь, победно прорастающая сквозь разваливающееся старое, имеет для меня, старика, неотразимую притягательность. Я предпочитаю общество молодежи всякому другому… и даже, скажу с гордостью, имел случай заметить, что не всегда наскучаю ей моим… И знаете, что я вам скажу, примолвил он полушопотом, словно собираясь сообщить какую-то тайну, — более всех нравится мне нынешняя русская молодежь…

Он поглядел на своего собеседника, словно ожидая от него выражения благодарности за проговоренное им, но тот не нашел ничего сказать на это, и граф Тхоржинский начал опять:

— Ее окрестили, да и сама она, кажется, гордится этим прозвищем, "нигилисткою", а между тем я не знаю натур, более безкорыстно, более самоотверженно идеальных в своих стремлениях, чем эти русские нигилисты… Оттого мне их так и жаль! совершенно нежданно для Поспелова заключил он.

— Чем же заслужили они это ваше сожаление? несколько обиженно спросил тот.

Граф Тхоржинский вздохнул опять:

— Потому, что знамя, под которым шли они до сих пор, должно привести лишь в полному краху надежд их вообще и с гибели каждаго из них в отдельности.

— "Знамя", то-есть, что вы под этим понимаете?

— Социальный переворот à tout prix и немедленно.

— Наша молодежь не может отказаться от принципов, которые восприняла она себе в плоть и кровь! с горячим эмфазом в голосе протестовал Поспелов.

— Для чего же "отказываться!" возразил граф медлительным тоном и снисходительно улыбаясь, — sed est modus in rébus, вы знаете; крепости не всегда штурмом берутся, их можно и обойти, и обложить: результат выходит тот же, но вы войско свое сберегли… А иллюзий мы себе делать не будем, войска-то у вас не много!…

И так веско и уверенно произнесены были эти слова, что молодой человек остался безгласен. Его даже будто и не удивило совсем, что этот совсем неведомый ему старик после нескольких минут разговора прямо уже говорил ему "вы", разумея под этим "войско нигилистов".

— Ваша деятельность, все также говорил граф между тем, — обречена на безплодие, пока вы остаетесь изолированною группой мечтателей-теориков, сеющею какие-то умозрительныя семена на пользу какого-то стада тупоголовых — вы сейчас сами, кажется, выразились так? — и неумевшею или пренебрегавшею до сих пор наметить себе ту ближайшую цель, достижение которой могло бы единственно обезпечить успех ваших жк планов социального преобразования в более или менее близком будущем.

— Ну да, знаю, промолвил свысока Поспелов, — парламентаризм, говорильню, где заседали бы всякие разжиревшие буржуа, плутократы и адвокаты-либералы на розовой воде!…

— Начала представительное и федеративное, строго и внушительно выговорил тот, — при которых все различныя народности, входящия в состав России, получили бы право свободно развиваться согласно своим особенным историческим и бытовым условиям, каждая отдельная личность нашла бы для себя недостающия ей теперь гарантии неприкосновенности индивидуальной и имущественной, а вы, благодаря полной свободе печати и ассоциаций, сопряженной с таким порядком вещей, возможность безпрепятственно, не боясь жандармов, распространять ваше учение и устною и печатною проповедью… во всех тех местностях вашей страны, где оказались бы люди расположенными принять его…

Что-то как бы невольно презрительное послышалось эмигранту в этих последних словах, но он не успел на этом остановиться…

— Вот что следовало написать на вашем знамени, и тогда вы увлекли бы за собою, так мне это по крайней мере кажется, со стороны глядя, невинным тоном вставил Тхоржинский, — не одних таких же, как вы сами, молодых идеалистов… Вы могли бы стать тогда действительно боевою силой прогрессивного движения в России; ея апатичная интеллигенция, видя в вас истинных представителей своих политических стремлений, должна была бы, volens nolens, оказать вам активную поддержку, между тем как теперь… (он приподнял плечи), ибо вы не должны обольщать себя, скажу вам откровенно, относительно рукоплесканий оправданию Засулич, ни тех, которыя, может быть, раздадутся, и тому, что было совершено вчера в Петербурге. Русское правительство, как вы прекрасно сказали, оказывается теперь не-со-сто-ятельно, проговорил он по-русски, расчленяя слоги опять, — и все рады, когда это тем или другим образом доказывается ему лишний раз; но сочувствий к вашей собственно программе едва-ли насчитаете вы много и в самой России, а тем паче в инородных, гораздо более цивилизованных, чем она, краях, подвластных ея державе… А это, кажется мне, могло бы быть совсем, совсем иначе, с какою-то намеренною тягучестью в тоне и словно в résumé всего выше им сказанного протянул польский граф, затягиваясь снова во всю грудь, — если-бы вы захотели быть более практичными!…

Поспелов молчал... Он чувствовал, что весь разговор этот был начат не даром, что в нем заключались какия-то указания, какия-то предложения, быть может весьма важныя для партии в эту минуту, которыя как бы ждали какого-то ответа... Но какого и на что именно ответа? Во всех этих речах не было в сущности ничего переходящаго за рамки "обыкновенной болтовни русских либеральных газет", но было что-то такое неуловимое, настоящее, "к чему у меня ключа нет", говорил себе молодой человек, и сознание своей невидной роли в партии заскребло у него опять досадливо на сердце, как утром в разговоре с Волком.

— Я полагаю, надумался он сказать наконец, — что русское движение (он не решился почему-то выговорить прямо "революционное",) готово будет войти в соглашение со всякою действительною силой для борьбы против общаго врага.

Граф Тхоржинский повел на него загадочным взглядом:

— Вы скоро думаете в Россию? спросил он прежним небрежным тоном.

Поспелову стало опять неловко...

— Мне придется еще некоторое время пробыть здесь, ответил он сквозь зубы.

— А - а!.. приятно проводите время в Италии, как бы насмешливо сказал тот.

— Я живу уроками, поспешил заявить молодой человек, морщась.

— Много их имеете здесь?

— Нет... пока один...

— У кого, смею спросить?

— У... у графини Драхенберг, слегка запнулся Поспелов.

— Которая тут сидела сейчас?.. Очень приятной наружности и любезная, сколько можно судить на первый взгляд, дама...

Молодой человек не отвечал...

Собеседник его слегка зевнул, оглянулся кругом.

— Однако мы с вами одни на всей площади остались; фонари даже потушили, засмеялся он, подымаясь с места и протягивая руку Поспелову:- с большим удовольствием провел с вами время, промолвил он уже (так показалось тому по крайней мере,) не то скучливым, не то пренебрежительным тоном.

— А сами вы долго думаете пробыть в этом городе? счел нужным спросить эмигрант в свою очередь как можно спокойнее.

— Не знаю... я еще не решил, с очевидною неохотой уронил в ответ ему граф Тхоржинский.

— Вы должны еще явиться к князю Іоанну? с каким-то ребяческим намерением уколоть его отпустил Поспелов.

— "Явиться"? повторил граф, и глаза его сверкнули. — Я не русский чиновник, а вольный дворянин... (Un gentilhomme indépendant).

И быстрым вольтом изменяя немедленно выражение своей физиономии, он продолжал, уже улыбаясь: — Я давно знаю князя Іоанна и посещаю его (je vais le voir), когда нахожусь с ним в одном городе, как многих других, таких же, как он, принцев, с которыми знаком в Европе; я люблю умных людей, даже когда они принцы, ввернул он несколько язвительно, — но не имею с ним никаких дел и ни чем с ним не связан… Я, повторяю вам, вольный гражданин (un libre citoyen) и ни от кого, как и ни от чего на свете, не завишу! заключил он, весьма заметно напирая на эти последния слова.

"Да", подумалось тут же нашему эмигранту: "тебя сам чорт на крючок не поймает!"

Красивый старец усмехнулся еще раз и, послав оконечностями пальцев нечто в роде поцелуя по адресу все еще не двигавшегося со своего стула Поспелова, зашагал, слегка посвистывая, бодрым и быстрым шагом по направлению hôtel San-Marco, в котором он занимал нумер рядом с "цветником леди Динмор", как выражался князь Іоанн.

VIII

У нас дома не здорово: таракан с печи упал.

Поговорка.

Другаго рода разговор происходил в это время на Riva dei Schiavoni, в покое, занимаемом в нижнем этаже Hôtel Danielli четою Сусальцевых.

Антонина Дмитриевна, простившись с сопровождавшею ее компанией (при сем положено было, что на следующий день "кузины" будут "делать князю Іоанну les honneurs de Venise", поедут с ним "повсюду" и возьмут с собою маркиза Каподимонте, так как "лучшаго чичероне князю конечно не найти", на что князь Іоанн со своей стороны изъявил полное свое согласие,), прошла к себе в комнату и собиралась, при помощи немой девочки, Варюшки, привезенной ею с собой из России и состоявшей у нея на положении "второй горничной" (первая была бойкая и ловкая Француженка, весьма расположенная к "фамилиарству", вследствие чего Сусальцева держала ее только "для больших оказий",), приступить к раздеванию, когда дверь из гостиной в эту комнату широко отворилась, и на пороге ея весьма нежданно для красивой барыни показался ея муж.

Он никогда до этой минуты (она приучила его к этому с первых же дней их брака и пребывания за границей,) не позволял себе входить к ней, не постучавшись предварительно в дверь и не дождавшис, пока она скажет: "entrez"! Что же такое произошло, что могло дать ему теперь повод "так забыться"? И полугневно, полутревожно она с места своего пред зеркалом смерила его взглядом от ног до головы:

— Что это за манеры? уронила она высокомерно, — разве так врываются в женскую спальню порядочные люди?

— Ну-с, насчет манер мы разсуждение отложим пока в сторону, резко выговорил на это Пров Ефремович, решительно входя в комнату, — а мне с вами потолковать требуется.

— О чем это?

— А вот-с услышите!

— И долго вы намерены "толковать"? язвительно спросила она:- я, предваряю вас, умираю, спать хочу.

— Повремените крошечку, авось и в живых останетесь, ответил он с видимым в свою очередь намерением иронии.

Он опустился в кресло неподалеку от ея туалетного стола, уложив руки на колена и опустив голову, как бы собираясь с мыслями.

— Варюшка, ступай! скучливым тоном молвила Антонина Дмитриевна девочке, переобувавшей ей в эту минуту ноги в спальныя атласныя mules, — я позвоню тебя, когда нужно будет.

Девочка приподняла от пола свое худенькое личико, обернулась на Сусальцева быстрым и вызывающим взглядом, медленно встала в рост и также медленно, озираясь подозрительно на-ходу, будто хищный зверек, вышла из комнаты.

— Я вас слушаю! произнесла вслед затем ея барыня, обращаясь к мужу с тем именно "величественным" оттенком интонации и головного движения, с каким на французской сцене королевы и принцессы говорят пред ожидаемым зрителями монологом перваго сюжета: "Je vous écoute, parlez!"

— Вы это как же, Антонина Дмитриевна, начал с-оника Сусальцев, — во Флоренцию собираетесь?

— Да… А что? с искренним удивлением спросила она.

— Ничего-с, хихикнул он: — удивительно только мне это маленько показалось, что вы так при всех твердо объявляете, а я… венчанный муж ваш… со всеми вместе впервой об этом узнаю…

Антонина Дмитриевна принялась смеяться.

— Прежде всего, не "впервой", потому, что еще в Люцерне, при вас, собираясь сюда, мы решили с Elly и маркизом, что поедем потом во Флоренцию и Рим. Во-вторых, мне очень хорошо известно, что вам совершенно все равно, куда ехать.

— Почему же это может быть вам так хорошо известно? А если даже, напротив того, я полагаю так, что не только во всякия Флоренции тащиться, а даже и совсем с заграничным вояжем покончить надо.

— С чего же это вы вздумали? испуганно воскликнула Сусальцева.

— А с того, очень просто, что если в нашем коммерческом деле на чужих полагаться, а самому, вместо призору хозяйского, одне денежки по чужим краям сыпать, — самым скоропостижным образом можно в трубу вылететь.

— Разве вы получили какия-нибудь нехорошия известия из России? с новою тревогой пролепетала она.

— Известия аль неизвестия — все равно-с, досадливо возразил Пров Ефремович. — Человеку на то мозги даны, чтобы сам разсуждение мог иметь: позабавились, мало не миллиончик франков в два года просвистали, — баста, клапан заткнуть пора!

Он, как бы намеренно и даже усиливаясь, выражался теперь чисто "купеческим" пошибом речи, от которого со времени женитьбы своей и в обществе благовоспитанных соотечественников, с коими почти исключительно, благодаря жене, водился в Париже, успел было совсем отвыкнуть; внутреннему раздражению его словно утешительнее было выливаться

в грубовато-энергическую форму выражения той среди, из которой вышел он…

— Вы, кажется, сами, колко заметила Антонина Дмитриевна на упрек, слышавшийся ей в этих словах мужа, — не мало потешились на потраченныя вами за то время деньги.

— Известно, хихикнул еще раз Пров Ефремович, — за науку в мои годы платить не дешево приходится.

— За какую науку?

И брови у нея сжались.

— А то как же-с! С князьями вашими и графами вожжаться уметь, под ручку с ними за панибрата но бульварам прогуливаться, без счету и отдачи им billets de mille[46] в виде якобы займа предоставлять, и все это благороднейшим манером, иронически подчеркнул он, — что-б и тебя за чистокровнейшаго жантильома принимали, — наука тоже не маленькая для нашего брата!…

Ее всю коробило от этого "хамского" тона, как говорила она себе внутренно…

— Не я, конечно, с едва сдерживаемым отвращением молвила она громко, — учила вас ссужать деньгами встречного и поперечнаго, а если вы, как говорите, выучились "держать себя" иначе… или умели прежде, так за это порядочный человек, веско подчеркнула она в свою очередь, — может быть только благодарен тем, кому он этим обязан.

Пров Ефремович слегка опешил: против этого возражать ему было нечего… А "сердце сорвать" все-таки на чем-нибудь нужно было… Он придрался к ея же словам:

— Как если "порядочный", так и с ним, полагаю, люди должны порядочно обращаться!

Она намеренно и продолжительно зевнула.

— Для чего и на каком основании говорите вы мне этот вздор? Какая вас муха укусила сегодня?

Его так и взорвало вдруг от этого пренебрежительного тона: щеки его раскраснелись, глаза запылали…

— А такая-с, воскликнул он резким голосом, — что, каков я ни есть, а на роль мужа певицы согласия моего не будет никогда!

— Это еще что такое "муж певицы"?

И глаза ея пытливо приковались в его лицу.

Но он, как бы с тем, чтобы не давать ей читать на этом лице, вспрянул с места и зашагал словно на пружинах по комнате с судорожным подрягиванием своих могучих рук и ног.

— Каков ни на есть, повторил он на-ходу, — а был я всегда, есмь и буду сам-человек… и чтобы меня в роде перваго дворецкаго при красавице-жене почитали — это дудки-с, этому никогда не бывать!.. Очень я хорошо понимаю, что при вашей наружности и воспитании каждому лестно состоять с вами в знакомстве… а только опять полагаю я так, что, находись вы… в обстановке… пониже не чем в какой находитесь теперь, число этих ваших ферлакуров и приятельниц из знатных сократилось бы не на малую толику…

— Что же, вспыхнула вся Антонина Дмитриевна, — вы желаете, кажется, уколоть меня тем, что взяли меня без состояния?..

Она усмехнулась злою усмешкой, вскинула слегка плечами вверх и проговорила как бы про себя:- Это меня впрочем не удивляет.

"Чего от тебя, мужика, и ждать иного", досказал себе за нее Пров Ефремович, и сам покраснел до волос, не то от обиды, не то от "совести".

— Никак я и ничем не намерен колоть вас, начал он, насколько мог мягче и приличным языком, — а желал только сказать, что в супружестве каждый свою долю приносит: один — одно, другой — другое. Зачем же пренебрегать-то одному другим... и самим вам, примерно, может-ли быт приятно, если вашего мужа, при вас же, ни во что ставить будут?

Сусальцева потянулась с папироской в руке к одной из свечей, зажженных на ея туалетном столе, и медленно заговорила:

— С первой минуты, когда вы так... безцеремонно ворвались ко мне, я поняла, что вы чем-то оскорбились... и даже именно чем... Князь Іоанн сейчас недостаточно был любезен с вами, — так?

Этот выраженный вслух чужими устами тайный мотив его раздражения, как всегда бывает в таких случаях, смутил Прова Ефремовича.

— Никаких "любезностей" мне его не нужно, пробормотал он досадливо, — ни брат он мне, ни сват, и в дружбу к нему не прошусь. Высоких особ, как он, не мало тоже перевидать успел, и Уэльского принца, и Голландского, и немецких всяких, и даже многих, как вам известно, в вашем салоне, у себя в доме, значит, в Париже, принимал. Так мне не невидаль такое лицо, и очень хорошо я понимаю, как себя с таким должно держать... И напрасно поэтому родственница ваша, графиня фон-Драхенберг, будто за стыд себе почла назвать меня ему, вырвалось у Сусальцева как бы против воли.

Жена его еще раз приподняла плечи:

— И все-таки представила вас, — чего-жь вам больше?

— Да-с, и так, будто фамилия моя ей губы жгла.

— Ах, Боже мой, вскрикнула с неудержимым глумлением Антонина Дмитриевна:- вы бы еще хоотели, что-б у нея фамилия Сусальцев медом истекла из уст?

Пров Ефремович широко раскрывшимися зрачками глянул в ея злобно сверкнувшие глаза и побледнел, как полотно... Он как-то разом, всем существом понял в этот миг, что эта женщина, его жена, ненавидела его...

При первом столкновении (он два года сряду, смутно предчувствуя это, тщательно избегал его,) это должно было обнаружиться. Она ненавидела его, его плебейскую фамилию, его "мужичество", и не была в силах преодолеть в себе этого чувства, — он это ясно увидал теперь... Мальчики запрыгали у него в глазах.

— Напрасно в таком случае, заговорил он, скрипя лихорадочно зубами, — решились вы такую зазорную фамилию на себя принять... напрасно!.. Вашей белой кости не мало теперича молодцов по миру шляется, могли бы любаго боярского или княжеского рода по себе

найтить, — в волостях даже писарями иные служат, с Юрьевым вашим по соседству крестьян сосут, доходы тоже порядочные, жить можно… А то вы ишь кого себе взяли, — нашего брата, сермягу серую…

Он чувствовал, что "еще немножко" — и он кинется на нее, изобьет ее в кровь, своими огромными "мужицкими" руками… Он сдержался, оборвал речь, передохнул. — Толковать с вами пространно об этом предмете, полагаю я, незачем. А скажу я вам просто, с чего начал, опять: оставаться за границей я не согласен и даю вам потому три дня сроку на сборы, а затем — не угодно-ли домой, в Россию?

— Не угодно! самым хладнокровным тоном молвила она на это.

— Чего-с? как бы не доверяя ушам своим, переспросил Сусальцев:- вам не угодно ехать со мною?

— Нет! повторила она тем же тоном.

— Так что же вы делать полагаете? уже несколько как-бы растерянно спросил он опять.

— Поеду во Флоренцию, как сказала.

— С чем это, позвольте узнать?

— Вы мне дадите денег, сколько нужно будет.

— Я дам!..

Он захохотал, словно давился: — с чего-жь это вы взяли?

Она повернула на него взглядом, выражавшим полнейшее удивление:

— Я не разведенная с вами жена; вы обязаны давать мне содержание соответственно вашему состоянию.

— Состояния моего никто не считал, закричал он с новым порывом гнева, — а содержание давать обязан жене муж, когда она с нмм, а не врозь живет.

— Я вас от себя не гоню, а ехать с вами не могу.

— Почему не можете?

— Мне вреден холод в России.

— Давно-ли это?

Она только засмеялась и закурила новую папироску.

— Ну-с, это как вы себе знаете, отрезал Пров Ефренович, чувствуя, как поднявшаяся кровь билась стремительно в его висках, — а только, если вам угодно оставаться за границей без меня, я вам гроша не дам.

— Не дадите добровольно — заставят! невозмутимо произнесла она в ответ.

— "Заставят"? едва был он в силах выговорить:- кто-жь это… и как… может заставить меня?..

— Очень просто: я подам просьбу, куда следует, что вы, при ваших средствах, из злобы на меня оставляете меня умирать с голоду.

— Вы… вы подадите?..

— Подам!

Сусальцев, не помня уже себя, ринулся на нее с места с высокоподнятыми кулаками…

Но он не успел еще добежать до нея, как она стояла в рост у стены. нажимая пуговку воздушного звонка, в силу продолжительности которого чуть-ли не весь отель должен был сбежаться сейчас в ея покой.

И в то же время из ближайшей комнаты выскочила очевидно все время подслушивавшая под дверью Варюшка и кинулась между барыней своею и ея мужем, готовая (он это видел,) вцепиться ему немедленно ногтями в лицо.

Пров Ефремович вздрогнул с головы до ног, плюнул во весь рот по адресу жены и бросился вон из комнаты…

Конец первой части.

Часть вторая

I

— Все тот же вы?
— Зачем меняться мне!

Горе от ума.

Владимиру Петровичу Ашанину уже перевалило за пятьдесят лет, но "безлошадное крыло времени", как говорилось встарь, коснулось лишь словно pro forma этого "баловня природы" с той поры когда мы впервые познакомились с ним, благосклонный читатель мой. В поредевшей довольно заметно шапке его волос начинали кое-где проглядывать серебряныя нити, но волосы эти все так же живописно кудрявились вокруг смуглаго, все еще свежаго чела и большие черные глаза горели все тем же юношески пылким, соблазняющим женщин огнем, как в те давно минувшие годы когда в полупрозрачной тьме майских ночей поджидал он Ольгу Акулину в аллеях Сицкаго. "Обломок старых поколений", он оставался неизменно верен традициям своего былаго дон-жуанства и, вопреки всяким "новым веяниям", пленял теперь демократок-дочек все теми же вкрадчиво дерзкими приемами обольщения какими в оны дни завоевывал сердца маменек "барынь". В свет он давно перестал ездить, да и какой же теперь "свет" в Москве? А в последнее время все часы остававшиеся у него свободными от занятий по театру проводил в Стрельне за Тверскою заставой, или в одном скромном домике на Патриарших прудах: очень уж полюбил Владимир Петрович цыганское пение за этот год…

Мы застаем его в настоящую минуту у себя дома, в его изящно убранной, холостой квартире в местности соседней с Большою Дмитровкой. Десять часов только-что пробило в его кабинете, отделявшемся от спальни большою ковровою занавесью. За нею, в спальне, происходит обычное здесь утреннее священнодействие. Дюжий русский парикмахер Федор, переименовавший себя "для репутации" во французского "Théophile, coiffeur", наводит красоту за своего клиента: бреет ему подбородок, подвивает усы а выливает на его расчесанную

волосок к волоску голову целый флакон eau athénienne… Но вот он кончил. Старый красавец, оглянув себя в последний раз в широкое туалетное зеркало у которого сидел, скинул с плечь пудермантель и, отпустив "Теофиля", направился в угол к висевшей там большой иконе Спасителя, пред которою теплилась неугасимая лампада, и стал благоговейно на молитву, обернувшись спиной к увенчанной гроздиями гологрудой вакханке, глядевшей пьяными глазами с противоположной стены… Тот же двойственный характер набожности и греховности носило а все остальное здесь: за столе пред зеркалом, между целою массой английских щеток, черепаховых гребней, ногтяных пилок и всяких иных принадлежностей тщательного туалета, гранатовыя четки лежали рядом с маленьким бледно-розовым башмачком, очевидно скинутым "на память" с ножки молоденькой балерины; перламутровые крестики из Іерусалима, финифтяные образки от киевских святынь висели над кроватью покрытой жемчужного цвета атласным одеялом, расшитым по краям гирляндой роз из справа и с огромным вензелем владельца его по средине, работа и подарок влюбленной мастерицы рукоделья. Запах лампадного масла пробивал сквозь своеобразный букет только-что откупоренной большой стклянка духов, содержавшей в себе какую-то смесь илан-иланга, ландыша и вервены, которую Ашанин приготовлял сам по изобретенному им особому рецепту… Во всем этом было что-то невольно говорившее о типах кавалеров давно исчезнувших времен когда религиозный энтузиазм и земныя страсти переплетались органически в какое-то одно, цветистое целое. Недаром прозывал Ашанина "un raffiné[47] du temps de la Saint-Barthélémy петербургский приятель его, князь Щенятев, большой зубоскал, острослов и неудачник…

В кабинете ждали хозяина похолодевший уже стакан чая и актер Ростиславщев, седовласый и добродушный мудрец, за потерей голоса перешедший без малейшаго неудовольствия с амплуа перваго тенора московской оперы за роли податчика писем и гостя в труппе Малаго Театра, совершенно довольный пятью рублями разовых которые получал за выход, благодаря особому предстательству за него Ашанина. Он, в изъявление благодарности и преданности Владимиру Петровичу, являлся к нему аккуратно каждый день в десять часов утра, присаживался к круглому столу за которым тот отпивал свой чай из стакана медленными глотками, дымя в интервалах из пенковой трубки, изображавшей нагую сирену с рыбьим хвостом; вынимал из стоявшего тут же футляра затасканныя от частаго употребления карты и принимался за пасьянс, за которым хозяин в свою очередь следил зоркими глазами. Разговоры между ними были коротки и относилась исключительно к их домашним, театральным делам. С первым ударом одиннадцати часов Ростиславцев также аккуратно вставал, раскланивался и отправлялся на репетицию. Не видя у себя утром за пасьянсом Ростиславцева Ашанин по всей вероятности удивился бы в такой же мере как еслиб ему сказали что воры прошедшею ночью похитили Царь-пушку из Кремля.

— Здравствуйте, Петр Михайлович, говорил он, выходя, омовенный телесно и духовно из спальни и садясь на свое плетеное кресло у стола;- что новаго?

— Три декорации разрешено написать для новаго балета, ответил тот, укладывая червонную даму на трефоваго короля.

— Вы почем знаете? быстро спросил Ашанин;- у нас официально ничего нет из Петербурга.

— Шрам, декоратор, письмо получил, встретил его сейчас идучи сюда; сам хотел к вам быть с этим, приятель у него там в конторе есть: вместо семи, пишет, декораций, на какия просят у вас в Москве разрешения, барон согласен на три, а представленную смету в десять тысяч изволил сократить на две с половиной.

— Я знал это, с какою-то словно торжествующею улыбкой проговорил на это Ашанин.

Ростиславцев поднял за него с изумлением глаза:

— Как так, ведь вы, говорите, ничего официально не получали?

— Я и не официально… Варвара Афанасьевна открыла, примолвил как бы таинственно старый красавец.

— Гадалка? в самом деле? давно это?.

И отставной тенор, смешав карты не вышедшаго пасьянса, принялся торопливо тасовать их, не отрываясь взглядом от своего собеседника, откровение которого видимо заинтересовало его.

— Вчера заезжал к ней пред театром… Есть тут одно обстоятельство безпокоющее меня, примолвил слегка морщась Ашанин.

— Насчет Зильбермана? участливо спросил Ростиславцев.

Тот махнул рукой:

— Я нем и думать забыл! Коли отсрочить не хочет, пусть подает ко взысканию… Пусть все они подают! Рано ли, поздно ли, один конец — опишут… Нет, я о другом…

Ростиславцев качнул головой: знаю-мол о чем.

— Так что жь вам Варвара-то Афанасьевна напророчила?

— Я вам говорю, просто удивительно что за дар прозрения у этой женщины! Глядит в гущу — она за кофейной гуще гадает — будто в зеркале все так и проходит пред ней… "У вас, говорит, много теперь забот всяких и безпокойства, только вы запрасно не тревожьтесь, потому все это должно к вашему удовольствию кончиться. Перво-наперво, говорит, женщина тут одна, с которою вы в близости состоите, брюнетка, девица она или из актерок, не знаю, а только не из вашего дворянского сословия показывает… И молодая она, из себя красивая и большую к вам преданность имеет." "Сколько времени, можете сказать, спрашиваю, состою я с этою женщиной в близости?" "В августе четыре года будет", отвечает. Именно так, как вам известно.

— Удивительно! вскликнул Ростиславцев, слегка даже переменяясь в лице под влиянием суеверного чувства.

Ашанин, с выражением подобного же суеверного благоговения в чертах и тоне голоса, продолжал:

— Вы, говорит, сами спервоначала очень любили эту женщину и привыкли, но теперь она вам в тягость, а вам совесть мешает кинуть ее и от этого самого вы себе покою не знаете. Только все это неожиданно для вас развяжется как нельзя лучше, так что вы сами удивитесь." "Как же это может развязаться?" спрашиваю я ее опять. "Очень просто: такой будет случай что она вас будет ожидать к себе по обещанию, а вы не приедете; она очень разсердится за это и сама пожелает разойтись с вами…"

— Что же, Владимир Петрович, воскликнул прерывая Ростиславцев, — если так, то действительно чего же лучше! С одной стороны Зильберманы всякие, а тут женщина на руках… Коли сама вас развяжет, благословляйте Создателя…

Старый Дон-Жуан усмехнулся:

— Погодите, я не досказал. Разрыв, как уже знаете, должен произойти из-за того что я не приеду к ней по обещанию, но главная тут причина "другая женщина"...

— Ну так! комически вздохнул отставной тенор.

— И это в связи с представлением моим в Петербург о декорациях для новаго балета.

Ростиславцев даже руками всплеснул:

— Что вы! все это она в гуще видит?

— "Показывает", повторяя выражение Варвары Афанасьевны, подтвердил Ашанин с полным убеждением в несомненности такого "показания" кофейной гущи. — "Вы, говорит, хлопочете на счет каких-то денег и будто как бы не для себя собственно, а в каком-то чужом интересе. Деньги эти вы получите, только не все, и узнаете об этом чрез одну молодую даму, а в скорости после того из-за самой этой дамы выйдет у вас ссора с вашим предметом."

— Что за притча! засмеялся Ростиславцев, — дама-то эта выходит — я; потому об отказе барона сообщено вам сейчас мною.

В кабинет в эту минуту донесся из передней звон колокольчика, и вслед за тем вошел в комнату дежурный капельдинер в придворной ливрее, с письмом и визитною карточкой в руке.

Анастасия Дмитриевна Ларина, прочел Ашанин на карточке, взглянул на письмо... "От Ошмянского", быстро выговорил он, взглянув на Ростиславцева, вскрыл поспешно конверт и обращаясь к дежурному:

— Попроси эту госпожу в гостиную! приказал он и принялся читать. Но едва пробежав первыя строки, он задрожавшею мгновенно рукой протянул письмо Ростиславцеву:

— Читайте: верно или нет видит Варвара Афанасьевна.

Письмо было из Петербурга от состоявшего в приятельских отношениях с Ашаниным секретаря всевластного в ту пору в театральном ведомстве лица и начиналось так:

"Пользуясь случаем отъезда подательницы, г-жи Лариной, которая сама изъяснит вам о предмете своих желаний и для которой, не сомневаюсь, вы сделаете все что от вас зависит, как и для всех кто только прибегает к вам, я со своей стороны считаю не безполезным известить вас, до получения вами формального о том извещения, что на последнее представление ваше о новых декорациях его высокопревосходительство..." Следовало буквальное повторение того что писал декоратору Шраму приятель его из той же канцелярия главного театрального управления.

— Удивительно! повторил спирающимся голосом отставной тенор, нервно дернув плечом.

Ашанин принимал очень горячо к сердцу все интересы театра, и скаредничанье барона, постоянно отказывавшего, в прямой ущерб действительных выгод дела, там где расходы на оное представлялись совершенно необходимыми, приводило его всегда в крайнее раздражение. Но в настоящем случае чувство досады сводилось у него на "нет" в виду того удовлетворения которое доставляло ему "поразительное" доказательство несомненного пророческого дара гадалки, в совещаниях с коею он проводил целые часы по несколько раз в неделю; он, чуть не ликуя, направился своими торопливо-мелкими шажками в гостиную, где его ожидала госпожа Ларина.

Это была еще весьма молодая, но с усталым, бледным и худым лицом особа, одетая в скромное, хорошо скроенное, шерстяное платье темного цвета и в такой же скромной, но свежей шляпке с полуопущенною вуалеткой, сквозь которую сквозили большие и прекрасные, сколько можно было судить, глаза.

— Не знаю, узнаете ли вы меня, Владимир Петрович? проговорила она, увидав его и подымаясь с турецкаго дивана роскошно расшитаго шелковыми узорами по красному сукну, как и вся остальная мебель этой парадной приемной пожилаго московского Дон-Жуана.

— Ах, Боже мой, конечно! воскликнул он, протягивая руку и дружески пожимая ея тонкие пальцы:- карточка ваша мне ничего не сказала; Лариной я никакой не знаю, но по голосу и лицу узнал вас с первой минуты… Вы замуж вышли вероятно с тех пор как я имел удовольствие видеть вас здесь — тому два года кажется? — на этом самом месте, примолвил Ашанин, с ласкательным оттенком в улыбке и тоне речи.

Она усмехнулась слегка:

— Нет, я все также не замужем; Ларина — мой театральный псевдоним… который я возобновляю теперь, примолвила она сквозь слезы.

— Возобновляете? повторил вопросительно Ашанин.

— Да, я целый год… я была за Дунаем во время войны, как бы застыдясь объяснила она.

— В Красном Кресте?… И вернулись оттуда целы и здравы? спросил он с живым участием.

— Нет, у меня был тиф… как у всех там, добавила она с новою легкою усмешкой, — но, как видите, жива… Я из Петербурга привезла вам письмо от господина Ошмянского, поспешила она переменить разговор.

— Какже, благодарю вас очень! Он мне пишет прося о моем содействии вам… Но в чем — вы сами мне должны объяснить, говорит он… Для этого мне рекомендации его не нужно, молвил улыбаясь Ашанин, — мы с ним старые знакомые и чрез посредство человека которого я ото всей душа люблю и уважаю, Бориса Васильевича Троекурова… Давно не было его в Москве, и я в последнее время не имею о нем никаких известий… А вы?

— Я слышала, он за границей с дочерью.

— Сами вы не были в его местах?

— Нет, я прямо из Болгарии проехала в Петербург с общиною сестер в которой состояла.

— Навидались вы там всяких ужасов, за Дунаем, воображаю, сказал Ашанин, все внимательнее вглядываясь в свою собеседницу.

— Да, подтвердила она, — но с тем вместе пришлось видеть столько самоотвержения, покорности, столько (она как бы искала выражения)… святых чувств что о темных сторонах забываешь… Нельзя не полюбить ото всей души русского простаго человека когда узнаешь его так как нам дано было узнать его теперь, пояснила девушка. В голосе ея слышалась трогательная нота; она приподняла вуалетку, и пред Ашаниным сверкнули как две звезды ея загоревшиеся глубокие карие глаза.

Он видел их тому два года эта глаза, это все так же как и теперь бледное и выразительное

лицо, но они в ту пору не произвели за него никакого впечатления. В настоящую же минуту он чувствовал что его "подмывает", как выражался он внутренно. "Из за этой женщины", по предсказанию Варвары Афанасьевны, должен был произойти у него разрыв с тою "фараонкой"[48] из Стрельны, которую "совесть не позволяла ему до сих пор покинут", и он глядел теперь за эту ниспосылаемую ему таинственною судьбой "избавительницу" с полною уже готовностью предоставить ей со своей стороны всякое право и основание споспешествовать его избавлению.

— Вы надолго теперь в Москву? поспешил он спросить в соответствие тому что роилось у него теперь в голове.

— Это будет отчасти от вас зависеть, отвечала она на это как бы не совсем уверенно.

— От меня? В таком случае вы отсюда никогда не уедете! воскликнул Ашанин, и лицо его, по давнишней привычке, приняло тотчас же то елейно вызывающее выражение, напоминавшее несколько заигрывание старой кокотки, которое до сих пор производило, как он знал, неотразимый эффект на женщин удостоиваемых им своего внимания.

Но девушка в ответ на это взглянула на него таким "невинно" удивленным взглядом что ему стало тут же совестно (ему припомнилось письмо от Бориса Васильевича Троекурова которое она привезла ему в первый раз и место в этом письме где говорилось о "полном уважении и участии коих достойна эта молодая особа"), и, опустив свои лукавые глаза, он продолжал уже надлежащим тоном:

— С Красным Крестом вы теперь покончили и думаете опять на сцену, так ли?

— Да.

— Имеете вы ангажемент куда-нибудь?

— Я бы могла, еслибы захотела, поступить опять в *** (Ларина назвала один из больших русских университетских городов): тамошний антрепренер очень просил меня об этом когда я собралась в сестры…

— Вы там большой успех имели, я знаю, перебил ее Ашанин: — вас видел один мой знакомый в Марии Стюарт и отзывался с восхищением о вашей игре.

Лицо Лариной заалело слабым румянцем: отзыв этот видимо вызывал в ней давно не испытанное ощущение радости.

— Тамошняя публика, действительно, была очень благосклонна ко мне, сказала она и как бы невольно добавила:- но положение провинциальной актрисы ужасно тяжело!…

— Не тяжелее все же, думаю, усмехнулся ея собеседник, — того креста который взялись вы нести в военном госпитале, среди умирающих и зараженных, при всевозможных лишениях и изнуряющем труде?

— Ах, как можно! вскликнула горячо недавняя сестра:- там о лишениях не думаешь, там рядом с трудом такое душевное спокойствие… такое удовлетворение, примолвила она, безсознательно подчеркивая;- знаешь что ты нужна, что ты истинному делу служишь и как в семье себя чувствуешь, среди братьев, все тебя любят, радуются тебе…

Она оборвала вдруг и отвела глаза в сторону, будто говоря себе: "к чему об этом

распространяться"! Ашанин качнул головой:

— В театральном быту приходится испытывать совершенно противоположное: не удовлетворение и братские чувства, а терзания и вражду… А все же вас опять туда тянет?

— Тянет, Владимир Петрович! вырвалось неудержимо из уст Настасьи Дмитриевны. И столько искренности и неожиданной наивной какой-то прелести сказалось в эту минуту во всей ея наружности что в вечно юной голове пожилаго красавца снова закопошилась мысль: а ведь по гаданию непогрешимой Варвары Афанасьевны выходит что никакая иная как эта "женщина" должна его вызволить из уз фараонки"…

— И еслибы вы нашли возможность, говорила она между тем, — исполнить теперь то на что давали вы мне некоторую надежду два года назад…

Он не дал ей договорить:

— Зависело бы это от меня, вы бы завтра приняты были в труппу Малаго Театра. Но мы здесь лишенныя всякаго значения пешки на шашешнице: слоны и ферязи орудующие нашим злополучным театральным делом сидят в Петербурге и будто единственно для того чтобы тормозить и придушивать все что может служит преуспеянию его… Вы не были там у барона Каниппера?

— Он меня не принял, и меня в его канцелярии направили к секретарю его, господину Ошмянскому.

— Который, в свою очередь, как они всегда там делают, направляет вас ко мне, зная наперед что станем мы отсюда просить о принятии вас в труппу, патрон его сочтет непременным своим долгом, в виду все того же соблюдения экономии, à tout prix, отказать вам в этом наотрез, желчно выговорил Ашанин, оборачиваясь машивально в то же время на входившего в эту минуту в комнату камердинера своего Максима, маленькаго, юркаго и сметливаго малаго, с птичьим лицом и плутоватым пошибом наружности слуг старинных французских комедий, — un Frontin digne de son maitre, как говорил про него все тот же князь Щенятев… Он быстро подошел к барину, сунул ему какое-то письмо в пальцы и по одной игре его физиономии Ашанин догадался кем оно было ему писано.

— Извините, проговорил он, поспешно вставая и подходя к окну прочесть письмо.

Оно содержало лишь несколько слов: "Два дня не видала. Если не можешь обедать, приезжай непременно сегодня вечером. Жду ответа".

— Кто принес? спросил вполголоса Дон-Жуан.

— Кухарка ихняя, ответил еле слышно Лепорелдо;- говорит, весь вчерашний день проплакали ожидамши вас.

— Хорошо, скажи что обедать не могу, а вечером буду… непременно, промолвил Ашанин, безсознательно повторяя подчеркнутое "фараонкою" в запаске слово. Но лицо его заметно омрачилось…

— Извините, повторил он, возвращаясь к своему месту против дивана на котором сидела его гостья.

— Не задерживаю ли я вас? проговорила она, — у вас дело, может-быть…

— Ах нет, пожалуста! вскликнул он, как-то вдруг страшно испугавшись что она "сейчас встанет и уйдет";- никакого у меня дела нет в эту минуту, кроме вашего, и я весь к вашим услугам.

— Что же мое дело, промолвила она печально, — когда я вижу из ваших слов что нет надежды...

— Надежды никогда терять не надо, усмехнулся он;- представление о вас мы во всяком случае сделать можем, а там быть-может и вывезет... У нас на драматические роли европейского репертуара исполнителей нет, а возобновить этот репертуар моя всегдашняя мечта... Ведь это просто позор: какой-нибудь антрепренер в губернском городе находит возможность поставить Марию Стюарт, например, а московская Императорская сцена не может этого сделать — сыграть некому!... Наш бытовой репертуар погубил у вас целое поколение актеров, воскликнул с горечью старый театральный энтузиаст;- воспитавшись на Любимах Торцевых да за Подхалюзнных — пойдти, подымись на высоту Гамлета или Валленштейна! Гениальный актер был покойный Пров Михайлович Садовский, а вздумал попробовать себя в Лире, срамота вышла... Школа, традиция, воспитательное значение театра — все это у нас сметено с лица сцены, хоть сначала начинай!... Да что об этом говорить! перебил он себя, проводя рукою по лбу, — не поможешь!.. Возвратимся к вам, это гораздо интереснее. Мы будем просить о вас отсюда, я уговорю это сделать нашего здешняго набольшаго; но вам следовало бы прежде самим заявить о себе...

— Дайте мне дебют! поспешила она сказать на это.

Он усмехнулся:

— Заставьте нас дать вам его поневоле, а не из милости.

— Я вас не понимаю, промолвила девушка, глядя за него с удивлением.

— Я вам открою одну из наших тайн, ответил он ей шутливо:- вот видите, начальство у нас терпеть не может печати, но вместе с тем страшно ее боится, и всякий невежда и оборвыш пишущий театральныя рецензии в газетах по две с половиною копейки за строчку представляется ему силой с которою следует не считаться... Интриганы знают это хорошо и проводят и поддерживают этим путем всякую бездарность и мерзость на сцене... Воспользуемся же этим орудием и мы в интересах хорошаго дела. Вам прежде всего надо было бы показать себя на частной сцене, в Артистическом Кружке, например, и в пиесе которая у вас не идет, — в той не хотя бы Марии Стюарт. Об успехах ваших в этой роли в *** было не раз уже говорено в газетах, и я не сомневаюсь что такой же успех вы будете иметь и здесь. В Артистический Кружок вы будете приглашены когда только захотите, — я берусь это устроить. А как только вы там сыграете, мы и пустим сейчас в ход "благодетельную гласность". Возьму я за бока одного знакомаго мне здешняго корреспондента петербургской газеты Призыв — она ведь там за Евангелие идет у лиц правительственных;- он про вас и протрубит в своем московском фельетоне, благо ему случай этим лишний выйдет выругать правительственное ведомство... Дрянь ведь, по правде вам сказать, весь этот люд невообразимая! презрительно засмеялся Ашанин:- сам он чиновник и рода и нрава чиновнического, и от казны норовит как бы побольше жалованья получить, а посмотрите чего он тут не настрочит — и про казенную монополию, и про чиновничий произвол в сфере искусства, и про гибель молодых талантов "вследствие печальных условий нашего общественного устройства" и так далее, и так далее... Нам-то все это на благо будет, оживленно договорил он:- я постараюсь повести дело так чтобы как раз вслед за его фельетоном пришло в Петербург ваше представление о принятии вас на драматические роли классического репертуара, и тогда является огромнейший шанс что зам не откажут из-за боязни чтобы дирекцию по поводу вас не выбранили еще раз в газете Призыв.

Настасья Дмитриевна тихо засмеялась.

— Для моего самолюбия пожалуй и не очень лестно из-за таких поводов добиться чести поступить на Императорскую сцену, но я самолюбию моему давно велела смолкнуть, промолвила она с полувздохом.

— Помилуйте, ему в этом случае и говорить нечего! поспешно вскликнул Ашанин:- без реклам, подкупа или устрашения ничего не добьешься в ваш век; все и вся поневоле должны подчиняться этому закону.

Из передней раздался опять звон колокольчика, и вслед за тем быстрыми шагами, не замечая или делая вид что не замечает разговаривавших в гостиной, прошел мимо их в кабинет декоратор Шрам, красивый малый и закулисный сердцеед Ашанинской школы, с какою-то папкой под мышкой.

Ларина поднялась с места:

— У вас дела, Владимир Петрович, я вас совсем заговорила… Когда же вы позволите мне зайти опять к вам узнать?..

У него еще раз пронеслось в голове о Варваре Афанасьевне и ея предсказаниях… Он поспешил ответить:

— Позвольте мне самому явиться к вам… Я надеюсь еще сегодня устроить дело о приглашении вас Артистическим Кружком… Я бы мог привезти вам вечером ответ. Можно?

— Очень вами буду благодарна… если не очень поздно, примолвила она, как бы несколько поколебавшись.

— Где вы остановились?

— У Харитония в Огородниках, дом Сретенской… Я там у старушки хозяйки живу, Лизавету Ивановну спросите, ее все там знают.

— Лизавета Ивановна, "андел мой"! вскликнул он смеясь, — да и я ее издавна знаю… Вы с нею чрез Александру Павловну Троекурову познакомились?

— Нет, когда я два года тому назад покидала деревню чтоб ехать сюда, я встретилась в нашем городе с доктором Фирсовым, что живет у Троекуровых, — он лечил моего покойного отца и очень хороший человек;- он меня и направил с запиской к этой старушке, так как я… не знала где мне пристать в Москве, добавила девушка с некоторою запинкой, — а теперь я у нея опять остановилась.

— Божья душа! промолвил Ашанин, видимо тронутый. — Все та же она за всех раделица и богомолица?

— Все та же, подтвердила с такою же в свою очередь тронутою улыбкой Настасья Дмитриевна;- у нея ведь маленькое состояние после отца осталось, но оно у нея все на бедных ушло. Александра Павловна ей этот домик купила с полным хозяйством и взяла с нея слово сохранить все это в целости до смерти, а то она бы опять все раздала… Ноги теперь у нея слабы стали; бегать по больным и нуждающимся, как бывало прежде, ей уже тяжело становится, так она квартиру свою в странноприимный дом обратила. Вечно у вся какия то старушки недужныя живут, да дети сироты, которых она как-то удивительно всегда умеет пристраивать к

добрым людям… Мне там очень хорошо живется! вырвалось как бы помимо воли у девушки.

Ашанан пристально взглянул на нее своими большими черными глазами и вздохнул почему-то во всю грудь.

— Так я к вам и Лизавете Ивановне объявлюсь сегодня непременно, Настасья Дмитриевна, сказал он, — и надеюсь с добрыми вестями.

Он крепко пожал ей руку, проводил до передней, раскланялся с оттенком какой-то особой почтительности — и, Бог весть чем необыкновенно довольный, вернулся своими мелками шажками в кабинет, где Ростиславцев в ожидании его раскладывал уже третий пасьянс.

II

Mihi praeter omnes angulus ridet.

Horat.

Захочу, один в четырех каретах поеду.

Островский. Бедность не порок.

Это был один из тех, выросших как грибы после пожара Двенадцатаго Года, деревянных, оштукатуренных в позднейшее время, одноэтажных домиков, комнат в пять шесть, с мезонином в две "светелки", над скрипучею лестницей, каких еще не мало — и слава Богу! — осталось в Москве белокаменной;- один из тех домиков с крошечным садиком и цветничком под самыми окнами, где в комнатах вечно пахнет жженым кофе и геранью, и по чисто вымытому полу, от двери к двери, бежит дорожка из толстой парусины; на почетном месте в гостиной, чинно уставленной старинною красного дерева мебелью, висят литографированныя изображения императора Николая I-го или митрополита Филарета, оклеенныя черным бордюром по стеклу, да глядит с почерневшего полотна какой-нибудь дед секунд-майор в екатерининском мундире;- один из тех тишайших уголков в которых пришлаго, усталаго от жизненной битвы человека охватывает внезапно неотразимым ощущением мира и забытья…. "Так бы кажется и опочил здесь до второго пришествия", проносится у него на миг в голове. — "Если до этого не успеешь ты тут десять раз умереть со скуки", скептически договаривает он себе, вздыхая, минуту спустя…

Лизавета Ивановна Сретенская не скучала в своем "приюте", как называла она принадлежавший ей домик у Харитония в Огородниках. Она чувствовала себя в нем "как в Царствии Небесном" и смущалась порою лишь мыслью о том что "вот ей дано так много, а у другаго ни крова, ни хлеба", и что она этим "может соблазняет иного на зависть", а в Писании именно сказано чтобы не быть для ближняго предметом соблазна… Она очень боялась всегда "приступа" этой мысли, так как за нею постоянно следовал в мозгу маленькой особы прямой из нея вывод: "отдай все во имя Его", побудивший ее уже раз в молодости обратить себя добровольно в нищую. А отдать она не почитала себя теперь в праве, так как "андел" ея, Александра Павловна, "уготовав ей этот приют для мирного в старости жития и кончины", очень бы уже огорчилась еслиб она, Лизавета Ивановна, этим "пренебрегла"… "Андел Александра Павловна", к тому же, в не частыя побывки свои в Москве постоянно останавливалась у нея в этом домике (дом за Покровке, наследие Остроженков, оставался все также никогда Троекуровыми не обитаемым) с сыном своим Васей. — "Христовым избранником", как называла его Лизавета Ивановна, питавшая к мальчику какое-то восторженно благоговейное чувство вследствие одной особенности, о которой в свое время

узнает читатель... Она поэтому тщательно старалась не допускать себя "путаться мыслями за счет дома и прочаго", хотя бы и "спасенья себя ради".

Помещалась она сама "на верху", в одной из "светелок" мезонина с десятилетнею тщедушною девочкой, дочерью одной помершей знакомой ея просвирни, которую приютила она у себя, спасая сначала малютку от побоев вечно пьяного отца, а после его смерти и просто ради того что "куда же ей, пичужке Божией, деться-то"! На том же простом основании "скрипела" у нея второй год в соседней комнате древняя, бездомная и сирая "странница", Таисия Филипповна, "подобранная" ею в один большой праздничный ден в церкви, где она от изнеможения и духоты пала в толпе без чувств. "Не давать же ей помирать тут, андел мой, аль чтобы в участок ее стащили", объясняла по этому случаю Лизавета Ивановна, "а у меня в ту пору и светелка-то рядом с моею свободная стояла; я и попросила добрых людей снести ея сюда, благо от церкви-то до меня рукой подать; а ничего, отошла тут сейчас, а только в скорости потом ноги у нея отнялись... Так так вот и живет с того дня у меня, сердечная".... "Сердечная" стонала с утра до ночи, не то от боли в ногах, не то от скуки по прежней бродячей жизни и привередничала как малый ребенок, но как бы тем паче вызывала заботы и нежность своей хозяйки, "баловавшей ее неустанно чаем с "вареньицем" или "манною кашкой с сахарцем и корицей" из обильного запаса всяких сластей и деревенской провизии, которыя верная обычаям старины высылала "по первопутке" целыми возами Александра Павловна Троекурова из Всехсвятского старой своей приятельнице в Москву.

Внизу, в зальце, довольно пространной комнате с лепным карнизом, узенькими кисейными занавесями на окнах и небольшим количеством каких-то очень старинного фасона с резными спинками стульев, стояла узкою стороной к свету пара длинных пялец и такой же длинный липоваго дерева стол с гладкою, некрашеною поверхностью. Тут вечно шла та или другая работа "Бога для", как выражалась хозяйка. На столе кроились ризы для священников каких-то бедных деревенских приходов из "остаточков" парчи и "муаре", которыя добывала Лизавета Ивановна ото всяких своих доброхотов "купецкой нации", ситцевыя рубашки и платьица для той или другой "пичужки" из сирот. Вышивать в пяльцах воздухи или коврика под иконы, в четыре, иной раз в восемь рук, собирались по утрам девочки и взрослыя дочери всяких отставных чиновниц и офицерских вдов, соседок Лизаветы Ивановны, в среде которых пользовалась она огромною популярностью и уважением, хотя некоторыя из них и почитали нужным за глаза — от "духа века" не уйдешь и у Харитония в Огородниках — относиться о ней как о "совсем без развития и даже в некотором роде юродивой особе"... По обеим сторонам зальца расположены были две выходившие за улицу комнаты, из которых одна, по правой стороне, с прилегавшею к ней коморкой в виде алькова составляла "покой Александры Павловны". Сюда, "окроме как если кто из Всехсвятского", хозяйка никого никогда не пускала и самый ключ от двери в это отделение дома постоянно носила у себя в кармане. комната слева, уютно уставленная скромною, но покойною мебелью, занимаема была теперь Настасьею Дмитриевною Лариной. Подле нея, в небольшой столовой, собиралась в урочный час трапезовать вся сборная семья жилиц Лизаветы Ивановны; к ней же принадлежал еще двенадцатилетний гимназистик, сын одного дальняго родственника хозяйки, из духовного звания, порученный ей состоявшим на службе где-то в Рязанской губернии отцом, и которого она устроила в выходившей окном за двор, рядом со столовою, узенькой заставленной шкапами комнатке, служившей первоначально буфетною. "В тесноте люди живут и счастливы бывают, андел мой", говорила она ему как бы в виде утешения каждый раз как входила в его "дырочку" наблюсти держит ли он ее и себя "в чистоте"...

— С тетей тут господин какой-то вас дожидаются, говорил этот гимназистик, выбежав отворить дверь с улицы на звонок вернувшейся от Ашанина Настасьи Дмитриевны.

— Кто такой? машинально спросила она, быстро входя в сени.

— Не знаю, большущий такой, здоровый… И тетя его не знает. Он вас спрашивал, так она посылала меня сказать ему что вы обещались скоро быть, а потом и сама к нему сошла, объяснял мальчик, подымаясь за цыпочки чтобы снять ей с плеч тяжелый, омоченный только-что поливши дождем бурнус.

— Спасибо, Петя милый, вот ты какой дамский угодник! с ласковою улыбкой молвила она ему, сбрасывая калоши с ног;- а что же ты не в гимназии сам?

— Праздник большой сегодня, Покрова Богородицы, ответил он, словно с упреком, показалось ей, взглянув на нее;- мы с тетей только из церкви вернулись как этот приехал.

— Да, да, торопливо проговорила она, и как бы невольно домолвив:- я не успела быть в церкви, у меня дело было очень нужное, — прошла в зальце.

Там у рабочаго стола, посреди комнаты, сидел насупротив хозяйки дома человек которого она менее всего думала увидать здесь.

— Пров Ефремыч! вскликнула она, быстро направляясь к нему, — вы вернулись… давно?… А Тоня где же?

— Здравствуйте, сестрица, каким-то поразившим ее с перваго раза деланным тоном выговорил он в ответ, подымаясь с места и церемонно подходя ей к ручке. — Сестрица ваша Антонина Дмитриевна за границей продолжает пребывать, добавил он тут же с насилованною усмешкой.

У Лариной ёкнуло сердце от какого-то дурного предчувствия…

— Лизавета Ивановна, голубушка, здравствуйте, мы с вами еще не видались сегодня, поспешно промолвила она, проходя к ней и целуясь с ней щека в щеку. — Шурин это мой, указала она на гостя, — сестры муж, Пров Ефремович Сусальцев.

— Знаю, андел мой, знаю, сказывали они мне. Чрез Николая Иваныча, золотаго моего, узнали что вы у меня стоите и приехали они вот, объяснила маленькая особа с оживленным выражением за своем сморщенном как печеное яблоко старческом личике.

Ей далеко еще шестидесяти лет не было, но, глядя на нее, невольно приходил в голову вопрос: "в чем у вся душа держится"? как говорят в народе. Эта ея вечно болевшая за все и всех душа словно спалила ея хрупкий физический организм и "держалась" в разрушенном тельце, действительно, словно лишь в силу каких-то еще неведомых науке физиологических законов; вся она была точно прозрачная, без кровинки под кожей, худая и хилая, как малый ребенок, по попрежнему бодрая и светлая духом, вечно озабоченная ближним и забывающая о себе, никогда не жалуясь и каждаго утешая, — утешая тем именно донимающим душу словом что извлекает воду живую из камня безчувственнаго…

— Вот вы с братцем и поговорите, андел мой, поговорите по душе, лепетала она с болезненным напряжением в чертах, опираясь обеими руками о стол чтобы приподняться со своего места, — а мне еще к отцу Павлу надо, к благочинному, насчет дьячихи-вдовы попросить…

— Как же это вы пойдете, милая. Дождь как из ведра льет, заботливо заметила ей Настасья Дмитриевна, — и ноги у вас слабы так…

— И ничего, поплетусь помаленьку — дойду; недалечко ведь, за проулок сейчас и к крылечку его выйдешь… Коли нужно — Бог завсегда силы даст; это вы без сумления будьте, андел мой… До приятного свидания, сударь, обернулась она на Сусальцева, — займите сестрицу словом

хорошим, утешным; не весела все она у нас, задумчивая… Известно, каждому крест нести дано, заключила она нежданно, пристально глянув ему в лицо, — и сердце знает горе души своей, в Притчах премудрого Царя Соломона сказано… До приятного свидания!…

И она тихо поплелась из комнаты.

Сусальцев проводил ее долгим взглядом:

— Почтеннейшая старушенция надо быть! как бы безсознательно вырвалось у него громко.

— Ее "Божьею душой" зовут, и совершенно справедливо, молвила Настасья Дмитриевна;- я не знаю как и благодарить Николая Ивановича Фирсова за то что дал он мне случай сойтись с нею… Вы чрез него узнали что я в Москве и здесь? поспешила она спросить.

— Чрез него; он мне письмо ваше к нему показывал.

— Так вы из наших сторон теперь, не прямо из-за границы?

— Я полтора месяца как оттуда вернулся, мрачно ответил Сусальцев.

— Из Парижа? спросила девушка как бы с тем лишь чтобы спросить что-нибудь: она чуяла что он приехал к ней недаром, не из какой-нибудь "родственной учтивости", а с чем-то что должно было принести с собою новую печаль ея давно приобыкшему к однем печалям сердцу и инстинктивно отдаляла момент когда это что-то сделается ей известным.

— Из Венеции прямым путем, ответил он на ея вопрос.

— Тоня там… осталась? спросила она опять слегка дрогнувшим голосом.

— Была там-с когда я уезжал, а теперь где — мне неизвестно.

"Вот оно"! пронеслось в мозгу Настасьи Дмитриевны, и губы ея побелели.

— Она вам не пишет? растерянно пробормотала она.

— Собственноручных строк своих не удостоивает, словно прошипел Сусальцевь, — вместо них за то на днях приятную цыдулку в виде банкирского перевода имел счастие получать.

Девушка недоумевая поглядела на него только.

— Я об Антонине Дмитриевне желал именно объясниться с вами, сестрица, начал через миг Пров Ефремович, укладывая могучия длани свои на колени, между тем как она устало опускалась на стул, только-что оставленный Лизаветой Ивановной;- я всегда почитал вас за вполне уважительную особу и смею надеяться что могу действительно поговорить с вами "по душе", как сказала отлично эта ваша почтенная хозяйка, с которою имел я сейчас удовольствие беседовать.

Он видимо старался говорить "красно" и "степенно".

— Конечно можете, тихо произнесла она.

Он опустил голову и, слегка вздохнув, поднял ее опять.

— Как если, заговорил он своеобычным оборотом, — были бы вы, сестрица, мужняя жена и от

этого своего мужа кроме ласки, уважения, и можно сказать, полного баловства ничего не видали с самаго дня замужества, почли ли бы вы что за это надо вам быть ему благодарной?

— Я полагаю... Да, конечно, я была бы ему за это благодарна, твердо выговорила девушка подумав.

— Так-с. А теперь, с другой стороны, если жена и этого (Пров Ефремович щелкнул ногтем большаго пальца о ноготь безыменнаго) не может найти сказать в упрек мужу, обязана ли она по закону и совести... по совести и закону, повторил он, — исполнить его требование когда он при этом имеет в виду единственно их, можно сказать, коллективный интерес?

— В чем же требование? спросила Настасья Дмитриевна, избегая прямаго ответа.

— Очень просто-с: за два года пребывания нашего с Антониной Дмитриевной, за границей, или так прямо сказать, с самаго перваго дня нашего брака, истратили мы до миллиончика франков, по нынешнему курсу за наши деньга около 400 тысяч серебра выходит. В два года, хорошо-с? А в делах у себя дома между тем полное, можно сказать, неглиже, чуть не до совершеннейшаго разстройства довели доверенные в мое отсутствие; я даже ужаснулся как приехал... И давно бы пора было мне, по истине сказать, расточению этому нашему конец положить, да все малодушествовал, знаете, к стыду моему признаюсь. Вижу, сестрица ваша, а моя супруга законная, так в эту жизнь веселую нашу втянулась что ни о чем другом и думать не желает, я так все и откладывал со дня за день объясниться с всю насчет этого... Наконец, вот в этой самой Венеции, объявляет она при мне чужим, со мною словом предварительно не обменявшась, что думает она за ними во Флоренцию ехать, — значит, опять в ту же волну должны мы попасть... Я тут оставшись с нею наедине и говорю ей что заместо этого нам окончательно до дому, в Россию требуется... Так вы что же думаете она мне за это?...

И глаза Сусальцева засверкали мгновенным, острым блеском.

— Тоня не захотела ехать? с тоскливою усмешкой и словно помимо воли ответила ему свояченица.

— В точку-с! вскликнул он, кривя судорожно губы:- "я, говорит, не поеду, а вы как знаете"... Пречудесно это, как находите?... Мало того-с!.. "Какже это вы не поедете," прямо говорю ей, "как если я вам денег не согласен буду давать за дальнейшее пребывание ваше за границей?" А она мне за это: "Дадите", говорит...

Слова слипались у него в горле. Воспоминание обиды с новою, жгучею силой рвало его за сердце.

— "Не захотите добровольно", говорит, прохрипел он через силу, — "так вас мол заставят дать"... Заставят, а!...

Он вскочил внезапно с места, красный как рак, потрясая сжатыми в кулак руками:

— И заставила ведь, действительно заставила! истерически захохотал он.

— Пров Ефремович, успокойтесь, ради Бога! вскликнула испуганно девушка.

Он как-то разом овладел собою, провел рукой по лицу, усмехнулся через силу:

— Извините меня, я действительно... от природы горяч маленько, много себе этим порчу даже, можно сказать... Только сами разсудите, сестрица, как например, к такому поступку отнестись:

20 числа прошлаго месяца получаю я чрез Ахенбаха и Колли трансферт по векселю в 25 тысяч франков, выданному госпожею Антониною Сусальцевой одному там в Венеции банкирскому дому, и предлагается мне при этом на волю платить по нем или нет, так как верность платежа обезпечена другою подписью.

— И вы заплатили?

Он нервно передернул плечами:

— Не заплатить было нельзя-с. У нас ведь тоже честь своя купеческая есть, фирмой своею дорожим… Разчет у Антонины Дмитриевны верный был. Деньги-то эти, 25 тысяч франков, не облыжно получила законная моя, Прова Ефремова Сусальцева, супруга; так как же это я могу допустить чтоб их кинула ей в подачку, с малости своей большой, какая-нибудь аристократка трех-этажная, графиня фон-дер-Драхенберг!

— Елена Александровна Драхенберг, вдова, которая была в Красном Кресте за Дунаем? вскликнула Настасья Дмитриевна.

— Та самая.

— Я у нея в госпитале была там…

— Родственница ведь она вам.

— Какая родственница? удивилась девушка.

— Этого уже объяснить я вам не могу, а только что оне с сестрицей вашею постоянно "кузинами" величались, и даже меня, иронически промолвил Сусальцев, — удостоивала барыня сия большая, в интимности, то-есть когда никого кругом не было чтоб ей этого стыдиться, меня удостоивала "кузеном" называть.

— Она светская, легкомысленная, но очень доброй души женщина, заметила Ларина.

— Чего уж добрее когда жене против законного мужа бунтовать помогает, под ея векселями поручительницей подписывается! Настоящая грандама, что говорить!…

— Я сестру мою в образе ея действий относительно вас нисколько не оправдываю, молвила Настасья Дмитриевна, — и графиня, конечно, гораздо лучше бы сделала еслибы близость свою с нею постаралась употребить на примирение ея с вами; но сама она слишком поверхностно относится и к своим и к чужим делам, а Тоня слишком самостоятельна и упорна чтоб из этого могло выйти что-либо сериозное. Раз же та решилась просить ее помочь ей, такая женщина как она, я совершенно понимаю, ни минуты не могла подумать ей отказать.

Пров Ефремович язвительно засмеялся, он видимо особенно зол был на графиню Драхенберг.

— Это действительно что она ни себе, эта другим ни в чем отказать не может. Денег у нея попросят — извольте; любезный ей потребуется — первый с улицы пожалуйте!

— Этого быть не может! горячо запротестовала девушка, вынесшая из отношений своих с молодою вдовой в Болгарии впечатление далеко не соответствовавшее подобному отзыву о ней.

— От вашей же сестрицы слышал, поспешил объяснить Сусальцев:- язычек-то у Антонины Дмитриевны изволите ведь звать какой! Нет, нет да и отпустит вдруг, как ножом пырнет.

Отыскала теперь эта графиня ваша молодца какого-то, мальчишке ея будто бы русский язык преподавать, а Антонина Дмитриевна по этому случаю так прямо мне про все и отрезала: "Новаго Альфонса, говорит, взяла себе из нигилистов"... А "Альфонс", знаете, — ездили мы с всю в Паршке на премьеру[49] этой самой пиесы Дюма-фиса смотреть, — насчет любовницы своей живущий человек значит.

— Видели вы этого учителя? с тревожным любопытством в глазах спросила девушка.

— Видел, какже. Ничего себе, молодой, белокурый, лицом недурен. Пред самым это моим отъездом, на площади Святаго Марка, вечер он с вами со всеми в компании провел. Был тут даже один из высокопоставленных особ, князь Іонан, так она, графиня-то представляла и его вместе с прочими: "Monsieur Поспелов", назвала его, и тот ему руку дал... мне не дал, хихикнул Пров Ефремович;- а ему дал, удостоил чести...

— И Тоня была тут с вами?

— Само собой.

— И говорила с ним?

— С кем это, с учителем? Дожидайтесь, какже! Антонина Дмитриевна с одними принцами да королевичами привыкла разговаривать, промолвил Сусальцев с какою-то странною смесью самодовольства и иронии в тоне;- этот самый князь Іоанн все ее тут под ручку водил... Станет она каким-нибудь Последовым, или как его там по настоящему зовут, заниматься!.. Она его, сказываю вам, "кузининым Альфонсом" зазывает...

— Ах, эта безсердечная Тоня! негодующим, едким кликом вырвалось на это у Настасьи Дмитриевны.

— Задача, действительно, сестрица ваша, Антонина Дмитриевна! подхватил Пров Ефремович, натолкнутый опять этими словами на главный предмет своей заботы;- нутро у нея каменное какое-то, справедливо изводили заметить... не пронять ее ничем!.. Только и меня ведь не легко доехать! вскрикнул он вдруг с новым взрывом, вскакивая с места;- раз удалась ей штука, а теперь шалишь, не подденеш!..

Он прошелся по комнате, судорожно потер рукою лоб, подошел к столу и сел опять.

— Вы ведь совершенно правильно пишете по французски, сестрица? озадачил он Ларину неожиданным вопросом.

— Да, а что? недоумело проговорила она.

— Просьбица у меня к вам покорнейшая: составить от моего имени письмо к этой вашей графине; я бы его переписал и послал к ней.

Настасья Дмитриевна невольно усмехнулась.

— Зачем же по-французски, разве не все равно вам его самому по-русски написать?

— Русское письмо она пожалуй и читать не станет: "деловое", скажет, и к управляющему своему в Петербург отошлет... Да та вообще, по-французски напишешь, гораздо внушительнее такой барыне покажется.

— В чем же должно заключаться это письмо?

— А вот в чем-с. Сказать требуется ей от меня что вот мол, получив к уплате выданный женою моей, за ея, графини Драхенберг, поручительством вексель банкиру такому то (он поспешно вытащил из кармана портфель, а из него уплаченный трансферт и передал его свояченице), я, единственно из уважения моего к ней, не желая вводить ее безполезно в убыток, решился оную уплату учинить, но так как (Сусальцев поднял при этом вверх указательный палец правой руки) жена моя, оставаясь за границей вопреки моему желанию, на дальнейшее такое баловство с моей стороны претендовать никак не в праве, то я и считаю долгом известить ее, графиню, что не намерен впредь ни гроша платить за Антонину Дмитриевну, и буде вздумается им опять на меня такой же трансферт послать, так я его возвращу ей обратно, пусть сама по поручательству за любезнейшую "кузину" и платит… А чтоб она, заключил Пров Ефремович с надменным выражением вскидывая голову, — а чтоб она меня за то скаредником обругать не могла, напишите ей что я в тот же час сумму равную той в какой ей вздумается поручиться за мою супругу отпишу в пожертвование на госпиталь, либо школу какую-нибудь… Пусть она, эта барыня трех-этажная, знает что мне, Прову Сусальцеву, на расход наплевать, а что только ей с моею Антониною Дмитриевной объегорить меня никогда не удастся… Никогда-с! повторил он во весь голос, ударяя своею могучею пятерней по столу, так что мирно покоившияся на нем катушки ниток, наперстки и ножницы вспрыгнули, зазвенели и покатались. — Извините-с! пробормотал он тут же, сконфуженно наклоняясь к полу подымать упавшее.

III

В тени таинственного храма
Учусь сквозь волны фимиама
Словам наставников внимать,
И, забывая гул народный,
Вверяясь доле благородной,
Могучим вздохом их дышать.

Фет.

Настасья Дмитриевна безмолвно слушала, неподвижно устремив глаза в какую-то точку на противоположной стене. Старая, знакомая тоска сжимала ей грудь. Эта "безсердечная" сестра ея, этот "нигилист", — она опять надрывалась сердцем, думая о них… "Им суждено было встретиться в чужом краю, и Тоня, без жалости к мученичествам, чрез которыя прошел он, имеет дух позорить его в глазах других!"… А он? Он, как оказывается, пристроился пока — и к такой милой женщине как эта графиня Елена Александровна, "которую, вспоминала девушка, все мы так любили там, в госпитале, за ея милоту душевную, искренность и горячность" — но надолго ли?.. Да и какой он учитель!.. "Графиня, конечно, светская, не глубокая женщина, но ведь и она это поймет с первых его педагогических приемов с ея ребенком… Или она в самом деле влюбилась в него? Он интересен, женщина может увлечься им… Но какая же действительно роль в таком случае предстоит ему в ея доме?" И Настасья Дмитриевна чувствовала как внезапный румянец выступил вслед за этою мыслью за ея бледных щеках…

Она знала что он успел бежать за границу… Он состоял в числе подсудимых в известном процессе ста девяноста трех.… Настасья Дмитриевна ездила нарочно в ту пору в Петербург, присутствовала при том судбище… Предреченное ей Троекуровым в бытность ея во Всехсвятском блистательно оправдалось теперь: защитники, прокуроры, судьи дружно вели дело к тому чтобы свести вину судимых на "нет…" Он был оправдав вместе со всеми почти остальными, но вскоре потом последовало административное распоряжение о водворении его на жительство в один из северных городов Вологодской губернии. Она виделась с ним пред

этим, предлагала сопутствовать ему в ссылку, поселиться с ним в этом городке, с тайною мыслью "помирить его с жизнью", утишить злобное раздражение его духа, но он наотрез отклонил ея предложение. "Я уйду оттуда, ты мне только помешать можешь", объявил он ей напрямик. С несказанною тревогой в сердце уехала она тогда в ***, куда, благодаря усиленному ходатайству о ней Ашанина у тамошняго антрепренера, получила ангажемент в его труппу на ничтожное жалованье — и вся погрузилась в свое искусство... Тяжелы были для вся первые шаги на театральных подмостках, ей суждено было пройти весь тот скорбный эволюционный путь, испить всю ту отравленную чашу что достаются в удел девяти десятым провинциальных лицедеев прежде чем успеют она завоевать себе "любовь публики", а с этим и известное материальное обезпечение. Что тайных слез пролила она в те дни, сидя над тою или другою пустою ролью в убогой и сырой квартире в две комнаты, которую внимала она от хозяев в самой глухой части города, сберегая деньги оставленныя ей графиней Лахвицкой, — для него же сберегая... "Он насилу, насилу согласился взять у меня из них несколько когда вышед из тюрьмы без гроша, — и Тоня решается такия мерзости говорить про него!" с новою горечью проносилось в ея мысли по этому поводу... Дебюты Лариной прошли с успехом, но ея тотчас же оттерла от настоящих ролей занимавшая первое женское амплуа в труппе "артистка" Флоразская-Ларапиниер, тридцативосьмилетняя очаровательница, пленявшая издавна сердца ***ских любителей драматургии. Красивая женщина и актриса "без игры", выражаясь техническим термином, она состояла в ближайших отношениях с известным всей провинциальной России "знаменитым первым сюжетом" — Славским, человеком, как и она, не лишенным таланта и нахалом неслыханным. Они вдвоем держали злополучного антрепренера под настоящим террором и самовластно распоряжалась судьбами остальных членов труппы (Славский, в виде "малой шутки", разказывал между прочим в местных салонах, куда известность его и бойкий французский язык давали ему доступ, будто он с содержателями театров заключал контракты не иначе как со включением в них специального пункта по которому ему предоставляется де право "поучать собственноручно своих собратьев по искусству"). Выбиться из-под этого гнета долго, мучительно долго, казалось невозможным Лариной — руки у нея падали... Одно нежданное обстоятельство выдвинуло ее вдруг.

Она выходила однажды из театра после утренней репетиции и натолкнулась на крыльце на одного бородатаго молодаго человека в круглой шляпе, по всем признакам студента, который видимо ждал ее тут; так как завидев ее тотчас же обратился к ней со словами:

— Госпожа Ларина, я бы желал переговорить с вами.

Она ужасно испугалась; разговор с молодым, незнакомым человеком здесь, на театральном подъезде, в минуту разъезда актеров, когда из этого могла выроста за кулисами целая сплетни...

— Извините, мне некогда, я спешу домой, торопливо пролепетала она, направляясь к стоявшему вблизи извощику.

Он пошел за всю:

— Вы, может-быть, думаете я по части ферлакурства намерен, так выкиньте это из головы, грубовато вымолвил он:- мне вам нечто передать требуется о близком вам человеке...

Он оглянулся кругом и прибавил:

— Здесь, пожалуй, действительно неудобно: я могу к вам отъявиться. Где вы живете?

Она сказала...

Чрез полчаса студент входил к ней в комнату.

Сердце у нея усиленно билось. "Близкий человек" мог быть никто иной как тот ссыльный, она это вперед звала. Что суждено ей узнать о нем?…

— Вам настоящая-то фамилия Буйносова, верно? спросил ее с оника студент.

— Верно.

— Настасья Дмитриевна?

— Да.

— Так вот что: поручено передать вам что Владимир Буйносов — Владимир Дмитриевич, брат ваш значит, — сосланный в город Вельск, благополучно удрал оттуда и находится в настоящее время за границей, в Вене.

— Удалось! вскрикнула она с радостным в первую минуту чувством;- от кого вы узнали?

Он зорко глянул ей в лицо.

— Вы из наших, или нет? подчеркнул он.

Она повяла и подняла на него глаза в свою очередь.

— Нет, твердо произнесла она.

— Странно! процедил он сквозь зубы и полупрезрительно, полунасмешливо примолвил:- Искусству для искусства служите в вашем театре, значит… Ну, в таком случае достаточно вам знать то о чем вам мною сообщено, и ничего более.

— Как он успел уйти оттуда? вырвалось у вся.

— И этого сказать вам не могу, потому не знаю. Я не тамошний, здешний, что приказано передать вам, то я и передал.

— Писать ему как, не научите ли меня? спросила она опять:- по почте нельзя ведь?

Студент разсмеялся:

— Еще бы! На чей адрес, перво-наперво, вы бы туда писали? Не по своему же волчьему паспорту он там живет, как полагаете!… Если вздумаете, добавил он подумав, — занесите письмо в швейцарскую университета на мое имя, Ивану Николаеву Коробкину, юристу второго курса, для передачи Владимиру Дмитриеву; я буду звать…

— Как же вы доставите?…

— Ну, это опять-таки вам знать не для чего… А только благонадежны будьте: по вашей почте дойдет, прибавил он с видимым самодовольством.

— Благодарю вас!…

— Не за что!

Он поднялся с места.

— Не роскошно жительствуете! молвил он оглядываясь;- ходу вам в театре не дают?...

Она невольно усмехнулась этой безцеремонности тона.

— Не дают, это правда, вздохнула она тут же.

— У Фиоринской рук не лижете, известное дело!... А у вас ничего, правда в игре есть... Вы только важность-то по боку; попростее знаете...

— "Важность"? повторила в изумлении Ларина:- в чем же это вы заметили у меня?

— А вот, например, я вас на-днях В чужом пиру похмелье видел. Вы кого изображать должны? Дочь бедного учителя, честную демократку, значит. А у вас нет, нет да и проглянет барышня с манерами... Это, говорю вам, по боку надо!... А впрочем, поощрительно заключил уходя студент, — узнав теперь чья вы сестра, мы положили вас поддерживать, можете разчитывать...

Обещание это оказалось не пустою фразой. С того дня в ***ском театре против общей до тех пор "любимицы публика Фиоринской-Ларапиниер" образовалась и быстро разрослась многочисленная, состоявшая преимущественно из университетской молодежи, партия протестантов, которым присвоена была кличка Ларинцев, соответственно фамилии молодой актрисы избранной ими предметом новаго поклонения "за честное отношение к реальной идее в искусстве", в противоположност Фиоринской, тем же решением разжалованной в "представительницу старой буржуазной рутины". Верхи театра разражались теперь все чаще и чаще неистовыми плесками и кликами одобрения каждый раз как Ларина выступала на сцену; ее вызывали при всяком удобном и неудобном случае, вызывали по несчетному числу раз и в антрактах, и по окончании спектакля, и в течение его, прерывая и нарушая сценическую иллюзию этими лихорадочными, насилованными восторгами; вздумали даже вызвать однажды когда она не принимала участия в представлении, во время одной из наиболее удававшихся Фиоринской сцен в Бойком Месте. В театре произошел скандал. Бывшая "любимица" очень эффектно упала тут же в обморок. Губернатор, присутствовавший на спектакле, послал полицию "вывести и переписать нарушителей порядка". Их оказалось человек двадцать. Одного из посланных исполнить губернаторское приказание полицейских "помяли" довольно сильно. Составлен был о сем протокол и передан за решение мироваго судьи. Мировой судья приговорил двух из "мявших" к трехрублевому штрафу, а остальных освободил "за недоказанностью вины". Несколько молодых офицеров полка стоявшего в городе, остававшиеся верными культу "божественного бюста" Фиоринской и возмущенные "оскорблением Ларинцами в ея лице артистки и женщины," не удержались в свою очередь шикнуть ея "сопернице" в первый раз как выступила она за сцену после "происшествия". Полковой командир отправил их за этот поступок за неделю на гауптвахту. Но Ларинцев это не удовлетворило: они искали всякаго случая "заводить истории" с "представителями грубой силы". Одна из таких "историй" дошла чуть не до побоища... Деликатное военное начальство "в виду сего" авторитетно "посоветовало" своим подчиненным "воздержаться на время от посещения театра и вообще публичных мест". Наука таким образом восторжествовала над грубою силой... Остальные староверы Фиоринской-Ларапиниер из штатских стушевались, со своей стороны, запуганные местною "прессой" ставшей само собою на сторону науки и "честной" служительницы "реальной идее в искусстве".

Некий Левиафанов из удаленных учителей[50], состоявший под надзором полиции и редактировавший в то же время издававшийся за казенную субсидию местный листок, поместил в нем под заглавием Современныя задачи искусства целый трактат по поводу

исполнения в первый раз Лариною роли Катерины в Грозе. В трактате доказывалось что в-тот-мол могучий момент развития до которого достигло современное человечество, производительность носящая название художественной потеряла всякое самостоятельное значение та в праве существовать лишь как послушное орудие иных гражданских целей, — что-мол "давно и доказано гениальным критиком Темного Царства"[51]. "Из этого совершенно ясно, говорилось далее, что каждое литературное, а тем паче драматическое (как наиболее непосредственно действующее на массовые инстинкты) произведение заслуживает внимания лишь потолику поколику имеет важность "заключающийся в нем гражданский мотив". Разумея "важнейшими" из таких "мотивов" те в коих изображается "борьба личности с пригнетающею ея свободу неправдой существующих социальных условий" и признавая в этом отношении Грозу Островского "вещью по силе протеста не имеющею себе равной во всей литературе", г. Левиафанов переходил затем "к игре молодой артистки, появление которой в роди Катерины", восклицал он, "было целым откровением для интеллигентной части ***ской публики"... Об "откровении" впрочем говорилось мало, но очень много и пространно опять о "честности служения идее", проявлявшейся де в каждом слове, жесте, взгляде гжи Лариной-Катерины, которые и вызывали-мол поэтому особенно восторженныя выражения сочувствия со стороны нашей дорогой университетской молодежи, всегда столь чутко относящейся к каждому проявлению высоких идеалов свободы (стоявшее вслед за этим слово "равенства" было почему-то единственное во всей статье вычеркнутое вице-губернатором, цензуровавшим газету) и братства человеческих отношений"... Статья заканчивалась весьма "ядовитым" намеком на всем известную в городе компанию некоторых отставных военных и статских генералов, холостяков доживавших в *** остаток своих веселых и даже бурных когда-то дней. Гласилось именно следующее: "Одни старики-жуиры и отставные бонвиваны, которых обретается еще малая толика в нашем губернском бомонде, состоящие и поныне в ранге петухов-ценителей античных прелестей гжи Фиоринской-Ларапиниер, — да простят нам читатели этот каламбур невольно просящийся под перо когда заходит речь о столь заслуженной артистке как гжа Фиоринская, — одне эта превосходительныя руины оставались равнодушными к блестящему успеху гжи Лариной и даже видимо старались выражать против него протест своим комильфотным молчанием и кислыми улыбочками. Но да не смутится этою беззубою манифестацией наше восходящее театральное светило: сии последние Могикане крепостнических времен — уже не люди; это живыя мощи, которых пренебрегла убрать с лица земли безпощадная, выражаясь языком московских классиков, коса времени. Sit eis terra levis!"

Статья произвела в городе эффект необычайный. "Жуиры" и "бонвивнаы" отправили одного из своих с выражением негодования на нее и жалобой к губернатору. Губернатор принял посланного в объятия и чуть не плача выразил ему со своей стороны "глубочайшее соболезнование о такой неприятности". — "Но как же вы, ваше превосходительство, можете допускать чтобы подобные пасквили печатались в газете издающейся за казенныя деньги, под вашим ближайшим наблюдением?" спросил его тот. — "Je n'y puis rien, mon cher, je n'y puis rien", и почтенный администратор судорожно пожал плечами, "в статье антиправительственного я ничего не нахожу, да и вообще"... Он наклонился к уху своего собеседника и прошептал: "Я могу вам показать, noir sur blanc, секретную инструкцию вменяющую нам начальствующим лицам, в обязанность: не раздражать прессу..." Представитель генералов "жупров" с тем и отъехал как говорится, а сами генералы перестали посещать театр, равно как и губернаторский дом... Ларинцы в свою очередь послали редактору местного листка трех "депутатов" из своей среды для выражения их "глубочайшаго сочувствия его гражданскому мужеству" и вручения ему "почетнаго" билета на имевший быть вскоре после того студентский бал. На бале этом после ужина, вслед за обильными возлияниями пива и иных вдохновительных напитков, торжествующаго Левиафанова — его тут же единогласно провозгласили "вторым Добролюбовым" — "дорогая молодежь" подвергла качанию до безчувствия и отвезла мертвецки пьяного домой...

Соответственно всему этому внешнему возбуждению, в самом театре произошла целая революция. Сообразительный антрепренер увидел себя вдруг свободным от тисков в которых держали его до сих пор соединенныя силы двух главных его сюжетов... "При том громадном сочувствии которое так быстро сумела завоевать себе Настасья Дмитриевна Ларина со стороны здешней интеллигентной публики, сборы мои до конца сезона обезпечены", говорил он уже прямо, тоном дружеской откровенности гже Фиоринской-Ларапиниер, давая ей тонким образом понимать что еслибы, мол, тебе опять вздумалось требовать месячной прибавки или второго бенефиса, так знай что я и вовсе могу теперь без тебя обойтись... "Заслуженная артистка", безсильная бороться с "новым светилом", слегла в постель, у нея разлилась желчь. Лариной пришлось одной держать репертуар. Гонорар ея со ста пятидесяти рублей в месяц повышен был до трехсот. "Знаменитый" Славский беззастенчивым вольтом перекинулся тут же от оставшейся, как нахально выражался он, за флагом наездницы на сторону взявшей первый приз, и повел немедленно же атаку на ея сердце. Он почитал делом самолюбия своего, равно как и разчета, покорять и обращать себе в "рабу" каждое первое женское амплуа той труппы в которой играл он в данный момент и, не взирая за свои далеко не молодые годы, каждый раз "без промаха" достигал своей цели, благодарной "овечьей способности бабьей натуры", говорил он все тем же своим циническим языком, в силу которой женщина неизменно-де "спотыкается о тот же камень на дороге о который споткнулись бежавшие пред нею"... Но перезрелому закулисному ловеласу пришлось на этот раз разочароваться в своих чаяниях. Он возбуждал одно отвращение к Лариной... Славский не допускал впрочем чтобы какая бы то ни была женщина могла испытывать к нему подобное чувство и приписывать брезгливость молодой актрисы "слабому развиятию в ней мозгов". "По глупости своей не в меру долго в честность играет", разсуждал он...

Но она была действительно честна, — честна в смысле несколько более сериозном чем то "служение идее" в роли Катерины в Грозе о котором трубили Левиафановы и К°, и умна в придачу. Она нисколько не обольщалась на счет внезапного своего "блестящаго успеха" и отнюдь не удовлетворялась им. В нем было даже что-то колючее, чуть не оскорбительное для нея, — сознание несоразмерности награды с заслугой. Все эти чествования и шум поднятый из-за нея были — это было ей совершенно ясно — нечто не имеющее ничего общаго с делом искусства, делом которому она действительно стремилась служить. Овации "дорогой университетской молодежи" имели в виду не ее лично, не ея "далеко еще незрелую игру," строго говорила она себе,- а того удачливаго "политического агитатора" сумевшего "удрать", по выражению студента Коробкина, из места ссылки своей за границу. На все очевидно возлагались лавры заслуженные в понятиях этой молодежи "подвигом" ея брата "в борьбе с автократией"; она, по тем же понятиям, должна была быть "поддерживаема" не потому что она талант, а на основании того что она имеет честь быть его сестрой... Сама Настасья Дмитриевна сомневалась в себе, в этом таланте, который превозносили теперь в ***,- сомневалась именно потому что та, носившая название "интеллигентной", часть публики в которой чаяла она найти себе компетентных ценителей и судей, видимо подчеркивала своими рукоплесканиями почти исключительно места заключавшие в себе, или в которых эта публика думала видеть, намек за все ту же "идею" известного пошиба. До художественности, доброкачественности, отделки ея игры интеллигентам этим видимо никакого деда не было, — да "едва ли и понимали они что-либо в этом", должна она была весьма скоро убедиться... Самый репертуар который приходилось исполнять ей, все это наводнение пиес из русского современного быта, порожденное театром Островского, с их "направлением", с их плоским, неумелым, часто и совсем безграмотным разговором, с их все теми же, везде, до отчаяния шаблонными характерами плута капиталиста, "барина" развратника и глупца, учителя мученика "гражданских убеждений" и "развитой" девицы в образе гуверантки или "курсистки", представляло собою такое поразительное однообразие мотивов, такое отсутствие данных из которых могло бы в исполнении создаться сценически жизненное, оригинальное и интересное

само по себе лицо что ей "решительно, чувствовала она, не за чем было настоящим образом испробовать себя"... "Неужели," говорила она себе внутренно в те минуты тоскливаго раздражения нервов которыми так обилует жизнь артиста, "не отбиться мне никогда от протестующаго" хныкания Воспитанниц и Бедных Невест, от этих все тех же жалких слов, все той же слезливой жертвы родительского или общественного гнета! Хотя бы дали раз расправить крылья на настоящей роли"!.. Ее все настоятельнее тянуло к поэзии женских типов Шекспира и Шиллера. "Сыграть Корделию, Дездемону, королеву в Дон-Карлосе; говорить этим благородным, изящным языком, чувствовать себя на сцене женщиной, а не все тою же овцой покорною или возмущенною, — о, только после этого могла бы она сказать себе верно, призвана ли она действительно быть актрисой художницей своего дела"!..

Этому желанию ея суждено было осуществиться: "Знаменитый Славский, имевший лично претензию "уметь носить костюм" и "подъезжавший", как говорится, к ней со всех сторон, задумал поставить в свой бенефис, в угоду ей, Марию Стюарт, в которой предназначалась ей главная роль. Фиорниская, еще желтая после болезни, но разчитывавшая произвести эффект на публику количеством имевшихся у нея настоящих и фальшивых бриллиантов, без особаго неудовольствия согласилась играть Елизавету. Сам Славский играл Лейстера.

Дни посвященные Лариной изучению своей роли была счастливыми днями в ея существовании. Она в первый еще раз действительно "уходила вся в чужую жизнь", осуществляла ту свою мечту художественного воспроизведения о которой говорила Троекурову во Всехсвятском. Она чувствовала себя объятою каким-то "священным пламенем восторга". Какую личность, какую женщину приходилось ей изображать, какое богатство, какое безконечное разнообразие мотивов, оттенков, звуков заключалось в этом "характере", какая игра взаимно противоречащих побуждений и чувств сведенных в один гармонический, неотразимый аккорд: нежность, страсть, обольщение, гордость, мстительность, жажда жизни и презрение смерти!... И все это в широких, изящных рамах царственности и культуры, в высших формах той воспитанности которая ей, Лариной, ставилась в упрек студентом Коробкиным, от которой приходилось и точно чураться ей за сцене в виду "реальнейшаго" изображения типов современной отечественной драматургии... "Мария Стюарт — от одного этого имени будто розами веет", говорила она себе со счастливою улыбкой, и уста ея невольно шептали Шиллеровские стихи заученные ею еще в детстве,- обращение пленной королевы к облакам пробегавшим по небу над ея темницей с мольбой отвести привет ея Франции, "отечеству ея молодости (mein Jugendland)":

Ich bin gefangen, ich bin in Banden,
Ach, ich hab'keinen andern Gesandten,
Frey in Lüften ist eure Bahn,
Ibx seyd nicht dieser Königin Unterthan!...

Она добыла все что можно было достать в городе исторических материалов относящихся до шотландской королевы, перечла два известные романа Валтер-Скотта (Аббат и Монастырь) в которых, по свидетельству Минье,[52] "великий романист сумел изобразить ея обаятельную личность в такой полноте и правдивости красок до которых не могли достичь самые тщательные и подробные исторические этюды о ней", — перечла, подолгу останавливаясь на каждой странице, вдумываясь в каждую черту, в каждое слово вложенное автором в уста Лохлевенской узницы.[53] Только после этой предварительной подготовки перешла она к самой драме, к изучению своей роли. В первый раз при этом воспользовалась она своим первенствующим теперь положением в театре: она потребовала от антрепренера и Славского "не менее осьми полных репетиций", объявляя решительно что "в противном случае отказывается участвовать в бенефисе". Не довольствуясь этим, она то и дело зазывала к себе

репетовать отдельныя сцены того или другаго из участвовавших в драме товарищей (ее любили в труппе сколько могут актеры любить друг друга и довольно охотно делали ей приятное), а в том числе игравшего роль Мортимера молоденькаго женьтремье Печорина, актера с миловидною наружностью и горяченьким темпераментом, которого ненавидел и почитал соперником своим у Лариной Славский. Отставкой корнет, прослуживший не более двух лет в полку и поступивший на сцену, как сама Ларина, по врожденной страсти к лицедейству, Печорин (псевдоним) четвертый год перекочевывал с одного провинциального театра на другой, не заходя до сих пор, как и она, роли по душе во всем том злополучном репертуаре который выпадал на долю его амплуа. Он ухватился теперь за Мортимера со всем пылом молодаго честолюбия рвавшегося "выйти на большую дорогу". Он был мало образован, крайне наивен и недалек по природе, но у него имелось то неизъяснимое артистическое чутье которым угадывается многое, что не дается часто самому добросовестному и тщательному труду другаго. Ларина заметила это в нем с первых же дней их совместного служения. Она теперь в интересах пиесы сочла нужным "зааяться" им, "понаправить его"... Он выслушивал ея советы, принимал ея указания с глубоким вниманием, с пылавшими от удовольствия и благодарности глазами, и с каждым разом становился все более и более удовлетворительным... "Знаете, сказала ему однажды поощрительно Настасья Дмитриевна, оставшись с ним вдвоем у себя, — вы гораздо лучше сыграете Мортимера чем этот вечный позёр Славский — Лейстера." У Печорина мгновенно все лицо покрылось краской и задрожали губы. "Все это вы, вы"... прерывающимся голосом пролепетал он, схватил шапку и выбежал из комнаты...

На бенефис Славского собрался весь город. Сами генералы "жуиры", которым бенефициант, весьма потешавший их всегда за ужином в клубе своей "blague de tous les diables", развез билеты по домам со "слезною" просьбой "не испортить ему праздника своим отсутствием", решили нарушить на этот раз данный ими вслед за статьей Левиафанова обет "ne plus remettre les pieds dans cette sale boutique" (то-есть театр) и заняли in corpore cbou прежния места в первом ряду кресел. В качестве людей бывалых "вкусивших наслаждения искусством на всех известных сценах Европы" они не ожидали особенного удовольствия от "старомодной, сентиментальной немецкой драмы" и еще менее от исполнения ея провинциальною труппой; но зрелище "великолепных плеч" Фиорниской и состязание ея с Лариной "cette petite morveuse prétendant jouer du vrai tragique", должны были в их понятии послужить им некоторою "компенсацией" за чаемую скуку... Ларинцы, со своей стороны, готовились дружно "всею партией" поддержать "свою" актрису: в этом в сущности заключался для них весь интерес предстоявшего спектакля. Что должно было даваться за этом спектакле, было для них безразлично... Да и в самом деле, Мария Стюарт, Шиллер, "этот добрый пошляк Шиллер" (sic), как выражался один из "отцев умственного движения в России" в шестидесятых годах[54],- что могли сказать им эта имена? Счастливые сыны реального века, воспитанные своими авторитетами на презрении истории и "эстетики", — для них все это было звук пустой, немыя этикетки за сосудах с неведомым содержанием...

При таком "настроении" своих зрителей вышла пред ними Ларина в темных тканях заключенной в английском замке королевы-красавицы, с длинным черным вуалем, падавшим с головы ея до колен... В зале воцарилась мгновенно мертвая тишина. С первых же слов разговора Марии с приставленным надзирать за нею суровым пуританином (сэр Аммияс Паулет) зазвенела какая-то всем сочувственная, находившая себе эхо в каждом из присутствовавших нота. Это был именно тот тон, тот звук голоса который приличествовал этой женщине, этому долголетнему, истомившему, но не сломившему царственный дух ея страданию, и эта же внимавшая ей неподготовленная, равнодушная или враждебная "эстетике", толпа зрителей поняла это тем таинственным чутьем высшаго что хранит в глубине своей каждая человеческая душа и что внезапно, часто безсознательно, но неотразимо исторгает из нея отзвук на все отмеченное печатью этого высшаго на земле... Ларину не

прерывали теперь представители "дорогой университетской молодежи" обычными неистовыми рукоплесканиями, они жадно и немо прислушивались к падающим с уст ея размеренным периодам стихотворной речи, и странное обаяние производила за них речь эта и заключавшееся в ней содержание. В этом ничего не было знакомаго им, близкаго, своего, никакого отношения к "злобе дня", никакой "гражданской идеи", пред ними разыгрывалась скорбная повесть "давно замолкнувших страстей", давно отошедшей во мрак прошлаго борьбы двух властительниц, двух непримиримых женских темпераментов: безпощадного разчета и преступного легкомыслия, ледяного ума и обольстительного в самых ошибках своих сердца, а между тем эта "безыдейаая" драма, помимо их воли, "захватывала" их, уносила в струях своего трагического течения. От нея веяло для них чем-то чего не дано было там вкушать от произведений отечественных драмокропателей, чем-то глубоко-трогательным и незлобивым, чем-то высокочеловеческим, спокойвым и благородным. В узкую душную область их убеждений врывалось живое представление иных двигавших людьми идеалов и побуждений, героических самопожертвований во имя задач и верований не имеющих ничего общаго с теми которыя учили их чествовать Левиафановы и К°, с высоты кафедр, со столбцов своих "просветательных" чаяаний... Обаяние художественной концелции держало ах в своей власти; каким-то благодатным, умиряющим умилением проникалась нежданно для себя теперь эта безпрестанно раздражаемая и раздраженная "молоде;к"...

Ларина с каждою новою сцеуой крепла в своей роли. Она, со своей стороны, чутьем чуяла тот магнетически-взаbмодействующий ток, образующийся в данные моменты между актером и его публикой, при котором у исполнителя словно выростают неодолимыя крылья на которых он может унести всех. Она уже не боялась за успех пиесы, забыла о роли, она не играла, она сама переживала чувством, кровью, нервами психический процесс изображаемаго ею лица... В знаменитой сцене встречи с Елизаветою (Фиоринская особенно старательно и удачно вела свою роль в этой сцене), когда, вся горя негодованием и гордостью, отплатив язвительным, непрощаемым словом за оскорбление,[55] Мария заставляет венчанную обидчицу свою удалиться, "унося острие стрелы ея в груда", и кидается в судорожном порыве на шею старой няни (Анна Кеннеди) со словами:

"О, как мне сладко, Анна! Наконец,
За годы унижений и страданьа,
Маг торжества, отмщенья был мне дав"!

она залилась настоящим, неудержимым, жгучих рыданием. Вся зала огласилась в ответ продолжительным стоном восхищения. Сами генералы не выдержали и апллодировали "à tout rompre"... В последнем акте, в сценах исповеди и прощания Марии, пред тем как идти ей на эшафот, барыни в ложах плакали назврыд. Заколовшийся в предыдущем акте Мортамер-Печорин (он имел в своей роли, как предсказывала ему Ларина, большой и вполне заслуженный успех) стоял в кулисе бледный как смерть, кусая себе губы до крови, чтобы не разрыдаться тоже за весь театр... Он кинулся к Лариной едва успела она сойти со сцены и без слов судорожно приник губами к ея руке. Она ухватилась в свою очередь за его руку — ноги ея подкашивались от волнения и усталости — и вывела с собою пред занавес за неистовый рев "требовавшей" ее публики, забыв о бенефицианте только что отрисовавшемся в своей роли двуличного Лейстера... Она ничего не помнила; вызовам ея не было конца. Добравшись наконец до уборной, она упала там на диван в обморок... Конца трагедии происходящаго во дворце Елизаветы никто не дослушал. Студенты гурьбой ждали у актерского крыльца, за улице, выхода Лариной из театра. Ее подхватали, едва показалась она, усадили в сани с отпряженною лошадью и довезли до ея квартиры десятки рук этой обезумевшей от восторга толпы...

Да, это был знаменательный незабвенный для молодой актрисы вечер. Она впервые тут почувствовала свою силу и ширь на которую была способна она. То что удалось теперь передать ей были уже не те грубые сколки или каррикатуры с действительности, не те вечныя вариации на все тот же мотив погребения кота, как выражался ядовито один старый русский актер про отечественныя драмы новейших времен, — которыя приходилось ей исполнять до сих пор, — это было вдохновенное создание великаго поэта, это было искусство... Неведомым ею до сих пор удовлетворением исполнена была она теперь; успех ея представлялся ей чем-то в роде награды за доброе дело. Действительно было нечто благотворное — она это чуяла, угадывала, осязала как бы — в том впечатлении какое произвела на своих зрителей. Хотя бы лишь на этот вечер, на несколько часов, она оторвала их от пошлости жизни, ото лжи и потуг искалеченной мысли и унесла с собою в светлый мир искусства, где та же вечная игра человеческих страстей облекается в чарующия и возвышающия человека изящество и благородство формы. "Какия у всех у них были хорошия, разнеженныя лица", говорила себе Ларина с мягкою улыбкой вспоминая выражение всех этих юных "демократов", когда они, примчав на себе сами до ея квартиры, вошла чинною толной в ея маленькую гостиную, прося "в знак благодарности за дарованное там наслаждение" дозволения "пожать на прощание" и — совсем уже не по демократически — "поцеловат" ея руку... Никто из них очевидно не чествовал в ней в эту минуту сестру ея брата. В ея лице Мария Стюарт, безсмертная обольстительница, влекла к себе эта молодыя нежданно пробужденныя сердца...

Трагедия прошла восемь раз в течение месяца, делая полные сборы, — явление почти небывалое в провинциальных театрах. Руководители ***ской "интеллигенции" почуяли даже в успехе "такого сорта вещи" нечто в роде бревна на пути шествия "освободительных идей" в любезном им отечестве. Некий очень рьяный маленький профессор, израильского рода, похожий не то на майского жука, не то за уличную тумбу, читавший в то время в университете "о Карамзине" и "распатронивавший" между прочим, как выражались его слушатели, бедного историографа "на все корки" за его Письма русского путешественника, в которых мол он, "распространяясь на целых страницах об игре виденных им в Париже актеров, как бы нарочито просмотрение совершавшуюся там в то же время на глазах его революцию, это священнейшее право народов дорослих до сознания своих прав", — профессор этот, по тому же поводу, упомянул на лекции весьма ловко о том "горячем сочувствии" которое другой, "германский писатель покрупнее гослодщва симбирского дворянина Карамзина", а именно Шиллер, питал "к великому делу свободы вынесенному на плечах своих Францией на исходе XVIII века". "Это был", подчеркивал маленький человек, меча громы сквозь очки и потрясая кулачком над лоснившеюся будто от ваксы головой, "это был не позднейший, офилистрившийся Шиллер какой-нибудь Мессинской Невесты или Марии Стюарт, — это был Шиллер первых лучших времен своих, Шиллер Разбойниковь и Коварства и Любви, в которых горит благотворным пожаром святая ненависть к угнетению и эксплуатации слабаго и бедного сильным и богатым!..." Слушатели поняли намек "либеральнаго" наставника иные опустили смущенно голову, другие улыбнулись. Одному из ультра-Ларинцев намек даже и вовсе не понравился, он сложил обе руки в трубочку и свистнул в нее на всю аудиторию. Либеральный профессор, в свою очередь, ощутил некоторое смущение, закашлялся и перешел опять к распатрониванию Карамзина... Левиафанов, между тем, поучал публику в своем листке что "выходящий мол из ряда талант гжи Лариной, способен конечно подкупать ея зрителей во всякой, какую ей ни вздумается исполнить роли", но что не следует забывать что Мария Стюарт вместе с Орлеанскою девой принадлежат к числу самых неудачных драм немецкаго поэта как по неинтересности вообще их сюжетов, так и по мещански рутинному отношению к ним самого автора. "Вероятно поэтому", ядовито говорилось в заключение, "пиесы эти и пользуются свободным обращением на российских театрах, между тем как произведение с таким мировым значением как Вильгельм Телль заходится у нас и поныне под строжайшим запретом"...

Лариной в то же время приходилось расплачиваться за свои лавры. Отвергаемый ею Славский не мог простить ей ни своей неудачи, ни еще менее того "дерзкий пассаж" с нимь в вечер его бенефиса, когда она на вызов ея публикой, вывела с собою не его, бенефицианта, перваго сюжета и "знаменитость", а "мозгляка актеришку, сволочь, цена которому грош"... "Это я вам припомню-с"! отпустил он ей, стиснув зубы, тогда же за кулисами, в ту минуту как она, чуть не падая за каждом шагу от изнеможения, проходила со сцены мимо его в свою уборную, а публика, вспомнив наконец о "виновнике праздника", выкликала теперь и его, Славского... Расшатавшаяся было связь его с Фиоринской с этой минуты окрепла сильнее прежняго. Достойная чета пустила тут же в ход двойную кознь имевшую в виду донять врага, как говорится, "не мытьем так катаньем". С одной стороны, о любовных отношениях Лариной и Печорина повествовалось не только как о "факте" не допускающем никакого сомнения, но и сообщались при этом подробности из которых можно было заключить что оне поступали в общее сведение не иначе как благодаря хвастливой невоздержности языка самого Печорина. С другой, в одно из приемных matinées губернаторши, милостивым расположением которой пользовался Славский, им была разказана самым невинным и сочувственным к предмету его разказа тоном "романическая история" одного бедного юноши (он не назвал его фамилию) из судившихся по жихаревскому процессу" (ста девяноста трех), который де не будучи сам ни в чем замешан принял на себя добровольно вину одной страстно любимой им особы, принадлежавшей к организации нигилистов и игравшей даже, как говорят, очень значительную роль между ними, и сослан был таким образом вместо нея — она не была даже привлечена к суду — в Сибирь или куда-то за север".

— Ah, quel héros, quel noble caractère! воскликнули на это его слушательницы, — а она за которую пострадал несчастный, она что?

— А она ничего, благоденствует, иронически отпустал Славский.

— Где же она, кто? Вы ее знаете?

Он значительно усмехнулся:

— Знаю.

— Можете сказать зам кто?

— Нет, уж увольте, mesdames!

— Можете, покрайней мере, сказать к какому кругу общества она принадлежит.

Он как бы заколебался:

— Она... она — актриса, как бы помимо воли вырвалось у него.

Губернаторша, петербургская барыня средних лет и общества, с остатками "пикантной" красоты и большою юркостью в характере, вонзилась ему глазами в лицо:

— Она здесь эта актриса, в вашей труппе?

— Н-нет, почему вы думаете! уклончиво проговорил он, продолжая улыбаться.

— Я уверена... я угадала... Это Ларина, notre charmante Marie Stuart!..

И она даже руками всплеснула.

Славский как бы испуганно вскинул свои вверх.

— Я ее не называл, прошу заметить! счел он нужным заявить.

Губернаторша, особа "развитая", как и подобает быть русской сановнице последней формации, величаво пожала плечами на это.

— Вы могли бы назвать ее безо всякой опасности для себя и для нея: я допускаю все убеждения когда они искренни, подчеркнула она, и обратившись к сидевшим тут двум, трем дамам из ея intimité: — я хочу пригласить ее завтра обедать к вам; nous la ferons canser, voulez vous?

Дамы единогласно и шумно изъявили на это согласие. Славский ожидал что вслед за тем хозяйка обратится и к нему с тем же, приглашением, но таковаго не последовало. Он тотчас же поднялся и ушел в великой досаде, "сыграв лишь на руку, как говорил он себе, этой недотроге проклятой".

Сановница между тем отправила в тот же день с полицейским "милую записку" к Лариной, в которой заключалось приглашение на обед, исполненное изощреннейших любезностей. Записка пришла в очень тяжелую для получившей ее минуту. У молодой актрисы сидел студент Коробкин, который, в качестве горячаго приверженца ея и перваго покровителя, счел нужным придти "предварить ее о мерзостях распространяемых Фиортинскою и Славским насчет ея и Печорина". Девушка была глубоко взволнована и возмущена этим; вслед за постановкой Марии Стюарт на сцену, Печорин даже ни разу не был у нея, она виделась с ним только в театре и никогда не вела с ним беседы a parte. "Извините меня пред генеральшей", молвила она растерянно, со стоявшими еще у вся в глазах слезами, торопливо влетевшему к ней посланному губернаторши, "но я нездорова и не в силах принять ея приглашения; я очень благодарю ее, но не могу у вся быть ("сплетня пошла теперь по всему городу, там еще пожалуй будут мне на это намеки делать", проносилось у нея болезненно в голове, "да и на что мне эти светские барыни!"), никак не могу"... "Генеральша" была поражена как громом нежданною "дерзостью" этого отказа, этим "manque complet de savoir vivre". "Разве она писать не умеет, не знает что на письмо отвечают письмом"? Она потребовала чтоб ей было подробно доложено "как исполнено было ея поручение и что именно было сказано в ответ за ея записку". Полицейский Меркурий, отставной унтер, не старый и видимо шустрый, держа руки по швам, но бойко пяля зрачки на генеральшу, доложил ей все "до малости".

— Одна она была или кто-нибудь был тут еще? спросила сановница.

— Был-с! гаркнул он.

— Много было?

Генеральша даже покраснела от мысли что афронт сделанный ей этою не умеющею жить лицедейкой имел свидетелей...

— Никак нет-с: один всего гость тут с ними сидел.

— Не знаете кто?

— Не могу знать, ваше пр — ство... Из самых из этих нигилистов, надо полагать, ваше... нежданно домолвил он как бы сообразив.

Она изумленно вскинула на него глаза.

— Почему вы полагаете?

— А как нам по приметам хорошо известно, ваше — ство, потому нечесаный и шляпа, значит, широкая, и одеяло этто опять на плечах, все как следовает у студентов ихней нации…

"Mon billet est veau la déranger dans за conférence politique ou amoureuse", со злою иронией проговорила мысленно губернаторша и, отпустив проницательного унтера, прошла к мужу в кабинет передать ему о своей "déconfiture".

Начальник губернии, после совещания с супругой, отправил в свою очередь посланного за антрепренером театра и, по прибытии сего последняго, приступил тотчас же к разспросам о том что ему известно о личности и прошлом состоящей в его труппе актрисы Лариной — "по всей вероятности псевдоним"? ввернул губернатор мимоходом, — о которой дошли до него кое-какия неблагоприятныя сведения.

— В каком отношении, ваше пр — ство? спросил огорошенный содержатель театра.

Губернатор, несколько кисло усмехнувшись, заявил что он "разумеется не намерен да и не считает себя в праве касаться частной жизни молодой артистки", которая "впрочем, сколько ему известно, и не заслуживает в этом отношении никакого упрека", любезно промолвил он, но тут же, слегка поморщившись, добавил: — "к сожалению, этого кажется нельзя сказать про ея воззргьния на существующий государственный и общественный порядок"…

Аатрепреаер со своей стороны заявил что о "воззрениях" гжи Лариной ему ничего неизвестно, кроме того что по театральной своей службе она весьма исправна, роли свои знает на зубок и на репетиции никогда не опаздывает; а что также и насчет знакомств весьма осторожна и мало кого к себе приглашает, так как постоянно занята ролями. О "прошедшем" ея он равно ничего не имел сообщить его превосходительству, кроме того что познакомился с нею в Москве в начале зимняго сезона, приняв ее в труппу по рекомендации одного известного в московском театральном мире лица, а что "настоящая ей фамилия, как значится в ея виде, Буйносова, дочь действительного статского советника и камергера".

— Буйносова! вскрикнул губернатор, — так я отца ея знал, Дмитрия Васильевича Буйносова… Большую игру вел в Московском Английском клубе и в свое время чуть в посланники не попал… И это его дочь, скажите пожалуста!…

Почтенный сановник вздохнул, задумчиво пожал руку "вызваннаго" и отпустил его на этом с миром. Но, встретившись в тот же вечер в клубе с жандармским штаб-офицером его губернии, он отвел его в сторону и, передав о "ходящих довольно странных слухах относительно политического прошлаго этой милой молодой актрисы Лариной," оказывающейся дочерью очень известного в свое время и хорошо ему знакомаго человека, просил сообщить ему "келейно, помимо всякой официальности", имеются ли по их ведомству какия-либо подтверждающия такие слухи данныя. Штаб-офицер озабоченно сжал брови, собирая свои воспоминания и, припомнив, объявил категорично что по процессу ста девяноста трех судился действительно некий студент Буйносов, — "по всей вероятности брат вашей здешней Рашели", засмеялся он, — был судом оправдан и сослан затем административно в Вологодскую губернию, откуда несколько месяцев тому назад успел бежать и скрыться за границей, но что о какой-либо девице Буйносовой у них никакого решительно производства не было, и что поэтому то что разказывается об актрисе Лариной следует объяснить "подвохом под нее" устроенным кем либо из "ея же театральных". Губернатор вспомнил со своей стороны что "это было пущено в гостиной его жены знаменитым Славским".

— Ну так, известный интриган! прибавил штаб-офицер, — я его к себе в дом пускать перестал.

— Да и я велю ему с нынешняго же дня запереть мою дверь, строго сказал на это губернатор.

Вместе с этим изгнанием его из салонов ***ских властей, Славского ожидал в театре новый и даже сугубо неприятный "пассаж". Возмущенные пущенною им клеветой на предмет их культа, ларинцы торжественно освистали его на другой же день после визита Коробкина у Настасьи Дмитриевны, — освистали так что он, не доиграв сцены, должен был уйти за кулисы. Весь зеленый от бешенства под своими румянами выскочил он туда, ища кого поглотить.

— Это все из-за вашей ст...! рявкнул он площадною бранью попавшемуся ему под глаза Печорину.

Лицо молодаго человека стадо бледно как саван; он двинулся с места не помня себя:

— Что вы сказали... про кого? еле в силах был он выговорить.

— Ваша ст.... Ларина устроила известно, повторил тот.

Оглушающая оплеуха чуть не сшибла его с ног. Он пошатнулся, схватился за щеку... Присутствовавшие оттащили от него Печорина.

— Если угодно вам будет потребовать от меня сатисфакции, крикнул ему отставной корвет, — я во всякое время к вашим услугам.

Но "знаменитый артист" был уже снова в полном обладании своей прирожденной наглости. Он окинул своего оскорбителя полным презрения взглядом и ударив себя ладонью по груди:

— Чином не вышел еще чтоб от тебя Славский сатисфакции требовал! надменно произнес он, повернулся на длинных ногах своих и величественно зашагал к своей уборной...

"Сокрушение врага и торжество добродетели в лице девицы Лариной", как выражались ***ские шутники, разумевшие этим новыя восторженныя овации, которыя были сделаны молодой актрисе при выходе ея за сцену вслед за сделавшимся тотчас же известным в зале театра "наказанием" Славского за оскорбление ея, не в силах были разогнать то тяжелое, подавляющее настроение духа которое владело ею теперь. "После того что суждено мне было испытывать в жизни, ничто меня не устрашит и все от меня отскочит", похвалялась она Борису Васильевичу Троекурову в молодой самонадеянности своей, когда накануне поступления ея за театральное поприще, говорил он ей об ожидавших ее там тяжких испытаниях... В действительности оказывалось что ничто от нея не "отскакивало", а каждая малость, напротив, причиняла ей рану и заседала в ней надолго. Мотивы к вечно новым душевным мукам как бы находили в ней тем более восприимчивости чем давнее знакома она была со страданием. Ее еще с первых дебютов начало гнести сознание безпомощности ея и сиротства среди этих "товарищей по искусству" с которыми не связывало ее ничего кроме взаимных реплик на подмостках сцены. Ее постоянно коробило внутренно от их "нравов" и привычек, от их "ремесленнического" отношения к своему делу. Ей подчас казалось что она рано или поздно должна задохнуться в этой атмосфере раздраженных самолюбий, лютой зависти и безпощадных клевет, среди этой разнузданности речей, в невылазном омуте этих мелких интриг и грязных кляуз... Но ее лично щадило все это относительно пока случай, а затем и несомненный ея талант не выдвинули ея на первый план, пока не объявлена она была "светилом". Мелкая букашка, она могла кой-как пройти стороною от лужи; ей роковым образом следовало быть обрызганною с ног до головы раз ей приходилось переезжать поперек этой лужи на золотой колеснице успеха... Имя ея теперь было на всех устах, — а много ли чистых

человеческих чувств в этом мире! Злостная, грубая, нелепая клевета пущенная на нее — она знала, она помнила известную апофтегму Бомарше — от вся "всегда что-нибудь останется".... "Найдутся всегда люди, десятки, сотни людей которые радостно ей, поверят и станут злорадно повторять ее другим"... Ларина была умна, мы уже сказали, и слишком изстрадалась, изстрадалась с детства, чтобы не вынести из опыта жизни значительной доли горечи и недоверия к людям. В тот самый вечер когда после "пассажа" со Славским приветствовала ее публика шумными рукоплесканиями и клаками, очевидно выражая этим и неизменное расположение свое к ней, и негодующий протест противу взведенной на все в двойном виде напраслины (об "анекдоте" Славского у губернаторши знал тоже весь город), а она низко приседала, приложив руку к груди и поводя благодарными глазами с высоты сцены на все стороны залы, внутренний голос неотступно шептал ей: "Сколько из этого хора приветствующих тебя голосов следует отнести на долю любителей гама и скандала по поводу чего бы он не производился, и многие ли из этих неистово апплодирующих тебе теперь искренно убеждены в том что ты заслуживаешь уважения?.. Самое заступничество за все этой публики представлялось ей во глубине души чем-то обидным; какия-то вспышки родовой гордости загорались в ней; "она не из тех кому нужны защитники в толпе"... Такое же недоброе чувство, как ни старалась она побороть его в себе, внушал ей выступивший за нее рыцарем Печорин: она избегала его насколько это было в ея власти, не обменялась с ним словом после той истории. Молодой человек в свою очередь точно прятался от вся в театре, и когда приходилось ему репетовать с ней, упорно глядел в землю, боясь встретиться с ней глазами... У себя дома Ларина теперь ни души уже более не принимала.

Она сидела дома одна и жадно зачитывалась вестей с театра войны, которыя обильно сообщались в те дни газетами обеих столиц. Какая-то неодолимая сила все лихорадочнее влекла мысль ея "туда, где люди теперь гибнут тысячами за святое дело" и все настойчивее шептала ей что "там теперь настоящая задача, там — призвание"... Измученная, раздраженная безпрерывною сутолокой и ядовитыми уколами театральной жизни, она в каком-то невыразимо заманчивом свете рисовала себе это "высшее изо всех существующих для женщины" призвание. Там, далеко, в бараке, среди раненых, в поглощающих все время и все физические силы занятиях, никому неведомая сестра, — там для нея "мир душевный и удовлетворение"...

После "второй Плевны" она не выдержала. Годовой срок контракта ея с антрепренером ***ского театра кончился. Труппа собиралась перекочевать на Нижегородскую ярмарку; на время пребывание ея там Лариной предложен был ангажемент в 600 рублей и бенефис. Она отказалась и уехала в Одессу. Тамошнее отделение Красного Креста определило ее сестрой и переслало недели через две за Дунай.

По пути туда, на какой-то станции не доезжая Унген, к окну вагона из которого она разсеянно глядела на толпу пассажиров ея поезда высыпавшую на платформу подошел к ея окну какой-то с отроставшею бородой молодой человек в кителе и военной фуражке.

— Вы тоже туда... на театр войны, Настасья Дмитриевна? произнес он робким, слегка даже дрожавшим голосом, прикладывая руку к козырьку.

— Печорин! невольно вскликнула она, узнавая недавняго "товарища".

— Ряполовский, чуть-чуть усмехнулся он:- настоящую мою фамилию ношу опять... Я в прежний мой полк поступил, поспешил объяснить он.

— Где же он? спросила она.

— А я сам не знаю, ответил Ряполовский с какою-то совсем ребяческою интонацией и с

видимою благодарностью за вопрос:- где-то там, говорят, в самом центре действий…

— В Нижний не захотели? спросила она, усмехнувшись тоже.

Он как-то мгновенно вскинул на нее глаза, весь заалев:

— Нет… что же, вас уж нет ведь в труппе…

И, так же мгновенно испугавшись недовольнаго, показалось ему, выражения ея лица, торопливо приложил опять пальцы к фуражке, пролепетал какия-то неразслышанныя ею слова прощания — и исчез… Он так и не показывался более Настасье Дмитриевне…

Четыре месяца спустя, в госпиталь Красного Креста, в котором она, за отбытием графини Драхенберг, оставалась одно время старшею, привезла после сражения под Горним Дубняком значительную партию раненых. В одном из них она узнала Ряполовского. Он был тяжело ранен в голову и долго не приходил в сознание. "Так и отойдет не очнувшис", ответил сквозь зубы осматривавший его рану врач за вопросительный взгляд стоявшей у койки Настасьи Дмитриевны… Но предсказание оказалось не совсем верным. Раненый очнулся поздно вечером, открыл глаза. Женский дик, с повязанною бедою косынкой годовой, с большими, устремленными на него, темными глазами, полуосвещенный мерцанием лампы спускавшейся с потолка, наклонился над ним… Каким-то лучем осветилось внезапно его мертвенно бледное лицо. "Мария Стюарт", еле слышно пролепетал он… — "Вам надо повязку переменить", дрогнувшим голосом проговорила она… Он не отрывался от нея потухающим взглядом. Она потянулась осторожною рукой к его повязке… "Сестрица… Настасья Дмитриевна… благословите меня!" угадала она скорее чем разслышала… Переменять перевязку было уже не к чему…

IV

— Так как-же, сестрица, спрашивал Сусальцев впавшую в глубокую задумчивость Наталью Дмитриевну, — согласны вы будете?

— На что? воскликнула она как с просонья.

— А насчет этого самаго письма к графине Драхенберг, что я вам сейчас говорил…

— Ах да, вспомнила девушка;- что же, если вы считаете это непременно нужным, я готова…

— По-французски-с, начерно, поспешил он напомнить, — а я уж собственноручно перепишу потом.

— Хорошо. Когда оно вам нужно?

— Да еслибы возможно, поскорее… что жь с этим медлить? Еслибы, к примеру, к завтрему могли вы заготовить?…

Настасья Дмитриевна кивнула в знак согласия. Пров Ефремович схватил ея руку и пожал ее до боли в своей могучей длани.

— И не могу вам сказать просто, сестрица, как благодарен вам за родственныя ваши ко мне чувства! воскликнул он растроганным тоном;- я человек не дурной, поверьте, и еслиб Антонина Дмитриевна понимат это хотела…

Он оборвал коротким вздохом, прищурился слегка на свояченицу и заговортил опять как бы несколько смущенно:

— Позвольте вас, сестрица, обезпокоить одним моим вопросом.

— Каким? спросила она, подымая на него глаза в свою очередь как бы чуть-чуть испуганно.

— Не нуждаетесь ли вы в чем теперь?

Она не успела ответит.

— Потому, продолжал он торопливо, — вы бы меня смертельно оскорбили и огорчили сердечно еслиб обошли меня в таком случае… Я всею моею душой, могу сказать, всегда готов по-родственному… по-братски….

— Спасибо вам, прервала его Ларина, морщась и краснея, — мне ничего не нужно…

Но у него был такой просящий и как бы оробевший вместе с тем вид что она тут же прибавила:

— Я не из гордости, Пров Ефремович, право… Еслиб я очутилась когда-нибудь в большой нужде, я скорее бы, конечно, обратилась к вам чем к кому-либо другому за… за временным одолжением, чуть-чуть подчеркнула она.

Он еще раз ухватил ея руку обеими своими:

— И поверьте, не то чтоб я, вы одолжите меня этим превыше меры… Потому я, сестрица, расположением вашим дорожу чрезвычайно и близкое себе лицо вижу в вас. Я лаской не избалован: родительницы лишился еще в детстве, батюшка мой был человек суровый… Так если такая особа как вы, которую я по всем правам должен уважать, оказывает мне дружественное чувство, то я со своей стороны всю душу, кажется, готов положить…

Он смолк от нахлынувшего на него умиления и отвернулся, мигая влажными глазами…

Настасья Дмитриевна вдумчиво глядела на него: в мысли ея слагалось какое-то соображение:

— Вы добрый человек, Пров Ефремович, молвила она, — вашим словам верить можно, и я вам верю действительно… Я не в нужде, повторяю, и с этой стороны мне не о чем у вас просит, но вы, быть-может, могли бы мне послужить добрым советом в одном обстоятельстве…

Она как бы вдруг заколебалась продолжат…

— Говорите, сестрица, сделайте милость, воскликнул Сусальцев;- я рад радешенек буду если только чем могу…

Она еще раз зорко воззрилась ему в лицо:

— Знаете ли вы, начала она дрогнувшим голосом, — кто этот молодой человек, Поспелов, которого вы видели в Венеции у графини Драхенберг… и про которого Тоня говорила вам такия гадости? примолвила девушка со мгновенно выступившим у нея опять при этом вспоминании румянцем негодования на щеках.

Он раскрыл широко глаза:

— Нет, не знаю-с, впервой и увидал его только тут на самом кануне моего отъезда… А вам, что

же, известен он разве?

— Это брат наш с Тонею, медленно прошептала она, безсознательно озираясь кругом, — Володя… Владимир Дмитриевич Буйносов.

Пров Ефремович руками всплеснул и даже побледнел весь:

— Сосланный?

Ларина утвердительно кивнула.

— Уйти значит успел, и теперь… в Венеции… А Антонина Дмитриевна "Альфонсом" его зовет, роднаго-то брата!…

Он вскочил с места, прошелся, пробежал в лихорадочном волнении по зальцу, сел опять:

— Вам какже это известно, сестрица?

— Я от него письмо получила.

— Оттуда?… по почте? примолвил тут же испуганно Сусальцев.

— Нет; я была еще тогда в Болгарии. Письмо доставлено мне было по случаю…

Она опять приостановилась, почитая неудобным сообщить ему подробно о "случае". А произошло это так:

На первых порах службы ея в госпитале, после известного дела на Зеленых Горах, привезен был в числе раненых молодой пехотинец из вольноопределяющихся, довольно тяжело раненый в ногу. Это был субъект непривлекательной наружности и жестокаго нрава, мрачно относившийся ко всему его окружавшему и переносивший как бы с досадой уход и заботы о нем врачей и сестер. Настасья Дмитриевна была поэтому весьма удивлена когда однажды после перевязки, — дело было вечером, большинство раненых кругом спало, — человек этот каким-то странным, как бы испытующим взглядом посмотрев ей в глаза, тихо проговорил:

— Возьмите у меня под подушкой письмо, это вам от брата.

— От… вашего брата? спросила она не поняв.

— От моего! фыркнул он:- никакого брата у меня не имеется; от вашего, от Буйносова.

Она поспешно сунула руку под подушку, ощупала и вытащила конверт.

— Как оно к вам попало? невольно спросилось ею.

— Из Горного Студня доставлено, как бы также невольно сорвалось у него с языка.

— От кого?

Он вдруг весь пришел в раздражение:

— Вам этого нисколько знать не нужно, прошипел он, — и не старайтесь… и оставьте меня, прошу; вы свое дело сделали, и мне с вами разговаривать нечего…

Она удалилась в большом недоумении. Каким путем могло это письмо попасть в Горный студень, письмо от русского беглаго ссыльнаго, и очутиться теперь для передачи ей в руках темного армейца, не имеющаго очевидно никаких точек соприкосновения с блестящей средой пребывавшею в ту пору там, в том неказистом болгарском местечке? "Неужели это в связи с теми толками?", спрашивала она себя, вспоминая слышанное ею что-то за несколько дней назад от приезжавшего из Горного Студня врача о прибытии де туда какого-то "доверенного от русских эмигрантов", благосклонно будто бы выслушанного в продолжительной аудиенции и уехавшего с какими-то надеждами... Все это очень походило на сказку, и Настасья Дмитриевна, озабоченная своим насущным делом, пропустила в ту пору эти "розказни", как говорится, мимо ушей. Они теперь невольно приходили ей на память.

Но ей не удалось проверить их: проезжавший врач уже вернулся к месту своей службы, а мрачный передатчик письма умер несколько дней спустя от воспаления вен... В самом же письме не заключалось ни слова о способе каким оно доставлялось ей. Володя в нескольких строках извещал сестру что он благополучно пребывает в Вене, где имел случай поступить учителем в одно русское семейство, с которым уедет по всей вероятности на зиму в Италию. "Письмо твое из ***, говорилось далее (она отправила его чрез посредство Коробкина), в котором ты сообщаешь о патриотическом (прилагательное это было в подлиннике подчеркнуто) намерении твоем поступить в госпиталь за Дунаем, я получил и пишу тебе на всякий случай туда; отвечать же мне если вздумаешь очень прошу не по почте, дабы ты себя совершенно безполезно не компрометировала, ибо не сомневаюсь что где русская власть там все письма читаются. А так как особенных оказий доставить мне письмо частным образом ты легко не найдешь, то и воздержись вообще от писания. Впрочем, можешь и так поступить: напиши, вложи в конверт с адресом Василию Ивановичу Поспелову (значусь ныне под сею кличкой), а конверт вложи в другой на имя Степана Михайловича Мурзина в Москве, и отошли опять-таки не по почте, а если найдешь кого едущаго прямым путем в Москву, то с ним. Там пусть спросит Мурзина, его все знают, а он уж найдет средство пересдать мне письмо за границу, где бы я ни был." Настасья Дмитриевна воспользовалась указанием и отправила "с оказией" ответ брату в Москву на имя указанного им лица. Получил ли письмо Володя или нет, осталось неизвестным, так как она затем до настоящей минуты не получала от него ни строчки и, по возвращения ее в Россию, узнала о судьбе его впервые из того что пришлось ей услышать от Прова Ефремовича Сусальцева.

— Ах, вечная для меня мука эта мысль о брате! говорила она теперь сочувственно и жадно внимавшему ей зятю;- я бы кажется полжизни отдала с радостью еслиб могла его спасти!

— То-есть, как это "спасти"? спросил недоумело тот, — конечно как еслиб он решился просить помилования... так и тогда ведь...

Девушка скорбно улыбнулась.

Разве такие люди как он на это способны? Он в свое верит как язычник какой-нибудь в идолов своих... а если и перестал верить, все равно, умрет, а не сознается, самолюбие!.. Нет, я об этом и думать не могу... Но вот то что о нем говорит Тоня, — это ужасно!.. И какой он педагог, чему он со всеми этими идеями своими может научить ребенка этой бедной доброй графини? Ведь это также безсовестно... испортить, отравить молодую жизнь... Сам он пропал, зачем же чужих губить!... У меня все это не выходит из головы... И вот об этом я и хотела бы посоветоваться с вами, Пров Ефремович... Нельзя ли было бы его там, за границей, пристроить к какому-нибудь занятию, работу ему найти, а то что же это за бродячее, безцельное... позорное наконец существование! горячо воскликнула она, судорожно заламывая руки.

— Чего уж хуже когда человек из себя делать что не знает! утвердительно закачал годовой

Пров Ефремович, и прибавил подумав:- занятие почему же, можно найти ему и за границей, и даже не то чтобы каким-нибудь ремесленником, а по коммерческой части… Языки ведь он знает?

— Так же хорошо как Тоня и я.

— И чудесно! Так вот я бы мог предложить прямо: по нашему делу, например, постоянно требуются сведения из Франции и Англии насчет новых образцов, красок и всего прочаго. Как еслиб он захотел этим заняться, я бы его на свой счет туда отправил, пусть бы поучился, а там коммиссионером бы его назначил, и от другах фирм современем мог бы он заказы получать. Не то что пропитаться, капиталец бы таким способом, и даже не в очень продолжительное время, мог бы зашибить Владимир Дмитрич, жизнь свою навсегда обезпечить.

Настасья Дмитриевна привскочила даже на стуле от радости.

— Как мне благодарить вас за это, Пров Ефремович, как благодарить я уж право не знаю! Это именно спасенье для него, исход… Я ему сейчас же об этом напишу…

— По почте! еще раз испуганно воскликнул Сусальцев.

— Нет, невольно усмехнулась она:- тут есть, в Москве, одно лицо чрез которое я уже однажды переслала ему письмо…

— Смотрите, сестрица, и Пров Ефремович закачал годовой, — вы осторожнее с этим народом, потому по нынешнему времени, сами знаете, кавардак у вас по государству идет, путаница; кто верный, кто изменник, разобрать даже трудно, так чтобы как-нибудь вам, да и мне, не вляпаться во что-нибудь неподходящее?…

— Вас я даже и не назову в письме, сказала на это девушка, — скажу просто что делают ему такое-то предложение, а что от кого оно идет он узнает в последствии если будет согласен принять его… А насчет того человека чрез которого я думаю писать, примолвила она, подумав, — то я не знаю имею ли я право сообщить вам его имя…..

— А Бог с ним! воскликнул Сусальцев:- звать мне его нисколько не требуется, я ведь единственно из опасения относительно вас собственно чтобы вам не нажит себе какой неприятности из-за этого.

— Авось я миную ее, усмехнулась Настасья Дмитриевна, — а во всяком случае великое вам спасибо за все!

Пров Ефремович поднялся с места и вытащил часы:

— В добрый час, сестрица!.. А я, будьте уж в этом вполне благонадежны, во всякое время готов служить вам чем могу… С вами я теперь прощусь, ждут меня по одному делу…

Он протянул ей руку и крепко пожал ея тонкие пальцы:

— Как если дозволите опять заехать к вам… Позвольте однако об одном спросить вас, сестрица, вспомнил он вдруг: — почтенная старушенция ваша сказывала мне что вы думаете теперь на нашу Малую сцену постулит. Очень было бы хорошо колиб так, и я даже всею душой порадовался… На чем же дело стоит в настоящую пору, желал бы звать?

Ларина передала ему о разговоре своем утром с Ашаниным.

— Ашанин, Владимир Петрович, засмеялся Сусальцев, — милый человек…

— Вы его знаете?

— Кто ж его по Москве-то не знает! Старого закала, хороший барин, благородный… Только уж вы, сестрица, того… поосторожнее с ним, нежданно принимая вдумчивый вид выговорил Пров Ефремович.

— В каком же это отношении? удивилась Настасья Дмитриевна.

— А как вы девушка, пролепетал он несколько смущенно, и одне… потому насчет женского пола они тут с Николаем Григорьичем Эдельштейном, с капельмейстером, первые ходоки…

— Сердце у меня за семью замками, Пров Ефремович, полувздохнула, полуулыбнулась в ответ ему она:- добраться до него и этому всеобщему покорителю не удалось бы если только допустит что ему бы это вздумалось.

— И чудесно, скажу вам-с, что под замками держите, вздохнул в свою очередь Сусальцев, — потому золотое оно у вас, так и хранит его надо для достойнаго… А как вот если, как у супруги моей, у Антонины Дмитриевны, вместо сердца булыжник с мостовой имеется…

Он не договорил, махнул рукой и, торопливо пожав еще раз руку свояченицы, вышел быстрыми шагами из комнаты.

Настасья Дмитриевна прошла в свою и принялась за письма.

V

Ne nous faisons pas d'illusions, le monde est gouverné par les sociétés secrètes.

Napoléon III

Было еще не поздно когда она дописала. На небе прояснело. "Съездить к этому Мурзину сейчас, попросит переслать скорее письмо к Володе", пришло ей в голову.

Она его никогда не видала, но "ведь не на обум же указал Вододя на него как на лицо чрез которое могут быть доставляемы ему письма" и которому она уже раз послала из Болгарии такое письмо для передачи брату — "не прогонит же он ее от себя"!..

В казенном доме, куда она прежде всего отправилась, швейцар как-то особенно предупредительно (лицо о котором она спрашивала внушало ему видимо большой решпект) сообщил ей адрес Мурзина, сказав что "Степан Михайлыч должны быть безпременно у себя дома теперь".

Мурзин жил в Старой Конюшенной, в нововыстроенном доме, и занимал довольно большую квартиру во втором этаже, куда и направил девушку дебелый парень в синей сибирке, состоявший здесь на положении привратника.

Она подошла к указанной им двери налево, дернула за пуговицу колокольчика… Но в то же самое время дверь внезапно отворилась, чуть не задев ее по голове, и на площадку лестницы быстро вышла женская особа в пальто и низко надвинутой на брови шапочке, повязанной вниз к подбородку черным вязаным шарфом, который она как бы инстинктивно потянула себе на лицо испуганным движением при неожиданном виде Настасьи Дмитриевны. За нею на пороге

показался очевидно хозяин квартиры проводивший ее до передней, средняго роста, лет тридцати пяти, с продолговатыми, бледно-голубыми глазами, словно застывшими под своими недвижными веками. Он не то смущенно, не то подозрительно глянул на стоявшую пред ним в недоумении Ларину и тотчас же перевел глаза на торопливо сбегавшую вниз по ступенькам лестницы недавнюю гостью свою. Ему видимо хотелось остановить ее, сказать ей несколько слов, но он не решался в присутствия посторонней…

— Вы ко мне? скороговоркой обратился он к Настасье Дмитриевне, когда шаги той смолкли за отворенною ей привратником дверью на улицу.

— Господин Мурзин… Степан Михайлович? проговорила Ларина.

— Я.

— Мне бы хотелось переговорить с вами… неуверенным голосом объяснила она.

Он еще раз подозрительно оглянул ее снизу вверх.

— Фамилия моя Буйносова… Вы из Болгарии получили от меня в начале этого года письмо для передачи…

— А, знаю! не дал он ей кончить;- не угодно ли будет войти?..

Он пропустил ее вперед, в темную переднюю, вошел сам, заперев за собой дверь на крюк.

Она скинула пальто, калоши. Он повел ее в свой кабинет, довольно просторную комнату, с полками библиотеки кругом и целым ворохом газет, брошюр и бумаг на столах и стульях.

— Не угодно ли вам присесть будет? коротко проговорил он, указывая кресло у письменного своего стола.

Она опустилась в него.

Он сел насупротив, уставившись на нее пристальным, смущавшим ее своею неотступностью, взглядом и видимо ожидая чтоб она начала разговор.

Но она оставалась безмолвна, как-то безсознательно ожидая в свою очередь чтоб он поощрил ее говорить.

Так прошло с полминуты.

— Я письмо ваше своевременно отправил, сухо, как бы официально проговорил он наконец, — и, как мне известно, оно дошло по назначению.

— Я чрезвычайно благодарна вам, поспешно отвечала она, — и прошу извинения что так прямо, безо всякаго с моей стороны объяснения, отправила его на ваш адрес.… Мне так сказано было сделать в письме полученном мною от брата перед этим…

— Вы где его получили, прервал ее Мурзин:- в Горном Студне?

— Из Горного Студня, объяснила она:- я была в госпитале в **.

— Разве он там был? воскликнул изумленно ея собеседник.

— Кто? с неменьшим удивлением спросила девушка.

Мурзин не отвечал; брови его сжались и бледные глаза вскинулись опять с тем же выражением подозрительности на Ларину:

— Как именно доставлено вам было это письмо, можете мне сказать?

— Чрез одного раненого после второй Плевны, которого привезли к вам…

Он еще раз поморщился.

— Знаете кто это был?

— Нет; мы фамилий никогда не спрашивали там… Он умер притом чрез несколько дней после того как передал мне это письмо.

— Он ничего вам не говорил, передавая его?

— Ровно ничего! подчеркнула Настасья Дмитриевна.

— Писал вам опять брат с тех пор? спросил он обрывисто.

— Нет, во я имею о нем известие… стороной, он в Венеции был в последнее время, на месте…

Мурзин повел годовой, как бы говоря "знаю".

— И мне теперь необходимо известить его об одном обстоятельстве, продолжала Ларина, быстро доставая из кармана заготовленное письмо к брату;- мне ужасно совестно безпокоить вас опять, но если вы имеете все также возможность доставить его…

— Очень нужное? не давая ей договорить, кивнул он на конверт который она с какою-то невольною робостью протягивала ему через стол.

— Да, очень, подтвердила она:- у нас с ним родственник есть один… зять, он имеет дела с за границей и хочет доставить там брату место по своей торговле…

На лице Мурзина выразилось очевидное для Лариной безпокойство.

— Разве он недоволен своим теперешним положением? воскликнул он поспешно.

— Я не знаю… не думаю, возразила она, — и даже полагаю напротив: графиня Драхенберг — он поступил учителем к ея сыну — очень хорошая женщина; я с ней познакомилась в Болгарии… Но брат мой вовсе не создан… не подготовлен быть педагогом… особенно воспитателем. Но еслиб он был и другой даже, какое будущее в учительстве, притом за границей, где Русские живут лишь проездом?… Раз уж он принужден жить в изгнании, вздохнула тяжело девушка, — надо подумать как ему лучшим образом устроиться там.

— А я полагаю, молвил на это Мурзин, ехидно, показалось ей, прищурившись на девушку, — я полагаю что человек тех убеждений которых держится ваш брат, и которыя вы вероятно разделяете…

Он приостановился на миг, пытливо глядя ей прямо в глаза.

"Не разделяю, нет!" чуть не крикнула она на это в первую минуту, но тут же, в силу какого-то

инстинкта, прикусила губы и опустила глаза. "Пусть договорит!" проносилось у нея в голове.

— Такой человек, я полагаю, докторально продолжал Мурзин, — имеет в виду "занятия" несколько более широкаго и общеполезного характера чем эгоистическую заботу о собственном "устроении" по какой-нибудь торговой части... и мы с вами, с этой стороны, никак не в праве отрицать raison d'être его настоящаго "учительства":- оно, весьма может быть, заключает в себе очень сериозную и определенную цель, веско заключил Мурзин.

Настасья Дмитриевна не поняла, и пытливо в свою очередь взглянула на говорившего.

— Если это состоит в том что он мальчику, которого поручили ему учить, станет проповедывать те же "убеждения" какия самого его заставили бежать за границу, то, по моему, это... (недобросовестно, срывалось у нея с языка, но она удержалась) слишком рано во всяком случае.

Ученый собеседник ея двусмысленно усмехнулся.

— Это зависит от взгляда. Некоторые полагают что на той стадии гражданского развития на которой находимся мы в настоящую пору наука вообще к делу не важна, а что главное развивать с юных лет в наростающем поколении критическое отношение к существующему социальному порядку...

— Ах, вот за это самое и расплачивается теперь брат! скорбно вырвалось теперь у Настасьи Дмитриевны;- ведь он оторвав ото всего близкаго, роднаго... и это безвозвратно, на всю жизнь...

— Это же вам это сказал? с каким-то не то ироническим, не то вызывающим оттенком в звуке голоса промолвил на это Мурзин.

Она вскинула на него изумленно свои большие глаза.

— Он стоек, он не повинится никогда! пролепетала она, недоумело.

Он повел плечом.

— Это от него и не потребуется.

— Но тогда как же?..

Мурзин поднял руку на высоту глаз, поглядел на свои ногти и чуть-чуть усмехнулся еще раз.

— Мало ли какия перемены могут быть! лениво уронил он. Но какая-то необыкновенная уверенность в чем-то что, в его убеждении, должно было непременно случиться слышалась в этих словах.

— Амнистия? радостно вскликнула под впечатлением их девушка.

— Н-да... то или другое, загадочно произнес Мурзин, и тут же как бы спохватившись:- Вы пишете здесь (он указал глазами. на положенное ею на стол письмо ея к "Володе") об этом... коммерческом месте которое предлагается вашему брату?

— Пишу, да.

Он помолчал.

— Вы продолжаете желать чтоб оно было ему доставлено?

— Да, желаю… если это вас не обезпокоит, добавила она невольно смущенная холодностью его тона.

Он в первую минуту не отвечал, и на лице его она прочла самое искреннее удивление тому что она упорствовала в желании своем отправить письмо о том что он, Мурзин, почитал почему-то безполезным сообщать эмигранту.

— Хорошо-с, процедил он наконец, закуривая папироску и медленно пуская из нея струйки дыма в воздух, — я постараюсь найти случай… препроводить… это письмо… по адресу…

И вдруг воззрился в нее с каким-то суровым, чуть не угрожающим выражением в чертах.

— Вы понимаете что было бы совершенно неуместно с вашей стороны поверять кому бы то ни было чрез кого вы нашли средство переписываться с вашим братом… Я с ним не знаком, не принадлежу к его… фракций, и оказываю вам услугу единственно из того что порядочные люди… какие бы вы были во мнениях их оттенки, ввернул он подчеркивая, — должны по возможности давать друг другу руку помощи в виду… общей цели, уже словно проглотил он.

Настасья Дмитриевна вспыхнула вся и поднялась с места.

— Меня еще никто в жизни не был в праве упрекнуть в нескромности, дрогнувшим голосом вымолвила она.

Мурзин встал тоже.

— Вы меня извините, я говорил на всякий случай… а заподозривать вас я не имею никакого права, хотя…

— "Хотя"? повторила она вопросительно.

Насилованная усмешка пробе;кала по его губам.

— Хотя собственно о ваших личных убеждениях мне ничего неизвестно.

— Это должно быть для вас совершенно безразлично, с такою же улыбкой ответила она.

— Однакоже…

Она не дала ему времени продолжать.

— Я актриса, была одно время сестрой милосердия, и в том и в другом положении ни о чем кроме своего дела не думала.

— А-а! каким-то странным возгласом протянул Мурзин.

Она протянула ему руку:

— Позвольте мне еще раз искренно благодарить вас, молвила она, пожимая его тонкие и холодные пальцы, наклонила голову в знак прощания и направилась ко двери.

Он вышел молча за нею в темную переднюю, подал ей пальто…

— Еслибы вам, промолвил он весьма неожиданно для нея, налагая руку на крюк отворить ей двери на лестницу, — еслибы вам пришла когда-нибудь охота "думать сериозно", я буду всегда рад помочь вам как и чем могу.

Она не отвечала, поклонилась еще раз и поторопилась уйти.

"На что же они надеются все"? стояло у нея неотступно в голове во все время проезда своего от Мурзина к Харитонию в Огородниках, — "есть же у них что-то определенное, положительное в виду, чего они уверены достигнуть... Ведь вот не мальчик... человек пользующийся здесь известностью, и он так убежденно говорил о переменах после которых Володя мог бы будто вернуться в Россию открыто, не боясь за прежнее... Страшно даже!" сказала она себе вдруг, и нервная дрожь пробежала у вся по телу...

Она вернулась вся озабоченная домой.

В зальце у Лизаветы Ивановны сидели за пяльцами, под наблюдением хозяйки (шла спешная работа ковра), три молодыя особы. Все оне, завидя входящую, с любопытством подняли на все глаза. Двух из них Лариной уже случалось видеть здесь; третья, высокая, тонкая брюнетка, с роскошными темными волосами и бледным лицом была ей незнакома, но она тотчас же узнала ее: это была та самая особа с которою она встретилась у дверей Мурзина.

Девушка видимо узнала ее в свою очередь, зарделась мгновенно румянцем по самые глаза и низко, низко склонила голову над своею работой.

Настасья Дмитриевна, не останавливаясь, поспешила пройти к себе.

— Ну что, андел мой, каковы дела? заговорила, входя за всю, Лизавета Ивановна, — хлопочете вы?

— Да, нужно мне было съездить опять... по одному обстоятельству, пролепетала она. — Скажите, кто это у вас новая, бледная такая, красивая, за пяльцами сидит? спросила она тут же.

— Красивая, точно, андел мой, и хорошая, больно хорошая, благочестивых родителей дочь, завздыхала вдруг маленькая особа, — я за нее каждый день особливо молюсь, потому... начала и не договорила она...

Ларина поглядела за все с удивлением:

— Потому... что?

Та озабоченно замотала головой.

— А чтобы, значит, Царица Небесная, прошептала она своим своеобразным языком, — прикрыла ее ризою Своею, душу ея от соблазна и наваждения лукаваго отвела...

— Как ее зовут?

— Курсакова, андел мой, Курсакова, Лидия Петровна. Отец ея казначеем служит... Хорошей фамилии люди, старинные, пожилые ужь, по-Божески живут. Младшая это дочь у них; старшия замуж хорошо выданы... И этой вот самой Лидии Петровне отличныя партии представлялись, да вот тут это самое... не договорила она опять.

— Несчастная любовь? сказала с полуусмешкой Настасья Дмитриевна.

— Несчастная, именно что несчастная! вскликнула Лизавета Ивановна, — потому, первое, женатый человек...

— Женатый?

— С женой они, по нонешнему, врозь живут; она с другим, с мужем родной сестры в связь вошла и дети у них даже, — ноне ведь это, андел мой, очень просто, без стыда, потому страха Божеского в людях нету уж нисколько, и кто закон блюдет того даже глупым почитают... Ну, а сам он тоже вот этим самым занимается как бы душу невинную девичью с пути истинного совратить...

"Мурзин"! чуть не произнесла громко Ларина. — Влюбил ее в себя? спросила она.

Лизавета Ивановна скорбно закачала головой:

— Влюбил, или чем иным смутил, только как потерянная она ходит, не ест, не пьет, родителей своих аж до отчаяния сокрушает. Потому понять нельзя: в дом к ним самый этот человек не вхож и о нем даже, можно сказать, более догадываючись дошли, а не так чтобы доподлинно, то-есть... Может, даже и напрасно на него поклеп взвели (маленькая особа набожно перекрестилась при этом), а только-что с того самаго времени у нея это и пошло как начала она разными науками заниматься.

— Что же, она, лекции что ли слушает?

— Не, отец пущать перестал. Сам он человек с понятием, доходить до всего может... Ну, и полюбопытствовал он в эти тетрадки заглянуть, и заметил он, — что именно не скажу вам, андел мой, потому я от Писания сколько-нибудь могу, а насчет этих наук и прочаго светского темна темнешенька, прямо говорить надо; а только-что он мне,- я с ним в давнем приятельстве нахожусь, — "это, говорит, и не такую молодую голову с толку сбить может, потому наболтано тут всяческого; лучше, говорит, пусть поменьше знает, да чтобы в Бога и закон веру не потеряла." Так и запретил ей ходить. Тут и затосковала она не в меру, однако противу отца с матерью не супротивилась, как они люди почтенные, настоящие, и она их действительно душой уважает, да и нрав-то у нея вообще, как у голубки, знаете, самый это тихий, ласкательный... А только, завздыхала опять Лизавета Ивановна, — узнали намнясь ея родители что она с каким-то ученым где-то видается и все ночи на пролет книжки какия-то от него читает, и от того самаго и сон и аппетит потеряла совсем...

— Голубушка Лизавета Ивановна, сказала Ларина, — познакомьте меня с этою девушкой! Ея душевное состояние интересует меня... и понятно мне, я сама чрез все это прошла, я бы, может-быт, могла ей быть полезна.

— Ах, андел вы мой, на слове на этом вашем душевном спасибо! воскликнула радостно та;- дай-то вам Царица Небесная в эвтом предмете благоспоспешения всякаго!.. Сейчас, сейчас я вам ее сюда приведу...

— Куда же вы, я сама могу к ней пойти туда; ноги вы свои берегите! удерживала ее Настасья Дмитриевна.

Но старушка с юношескою торопливостью поднялась на эти слабыя ноги свои и поплелась в зальцу.

— Ушла! объявила она, разводя руками, чрез несколько минут возвращаясь оттуда;- вас испужалась ишь, говорят девушки.

— Меня! промолвила Ларина машинально; ей было совершенно понятно из-за чего именно вид ея "испугал" эту заинтересовавшую ее собой жертву той же умственной путаницы, из которой сама она "выкарабкалась каким-то чудом", говорила она себе теперь.

— Как теперь чужой кто, объяснила Лизавета Ивановна, — так она и прочь, аль вся в себя, как улитка, уйдет, слова от вся не добьешься. Ко мне даже редко ходить стала, как-ан прежде всех чаще, бывало, по соседству — на Чистых Прудах они тут живут, домик у них свой, — всех чаще за пяльцами шить приходила, аль другую какую работу возьмет, потому насчет жалости, если помочь кому нужно, первая это она завсегда бывала... Ну, а ноньче разве в недельку раз на часок забежит, да и опять домой, эти его книги читать что от них покой потеряла она совсем.

Маленькая особа глубокопечальным взглядом глянула на свою собеседницу, примолкла на миг и заключила нежданно:

— Что это, андел мой, как нынче свет мудрен стал! Умных-то да ученых почитай развелось видимо-невидимо, а только я так спрошу: кому нонче жить хорошо?

"Кому, в самом деле"? — словно никогда не представлялся ей этот вопрос с той высшей, душевной точки отправления с которой, чувствовала она, делался он ей теперь Лизаветой Ивановной, — пронеслось в голове Настасьи Дмитриевны. И обе оне тяжело задумались и примолкли.

Часу в одиннадцатом вечера — половина дома уже отошла на покой, и сама хозяйка, уложив свою сиротку и разцеловавшись за сон грядущий с привередницей Таисией Филипповной, собиралась опочить на узком и жестком диванчике служившем ей ложем, — никогда небывалый в такую позднюю пору звон колокольчика в передней поднял переполох в укромном обиталище Лизаветы Ивановны. Таисия Филипповна привскочила и застонала на своем сеннике; проснувшаяся девочка заплакала; гимназистик в одной рубашечке растерянно метнулся в сени отворять, по привычке, дверь. Лизавета Ивановна принялась испуганно креститься, но тут же вспомнив слышанное ею утром от Лариной что к ней вечером обещался приехать "по делу" Ашанин, успокоила своих домочадцев и спустилась со своей светелки вниз, как-то вдруг инстинктивно разсудив что с таким "кавалером", каким она помнила "Владимира Петровича" (она его лет пятнадцать не видала), "не годится оставлять девицу одну", да еще "в ночной час".

Поздний гость был действительно Ашанин. Маленькая особа (он ее едва узнал, во приветствовал самым дружеским образом) пригласила его в зальцу, куда вышла из своей комнаты и Ларина, и усадила все к тем же пяльцам, составлявшим как бы центр тяжести этого покоя.

Вести привезенныя Ашаниным очень обрадовали Настасью Дмитриевну:

— Артистический кружок, говорил он, — чрезвычайно доволен, узнав что вы согласны будете дать в нем несколько представлений. Условия такия: вам — половина частаго сбора; выбор пиес предоставляется вам, а они со своей стороны подберут подходящих актеров. Завтра утром будет к вам старшина распорядитель, с которым, если вам будет угодно — и это я вам советую — вы можете заключит формальное условие.

— Не знаю как и благодарить вас, Владимир Петрович!..

Он надеялся что вслед за этим у них завяжется "артистическая беседа", с которой ничего не будет уже легче перейти на обычныя ему амурныя темы, но девушка ограничилась этою "благодарностью"; она очевидно не была вообще расположена теперь разговаривать. Он попробовал было "приняться" за Лизавету Ивановну, заговорил о покойной Марье Яковлевне Лукояновой, о Троекуровых, — но маленькая особа умирала от сна и то и дело крестила маленьким крестом свои позевывавшие поблеклыя губы. Старый красавец повертелся еще минут пять на своем стуле, встал наконец, простился, и в довольно кислом настроении духа отправился прямо спать домой.

Это нисколько не помешало ему впрочем, два дня спустя, сидя за утренним пасьянсом с актером Ростиславцевым и распространяясь опять о "необыкновенном прозрении" гадалки Варвары Афанасьевны, разказывать приятелю с самым искренним внутренним убеждением следующее:

И вообразите, как напророчила, так в точию и исполнилось. Моя (он разумел Фараонку) третьяго дня, как вам известно, написала мне чтоб я непременно приезжал к ней вечером. Я обещал и непременно хотел исполнить, но мне после театра необходимо было заехать к этой Лариной, которой я устроил спектакли в Артистическом клубе. Я там у нея засиделся так долго что ехать к моей было уже поздно, отправляюсь к ней вчера. Приезжаю, — мебель куда-то перетаскивают, выбегает ея кухарка и объявляет мне что "Татьяна Николаевна уехали на новую квартиру, а на случай я буду, приказала мне сказать чтоб я не трудился более ездить к ней"...

— Что вы! вскликнул отставкой тенор;- так, значит, у вас с ней кончено?

— На веки вечныя! торжественно возгласил Ашанин, сверкая глазами;- буквально по предсказанию Варвары Афанасьевны что выйдет у вас ссора из-за той самой дамы которая привезет мне из Петербурга известие об отказе вам бароном в декорациях.

— Удивительно! глухо произнес Ростиславцев, качнул значительно головой, и перенес даму пик на короля червей.

VI

Кто герой? Тот кого не потрясет взгляд женщины.

(Из индийской рукописи I века по Р. Х.)

В третьей из зал галлереи palazzo Pitti[56], пред Видением Iезекииля Рафаэля, этою маленькою картиной, по грандиозности замысла и очаровательности исполнения не имеющей себе равной в мире, стояли в одно светлое октябрьское утро белокурый молодой человек и молодая же дама в круглой, червой шляпе с пером, из-под которой выбивались в изящном безпорядке пряди вьющихся рыжеватых волос. Оба они равно молча и недвижно глядели на возносимаго "поверьх облак" апокалиптическими зверями и ангелами-детьми Бога сил, но далеко не равное повидимому впечатление производило на них это гениальное полотно. между тем как в жадно взиравших на него, широко раскрытых глазах молодой женщины сказывался не поддельно-страстный художественный восторг, на лице ея служанки выражалось не то какое-то тоскливое утомление, не то досадливое сознание чего-то удручающаго и раздражающаго.

Она быстро обернулась на него, вся сияющая.

— Что вы про это скажете? проговорила она по-русски в полголоса, в виду целой стаи Американок облеченных во все цвета радуги, в сопровождении своих кавалеров и под

водительством чичероне подвигавшихся в это время к картине.

— Символика какая-то! процедил он сквозь зубы и как-то неестественно щурясь.

— Ну да, конечно, живо возразила она, — так и должно быть, ведь это видение пророка… в Библии… Разве вы не читали?

— А вы? спросил он ухмыляясь.

— Что я?

— Читали сами?

Нет, она, бедная, "сама" не читала, или хорошо не помнила, и залепетала, видимо сконфузясь.

— Все равно… Вещь сама за себя говорит… Это такая прелесть, такое величие и поэтичность концепции!..

— Принято восхищаться, известно!..

— The famous vision of Hezekiel! скверным английским акцентом произнес за ними водивший американскую компанию чичероне.

Заатлантические девы и Джонатаны так и кинулись все вооруженными pince-nez глазами за картину.

— Beautiful indeed!.. O-o, the lovely painting![57] загоготали кругом их птичьи гортани.

— То же вот, пропустил белокурый, — не сказать бы им — оне бы так и прошли мимо, не заметив; а на, мол, говорят им, вот этим самым восхищаться требуется, оне и в писк!.

— Так на то оне и из той страны где ничего этого нет и быть не может, проговорила дама чуть-чуть пренебрежительно и скороговоркой, отходя и направляя шаги в следующую залу.

"Да и не нужно вовсе никому", чуть не добавил к словам ея молодой человек, но почему-то сдержался и поплелся за нею, устало передвигая ноги.

Она повела его прямо к очаровательному портрету герцогини Урбино, известному под названием "La bella di Tiziano",[58] остановилась и опять спросила:

— Ну, а это как вам нравится?

Он посмотрел на полотно, потом за нее, и усмехнулся слегка.

— В роде вас несколько!..

Она вся вспыхнула от удовольствия.

— Разве потому что и она рыжа как я… Это любимейший цвет женских волос у мастеров венецианской школы, как бы поучительно вставила она, — но где же мне с моей frimousse идти в сравнении с этою идеальною красавицей! Я никак не ожидала что вы способны льстить.

— Льстить? повторил он, — а я думал, напротив, вы на меня разсердитесь.

— За что?

— Да потому что лицо у этой госпожи самое интеллигентное.

— Ах, вы с этой стороны нашли у вся сходство со мною? расхохоталась молодая женщина.

Он не смутился:

— Нет, у вас все же больше смысла в выражении.

— Merci beaucoup!.. Но скажите, переменяя тон молвила она, глядя ему с любопытством в глаза, — неужели вы и к этой, просто женской, прелести остаетесь равнодушны как и ко всему остальному?

Молодой человек засмеялся:

— С чего же приходить в восторг от немаго полотна!

— А еслиб она была живая, влюбились бы? быстро спросила она.

— Не знаю… Я не влюбчив, почел он как бы нужным прибавить.

Она видимо хотела что-то сказать на это, не сказана, и только с неопределенным выражением пожала полными плечами своими:

— Поедемте домой, вас ничем не разшевелишь.

— Поедемте! усмехнулся он опять.

Они вышли, спустились с лестницы. Ливрейный слуга в штиблетах и culotte courte кинулся за ожидавшим на площади ландо вашей дамы… Но она уже переменила намерение.

— Не хотите ли на полчаса сюда, в Boboli?[59] обратилась она к своему спутнику, — у меня есть билет для входа от префекта.

— Извольте.

— Предложите мне руку по крайней мере, засмеялась она опять.- Quel sauvageon! прибавила она, глядя ему еще раз прямо в глаза.

Он молча подставил ей локоть; она продела в него руку, и так и повисла на его руке…

У входа в сад разгуливал полицейский страж. Взглянув на пропускной билет поданный ему молодою женщиной, он почтительно приложил руку ко лбу и указал вслед за тем на раздваивавшуюся впереди аллею, как бы говоря: "вправо или влево, куда угодно"!

В саду было пустынно как на Робинзоновом острове. Тень и свежесть так и манили укрыться от жгучаго италиянского солнца под густолиственную сень вековых платанов. Наша чета уселась на скамью у мраморного Фавна…

— Ах, как хорошо! заговорила дама, сладостно вдыхая полный аромата воздух;- когда подумаю какая теперь гадость в Петербурге!.. А здесь "лавром и лимоном пахнет." Это у Пушкина, кажется, где-то…

— Не знаю.

— В Каменном Госте, да, вспомнила… Вы читали?

— Н-нет, кажется…

— Вы и поэзии не любите? вскликнула она чуть не в отчаянии.

— Отчего же! Некрасова даже и очень люблю.

— Некрасова, протянула она с гримаской неудовольствия на алых губах.

— Ну, конечно, "мужицкий поэт", по вашему? скривил он губы в свою очередь.

— Разве он "мужицкий" в самом деле? удивилась она; — я ничего его не читала… Нет, нет, погодите: "Что ты жадно глядишь на дорогу", что Цыгане поют, — это ведь его?

— Его.

— Ну, вот это я знаю. Ce n'est pas mal du tout… И все в таком роде, в демократическом, у него?

— "Муза мести и печали", как-то невольно изысканно проговорил молодой человек:- настоящий поэт своего… нашего, как бы поправился он, — поколения.

— Да-а? Ах, я непременно в таком случае хочу прочесть его всего. Я хоть и старуха сравнительно с вами, но все же еще недалеко отстала от этого вашего поколения… Мы заедем отсюда к Vieusseux[60], и я скажу ему выписать для меня…

— Хорошо сделаете! одобрил он качнув головой, — просветитесь.

— Вы находите что мне это нужно? промолвила она сериозным тоном, межь тем как глаза ея смеялись.

— Вы, разумеется, говорите это насмех, возразил он несколько раздраженным тоном, — и полагаете что вам черезчур достаточно того что вы знаете и в чем, по вашему, вся мудрость человеческая заключается, а что вот меня, напротив, требуется выдрессировать к разумению всех тех прелестей которыя мне недоступны… по великой тупости моей, конечно, так ведь это? заключил он с насилованною иронией.

— За что же вы разсердились, Василий Иваныч? жалобным голосом произнесла молодая женщина;- я ничего про себя не думаю, кроме того что ничего сериозно не знаю, как все мы, светския, а уж никак не имею претензии "дрессировать" вас к чему-то… А мне просто жалко… ну да, жалко что такой молодой человек… молодая душа не находит в себе никакого отклика на все эти Чудеса искусства которыя я вожу вас показывать вот уж сколько дней, а вы, как слепой какой-то, точно не видите совсем… Ведь все это наслаждения, autant de jouissances, которыя вы будто назло отбрасываете от себя, а мне это больно… не разсердитесь на меня опять! — больно за вас.… Вы не можете же мне запретить de vous porter intérêt, как бы неудержимо досадливо вырвалось у нея, и легкий румянец выступил под белоснежною кожей ея лица.

Та же внезапная краска покрыла на миг и его бледныя щеки; глаза сверкнули… Но он тотчас же опустил их.

— Что же делать, не так воспитан видно чтобы понимать изящное, подчеркнул он, стараясь

сохранить тот же иронический тон.

— Не правда! горячо вскликнула она, — вы не семинарист какой-нибудь чтобы не понимать…

— Бывший семинарист именно, перебил он ее;- вы мой паспорт видели: "Не кончивший курса в Казанской Духовной Академии, сын священника…"

Она замахала руками.

— Не правда, не правда, vous parlez le franèais tout aussi bien que moi, я не верю вашему паспорту!…

— Вы полагаете, он… фальшивый?

Молодой человек изменился в лице…

— Оставьте, какое мне дело! торопливо, не доканчивая фраз, заговорила она: я знаю вас, а имя все равно… Вы имеете свои причины, и я уважаю… Когда-нибудь потом… когда я заслужу ваше доверие… вы мне скажете. А теперь я не хочу, не хочу, и не смейте говорит об этом!… Я. знаю только que vous êtes aussi bien né que moi, и совсем не то чтобы вы не были в состоянии понимать, а просто vous vous faites fort de mépriser l'art, и вот это самое я и хотела бы знать почему вы считаете нужным его презирать?

Невольная усмешка пробежала в складках губ Поспелова (читатель, не сомневаемся, давно успел узнать его, равно как и его собеседницу): слова ея видимо польстили его самолюбию. Но брови его в то же время сжались с каким-то сосредоточенным, чтобы не сказать мрачным, видом.

— Я ваше искусство, "l'art," не презираю, начал он с заметно дидактическим оттенком в речи, — и не скажу, как сказано это было несколько лет назад, впрочем совсем не в том смысле какой был дан этим словам во враждебном лагере, что "сапоги выше Шекспира". Я даже нахожу что оно имело свою raison d'être в прежнее время, когда человечество не было так развито, или, говоря определительнее, когда из этого человечества почиталось людьми лишь известное привилегированное меньшинство, — все же остальное были илоты, рабы, вассалы, порабощенныя, безправныя, безгласныя существа, потерявшие всякий образ человеческий. Для этого меньшинства искусство действительно представляло собою некий облагораживающий элемент. Заказывать картину какому-нибудь Рафаэлю или Тициану все же был шаг вперед против гладиаторской резни или глупых рыцарских турниров, хотя бы уже потому что тут уважался человек безотносительно к его происхождению и за труд его платили деньги, а не брали его даром. Наконец это давало производящей этот труд личности возможность выходить из состояния илотизма в котором находились ея собратия…

— Отчего же "илотизма"? возразила графиня Драхенберг;- искусство в Италии разцвело именно в ту эпоху когда почти каждый город был отдельною республикой и граждане этих городов пользовались полною свободой. Здесь во Флоренции, я читала, было даже время междуусобных ея войн, когда самый низший класс народа, его так и зазывали "i popolani", взял верх над остальными и правил ими сколько-то месяцев или лет, уже не помню.

— Ну, это все равно! нетерпеливо вскликнул эмигрант, в своем качестве революционера не ведавший да и не почитавший нужным знать никаких исторических фактов:- полного социального равенства здесь, как и в остальном мире, никогда не было; свободой пользовались только богатые, умевшие тем или другим путем накопить себе капиталы, которыми они, как всюду и всегда, эксплуатировали труд бедняка, наживались потом его и кровью.

— Да, это конечно… недоумело пролепетала сбитая с позиции молодая женщина;- и это "всюду, всегда", comme vous di-tes, бывает avec les pauvres gens!.. вздохнула она самым искренним образом при этом.

Голос Послелова зазвенел внезапным, горячим увлечением:

— И вам, скажите, никогда не приходило за мысль что этот вечный гнет богатаго над бедным не может быть долее терпим, что социальныя условия при которых возможен он должны быть низвергнуты?…

— Une révolution, да? прошептала она дрогнувшим голосом, забегая вперед того что ожидала от него услышать. Мурашки пробежали у нея по телу, ей стало разом и жутко, и в то же время сладко, сладко от того именно чувства неопределенного страха которое заставило ее вздрогнуть.

— Вам это кажется очень страшно? чуть-чут насмешливо сказал он.

Она подняла на него глаза с каким-то внезапным и очень забавным выражением отваги:

— Совсем нет; en France, sous la Terreur, женщины которых веди на гильйотину удивляли всех своим безстрашием. Если les gens de notre classe должны погибнут в России я не побоюсь, soyez sûr… Мне кажется даже что эта мысль умереть на эшафоте, предо всеми, должна экзальтировать так что на него пойдешь весело как на бал… "Décolletée et manches courtes", пронеслось у вся тут же капризным зигзагом мысли, "чтобы показать им себя в последний раз dans tous mes avantages", и сама она чуть не расхохоталась громко этому своему "сумашедшему" представлению.

— Для чего же вам погибать когда вы могли бы, напротив… вскликнул было и тут-же оборвал эмигрант.

— Что могла бы, что, говорите… говорите же! с лихорадочным нетерпением в глазах, в звуке голоса приставала она к нему;- вы можете все мне говорить, все, я умру скорее чем вас выдать… я ведь знаю…

— Что вы знаете? быстро обернулся он на все, в свою очередь, с изумленным и недовольным выражением в чертах.

Она мгновенно сложила руки на груди каким-то детски умоляющим движением:

— Ради Бога, не сердитесь на меня, я нечаянно… слышала…

— Что слышали?…

— Ваш разговор с товарищем в гондоле, в Венеции… помните, на серенате?… Вы не подозревали что подле вас были Русские и говорили между собой громко… Со мною была Tony, ея муж и маркиз. Но все они слушали музыку, и я одна… Я никому из них не сказала, никому, клянусь вам… И мне так захотелось после этого познакомиться с вами…

— Так, значит, смущенно спросил Поспелов, — маркиз не случайно нашел меня в моем отеле?

— Нет, я его послала, сказав что мне нужен русский… наставник для моего сына… Мне и нужно было действительно, поспешила она прибавить, — и что я слышала от моего курьера что в отеле Бауер есть один такой… Он вас нашел там… и привел тогда…

Поспелов поник головой и как-то неопределенно развел руками.

— Я узнала из вашего разговора, с лихорадочным одушевлением продолжала между тем графиня, — что вы были сосланы куда-то на север… C'est inique cela! вскликнула она как бы в скобках, — но ушли с каким-то мужиком и чуть не погибли в лесу от холода, и вас только спас un flacon de cognac, который вам дала эта дочь кого-то… я не разслышала… Скажите мне пожалуста: c''était une jeune fille, или замужняя?…

— Она была дочь становаго… и не замужняя, как-то само собою сорвалось с уст молодаго человека. Его словно вдруг захватило и понесло что-то чему он противостоять уже не мог.

— И она любила вас?

— Думала вероятно… Во всяком случае я был не первый, кажется, прибавил он не то пренебрежительно, не то как бы в чем-то извиняясь.

— Вам не было жал ее покидать?

Он пожал плечами:

— В вашем исключительном быте, промолвил он с известною долей полузапущенной, полуискренней театральности, — субъективныя чувства каждаго из вас так привыкли подчиняться верховной, гражданской идее, которой все мы посвятили жизнь, подчеркнул он, — что о них никому из вас просто не думается, да и как бы стыдно думать… Особа эта к тому же и не имела ничего привлекательного для меня… Она мне была нужна как соглядатай за отцом, которому поручено было наблюдать за мною, и как пособница для моего бегства; я и воспользовался ея… расположением.

Графиня словно только и ждала этого, на иной взгляд безсердечнаго, чтобы не сказать цинического, признания. Она всплеснула руками и воззрилась восхищенным взглядом в своего собеседника:

— Вы герои все, герои!.. Знаете, ведь я всю жизнь мечтала встретить кого-нибудь такого как вот вы, un citoyen, un Brutus, который отдал бы себя всего на служение d'une noble idée, восклицала она, вполне убежденная в эту минуту что ни о чем ином действительно не мечтала "всю жизнь";- я даже думала что cara patria их вовсе производить не может… но теперь я вижу что есть они, есть!..

Эмигрант с видимым изумлением вперил в все глаза:

— Я этого никак не ожидал, признаюсь, промолвил он радостно зазвеневшим голосом:- вы, аристократка, петербургская барыня… каким образом могли сложиться у вас такия честныя убеждения?

— Ах, именно потому что я петербургская и все это там наизусть знаю… весь ваш монд… Понимаете, ведь они все там "рабы", comme vous dites… хуже — лакеи! Ils vous disent de belles paroles, такие либеральные на словах, а на деле… Alexis Толстой так хорошо про них сказал что у них в натуре у всех "ползать пред тем или этим на брюхе"…[61] Я всю жизнь провела с ними, насмотрелась на войне… Патриотизма, des sentiments élevés, ни на грош ни у кого; смелаго, честного слова никто сказать не смеет; только и в мысли как бы ножку подставить своему же collègue, и самому сесть на место повыгоднее, entrer en faveur, да денег, денег побольше сорвать, жалованья, аренд, земель с лесами, там их теперь тысячами десятин раздают, кто только выпросить сумеет… Вы понимаете что когда все это видела вблизи и всю эту изнанку

знаешь, можно получить отвращение к Петербургу и тем кто в нем держит le haut du pavé?..

И алыя, полныя как спелая вишня, губы молодой вдовы сложились в очень милое в своей искренности и весьма шедшее к характеру ея подвижного лица выражение гадливости.

Эмигрант не отрывался теперь глазами от этого свежаго лица с румянцем объявшего ее внутренно волнения, и Бог весть что в эту минуту преобладало в его чувстве: восхищение ли женщиною, или уважение ко гражданке которую "прозревал" он в ней теперь… Он усмехался какою-то счастливою улыбкой:

— Безполезно было бы следовательно, говорил он, — объяснять вам raison d'être революционной партии в русской молодежи, партии прямо положившей себе задачей, coûte que coûte, низвергнуть ту монгольскую власть и азиятские порядки при которых у нас плодиться и множиться могут только рабы и лакеи; вы сами это теперь должны понимать.

— О да, я понимаю!.. И это у вас все так интересно, вскликнула она снова:- заговоры, тюрьмы, бегства, точно в романе Александра Дюма père… Я говорила это тогда же маркизу… вообще, разумеется, говорила, поспешила она прибавить, — мы с ним после этой серенаты поехали в гондоле под Pont des soupirs, и мне так страшно сделалось, вспомнив что тут прежде происходило… Скажите, неожиданно вдруг спросила она, — вы не задеваете масок когда собираетесь для ваших совещаний в каком-нибудь souterrain?

— Н-нет… для чего это? проговорил он, несколько огорошенный.

— Я думала… Прежде всегда так, кажется, делали чтобы не могли узнать лиц, в случае еслибы тут случился какой-нибудь шпион…

— Правительство так мало дает денег на своих шпионов, и все они так глупы, кроме тех которые для пользы дела поступают иногда в эту должность из ваших же, что всех мы их на перечет знаем, возразил на это не то хвастливым, не то пренебрежительным тоном Поспелов;- из вашей же собственной среды предателей быть не может, потому каждый знает что за малейшую измену его ожидает смерть.

— Смерть! повторила протяжно графиня с омрачившимся внезапно лицом и вздрагивая, — да, это конечно… Но зачем, скажите, пронеслось у нея и громко сказалось тут же, — зачем этого бедного Мезенцова убили, — un si brave homme! Я его хорошо звала.

— Убили не бравома, не вашего знакомаго, а официальную личность, шефа царских шпионов.

— Вы же сами говорили что все они так глупы…

Поспелов нахмурился.

— Тут вопрос в принципе, докторально проговорил он:- надо было доказать правительству что ни brave homme'a ссылки, ни преследования не в силах сломить энергию и живучесть революционной партии. Смерть генерала Мезенцова, это вызывная перчатка смело брошенная теперь революционною молодежью в лицо автократии! подвернулась ему под язык бойкая фраза, уже сказанная им в разговоре с Волком, и фраза эта произвела теперь желанное действие: графиня опустила глаза, закачала головой и убежденно произнесла:

— Oui, certainement, le principe est une grandee chose…

— Борьба началась, продолжал Послелов торжественным тоном, — борьба на жизнь и смерть…

Она, мгновенно забыв о "principe", схватила его за локоть, глядя ему с каким-то жадным перепугом в глаза:

— Да? Вы знаете? Кого-нибудь еще будут убивать?…

— Я ничего не знаю, а только… Послушайте, Елена Александровна, перебил он себя, говоря себе мысленно что "ее требуется несколько просветить", — если только вы, как я в праве заключить изо всего того что вы сейчас говорили, личность вполне развитая, вы должны понимать что есть высшия требования и что жертвы приносимыя им представляются для каждаго истинного революционера вопросом совершенно второстепенным. Русская пословица говорит: "дрова рубят, щепки летят", а французская: "qui veut la fin veut les moyens". Прямая задача состоит в достижении победы революционных, избавительных начал, пояснил он, — а что при этом придется устранить несколько личностей, так ведь это только необходимое… весьма печальное, может-быть, я согласен, но необходимое, повторяю, неизбежное, естественное последствие самаго революционного процесса. Ни один из фазисов поступательного движения человечества к своему освобождению не обходился без крови, — ничего с этим не поделаешь, Елена Александровна… В мире насекомых даже, вспомнилось ему вдруг смутно прочитанное им в какой-то популярной зоологической статье нечто могшее, по его мнению, "идти к делу" в эту минуту, — есть породы в которых абсолютным условием рождения особей является повальная смерть всех рожениц.

Фантастическая зоология, увенчалась полным успехом:

— Это ужасно что вы мне говорите, тяжело вздохнула графиня, — mais c'est bien intéressant! И она еще раз склонила покорную голову пред "неотразимою", представлялось ей, аргументацией своего собеседника. "Он так хорошо говорил и так умно смотрел при этом" что она "все бы кажется слушала, слушала его… и глядела"…

Новый вопрос, имевший вызвать новое с его стороны "красноречивое" возражение, готов был уже слететь с ея уст, когда вдруг из-за поворота аллеи донесся до них скрип чьих-то торопливых шагов по песку и сквозь зелень ветвей мелькнул светло-серый цилиндр…

— Маркиз! вскликнула графиня, и все говорившее в ней за миг пред этим оживление слетело разом с ея лица.

Эмигрант как-то безсознательно быстро поднялся с места, которое занимал рядом с нею на скамье, но тотчас же оправился и встал, вытянувшись в рост, чуть не в боевую позицию.

Быстро подходивший к ним между тем маркиз Каподимонте отнюдь впрочем не вызывал своим наружным видом необходимость такой позиции. Свежий, точно сейчас из ванны, элегантный от прюнелевых ботинок и до этого своего серого цилиндра, которым, скинув его с головы за десять шагов не доходя графини, он салютовал ее (saluer du chapeau) как шляпой, откидывая руку в сторону, с белым цветком в петлице и широкою улыбкой под красиво прикрученными усами, — он, казалось, был весь веселость, любезность… и безпечность.

— J'arrive de Rome, говорил он, с какою-то особенною изысканною почтительностью пожимая протянувшуюся к нему руку молодой вдовы и самым дружеским образом приветствуя в то же время заморгавшими глазами ея кавалера, — et je tenais à vous donner le plus vite possible des nouvelles de madame Tony… Я узнал в отеле где вы останавливались, объяснил он, — что вы взяли окончательно ту виллу на Colli[62] на которую я вам указывал и уже переселились туда. Я ехал к вам, когда проезжая мимо Pitti, узнал ваше ландо, — et me voici!

— Grand merci, cher marquis! преодолевая насколько могла свою досаду, улыбалась ему она;- что Tony, хорошо ей в Риме живется?

— Отлично повидимому; нашла очень приличное и теплое помещение — в Риме холодно зимой — и до весны не думает оттуда трогаться.

— Le prince Jean toujours? как-то вдруг разсмеялась графиня.

— Toujours! подтвердил, сдержанно, как бы только из учтивости улыбнувшись со своей стороны маркиз, и тут же воскликнул: — Но какая неосторожность, графиня: вы сидите на мраморной скамье; это гибельно в нашем климате и этого никогда не следует забывать здесь. Я вижу что monsieur Pospelof, примолвил он с самою любезною улыбкой по адресу молодаго человека, — гораздо предусмотрительнее вас: он очевидно все время стоял на ногах пока вам вздумалось отдохнуть здесь от вашей… вероятно продолжительной… прогулки sous ces ombrages fleuris (он указал кругом рукою), но в этом случае я осмеливаюсь думать что к его courtoisie примешивалась некоторая доля эгоизма (un petit grain d'égoisme), — ему следовало бы предварить вас.

— Никакой courtoisie и никакого эгоизма! отрезал, впрочем видимо смущенно, эмигрант; — я не подумал… да и не знал в сущности что не следует садиться…

Маркиз только взглянул на него, и все так же вежливо усмехнулся опять.

Графиня Драхенберг была уже на ногах. "Противный человек, проносилось у нея в мысли, всегда все видит и все угадывает!"…

— Merci pour le bon avis, сказала она громко, — нам, Русским, никогда не мешает напоминать о здоровье; мы нисколько не привыкли беречь его… Может-быт потому, промолвила она нежданно, прищурившись куда-то вдаль, — потому что мы вообще не дорожим жизнью…

У Поспелова почему-то дрогнули веки. Маркиз вопросительно, чуть не тревожно вперил глаза в говорившую.

Но алыя губы ея улыбались теперь опять с тем "certo non so ché di voluttuoso"[63] что неотразимо чаровало его в этой "северной женщине", и лепетали любезно и лениво:

— Вы ехали ко мне с визитом, cher marquis; я предлагаю вам место в моем экипаже и обед à la fortune du pot; вы мне за столом разкажете подробно о Tony и о "вечном городе".

Прозорливый Италиянец был обезоружен. Он молча, с радостно забившимся сердцем, поклонился в знак согласия и, подставив, не откладывая, локоть молодой женщине, повел ее мерным шагом к выходу.

Она усадила его рядом с собою в ландо. Поспелов занял место на передней скамье; во все время пути он поводил глазами то вправо, то влево, тщательно избегая встретиться ими со своими спутниками, и сложив губы трубочкой, свистал не слышно какую-то арию.

VII

Шесть недель прошло уже со дня поступления Поспелова на должность учителя к маленькому сыну графини Елены Александровны Драхенберг, но в первый еще раз сегодня довелось ей разговориться с ним в волю. До этой минуты ей как-то не удавалось оставаться с ним рядом вдвоем. Прежде всего ее, когда они жили в Венеции, "стерегли, точно две цепныя собаки" (мы

повторяем то что говорила она себе внутренно), маркиз Каподимоате и гжа Сусальцева, — один из ревности, другая из того "бившего в глаза" чувства недоброжелательности к молодому эмигранту которое, по объяснению пылкаго воображения графини, происходило, "как это почти всегда бывает dans les grandes passions, вследствие страсти испытанной ими первоначально друг к другу"... Долг безпристрастного повествователя обязывает вас впрочем заметить что г-жа Сусальцева, проводя в ту пору все дни и вечера с "кузиной", менее всего заботилась о чувствах ея к кому бы то вы было. После размолвки с мужем и внезапного его отъезда в Россию, "кузина" представлялась ей некиим спасительным берегом, к которому удобно было ей до поры до времени подтянуться со своею еще не совсем надежно оснащенною на-ново ладьей. Разчет тут был самый прямой. Во-первых, нужны были деньги, которыя, как мы уже знаем, и ссужены ей были банкиром под поручительство графини. Во-вторых, князь Іоанн, во след которому стремилась она во Флоренцию, должен был, как оказывалось, провести там не более трех, четырех дней, предполагая затем ехать в Рим и пробыть там до русских Святок. Надлежало следовательно вместо Флоренции, куда сначала предполагали ехать "этаблироваться" на зиму обе молодыя женщины, склонить "Нелли" к переселению в италиянскую столицу, куда звал ее и князь Іоанн, говоря что "иначе у него во всей тамошней русской колонии не будет ни одной интимной знакомой". На основании сделанного им при этом перечисления лиц составлявших в ту пору эту колонию в Риме, Сусальцева сообразила, с другой стороны, что это были по большей части все незнакомыя ей, к тому же принадлежавшие к самой fiue fleur петербургского света особы, с которыми войти в близость было бы для вся гораздо затруднительнее там, особенно при той сравнительно весьма скромной обстановке в какой она находилась теперь, чем на берегах Сены, где она соперничала, благодаря мужней расточительности, со всеми светилами парижской vie moudaine. ей нужен был поэтому в Риме, как на будущее время и в Петербурге, женский, твердо поставленный в свете, chaperon, под покровом и при содействии которого она могла бы быть признана тамошним русским людом "своею" и почувствовать себя "tout aussi à l'aise qu'à Paris." Chaperon этот был готов в лице все той же "кузины Драхенберг", состоявшей по родству, воспитанию и отношениям в ближайших связях с большинством этих лиц из fine fleur. Она перезнакомит ее со всеми. Она же в "случае чего примет на свой страх и те "assiduités" князя Іоанна которых чаяла прекрасная Антонина Дмитриевна видеть себя лично предметом в Риме, где при тех же условиях (то-ест за тою же удобною ширмой старой дружбы его к "Нелли") нет никакой причины, весьма правильно разсуждала она, не быть продолжению того что так хорошо началось в Венеции"... Об этом своем новом plan d'installation на зиму гжа Сусальцева толковала каждый день графине, которую, с другой стороны, старался всячески склонит на то же маркиз, принужденный ехать сам в Рим по каким-то весьма для него важным и не терпевшим отлагательства делам. Но молодая вдова оказывалась неподатливою. "Климат в Риме, утверждала она, был, по мнению докторов, с которыми она советовалась еще в Петербурге, вовсе неблагоприятен для здоровья ея мальчика. К тому же она должна была бы там представиться ко двору, так как лично знакома с королем и королевой Италии, при которых состоял покойный муж ея в пору пребывания их величеств в Петербурге. "Это неминуемо повлекло бы за собою то что я была бы принуждена aller dans le monde, а этого именно я вовсе не хочу", заключила она самым решительным тоном.

— Но почему не хочешь, почему? приставала к ней однажды более обыкновенного Антонина Дмитриевна:- твой траур кончается, ты недостаточно еще стара чтоб отказаться вдруг от света безо всякой разумной причины, и еслибы ты это сделала, все стали бы отыскивать эту причину — а так как люди злы прежде всего, то и нашли бы ее в том по всей вероятности чего у тебя и в голове нет, может-быть...

Графиня поняла намек и вся вспыхнула.

— Причину, ты хочешь звать причину! пылко вскликнула она, — так я тебе скажу: в Риме проводит эту зиму моя мать, графиня Пршехровщевская, имевшая безумие выйти замуж уже бабушкой за человека годящагося ей по летам в сыновья, который безстыдно обирает ее и обманывает и которого она, как я видела это в проезд мой чрез Вену, ревнует как тигрица; а я, ты должна это понимать, отнюдь не желаю ни поощрять смешныя стороны моей матери (les ridicules de ma mère), ни краснеть за них...

Елена Александровна не лгала, не прибегала к извороту чтобы скрыть свою тайную мысль; и мнение петербургских докторов о климате Рима, и то что графиня Пршехровщевская, наполовину разоренная своим gandin-супругом, и ревновавшая его "как тигрица", проводила там зиму, все это было совершенно справедливо, — но все же того что составляло главную, хотя может-быть и для вся самой не совсем ясную, сущность ея помыслов графиня не высказывала... А высказать ее могла бы она в двух словах: "на что мне теперь свет, дома гораздо любопытнее".

Любопытство, страстное желание узнать, "изучить" новый, незнакомый ей и "во всяком случае интересный тип", — "l'attrait de la saveur particulière du nihiliste russe", как объяснял это со своей стороны с саркастическою улыбкой маркиз Каподимонте в интимных разговорах своих об этом с Mme Tony, вот что несомненно стояло теперь первым пунктом в мысленном процессе молодой вдовы. Она действительно "знала наизусть" все что называют светом", и чем-то безвозвратно постылым веяло для вся теперь ото всего что носило на себе его печать. Как старому gourmet ищущему какою-нибудь особою пряностью доставить еще неведомое наслаждение своему давно пресыщенному вкусу, ея дремавшей со времен "венгерского тигра" и воспрянувшей теперь с новою силой жажды жизни и фантазии требовалось именно то нечто, ни с чем ей знакомым не схожее, не укладывающееся ни в какия известныя рамки, резко характерное, полустрашное, полузахватывающее, что сказывалось ей немым, но уже красноречивым для нея языком в усталом лице, в молчаливой, но высокомерной усмешке этого белокурого "заговорщика, с которым," говорила она мысленно с какою-то сладостною дрожью по всему телу, "свело ее тайное предопределение судьбы"...

Но как мы уже сказали выше, образ жизни ея в Венеции не представлял ей удобного случая к сближению с ним, к тем "интимным разговорам" которые в ея чаянии должны были открыть ей так много "d'absolument neuf", так много безконечно интереснаго. Маркиз являвшийся к ней каждый день в час пополудни для поездок к антикварiям и неизменно сопровождавший ее по вечерам на площадь Святаго Марка, г-жа Сусальцева с отъезда мужа разделявшая все трапезы с нею и ея домочадцами, "вечно стояла между ею и им", досадливо жаловалась себе самой Елена Александровна. Поспелов со своей стороны отнюдь, повидимому, не питал намерения выходить из строго определенной роли учителя-наемника. Он аккуратно приходил к своему ученику в 10 часов утра, диктовал ему "из Ушинского", выслушивал со строгим вниманием заданный "разказать собственными словами" урок из Краткой Священной Истории (графиня непремено требовала чтоб "этот предмет" входил в программу занятий русского преподавателя) и безучастно, но по возможности совестливо объяснял урок "на следующий раз" из той же Истории, видимо стараясь не подымать глаз на неизменно присутствовавшую при этом мать мальчика. То же повторялось за завтраком и обедом: он сидел опустив глаза в тарелку и разжимая рот лишь для необходимых и по возможности кратчайших ответов на робкие вопросы с которыми изредка обращалась к нему хозяйка. Но самолюбие, а с ним какое-то всегда присущее женщинам в подобных случаях чутье говорило графине что источник этой чрезмерной, ледяной сдержанности с всю молодаго человека следует искать ни в чем другом как в тех странных, становившихся с каждым днем непонятнее для нея отношениях в которых находился он с неразлучавшеюся с нею Tony, и что пока она, эта Tony, будет тут, следует отказаться ото всякой надежды что он переменит свою явно предвзятую manière d'être.

Лишенная возможности "заглянуть ему в душу, voir clair dans son âme", как выражалась она внутренно, она тем прилежнее наблюдала за ним с его внешней стороны — и приходила все к более и более благоприятным для него заключениям. "Он революционер", говорила она себе (и мы знаем что в этом заключалась для вся не малая доля притяжения), "но порядочный человек, un hommecomme il faut, вместе с этим. У него ничего нет общаго с теми нигилистами которых изображают нам всегда такими грязными, с длинными волосами и ногтями вечно в трауре. У него ногти круглые, taillés en amande, и длинная аристократическая рука; он за столом никогда не ест с ножа, как эти бедные мои госпитальные доктора в ***, которые так лязгали бывало ножами своими по зубам за обедом что у меня просто делались des nausées, и я вставала и уходила, под предлогом головной боли, чтобы не видеть этой гадости; его скромный единственный костюмчик, бедный, у него нет средств иметь их много, а то, я уверена, он не уступил бы самому маркизу в элегантности своей tenue. Костюмчик его сидит на нем свободно и красиво.... И ко всему этот его pur accent franèais! Сомнения быть не может: он — un jeune homme de bonne maison приставший по искреннему убеждению к новым теориям, и из-за этого вероятно разсорился с родными, покинул их и все, et comme les nobles chevaliers errants d'autrefois, отправился искать правды в этом скверном мире, а за это попал в тюрьму и изгнание, pauvre jeune homme!..." И все сильнее разгоралось у молодой вдовы желание "поверить все это в действительности", услышат подтверждение своих предположений из собственных уст "бедного жёнома".

С неотвязчивою Tony и союзником ея, маркизом, графиня согласилась наконец на том что она приедет в Рим, "но не надолго и не сейчас, так как намерена прежде всего устроиться le plus chaudement possible во Флоренции, которую избирает своею главною кантонир-квартирой, как говорил ея покойный муж, и откуда она уже будет делать, если только позволит здоровье сына, — "ceci avant tout", внушительно объясняла она, — непродолжительныя поездки в то или другое место, в Рим, Неаполь, может-быть в Палермо, которого она никогда еще не видала.... Антонина Дмитриевна не спорила более, так как заручилась формальным обещанием "кузины" дать ей письмо к проводившей зиму в Риме приятельнице своей Lizzy Ваханской, самой живой и известной изо всех петербургских mondaines, которая звала Tony еще в Петербурге, когда та жила у старушки Лахницкой, всегда была мила с всю, "и будет теперь в восхищении, я тебе за это отвечаю, горячо утверждала Елена Александровна, сделать тебе les honneurs de Rome и не только познакомить, но и подружить тебя со всею русскою колонией". Кроме того, положено было что Сусальцеву будет провожать в Рим маркиз, который брался устроить ее там наикомфортабельнейшим образом и содействовать ея вступлению в общество местной римской аристократии, с которою связывали его многия дружеские и даже родственныя связи, так как его мать была Римлянка родом.

В силу такой комбинации вся наша компания перекочевала с венецианских лагун на берега Арно, с тем чтобы прожить еще там вместе недели две... Когда, собираясь туда, графиня заметно краснея и с тревогою на душе сообщила русскому учителю Никса о предположенном отъезде, спеша оговорить при этом что "это впрочем будет в значительной степени зависеть от того, согласится ли он, Василий Иваныч, переселиться с ними во Флоренцию и продолжат, давать там уроки своему ученику", Поспелов счел почему-то нужным изобразить на липе своем как бы некоторое недоумение и колебание... Елена Александровна ужасно заволновалась.

— Еслибы вы имели жестокость мне отказать, вскликнула она жалобным тоном, — я просто не знала бы что делать! Никс сделал с вами так много успехов et je tiens tant чтоб он хорошо учился по-русски... Насчет условий, вы понимаете, и она заикаясь смущенно отвела голову в сторону, не зная "как деликатнее приступить к этому отвратительному вопросу о деньгах", — я там хочу нанять виллу... вы будете жить с нами... et quant aux honoraires, вы понимаете, уже не по урокам... а помесячно, я думаю... Я впрочем не знаю, словно испуганно перебила она себя

тут же, — как вы захотите… И сумму тоже назначьте, ради Бога сами… сколько хотите… Я все с радостью готова… когда идет дело об образовании моего сына…

— Нет, уж это вы как знаете, обрывисто промолвил эмигрант, — а ехать мне все равно.

— Я даю нашему Англичанину trois cent livres[64] par an, заторопилась сказать графиня, — и если вы зайдете что это достаточно…

"Много!" невольно сказалось в первую минуту в сознании молодаго человека, но он вспомнил о Волке, как-то безсознательно вздохнул… и кивнул в знак согласия.

Она обернулась теперь на него вся сияющая.

— Merci de toute mon ame!..

И протянула ему свою мягкую, белую руку с узором синеньких жилок, будто разрисованных под ея тонкою кожей.

Он прикоснулся к ней оконечностью пальцев, глядя куда-то поверх головы ея и силясь не моргнуть, между тем как кровь внезапным приливом била до боли в его виски.

Угадала ли это молодая вдова, не знаем; но никогда еще с тех пор как познакомился он с ней не случалось Поспелову подслушать в ея голосе таких радостно звенящих нот.

— Маркиз и Tony, действительно точно пела она какой-то торжествующий гимн, — пробудут с нами там только две недели, а потом уедут в Рим.

— И вы тоже? как бы невольно вторя ей зазвучал в свою очередь голос эмигранта какою-то нежданною, ребяческою шутливостью. "Она не поедет", говорило ему внутреннее чутье с неотразимою уверенностью. "Ни за что не поедет!.."

Он был прав: она ответила ему таким же ребяческим, беззаветным смехом и задвигала отрицательно указательным пальцем по воздуху.

— Ни, ни, ни, никак! Я им обещаю и буду говорить до конца что буду и пусть они меня там ждут, а я… я их надую… надую! повторила она, как бы чувствуя какую-то особую потребность и удовольствие выразиться теперь именно этим вульгарным, "смешным" в ея понятии словом. — Я жажду тихой домашней жизни после нашей здешней toute en dehors… Разве что вам очень скучно будет? не то вызывающим, не то робким тоном домолвила она вопросительно.

Поспелов хотел что-то ответить… и не нашел. Глаза их встретились на миг, и разом опустились у обоих.

Разговор на этом оборвался и не возобновлялся более. А в первое время по переезде во Флоренцию графиня повидимому и думать позабыла о намерениях своих вести "тихую домашнюю жизнь". Там во многочисленной колонии соотечественников нашлось у нея так много давних друзей, а те кого встречала она здесь впервые выражали так искренно и сердечно желание сблизиться с всю и ея красавицей "кузиной" что дамы наши еще более чем в Венеции охвачены были и унесены круговоротом светской разсеянности; им не хватало дня для всех тех matinées, luncheons, обедов и parties de campagne, которые давались и устраивались в честь их… Так продолжалось до отъезда гжи Сусальцевой в "вечный город", куда рыцарем-охранителем отправился с всю маркиз Каподимонте. На следующий же день графиня Драхенберг перебралась всем домом из hôtel Victoria в нанятую ею виллу под городом, по

соседству с San Miniato, знаменитым во дни флорентинской независимости монастырем-цитаделью, где на разрушенных ныне валах, возведенных в те дни всетворящим гением Микель-Анжело, стоял великий художник с фитилем у пушек, отстаивая родной город от осаждавшего его врага, — и уведомила знакомых что назначила у себя приемные дни и вечера по пятницам. "Иначе, говорила она любезно и весело, — те кого я желаю и кто желает меня видеть, рискуют совершая целое путешествие сюда не заставать меня почти никогда дома: я жадна до искусства, а его целыя сокровища в этих италиянских Афинах, как говорят Немцы, и их мне в целый год не пересмотреть". Эти обязательно посвященныя свету пятницы давали ей возможность располагать свободно своим временем во все остальные дни недели. "Наконец-то!" воскликнула она с радостным всплеском рук, сообщая Василию Ивановичу о том как она "хитро распорядилась"…

Наконец!.. Надо было прежде всего, по ея понятиям, растормошить его, заставить зазвенеть в нем артистическую струнку, а то "он черезчур уже как-то кажется ко всему равнодушным", разсуждала молодая женщина… И начались у них те художественныя странствованья по галлереям и храмам Флоренции, обращик которых мы имели случай представить читателю в предыдущей главе и о конечных последствиях коих он узнает из следующих.

VIII

Какое счастие: и ночь, и мы одни.

Фет.

— Вы устали, графиня? говорил в десятом часу после обеда на вилле молодой вдовы маркиз Каподимонте, исчерпав весь свой запас новостей о Раме и о "Mme Tony", которая, как оказывалось из его передачи, при содействии Lizzy Ваханской, воспылавшей к ней с первой минуты ея приезда самою горячею симпатией, была там отлично принята, успела представиться ко двору и весьма даже понравиться королевской чете, и "плыла теперь на, всех парусах по волнам самаго неоспоримаго успеха".

— Да, признаюсь, отвечала полулежавшая в длинном кресле хозяйка, улыбаясь и сдерживая зевок прорывавшийся сквозь ея пышныя губы;- это путешествие по переходам из Uffizii в Pitti с их нескончаемыми подъемами и спусками m'a cassé bras et jambes.

— Если прибавить еще к этому вашу продолжительную прогулку в Boboli, чуть-чуть подчеркивая пропустил он лукаво, — можно только удивляться вашей неутомимости.

— Мой спутник за то, живо возразила она, все так же улыбаясь и насмешливо кивая на Поспелова, который, опершись о косяк открытых на обе половины дверей выходивших на широкий балкон-террасу увитый пахучими розами и козьею жимолостью, глядел куда-то вдаль, не принимая участия в разговоре,- мой спутник никак не в праве этим похвалиться: он до сих пор не может придти в себя от утомления.

— Или от избытка (le trop plein) перечувствованного им… артистического наслаждения, с легкою задержкой, как бы затруднившись на миг в выборе надлежащаго прилагательнаго, и самым любезным тоном промолвил Каподимонте:- monsieur Pospelof ne nous a pas fait ses confidences.

— Я не художник, для меня этих наслаждений не существует, отрезал тот, не переменяя положения.

Маркиз усмехнулся недоброю усмешкой под своими прикрученными усами, но не лочел

нужным ответить и обращаясь к графине:

— Я осмелюсь дать вам совет пораньше спать лечь сегодня, сказал он:- вы собираетесь, кажется, завтра опять на довольно утомительную экскурсию. Vous allez à Vallombrosa[65] avec la comtesse Gamba, n'est-ce pas?

— Как это вы успели узнать, едва приехав? засмеялась она.

— Мне сказала сама графиня, которую я встретил на Lungarno[66], едучи с железной дороги в мой отель, и которая даже имела любезность пригласить меня быть ея кавалером... если только, разумеется, вы будете на это согласны, добавил он, почтительно склоняя свою тщательно расчесанную и раздушенную голову.

— Ah, marquis, pouvez vous en douter! протянула она в свою очередь с шутливою преувеличенностью акцента и движения округло приподнявшихся рук. И тут же:- Что за прелестная женщина эта графиня Гамба! вскликнула она, — je suis plus que jamais sous son charme... И какая наружность, красивая, умная и характерная! Да, это действительно дочь вашего жгучаго неба, вашей плодородной земли...

— Вы и она — равной величины светила в созвездиях противоположных полушарий: в ней, вы правы, жгучий и резкий пламень нашего юга; в вас — обаятельно мягкая прелесть ваших задумчивых северных сияний, проговорил за это маркиз с тою цветистостью и собранностью речи которыя так неподготовленно и зауряд, в силу гения самой народности их, срываются с языка людей его страны, и сопровождая слова свои страстным взглядом по адресу "delia bella Russa".

Она звонко разсмеялась:

— Monsieur Pospelof, vous entendez? Вот как надо говорить с женщинами, а ваше поколение этого не умеет; хуже, пренебрегает этим!...

— У нашего поколения задачи посериознее чем говорить любезности женщинам, все также не двигаясь уронил на это эмигрант точно с башни.

"Che brutta bestia (какое животное)"! чуть не произнес громко изящный Италиянец, и губы его сложились в выражение какой-то неодолимой гадливости.

— Вот почему, может-быть, возразил он, медленно и веско, но все с тою же благовоспитанною сдержанностью в тоне,- и оказывается оно, к сожалению, таким безплодным до сих пор в своих попытках всякаго рода создать что-либо могущее стать на высоте его претензий (pouvant s'élever à la hauteur de ses prétentions).

Он сидел полуобернувшись к дверям балкона в какой-то выжидательной позе, как бы готовясь к новому, решительному возражению на то что ожидал услышать от своего оппонента... Графиня, со внезапною тревогой, готовая со своей стороны, в качестве хозяйки дома, тотчас же остановить (mettre le hola), чаемую ею "стычку" между этими двумя — она давно это разумела — взаимно враждебными по натуре своей лицами, быстро перебегала взглядом от одного к другому...

Но никакой "стычки" не последовало. Молодой человек как бы и вовсе не слыхал "вражьей отповеди". Он невозмутимо продолжал глядеть со своего места куда-то в даль, весьма эффектно облитый золотым сиянием полного месяца глядевшего на балкон со своей недосягаемой высоты.

Каподимонте поднялся не спеша с кресла, взял шляпу и протянул руку хозяйке:

— A demain, comtesse!.. Monsieur, j'ai bien l'honneur de vous saluer, примолвил он с холодною учтивостью, кивая головой в сторону Поспелова и, не ожидая возвратного поклона того, — мне его не нужно, мол, — направился из гостиной по пути к сеням.

— Au revoir, cher marquis! крикнула ему в след графиня, и обернувшись на эмигранта:- Проводите его по крайней мере! сорвалось у вся досадливо.

— На то у вас лакеи есть, отрезал он как ножом и, словно сорвавшись с привязи, быстро зашагал по комнате к дверям противоположным тем откуда вышед гость.

— Погодите, куда же вы!.. не то испуганно, не то жалобно вскликнула она.

Он остановился на пороге соседней зады.

— За что вы разсердились.... Василий Иваныч? пролепетала она.

— Не разсердился... А только я у вас не... мажордом... или как это у вас там называется, раздраженно ответил он.

Прищуренные глаза ея побежали за ним чрез все разстояние покоя:

— Подите сюда!.. Сядьте... вот тут, против меня...

И так повелительно и в то же время ласкательно звучал в эту минуту ея голос что Поспелов, внезапно затихнув, молча и послушно двинулся к ней и опустился, потупив веки, на указанное ею место.

— Мажордом... как вам не стыдно! Разве я вас когда-нибудь... разве кому-нибуд может придти в голову de vous traiter en subalterne?.. Я обратилась к вам как к близкому... другу дома, прося вас оказать любезность человеку... моему гостю... с которым, passezmoi le terme, вы были просто неучтивы...

Он слегка покраснел.

— Чем это? Я не ваш светский, тонкостей ваших не понимаю.

— Неправда! перебила она:- я вам еще утром сказала что я думаю о вашем семинарстве. Вы очень хорошо все понимаете и только нарочно... Вы наконец и за меня за что-то вознегодовали: я старалась всячески втянуть вас в разговор; вы упорно молчали, или когда удостоивали нас с маркизом ответом, то так что он ни на минуту не мог усомниться что он вам противен...

— За то он вам необыкновенно приятен! с какою-то безудержною вдруг запальчивостью так и вылетело у Поспелова.

"Ревност"!... У молодой вдовы забилось сердце...

— Ужасно! насмешливо протянула она;- оттого мне так и досадно что вы делаете все чтобы внушить ему о вас дурное мнение.

— Очень мне его мнение нуж... Да что вы это дразнить меня вздумали? перебил он себя на полуслове и весь насупился опять.

— А немножко подразнить нельзя разве? спросила она нежданно, полушепотом, наклоняясь к нему и снизу вверх словно впиваясь смеющимися глазами в его глаза. По лицу его пробежало благоуханною струйкой ея свежее дыхание…

У него задвоилось в глазах и ссохлось как-то разом во рту будто от приступа жестокой лихорадки… Но он не хотел поддаться… Нет, не так, не этим путем, "как бы там ни злосоветовал Волк", разчитывал он, "человек убеждения", достичь власти над нею…

Он откинул голову назад, провел себе по лбу слегка дрожавшею рукой…

— Вам все смешки, Елена Александровна (он, в силу все тех же своих "убеждений", избегал постоянно называть ее ея титулом), смешки да потехи, все тот же ваш светский обычай, хоть и уверяли вы меня сегодня же, пред появлением этого вашего фата-Италиявца, что надоело все это вам давно до смерти… Не даром, видно, говорится что горбатаго одна могилка исправит, промолвил он с видимо намеренною грубоватостью.

Но пресыщенную светом петербургскую барыню чаровала в нем именно эта непривычная ея слуху грубоватость. Какая-то высшая сила мнилась ей в этом… Она с принявшим мгновенно выражение виноватости лицом, безмолвно, чуть не благоговейно внимая глядела на него теперь…

— Вы меня поймали сегодня на эту вашу удочку, продолжал он все так же, — я вам открыл, и сам не знаю как, многое чего вам знать вовсе не нужно… что, как вижу я теперь, может лишь разве на час какой-нибудь занять, faute de mieux, ваше праздное любопытство…

Ona yjke чуть не ллакала.

— Нет, ради Бога, не говорите так, молила она.- Vous me faites mal!… То что я вам сказала утром, я вам повторю теперь: вы для меня toute une révélation, я поняла что вы… и такие же, как вы, благородные молодые люди…. toute une jeunesse généreuse… что вы поклялись все спасти Россию от этих ея взяточников и чиновников, et rendre tout le monde heureux, и что вас за это гонят, сажают в тюрьмы и посылают Бог знает куда… Я это, клянусь вам, Василий Иваныч, — и ея белоснежныя, сквозившие до плеч сквозь легкую ткань платья, руки сложились крестом на груди, — так уважаю… И что это вам вздумалось про меня?.. Так уважаю, je sens en moi tant d'échos à ces nobles aspirations что я Бог знает, кажется, что дала бы чтобы помочь вам всем чтобы добиться того к чему вы стремитесь!..

У нашего революционера судорожно заморгали веки. "Неужели так, просто, без труда и работы с его стороны, сами козыри просятся в руки?", проносилось у него в мозгу.

— Вы, говорите, готовы были бы… помочь? глухо произнес он, будто не разслышав…

— О, да, всем чем могу! восторженно подтвердила молодая женщина.

— И могли бы многим!.. с какою-то внезапною, нервною торопливостью выговорил Поспелов.

— Чем, чем, говорите, я готова…

Он задвигался в своем кресле, собираясь зачать… И вдруг, словно какою-то иголкой, кольнуло его внутренно. Слова Волка пред разставаньем с ним в Венеции звенели в его ухе: "Ты там с всю свои барские выкрутасы сумеешь проделать!" И в то же время почувствовалось ему что "это самое, столь справедливо презираемое в партии барство", переданное ему в кровь от рождения, "будто какая-то наследственная язва", стоит теперь "бревном" между им и тем что

поручено ему исполнить, что "язык у него вдруг какой-то суконный стал" и не поворачивается, не в силах "просить денег у женщины… и еще у этой женщины которую он"… А между тем оне необходимы им там, деньги, он это знает. Не далее как два дня назад получено им было от Волка письмо из Лемберга, писанное шифром, в котором, разобрав его посредством условленного ключа, прочел он следующия, обрывистыя как телеграммы, но многознаменательныя строки: "Застрял здесь по пути; за грошами дело. Пришли что можешь скорее, ждут меня там. Предприятия задуманы великолепныя. Средства Лорда (это был псевдоним молодаго, богатаго энтузиаста принадлежавшего к партии) все туда пойдут. На твой источник полныя надежды всех; не ударь лицом в грязь. Говорил, большой авторитет приобрести можешь, от тебя зависит"…. Поспелов поторопился тотчас по означенному в письме подробному адресу выслать товарищу четыреста франков из шести сот, которые по счастливой случайности принесены ему были в то же утро "в счет жалованья" курьером графини, Джиакомино, исправлявшим у нея должность приходо-расходчика… Но дальше, на задуманныя "великолепныя предприятия" о которых говорил Волк, на них не сотни, а тысячи нужны, и их необходимо достать: на его "источник", прямо сказано, "разчитывают все", и будущее положение его в революционной иерархии зависит безусловно от той великой услуги которую он в настоящем случае может оказать партии… И самый благоприятный момент для этого настал: она сама чуть прямо не предлагает, говорит что "готова всем чем может" и жадно ждет от него указания… Но все же просит у нея денег, денег… Когда ей может придти в голову что тут не партия, а он, он сам для себя… вымогает…

Он заговорил спеша, с насилованною горячностью", "взвинчивая себя", как говорится, шумихою собственных слов, в надежде как-нибудь с разлета, как скакуны на охоте переносятся через ров и ограды, оставить за собою то чувство неодолимой, "барской" брезгливости, что сковывало ему язык, не дозволяло ему с первой же минуты прямо, открыто, "как требовал его революционный долг", приступит к делу.

— Чем вы можете помочь, спрашиваете? говорил он:- всем! Апостолатом, миссионерством, распространением в вашем кругу тех честных убеждений которыми руководится революционная молодежь и лучшие люди вашей интеллигенции, тех "nobles aspirations", как вы выражаетесь, которым, как говорите, вы вполне сочувствуете…

— О да, да! закивала она и головой и руками, — я всегда была d'opinions libérales и объявляла это громко, sans me gêner, всем… Au prince Jean сколько раз, et il était même toujours de mon avis… Миташев, когда он был министром, называл даже меня за это un écureuil révolutionnaire", écureuil, потому что белки рыжи как я, — ee qui au fond n'était pas très aimable pour moi, и что эту белку непременно когда-нибудь повесят в клетке на окно III Отделения… Je m'en moquais comme de raison и продолжала, и буду теперь "распространят" plus que jamais!…

— Ваш либерализм до сих пор был ни на что не нужное светское фрондерство pour passer le temps, перефразировал в более мягких выражениях эмигрант грубый приговор по этому предмету, высказанный ему Волком, — от этого ни на шаг не может двинуться вперед дело революции. Если вы действительно желаете служить этому делу, идти вместе с нами к тем же освободительным целям, вы не должны, не имеете более права довольствоваться этим либеральным дилеттантством. Вы обязаны проникнуться искреннею, святою ненавистью к нашему азиятскому правительству, к социальному строю держащемуся им и для него, к тем преступным порядкам под гнетом которых изнывают миллионы живых человеческих организмов… Вы обязаны постоянно помнить что по всему лицу России ежедневно, ежечасно, стонут разбитыя груди бедняков, текут слезы по изнеможенным лицам страдальцев…

Бойкия слова и готовыя формулы из революционного катихизиса кипучим и обильным ключем полились из его уст; он заговорил о "неисходной страде народной" о "голодных желудках масс"

и о "разжиревших на поте их и крови кулаках и хищниках на всех ступенях общественной лестницы", о "бездарности", о "тупости правителей" и о "доводимых до полного отупения, до лишения всякаго человеческого образа населениях"...

— Oh, c'est affreux! вскрикивала от времени до времени внимавшая ему светская барыня. Вся трепетная, бледная от волнения, глядела она не отрываясь на этого красноречиваго и прекрасного "tribun populaire"... "Mirabeau, Mirabeau!" проносилось у вся в голове, "как он хорош был бы à la chambre des députés, на возвышении, с этим выразительным лицом и чудесными глазами, et que la Russie serait heureuse!..."

— Но час избавления близок, продолжал он с улыбкой чаемаго торжества за устах:- с каждым днем приобретаем мы все более и более приверженцев в интеллигентной среде русского общества, в печати и влиятельных кругах, и с каждым часом все очевиднее начинает пасовать правительство пред силой общественного сознания примыкающаго к революции...

— И вы победите, весь народ пойдет за вами! произнесла в энтузиазме своем она, всплескивая ладонями.

— Народ, повторил машинально эмигрант и словно поперхнулся на этом слове... В памяти его, во всем ея безобразии возставала сцена в кабаке, в эпоху "хождения в народ", три дня его революционной проповеди... — Народныя массы, заговорил он оправясь, — опять доведены вековою тираннией до полускотского состояния, относительно этого нечего себя обманывать. У нас была своя пора розовых иллюзий, страстной веры в народ, когда нам казалось легко мирною пропагандой социальных идей уяснить ему его экономические условия и гражданские права, пробудить в нем сознание своей силы, и тем вызвать его самого на борьбу с автократией, но мы должны были убедиться что на это потребовались бы годы, а нас по пятам преследовало правительство... Мы по-прежнему теперь служим народу, как бы в чем-то извиняясь, добавил эмигрант, — но уже не разчитываем на его инициативу. Победа революции безо всякаго спроса его даст ему свободу и счастие...

Графиня не спрашивала в чем же именно должно было состоять то "счастие" на которое не требовалось никакого предварительного "спроса" у тех кому предполагалось дать оное, и хорошо делала, ей не сумел бы ответить ея белокурый Мирабо. Для него, как и для всей партии, это всегда составляло "вопрос второстепенный", подробность, которую предоставлялось разрешить "самой жизни". Ему достаточно было как-то огульно верить что стоило только "революции" победить "автократию" — и потекут отовсюду млеко и мед по селам и весям пространной России, и неизъяснимым блаженством исполнятся немедля те "разбитыя груди", засияют те "изнеможеныя лица бедняков" о которых говорил он своей слушательнице... И никогда еще так искренно, так всецело не верилось ему в это близкое "наступающее" счастие всех как в эту минуту, в этом высоком слабо освещенном одною лампой покое, с его обтянутыми старинною шелковою тканью стенами, расписным плафоном и широко открытыми на балкон дверями, сквозь которыя вместе с запахом цветов словно врывалась к ним вся млеющая нега италиянской ночи...

В голосе его нежданно зазвучала какая-то умиленная нота:

— Недаром по крайней мере, скажем мы себе тогда, потребовала от нас эта борьба с деспотизмом столько сил, столько жертв... А еслибы вы знали сколько лучших из наших братьев, пока еще не пришел наш час, томится теперь в изгнании, голодает, зябнет, изнывает в казематах, в центральных тюрьмах!..

— C'est affreux? affreux! даже всхлипнула на этот раз глубоко растроганная молодая женщина:-

такая преданность à une noble idée и такая награда за это!.. Но, скажите, неужели нельзя сделать так чтоб эти несчастные ссыльные имели по крайней мере чем топить у себя, и что есть?..

— Как сделать! Нас много, а ограниченных денежных средств которыми может располагать партия едва достает на самое дело революции. Теперь же более чем когда-нибудь, в виду задуманных предприятий, таинственно подчеркнул он, — нужны ей средства, большия средства... и их могло бы доставит ей лишь какое-нибуд очень состоятельное лицо сочувствующее нашим целям, внезапно "с разлета", как он и чаял, сорвалось у него само собою с языка.

— Что же, не дала ему передохнуть графиня, — я первая буду ужасно рада дать что могу... что нужно...

— А рады, так чего же лучше!..

Рубикон был перейден, и так легко, так просто! Словно птицы запели на душе Поспелова.

— Я ничего не вымогаю у вас, Елена Александровна, заметьте, вы сами предлагаете, как бы для очистки совести, вымолвил он с веселою улыбкой и в первый раз с начала разговора обнимая ее всю широко-раскрывшимся горячим взглядом.

Она чуть-чуть прижмурила глаза, как бы от внезапного света...

— Я бы хотела чтоб! мне это стоило хоть какой-нибудь жертвы, но у меня больше денег чем надо... Я не проживала здесь и половины моих доходов, и мой управляющий пишет что за прошлое полугодие у него оказалось невысланных мне двадцать восемь тысяч которыя он положил в банк на текущий счет... Disposezen по мере того как нужно будет, я вам дам чек...

— Нет, нет, живо возразил он, — я отстраняюсь. Этим распорядиться могут только на месте. Я напишу, если позволите, кому следует... со всеми предосторожностями, разумеется, чтобы вашего имени никогда не было... а там можно будет выслать ваш чек тому лицу которое будет уполномочено партией.

— Делайте как найдете лучшим, небрежно уронила графиня и поднялась с места, как бы с тем чтобы прекратить деловой разговор. — А ночь какая, посмотрите, и вид отсюда при этом освещении! молвила она чрез миг, выходя на беломраморныя плиты устилавшие балкон.

Молодой человек последовал за нею....

Вся потонувшая в море лунного света, у ног их лежала вечно юная, убранная во все сокровища своей художественной красоты Флоренция и, разсекая ее пополам, желтый Арно катил по узкой ея долине свои рябившие золотом воды. Узорчатая цепь обнимающих ее гор бежала темно-синею грядой по всей линии горизонта. "Как муж на страже в тишине", выступал венчанный хвоями Monte Senario с приютившимся на его склоне мирным Фиезоле, родиною Fra Angelico. На противоположной окраине, справа над холмом, где некогда, спасаясь от ужасов чумы, внимал Бокаччио из уст очаровательных синьйор и лукавых кавалеров соблазнительным разказам своего Декамерона, неслись бледно-лиловою дымкой пары вечерняго осенняго тумана... А прямо, прямо насупротив, поверх десятков тысяч крыш, памятников, башен, из самаго сердца города, как лучшая его жемчужина, как бы синтез всей изшедшей от него творческой силы искусства, несся к серебряным звездам волшебный Campanile (колокольня) Джотто, с надвигавшимся на него сзади осьмиугольным куполом Santa Maria del fiore... А надо всем этим небо, темно-лазурное, словно окаменевшее, италиянское

небо, и тишь, блаженная тишь как в могиле.... как в раю.... Там, внизу, будто где-то неизмеримо далеко от них, горят огни, снуют кучками люди. А здесь, кругом ни звука человеческого, ни струи в воздухе, ни шелеста в листках роз цепляющихся по пиластрам террасы и доносящих до них свой упоительный запах...

Графиня уронила руки на перила и налегла на них своею пышною грудью.

— Ах, как хорошо! вылетело у вся глубоким, счастливым вздохом.

— Да... хорошо! вырвалось за ней у эмигранта.

Она, не изменяя положения, быстро повернула к нему шею.

— А! наконец-то нашелся такой момент когда и вас зацепило, monsieur l'indifférent au beau!..

— Попался, нечего делать! засмеялся он в ответ весело звеневшим смехом.

Такого "момента", такого светозарного луча, действительно, еще не бывало, не сверкало еще никогда на мрачном фоне его жизни... Он еще не вполне мог разобраться в своих ощущениях, но его уже охватывало чувство какого-то никогда еще не испытанного им удовлетворения. Он исполнил все что от него ожидалось, более чем могли ожидать от него: партии теперь открывался кредит на такую крупную сумму что успеху "предприятий" ничто уже не могло помешать... И достигнуто это прямо, "честно", победным словом "гражданского убеждения", а не тем претившим его "барству" циничным путем на который злорадно указывал ему Волк... Да, он совершил все что предписывал ему его "революционный долг" — и в праве теперь дать наконец волю своему "субъективному чувству", пойти, широко раскрыв жадныя объятия, на соблазн этой ночи этой женщины...

— Попались, повторила она трепетным голосом как бы вся млея и ожидая в свою очередь...

Он без слов подошел к самым перилам, полусклонившись над ней, со страстным, едва сдерживаемым желанием прильнуть тут же поцелуем к отделявшейся от ворота платья нежной коже ея затылка, à la naissance des cheveux, как говорят Французы, к той черточке на которой безчисленными колечками вились ея роскошные пахучие волосы.

— Одна Tony никогда не поймет этой прелести, говорила она тем временем как бы задумавшись на миг. И вдруг, со мгновенно засверкавшим взглядом, обернулась к нему всем телом, очутясь при этом в таком близком разстоянии от него что он невольно подался шаг назад:- скажите, вы ее очень любили?

— Tony?

И он повел с усмешкою плечом: — Tony мне сестра, и мы терпеть не могли друг друга с самаго детства. Она всплеснула руками в невыразимом изумлении:

— Ваша сестра?...

— Да... Настоящее имя мое: Владимир Буйносов.

— Так вы... вы тот ея брат о котором она мне как-то раз сказала en passant что он давно пропал без вести... Vous êtes mon cousin?...

— Если хотите...

— Что?

— Давать мне это название.

— А вы?

И лихорадочно раскрывшиеся глаза ея с побледневшим внезапно лицом так и вонзились в его глаза…

— Я… мне этого мало, едва был он в силах выговорить от подымавшегося ему к горлу внутренняго трепета.

Она вскинулась вся, вздрогнула…

— О, я это знала, я предчувствовала! вырвалось у нея каким-то кликом торжества.

— Что… что предчувствовали?…

— Что?… Что ты будешь мой — вот что! пролепетала она, нежданным движением закидывая ему руку за голову и притягивая ее к своим пылавшим губам…

IX

Neo defait fides.

Tacit. Annales.

Веяло весной, жаворонки уже звенели в разреженном воздухе. Стаявший снег журчал и прядал ручьями по канавам и оврагам. Теплый ветер несся в лицо и кое-где на взлобках паровых полей ложилась уже маслянистыми пластами взрезанная земля под сохой прилежного крестьянина…

Но в кабинете Бориса Васильевича Троекурова во Всехсвятском, еще трещал камин,

…отливами огня
Минувший тесный мир зимы напоминая, [67]

и у этого камина не то в усталом, не то в угрюмом безмолвии сидели сам хозяин и два приятеля его, Павел Григорьевич Юшков и князь Пужбольский, вернувшийся из Италии позднею осенью с Борисом Васильевичем и его дочерью и прогостивший всю зиму во Всехсвятском. Они только-что вернулись все трое пешком из церкви где, в присутствии почти трехтысячного населения крестьян окрестных деревень и рабочих Троекуровского сахарного завода, отслужен был благодарственный молебен за "чудодейственное спасение Освободителя-Царя от руки злодея"…

Все трое равно казались поглощенными теми глубоко захватывавшими ощущениями которыя вынесли они из храма, и менее всего, видимо, хотелось каждому говорить о том чем были вызваны они у него на душе,- а на язык не шло ничто другое.

Троекуров прервал молчание первый. Он прищурился на стоявшие на камине старинные Нортоновские часы:

— Второй час, сказал он, — а Гриши все нет.

— На Савельевской гребле застрял, пари держу, быстро возразил на это Павел Григорьевич:- там теперь проехать — ад!

— Я все ждал, признаюсь, что он к молебну подъедет… начал было опять и тут же замолк Борис Васильевич.

На миг настало опять молчание.

— Да, прислали б их сюда посмотреть как этот народ молился…. неопределенно, понурив голову и как бы про себя, проговорил старый моряк.

Пужбольский понял, и так и подскочил на своем кресле.

— И отдали б их на его, на его суд! воскликнул он:- он бы им показывал настоящий jugement de Dieu, как dans le moyen âge!

Он пропустил пальцы в свою огненную бороду и дернул ее свирепо вниз, словно желая испытать на самом себе предвкушение того что могло ожидать их при таком "средневековом" суде народном.

Дверь из гостиной в эту минуту шумно отворилась. На пороге ея, вся сияющая, показалась красавица Маша, крикнула "Приехал!" и стремительно понеслась назад.

Сидевшие поднялись с места и пошли на встречу приезжему.

Он стоял посреди гостиной, наклонясь над протянувшеюся к нему рукой Александры Павловны и целуя ее, в помятом дорожном пальто, успевший уже загореть докрасна от ветра и весенних лучей в продолжение двадцативерстного переезда в коляске из города, где он вышел из вагона Московско-Курской железной дороги.

— Наконец-то, Гриша, наконец! лепетала радостно Александра Павловна, целуя его в свою очередь в лоб.

Маша стояла подле, широко раскрыв свои вишневые глаза, и глядела на него с каким-то недоумелым выражением, точно спрашивая себя: все тот ли он, не подменили-ли ли ей его?.. Она с ним около году не видалась. По возвращении своем с отцом из-за границы она не застала Гриши в их странах: он уехал в ноябре в Петербург по тяжебному делу в одном из департаментов старого Сената о какой-то лесной пустоши доставшейся ему по наследству от матери, и только теперь возвращался с берегов Невы в родные края.

"Красный такой… и бороду отпустил… и совсем не идет к нему", проносилось у нея короткими абзацами в голове, "и начнут они теперь все обнимать его и разспрашивать… и до самаго вечера не успеешь с ним поговорить"…

Его действительно все спешили обнять теперь: и отец, и Борис Васильевич, и достигший за два последние года размеров пивной бочки доктор Фирсов, и большой приятель его, Mr. Blanchard, едва переводивший дыхание от спеха с которым прибежал с завода на звон бубенцов его ямщицкой тройки. Гриша едва успевал отвечать и улыбался с тем растерянным, словно опьяневшим видом какой имеется всегда у человека в этих случаях, на возгласы, спросы, предложения сыпавшияся на него со всех сторон:

— Цел вернулся, здоров?

— Слава Богу, как видите!.. Телеграмму мою когда получили?

— Третьяго дня вечером… Что так долго из города ехали?

— Дорога ужасная…

— На Савельевской гребле, воображаю…

— Два часа бились, едва вывезли лошади…

— Проголодался? Завтрак тебе готов.

— Нет, благодарю, позавтракал на станции железной дороги, есть не хочется. А чаю выпил бы с удовольствием.

— Сейчас, сейчас!..

И Анфиса Дмитриевна Фирсова, бывшая тут же, кинулась распорядиться.

— Мы вас поджидали к молебну, говорила Александра Павловна.

— К молебну? вопросительно повторил Гриша, и тут же, вспомнив, слегка вздрогнул, потер себя рукой по лицу. — Да, ужасно!..

— Ужасно!.. На таком близком разстоянии… пять пуль — и ни царапины…

— Одна впрочем, как говорят, нашлась в подкладке пальто.

Александра Павловна крестилась:

— Чудо Божие, чудо!.. Как зато и молились за него у вас сегодня, Гриша! Старики, молодые, дети, все плакало…

— Vous l'avez vu? с жадным любопытством в глазах и голосе допытывался Blanchard.

— Qui?

— L'assassin… Le prestoupnik? счел он нужным перевести по-русски.

— Потом, потом! прервал хозяин дома, — дайте ему прежде всего привести себя в порядок и напойте чаем, а там милости просим ко мне.

Чрез полчаса приезжий, умытый и переодетый, сидел на диване подле хозяйки в кабинете ея мужа, куда собрались все обитатели дома внимать вестям о страшном событии привезенным им из Петербурга. Он передавал их взволнованным голосом, еще весь под впечатлением виденного им там и слышаннаго. Напряженно, не отрывая от него глаз, с лихорадочным волнением на лицах, слушали его все. Один Борис Васильевич, сидя к нему в полоборота, как бы разсеянно следил, прищурив веки, за колечками табачного дыма срывавшимися с его губ и уносимыми течением воздуха в пылавший пред ним камин. Чем озабоченнее бывал он внутренно, тем по обыкновению невозмутимее казался его наружный вид… Молодая дочь его, в свою очередь, видимо не намерена была выдавать то впечатление которое производили на нее слова говорившего: она сидела поодаль ото всех, у окна, и наклонив голову, складывала быстро двигавшимися пальцами петушок из какого-то листочка печатной бумаги, поднятой ею с пода.

Я был на Дворцовой площади, разказывал Гриша, когда Государь, часа уже три после происшествия, выезжал из Зимняго Дворца; он ездил к часовне у Летняго сада в память 4 апреля, оттуда в Казанский собор и затем вернулся. Я стоял у самаго Салтыковского подъезда и видел его близко, когда коляска его съезжала и въезжала потом опять под крыльцо. Он был совершенно спокоен… несколько бледен, — он страдает астмой и, говорят, иногда совсем задыхается, — в шинели и бедой конногвардейской фуражке. Площадь с утра кипела народом: часть толпы успела уже разойтись, но еще много оставалось, тысячи две, я думаю, а когда он возвращался из Казанского, все что было на Невском Проспекте ринулось бегом за его экипажем… И все это стоном стонало ура, пополам со слезами… которыя всех нас, признаюсь, равно душили и никто удержать не мог. Подле меня у самых перил стоял старик с длинною бедою бородой, какой-то лабазник или мелкий торговец, по одежде судя. Он обеими руками так и уцепился за эти перила чтобы не сбили его напиравшие сзади и захлебывался громким рыданием: "Батюшка, Божий Помазанник, храни тебя Отец Небесный"!.. Поразил ли Государя этот старческий голос среди общаго клика, только он вдруг обернулся, кивнул в нашу сторону с высоты коляски и чуть-чуть усмехнулся… Я этой усмешки забыть не могу: такая безконечная доброта и глубокая, глубокая печаль… А старик как стоял, так и рухнул на колени… Государь тут же вошел во дворец, сказав несколько слов полицейскому офицеру, стоявшему на подъезде. Тот подошел к нам: "Его величество, говорит, изволил приказать всех благодарить, но просит разойтись, так как императрица нездорова и может быть потревожена шумом". Все смолкло в одну минуту и стало расходиться. Я помог моему старику подняться на ноги, — но он до того был взволнован, что шатался от слабости, и мы его с каким-то парнем из рабочих насилу доведи до Адмиралтейского бульвара, где и усадили чуть живаго на скамейку. Парень побежал к Неве за водой, принес ему. Он выпил, отдышался и опять свое начал: "Грех то, грех на всю Россию какой, в Помазанника Божия палят… Убивцы, изменники"! И до сих пор так и звенят у меня в ухе его голос и эти слова "изменники", примолвил Гриша, нервно передернув плечами.

— И это, воскликнул Пужбольский, — dans sa propre capitale, в трех шагах от своего дворца, Русский царь… И все это возможно, все это будто так должно быть у них!..

— Именно так, продолжал молодой Юшков;- я в тот же вечер встретился в одном доме с одним чиновным лицом, тайный советник какой-то… Разговор, разумеется, шел о том что произошло утром. Каждый сообщал что ему пришлось узнать, услышать в течение дня, всякия подробности, слухи. Господин этот сидел развалясь в своем кресле, молча и позевывая как человек которому все это ужасно надоело. И вдруг слышу: "Ну да", говорит он самым равнодушным тоном, "дух века, поветрие на царствующих лиц: прошлою осенью стреляли в Италиянского короля; месяц спустя в Испанского… у вас сегодня этот Соловьев"… И посмотрели бы вы с каким пренебрежением взглянул он при этом на всех и плечами пожал: "стоит ли, мол, толковать о таком вздоре"!..

— Что же, сказали вы ему что он… вся запылавшая крикнула с места Маша, и не досказав, поспешно отвернулась к окну, учащенно дыша высоко подымавшеюся грудью.

— Не успел бы еслиб и вздумал, ответил Гриша:- ему в это время сунул в руки карту хозяин дома, и они преспокойно отправились к ломберному столу. И какая польза говорит, мало ли их таких в этом милом городе Петербурге!…

— Да, раздраженно промолвил Павел Григорьевич, — ведь то что выросло и выплодилос на этом болоте мы ни в каком другом углу вселенной не увидим. Ни одного ведь живаго места в этой ходячей мертвечине, что зовут петербургским человеком не осталось. Для чего, на какую потребу живет такой человек и как самому ему не придет в голову никогда что он зловредный паразит на русском организме — я никогда не понимал.

— Скажите: гангрена, Павел Григорьевич, заметил доктор, — с каждым днем все сильнее заражающая организм этот своим гниением.

Троекуров, все также не оборачиваясь и задумчиво глядя в пламя камина, усмехнулся унылою улыбкой:

— В Петербурге люди из породы вашего тайного советника обросли словами; будто мхом каким-то непроницаемым, и их тараном не прошибешь. Способность к самостоятельному суждению в них так слаба что они ни минуты не могут продержат никакой идеи в голове и тотчас же роняют ее на пол… Не все же они от природы дураки и негодяи, и у многих из них, я полагаю, должно было не раз являться мучительное сознание своей несостоятельности ко всем к чему только прилагают они руки. Но уяснить себе ея причины никто из них не в состоянии, как не в состоянии разгрызть ореха беззубый старческий рот. Возникла в мозгу мысль — и тут же и вылетела вон, по непривычке, по неспособности к самому простому собственному логическому построению. Рука злодея подымается на русского венценосца. В здравом, ничем посторонним не исковерканном суждении какого-нибудь лабазника тотчас же совершенно правильно и притом исторически верно складывается понятие что покушение на его царя, "на помазанника Божия", есть "грех на всю Россию" и что в какой бы мере ни был к этому греху причастен русский подданный, делом ли, словом или хотя бы помышлением одним, он все равно изменник пред своею страной, своим народом… У петербургского чина из того же данного факта слагается в мозгу нечто невыразимо корявое. "В Европе, разсуждает он, носят высокие цилиндры и длиннополыя пальто — и мы носим пальто и такие же цилиндры; ergo, если в Европе стреляли и в Италиянского, и в Испанского короля, то почему же не стрелять и у нас?" И он этим выводом своим совершенно удовлетворен и успокоен. Он доказал себе лишний раз что он настоящий "Европеец" и "современный" человек, и ничего ему больше не нужно, и он благодушно отправляется затем играть в карты, так как, в убеждении его, он безаппелляционно все решил и спорить с ним может придти в голову лишь какому-нибудь "московскому ретроградству"!

— Et remarquez, заораторствовал опять Пужбольский на своем мифическом русском языке,- что этот петербургский Européen меньше всего Européen dans le sens высшей культуры, что он ничему никогда сериозно не учивается, никогда ничего durch und durch не знает, а помнит опять-таки только одни "слова" которыми он "порос", comme vous dites très bien, mon cher, как мухомор какой-нибудь, не разумевая что они настоящее (то-есть настоящим образом) значут, из чего вышли и к чему действительно могут примениваться…

— Им оттого и царь ни по чем что его у них в головах нет, хихикнул каким-то глухим смехом доктор Фирсов.

Пужбольский схватился обеими руками за голову:

— Oh mon Dieu, mon Dieu, что за путаница, и какою все это скверною штукой un jour ou l'autre разыграться будет!..

Гриша утвердительно кивнул:

— Симптомы скверные, действительно. Накануне отъезда моего, утром, проезжаю я по набережной Мойки на Певческий мост; вижу, — на тротуаре у здания Гвардейского Штаба стоит толпа, человек пятьдесят, уткнувшись глазами в стену. Я соскочил с извощика, — туда. На этом самом месте, как вам известно из газет, произошло покушение… В стене, вдавленныя в известь штукатурки, три углубления: первое в три четверти человеческого роста и в один почти дюйм глубины; другия, перпендикулярно над ним, одно другаго выше и слабее. Это

следы удара и рикошетов одной из пуль... И с ранняго утра до поздней ночи, как говорил мне стоявший тут за мосту городовой, третий уж день стоят пред этим и глядят, одна сменяя другую, толпы кафтанов и чуек, — народ... Подошел я, слышу громкий разговор, не стесняясь... Не молодой какой-то, видимо рабочий, скуластый и сухой, в фуражке и синей поддевке, руки в карман запущены, голос хриплый, но не пьяный, — ни одного тут пьяного не было, — и глаза моргают с каким-то очень злым и решительным выражением, — прямо около меня стоит. Стоит и возглашает: "Не долга расправа — в Неву всех"!.. Я привык к речи рабочаго нашего, крестьянина; только тут тон какой-то совсем особый — нахальный... Заинтересовало это меня. "Кого это, говорю, собираетесь топить, ребята"? спрашиваю и улыбаюсь нарочно... Посмотрели бы вы как он на меня обернулся, как взглянул, — точно раздавить меня этим взглядом хотел. "А это чьих рук дело"? спрашивает, тыча пальцем на стену. Я не успел ответить как загалдела уже чуть не вся толпа. С другой моей стороны очутился какой-то, судя по закоптелому лицу и рукам, слесарь, — такой же на язык бойкий. И пошли вдвоем, — а остальные поддакивают и словечки свои ввертывают... Ну, и наслушался я!.. "Кто, говорят, постоянно бунты затевает? А на Казанском мосту в позапрошлом году что было?.. А нонече зимой как даже через мост их не пускали, медицинских этих самых, что вздумали они, очумелые, к самому Наследнику Цесаревичу продрать?.. А как эту поганку что в генерала Трепова стрелила суд отпустил, что было? кто в жандаров камнями пущал"?... "Известно, господа, студенты! Царь-Батюшка народ от крепости избавил, так этто они со злости на него убивцу послали", подкрикивали уже со всех сторон, и все громче... Даже городовой подошел и стал увещевать "потише, что галдите!" во с видимою робостью и pro forma, — полиция в Петербурге теперь "в полном конфузе", как говорят... Попробовал я однако возразить: "здодей, говорю, показывая на стену, — и не господин, и не студент"... "Все одно", кричат, "из ихняго сословия, одного гнезда воронье. Всех бы на одну осину"!..

— На чистоту, значит! ввернул еще раз доктор.

— Так я и отошел не добившись возможности быть выслушанным. А городовой стоит тут, глядит на меня и только плечами пожимает: ничего, мол, барин, с ними не поделать!

— На этом весь разчет основан, сказал Борис Васильевич:- люди держащие нити того что у вас происходит теперь — люди не глупые и оппортунисты не хуже самого monsieur Gambetta. Попробовали они произвести смуту пропагандой в народе. Ничего из этого не вышло, но из получившегося от этих попыток опыта вынесли они себе в будущее руководство два равно и совершенно верныя положения: народ крепок, но правительство слабо. Ergo: народ надо оставить в стороне, а все усилия направить к тому чтоб это правительство "сделать окончательно невозможным". Пошли убийства правительственных лиц, "террор", в Харькове, Киеве... нагнали действительно страха на местныя власти; в Петербурге сконфузились... изо всего этого все-таки никакого переворота, никакого бунта, никакого прямаго успеха для анархии не произошло. Надо очевидно выше взять, надо прямо схватиться с тем на чем зиждется весь смысл, вся мощь, все упования страны. То чего не в состоянии была достигнуть "пропаганда", разсудили они, сделает цареубийство. Оно подымет этот народ во имя этого же царя, против всего что стоит между ним, народом, и престолом, наводнить кровью Россию... Да, недурно, недурно разчитано! как-то вдруг оборвав заключил устало Троекуров и снова повернулся лицом к камину.

Павел Григорьевич Юшков судорожно провел рукой по лицу:

— "Русский бунт, безсмысленный и безпощадный", повторил он, вспоминая слова Пушкина.

— О назначении временных генерал-губернаторов с чрезвычайными полномочиями вы знаете? спросил Гриша.

— Как же, читали: трех…

— Для единства власти, договорил Борис Васильевич, совершенно повидимому сериозно, но на всех устах в то же время пробежала улыбка.

— А Ветлянская чума что же? спросил в свою очередь Фирсов. — Налетел орел, все в порядок привел?.. А ужаса-то какого нагнали за все государство! В Петербургском Таймсе телеграмма из Царицина помните: "Крикните клич к Русскому народу. Люди мрут безпомощно". И ни слова правды не оказалось… Вот вы не объясните ли нам, провинциалам: на что эта штука понадобилась? Европу пугать что ли?

— Ну да, ну да, визгнул Пужбольский, — лишний дать ей резон кричать о нашем варварстве…

— И безсилии, прибавил Троекуров, — это тоже в разчеты входит…

— C'est ca! Я уже и читал в Débats или какой-то другой газете: "Un nouveau fléau vient de s'abattre sur la malheureuse Russie, déjà dévorée par le double lèpre de la banqueroute et du nihilisme…"

— В Петербурге разказывают, сказал молодой Юшков, — что в Германии один очень умный человек про наши теперешния дела выразился очень зло и, по несчастию, не безосновательно: "Dummheit ist eine Gottes Gabe, doch misbrauchen darf man sie nicht"[68].

Все улыбнулись опять…

— И в Петербурге все этим ужасно довольны и друг другу сообщать спешат? как бы уронил Борис Васильевич.

— Я человек от десяти слышал.

— Непременно! Это удивительная черта русских, и по преимуществу петербургских, современных людей: они в оплевании их чужими и собой самими находят какое-то высшее наслаждение и цинически гордятся этим. Гениальнейший, например, и любимейший для них отечественный писатель — Щедрин, который им из года в год, из месяца в месяц без церемоний говорит что все они или взяточники, или идиоты, когда не то и не другое вместе. Это уже не Гоголевский "видимый смех и невидимыя слезы"; это безкорыстное самоуслаждение своим умственным и нравственным холопством, ничего не имеющее общаго с трезвым сознанием своих недостатков, которое влечет за собою и стыд, и естественное желание отрешиться от них…

— Нет, ни отчего они не отрешатся и ничему не научатся! вырвалось на это у старого моряка таким глубоко скорбным тоном что всех как бы разом обдало холодом:- явятся новые злодеи, новое покушение, и он, и с ним Россия очутятся в том же безпомощном положении! — Вася, что с тобою! вскликнула безмолвно внимавшая до этой минуты разговору Александра Павловна, испуганно воззрясь в сына.

Юноша (ему только-что минуло 17 лет) сидел за углом камина, полускрытый креслом отца от расположившихся кругом его собеседников, но матери его с ея места он весь был виден; от заботливаго взгляда ея не ускользнуло то алчное и болезненное выражение с каким прислушивался он к словам говоривших… Она давно уже следила за ним: она видела полтора часа тому назад с каким страстным умилением молился он в церкви за молебном, знала что с самаго дня получения во Всехсвятском известия о покушении на царскую жизнь он "сам не свой стал", как выражалась она мысленно… Она всегда боялась за его здоровье — он был

всегда такой тонкий, деликатный, рос так быстро, такой был восприимчивый и чувствительный, — а тут он аппетита лишился… или нарочно морил себя голодом может-быть, ел за обедом через силу когда она ему замечала об этом, плохо спал… Вячеслав Хлодомирович Павличек, наставник его, с которым он жил в одной комнате, передавал ей что, проснувшись третьяго дня среди ночи, увидел его, Васю, на коленях пред стулом на котором он разложил Евангелие и читал при свете зажженной им свечи, — и Павличек счел нужным сделать ему за это замечание, сказал ему что "на все есть время"… Сама она всегда была набожна, и Вася унаследовал это от вся. Он с самых юных лет "думал о Боге", но в последнее время это приняло такой характер… Особенно с тех пор как попал ему в руки Дневник Достоевского… Она, конечно, "должна благодарить Отца Небесного за такого сына": он ни единожды еще в жизни не подал повода ни ей, ни отцу упрекнут его в чем-нибудь, он не по годам строг к себе, разсудителен и сериозен… Но это… это… Странно!.. Не в монахи же он себя готовит… И "Борис это давно заметил", она видит, "и его тоже безпокоит это". Он ей до сих пор ничего не говорил, — "он может-быть думает что я это одобряю", проносилось у нея в голове,- но он видимо старается отвлечь его от его мыслей, разсеять его, стал много ездить с ним верхом, брал его зимой всегда с собой за охоту. Н Вася одно время как бы встрепенулся, не так безучастно глядеть стал на все… Но вот "этот ужас" в Петербурге, и он опять… И не нужно было ему совсем здесь сидеть в эту минуту. Они говорят о том, а он слушает — и ни кровинки у него в лице, и руки дрожат, она это чует… Господи, он чуть со стула не свалился…

— Вася, что с тобой!..

И она кинулась к нему.

Борис Васильевич с судорожно заморгавшими глазами быстро обернулся к ним на колесках своего кресла. Все встревожилось, вскинулось…

— Ничего, мама, ничего… устал немножко… голова закружилась, лепетал Вася, бодрясь что было сил.

Маша уже летела к нему с захваченными ею за столе графином с водой и стаканом.

— Устал, да и слал, верно, дурно опять, и в церкви потом… говорила, сама дрожа вся, Александра Павловна.

— Мария Борисовна, захватите-ка в уборной папеньки флакон с одеколонцем и дайте братцу понюхать, да уж и мамаше кстати… она ведь рада случаю из-за вздора в отчаяние приходить… А молодца сейчас в постель — и слать безпробудно до самаго обеда, а за обедом бифштекс покраснее и рюмку доброго портвейну — и он у нас из-за стола как встрепаный встанет, успокоивал всех толстяк доктор, наливая "молодцу" воды и посмеиваясь со своим грубоватым и веселым добродушием.

Юноша отпил, поднялся разом на ноги, оглянулся кругом не то застенчиво, не то задумавшись, — глаза его как-то вдруг загорелись и засверкали, — и прямо направился к креслу старика Юшкова.

— Павел Григорьевич, трепетным голосом проговорил он, — ведь этого не будет, не может быть…

— Чего это, мой голубчик, о чем ты? воскликнул недоумевая тот.

— Что еще раз… в Государя?.. Ведь Бог этого не может дозволить?.. Ведь это грех, грех "на всю Россию", как говорил этот старик Грише…

— И ничего не будет, и нечего вам об этом думать, и сейчас спать, а не то мушку на все тело налеплю! закричал на него доктор, схватил за плечи, повернул к себе спиной и затолкал к двери.

— А ты, Вася, хороший, я тебя люблю!..

И Маша с разбега кинулась к брату, охватила его шею обеими руками, прижалась щекой к его щеке — и оба они разом залились детски неудержимыми, внезапными и стремительными слезами…

X

Маша пришла в себя первая и, с краской стыда во всю щеку за свою "глупость", вылетела вон из комнаты. Брат и Александра Павловна последовали за нею.

Павел Григорьевич Юшков каким-то безсознательным движением — на его старческих веках дрожали блестящия росинки — обернулся к сыну:

— Это поколение лучше чем ваше будет, Гриша!..

Пужбольский не дал ему говорить далее, путаясь сам в словах и с трудом разбираясь в хаосе мыслей приливавших ему в голову:

— Да много ли их, много ли таких! Ведь это… Comment dites vous ca?... Это отпрыск от оставшихся еще кое-где хороших корней… после общей рубки. Mais la forêt n'est plus! Было, fuit — и нет больше. De profundis, отпели и сдали в архив… Мы вот все тут — мы les dernières épaves выкинутые на берег — на новый берег где так скверно… Не нам одним скверно — lisez Nekrassof: кому на Руси жить хорошо? Его дети (он кивнул подбородком на хозяина) не могут думать, чувствовать иначе как сам он, как мы… У нас, comme on dit, связующия нити были, вековыя связи, и с верхом, и с низом, des attaches et des traditions… "Грех на всю Россию" — это прямо из народного чувства выскакивало, и мы это все тут понимаем in imo pectore, потому мы то же самое чувство с молоком матерей наших сосали, et le jeune homme a fondu en larmes, потому что он le fils de son père… А le современный петербургский тайный советник, la satanée "интеллигенция" qui же croit l'Europe и ни с одной сериозной европейской книгой слаживать (сладит) не может — они себя с детства каким молоком питывали! визжал уже пламенный князь на самых высоких нотах своего фальцета:- Они лягушки du Базаров de monsieur Tourguenef сасывали вместо молока, потому что у их матерей, у стриженых, и молока никакого не может быт, а должна прыскивать из грудей одна желчь пололам с чернилами из аптеки — самыя скверныя de toutes comme on sait, пояснил он в заключение.

Смешливый толстяк доктор не выдержал и покатился со смеху на всю комнату.

Пужбольский вперил в него широко раскрывшиеся, недоумелые глаза, не зная разсердиться ли на него, или расхохотаться самому…

Вошедший торопливо слуга подал в это время Борису Васильевичу крупного размера визитную карточку.

Визитная карточка — в деревне… Это было так необычно что Троекуров, не дотрогиваясь еще до нея, поднял глаза и спросил:

— Что такое?

— Господин Свищов изволили приехать, ответил слуга, — а с ними этот самый… граф…

— Какой граф?…

Троекуров поднял с подноса карточку и прочел громко

Граф Петр Капитоновичъ

Снядецкий-Лупандинъ

Двора Е. И. В. Камергер.

Он чуть-чуть пожал плечами, прижмурился:

— Проси! сказал он, — да спроси прежде не желают ли они закусить или переодеться, и в таком случае отведи в отделение для гостей.

Слуга вышел.

— Ты знаешь этого господина? поспешил спросить любопытвый Пужбольский.

— Понятия не имею.

— Еще один из symptômes du temps! хихикнул князь:- все демократы, привилегии и титулы презирают, и в то же же время то и дело выростают как грибы Dien sait comme et pourquoi какие-то графы которых никто не знает…

— Я вам скажу кто этот, вспомнил Павел Григорьевич:- у вас в уезде вдова старушка помещица жила, бездетная, — умерла недавно, — Слуцкая по фамилии, рожденная Лупандина; так он ей племянник родной, и имение от нея наследовал, во владение вступат приехал из Петербурга. А графом сделался года три почитай тому назад, по матери: Полька она была, последняя в роде, стало-быть… Только он как-то добился чтоб ему ея фамилию с титулом дозволили присоединить к своей. Старушка Слуцкая разказывала мне, помню, это очень подробно, да я забыл… И не интересно впрочем… Ну-с, а вот Свищов для чего к вам явился, обратился он к Троекурову, — куриозно!…

— Le général Suichof, усмехнулся Борис Васильевич.

— Да, засмеялся и Юшков, — действительно, по фамилии: свищ. А знаете что ему нужно?

— Не знаю.

— Пари готов держат: в мировые судьи баллотироваться вздумал, а не то и в председатели управы.

— Вы полагаете?

— Посмотрите! С тех пор как приятель его Троженков провалился торжественно второй раз на выборах и вся их партия разбита в пух и не смеет головы поднять, благодаря вам…

— Отчего же мне? запротестовал прерывая его Троекуров:- скажите, благодаря тому что вы у вас четвертое трехлетие предводитель и председатель земского собрания и что с вами готовы служит все порядочные люди в уезде.

— А не будь вас и вашего тузоваго положения, засмеялся старый моряк, — при котором никто не почитает для себя выгодным быть с вами в оппозиции, давно бы и я не сидел на своем консульстве, все "порядочные люди" прогнаны бы были на черняках на выборах, и в управе распоряжалась бы на полной своей волюшке известная орда охочих до земских денег. Нечего вам скромничать, довольно и того что сами вы никакой должности принят не хотите.

— Помилуйте, возразил весело Борис Васильевич, — я гласный, да и кандидатом к вам подбаллотирован на последних выборах...

Он не успел докончить. Дверь из гостиной отворилась, и из вся, расшаркиваясь на ходу, выступили в кабинет приезжие: Свищов, как интродуктор, впереди, за ним граф с польско-русскою фамилией.

Хозяин с вежливою поспешностью встал и пошел им навстречу.

— Граф Петр Капитонович Синдецкий-Лупандин, ваш новый землевладелец и согражданин, пылая горячим желанием нвакомства с вашим превосходительством, как главным представителем крупного землевладения... а также, смею, сказать интеллигенции в нашем уезде, просил меня доставить ему случай... явиться пред вас, si j'ose m'exprimer ainsi, широко округляя руки произнес Свищов напыщенным тоном, в котором чуткое ухо Троекурова тотчас же различило известный оттенок шутовства, того что Франйцзы называют blague и что было ему всегда особенно ненавистно.

— Я не губернатор и не архиерей, ко мне просто приезжают, а не "являются", медленно промолвил он, но с таким оттенком в свою очередь что мгновенно "потерявший контенанс" Свищов отскочил от него и стремительно кинулся жать руку только теперь замеченного им Павла Григорьевича Юшкова. — Очень рад! сказал тут-же Борис Васильевич, протягивая руку "новому согражданину."

— Enchanté, промурлыкал тот, садясь в кресло на которое указывал ему хозяин и, видимо, также не совсем уверенный в своем "контенансе".

Это был средняго роста, гладко выбритый и подчесанный, с красненькими щечками, похожий на подержанного вербного херувима, господин, которому при этой наружности можно было равно дать в иные дня тридцать пять лет, как в другие — пятьдесят, смотря по тому состоянию в котором заходилось его пищеварение (он как истый Петербуржец страдал катарром желудка) и по количеству сна отпущенного ему капризною судьбой за прошлую ночь. Сам он всячески изощрялся придать себе как можно более моложавости, так как со времени получения им графского титула чрезвычайно озабочен был мыслию "передать его в дальнейшее потомство", для чего требовался прежде всего прямой "законный наследник", — новоиспеченный же граф был холост, а следовательно ближайший in spe продолжатель его рода мог явиться у него не иначе как продуктом брака, притом "выгоднаго", к чему он и стремился всеми задушевными помыслами своими. Графский титул, скажем к слову, был для Петра Капитоновича источником безконечного самоуслаждения — и такой же неустанной муки: он с ним, если можно так выразиться, потерял всякий центр тяжести. Неважный и небогатый чиновник одного из безчисленных петербургских министерств, он прожил лучшую часть своей жизни в той серенькой атмосфере тамошняго "второго общества", изо всех сил напрягающагося корчить первое, где равныя там и здесь претензии и скука не искупаются у подражающих тою безукоризненностью форм, внешней культурности и обстановки, которою по крайней мере могут похвалиться подражаемые; где представительницы прекрасного пола смахивают на грандам Александринского театра или шикоэны (sic) на манер героинь романов г. Боборыкина и в счастливом смещении французского языка с нижегородским зазывают друг друга "madame

Гринева", "madame Булыжников"; где на суареях ведет мазурку неистово ревностный и топочущий гвардейский юнкер, в кабинете хозяина, превращенном в коптильную печь, меланхолические столоначальники, облеченные (говоря языком в тех же романов) в "безукоризненныя фрачныя пары", и сумрачные военные академисты в поручичьих погонах ведут "дебаты" о "социальных вопросах", а козырем вечера (известно что в каждом петербургском доме, на какой бы ступени общественной иерархии ни стоял он, есть всегда кто-то вышепоставленный которым козыряют хозяева) является какой нибудь "дяденька статс секретарь" или "дипломат" из турецкаго или бразильского посольства... Петр Капитонович почитался в этом обществе "вполне комильфотным кавалером", с прекрасным французским прононсом (sic) и "настоящими камер-юнкерскими манерами"... Но, увы! этим манерам и "прононсу" долгие годы дано было являть себя на светском поприще никак не выше салона madame Егушевой, жены сенатора и чьего-то товарища, весьма решительной и расписанной барыни, принимавшей "по середам" в синей огромной казенной, казной же омеблированной, квартире, где у каждой двери стоял по службе министерский курьер с горящею как жар медною бляхой во всю грудь... И вдруг, благодаря влиятельному ходатайству за него той же благоволившей к нему "madame Егушевой", министр особым докладом испрашивает ему высшее соизволение присоединить к своей фамилию его матери с принадлежавшим ей титулом, — мечтой всей его жизни, в осуществление которой он до последней минуты верить не смел. Он — граф, граф, "его сиятельство"... Петр Капитонович недели две кряду не мог придти в себя от восторга и метался в наемной карете по городу, развозя знакомым новыя свои карточки украшенныя коровой "о девяти жемчужинах", заказывал и покупал себе по магазинам платки, белье, бумагу, бювары, костяные ножи, всякую нужную и ненужную штуку лишь бы можно было налепить на все в том или другом виде все ту же корону над вычурным шифром... Но вслед затем настали часы "сериозного размышления" о новом своем положении, в течение коих новый граф, вспомнив прочтенное им во всяких французских романах о том что "noblesse oblige" и что "on doit frayer avec ses pairs", решил что для него нет более общества в том "кругу" где он вращался до сих пор; что раз он теперь "вельможа" (он даже усмехнулся не" то радостно, не то несколько совестясь, когда это именно слово "вельможа" влетело ему как-то в голову), ему "так и нужно держать себя"! Вследствие этого Петр Капитонович, весьма аккуратно до тех пор соображавший свои расходы с получаемым им жалованием и процентами с капитала тысяч в двадцать пять наследованного им от родителей, ухлопал в первый же год половину этого капитала на омеблирование нанятой им на Сергиевской ("в аристократическом квартале", как он выражался) квартиры в rez-de chaussée, покупку "по случаю" кареты и саней с медвежьею полостью и заказ выездной с гербовыми басонами ливреи своему слуге. Устроившись таким образом, перекрасив заново карету, на дверцах которой велел, само собою, намалевать опять-таки свой графский герб, и наняв месячного извощика, он увидел себя вполне готовым и достойным "frayer avec ses pairs"... Но к некоторому, несколько нежданному, удивлению своему, новый граф на первом же вечере в свете, - в настоящем, куда повез его один из его сослуживцев, не "титулованный" как он, но давно свой в этом мире, должен был прийти к печальному убеждению что его перы отнюдь не выражали особенной радости, ни даже удовольствия видеть его в своей среде, что на ледяных устах обольстительных дам которым называли его пробегала при этом неслыханном ими до тех пор имени "граф Сандецкий-Лупандин" не то удивленная, не то — о ужас! — насмешливая улыбка... Петру Капитоновичу стало как-то вдруг до очевидности ясно что в этом высокомерном в своем рабском тщеславии и всезнающем в суетливой мелочности своей петербургском grand-monde ему не суждено пустить корней, что он для этого монда останется на веки веков все тот-же какой-то чиновник, "из тех из которых никогда не делаются министры", без состояния и родства, и не совсем уже молодой притом, и даже "не élégant de tournure"... и наконец, просто "ridicule", смешной, с этим, ни к селу ни к городу, пристегнутым к нему графством... Он вернулся весь желтый с того вечера, проклиная все и вся. "Вот еслиб я, говорил он, кривя губы от горечи чувствуемой им во рту, — вот еслиб я сумел подцепит сиротку с полумиллиончиком

дохода как какой-нибудь "duc" de-Печенегов, да притом апломбом бы его владел, так они бы все мне подошвы вылизали, а я… я бы им показал тогда"… Неведомо что бы показал им наш граф еслибы "владел апломбом" дюка, во во всяком случае "сиротки" с подобающим доходом, имевшей служить ему первою ступенью к тому чтобы "показать", у него никакой в виду не имелось. Петр Капитонович весьма благоразумно разсудил поэтому что "до поры до времени надо касательно света попридержаться", и решил искать пока себе "перов" в клубе, куда как раз выбаллотирован был к этому времени.

Там он, действительно, в качестве винтёра, играющаго "по четверти point, при малых онёрах", тотчас попал в желанный соус aux fines herbes. Партнеры его конечно не все были графы и князья, но за то все тайные советники или генерал-адьютанты, "Александровские кавалеры," — шутка! "Да-сь, это не то что каротировать по сороковой с madame Буряткиной, моей директоршей департамента", говорил он себе мысленно, с немою, но блаженною гордостью обегая взглядом троицу сановных лысин сидевших с ним за столам зеленым столом и тщательно изучая при этом самоуверенный пошиб их суждении и речей, тот, выражаясь его языком, отличавший их "форс" которого не доставало ему самому, да и за который, смиренно сознавал он внутренно, он и "претендовать" не мог до тех пор пока носимый им теперь титул "не уравнял положений"…

С практической же точки зрения судя, "титул" скорее ухудшил чем вознес "положение" Петра Капитоновича, продолжавшая все также оказывать ему протекцию "madame Егушева" выхлопотала ему, правда, камергерский ключ; но министр чрез которого должно было идти об этом представление, человек светский и чрез свет попавший на свой высокий пост, скорчил весьма кислую гримасу когда товарищ его повел ему об этом речь. "Я не хочу отказывать вам, mon cher, заявил он, — но пожалуста чтоб уж это было последнее. Я видел вашего Лупандина dans le monde: il y fait triste, figure, сказать по правде, и камергерство так же мало как и графство которое мы ему выхлопотали поможет ему с этой стороны… Он к тому же и способностями не боек, кажется, а?…" Вследствие такого приговора граф обойден был денежною наградой к Новому Году, на которую он весьма разчитывал, так как его "перы" в клубе нещадно обыгрывали его в винт "по четверти с малыми онёрами". С другой стороны, министерские сослуживцы его, частью завидуя, частью негодуя за тот самый "форс" который он действительно начинал мало-по-малу "напускать на себя", честили его за всех перекрестках "индюком в графском звании", "камергером царя Бобеша"[69] и тому подобными изысканными наименованиями, и устраивали ему по службе всякие, как выражались они, "камуфлеты", имевшие целью заставить его "перейти в другое ведомство"… А остатки капитала его в то же время таяли у него в руках с каждым днем все заметнее, и близок уже был, с трепетом сознавал он, тот час когда последний от них грош вылетит из его изукрашенного короной "о девяти жемчужннах" бумажника.

Внезапная смерть еще не совсем древней скопидомкия тетки, — он был единственный ея наследник, — оставлявшей ему сот пять десятин хорошаго чернозема, не заложенных ни в каком банке, и кое-какия деньги в бумагах, выручила его. Он возликовал душой и немедленно понесся за крыльях пара в обетованный край, к той земле о которую, новый Антей, ему стоило, разчитывал он, лишь ударить ногой чтобы воспринять от нея новую, неведомую силу… Да, он теперь землевладелец, ландлорд, "представитель крупной собственности", — ему предстоит теперь "настоящая, соответствующая его фамилии карьера": он "распрощается с министерством" и перейдет на службу по выборам… Его изберут сначала в уездные — даже может быть прямо в губернские — предводители, а там… Там уже само собою, говорил он себе в радужных мечтах, придут и "сиротка", а связи, и "лизание у него подошв петербургским мондом, — вся возобновленная для него справедливою судьбой одиссея дюка, "le duc de Petschenégof", — этого вечного образца, этой лучшей жемчужины петербургской умелости…

В одном с ним вагоне ехал, возвращаясь из-за границы "в родныя палестины", говорил он, давно знакомый читателю, если не позабытый им за давностью времени, Свищов[70]. Московский "браво", как называли его смеясь знакомые, успел совершенно околдовать за это время новаго ландлорда.

Все тот же коренастый короткошея, чрезмерно по мере накопления лет раздавшийся в ширь, Свищов, со своею щетиной полуседых волос на плоской голове, густою барбишкой и "угрожающими небу" усами, действительно подходил теперь характером своего облика под тип средневековаго наемного убийцы, но еще вернее напоминал старого французского зуава, повидавшего и проделавшего всякое в жизни... Этой наружности соответствовало и то духовное содержание которое заключалось под нею. Его безцеремонные приемы и безшабашное благёрство давало, по мнению многих, полное основание называть его "средним братом между Хлестаковым и Ноздревым". Но он во всяком случае был умнее Хлестакова и тоньше, даже добродушнее в своей наглости чем Ноздрев. Он всегда умел кстати сам посмеяться над своим враньем и почти всегда находил какой-нибудь остроумный выход когда чувствовал себя уже слишком тесно припертым к стене. Принятый в гомеопатической дозе, он был даже иногда забавен, но не было человека который после приема его не пришел бы в известное раздражение нервов...Кроме благёрства, его одолевала вечная страсть "помистифицировать" ближняго, и требовалось с перваго же раза "lui donner sur les pattes", как говорят Французы, чтоб отнять у него охоту к дальнейшим попыткам навязать своему собеседнику смехотворную роль... Он был, впрочем, довольно осторожен и дозволял себе разыгрывать свои "штучки" на полной волюшке только с теми кто, как наивный в самомнении своем граф Петр Капитонович Снядецкий-Лупандин, доверчиво совал голову в его крокодилову пасть.

Что он делал, чем наполнял жизнь с того времени как видели мы его в числе исполнителей Гамлета в Сицком, мы не беремся сказать. Он несколько лет сряду пропадал из России. Злые языки уверяли что он был во Франции актером, торреадором в Испании и что, проигравшись однажды в пух в Гомбурге, поступил в должность крупье в то же милое заведение где "пропустил" он до последняго гроша свои кровныя русские деньги. Все это сильно отзывалось фантазией, но отнюдь нельзя было поручиться чтобы сам он, Свищов, в пылу своего неудержимаго привиранья, не распустил про себя эти слухи... Несомненно было то что в парижском театральном и газетном мире, где у него видимо были какия-то знакомства, он разказывал про себя невероятныя вещи, чему служила доказательством одна попавшая случайно в руки Борису Васильевичу Троекурову за границей книжонка посвященная, подобно сотням подобных ей, появляющихся в наши дни в Париже, закулисной жизни "столицы мира", а в книжонке этой, между прочим, повествовалось о некоем "известном кавказском генерале Свищове,- le général Suichof, une vieille illustration des guerres de la Russie au Caucase", состоявшем будто бы в должности "главного агента Императорских русских театров во Франции, "agent général des théâtres Impériaux russes en France". Генерал этот, читалось далее, "известный в своем отечестве многочисленными сочинениями по истории и архитектуре, состоит вместе с тем руководящим редактором (directeur) одного из влиятельнейших московских журналов (une des revues politiques les plus influentes de la vieille cité des czars) и владеет, при этом, сотнею тысяч десятин девственных лесов (une centaine de milliers d'hectares de forets vierges) подле этого города"... "Сотня тысяч десятин девственного леса" генерала Свищова соответствовала, увы! в действительности, пропорции 1.000:1, так как из довольно порядочного имения наследованного им от отца он, после всех "эволюций" и "трибуляций" своей жизни, успел сохранить полуразрушенную усадебку верстах в десяти от Всехсвятского, с количеством в ней земли едва достигавшим нормы ценза установленного в этой местности для пользования полнотой земских прав... Этот лоскут земли дал ему возможность несколько лет назад поласть, как говорится, "фуксом" в члены уездной управы вместе с приятелем своим

Троженковым, вернувшимся в то время из Западного края, где бывший корреспондент Герцена, затем пламенный "руссификатор", приобрел от казны на "льготных правах" конфискованную ферму, которую тут же тайною сделкой передал за приличную мзду во владение местному Поляку помещику, вследствие чего и был удален "без шума" от занимаемой им должности… Ни он, ни Свищов не продержались долго и на земских должностях своих, и завалены были "черняками" на следовавших за тем выборах, несмотря на то что Троженков успел составить себе довольно большую партию среди избирателей крестьян, благодаря кабакам, коих держал целых пятнадцать в уезде, и ростовщичеству, в котором никакой выжига "мироед" не мог с ним сравниться. После этого поражения Свищов, владевший счастливою способностью всякое неприятное для него обстоятельство обращать в шутовство, объявил тут же в буфетной земского собрания что, "за таким провалом, ему ничего другаго не остается делать как удалиться на берега Гвадалквивира".

— Не в Пиренеи ли? спросил его случившийся подле него в ту пору доктор Фирсов.

— Почему "в Пиренеи"? удавился он в первую минуту.

— Контрабанду перевозить, невозмутимо ответил тот.

— Отличное занятие, отличное, непременно попробую! во всю глотку, не смутясь нисколько, расхохотался Свищов.

И, действительно, улетел опять года на два к каким-то неведомым берегам…

Он только теперь возвращался оттуда в родныя места, с намерениями которыя дальнейший разказ разъяснит нам по всей вероятности…

— Вы недавно из Петербурга? спрашивал хозяин графа Снядецкаго-Лупандина, познакомив его первоначально с лицами находившимся в комнате и учтивым движением указывая ему затем на ящик папирос, стоявший на столе подле которого они сидели.

Граф повел молча головой в знак благодарности, взял папироску, помял ее в руках, и еще не закуривая:

— Третьяго дня… Я впрочем еще на прошлой неделе думал выехать, но тут случилось это… покушение, выговорил он таинственно и внушительно:- неловко, знаете надо было во дворец показаться, — я и отложил на несколько дней…

— Отсутствие графа во дворце было бы слишком заметно, вы понимаете, тоном сериознейшаго убеждения поспешил объяснить стоявший за ним Свищов, высовывая язык и плутовски подмигивая в то же время Николаю Ивановичу Фирсову, с которым только-что успел обменяться рукопожатием.

— Д-да, меня знают… скромно промямлил в подтверждение Петр Капитонович и счел нужным тут же переменить разговор:- Я так благодарен… (Он запнулся на миг, так как никак не мог вспомнить имени и отчества Свищова) à monsieur Свищов за то что он доставил мне случай пред… (он опять запнулся, сообразив что выражение "представиться" было бы не совсем прилично его графскому достоинству) случай… войти в сношения с такими лицами как… Он не договорил, но обвел глазами всех присутствовавших, любезно и вместе с тем как бы несколько снисходительно улыбаясь, вспомнив кстати "очаровательную манеру" с которою улыбался в подобных случаях генерал Паванов, под начальством которого он имел счастие начать свою службу. — Вы мне позволите, обратился он тут же к Павлу Васильевичу Юшкову, — явиться лично к вам, как к достойному представителю здешняго дворянства, к которому я в настоящую

пору имею тоже честь принадлежать…

Павел Васильевич молча поклонился.

— И вашей… почтенной… вашей семье тоже? повернулся граф к хозяину, кланяясь в свою очередь изящным кивком вниз.

— Что "моей семье?" спросил озадаченный Борис Васильевич, который разсеянно слушал его фразы.

— Je voudrais avoir l'honneur de me présenter à madame de Troëkourof et aux autres personnes de votre famille, произнес граф отчетливо и галантерейно, но с таким оттенком что в этом, мол, случае "честь" не для одного меняю

— Ах, да, конечно!… Троекуров взглянул за часы:- мы будем скоро обедать, вы их увидите всех…

Петр Капитонович повел еще раз уже с полным самодовольством головой вниз.

— И надолго вы к нам? спросил его старый моряк.

— Сам еще определить не могу… Я просил Савву Леонтьевича — нынешняго моего министра — отпустить меня недельки на три без формального отпуска, разумеется, по моим домашним обстоятельствам; но может-быть пробуду долее… Во-первых, всякия тут формальности по вводу во владение меня в имение покойной тетки моей Лупандиной; а кроме того (граф при этом широко и с тем же выражением некоторой снисходительности осклабился и перекинул правую ногу на левую) я совершенный новичок в провинциальной жизни и ея так-сказать интересах… и желал бы поучиться… У вас, я слышал, на днях выборы.

— 14 числа экстренное земское собрание по случаю избрания новаго председателя управы на место… недавно скончавшегося, проговорил как бы нехотя Павел Григорьевич, — Федора Ивановича Бароцкаго!…

— Да, который застрелился?… бухнул прямо граф.

Никто не ответил ему.

— Какая-то, говорят, была усмотрена в управе растрата земских сумм? продолжал он, понижая голос.

— По ревизии назначенной тотчас по его смерти оказалось все налицо до копейки, сухо выговорил на это Юшковъ

— Конечно, так как… начал было Петр Капитововович, поднял глаза на Свищова и замолк, внезапно сконфуженный киванием и морганием которыми очевидно приглашал его тот прикусить язык.

Дело состояло в том что покойный Бароцкий, служивший когда-то во флоте под командой Павла Григорьевича человек честный, но слабый, вовлечен был безпутным сыном в какую-то спекуляцию в результате которой обоим им грозил суд. Чтобы выкарабкаться из волчьей ямы в которую попали они надо было немедленно ввести куда-то или кому-то деньги… Председатель управы имел слабость воспользоваться имевшимися у него в распоряжении земскими деньгами разчитывая немедленно же пополнить их чаемою им в самом скором времени какою-то

"получкой". Получка, как всегда бывает в этих случаях, оказалась призраком, а слухи о растрате уже бежали по уезду и "оппозиционная" партия, с Троженковым во главе, кричала криком о "мошенничестве пресловутых охранителей" и о безотлагательной необходимости ревизии денежной отчетности управы. При таких обстоятельствах явился в один прекрасный день Бароцкий к Борису Васильевичу Троекурову. "Спасите мою ничем до сих пор незапятнанную честь", начал он с перваго слова, и разказал ему все. Троекуров выслушал молча до конца, поднялся с места, вынул из бюро свою банковую книжку и, не подымая глаз, коротко спросил: "Сколько?" — "Двенадцать тысяч." Он надписал эту сумму на чеке, оторвал его и, все так же не глядя, передал через стол Бароцкому. Тот взял листик дрожащими пальцами, с выступившим на лбу холодным потом. "Скажите откровенно", вырвалось у него вдруг стоном, "вы презираете меня?" — "Нет... Я вас жалею", промолвил чрез миг Борис Васильевич. — "На моем месте вы не поставили бы себя в такое положение?" Троекуров подумал. "Не знаю... не думаю." — "С вами бы и случиться не могло: вы так богаты." Троекуров подумал опять. — "Конечно, это принять в соображение надо..." Бароцкий встал, протянул руку — "Спасибо, я из города пришлю вам законный документ." — "К чему?.." — "Нет, милостыни я не прошу; не с меня, так с наследников моих взыщете." Он уехал из Всехсвятского прямо в Москву, получил по чеку, положил, вернувшись, недостававшие деньги в сундук управы и в тот же вечер застрелился. Он сознавал себя "спасенным" в чужих, но не в собственных глазах...

Ни единым словом никому о том что произошло между ними не проговорился Борис Васильевич. Но когда ревизия, назначенная Павлом Григорьевичем вслед за смертью Бароцкаго, засвидетельствовала, к немалому удивлению всех, что все числившияся по книгам управы суммы состоят "полностью" в кассе, старый моряк тотчас же сообразил как это могло произойти. Сообразили это и другие, и Троженков (к которому первым делом отправился Свищов по приезде, захватив с собою "по пути" и спутника своего графа), передавая им "веселенькую историю управских грошей", объяснял прямо что "выкраденныя ихним (то-есть "охранителей'') председателем управы деньги пополнены была "ихним же атаманом, магнатомъ* (под этою кличкой значился Троекуров), причем повествовалось что хотя "магнат этот, опосля того что Бароцкий у него два часа в ногах валялся, а согласился дать ему в займы те деньги по два процента в месяц, одваче так унизил притом сего беднягу своею грубостью что тот стерпеть не мог и с гонору сеоего большаго застрелил себя на финал".

Сообразив из знаков Свищова что продолжать разговор о "сем бедняге" в этом доме "неудобно", Петр Калитовович счел нужным перевести его "на более так сказать общий сюжет", как выразил он это себе мысленно.

— Замечательно как в наше время люди часто и легко лишают себя жизни, начал он с озабоченным выражением в физиономии, и как бы сообразив в тот же момент отчего это может происходить, приятно усмехнулся и добавил:- все от роскоши; дороговизна жизни все увеличивается...

— А честность все упадывает, выпалил как из пистолета прерывая его князь Пужбольский, как рыба молчавший все это время и наблюдавший из-подлобья за приезжим, в котором с первых же его слов призвал родовые признаки ненавистного ему петербургского "чина".

— Д-да, конечно... пролепетал граф, словно с некоторым испугом взглянув на него, и тотчас же переменил разговор, обратившис с вопросом к старику предводителю:- будут ли в губернии в этом году дворянские выборы?

— В декабре, да, будут, ответил тот, и спросил в свою очередь:- думает ли граф приехать на них?

— Непременно-с… Я бы вообще почел для себя честью… послужить моему дворянству… насколько хватило бы у меня… способностей, скромно опустив глаза и слегка заикаясь заявил Петр Капитонович.

— Из Петербурга? буркнул опять Пужбольский.

— Что-с?..

— Из Петербурга служить?

— Почему же "из Петербурга"?.. Я намерен очень много жить в деревне, почитая это, так-сказать, наиболее рациональным и даже в видах общей, государственной пользы для дворянина-собственника с известными средствами…. и именем, как бы слегка подчеркнул граф Снядецкий-Лупандин и, улыбнувшись в сторону хозяина, — чему я даже вижу такой поощрительный пример здесь, галантерейно примолвил он.

— Что же, отлично-с! одобрительно проговорил Павел Григорьевич, чуть-чуть усмехаясь под седыми усами.

— Я полагаю что дворянству предстоит в настоящую пору стремиться возвратить себе утерянное им значение, продолжал Петр Капитонович, входя постепенно "в форс";- я конечно не отрицаю благодетельности совершенных у нас реформ, и даже с большим вниманием постоянно читаю газету Призыв, которая именно стоит на этой точке… Я сам даже, могу сказать, либерал… как должен быть всякий образованный человек в наше время… Но у меня есть имя, я понимаю que je ne suis pas un chacun… И потом ведь это нельзя же, в-каждом государстве должно быть высшее сословие, une aristocratie, а у нас…

— У нас в Петербурге "интеллигенция"; mein Liebchen was willst du noch mehr? не удержался ввернуть опять Пужбольский, которого раздражала уже одна мысль что "ce monsieur" принимал на себя роль защитника русской аристократии.

— Да-с, возразил граф, — но ведь все это, entre nous, сброд; я имел случай со многими из них встречаться… хотя ни с кем из этого мира, разумеется, близко не знаком, поспешил он объяснить:- у них нет того чувства которое у нас, например, у людей de bonne maison… того что Французы так хорошо выражают словами noblesse oblige…

— А "интеллигенция" n'oblige pas!.. громко расхохотался неугомонный князь.

— Именно, именно! доверчиво разсмеялся и Петр Капитонович, — у них нет того, знаете… в одной московской газете, которую я впрочем не люблю, очень хорошо было сказано раз "преемство"… У них "преемства" нет… А без этого разве можно?… Возьмите английскую палату лордов, все там на этом стоит. Особенно теперь это у нас чувствуется когда…

Он приостановился на миг.

— Когда что?

Румяненькое лицо графа приняло еще раз выражение необыкновенно значительное и таинственное.

— Когда мы идем к конституции…

— Да-а? загадочно протянул Борис Васильевич своим спокойным тоном.

— Так и "идем"? хихикнул за ним Пужбольский.

— Непременно-с! Огромные шансы за… в самых высших сферах…

— Может-быть, не спорю, есть и в самом персонале нынешних правительственных лиц такие которые об этом мечтали, несколько раздраженным голосом сказал на это Павел Григорьевич, — но теперь после этого покушения…

— Напротив! не дал ему кончить граф, чувствовавший себя в этот момент уже на апогее "форса" в присутствии этих провинциалов которым, сознавал он с торжеством, не могли быть известны те закулисные ходы петербургской интриги о коих он почерпал сведения у "перов" своих в клубе. — Нужныя меры для внешней безопасности, само-собою, приняты: генерал-губернаторы, безсменное дежурство дворников у ворот, и прочее; но все понимают что это меры "профилактическия", как говорит le comte Pavanof, со своим всегдашним красноречием, а не радикальныя… Одно лицо… я не хочу назвать его по фамили… Андреевский кавалер, прекрасно даже сказал по этому случаю что "на событие 2 апреля надо смотреть как на второе предостережение абсолютному режиму"!

— "Предостережение" в чем? и почему "второе"?

— Первое — Каракозов, прошептал Петр Капитонович, — а "в чем" (и он покровительственно усмехнулся опять) понимается само собою… У нас об этом именно был очень интересный разговор в клубе. Играем мы: Basile Шастунов — в должности шталмейстера, объяснил он в скобках, — Михаил Иваныч Лупов, генерал-адьютант, статс-секретарь Мольский и я. На втором роббере подходит к вам барон Фицгейм — Александровский кавалер — и говорит: "я…"

Борис Васильевич, поглядев на часы, поднялся с места.

— Вы докончите нам интересный ваш разказ за столом, учтиво сказал он, — четыре часа, мы в деревне обедаем рано.

Граф поспешно поднялся в свою очередь, галантерейно шаркнув и склоняя голову на-бок…

Хозяин направился первый к двери, указывая ему дорогу. Остальные потянулись за ними.

Последним шел Пужбольский, пресериозно взбешенный, и ругался сквозь зубы что было мочи по адресу "de ce comte pour rire."[71]

— Oh l'animal, le cuistre, le чиновник! Я бы на месте Троекурова к чорту его посылал, а он его обедать приглашивал, и он будет нам свои писарские глупости отмочить!…

XI

В столовой собрался все тот же знакомый уже читателю круг домочадцев Всехсвятского, окружавших вместе с хозяйкою и ея дочерью только что прибывшего новаго гостя, человека лет двадцати шести, одутловатаго и отъевшегося как купчик из Зарядья, и с совершенно купецким пошибом наружности и приемов, хотя он и видимо тщился изображать собою то что Французы называют fine fleur d'élégance. Подстриженные à la Capoul волосы; отложные, длинными мысками спускавшиеся на белый пластрон рубашки воротнички (он был во фраке и белом галстуке), над которыми гораздо более чем нужно выставлялась жирная белая шея; улыбочки сердечком и вылощенные пудрой кисти сдобных рук, которыми он то и дело проводил по рыжеватой продушевной иланг-илангом бородке, свидетельствовали прежде всего о необыкновенно лестном мнении которое внушала ему его собственная особа, а затем и о

непреклонном желании внушить о себе такое же мнение в этом доме.

Степан Гаврилович Островетов принадлежал к породе тех фон-Визинских недорослей тип которых, постепенно изменяясь во внешних чертах с течением десятилетий отделяющих вас от века Екатерины и прилаживаясь к "требованиям времени", остается по сущности все тем же и в наши блаженные дни. Сын богатой, взбалмошной и не отличавшейся избытком нравственных правил матери, это был ни чему сериозно не учившийся, ни где не успевший кончать курса и ни на что дельное не пригодный малый, с огромными претензиями на "шик" и "эффект", — в чем, как известно, выражается, увы! весь духовный идеал современного человечества. Он не был лишен своего рода даровитости, владел большою памятью, пел звучно мягким баритоном разухабистый репертуар "Стрельневских Цыган" с надлежащими придыханиями, присвистами и притопываниями, и сыпал рифмами как бисером, уснащая ими самодельные куплеты на мотивы всяких Маленьких Фаустов, Зеленых островов и иных классических произведений опереточной музы. Он вылепливал при этом из воска или глины всякия "пикантныя" женские головки, рисовал каррикатуры, выкрадывая мотивы их из старого Musée Philippon и "занимался египтологией", то-есть покупал всякия трактующия об Египте дорогия издания с рисунками и атласами, приобрел "подлинную" мумию, и вздевал на голову по утрам какой-то ржавый чугунный горшок, который выдавал за приобретенный им будто бы ценою золота в Булакском музее подлинный шлем Рамзеса II. В силу этих данных Островетов почитал себя не в шутку "артистом", и даже большим артистом, талантам которого удивился бы несомненно мир еслиб его "боярский род" дозволил ему явить их "пред толпою". В это свое боярство Островетов верил так же искренно как и в свою артистичность, хотя в действительности выходило что изо всех его именитых предков известен был лишь один его дед, безлошадный кулак и ростовщик, успевший всякими неправдами "от двухсот душ нажить целыя пять тысяч", как выражались местные старожилы, и пять или шесть заложенных ему и просроченных платежом домов в Москве, а артистичность сводилась на мелкотщеславную, увлекающуюся à froid, неустойчивую и лживую актерскую натуру... Он в прошлом году лишился матери и приехал на весну в унаследованное им от вся имение, Борисово, верстах в 12 от Всехсвятского, навезя с собой туда целую компанию непризнанных поэтиков печатавших произведения свои в московских мелких листках по 7 копеек за стих, учеников консерватории с сомнительным голосом и провинциальных актеров не добившихся ангажемента. Все это пило, ело, скакало по полям на рабочих лошадях, голосило опереточныя арии, било посуду, нахлеставшись ликером, и состояло с хозяином в тех "амикотовских" отношениях которыя возможны между людьми только в ваше просвещенное время и при той убогой доле воспитанности какая дается девяти десятым вашего теперешняго так-называемаго "интеллигентнаго" общества. Степан Гаврилович, или как называла его эта компания, "Степа Говорилов", словно в благовонном масле купался в этом море гама, сиплаго смеха, цинических разговоров и заискивающей лести под замаскированною грубостью выражений. Он чувствовал себя орлом парящим над этим стадом "умственного пролетариата" и считал нужным поражать его каждый день новыми доказательствами изобретательности своего "художественнаго" воображения. Он выходил утром в столовую, куда собиралась завтракать компания, облеченный с ног до головы в старобоярскую одежду, в парчевом охобне и аксамитовом полукафтанье, в желтых кожаных сапогах и высокой собольей шапке, садился к столу и, треснув пятерней по спине соседа, говорил ему: "А плесни-ка мне щец, парень"!.. А на другой день вылетал Испанцем, в коротких штанах и цветной сетке севильского цирюльника на голове, с гитарой в руке и со свежеиспеченною серенадой на мотив Мандолинаты... Он, нисколько не стеснялся являть себя во всем шутовстве этих переодеваний и по окрестным селам и деревням, на тройке грохочущих бубенцами лошадей, или верхом на лошади увешаной яркими кистями и золочеными бляхами какого-то "марокского" конского прибора. Крестьянские бабы высыпали с хохотом на улицу поглазеть на невиданное зрелище, босоногие мальчишки стремительно бежали за ним, визжа от удовольствия и указывая на него пальцами, но Степа нисколько этим не возмущался. Он с

торжествующею улыбкой, медленно проезжал мимо курных изб печальной родины под своим испанским sombrero, в полном сознании своих неотъемлемых прав на общее внимание: каков мол вы на есть и хоть бы пред мужичьем, а все же шик!..

Но в один недавний прекрасный день Степа Гаврилов предстал пред сонм своих гостей в новом и нежданном воплощении. Он вышел к завтраку в безукоризненном утреннем туалете наших дней, застегнутый на все пуговицы, нахмуренный и важный, обвел компанию строгим взглядом и в глубоком безмолвии принялся за еду. Никто в первую минуту не счел нужным обратить на это внимание, — во вслед за последним блюдом, опрокинув себе в горло стакан вина и отерев усы салфеткой, Стела повелительно кашлянул, прерывая этим обычные звуки смеха и легкаго разговора раздававшихся кругом стола, откинулся в спинку своего седалища и начал такъ

— Ну, ребята, довольно погуляно, довольно повыпито и всяческой ерунды наболтано; пора и честь знать!

Дюжины две изумленно раскрывшихся глаз разом устремились на него:

— Это насчет чего ты?

— Кому это ты вздумал нотацию прочесть?

— Сам-то ты ерунда нумер первый! заголосили кругом.

— Оставьте, господа, сказал, приглашая к молчанию движением руки актер Костяков, остроумный малый, напоминавший широким лысым лбом и вьющимися кругом затылка длинными кудрями чуть-чут седевших волос известный портрет поэта Беранже, и специальностью которого было "резать" Степу при всяком удобном и неудобном случае,- оставьте! Вы не видите разве что он вам импровизатора хочет представить? Теки словом, Степа, теки, да не проливай, гляди!

Все расхохоталось.

— Презренье — мой ответ за глупыя слова, возразил трагическою интонацией Остромето в, высокомерно глядя на актера, — а слово мое такое что гульбе моей с вами конец... А потому — никого не гоню, но и никого не удерживаю! договорил он, таким же театральным жестом руки указывая на дверь.

Компания так и завыла вся:

— Что-о?

— Как?..

— За такую дерзость можно и в физию получить, хрипел пьяный с утра быкообразный экс-телеграфист, писавший обличительныя статьи в одном из листков малой прессы под псевдонимом "Коломенский Моншер".

— Какая блестящая импровизация! невозмутимо хохотал Костяков, одобрительно кивая головой Отеле.

— Vous êtes bête, Степа! прошепелявил в тоже время с места, вскидывая плечом, недоучившийся студент Пятков, лучший его приятель.

— Господа, па гро мо, па! примирительно воскликнул на это Пельц, декоратор одного из московских театров, бывший в числе компании.

Степа вскочил, принял подходящую, по его мнению, к данному случаю позу, а именно: сунул правую руку за борт своего модного застегнутаго сюртука, а вытянутыми пальцами левой забарабанил по стоявшей пред ним тарелке.

— Répétez! возгласил он, грозно уставясь глазами на своего обидчика.

— Чего это?

— Répétez! пробасил еще раз Острометов.

— Je vous répète que vous êtes bête, Степа, повторил в рифму все тем же своим шепелявым языком Пятков, спокойно глядя ему в лицо.

Воинственность нашего героя спасовала разом за этими словами. Но нельзя же было так-таки и поджать хвост предо всеми. Он величаво, и избегая упорно заправленного на него взгляда Пяткова, проговорил, щурясь на противоположную стену:

— Вы понимаете, милостивый государь, что потомок бояр Острометовых не может требовать удовлетворения от перваго встречнаго.

— А ты попробуй, я может-быть и согласен буду, громко засмеялся на это студент.

— Ну-ка, боярин, ну-ка, вывернись!... Тащит тебе что ль царя Рамсая шлем, или суповою крышкой голову прикроешь, а то ведь тебя Пятков пополам расшибет, он у нас Бова-королевич, надрывался от хохота Костяков.

Степа быстро повернулся, кинулся к двери и, полуотворив ее, крикнул с порога:

— Убирайтесь вы все к чорту!..

Коляска была по его приказанию заблаговременно запряжена; он вскочил в нее и уехал.

Невообразимый гам и ругая поднялись в компании... "Так на вот тебе, подлецу", крикнул Коломенский Моншер, ухватываясь за скатерть и скидывая ее на пол со всею стоявшею на столе посудой... Костяков насилу удержал расходившихся протестантов от дальнейшаго разора Степиного обиталища...

К вечеру компания кой-как угомонилась и потянулась, кто как успел, на дрогах или в деревенских телегах, в город, отстоявший от Борисова в нескольких верстах, и укатила с вечерним поездом в Москву.

Причины побудившие Острометова так безцеремонно изгнать от себя живую коллекцию "талантов" которых почитал он себя меценатом исходили из некоего романического источника. Еще в прошлом году в Москве, зимой, он однажды в Малом Театре увидал в ложе бельэтажа, рядом с графинею Бородинскою, одною из почтеннейших особ московского большаго круга, белокурую с темными глазами и бровями, девушку, всю отмеченную тем высшим изяществом о котором до сих пор и не снилось никогда нашему недорослю, в том разнузданном мире в котором он был рожден, повит и вскормлен. Она была предмет общаго внимания и любопытства. Из кресел в антрактах все глаза и бинокли оборачивались то и дело на ложу в которой сидела она. "Кто это, кто?" спрашивал Степа, спрашивали и кругом его. Но никто не

мог дать удовлетворительного ответа. Юная красавица была очевидно не Москвичка, а приезжая, "какая-нибудь петербургская родня графини Бородинской", а из знакомых Стелы никто, как и сам он, не был вхож в дом графини... "Погодите, сейчас узнаем", объявил он, выбежал в коридор бельэтажа, отыскал глазами единственного ливрейного лакея находившегося там, и поманил его к себе кончиками пальцев. Высокий, благообразный слуга, со внушительными бакенбардами и физиономией исполненною чрезвычайной важности, только поглядел на него и не шевельнулся с места. Степа в свою очередь изобразил на лице своем важность и, подойдя к нему близко, спросил его небрежным тоном:

— Вы графини Бородинской человек?

— Так точно, с видимою неохотой пропустил тот сквозь зубы.

— Кто это с графиней сидит молодая особа, не можете мне сказать?

— Не могу знать, отрезал слуга и отвернулся.

У Степы сжались кулаки и губы дрогнули в безсильном гневе. А делать было нечего; он повернул налево кругом и удалился.

Графиня Бородинская и ея спутница поднялись с места уезжать до окончания спектакля. Степа, не сводивший бинокля с их ложи, соскочил тотчас же со своего места и понесся к подъезду. Но дамы уже садились в карету. "Montez, Marie!" донесся до него из глубины ея старческий голос. Девушка лежим, словно птичьим движением порхнула в дверцы; ручка щелкнула, лакей вскочил на козлы к кучеру, лошади тронули...

Ее зовут "Marie": ничего другаго не мог узнать Степа. Напрасно искал он случая новой встречи, ездил каждый день по театрам, добился приглашения за один большой бал, за который непременно, по его соображениям, должна была приехать графиня Бородинская. Графиня Бородинская была там действительно, но одна, совершенно одна, и никто на тонкие разспросы его не сумел ответить, гостила ли у нея в последнее время какая-нибудь ея петербургская родня. Степа впал даже в некоторое уныние и каждый день, закатывая глаза под лоб, присаживался к фортепиано и тоскливо напевал:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты
Как мимолетное виденье...

Виденье так и улетучилось, как говорят теперь, с тем, казалось, чтобы никогда уже более не представать пред его очарованныя очи...

И вдруг опять, за днях, среди еле зеленеющих весенних полей, на границе своих владений, он встретился с нею, — она промчалась мимо него за гнедом английском скакуне, свежая как майский день под своею мягкою шляпой, украшенною вороньим крылом, — промчалась, и тут же через минуту сдержала лошадь, остановилась и обернулась, глядя на него издали с выражением глубокаго изумления и едва сдерживаемаго смеха... А он, — он ехал шутом, в боярской своей шапке и обшитом галунами охобне, на своей гремящей бубенцами тройке,- ехал к какому-то мелкопоместному соседу, из отставных поручиков, состоявшему в числе все той же его "забубенной" компании. Стела покраснел по самые глаза: сознание этого своего шутовства в первый еще раз оказалось у него в мысли. "Пошел"! крикнул он кучеру, машинально опустив голову и съежась как бы с тем чтоб умалиться, стаять, исчезнуть от этих заправленных за него издали девичьих глаз. Он мчался так с версту, погоняя своего возницу и рискуя сто раз сломать дроги и колеса своего экипажа на рытвинах и колеях размытой

тающими снеговыми ручьями дороги. Когда он решился наконец глянуть назад, наездница уже исчезла. "Легче"! приказал он, и вздохнул не то радостным, не то тяжелым вздохом. Кучер, бойкий молодой парень, обращавшийся с барином с тою фамильярностью которую современный прогресс внес в нравы молодаго поколения русского простонародья (со Степой, впрочем, никто иначе не обращался), обернулся к нему, широко осклабясь:

— Лихо ездит барышня! подмигнул он с видимым одобрением, — первый сорт!

— Не знаешь кто? быстро спросил Степан Гаврилович.

— Как не знать! Первого, значит, богача по здешнему месту, генерала Троекурова, дочка будет....

Он еще раз обернулся и подмигнул барину:

— Посвататься бы вот вам, Степан Гаврилович.

— А ты помалчивай лучше, своротишь сейчас! крикнул как бы гневно на него Острометов.

Но слова парня так сочувственно откликались во глубине его души что он в то же время чуть не прыгал за своем сиденьи... "Дочь генерала Троекурова, перваго богача по здешнему месту, влиятельнейшаго лица по всей губернии, со связями, значением в Петербурге, гордеца не желающаго принять никакой, ни дворянской, ни земской должности, а между тем вертящаго всем и всеми", — об этом довольно наслушался Степа от соседей со времени приезда своего в деревню: да кому же и в самой Москве не известно было имя этого аристократа... "Вот этакую кралю подхватить, да сесть с всю рядом в ложе бельэтажа, или проехать на тысячных рысаках в коляске на гулянье в Парке,- фу ты, шик какой!" стояло у него неотразимо в голове... Да и чем же, в самом деле, не жених он ей? Он и сам богат и "именит родом", и "собой картина", и "артист", — он не видит причины которая могла бы ему помешать стать претендентом на руку этой красавицы, дочери этого "аристократа"... Надо конечно покончить тотчас же с тем безобразием, с тою компанией в которой протекала его жизнь до сих пор: это сказалось как-то разом, как бы какою-то извне налегавшею на него властью в эту минуту. Кучер его поэтому был весьма удивлен когда, не доезжая полуверсты до усадьбы соседа к которому отправлялись они, барин велел ему свернут направо и править на Углы, имение предводителя Юшкова, с которым Острометов уже был знаком как с лицом официальным, являвшись к нему по случаю ввода его во владение имением после смерти матери.

Но бойкий парень удивился еще более и даже вознегодовал несколько когда, не отъехав и нескольких сажен по новому направлению, барин отдал новое ему приказание повернуть назад.

— Куда ж это опять? грубовато спросил он.

— Домой.

Парень круто и сердито дернул вожжами.

— Ну вы, баламуты!... неведомо по какому адресу пропустил он сквозь зубы.

А барин в это время разсуждал про себя, оглядывая свой боярский костюм: "Нельзя в этом, нельзя; старых понятий господин, за ряженого примет, в сериоз теперь играть требуется..."

Он вернулся домой, а за другой ден, облачившись с утра в сериозный туалет, вышел к завтраку,

за которым и произошла та сцена о которой мы только что доложили читателю и после коей Степан Гаврилович, во избежание дальнейших неприятностей, выскочил из столовой и укатил из Борисова во всю прыть своих лошадей.

Он на этот раз направился прямо в Углы, застал Павла Григорьевича Юшкова дома и, приняв насколько это было в его силах скромный вид, сообщил ему заискивающим тоном что он, решившись поселиться на постоянное жительство в деревне, желал бы иметь честь познакомиться с достойнейшими представителями местного дворянского сословия, а потому и счел нужным явиться прежде всего к нему, Павлу Григорьевичу, а затем осмеливается просить представить его, как новаго помещика, и "его превосходительству генералу Троекурову", о котором он так много слышал "как о лице замечательном во всех отношениях".

Старый моряк, чуть-чуть нахмурившись, поглядел за него (о безсмысленном образе жизни "новаго помещика" в его Борисове дошли до него слухи); не нравился ему этот жирный, белый, купеческого склада франт, но отказать ему в просьбе он не считал возможным уже по своему званию предводителя относительно дворянина его уезда.

— Извольте-с, проговорил он скороговоркой;- я сей час сам собираюсь во Всехсвятское, так если вам угодно будет…

Огоньки запрыгали от радости в глазах Степы:

— С наслаждением! точно захлебываясь проговорил он.

Но, к немалому его огорчению, тому на что так страстно надеялся он не суждено было сбыться на этот раз. Во Всехсвятском дома была одна Александра Павловна; Троекуров с дочерью уехали верхом в город, где у Бориса Васильевича было какое-то дело по заводу, и должны были вернуться только вечером. Сама хозяйка страдала мигренью, и Острометов понял что было бы с его стороны совершенно безтактным продолжить свой визит более чем этого требовало строгое приличие. Он поднялся чрез полчаса совершенно безцветного разговора и принялся прощаться. Александра Павловна протянула ему руку:

— Борис Васильевич будет очень сожалеть что вы не застали его дома. Но, надеюсь, вы у нас не последний раз… Приезжайте попросту, по-деревенски, как-нибудь обедать, примолвила она с обычною ей доброжелательностью и ласковостью обращения.

— С наслаждением! вскликнул Степа, поднося руку к сердцу и расшаркиваясь настоящим театральным маркизом.

Боясь возвратиться в Борисово, — где гости его могли бы остаться на зло ему, его могла ожидать "некоторая трепка", как говорил он себе мысленно, он отправился из Всехсвятского к тому соседу к которому не доехал накануне и остался у него ночевать, отправив кучера в Борисово за вестями и с приказом приехать за ним на следующий день на свежих лошадях. Парень вернулся с докладом об отбытии компании, причем, мол, перебита была ею вся фаянсовая и стеклянная посуда стоявшая на столе в минуту сцены.

— Ну ее и с ними к чорту! махнул на это молодецки рукой Степан Гаврилович и, сияющий как пиов, отправился с успокоенным сердцем восвояси.

И вот он теперь чистокровным Европейцем, во фраке и белом галстуке, продушенный иланг-илангом, прикатил в карете четверкой к обеду во Всехсвятское и, округляя руки, раскланивался направо и налево и жал руки незнакомым ему до этой минуты лицам которых ему поименно называла Александра Павловна: "monsieur Blanchard", "Владимир Христианович

Пец", "Петр Петрович Молотков"...

— А вот и муж мой, обернулась она ко входившему в столовую Троекурову;- monsieur Острометов, Борис... Ах, скажите мне пожалуста ваше имя и отчество; так неловко без этого, улыбнулась она.

— Степан Гаврилович, низко кланяясь, проговорил молодой человек.

Троекуров протянул ему руку:

— Очень рад...

И обернувшись в сторону шедшаго за ним лица, подвел его легким движением руки к жене:

— Граф Снядецкий-Лупандин, ma chère... А это дочь моя, Марья Борисовна Троекурова, примолвил он с улыбкой, указывая гостю на Машу.

Что-то словно жалом кольнуло Степу Острометова в грудь.

Хозяйка представила его до сих пор всем, кроме дочери. А тут отец первым делом знакомит с нею этого какого-то графа, "наверно уж петербургского", и несомненно, чуял он с невыразимою тревогой, приехавшего сюда в тех же целях, с теми же намерениями с какими он сам.... Но лицо его тут же просило:

— Pardon, Степан Гаврилович, поспешно проговорила Александра Павловна, — я забыла познакомить вас с моею Машей.

Девушка, широко усмехаясь своими румяными устами, протянула ему руку и пожала его слегка задрожавшие пальцы быстрым и твердым, как бы мужским, движением, между тем как граф, с которым она только что обменялась таким же рукожатием на мужской манер, продолжал расшаркиваться, склонив почтительно голову несколько набок, словно никак не желая уступить в изяществе самому ему, Острометову.

— Ты помнишь господина Свищова? сказал Троекуров жене, указывая на быстро подходившего к ним "московского браво".

— Certainement.... Как вас давно не видать было! Вы не живете более в наших странах? спросила она.

— Je suis comme les paladins, toujours par monts et par vaux, ответил Свищов, молодцовато приподнимая вверх один из разбойничьих усов своих, наклоняя галантно голову и слегка пристукивая каблуком.

— Vous revenez de France, comme toujours? спросил его, в свою очередь, смеясь, M. Blanchard.

— Un peu, mon neveu! ответил тот, подмигивая, чистейшим пошибом парижского rapin.[72]

Blanchard только поглядел на него и чуть-чуть повел плечом.

— Господа, милости просим, сказал хозяин, направляясь к столу.

Александра Павловна села, пригласив взглядом петербургского графа занять место около себя с девой стороны (с правой постоянно сидел подле нея за столом Павел Григорьевич Юшков когда бывал во Всехсвятском).

Острометова хозяин посадил подле себя. Маша заняла свое обычное место по другой бок отца, — и восхищенный Степа имел таким образом возможность увидать вблизи предмет своего тайного обожания. Он находился, впрочем, в довольно угнетенном состоянии духа. Он еще в первый раз в жизни видел себя в настоящем порядочном обществе. Все, начиная от хозяев и кончая последним из слуг, носило на себе печать той почтенности, внутренного достоинства и какого-то величаваго устоя жизни о каких и понятия не мог он себе составить в богатом, но безалаберном доме своей матери, с его грубым гостеприимством и распущенностью, полным с утра гама, сутолоки и сброда всяких Бог весть откуда и как являвшихся и пропадавших гостей, имена которых часто едва помнила его хозяйка. Это были совершенно русские семьи и дом в их лучшем, возведенном в "перл создания", по выражению Гоголя, образе, в которых жилось честно и истово, по заветам дедовской старины, безо всяких уступок наследственной правды безпочвенной суете новых времен. Степа не был в состоянии отдать себе ясный отчет в том что чувствовалось им в этих стенах, но что-то похожее за испуг овладело им в первыя минуты, — первый раз в жизни почувствовал он боязнь за свою "порядочность"... Но присущее ему самомнение тотчас же взяло верх над этим проблеском внутренней скромности, и он, подняв глаза, обвел ими смело широкий круг своих сотрапезников. Внимание его привлекал более всего "петербургский граф", в котором он почему-то чуял себе соперника и который в свою очередь испытывал, казалось, такое же чувство некоторой неуверенности в себе. Он с видимым старанием тщился попасть в настоящий тон грансениорства какой почитал для себя обязательным в своем новом звании, отвечая на далеко не сложные вопросы хозяйки о том давно ли он из Петербурга и долго ли думает оставаться в их странах. Острометов не мог не заметить при этом что глаза этого соперника, обращаясь к матери, то и дело искрились косым лучом по направлению дочери и что выражение их не оставляло за малейшаго сомнения в том впечатлении какое производила на него юная красавица. Сам Степа едва смел глядеть за нее, а тем более завести с нею разговор. Сидевший между ними хозяин, учтиво обменявшийся с ним несколькими словами безсодержательного разговора и впавший затем в какое-то озабоченное повидимому молчание, счел бы это вероятно неприличным, разсуждал Степа... Маша видимо также не испытывала никакого особенного желания завести с ним речь и с сериозным лицом разговаривала в полголоса с высоким Французом Бланшаром, чертившим кончиком ножа по своей тарелке какой-то воображаемый план (план строившейся во Всехсвятском новой шкоды, находившейся под особым попечением девушки). От времени до времени глаза ея, как заметил Степа, отрывались на миг от этой тарелки ея соседа и, чуть-чуть прищурившись, устремлялись на противоположную сторону стола, где, между седовласою дамой с английским типом облика и плотным господином с огненною бородой и сердитым выражением лица, сидел белокурый и нежнолицый молодой человек, который в свою очередь задумчиво и украдкой вскидывал от времени до времени глаза на Машу, и тотчас же как бы боязливо опускал их... "Это еще кто?" спрашивал себя Острометов покусывая озабоченно усы.

Маша и Гриша Юшков поглядывади друг на друга с каким-то странным чувством любопытства и как бы некоторой безсознательной тревоги. Они давно не видались, почти год целый. Что-то совсем новое сказывалось молодому человеку в выражении, во взгляде, в сдержанных движениях этой девушки, успевшей за время его отсутствия разцвести во всю полноту своей женской прелести. Он не имел еще случая говорить с нею, но чувствовал заранее что в ней не оставалось уже и тени тех угловатостей, тех ребяческих вспышек и выходок которых так часто в прежнее время был он у вся предметом и "жертвой", как говорил он ей тогда смеясь. "Совсем, совсем женщина стала", думал он, и ему от этой мысли становилось как будто неловко, и он как-то невольно морщился и опускал глаза. В ушах его, нежданным наплывом воспоминания, звенели слова сказанныя ему отцом в одну мучительную минуту его недавняго прошлаго, в один из тех дней когда, после свадьбы и отъезда Антонины Дмитриевны Буйносовой, он не знал куда деваться от снедавшей его тоски. Не выдержал старик однажды, глядя на него. "Не в том беда, сурово проговорил он, что муку терпишь, а в том что счастье ты свое на веки погубил."

Озадаченный Гриша поднял на него бледное лицо свое. "Коли-б теперь Борис Васильевич и Александра Павловна и думали о тебе попрежнему для Маши, объяснил старый моряк, так я бы сам по долгу совести счел нужным положить этому конец..." Хотя ни слова никогда об этом до сих пор не было говорено ему отцом, Гриша знал что этот брак с Машей был сладостнейшею мечтой и пламенным чаянием старика и что того же ждали Троекуровы, муж и жена, с самых юных лет Маши. Он звал что в этой семье не выдадут дочери иначе как за человека которого будет звать вдоль и поперек, прошлая жизнь которого будет открытою книгой для озабоченных действительным ея счастьем родителей. А он — его Александра Павловна называла прямо своим старшим сыном, в нем Борис Васильевич видел своего воспитанника, доверенное лицо, которому поручал он ближайшие свои интересы и надзор за управлением своими имениями во время своих отсутствий из России. Он знал при этом что в гордом сознании своей духовной и материальной независимости, при своем своеобразном взгляде на обязанности человека его положения к земле, Троекуров менее всего склонен был прельщаться теми преимуществами которыя давало бы будущим претендентам на руку его Маши то "светское положение" на которое ловятся девяносто девять сотых папенек и маменек в России. Ему не нужно было в зяте ни титула, ни денег, вы шифра на эполетах; он хотел благовоспитанного человека и работника, который мог бы быть ему преемником в той действительно земской деятельности которой посвятил он всего себя и к которой, как бы предчувствовал Борис Васильевич, его прямой наследник, сын, имел мало склонности. "К иному тянет Васю"! вырвалось у него однажды в присутствии Гриши с каким-то болезненным вздохом... Все это знал Гриша, и давно, не придавая даже этому какого нибудь особенного значения, считал как бы делом порешенным что ему в более или менее отдаленном будущем предстоит сделаться мужем этой подраставшей бойкой девочки, с которою он постоянно находился в каких-то дружески бранчивых отношениях, ссорясь и мирясь с нею по десяти раз на день... Страсть к Антонине Буйносовой вырвала как бы всесокрушающим ударом грома из души его все его мирныя прежния помышления. Читатель уже знает из первых глав вашего разказа какое смущение вызвала эта страсть в том тихом интимном мире среди которого жил до сих пор молодой человек.

Он повял тогда из слов отца что им разбито было целое здание иллюзий и надежд. Но в ту пору он равнодушно, чуть не пренебрежительно отнесся к этим словам... А теперь, теперь они звучали в его воспоминании чем-то щемящим и назойливым и вызывали ряд новых воспоминаний всяких мелких, ничтожных по себе фактиков, но из совокупности которых слагалось во внутреннем его сознании убеждение что отец был прав, что в намерениях родителей Мании относительно его, Гриши, произошло существенное изменение, что "ими потеряна в него вера", что, обращаясь с ним все так же как с близким, они не видели уже в нем того кто так долго был для них исключительно, родственно дорог... И все темнее становилось на душе молодаго человека... Время успело сделать свое: раздражающее, болезненное чувство которое внушила ему Антонина Буйносова успело замереть, оставив в нем лишь какой-то осадок желчных сожалений и стыда за себя, за "позорную роль" в которую она поставила его относительно себя. Он если еще и не забыл ея, то вспоминал как сон, как тяжелый сон под впечатлением которого человек долго не в состоянии очнуться и войти в обычную колею жизни. Он почитал себя теперь радикально исцеленным, возвращенным к жизни, "к здоровой, нормальной жизни", как выражался он внутренно. Он с каким-то особенно радостным чувством ехал из Петербурга во Всехсвятское; он там, на берегах Невы, жадно стремился "скорее, скорее опят в ту родную, здоровую атмосферу, подальше от тамошняго безсмыслия и безсердечия, от цинизма этого себялюбия, тщеславия и мошенничества"... И вот он приехал, он здесь, — но это уже не то, не то, он это чувствовал какими-то тончайшими фибрами своего существа, А она, эта недавняя "бедовая" девочка, как она хороша стада с этою ея теперь сдержанностью движений и спокойным взглядом!...

Что думала в то же время Маша — трудно сказать. Она сама не разбиралась в путанице мыслей, мгновенно набегавших и так же быстро исчезавших в ея голове. Это были даже не мысли, а какие-то обрывки мыслей, какия-то недочувствованныя, торопливыя, резко противоречившие друг другу ощущения. "И гораздо лучше еслиб он остался себе там, в Петербурге, а то о чем вам теперь говорить с ним?.. Бороду отпустил и красный такой... И что он там делал в Петербурге,- опять в какую-нибуд влюбился... Папа говорил что он ему процесс выиграл в Сенате и что он свое дело, за которым ездил, хорошо ведет, что он становится очень деловым, — это очень хорошо... И совсем не идет к нему борода, зачем он старит себя!.. Я ему разкажу, непременно разкажу что я видела ее за границей... Он какой-то сердитый приехал, мисс Симпсон говорит с ним, а он едва отвечает; это даже не учтиво... И как долго я его не видела, целую вечность!.. Как будет с ним maman теперь, любопытно. А то она в последнее время будто избегала совсем говорить о нем... Да и папа тоже..."

— Вы не давно из-за границы вернулись, Борис Васильевич? спрашивал между тем Острометов, тяготясь молчанием которое считал нужным хранить до этой минуты.

— Да, ответил Троекуров, словно с просонков, — я был за границей.

— Avec mademoiselle? продолжал тот, взглядывая на Машу с видимым желанием вызвать ее на ответ.

— Да и я была тоже, сказала она.

— В первый раз?

— В первый, да...

Степа выразил на лице своем необыкновенное удовольствие:

— Я воображаю ваше восхищение!

— Чему?

— Ah mon Dieu, всем... Помилуйте, Европа... После нашего-то...

Маша подняла на него весело загоревшиеся глаза:

— Я ваше предпочитаю... Да и вы тоже, кажется?

— Я? Почему вы так думаете?

— Я вас встретила на днях... — ведь это были вы? в такой большой шапке, наряженные в допетровский костюм... Я так и разсудила что вы непременно должны быть славянофил.

Под усами Бориса Васильевича скользнула невольная улыбка; он повел чуть-чуть взглядом в сторону Стелы я затем осторожно покачал годовой по адресу дочери.

Степа покраснел до самых ушей, но нашелся:

— Это у меня фамильный наряд, от предка моего, Ефрема Острометова, бывшего стольником при царе Михаиле Федоровиче.

— Скажите пожалуста, как он у вас хорошо сохранился! самым сериозным тоном проговорила Маша:- я думала, вы его из театра взяли.

Хозяин счел нужным положит конец этому разговору:

— Monsieur Blanchard, обратился он к Французу, — в какую вышину полагаете вы вывести стены школы?

Blanchard пустился в технические объяснения.

Но и до хозяйки, и до ея гостя с левой стороны донесся через разделяющее их от Маши пространство стола хвостик разговора ея с потомком "стольника Остромета." Александра Павловна вспомнила как Маша на днях, по возвращения с прогулки, разказывала ей хохоча об этой встрече с ним, и с ужасом, широко открыв глаза, устремила их теперь на дочь. Граф Снядецкий-Лупандин повел в свою очередь глазами на смутившееся на миг лицо Степы — и ухмыльнулся. Степа поймал на лету этот взгляд и вскипел с этой минуты непремиримою ненавистью к петербургскому "аристократу"...

— Вы об этомъ_с Борисом Васильевичем поговорите, громко промолвил в это время Павел Васильевич Юшков, отвечая этими словами на целую речь которую вел ему с самаго начала обеда сидевший подле него Свищов.

— О чем это? спросил оборачиваясь Троекуров.

— О железной дороге на ***, которая должна примкнуть к магистральной линии у вашего города.

— А разве такая линия предполагается?

— Это будет в значительной мере зависеть от вашего превосходительства, полушепотом, как бы таинственно, произнес "московский браво" и даже подмигнул слегка.

Борис Васильевич вопросительно взглянул на него только, и обратился снова с каким то вопросом к Бланшард.

XII

В гостиной, куда перешли пить кофе, общество разбилось на группы. Хозяйка, ужасно озабоченная мыслью об "inconvenance" Маши с этим, "бедным молодым человеком который в первый раз приехал в дом обедать," всячески старалась собственною своею любезностью изгладить в нем "дурное впечатление", какое, по ея мнению, должна была произвести на него ея дочь. Она посадила его теперь подле себя, разспрашивала подробно обо всем что в ея понятиях могло интересовать его: о его матери, о которой она слыхала как о большой музыкантше, о месте его воспитания, о том живал ли он и прежде в деревне и нравится ли ему природа их местностей. Степа, состоявший всегда с матерью в отношении двух враждующих лагерей, ни в каких местах воспитания не пробывший долее шести месяцев и любивший природу единственно на холсте театральной декорации, отвечал на это, закатывая глаза к потолку, что мол потеря матери нанесла ему "зияющую рану, которую никакое время не в состоянии будет закрыть", что "счастливейшими годами его жизни будут конечно всегда его студенческие годы" и что "жизнь он разумеет только в природе и для природы." Александра Павловна даже несколько умилилась, услыхав такия хорошия, хотя и не совсем понятныя ей, слова.

А граф Снядецкий-Луландин между тем расточал все цветы своей петербургской светскости пред взиравшею на него безмолвно и как бы пытливо Машей. Она будто изучала его, она "таких" еще не видала. "Говори, говори, любопытно"! прочел бы он, еслибы был способен к

наблюдательности в эту минуту, в ея голубых, искрившихся и внимательных глазах. Но он, сидя против нея на кончике кресла с чашкою кофе в руках, до горячей влаги которого не решались еще притронуться его губы, он объяснял себе внимательное выражение этих глаз тем выгодным впечатлением которое очевидно производила на нее его особа, его "светское положение", интерес вносимый в ея "скучную деревенскую жизнь", тем что он разказывал ей о столичной жизни, о том высшем мире о котором, говорил он себе, "она не может иметь никакого понятия"… Он со своего чиновничьяго мировоззрения не в состоянии был угадать что эта воспитанная в деревенской глуши девушка складывала в уме своем изо всего того что сообщал он ей заключение о нем самом не далеко расходившееся с тем какое о нем вывел большой петербургский свет велел за его появлением в гостиных в его новоприобретенном графском звании. Он почитал себя ровней, чуть даже не выше стоящим на иерархической лестнице ("ведь она же не титулованная", разсуждал он) этой дочери "никакой должности незанимающаго отставного генерала", которой повествовал он теперь все о тех же Александровских кавалерах партнерах его в клубе, о последнем выходе в "Зимнем" и о назначении графа Паванова, — "этого véritable homme d'état", пояснил он внушительным тоном, — на высший государственный пост.

— Паванов? повторила вопросительно Маша; — ах да! вспомнила она, — он еще родня папа.

— Родня? протянул Петр Капитонович с особым оттенком уважительности и впал даже в некоторую задумчивость по этому случаю.

"Тут все, все, — красота, воспитание, богатство, связи, большия связи"! перебирал он мысленно, — "и к тому еще какой-то оригинал или лентяй отец, который держит ее взаперти в деревне и ждет чтобы петербургские женихи явились к нему сюда за лакомым кусочком… Ну и прекрасно, прекрасно, я тут теперь, тут и посмотрим теперь, посмотрим…"

И Петр Капитонович умильно, искательно прижмуривая глазки от сладости охватывавших его чаяний, обращался снова к девушке с разказами о шталмейстере князе Шастунове и статс-секретаре Мольском, с которыми он был "tout à fait intime"…

А на противоположном конце гостиной "Московский браво", стоя покачиваясь на каблуках и вздергивая молодцоватым движением руки зуавские усы свои вверх, объяснял безмолвно курившим, сидя за диване, хозяину дома и Павлу Васильевичу Юшкову "неисчислимыя выгоды" обещаемыя новопредполагавшеюся железною дорогой, о которой, многозначительно подчеркивал Свищов, "он уполаомочен переговорить с ними".

— Кем же это? коротко спросил Троекуров.

— Позвольте до поры до времени умолчать об этом, с тем же многозначительным видом ответил тот;- для нас прежде всего важно чтобы ваше превосходительство и многоуважаемый Павел Васильевич, как лица влиятельныя не только в здешнем уезде, но и во всей губернии, дали, так сказать, моральную опору вашему проекту.

— "Вашему?" Кто же это вы? спросил опять Борис Васильевич;- извините меня, я с анонимами иметь дело не люблю.

Свищов сдвинул брови:

— Позвольте вас спросить прежде всего, Борис Васильевич, признаете ли вы в принципе полезность этой линии?

— Это будет зависеть от того на какое сериозное количество грузов может разчитывать она, а

следовательно от степени ея доходности.

— У нас все это выработано до малейшей подробности. Со мною здесь в портфеле подробное исчисление, данныя, карта, сметы, словом, все нужныя и точнейшия сведения… Я все это вам сейчас же представить могу… Вы на цифрах убедитесь что это будет одна из доходнейших для своих акционеров линий в Империи.

— Местности через которыя должна пройти она могут действительно доставить ей значительное число зерна, но едва ли чего-либо другаго, заметил старик предводитель.

— А завод его превосходительства, воскликнул восторженно Свищов, — что он один на нея грузов даст.

Троекуров холодно усмехнулся:

— Ну-с, обо мне вы пожалуста не хлопочите; я и без железной дороги могу обойтись.

— Знаю-с, знаю-с, вскликнул опять тот:- у вас на пятнадцать верст к городу шоссе проводится на собственный ваш счет; вы, по принципу Смайльса, все самопомощью, подмигнул он по привычке, склоняя преувеличенно голову и прихлопнув каблуками. — Я впрочем, прошу верить, ни как бы и не осмелился выразить что-либо что могло бы быть сочтено вами са captatio benevolentiae, если смею так выразиться, с моей стороны. Ваши гражданские принципы известны… Я и имею единственно в виду всем известную ревность вашего превосходительства об общем благе…

— Но позвольте, с видимым неудовольствием перебил его Троекуров, — прежде всего надо знать: входит ли эта линия в предполагаемую правительством сеть?

— Нет-с, не входит… Но ее включат, если только земство нашей губернии согласно будет взять на себя инициативу этого дела, веско произнес Свищов.

— Вот как. То-есть, как это было в Орле и Саратове? Но с тех пор, если не ошибаюсь, состоялось именное повеление чтобы никаких земских дорог не строить и не гарантировать.

Свищов ухмыльнулся с некоторою уже торжественностью:

— Ни строить, ни гарантировать земству и не нужно будет. Желается только чтоб от него получено было формальное постановление что оно считает линию эту необходимою для пользы края.

— И так ему и поднесут ее, по щучьему веленью, вы полагаете? засмеялся Павел Васильевич.

— Так и "поднесут", как вы изволите говорить, подтвердил, вторя его смеху и садясь против него на стул, Свищов.

— Вы уверены? протянул, все более и более хмурясь, хозяин дома.

— Без этой уверенности я бы и не осмелился заговорит с вами об этом предмете… Я для этого нарочно послан сюда из Петербурга…

— В качестве чего же? спросил Борис Васильевич таким тоном который как бы сразу сбил с позиции петербургского посланца.

Он даже чуть-чуть покраснел:

— Я состою участником в компании, которой может быть отдана постройка предполагаемой линии, ответил он не сейчас, — я пред вами не считаю нужным это скрывать… Каждый, вы понимаете, при общем нашем теперешнем дворянском разорении, принужден стараться пристроиться как может… Я не полагаю впрочем, счел он нужным примолвить уже бравурно, — я не полагаю чтобы было стыдно принимать участие в деле где выгода которую можешь сам получить от него сопряжена с прямым благом целых сотен тысяч населения… Я вот в этих самых видах и уполномочен моими доверителями войти в сношения с влиятельнейшими лицами в земстве нашей и соседней губерний, дабы склонить их к принятию активнаго, так сказать, участия в предприятии действительно обещающем — ваше превосходительство никак не можете отвергнут это — развитие величайшаго благосостояния во всей окрестной стране.

Троекуров пристально воззрился в него, и неожиданно разсмеялся:

— Скажите откровенно, кому это нужно в Петербурге?

"Московский браво" не был решительно способен к дипломатической выдержке. Распущенност и благёрство его натуры тотчас же сказались во всем выражении его задергавшегося лица, его плутовски замигавших глаз:

— Нужно-с, до зареза нужно кое-кому высокопоставленному…

Но он тут же смекнул что это была далеко не подобающая сериозности предмета "tenue" с его стороны и, быстрым превращением придав чертам своим глубокомысленность и таинственность, примолвил шепотом:

— Я могу вам только сказать, Борис Васильевич, что гарантией в успехе вашего дела служит ближайшее участие в нем одной прекрасной особы… которой отказа быт не может… И он подмигнул еще раз.

Хозяин не дал ему договорить. Он как-то весь разом поднялся с места:

— Ну, знаете, mon cher monsieur Свищов, мы лучше этот разговор оставим. Попробуйте уж вашу агитацию — так ведь это, кажется, называется теперь в газетах? — начать с других уездов или губерний; там вы может-быть найдете "влиятельных людей" посговорчивее нас с Павлом Васильевичем… Потому что, примолвил Троекуров, взглянув на старого моряка, — мы с ним вероятно и теперь, как всегда, не разойдемся во мнении…

— Само собой! кивнул только подбородком в ответ старый моряк — и поднялся тоже.

Они молча прошли чрез всю гостиную к столу, за которым одиноко сражались в пикет доктор Фирсов и князь Пужбольский, продолжавший все также внутренно дуться на этих наехавших во Всехсвятское гостей, которых он за своем энергичном французском диалекте называл мысленно огулом "une collection d'infects personnages".

Свищов, сильно озадаченный, но видавший на своем веку и не такия, как говорится, "взбучки", язвительно поглядел во след отходившим от него последним "Могиканам старого режима", дернул презрительно плечом, и без вас, мол, обойдется дело, и направился, улыбающийся, словно распредовольный, к группе сидевшей около хозяйки.

Он взял стул, уселся прямо против нея и подмигнув по неизменному обыкновению сидевшему подле нея Остометову, с которым, несмотря на разницу лет, издавна состоял на ты, и обращаясь к Александре Павловне:

— А вы не слышали, спросил он с оника, — как поет друг мой Etienne?

— Вы поете? спросила в свою очередь Степу она.

— Второй Фор и Котоньи[73], помилуйте! захихикал Свищов не то восторженно, не то насмешливо.

— Ах, тогда пожалуста laissez vous entendre!

И Александра Павловна повела глазами по направлению стоявшего посреди гостиной большаго рояля: — вы сами аккомпанируете?.. А то Маша могла бы.

— Я давно отказался ото всякой итальянщины и мою только свое родное, сказал за это как бы отговариваясь Степа.

— Чайковского романсы поете? быстро отнеслась к нему с вопросом Маша, — я обожаю всю его музыку.

— Д-да, небрежно ответил он, — но это не моя специальность.

Она открыла большие глаза:

— А какая же ваша?

— Я цыганист, ответил он, снисходительно улыбаясь.

— А!...

— Да-с, вмешался Свищов, — и доходит в этом жанре до гениальности. C'est épatant de galbe! присовокупил он фигурным языком парижских gommeux[74] и потянул ус кверху.

— Не понимаю! проговорила девушка, вопросительно глядя на него.

Он самодовольно ухмыльнулся:

— Язык мой все еще не может отвыкнуть от своей парижской речи, je vous demande grâce pour lui, mademoiselle. Я хотел сказать... Но не скажу, — вы сами поймете когда услышите моего друга Etienne... Матрена Ивановна с тобой? обратился он к Острометову с нежданным вопросом, от которого ничего не понявшей в нем Александре Павловне сделалось даже в первую минуту жутко.

— Обязательно; мы с ней не разстаемся, ответил, осклабясь в свою очередь, Степа.

— "Матрена Ивановна" друга моего Этьена, поспешил объяснить Свищов, во успокоение замеченного им ужаса хозяйки, — не есть какая-либо женская особа plus ou moins pschut,[75] а некое мусикийское орудие которым он владеет не хуже знаменитаго Сихры.[76] А "Матреной Ивановной" названо оно Этьеном из присущаго ему чувства патриотизма, расхохотался неведомо к чему Свищов. — Теки за Матреной Ивановной, Etienne!

Степа встал и поспешно направился из гостиной в переднюю.

Граф Петр Капитонович Снядецкий-Лупандин счел нужным заявить о своем недоумении относительно того что довелось ему слышать сейчас:

— О каком это "орудии" вы говорила и почему оно докжно называться "Матреной Ивановной", не понимаю!..

И он с некоторым ироническим намерением приподнял плечи и прищурился на "московского браво".

— Есть много на земле и небе, друг мой граф, что и не снилось вам на берегах Невы, возразил на это находчивый Свищов;- воззрите и уразумейте! примолвил он, указывая на Степу, возвращавшегося в комнату с крупною, украшенною перламутром, семиструнною гитарой в руке.

— Гитара! Все же не понимаю почему она должна называться Матреной Ивановной, игриво начал опять граф:- инструмент преимущественно испанский; ее бы скорее следовало назвать Инезильей или Пахитой, n'estce pas, mademoiselle? обратился он с этим вопросом и умильною улыбкой к Марии Борисовне.

Она ничего не ответила, с видимым молодым любопытством вся устремившись глазами на Островетова и его "орудие".

— Так прикажете? спросил тот хозяйку, усаживаясь на прежнее место.

— Ах пожалуста, я очень рада.…

— С чего же начать? говорил он, натягивая колки на ручке гитары.

— А вот сейчас граф про Испанию сказал: ты и поднеси ему из андалузской поэзии, посоветовал Свищов.

Степа запел. Голос его, уже значительно надорванный, звучал все еще прелестными звуками мягкаго грудного баритона с теноровым тембром и наусканным цыганским пошибом. Это был один из тех редких по качеству голосов которые, как большинство получаемых русскими людьми от природы даров, гибнут безвременно от нерадения и недостатка школы… Пел он на весьма известный, действительно испанский мотив какия-то невозможныя слова:

За любовь мою в награду
Ты мне слезку подари, —
И помчусь я с ней в Гренаду
На крылах моей любви.

Разсеянные по углам гостиной чада и домочадцы Всехсвятского торопливыми и осторожными шагами потянулись к поющему и сомкнулись кругом него внимательною тесною стеной. Пужбольский, сдававший в эту минуту карты, откинулся, не додав прикупки, в спинку своего стула, восклицая:

— Tudieu, quelle voix!… Но что это за слова, какия он слова поет?

Там я в перстень драгоценный
Эту слезку заключу,
И за талисман чудесный
Своей кровью заплачу,

продолжал заливаться Степа.

— Non, c'est un peu fort, это чорт знает что такое! так и прыснул пламенный князь, вскакивая с места;- он хочет лететь в Гренаду со слезкой, с одною слезкой, pour la fourrer dans une bague.... Да ведь она по дороге сто тысяч раз успеет высыхать "на крылах его любви"... И он за это будет свою кровь проливать; oh l'imbécile, l'imbécile!....

Он кинулся с места к певцу, сопровождаемый смешливым доктором, которому и голос Острометова, и этот комический взрыв его партнера доставляли равно не малое удовольствие.

— Pardon, monsieur, обратился князь к Степе, едва допустив его допеть до конца, — кто эти слова сочинил: которыя вы сейчас пели?

Стела как бы смущенно опустил глаза:

— Приятель мой один...

— Сам, сам творил, прервал его Свищов, надрываясь от хохота и подмигивая спрашивавшему обоими глазами:- все его, и слова и музыка, подчеркнул он лукаво.

— Ah!... Alors je n'ai rien à dire, проговорил кланяясь Пужбольский, и быстро зашагал назад к покинутому им игорному столу.

Инцидент этот нисколько впрочем не помешал дальнейшему успеху "второго Фора". Несомненно красивый голос его и самый этот цыганский пошиб его пения, неотразимо действующий на русские нервы, произведи на зрителей самое чарующее впечатление. Маша, не отрываясь, следила за переборами руки его по струнам гитары, как будто от них, от этих струн, неслись те живые звуки которые глубоко хватали ее за душу; но глаз она не поднимала. "Взглянешь на его лицо — и разочаруешься", проносилось у нея в мысли.... Сам Борис Васильевич, опустившись в отдалении в кресло и закрыв глаза рукой, словно ушел весь во мглу каких-то далеких, щемящих воспоминаний. Учитель Молотков, сам весьма музыкальный и обладавший хорошим голосом молодой человек, бил безсознательно ладонями по воздуху, намечая лад песни и весь словно потонув в ея забирающей мелодии...

Но вот Степа оборвал вдруг, шевельнул плечами, оглянулся кругом каким-то строгим взглядом. Руки его мягко притронулись к струнам опять...

Ай, ту, береза...

Начал он pianissimo, и чем-то неотразимо жгучим ударило теперь по сердцам у всех. Что-то ни с чем не сравнимое, родное, самобытное, несущее к какой-то далекой, таинственной старине, что-то бодрящее и сладко томительное в одно и то же время плыло и сверкало в волне этих звуков, приправленных какими-то безсмысленными, дикими словами... Все замерло на миг в лихорадочном ожидании, готовое тут же пристать на самой вершине постепенно крепчавшего crescendo...

Ай, ту, береза,
Ту мира береза,
Ай, ту, матессе,
А я твереза.
Ой, думала, думала,
Ой, гадала, гадала![77]

И действительно, Островетов внезапно метнул еще раз взглядом кругом, и все, Маша, Молотков, Пец, Гриша, доктор Фирсов, сияя мгновенно загоревшимися глазами, подхватили

разом:

Ай, ту, береза…

— Народ сочинивший такую вещь — великий народ, батенька мой! вскликнул доктор Фирсов, швыряя карты свои на стол в порыве восторга.

— Не сочинил, закипятился тут же Пужбольский, — а занес с каких-нибудь вершин Памира, или в Золотой Орде ей научился. Это Восток, чистый Восток, mon cher monsieur…

— Россия-матушка, ширь, русская, необъятная ширь, стоял на своем Фирсов, смаргивая с ресниц выкатившияся на них слезы.

Один граф Снядецкий-Лупандин не примыкал впечатлениями своими к такому потоку общаго увлечения. Он даже удивлялся что "девушка хорошаго дома как дочь генерала Троекурова могла так прямо, вместе с какими-нибудь служащними у ея отца" подпевать "глупой цыганской песне"… "Уж конечно в Петербурге она себе этого сделать не позволила бы… но тут, конечно, провинция"… А "этот поющий купчик" на которого "точно на Патти глазеет и с ума сходит здешняя деревенщина", — '"он ему решительно не правился…

Подсевший к нему Свищов еще более разбередил проступавшее у него чувство нерасположения к "этому купчику":

— Талант-с своего рода, шепнул он ему на ухо, подмигивая и хихикая, — соперник опасный!

Петр Капитонович огрызся:

— Не нахожу, и притом к чему тут вы о каком-то сопернике говорите!..

И он отвернулся от него, изображая на лице своем оскорбленное достоинство.

— Тридцать тысяч дохода и от поротых Татарами знаменитых бояр происходит, хихикнул еще раз ему под ухо, не смущаясь, нахал.

— Еще, еще, пожалуста!.. раздавалось кругом между тем.

— "Чаруй меня, чаруй"! запел даже с места, к общему хохоту, своим фальшивым голосом Фирсов на припев известного романса Даргомыжского.

Пение продолжалось до истощения всего имевшегося в запасе у Степы репертуара. Общее настроение притом поднято было до той точки возбуждения за которою неминуемо должно следовать утомление. Но все еще глаза горели, и что-то разнеженное сказывалось у всех на лицах…

— А где же Вася? спросила вдруг Александра Павловна, обернувшись к наставнику сына, Павличку, тихо в эту минуту подошедшему и опустившемуся на стул за ея креслом;- он тут был сейчас…

— Он сказал мне что к себе пойдет, ответил тот как бы несколько недовольным тоном.

— Здоров он? тревожно спросила она.

— Совсем здоров, я спрашивал…

— Так отчего же… не договорила она.

— "Шумно", говорит, "слишком".

Она вздохнула.

— Я его удерживал… Но полагаю что было бы вредно еслибы принуждали его к, тому что противно его наклонностям. Это только заставило бы его упорнее следовать им, объяснил, будто извиняясь в чем-то, Павличек.

— Да, да, конечно, прошептала Александра Павловна, подавляя новый вздох.

— Ну-с, пора, Троженков ждет вас, шепнул, подходя опять к графу, "московский браво", — десятый час в начале, пока доедем…

Петр Капитонович растерянно (ему даже жутко стало от мысли что "вот-вот сейчас и уехать отсюда надо") взглянул на него, но тут же послушно поднялся с места и стал прощаться.

— Разве вы не поужинаете с нами? спросила любезно удерживая его хозяйка.

— Mille mercis, madame, ответил за него расшаркиваясь Свищов, — луна взошла, как раз время пуститься в путь по нашим отвратительным путям преграждения, сострил он;- au clair de la lune mon ami Pierrot и покорный ваш слуга будут иметь по крайней мере возможность знать на каком именно месте обречены они сломить себе шею, громко захохотал он в заключение, между тем как исполненное все того же достоинства лицо его товарища по путям преграждения стало вдруг чернее, тучи.

Степа, перекинув через плечо орденскую ленту, на которой подвязана была его "Матрена Ивановна" — что придавало ему некий вид маскарадного трубадура, — принялся прощаться в свою очередь.

— Спасибо вам, ото всей души спасибо! горячо проговорила Маша, протягивая ему руку и крепко, своим мужским движением, сжимая ее, — вы вам всем доставили сегодня такую радость… Я говорю радость — это больше чем удовольствие… Надеюсь, это не в последний раз?

Он не успел ответить.

— N'ayez peur, mademoiselle, возгласил за него Свищов, — друг мой Etinne и не разрывная с ним Матрена Ивановна к услугам вашим во все дни и часы их музами хранимаго существования.

— Позвольте, говорил тем временем граф, подходя к Борису Васильевичу и раскланиваяс с самою отборною светскостью, — позвольте выразить вашему превосходительству душевнейшую благодарность за ласковый прием ваш… и вместе с тем надеяться что вы не откажете мне в дозволении теперь, как соседу, наскучать вам изредка моим посещением…

— Очень рад… До свидания! промолвил Троекуров, пожимая протянутую ему руку. — Прощайте-с, заметно подчеркнул он, отвечая этими словами на прощальный поклон подошедшаго в эту минуту Свищова…

"Э-э, да это, брат, тебе абшид en toute forme", основательно объяснил себе Петр Капитонович и покосился на своего спутника, сложив губы в презрительную по адресу его улыбку.

Хозяева, по неизменному их обычаю, проводили гостей до самой передней.

— Il est vraiment tout à fait impossible, ce monsieur Свищов, тихо сказала мужу, возвращаясь в гостиную, Александра Павловна, — у него со всеми такая неприятная фамильярност…

— Все они хороши, промолвил сквозь зубы Борис Васильевич:- обращики русской воспитанности в последовательности поколений.

И он отошел к Павлу Васильевичу Юшкову и усевшемуся подле него директору завода Пецу, оживленно о чем-то заговорившим в эту минуту.

Александра Павловна быстро прошла чрез гостиную в свой покой, а оттуда в отделение дома которое занимали сын ея и Вячеслав Іосифович Павличек.

Между тем, в тарантасе, увозившем из Всехсвятского графа Снядецкаго-Лупандина с его спутником Свищовым, происходил такого рода разговор.

— Вы меня извините, говорил Петр Капитонович (он был очень возбужден и видимо старался поддержать в себе это возбуждение), — вы меня извините, но я принужден выразить… заметить, так сказать, вам мое удивление тому как вы, можно сказать, странно… более даже чем странно, относились ко мне в доме где я в первый раз… и где по моему положению я заслуживаю, позвольте мне сказать, более уважения…

— Да вы это о чем, с чего вы? спрашивал недоумело "московский браво", стараясь в темноте разглядеть выражение лица говорившего.

— Тем более, продолжал язвительно тот, — что, сколько я мог заметить, сами вы не пользуетесь в этом доме каким-нибудь, так сказать, особенным расположением.

— А на чорта оно мне нужно! воскликнул нахал, — плюю я на их расположение.

— Так, может-быть, и они со своей стороны… начал и не договорил граф, — а это мне, позвольте вам сказать, весьма неприятно что вы позволяете себе при дамах называть меня таким неприличным образом…

— Как это зазывать… про что это вы?

— Сами, кажется, должны понять!… Еслибы мы были с вами и в более, так сказать, интимных отношениях, так и тут… А мы с вами недавно только на железной дороге познакомились, и вы позволяете себе при дамах называть меня каким-то Pierrot… Я для вас не pierrot, милостивый государь, и ни для кого не желаю быть Pierrot, и не могу дозволить вам этой дерзости, кипятился все более и более Петр Капитонович, — не могу и не хочу! кричал он уже криком, стуча кулаком по кожанному фартуку пристегнутому к кузову тарантаса.

Свищов расхохотался самым безцеремонным образом:

— Ах, так это вы вот из-за чего, из-за французской песенки, которую всякое малое дитя знает:

Au clair de la lune Mon ami Pierrot…

— И я знаю-с, я не хуже вас воспитан:

Prête-moi ta plume

и прочее... Только вы не имели никакого права относить это ко мне, и я покорнейше прошу вас не забывать что я в моем положении... в моем, так сказать, звании, произнес он с необыкновенною внушительностью, — не могу этого ни вам, ни кому иному на свете дозволить.

— Ого, как грозно, ваше сиятельство! захохотал, не смущаясь, из своего угла Свищов;- это что же должно собою изображать: вызов мне что ли?

— То-есть, как вы это понимаете: "вызов"? опешил внезапно граф Снядецкий-Лупандин.

— На барьер, то-есть, желаете поставить меня? объяснил спокойно тот;- так я от этого никогда не отказываюсь, считаю долгом предварить вас.

Петру Капитоновичу сделалось холодно:

— Я полагаю, в настоящем случае было бы, так сказать, рановременно прибегать к такой крайности, пробормотал он, кутаясь как-то особенно тщательно в шинель свою, — но я вас очень прошу впредь...

— Так что жь об этом толковать! перебил его спутник за полуслове. — Есть у вас спички папироску зажечь?..

XIII

Гриша Юшков в течение всего вечера не проронил ни слова. Он сидел вдали от певшего Острометова, погруженный в какое-то странное настроение духа. Волна пения уносила и его вместе с прочими, но к сладостному ощущению производимому на него этим пением примешивалось какое-то назойливое ощущение недовольства, что-то похожее на досаду не то за самого себя, не то на певца, на нескрываемый восторг возбуждаемый его голосом в слушателях его и слушательницах... Этот "концерт", проносилось у него в мысли, нарушал весь обычай, весь издавна знакомый и дорогой ему обычай вседневной жизни во Всехсвятском: тихие разговоры в теснодружеском кружке или чтение хорошей книги за круглым столом, на которое после вечерняго чая собирались все жители дома, веселый смех Маши, вечные споры его с нею... Он ехал из Петербурга радостно чая найти все теми же эти издавна заведенные милые ему порядки. И вдруг не то, совсем не то: новыя лица, глупая гитара какая-то... И никогда музыкантшею она не была, а теперь и не оторвешь ее, точно будто околдованная сидит..." И он изподлобья следил, все заметнее хмурясь и покусывая губы, за восхищенным выражением искрившихся глаз девушки, — и на душе его становилось все тоскливее и тоскливее...

Он поспешно поднялся с места и отошед в самый отдаленный угол гостиной, к одному из окон выходивших в сад, в ту минуту когда гости поднялась прощаться: ему инстинктивно претило быть вынужденным подать руку этим незнакомым и уже антипатичным ему людям.

В окно светил сквозь полуобнаженныя еще ветви кленов и лил поднявшийся на темно-голубое ночное небо месяц и какия-то веселыя узорчатыя тени бежали, словно играя, по дорожкам сада, по просохшей уже глади террасы разстилавшейся пред домом. Гриша загляделся за них и обернулся лишь когда никого из "чужих" уже не оставалось в гостиной. Пец, Молотков, Blanchard вышли вслед за хозяевами в сени провожать их. Один Павел Васильевич, убаюканный музыкой, остался дремать в углу дивана, да князь Пужбольский с доктором Фирсовым продолжали сражаться в пикет на противоположной стороне комнаты... Но нет, вот и она тут, — Маша... Она откинулась головой в спинку своего кресла и, уложив руки на его ручки, сидит недвижно, уставившись взглядом в пространство в каком-то "блаженном", желчно сказалось ему в мысли, забытьи...

Он подошел к ней с каким-то странным смущением.

— Я не знал, начал он с напускною насмешливостью, — что на вас так может сильно действовать музыка.

— Почему же не думали? сказала она, не переменяя положения.

— Вы никогда даже и учиться ей не хотели. Я помню что из-за этого в оны дни было у нас слез и капризов с маменькой, засмеялся он в ответ.

— И не хотела играть никогда, потому что чувствовала что никогда из этого у меня ничего не выйдет. И оттого именно что любила всегда музыку, не хотела оскорблять своих ушей тем что могла ожидать от собственного моего исполнения.

— Оригинально, как и все у вас, а впрочем…

Он не договорил.

— "Впрочем" что?

И она пристально теперь остановила на нем свои лучистые глаза.

— Вы для меня теперь почти совсем новое лицо. Я оставил вас ребенком…

— А теперь, перебила она его, — заходите во мне такую перемену что узнавать более не хотите. Так?

— Почему же "не хочу?" возразил он с живостью;- очень прошу напротив.

— Чего это?

— Позволить возобновить с вами знакомство, насилованно засмеялся он опять.

— Вы в самом деле этого желаете? спросила чуть не строго девушка.

— Я полагаю что сомневаться в этом вы даже права никакого не имеете, сказал на это Гриша, подавляя внезапное смущение.

Она опустила на миг глаза, сжал раздумчиво брови:

— А Петербург что же? как бы ни к селу на к городу обратилась она к нему с вопросом.

Но он повял.

— Тоска, мертвечина, отвращение! вырвалось у него прямо из души.

Она улыбнулась чуть-чуть, как бы одобрительно кивнула подбородком, замолкла опять на минуту и вдруг подняла на него еще раз глаза снизу вверх во всю сияющую ширину их.

— А я кого-то видела в Венеции, Григорий Павлович!..

— Кого это? спросил он дрогнувшим невольно голосом и мгновенно вспыхивая по самые глаза.

— Вот этого я терпеть не могу, — лицемерия! вскликнула пылко Маша:- вы очень хорошо знаете о ком я говорю.

— Положим знаю, ответил он не сейчас, — что же из этого?

Она в свою очередь не сейчас ответила:

— Это вам лучше звать чем мне.

— Мне это все равно, произнес он с неожиданною, поразившею девушку искренностью выражения твердостью.

— И это правда? протянула она, глядя на него избока.

— Что же вы полагаете, и он пожал плечами, — если кто-нибудь схватил простуду, так ему век и оставаться простуженным.

— Так это часто и бывает, возразила она вдумчиво.

Он усмехнулся опять:

— Нет, слава Богу, я из больницы выписался. Чуть-чуть заметная улыбка пробежала по губам Маши, но она как бы недоверчиво, медлительно закивала своею белокурою головкой.

— Вы не верите? поспешно спросил он.

— Почему же, если вы говорите… Только…

Она не договорила, как бы о чем-то задумавшись вдруг.

— Что "только"?

— Нет… я думала, чем же вы жить теперь будете…

"Тобою"! чуть не сорвалось с уст молодаго человека в каком-то внезапном порыве всего его охватившей нежности.

— Так вы полагали что без этого мне и жить нельзя будет? сказал он громко, стараясь придать голосу своему насмешливый оттенок;- в мои годы есть в жизни другие задачи и идеалы.

— Ну да, "в ваши годы", это у вас старая привычка говорить о ваших годах; только годы ничего не значат… Вы знаете пословицу: каков в колыбельке, таков и в могилке…

Она вдруг вздохнула:

— У вас характера нет, Гриша, вот беда!

Гришу Юшкова всего передернуло. Ничто так обидно и болезненно не могло задеть его как подобный упрек, и потому именно болезненно и обидно что сам он в глубине сознания не мог не призвать всей основательности этого упрека. Но все же не хотелось ему склонить безответно голову под этим ударом:

— С вашей стороны не великодушно, во-первых, злоупотреблять превосходством характера вашего над моим, подчеркнул он, стараясь принять шутливый тон;- а, во-вторых, если это и действительно так, так ведь это относится не к одному мне, Мария Борисовна. Я сын своего века, а люди этого века все, как известно, безхарактерны… Возьмите хоть все мужские типы у Тургенева; разве в них вы найдете хоть одного героя похожаго на тех которыми восхищаетесь

вы в Валтер-Скотте или даже в ваших нынешних английских романах? Все они в своем роде Гамлеты… или вернее даже Гамлетики, маленькие, узенькие Гамлетики, прибавил он с невеселою иронией, — но во всех их одна общая им черта: преобладание разсудка, фантазии, "рефлективности", как говорится, над волей, над действием. Положим, сам Тургенев принадлежал к типам этого сорта, но все мы воспитались на них и на нем; все мы взросли под условиями при которых не на чем было развиваться в нас элементу воли, некуда было употребить ее…

— А отец мой? а ваш отец? пылко перебила его Маша, — вы ими были воспитаны, а никем другим; разве есть в них хоть тень чего-нибудь похожаго на наши жалкие "Тургеневские типы"?.. Я их от этого и терпеть не могу всех что они так жалки, так постыдны для вас, Русских!..

Горячия слова эти отозвались новым щемящим чувством в душе молодаго человека.

— Да, пробормотал он, — отец ваш, мой отец — это другие люди, но вы забыли о той прежней школе чрез которую прошли они, о тех устоях на которых держалось все то чему служили они. А ведь мы, мое поколение, мы взросли на свежих обломках старого и в хаосе постройки нового, недодуманнаго, недоделаннаго, недосказаннаго. У нас из рук вырвали нити. связывавшие нас с прошлым, а света не дали чтобы разобраться в темноте обещаемаго нам будущаго. Откуда же нам характера набраться, Марья Борисовна?

Она медленно покачала головой:

— Не то, совсем не то вы говорите. Они, те о ком я сказала, вынесли из старого все лучшее что может служить и теперь, и чем они и теперь "служат", как вы говорите. Ничего от вас больше и не требуется — живите, поступайте так как они живут и поступают, по совести и по долгу.

— Я не полагаю чтобы с этой стороны мог кто-либо обвинить меня, возразил несколько обидчивым тоном Гриша.

— Ах, вы не понимаете меня! вскликнула нежданно со слезами в голосе девушка:- я видно не умею объяснить, но понимаете вы что мне это больно, точно ножем меня режут когда я вижу что после того, — вы знаете, проговорила она как бы в скобках, — другое совсем чем прежде думают о вас все у нас. Вы может-быть и не заметите сами, потому что вас все так же любят как прежде, но… не знаю как это сказать… но уже не верят в вас так, как до этого.

— Вам и не нужно было говорить мне об этом, вздохнул Гриша: — я чуток на такие оттенки, я давно заметил… Н не виню никого: так это и должно было случиться… Обо мне составилось мнение в течение годов которого я в действительности не заслуживал, — никто не виноват, кроме меня самого, в том что подо мной разбился пьедестал на который возвела меня слишком большая благосклонность к моей особе… А теперь все кончено, Марья Борисовна, да? спросил он дрожащим шепотом, с лихорадочною тревогой в глазах.

— Ах, и не знаю, ничего я не знаю! вскликнула она, вскакивая нежданно с места, — ничего не могу сказать.

И она быстрыми шагами отошла от него.

— Куда же вы? спросил он чуть не с отчаянием.

— К брату Васе. Мама сейчас прошла, вы и не заметили… Она наверно к нему, не заболел ли он!…

XIV

Он давно душою жаркой,
В перегаре сил,
Всю неволю жизни яркой
Втайне отлюбил…
И не раз в минуты битвы
С жизнью молодой,
В упоении молитвы
Находил покой.

Фет. Легенда.

По пути к покоям брата Маша встретилась с возвращавшеюся оттуда матерью.

— Ты к Васе? спросила Александра Павловна.

— Да, maman, я вижу вы ушли к нему и подумала, здоров ли он…

— Ничего, говорит, совершенно здоров, и действительно жару нет, голова свежа. Он ушел к себе потому, говорит, "слишком шумно" и он этого не любит… Ах, Боже мой, проговорила вдруг болезненно Александра Павловна, опускаясь в кресло (разговор происходил в ея маленькой гостиной), — я уж и не знаю что будет с ним дальше.

— С Васей, maman?.. о чем вы безпокоитесь?

— Ах, Marie, разве ты не вы лишь, разве он похож на мальчика его лет! Ни резвости, ни смеха, безответный и смиренный какой-то, точно подстреленная птичка…

— Он прелесть просто, maman, святой какой-то! вскликнула восторженно Маша.

Александра Павловна вздрогнула вся от слов дочери:

— Ах вот то что ты говоришь, вот это самое мне и страшно в нем!..

Маша, с присущею ей порывистостью, кинулась на колена пред матерью, охватила шею ея обеими руками, целуя ее в лоб, в щеки, в глаза.

— Мамочка, душечка моя, говорила она не то плача, не то смеясь, — ведь это же все от вас у него, эта кротость, смирение, он вам настоящий сын! На что же вы сетуете?

Александра Павловна в свою очередь прижала обеими руками к груди своей белокурую головку дочери.

— Нет, Маша, нет, я в его годы не такая была, я не об одном Боге думала.

Она сложила пальцы и хрустнула ими судорожным движением.

— И ужасно то что я не могу, я не в праве… ведь правда, Маша, с тревожною поспешностью прибавила она, — не смею упрекать его в этом, потому все мы, христиане, должны прежде всего о Боге думать. Но он, она вздрогнула опять, — он, прости меня Господи, он уже слишком… И отец твой это видит, и это его мучает, я знаю…

— Да о чем вы, maman, о чем? спрашивала тревожно Маша;- Вася очень чувствителен, за него

сегодня этот молебен за Государя и то что разказывал Гриша очень подействовало, это правда; ему, я понимаю, представилось что в такой ден эти гости, и музыка… Он был так настроен что это все могло показаться ему… грехом, и он ушел от него. Но все-таки я не вижу почему вам так безпокоиться, maman…

Александра Павловна тихо провела рукой по лбу:

— Не знаю, Маша; еслиб я одна была у него, я может-быть и не безпокоилась бы так. На все воля Божия, Он лучше знает… Но Вася у отца единственный сын, и я понимаю что Борис не такого бы хотел в нем видеть…

Она примолкла на миг, глянула безконечно нежным взглядом в глаза все так же коленопреклоненной пред ней дочери, и чуть-чуть усмехнулась.

— Тебе бы надо было родиться мальчиком, Marie, а ему быть бы вместо тебя. Ты была бы готова на всякую battle of life…[78] Ты говорила с Гришей сейчас? спросила она почти без перерыва, с видимым желанием переменить разговор.

— Говорила maman, да! ответила девушка, прямо глядя матери в лицо.

— Что же он? спросила та как бы несколько неуверенным голосом.

Маша широко улыбнулась:

— Он говорит что "выписался из больницы".

— Это что же значит, — разве он был болен в Петербурге?

— Это он, мамочка, symboliquement parlant, и Маша совсем уж разсмеялась;- это значит, то-есть, что он о той, вы знаете, больше не думает.

— Это он сам тебе сказал или ты об этом начала? спросила ее поспешно мать.

— Я сказала ему что встретились с ней за границей.

— Ах, зачем ты, зачем?..

— Потому что и теперь, как и во всем, maman, я желаю знать ясно à quoi m'en tenir, твердо и отчетливо ответила на это Маша.

Александра Павловна видимо хотела сказать что-то, но сочла неудобным или несвоевременным говорить: она только вздохнула и поднялась с места.

— Так иди к Васе, поговори с ним… Он тебе, как сестре, больше может-быть скажет чем матери, проговорила она дрожавшим слегка голосом…

Отделение дома занимаемое Васей Троекуровым и его наставником состояло из трех комнат: первая служила "классною", следующая за ней общею им спальней, а третья, в стороне, с полками обширной библиотека по стенам и большим письменным столом, занимавшим чуть не целую треть ея, отдана была под кабинет Вячеслава Іосифовича Павличка. Он все часы остававшиеся ему свободными от занятий с его воспитанником проводил за писанием большаго исторического сочинения "Об отношениях юго-западных славянских народностей к России в течение первых трех веков следовавших за эпохой апостольской миссии Святых Кирилла и Мефодия".

Он только-что вышел из классной, где оставил Васю одного за книгой, и прошел к себе, заперев за собой, как это было в его обычае, дверь на ключ.

— Можно войти? громко спросила, не входя еще, Маша притрогиваясь к замку двери в классную.

— Это ты, Маруся? услышала она ласковый голос брата, — войди!

Она заметила входя что он поспешным движением отпихнул, сложив, развернутую пред ним книгу и встал в рост пред столом, как бы с тем чтобы закрыть ее от глаз сестры. Но дальнозоркий, быстрый глаз Маши уже успел прочесть ея заглавие: это было известное Сказание о путешествии инока Парфения ко Святым Местам.

— Ты один? спросила она, не подавая вида что заметила его маленькую хитрость.

— Один, ответил он, садясь опять и укладывая локоть на стол так чтоб опять закрыть им книгу от сестры.

— А Вячеслав Іосифович? спросила она.

Вася кивнул в сторону кабинета.

— И заперся как всегда? засмеялась она.

— Да, он говорит что без этого он работать не может… Мама сейчас у меня была, начал он тут же, с каким-то, показалось ей, безпокойством глядя за сестру.

— Да, она мне говорила, я с ней сейчас встретилась;

— Отчего это, скажи, мамаша тревожится все обо мне, Маша? Она вообразила себе почему-то что я нездоров, хотела непременно чтоб я термометр под мышку взял, температуру измерить… Сегодня утром еще, я понимаю, у папа в кабинете, я не мог удержаться когда говорили про это злодейство… и… так глупо расплакался… Но теперь, потому что я ушел когда начались там эти песни и смех… Правда, я тебе скажу откровенно, вернно, обрываясь за словах, говорил юноша, — в такой день как сегодня, когда мы молились утром в церкви за спасение Государя…

— Ну вот, я отгадала, я так и сказала сейчас maman, не дала договорить ему Маша, — я поняла что тебе это показалось… грехом, Вася. Ты строже всех в доме смотришь за это… Хотя, ты понимаешь, милый, что еслиб это было неприлично, папа не допустил бы у себя этого пения, промолвила она, мягким осторожным тоном прикрывая легкий упрек заключавшийся в этих словах.

Он понял, зарумянился весь и заволновался.

— Боже мой, Маша, неужели ты или мама можете думать что я осмеливаюсь судить моих родителей! Да я, я…

Слезы подступали к его горлу:- для меня каждое их слово, желание — закон… Я просто ушел потому что, сама ты знаешь, мне в большом обществе тяжело, особенно с незнакомыми, я тебе прямо скажу; я больше у себя люблю сидеть с книгой…

— Инока Парфения читать? досказала Маша с чуть-чуть насмешливою улыбкой.

Вася вспыхнул еще раз, смутился, машинально отодвигая локоть от книги на которую кивала

усевшаяся у стола сестра его, и сам как бы невольно усмехнулся чрез миг.

— Да, я читал его, словно повинился он, и глаза его мгновенно заблистали:- Ах, какая это прелесть, Маша, если-бы ты звала!…

Она молча, внимательно уставилась на него несколько печальными глазами:

— Отчего это ты, скажи, Вася милый, только такия особенно книги и любишь читать?

— Отчего? медленно повторил юноша, опустив глаза и глубоко задумался. — Я тебе скажу, тихо заговорил затем он опять вскидывая свои сериозные светло-голубые глаза на сестру, — но я прошу тебя, умоляю, не говори об этом пока ни мамаше, ни папа: они ничего не скажут может-быть, но в душе, я знаю, они опять станут безпокоиться обо мне…. А ты не знаешь как мне тяжело это видеть, угадывать, Маруся!… Я тебе скажу одну ужасную вещь, зашептал он вдруг, бледнея и с дрожью в голосе:- мне иногда хотелось бы чтоб они меньше любили меня, меньше думали обо мне.

— Что это ты, Бог с тобой, Вася! промолвила испуганно девушка.

Он закрыл себе обеими руками лицо.

— Я тебе сказал, это, ужасно, я чувствую… Но ты пойми, я мучаюсь мыслью что их огорчаю, что я не отвечаю тому чем бы желали они видеть меня, особенно папа… Я понимаю, он такой действующий, сильный, а я… Что же делать, Маша, когда я в жизни ничего милаго для себя не вижу, а одно беззаконие и грех?…

— Вася, Господи, откуда это у тебя все? вскрикнула испуганно девушка, схватывая его за руки и наклоняясь вся к его заплаканному лицу.

— Ах, давно, Маша, давно, вот уж больше года все это преследует меня. Я помню, когда мы были прошлою осенью с maman в Москве, я говорил с Лизаветой Ивановной раз вечером, и она мне сказала вдруг: В последняя времена отступят человеки от веры, внемлюще духовом лестчим и учением бесовским, это из Сираха… И я вот с тех пор стал думать все об этом больше и больше… Ты только подумай об этом, Маша, говорил он, весь горя и схватывая в свою очередь руку сестры, — в какия времена мы живем с тобой!… Ты скажешь, дом наш…. Правда, у вас по "божески живут", как говорит Анфиса Дмитриевна; но мы за то словно остров среди бурного моря… Мы и вот у Юшковых тоже… а кругом, а дальше по всей России?… Когда Николай Иванович читает после обеда газеты папаше, разве это не ужас все что там сообщает ея? Люди каждый день убивают себя и других, и все больше молодые, у которых родители от горя после этого умереть должны… Над Богом, над церковию без стыда и страха смеются и кощунствуют. Повсюду нечестие, ненависть, неправда; невинных преследуют, злодеев защищают и оправдывают… И наконец, последнее это… на Царя, на помазанника Божия… По истине, будто в "последния времена", о которых сказал Христос… Сам папа, как ты думаешь, какое все это на него действие производить? Ты никогда не замечала разве какое лицо у него бывает иногда после такого чтения? Мне представляется, точно его раскаленным железом жгут в эти минуты, так ему больно…

— Но он и не склоняет головы пред злом, Вася, горячо возразила ему сестра;- он старается бороться с ним сколько может, чтобы все по крайней мере что от него зависит не страдало, было ограждено от этого зла. Народу кормящемуся от него жить хорошо, ты сам знаешь, он о нем заботится как о собственных детях. У нас крестьяне и нравственнее, и меньше пьют, и богаче живут чем во всех прочих частях губернии. Это говорил, ты сам слышал, за столом губернатор, когда был здесь, и он это прямо приписывал доброму влиянию папа и порядкам

которые заведены им во Всехсвятском.

Она на минуту примолкла, все так же устойчиво глядя в глаза брату, я заговорила опять:

— Ты наследник папа, Вася, ты должен быть продолжателем его дела, когда его не будет на свете, и прямым помощником его когда пройдешь свой курс в университете.

— Да, я знаю, это мой долг, это желание и мечта моего отца… Но для этого нужно то что у него есть, его твердость, его воля. Он какой-то богатырь, папа, вырвалось у юноши внезапным, восторженным взрывом, — вот как в былинах наших поется о Вольге или Добрыне… Но я, я чувствую, во мне нет силы. Мне не командовать, как ему, дано, Маша; я годен на то только чтобы молиться за наш народ и с вашим народом, проговорил он чуть слышно, опуская руки и глаза будто в изнеможении.

— Что же это, ты в монахи хочешь? вся бледная, таким же шепотом проговорила Маша.

— Нет… во священники, едва разслышала она его ответ, и всплеснула руками.

— В священники! повторила она, как бы еще не веря ушам своим.

Он быстро поднял теперь глаза и заговорил лихорадочно-быстро, с видимым намерением не дать ей времени на возражение:

— Я знаю, знаю все что на это могут мне сказать: что это вы с чем не сообразно, не согласно ни с обычаями, ни со званием, ни с тем наконец что мне предстоит, как ты вот сейчас сказала, как "продолжателю дела моего отца". Но ведь против этого я могу тебе сказать что прежде, в Малороссии, это именно было в обычае в дворянском сословии идти во священники. Не далее как в вашем роде прадед папа по матери, Моисей Петрович Остроженко, полковник малороссийского войска, под старость поставлен был настоятелем церкви своего же села, Глубокаго, которое досталось папа после дяди. Ты видишь!.. А ты подумай, Маша, еслиб я там же, в Глубоком, или хоть здесь бы, во Всехсвятском, призван был священнодействовать, быть духовным отцем наших крестьян, разве я не был бы настоящим тогда помощником в деле моего отца и не избрал бы вместе с тем лучшее что дано человеку сделать на земле?

Маша безмолвно глядела на него; она старалась разобрать в голове своей что из этих болезненно волновавших ее слов брата следовало отнести на долю юношеского, временного увлечения и что, с другой стороны, заключалось в них действительно грозного для чаяний, для будущаго ея родителей.

— Мне говорила Лизавета Ивановна про одного отца Алексея, продолжал между тем Вася: — он теперь в Петербурге в каком-то приходе, а пред этим был священником в одном селе той же Петербургской губернии. Ему было не более двадцати пяти лет когда он поступил туда. Село это было самое разоренное во всем уезде, народ от пьянства дошел до того что нищенствовал по дорогам, воровал и разбойничал до того что многих должны были в Сибирь сослать, а дети от неухода и бедности умирали чуть не все до одного едва родясь. И благодаря пастырскому слову этого священника, его заботам и участию ко всякой беде, ко всяким затруднениям прихожан, в пятнадцать лет времени село это узнать нельзя было: вместо развалин построились крепкия, здоровыя избы, кабак общим приговором крестьян закрыт был на вечныя времена, на их счет выстроена прекрасная каменная школа, и теперь в этом селе нет, говорят, крестьянского дома в котором не было бы по крайней мере трех лошадей и столько же коров. Зимой крестьяне эти ездят извозничать в Петербург, и один приезжавший оттуда знакомый Лизаветы Ивановны ездил с таким извощиком и от него все это слышал про их бывшего пастыря, которого тот называл "настоящим учителем и служителем Божиим"… Какой

же еще славы, какой лучше награды может ожидать для себя человек в этой жизни и вечной, когда дано ему таким истинным служением слову Божьему достигнуть и духовных и материальных результатов, — сама скажи, Маша!

Она все также молчала, не сводя с него глаз отражавших болезненную тревогу.

А он говорил с тем же лихорадочным одушевлением и как бы спеша целиком вылиться пред этою тревожно внимающею ему сестрой:

— Мы с тобой не знаем, Маша, и догадаться даже не в состоянии какою жаждой к божественной истине исполнена душа русского человека... Ты вот посмотри у Достоевского, в каждом из выводимых им лиц, сквозь все что он писал проходит все то же искание вечной правды, — правды во Христе, которая дышет в каждой странице и вот этой самой книги, молвил Вася, притягивая к себе отпихнутое им в сторону, при входе сестры, Сказание о путешествии инока Парфения и быстро развертывая его. — Да на вот, как нарочно развернулось на таком месте... И он принялся читать: "Итак я, окаянный и несчастный, жаждущий капли живой воды — напоить свою изсохшую душу, ходил повсюду, но все по сухим кладезям, и нигде не мог найти скорбной и юной душе своей утешения..." Он родился раскольником, Маша, но с юных лет "начал приходить в некое сумнение о своей вере или секте, говорит он, и всегда о том размышлял что сколько я ходил и странствовал по России, по своим монастырям и скитам, а ничего доброго не видал и никакой пользы душевной не получил кроме одного соблазна и душевного вреда"... И мучился он таким образом и искал в течение многих лет, пока не обратился к истинной церкви и не успокоил души в подвижничестве на Афоне... В вашем лживом, испорченном мире до этой живой душевной стороны русского человека никому дела нет, о ней и не знает никто... А в ней-то все и есть, — все будущее ваше — и может-быт всего человечества, которое наш народ призвав спасти от мамона, от владычества плоти над духом... Я тебе сказал: в мире я вижу одну злобу и отступление от законов Божиих, — но не думай однако чтоб я, как он вот, — Вася кивнул на книгу раскрытую пред ним, — хотел бежать от людей на Афон, душу свою спасать. Это... как тебе сказать, — в этом было бы как бы что-то эгоистичное с моей стороны! Не одну душу мою я хотел бы спасти, а вырвать из духовного невежества души братий моих о Христе, достойным пастырем этих душ сделаться, Маша... Поняла ты меня?..

Она медленно, неопределенно кивнула головой. Она чувствовала что прямаго, "безотносительнаго" возражения ему она не в силах была придумать. Она чувствовала себя не только пораженною, но и словно подавленною этим духовным подъемом, этим восторженно христианским, настроением юноши брата, все внутреннее строение котораго, если можно так выразиться, во всей полноте своей только теперь нежданно разоблачалось пред ней. Да и как возражать? За него, за правоту его стремления стояло все что лежало краеугольным камнем в нравственном строе, в быту и преданиях ея семьи. Ни отец ея, ни мать, сознавала она, не сочли бы себя в праве запретить, воспрепятствовать сыну принять духовный сан еслиб он решительно изъявил на это свое желание. "Это разбило бы всю жизнь их, говорила себе мысленно Маша, но они покорились бы этому"...

Но ей все еще не хотелось верить чтоб это было "совсем сериозно". Она старалась объяснить себе то что говорил ей сейчас брат и впечатлением этой книги читаемой им, и тем что дано было ему перечувствовать нынешним утром при молебствии о Государе, и разказами Гриши Юшкова о страшном событии... "Это в нем уляжется чрез несколько дней, он одумается, а спорить с ним теперь значило бы только подливать масла в огонь... Да я и не сумела бы"...

Она чрез силу усмехнулась:

— Ну положим, Вася, ты бы сделался священником. Ведь священник должен быть женат. Где же ты нашел бы девушку нашего… воспитания, которая согласилась бы сделаться попадьей?

Вася строгими глазами взглянул на нее:

— А как ты думаешь, мамаша нашла бы против этого что-нибудь сказать, еслибы мужу ея вздумалось сделаться "попом", подчеркнул он с заметным намерением упрека в интонации этих слов.

— Мамаша! вскинула головой девушка, — разве ты найдешь такую другую теперь?

— Это правда…

Он уложил голову на обе руки и примолк.

— Ты сказала "воспитание", заговорил он чрез минуту опять:- у нас известно что называют воспитанием: хорошия манеры, чтоб умела одеваться по моде и по-английски говорить… Мне этого не нужно, я за душу, а не за манеры жену себе возьму, все равно будь она самая простая девушка… Анфиса Дмитриевна, например, у мамаши просто горничная была, а посмотри как с нею счастлив Николай Иванович… И даже чем проще будет она, тем больше буду я любить ее, только бы понимала она меня и любила то на что хочу я себя всего отдать, заключил вдумчиво юноша.

Маша порывисто вскочила с места и кинулась к брату.

— Вася, голубчик, милый, залепетала она сквозь слезы, обнимая его и целуя, — ты такой хороший, чистый… Я тоже понимаю тебя, поверь… Но, ради Бога, ради Бога, не отдавайся этому… Да и ты ведь слишком молод еще, и ведь для этого тебе надо было бы в семинарию идти, а ты должен поступить в университет и папа непременно хочет чтобы ты кончил курс… Я ничего, ничего не скажу maman о нашем разговоре. Она и так, ты уже знаешь, угадывает что-то и мучается за папа. А ему это был бы такой удар!.. И тем больше, пойми, что он не решится никогда отговаривать тебя прямо… Вася милый, подумай ты об этом, вникни и отложи хоть думать об этом до времени… И ни словом пока, ни словом не давай им понимать о твоем намерении. Ведь иначе это был бы действительно "эгоизм" с твоей стороны, — а тебе именно, такому христианину, не надо забывать пятую заповедь: Чти отца твоего и матерь твою, да благо ты будет, и да долголетен будеши на земли.

Слезы в свою очередь брызнули ручьем из-под длинных ресниц Васи:

— Маруся, душка, я все готов сделать, все… Я ничего не скажу, я поступлю в университет, как желает папа, буду учиться прилежно, он будет доволен мною… Но меня зовет, Маша, зовет какой-то голос… Я сны все такие вижу…

Он внезапно оборвал, как бы встряхнулся весь и поспешно отер глаза платком…

— Ну и довольно, проговорил он твердо;- обещаю тебе что ни ты, ни кто не услышит от меня слова об этом пока я совершеннолетним не буду, чтобы никто не имел права попрекнуть меня ребячеством… А там… там как Бог мне повелит, так я и поступлю!..

Он усмехнулся, протянул руку сестре:

— Так, Маша, ты довольна?

Она глубоко вздохнула:

— "Довольна"… не знаю; но, мне кажется, другаго нельзя от тебя и требовать пока, ответила она не сейчас. — Ну и прощай!.. Поздно, ты верно скоро спать ляжешь?

— Да, одиннвадцать, лягу сейчас.

Она коснулась его лба своими свежими губами:

— Ложись и постарайся не видать твоих тех снов… проговорила она ему на ухо звеневшим глубокою печалью голосом.

Вася довел ее до двери, опустил голову на грудь и медленными шагами подошел к ближайшему, освобожденному уже от своей зимней рамы окну. Он растворил его на обе половинки и жадно потянул грудью струю широко ворвавшегося извне свежаго весенняго воздуха… Месячная ночь, мягкая и теплая, стояла над землей, вся проникнутая торжеством и тайною; в неизмеримых пространствах неба бледными точками сверкали алмазныя звезды, миры неисчислимые как пески морские…

Вася долго и недвижно вглядывался в эту ночь, в эти неизмеримо далекия звезды. Его уносил неудержимый молитвенный восторг… "О свете тихий безсмертного Отца Небеснаго, шептали безсознательно уста его, — "о Христе Спасе, Сыне Божий"…

Стихи из Іоанна Дамаскина Толстаго, которого он знал наизусть, так и ворвались ему в память, в душу, в эту минуту:

"О, мой Господь, моя надежда,
Моя и сила и покров, —

начал он уже громко, —

Тебе хочу я все мышленья,
Тебе всех мыслей благодать,
И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать"!..

И новыя отрадныя, блаженныя слезы заструились по нежному лицу его.

XV

В это же время в пятнадцати верстах от Всехсвятского, в низеньком, закопченом зальце усадьбы принадлежавшей давно знакомому моим читателям Степану Акимовичу Троженкову сидели сам хозяин и полчаса тому назад прибывший к нему гость.

Это был еще молодой человек, весьма невзрачного и мрачного вида, коренастый и сутулый, одетый в поношенное пальто, из-под котораго, охватывая тесно его красновато-бурую, мясистую шею, выглядывал косой ворот грязной ситцевой рубахи, и в высоких сапогах поверх брюк. Выбритая повидимому за несколько дней борода успела уже опять отрости рыжеватою щетиной волос колючих и жестких как и волосы на голове, очевидно одновременно с бородою остриженные под гребень. Небольшие, узкие глазки как бы неохотно подымавшиеся на говорившего с ним из-под нависших над ними бровей, бегали по сторонам с выражением какой-то чуткой, стоявшей вечно на стороже, подозрительности.

Хозяин в свою очередь с едва скрываемою досадой и внутренним волнением поглядывал на своего гостя. Господин этот, что говорится, как снег на голову упал к нему в дом, — в эту маленькую залу служившую ему столовой где он только что расположился чай пить в одиночестве. Вошел нежданно из сада в отворенную туда дверь, спросил, не кланяясь и не снимая фуражки с головы, такой то ли он, "Троженков Степан Акимыч", и получив утвердительный ответ протянул ему вытащенную из кармана визитную карточку, а сам угрюмо и устало опустился на стул, насупротив хозяина и, не ожидая его приглашения;

— Налейте-ка мне стакан, смерть пить хочется, проговорил он.

Хозяина видимо покоробила такая нежданная безцеремонность. Он молча и насупившись передвинул через стол гостю уже налитый им для себя стакан, взглянул небрежно на переданную им карточку…

На ней стояли имя, отчество и фамилия одного его, Троженкова, московского знакомаго и приписка рукой этого последняго: "Очень прошу передать подателю сего следующее с вас за сделанныя мною по вашим порученияm в Москве покупки, счеты по которым вам мною пересланы". Приписка заканчивалась крючком в виде росчерка, имевшим повидимому некое особенное значение, так как устремившиеся на него глаза Степана Акимовича как-то усиленно заморгали, и карточка слегка задрожала в державшей ее руке его.

— Вы в Москве… проездом были? спросил он гостя каким-то неопределенным тоном.

— Был в Москве, да, уронил тот не понимая, или не желая понять то именно что его спрашивали.

— Как нашли вы Степана Михайловича? Здоров он?

— Должно-быть.

— Вы с ним давно знакомы?

— Не видал никогда.

— Как же так?..

Троженков кивнул недоумело на карточку которую все еще держал в руке.

— Одна личность мне от него передала… Насчет подлинности не сомневайтесь, как бы счел нужным заметить гость.

— Я и не думаю… промямлил не договаривая хозяин, оглянулся кругом и спросил:- вы ко мне тут садом прошли; а экипаж же ваш где остался? я колес не слыхал…

— И слышать не могли: пехтурой добрался.

— Со станции?

— С полустанка***.

— Восемнадцать верст! изумленно вырвалось у Троженкова.

Тот только плечом вздернул.

— С утра, стало, маршировали?..

И, не дождавшись ответа:- Осмелюсь спросить имя и отчество ваше, молвил, искательно улыбаясь, Степан Акимович, — так знаете, неловко в разговоре, когда не знаешь…

— Зовут меня Лев Гурьевич, по фамилии Бобруйский… Соответствующий сему и паспорт имею при себе, прибавил он, с каким-то дерзким вызовом на лице глядя на своего собеседника.

Тот как-то растерянно ухмыльнулся:

— Паспорт, да, конечно, в виду полиции… Вы из Петербурга собственно? спросил он вдруг.

Называвший себя Бобруйским качнул утвердительно головой:

— Состою студентом в Технологическом институте.

— Та-ак, протянул Троженков и примолвил:- Пошла там теперь травля на молодежь, а?

Бобруйский скривил губы в презрительную усмешку:

— Известно, с перепуга мероприятия потребовались…

Троженков ухмыльнулся опять:

— Какже, какже, читали, безсменных дворников завели, нумера на фонарях чтобы горели; генерал-губернаторов по провинциям разослали, добрым людям жить мешать…

Он повел еще раз осторожно взглядом кругом, наклонился через стол к гостю и выговорил коротко и спешно:- А не выгорело, а?

Тот так и вонзился в него своими пронзительными глазками:

— Вы что же, радуетесь, небось? пропустил он сквозь стиснувшиеся зубы.

Троженков оторопел на миг:

— Может, вы и ошибаетесь, пробормотал он.

— А коли так, то пословицу знаете?…

— Какую?

— Прошлаго поминаем, грядущаго чаем.

Степан Акимович качнул недоверчиво головой вверх:

— Не выгорит и вперед, так я полагаю, промолвил он унылым тоном.

— Кто-жь это вам сказал? горячо возразил Бобруйский, весь приходя в движение.

— Да уж так, извините, что обещают синицы море зажечь, а в результате нет ничего, шиш выходит, с позволения сказать.

"Технолог" с такою злобною страстностью воззрился теперь на говорившего что у того дрожь даже пробежала по телу;

— А моральное действие, а террор напустили на всю Россию, — это вы ни во что считаете? Вся Европа знает теперь о силе русской революционной партии и что Русскому правительству приходится с нею считаться как равному с равным.

— "Партия", конечно, произнес вдумчиво Степан Акимович, — да революции-то, согласитесь, нигде пока не видать.

Слова эти произвели видимо известное впечатление на его собеседника:

— Известно, промычал он как бы про себя, — как если одним выносить все на плечах, а остальные по норам прятаться будут…

Троженков заговорил мягким, вкрадчивым голосом:.

— А как же прикажете им быть, вот этим самым что "по норам", как говорите вы, прячутся? Для чего ж им дармо в петлю лезть, когда они настоящаго пред собой не видят. Действительно, и много, может даже очень много, таких которые понимают и готовы (он видимо не находил надлежащаго выражения)… готовы на дело… Да веры у них полной нету: не видят еще ничего положительнаго… Потому, сами согласитесь, чего по сю пору добилася "партия"? Смело, отважно, что говорить! в Харькове губернатора уложили, в Киеве барона жандармского на тот свет спровадили, — да толк-то какой из того вышел? Героев перехватали, в острог посадили, тем все и покончилось… теперь опять в Петербурге: пустили молодца с револьвером, выпустил пять пуль, ни одною не попал, вздернут опять на виселицу, тем все и покончится… На что же после того, сами скажите, надеяться можно настоящим манером?..

— Так что жь вы этим глаза-то колете!.. Ну, промахнулся, стрелять не умел болван… Так разве с ним и мир кончился?.. Не он, так другой, не сегодня, завтра… бормотал, обрываясь и захлебываясь молодой человек, весь видимо кипя обхватившею его злостью: — Ну, а коли бы попал он в цель и поднялся бы затем бунт в народе…

— В народе! перебил его Троженков (его самого теперь повело от злости произнося это слово);- что такое ваш народ, мужик?.. разве это человек есть? Баран это, вол безмозглый, скотина неразумная! Разве может он понять телячьими мозгами своими что люди ему про свободу говорят! Как если довести его до бунта, так он всякаго сюртушника, всякаго чисто одетаго человека резать почнет.

Бобруйский нежданно осклабился, как бы чем-то обрадованный, и прошипел:

— Этого самаго и требуется.

Троженков изумленно воззрился ему в лицо:

— Так он ведь таким манером ни одного интеллигентного человека не оставит в живых в России?..

— Коли не из наших, так туда и дорога! фыркнул на это тот.

— Так как же в том случае овец от козлищ отличить?

— Там видно будет, отрезал как ножом Бобруйский.

У Степана Акимовича пробежали опять по спине мурашки; он опустил глаза и поглядел чрез очки уже совсем оробевшим взором на своего собеседника:

— Что же потом? спросил он еле слышно.

— Известно что — анархия!

И Бобруйский презрительно покосился на него: как-мол ты самых простых вещей не понимаешь!..

Степан Акимович примолк на миг, кашлянул…

— Так как же "анархия", начал он опять, — ведь кто только на время может годиться, а к устройству какому-нибудь должно же придти; без устройства никогда еще люди не жили.

— "Устройство", повторил как бы машинально Бобруйский:- коли нужно оно, сама жизнь покажет, а нам… революционной партии, то-есть, поспешил он поправиться, — до него дела нет. Ея дело — разрушение, разрушение, понимаете вы!

Он вдруг поднялся, вскочил с места, выпрямился, словно вырос; в расширившихся глазах загорелось внезапно какое-то дикое, безпощадное вдохновение:

— Легальные, как ваш Мурзин, как вы; понимаем мы вас, насквозь видим, не надуете! — разчитывают руками партии жар загрести в свою пользу: пусть, мол, она черную работу сделает, а мы плоды от нея пожнем… Так этому не бывать! Мы вам камня на камне не оставим, из чего бы вам было здание свое строить… не дадим вам!.. Все уничтожим, спалим, разобьем! глухим, сдавленным голосом восклицал он; — прогнил старый мир до мозга костей своих, мы снесем его с лица земли, на то отдаем свою энергию, силы, жизнь, и мы победим, победим, победим…

Он оборвал вдруг как бы уже безсильный говорить далее; губы его, руки поводило судорогами; накипь злобных чувств, испытанных неудач, жажды мщения и чаемаго торжества словно заливала его до края. Он был страшен, и Степан Акимович, съежась всем телом на своем стуле, чувствовал как леденели у него оконечности и опущенные глаза не смели оторваться от какого-то пятна на полу на которое устремлены были они.

Но Бобруйский сед опять, передохнул и неожиданно спокойным голосом спросил:

— Ну-с, так насчет денег как же?

— Каких денег? растерянно пробормотал Троженков.

— А по карточке-то, коротко объяснил тот.

— Ах да… Степан Михайлович просит передать вам что я остался ему должен по покупкам моим в Москве… Только я сумму не припомню…

Бобруйский чуть-чуть ухмыльнулся:

— Я помню: четыреста.

— Что-с?

— Четыреста рублей пожадуйте!

Степан Акимович даже в лице изменился.

— Четыреста рублей!.. Этого быть не может!... У меня их нет, ей Богу, нет, проговорил он тут же, встретившись взглядом с устремленными на него свирепыми, показалось ему, глазами гостя;- время у нас теперь рабочее настало, только выдавай, а о получке раньше осени и думать нечего.

— Очень досадно, невозмутимо промолвил его собеседник;- в таком случае, извините, я буду принужден сидеть у вас тут пока не добуду средств двинуться далее.

Он сунул руку в карман панталон, вытащил оттуда несколько мелких монет и кинул их на стол:

— С этими куда доедешь?

— А вам далеко нужно? спросил Троженков.

— Далеко, кивнул утвердительно тот.

Троженков смущенно почесал себе за ухом:

— Сто могу предложить... Последние, ей Богу!...

— Четыреста, на копейки меньше.

— Коли нету у меня, нету! уверял чуть не плача Степан Акимович.

— Как знаете! ждать мне, значит, у вас надо.

— Чего это ждать?

— Сказано мне так в Москве что, на случай у вас не окажется, вышлют мне с одною особой которая должна приехать в наши места.

— Куда-ж именно-то? Уезд у нас велик...

Бобруйский не сейчас ответил:

— Тут есть от вас по близости село одно Юрьево, Буйносово тожь...

— Знаю...

— Так вот туда.

— Кто же такой, что за личность?

— Знакомая одна Степана Михаиловича... Вам впрочем это должно быть совершенно безразлично, грубым тоном ответил гость.

Троженков съежился весь опять и задвигался на своем сиденье:

— Конечно, конечно, мало ли у него знакомых... И скоро должна она быть?

— Не знаю.

— Так она, может, и долго не будет? озабоченно промолвил Степан Акимович.

— Может и долго, со злорадною насмешливостью подтвердил Бобруйский. — А боязно вам, а?

тем же тоном спросил он, — что засяду я у вас невесть на сколько времени?

— Чего же мне бояться, я… начал было, приободрясь, Троженков, но тут же смолк и побледнел, напрягая ухо к донесшемуся до него в эту минуту сквозь открытое окно шуму колес какого-то экипажа. — Тсс!..

— Ѣдут… Кто? спросил, прислушиваясь тоже, чуть-чуть дрогнувшим голосом гость.

— Темно и далеко еще, не видать, отвечал хозяин подбегая к окну и выставляя наружу голову;- знакомые одни тут мои хотели быть; может, они.

— Кто такие?

— Владельцы тут здешние… Один из Петербурга впрочем, граф новоиспеченный, — не слыхали? — Снядецкий-Лупандин по фамилии; другой — Свищов, по всей Москве известный — знаете может?

— Не вожжаюсь я с вашими графами! отрезал на это сердито Бобруйский, и тут жке:- а как не они? прошептал он.

Степан Акимович не отвечал.

— Я тут по пути к вам места замечал: речка у вас вся камышем заросла… В случае чего, забиться туда, сам чорт не сыщет… Разве выдадите, промолвил он с засверкавшим еще раз грозным пламенем в глазах, так ведь вам в таком случае месяца не прожит, хихикнул он в заключение.

— Они, они! радостно воскликнул в ответ на эти слова Степан Акимович, поспешно возвращаясь от окна к столу:- тарантас свой узнаю, в нем они поехали… Никуда забиваться вам не треба; сидите, поужинаете в веселой компании… Да еще, может, добудем от них что вам нужно для путешествия вашего, говорил он, уже весело потирая руки.

— Как так? спросил изумленно гость.

— А вот…

И Троженков торопливо изложил ему план некоего образа действий, о приведении коего в исполнение читатель узнает из следующей главы.

XVI

Колеса новоприбывших грохотали уже под самыми окнами. Хозяин выбежал встречать их на крыльцо. Свищов первый выскочил из экипажа.

— Готовь ужинать на троих гостей! с хохотом возгласил он;- très facrant collegium, кроме нас двух с графом привез тебе третьяго, — и он указал на Островетова, вылезавшего из своей, следовавшей за тарантасом, кареты. — Степан Гаврилович Островетов, Степан Акимович Троженков, разводил он театрально руками, представляя их друг другу;- два Степана, два стакана, достойные чокатся на дружеской пирушке…

Edite, bibite, collegiales,
Post multa saecula Pocula nulla,

запел он громким и хриплым голосом, надрываясь от смеха и похлопывая тяжелою как пудовая

гиря дланью по спине то одного, то другаго представленных им друг другу лиц.

— Очень рад, очень рад! повторял хозяин, пожимая кругом руки.

— О нем до тебя наверно вести дошли, продолжал расписывать Свищов, указывая на Остромeтова:- Степа Говорилов, душа человек, миллионер, поэт, музыкант, балетоман, на все руки хват,

Вот этаких людей бы сечь-то,
И приговаривать: писать, писать, писать!...

— Ну полно тебе, голубчик, полно! прерывал его с притворною скромностью Степа, весь пыжась между тем от удовольствия которое причиняли ему эти шутовские похвалы.

Граф в то же время, изображая на лице своем вид грансениора удостоивающаго своим присутствием любительский спектакль в "буржуазном" доме, и вспоминая "как очаровательно при таких оказях умел держать себя" его бывший начальник и вечный образец, граф Паванов, снисходительно и тонко усмехался одним кончиком губ.

— В комнаты пожалуйте, господа, приглашал хозяин, — свеженько еще на дворе... А у меня, прибавил он, понижая голос, — приезжий тут один сидит.

— Кто такой? вопросил граф чуть-чуть морщась, но все с тем же намерением грансениорской снисходительности в интонации голоса.

— Рекомендованный мне из Москвы Степаном Михайловичем Мурзиным...

— Три Степана, три стакана!.. запел, прерывая его с новым хохотом, Свищов.

— Степан Михайлович Мурзин, одно из светил русской науки, многодумно качнул головой Степа, вспомнив кстати о занятиях своих "египтологией".

— Да-с... Так вот он самый прислал мне письмо с этим молодым человеком... Специалист по техническим знаниям, а я мельницу думаю перестраивать, так вот... Пожалуйте, господа, пожалуйте! не договорил Троженков, пропуская гостей своих из передней в залу.

— Лев Гурьевич Бобруйский, представил его хозяин новым гостям своим и назвал их поименно тоже.

Граф, не подавая руки, повел поощрительно головой в сторону "специалиста по техническим знаниям": не стесняйтесь, мол, тем что видите пред собою такое лицо как я. Свищов подозрительно прищурился, выводя очевидно свое какое-то особенное заключение из мрачной наружности того же "специалиста".

Тот, со своей стороны, отвечал на поклон их небрежным, чтобы не сказать грубым, движением головы.

— Ну что, позабавились у нашего магната? поспешил заговорить Троженков, обращаясь к графу.

— Очень приятно было, очень, отвечал тот, — почтенная семья и барский дом в настоящем смысле слова.

— От вонючей свечки старого помещичьяго плантаторства последний огарок догорает, вот как

вернее могли бы сказать! злобно хихикнул на это "московский браво".

— Странное сравнение!

И граф с недовольным видом высоко приподнял плечи.

— Нет, ваше сиятельство, нет, это в точности так, господин этот деопотизмом старых предразсудков своих и реакционерством имеет самое пагубное влияние на весь здешний околоток; настоящий враг прогресса...

— Насчет вашего проекта — полнейшее фиаско, сказал Свищов, значительно взглянув на хозяина, — в содействии своем отказал наотрез: сахар свой он и по шоссе повезет, а на общий интерес ему наплевать.

— Потому гражданин великий! язвительно прошипел Троженков;- от него другаго и ожидать нельзя было.

— Это на счет чего же? спросил Петр Капитонович.

— Железная дорога предполагается, имеющая привести неисчислимыя пользы всему краю, но от которой не ожидает для себя личной выгоды наш генерал, значит, и не треба ея!..

Граф насторожил ухо:

— Железвая дорога? и генерал Троекуров на все не согласен? Удивляюсь!.. В наш просвещенный век каждая новая линия есть, так-сказать, новый проводник цивилизации... Я со своей стороны, господа, имею честь состоять ныне в числе крупных землевладельцев здешней местности, и готов всегда... Так что еслибы вам по этому делу нужна была, так сказать, рука в Петербурге...

— Сильнейшею располагаем уже там, сильнейшею, — и Свищов замигал обоими глазами;- согласие от здешняго генерала требовалось единственно pro forma: обойдемся без него отлично.

— Я предложил, а там как вам угодно будет, сказал на это граф, видимо уколотый тем что его "рука в Петербурге" оставлялась без внимания.

Свищов, со свойственною ему фамильярностью, потрепал его по плечу:

— Спасибо нам скажете что не почитаем нужным воспользоваться в настоящее время протекцией вашего сиятельства, не желая мешать за первых порах дружеству вашему с нашим магнатом... Планам вашим препятствовать не хотим, поймите деликатность! добавил он, понижая голос до шепота и лукаво подмигивая.

Петр Капитонович покраснел даже:

— Какие планы, я вас не понимаю? досадливо пробормотал он.

— Ну, ну, сиятельный, не притворяйтесь!.. Ведь и ты туда же, Степа? обратился он неожиданно к Остромeтову.

— Что я?

— На счет культа красоты генеральской дочки, Марии Борисовны... Губа-то у тебя не дура,

брат, почитаю обязанным сознаться. Тициановых красавиц напоминает барышня, да и деньжищ не малую толику отвалит в приданое ей папаша. Таких невест в России много ли!..

Степа в свою очередь изобразил недовольство на своем, сияющем обыкновенно как медный таз, лице.

— У тебя всегда дурацкия шутки!..

Но Свищов продолжал гаерничать, как говорится, "во всю".

— А ну-ка, ну-ка, поклянись графу что не питаешь злокозненного намерения стать ему поперек дороги?

— Милостивый государь, позвольте, воскликнул выходя из себя Петр Капитонович, между тем как Степа растерянно хлопал глазами, не зная обижаться ему или радоваться мальчишеской выходке старого нахала.

Хозяин счел нужным вмешаться.

— Не обращайте внимания, господа, закивал он на Свищова, — не может человек без того, зуда известный, школьник и на шестом десятке какой был студентом…

— Я полагаю, надо знать с кем шутить можно, величественно отрезал на это Петр Капитонович. "И чорть меня понес сюда ехать!" проносилось у него в голове.

— Ну, а насчет кормления что же? спрашивал тем временем Свищов, как бы ничего не слыхав и не замечая.

И он побежал на встречу слуге, входившему в эту минуту в комнату с грудой тарелок и столовых приборов.

Компания уселась за стол.

— Вина тащи больше, Федька, вина! командовал "московский браво".

— Не важное оно у меня, в городе вашем лядащем купленное, извинялся Степан Акимович, — а вот насчет вишневки, молвил он, направляясь к одному из окон, на котором стояло несколько засмоленных бутылок этого напитка, — могу рекомендовать; настоящая наша хохлацкая, с пид Пивтавы, запеканка.

— Давай, давай ее сюда, отличная штука!.. А старка[79] есть?

— И старка найдется, смеялся Степан Акимович, отправляясь к шкафу и доставая оттуда новую бутылку.

— Восхитительно, упоительно! запел диаконским басом Степа Остромeтов, ужасно, видимо, старавшийся изображать из себя в эту минуту лихаго малаго.

Старка действительно оказалась отличною. Через десять минут от нея не оставалось ни капли.

Федька между тем внес, с трудом держа в руках, и уставил на стол блюдо с огромным куском жареной говядины.

— A la franèaise, messieurs, я буду резать, заголосил Свищов, вооружаясь большим кухонным

ножом:- давайте ваши тарелки; побольше или поменьше — говори каждый! Вам побольше разумеется? с безцеремонным смехом спросил он Бобруйского, не проронившего ни единого слова до этой поры и прислушивавшегося к речам этих незнакомых ему людей с нескрываемым выражением глубокаго к ним презрения в прищуренном взгляде и судорожно подергивавшихся губах.

— Побольше действительно, ответил тот совершенно спокойно, — а только вы-то из чего заключили?

— Да уж вижу, зубы у вас такие, объяснил Свищов не смущаясь.

— Какие жь у меня зубы, по вашему?

— Известно, волчьи, расхохотался он во всю мочь.

"Специалиста" словно обухом пришибли эти слова в первое мгновение. Он смолк, заметно побледнел и повел только на нахала взглядом от которого тому стало неожиданно жутко.

Лицо его тотчас же приятно осклабилось и голос зазвучал как бы ласкательно:

— Вы давно из Петербурга?

— Недавно, отрезал Бобруйский, принимаясь уписывать свою порцию.

— Что у вас там делается, что делается в Петербурге! поспешил заговорить хозяин, обращаясь к графу.

— А что?

— Помилуйте, жить покойно никому не дают: что ночь, то у одного, то у другаго обыски производят, в III Отделение таскают; интеллигентное юношество под власть дворников отдали...

Свищов закивал утвердительно головой:

— У нас, известно, никогда и ни в чем меры не знают.

Граф Снядецкий-Лупандин счел нужным протестовать:

— Вы согласитесь однако, господа, произнес он внушительно, — что после того что произошло в день 2 апреля правительство не могло не прибегнут к некоторым исключительным, так сказать, мероприятиям...

— Положим, возразил с напускною горячностью Троженков, — оно может там себе распоряжаться для самоограждения, употреблять своих агентов на разоблачение крамолы, как строчат себе известные московские публицисты, ядовито пропустил он, — но оно, позвольте вам сказать, не имеет никакого права лишать массу граждан законных гарантий свободы, а учащуюся молодежь даже крова и хлеба... Тем более что и крамолы никакой нет... Какой-нибудь одиночный случай!.. А остальное одна выдумка жандармов и шпионов того же правительства.

— Я полагаю, вы ошибаетесь, заговорил опять граф с кислою усмешкой (ему казалось что он в эту минуту как бы представлял собою в некоторой мере это "правительство"), — правительство в данном случае менее всего виновато: у нас есть партия... к счастию немногочисленная...

почитающая себя plus royaliste que le roi, как говорится, и которая науськивает его в своих газетах на всякое стеснение свободы. Но настоящие наши государственные люди — я, смею сказать, близок ко многим из них, примолвил он с самоуверенною скромностью, — эти люди исполнены самых либеральных намерений и горячо отстаивают во всех случаях тот освободительный дух которым проникнуты, так сказать, все благодетельныя реформы нашего царствования... У меня даже недавно был по поводу этого самаго очень итересный разговор в клубе. Играли мы: генерал-адьютант Лупов, Александровский кавалер, шталмейстер князь Шастунов, граф Наташавцев, директор департамента, и я... И Наташанцев прекрасно тут сказал: "Я, говорит, прослужил почти всю жизнь на дипломатических постах, знаю Европу вдоль и поперек, и скажу вам, messieurs, что по своему демократическому духу нет страны в мире где свободныя учреждения имели бы так много шансов пустить корни как в России."

И Петр Капитонович с высокомерною уже улыбкой обвел взглядом своих собеседников: что, мол, можете вы после этого сказать?..

Но, к некоторому его изумлению, ссылка его на авторитет такого лица как граф Наташанцев, "прослуживший почти всю жизнь в Европе", не произвела ожидаемаго им действия.

— Ваши графы могут ворочать себе языком сколько им угодно, буркнул, жуя говядину свою во всю щеку, Бобруйский, — а настоящее-то положение таково что после тех "мероприятий" о которых вы говорили интеллигентной молодежи в Петербурге чуть не стадом всем приходится бежать оттуда, либо с голоду помирать.

— Отчего же "с голоду"? спросил Петр Капитовович, чувствуя новый укол от резкаго тона с каким произнесены были эти слова, — я не понимаю...

— Само собой что не понимаете: играете в клубе, жалованья может несколько тысяч получаете, так где же вам это знать! А как еслибы вы потрудили себя поглядеть на те конуры и углы в которых заставляет нужда жить русскую молодежь... да когда еще и из таких хлевов гонит его вон хозяйка от страха полиции, да если еще он не стипендиат, а кормится единственно от уроков, и ему теперь в них отказывают ради того что он студент, а на студента теперь, благодаря правительству вашему, хуже чем на уличного мошенника смотрят, так вы вот это мозгами своими сообразите!...

"Невозможный тон, невозможный"! говорил себе граф Снядецкий-Лупандин, чувствуя себя совсем уже не в обществе своих "перов".

— Я конечно не стану с вами спорить, так как вам, надо полагать, это по собственному опыту известно... начал было с видимым намерением язвительности он...

Но Свищов не дал ему продолжать.

— Нет, ваше сиятельство, нет, заговорил он как бы примирительно, — против этого возражения нет. Положение вашей учащейся молодежи ужасно, это факт. Правительство обязано обезпечить всеми средствами ея существование, а оно, напротив, теснит ее всячески и возбуждает, и удивляется еще потом что видит в ней себе врага.

— Именно так, именно, подтвердил Троженков;- а эти последния стеснения уж ни на что не похожи...

Он кашлянул и как бы скользнул взглядом в сторону Бобруйского:- Молодым людям действительно приходится теперь умирать с голоду, и еслибы, к счастию, общество само не поняло что оно обязано придти им на помощь...

Свищов прижмурился и зорко воззрился в него:

— Каким манером? коротко спросил он.

— В Петербурге и в Москве открыта в пользу их подписка.

"Московский браво'" беззвучно повел губами. "Эксплуатация сейчас в ход пойдет"! тотчас же сообразила его сметливая голова.

— Негласная, разумеется? сказал он чуть-чуть насмешливо:- иначе, само собой, полиция не дозволила бы.

Степан Акимович кивнул головой вниз:

— Само собой!.. И прекрасно идет, примолвил он;- вот спроси их, указал он на Бобруйского.

— Несколько тысяч уж собрано, кивнул тот утвердительно в свою очередь.

— Господа, запеканочки повторительно! возгласил хозяин, раскупоривая вторую бутылку и разливая ее по стаканам гостей своих:- добрая запеканка, а?

— В голову бьет уж очень, отозвался граф.

Степа Острометов взглянул на него с пренебрежительною улыбкой и, не отрывая от губ, опорожнил стакан свой до дна.

— Вы видно в Петербурге одну дамскую малагу или люнельчик привыкли пить, проговорил он, молодцовато стукнув донышком стакана по столу.

— Почему вы так думаете, милостивый государь? тотчас же и огрызся на это Петр Капитонович.

— Господа, позвольте два слова, торжественно вымолвил в эту минуту хозяин:- мы здесь в дружеской компании, между людьми равно интеллигентными и имеющими, смею доложить, право вполне доверять гражданским чувствам друг друга. Я полагаю поэтому что никто из нас сора из избы не вынесет.

— Pardieu, воскликнул Степа, на половину уже готовый, — on est gentilhomme, ou on ne l'est pas!

— На какой предмет интродукция? захохотал "Московский браво".

— К тому говорю, господа, пояснил Троженков, — что в лице Льва Гурьевича Бобруйского имею честь вам представит доверенное лицо комитета образовавшегося для сбора по всей России пожертвований на пользу нашей дорогой интеллигентной молодежи, изнемогающей под двойным гнетом нужды и преследований правительства.....

— Бррраво! крикнул Степа.

— Я не сомневаюсь, господа, продолжал Троженков, — что каждый порядочный человек, каждый, можно сказать, либеральный ум поймет какое значение имеет эта молодежь для всего будущаго России...

— Понимаем! рявкнул опять Острометов.

— В ея стремлениях, в ея неодолимой никакими препятствиями энергия мы видим залог будущей свободы страны нашей, — страны которая до сих пор умела заслужить себе единственно название "большой Федоры", и только при осуществлении того к чему общими усилиями своими стремится эта молодежь может добыть себе право на то чтоб уважающие себя люда назвали ее своим отечеством.

— Каков Демосфен, каков! покатывался уже со смеха Свищов, — острея, ядовитости-то сколько!

— Итак прежде всего предлагаю всем вам равно священный тост, господа, выговорил со слезами умиления в горле оратор:- за нашу дорогую молодежь!

— Урра! повторил Степа, топая ногами и стуча ножом по своей тарелке.

Третья бутылка запеканки разлита была по стаканам. Свищов потянулся через стол со своим стаканом к Бобруйскому:

— Старое студентство в лице моем приветствует молодое в лице нашем. Vivat academia et pereat… да погибнет, то-есть, все что стоит на пути его преградой к прогрессу и свободе, да гибнет, да, урра!…

— А вы что же, ваше сиятельство, не прихлебываете? обратился хозяин к графу:- смею думать что тост мой находит полное сочувствие и в вашем, могу сказать, просвещенном чувстве?

— Конечно…. помилуйте…. молодежь…. Это, как вы изволите справедливо говорить, единственная ваша надежда….. Я всегда рад…. бормотал несвязно Петр Капитонович, у которого зачинало двоиться в глазах.

— Рад бы в рай, да грехи не пускают, за цуфуски свои не надеетесь, должно-быть? захихикал Степа, вливая себе залпом в гордо третий стакан полтавской наливки.

— Что хотите вы этим сказать, милостивый государь? обернулся к нему красный, как рак Петр Капитонович.

Но хозяин прервал их опять новою речью:

— При таком очевидном у всех вас единодушии, господа, я считаю вполне уместным в настоящую минуту обратиться к вам с приглашением выразить, так сказать, вещественными доказательствами невещественныя отношения ваши к вашей дорогой молодой интеллигенции. Да будет зде предстоящий Лев Гурьевич Бобруйский живым очевидцем и свидетелем нашего общаго к ней душевного расположения и сочувствия к неправедно претерпеваемым ею мукам!… Вот моя лепта, господа! заключил он, вытаскивая из кармана бумажник, вынул из него радужную ассигнацию и кинул ее на стол.

— Урра!… Бери все! завопил Степа Островетов, швыряя в свою очередь портфель свой на стол:- двести… триста… не знаю сколько, все бери… на молодежь!

Троженков потянул к себе бумажник и принялся считать вложенныя в него деньги:

— Двести семьдесят три рубля…

— Еще вот на, бери! гоготал Степа, запуская пальцы в кармашек жилета и выкидывая оттуда несколько мелких монет, — и еще дам… Что нужно?.. Мне наплевать, я боярин… Для

молодежи... я сам, сам... А вы что же? уставился он вдруг пьяными глазами на Петра Капитоновича, — или только что графом прозываетесь, а в кармане фюить, ветер свищет?..

Тот даже с места вскочил. Губы его дрожали.

— Милостивый государь, заговорил он задыхаясь от волнения, — я не могу вам дозволить вашего дерзкаго обращения со мной и приглашаю вас извиниться, а иначе...

— А ну-ка, ну-ка, что иначе-то? Или думаете, я вас испугался?..

— Вы пьяны, и потому разговаривать с вами в эту минуту я считаю лишним, а когда придете в себя...

Граф не договорил и только плеча приподнял.

— Ну, и что же... ну, и приду, и все равно... Из Петербурга, граф... Эка невидаль!.. А вы пока выкладывайте... на молодежь... выкладывайте! не унимался расходившийся Степа.

— Во хмелю вельми задорен юнец... хохотал в свою очередь Свищов, которому эта грубая сцена доставляла видимо большое удовольствие;- не обращайте внимания, граф!..

Петр Капитонович весь обратился в величественност:

— Я, признаюсь вам, жил всегда в таком обществе где люди умеют себя иначе держать и отвечают за свои поступки, подчеркнул он веско.

"Московский браво" придал немедленно сериозное выражение своей физиономии.

— На этот счет будьте покойны, прошептал он, наклоняясь к нему:- его можно будет заставить дать вам надлежащее удовлетворение.

— Вы полагаете? пробормотал граф Снядецкий-Лупандин, глядя на него уже несколько растерянно...

— Убежден... и даже очень рад буду что вы дадите ему хороший урок, подтвердил Свищов тем же сериозным тоном.

— А вы вываливайте, вываливайте-ка из кошеля, господин граф петербургский; нечего с соседом шептаться! повторял тем временем Степа, еле уже шевеля языком и хлопая пятерней по скатерти, — на моло-дежь!.. На нашу до-доро-гую моло-деж...

— Позвольте без ваших советов! отрезал Петр Капитонович, и обращаясь к Бобруйскому, с тем же глубоко-презрительным выражением в чертах безобразного лица безмолвно внимавшему происходившей пред ним стычке:- Я со своей стороны, как бы покровительственно усмехнулся он, — весьма рад внести и свою доброхотную лепту на предмет столь достойный общественной поддержки как тот который... на который вы уполномочены собирать... Сколько прикажете?

— Какая жь "доброхотаая лепта" коли вы спрашиваете! фыркнул на это тот.

— Вашему сиятельству, поторопился вмешаться опять хозяин:- по званию уже вашему, смею думать, никак не приличествует жертвовать в меньшем объеме чем такому, например, пролетарию как я, выговорил он с кисло-сладкою улыбкой.

— Извольте-с! героически сдерживая прорывавшуюся у него извнутри досаду, усмехнулся в

свою очередь граф, вынимая из бумажника сторублевую бумажку. — У вас что же, сборная книжка есть, записываются? как бы небрежно спросил он опять Бобруйского.

— В данном случае книжка немыслима, ваше сиятельство, помилуйте! заспешил еще раз ответить за того Троженков:- собирается без ведома и как бы даже в виде протеста против правительства. Еслибы жандармерия каким-нибудь случаем напала на такую книжку, могли бы выйти самыя великия неприятности для всех почтенных лиц коих имена прочли бы в ней голубые шпионы те…

— Совершенно верно, я этого обстоятельства не принял во внимание, согласился немедленно Петр Капитонович, ужаснувшись даже в душе при мысли что "голубые шпионы" могли бы прочесть его графское имя в такой книжке.

— Мы на веру, ваше сиятельство, на веру! глухо засмеялся Степан Акимович, собирая в пачку лежавшие на столе ассигнации и передавая их Бобруйскому. — Извольте получить, Лев Гурьевич.

Тот сгреб деньги в комок и сунул их за пазуху без дальнейшаго разговора.

— Ну, а ты, брат, что же не присоединяешься? обратился хозяин к Свищову с заметно для того лукавым оттенком в шутливом тоне вопроса.

— С удовольствием, с удовольствием… еще бы! "Le général Suichef" погрузил руку в карман панталон и вытащил оттуда две красненькия… Он взглянул на них как бы с удивлением, усмехнулся и дернул плечом.

— Как на смех захватил с собою сегодня такую малость что не смею предложит… А потому сделай мне одолжение, caro amico, внеси за меня такие же сто рублей… Возвращу при первом свидании.

Троженков повел на него чуть не бешеным взглядом, но нашел силу сохранить отчасти спокойный вид.

— Хорошо, промолвил он скороговоркой.

— Так пожалуйте!

И Бобруйский, глядя на него во все глаза, протянул тут же к нему руку за деньгами.

Свищов закусил себе губу до боли чтобы не расхохотаться во всю глотку, до того забавен был для него отчаянный вид Степана Акимовича, попавшегося в собственную ловушку. "Я, брат, бывалый, не надуешь, камуфлеты сам умею подпускать", говорил он себе, мысленно торжествуя, между тем как Троженков дрожащими пальцами перебирал мелкия ассигнации в вынутом им собственном портфеле и отсчитывал из них нужную сумму под неотступно устремленным на него взглядом Бобруйского.

— Я полагаю, однако, пора и по домам, сказал подымаясь в то же время с места граф Снядецкий-Лупандин:- светает.

Розовое сияние ранней весенней зари брежжило действительно уже в окна.

— И точно, пора, подтвердил "московский браво", быстро подымаясь тоже (ему никак не хотелось дать случай Троженкову для какого-нибудь "объяснения" с ним наедине). — Вам

отсюда близко, верст пять всего, а мне во свояси целых пятнадцать тащиться, так я уж у вас переночую, объявил он графу с обычною своею безцеремонностью.

— Сделайте милость, пропустил сквозь зубы тот.

— All right!.. Ѣдемте!.. Федька, вели тарантас подавать!.. Ласковому хозяину за хлеб-соль и дружбу спасибо в пояс, а за запеканку до полу, шумно заявлял Свищов, ухватывая руку Степана Акимовича и стискивая его холодные, вырывавшиеся от него пальцы.

— Свищов, друг сердечный, тараканчик запечный, застонал вдруг плачущим голосом, покачиваясь на своем стуле, Степа Острометов, — на кого ты оставляешь меня, сироту!

— Не оставлю, брат, не оставлю, хохотал тот в ответ:- упакую тебя в карету и отправлю в Борисово поклажеобразно.

— Merci, mon ami!.. Ты... Я тебя люблю, потому ты, брат, шельма, умный... всякаго об... ободруешь... Я своих тех, дураков, в шею, а тебя нет, потому я... боярин... Я этого петербургского графа... Я раздавлю!

И Степа хватил кулаком по столу так что все на нем зазвенело и закачалось.

— За что ж это вы, помилуйте, посуду мою бьете! вскликнул грубо Троженков, все сильнее и сильнее разгоравшаяся досада которого как бы искала только случая вырваться наружу.

— Федька, крикнул Свищов в свою очередь, — а помоги ты мне его поднять!..

— Извините... я заплачу, за все заплачу, мне наплевать, я... бо... боярин! лепетал Степа, безсмысленно мотая рукой по воздуху.

Свищов и Федька подхватили его под мышки с обеих сторон и вывели на крыльцо.

XVII

Проводив гостей и пожав в последний раз на крыльце руку графа (он старался не глядеть в то же время на Свищова), Степан Акимович вернулся в столовую, где Бобруйский, сидя все также за столом, затягивался дымом папироски, пуская его затем тонкими, длинными струйками в воздух. Маленькие глазки его следили за ними, прищурившись и помаргивая.

— А ловок приятель ваш, ловок! заговорил он, насмешливо глядя на угрюмо вытянутую физиономию хозяина:- огрел вас на сто рублей-то, а?.. Старая жила, видать!

— Рокамболь, — читали вы роман французский? — так вот он самый и есть Рокамболь, надувало и разбойник! воскликнул тот с таким забавным взрывом не остывшей еще досады на Свищова что на лице "технолога" пробежала невольная усмешка. Но он тотчас же принял свой прежний мрачный вид.

— А убеждений каких человек? коротко спросил он.

— Каких хотите! фыркнул в ответ Степан Акимовичъ

— Либерал из постепеновцев? презрительно уронил на это гость.

— Враль, скажите, из самых первых!

Бобруйский поморщился.

— В случае еслиб о сегодняшнем у вас тут в окрестности болтать стали, не сбрехнет он чего… ненужнаго? подчеркнул он слегка.

— Н-нет, возразил Степан Акимович, — насчет этого опасаться нечего. Во-первых, потому для него выгоды в том нет. Верхнее чутье у человека есть: времятечение какое теперь — добре тоже понимает и что неизвестно еще чья возьмет; так для чего ему на гибель, может, обрекать себя?.. А второе, нужен я ему, чорту, в здешнем месте. Вели мы с ним оппозицию против магнатской партии вашей, в управу выбраны были даже, а теперь у вас опять другое дело в виду…

— А что он вас огрел сейчас, так это вам поделом! неожиданно перебил его собеседник.

— Чего так? пробормотал он недоумело.

— Положено с вас четыреста рублей получить, а вы от скаредности своей большой ста рублями полагали отделаться, а что остальные за себя дураков со стороны заставите заплатить… Так ведь это напрасно, скажу я вам.

— Что напрасно?

— А так что триста рублей все равно с вас взыщутся.

Степан Акимович в лице даже переменился:

— За что же так? Вам требовалось четыреста целкашей, получили пятьсот без малаго, чего вам еще больше?

— Так то сверх абонемента, а свою дань вы своим чередом внести должны… Не нравится, а? злорадно взглянул Бобруйский на растерянный вид своего собеседника;- а пословицу знаете: взялся за гуж, не говори что не дюж.

Троженков как бы встряхнулся вдруг:

— Позвольте вам заметить что я ни за что не брался и ни к чему в сущности не обязан…

— Ну, вы это объясняйте там себе Мурзину или кому знаете… А только вот что я вам скажу-с: попадись к нам кто хотя кончиком волоска, так не уйдет он от нас и до конца века, протянул Бобруйский таким тоном от которого у Троженкова руки и ноги похолодели. Он безмолвно опустил голову.

Выражение какого-то торжества сверкнуло в глазах Бобруйского.

— Да, сказал он, как бы вспомнив вдруг, — а кто этот "магнат" о котором у вас тут речь шла с гостями вашими? Не долюбдиваете вы его с приятелем, а?

Губы дрогнули у Троженкова:

— Вот кого бы с корнем вырывать надо так это таких эксплуататоров и ретроградов, прохрипел он, — никому и ничему порядочному ходу не дает человек, сидит как паук в своей резиденции, паутиною своей весь уезд опутал, да и почитай всю губернию барству своему подчинил. Сам никуда, а губернаторы и власти к нему как к мощам прикладываться ездят.

— Чтож он, важный очень?

— Троекуров; первым себя аристократом по всей Империи почитает. В Петербурге самые первые люди ему ни почем…

— И богатство большое?

— Кабы не ограбил он меня, с сумой теперича бы ходил, ответил на это Троженков, и зубы его скрипнули от старой, не остывшей с летами злости.

— Как так "ограбил" он вас? спросил изумленно гость.

— А так что законы у нас уж такие мудрые в России!

И Степан Акимович махнул рукой отчаянным движением.

— А теперь заместо чем у меня, у него тысяч полтораста, а не то и все двести доходу будет; завод один чего стоит!

— Завод?

— Да, сахарный, первый по всему краю здешнему.

— А место-то самое как называется?

— Имение, то-есть, его, генерала вашего?

— Да.

— Село Всехсвятское.

— Далеко отсюда?

— Верст пятнадцать будет.

— В какой стороне?

— Тут сейчас от околицы моей вправо взять, на Блиново, а там первый встречный мальчишка укажет… Да вам на что это?

— А может, я и понаведаюсь в те места, как бы небрежно уронил Бобруйский.

— Берегитесь! воскликнул Степан Акимович.

— Чего это? Шлагбаумы у него разве по дорогам стоят? без визы, как на заграничных паспортах, в царство его не пускают?

— Да для чего вам туда надо?

Тот встряхнул насмешливо плечами:

— Любопытен я очень…

— Я говорю, промямлил Степан Акимович, — на случай еслибы вам вздумалось…

— Что "вздумалось"?

— Остаться там как-нибудь… на время…

— А может и останусь, ухмыльнулся тот.

— Берегитесь! повторил Троженков:- много тому лет назад, до Каракозова еще дело было, ввернул он шепотом, — был тут один, родственник ему даже по жене приходился, Овцыным звали его, из первых еще, знаете, деятелей…. Так его этот самый генерал наш…

— Жандармам выдал?

И глаза Бобруйского сверкнули.

— Сам распорядился, качнул отрицательный головой Троженков.

— Как так?…

— А так что избил его нагайкой в кровь…. Говорю вам, зверь, особь допотопная!… Хорошо его в ту пору отработал за это Герцен в своем Колоколе, я ему тогда корреспонденции отсюда посылал, да все-жь ничего из того не вышло! скорбно вздохнул Степан Акимович.

— Ну, меня не изобьет; я его как курицу одною рукой задушу, пропустил на это сквозь зубы Бобруйский, машинально сдвигая пальцы этой своей, испещренной канатоподобными жилами, руки.

— Как знаете, а только, по моему, безполезно будет. Сильные у него здесь корни запущены.

— А сами же вы говорите: "вырвать" их надо, заметил будто уже шутливо Бобруйский.

— Так-то так, а знаете, не промахнуться чтобы….

— Спрос не беда, увидим!… Вот что, сказал он, помолчав с минуту:- коли кто-нибудь из ваших этих, что были сейчас, спросит невзначай про меня, так вы им говорите что выписывали вы меня из Москвы насчет вашей мельницы, да дорого я с вас за нее запросил; вы меня и отпустили, а я за родину свою, в Воронежскую губернию, за другой же день, сегодня значит, и уехал. Поняли?

— Чего-ж не понять!… А как если кто из них "невзначай" же вас во Всехсвятском встретит, знакомые они все там, а граф этот и тот мозгляк что от запеканки от моей нагрузился допьяна, так те, слышали? — на генеральской дочке свататься окромя того вздумали, — таскаться, стало-быть, туда будут, может не один раз на неделе.

— А ну их к чорту!… Не захочу, не встречусь! презрительно отрезал на это Бобруйский.

Степан Акимович поглядел на него теперь словно уже с некоторым благоговением:

— Отважные, как посмотрю я на вас: к волку в пасть прямо лезете!

Слова эти повидимому пришлись по вкусу того к кому она относилась. Он снисходительно повел губами:

— А как если тут даже отваги никакой нет, а разчет простой?

— Разчет?...

— Да. Если, например, кого-нибудь полиция по городу ищет, а он в это время у полицеймейстера на чердаке сидит, так сколько у него шансов будет против того кто в иное какое место вздумал бы спрятаться?..

— А ищут! внезапно вскликнул на это Степан Акимович, переменяясь в лице.

Собеседник его, не отвечая, только прищурился на него.

— Слать пора, проговорил он, зевнув;- тут что ли можно? указал он на узенький и низкий угольный диван деревенского изделия, составлявший, вместе с обеденным столом и дюжиной венских стульев, всю мебель зальца в котором они находились.

— Можно и здесь, пробормотал хозяин;- я вам сейчас послать велю.

— Не нужно, я так... Подушку, коли лишняя есть, одолжите!

И Бобруйский, видимо с трудом двигая ноги от усталости, потащился с места к дивану и протянулся на нем во всю длину, закинув руки за затылок.

— Вот и подушка, молвил Троженков, бегавший за нею в свою спальню.

— Отлично!..

Бобруйский сунул ее себе под голову, повернулся лицом к стенке и тут же захрапел.

Степан Акимович в глубоком раздумьи долго и недвижно стоял над ним, покачал затем головой, глухо вздохнул и осторожно, на цыпочках, выбрался из комнаты в свою опочивальню.

Но заснуть он долго не мог и тревожно переворачивался на своей постели до седьмаго часа утра. Усталость взяла свое однако: он заснул тяжелым сном, полным каких-то лихорадочных сновидений, и проснулся к полдню, весь в поту.

Пред ним стоял со стаканом чая на жестяном подносе слуга его, все также, несмотря на его чуть не пятидесятилетний уже возраст, сохранявший имя "Федьки" под которым познакомились мы с ним впервые в доме незабвенного Елпидифора Павловича Акулина.[80]

— Заспалися же вы сегодня страх, говорил он, — уж не недужится ли вам, даже подумал.

— А гостю подал? спросил Степан Акимович, перенося стакан с подноса на стоявший подле постели стол, уложенный всякими бумагами и счетами.

Федька качнул годовой:

— И помину их нету, гостя-то вашего.

— Как нету?

— А так что ушли.... Сам я еще подняться не успел, а уж их и след простыл. Как пришед, так и ушел — моментально, значит, широко осклабился Федька, произнося с видимым удовольствием словцо вычитанное им в газетах, которыя он поглощал с каким-то остервенением.

Хозяин вдумчивым взглядом уставился ему в лицо, прикусил губу и как бы безсознательно

проговорил:

— Давай одеваться, да пегаго вели в тележку запречь!..

Он проездил целый день по соседним с его усадьбами деревням, где держал кабаки, учитывая своих кабатчиков и собирая с них выручку, — он доводил их при этом до изнеможения, до кроваваго пота придирчивостью своею и подозрительностью, — и вернулся домой, пообедав по пути на каком-то постоялом дворе, к заходу солнца.

Въезжая к себе во двор, он увидел на нем отпряженный тарантас свой, данный им накануне для поездки во Всехсвятское графу Снядецкому-Лупандину и Свищову и в котором же они уехали от него утром в имение графа. Кучер Степана Акимовича водил тут же по двору выпряженных из него, слегка взмыленных лошадей.

— Гнал-то чего тройку? крикнул он на него гневно.

— Моя вина — я гнал, раздался в ответ с крыльца голос вышедшаго из дома на стук его экипажа "московского браво":- обнять тебя спешил, объяснял он со своим трескучим хохотом.

— Благодарю, не ожидал! язвительно пропустил Троженков, и даже руками развел.

— Ну, ну, вертай гнев свой назад, как говорится у вас по-хохлацки, да ступай скорее сюда, продолжал смеяться тот:- такою трагикомедией угощу тебя что скажешь спасибо.

Он подскочил к тележке, приподнял и стащил с нея высохшаго как мумия под старость Степана Акимовича своими мускулистыми руками и облобызал силой в пергаментныя его щеки:

— Вот так лучше, кричал он, не давая тому времени выговорить слова и увлекая его с собою в знакомую уже нам столовую;- жду тебя не дождусь.

— Чего вам еще треба? отрезал все также серчливо хозяин.

— Ну чего губы надул! Сам меня на сто рублей подцепить хотел, когда знаешь в каких я в настоящую минуту тонких нахожусь, это дружба по твоему называется? А съесть меня готов теперь что я из того вывернулся с обычною мне дипломатическою ловкостью, лукаво подмигнул нахал, и примолвил успокоительно:- верну их тебе, верну, будь покоен!

— Отдашь, не брешешь? вскликнул Троженков, жадно впиваясь в него глазами.

— Будь покоен: из первых прибылей вашего дела отсчитаю радужную тебе в возврат…

Он опустился разом за стул, зорко глянул в свою очередь в глаза собеседнику своему, и понижая голос до шопота:

— А теперь говори настоящее: на что подпаска-то эта собирается?

— На что? повторил морщась тот:- слышал, кажется…

Свищов покачал годовой.

— Смотри, проговорил он с разстановкой, — чтобы чего не вышло!

— Да ты что полагаешь…?

— Ничего не полагаю и полагать не хочу… а залезать в чортово болото не советую…

Он примолк на миг, повел как бы машинально взглядом кругом комнаты:

— Федька говорит, он еще спозаранку ушел, этот твой…

— Ушел, глухо отозвался Степан Акимович.

— Hélas, elle a fui comme une ombre,

En me disant: je re-e-viens…

запел "le général Suichef." — Куда? кинул он вопрос, прерывая себя на полутакте.

— Не знаю.

— Назад будет?

— Для чего ему назад быть! В Воронежскую губернию, на родину свою, говорил, ехать хочет… Не сговорилися мы насчет мельницы…

— А ты его "насчет мельницы" выписывал насмешливо повторил "московский браво".

— А то на что еще? уже словно обиженно возгласил Троженков:- на три постава хочу строить, настоящую, со всеми приспособлениями современной техники. Просил Мурзина выслать мне специалиста… Да такую цену заломил чорт… С тем мы и разстались.;

— Ну, как там знаешь! Коли не вернется, хорошо; а колиб совсем не являлся, и того лучше было бы… А теперь я тебе вот о чем… Лошадей твоих я заездил, а тарантас опять возьму у тебя, и пошли ты сейчас Федьку нанять мне лошадей на деревне. Выпью у тебя чаю и сейчас же марш!..

— Куда?

— К Островетову.

— Что ты у него позабыл?

Свищов вытащил из кармана письмо запечатанное красным сургучем, с изображением на нем крупного герба под графскою короной, и протянул его приятелю.

— Щож се таке?

— Благородный вызов на барьер, с комическим пафосом проговорил Свищов.

— Это граф твой вызывает?

— Он самый.

— Того телю упитаннаго?

— Ты сказал!

— От-то дурень! За что так?

— При тебе ведь поругались вчера, слышал…

— Так тот же пьян был. Чего с пьяного спрашивать?

— А гонор графский на что же есть! Я ему объяснил что этого так оставить нельзя.

Степан Акимович пытливо глянул в лицо говорившему:

— Нашто это тебе, объясни мне, прошу!

Свищов ткнул себя пальцем в лоб:

— Соображения высшаго порядка, многоуважаемый.

— Должны они, значит, на поединок выходить после этого? спросил чрез миг опять Троженков.

— Никогда, ответил сериознейшим тоном его собеседник, между тем как все черты его подергивало от пронимавшего его все так же смеха.

— Извинения тот просить будет, полагаешь?

— Никак. Приедет, напротив того, тебя в секунданты к себе просить.

Степан Акимович испуганно замахал руками.

— Не пойду, ну его совсем.

— Глупо! Когда говорю я тебе что ничего из этого не выйдет, комедия одна.

— Выгода же какая ж из того будет, не дойду я до того никак!

— А вот какая: во-первых, выходить они на барьер не выйдут, а разговор об этом такой пустим что до Москвы и до самаго Петербурга дойдет, постараться можно… В газеты корреспонденцию с места такого рода пустим что вся, мол, история вышла из соперничества двух противников претендующих равно на руку дочери одного известного здешняго сахарозаводчика и аристократа… Понял теперь?

И Свищов подмигнул с торжествующим выражением на лице.

На лице его слушателя выразилось в свою очередь удовольствие:

— Штука сия добрая есть! Нашему магнату не понравится…

— Так даже не понравится что как узнает он об этом, то велит своим лакеям рыцарей наших за порог к себе не пускать.

— Так ведь ты же сам повез к нему сего твоего графа? возразил на это изумленным тоном Степан Акимович.

— Повез!… Мало того, примолвил похваляясь Свищов:- так даже навинтил и его что у него теперь из головы не вышибить что должен он непременно присвататься к Троекурова дочери.

— Как он теперь свататься будет коли ты сам так устроить хотишь чтобы тот его к себе не пускал?

— На то и веду чтобы так вышло.

— Не разумею, хоть убей!

И Троженков недоумело пожал плечами. "Московский браво" поглядел на него с видом сожаления:

— Эх, как посмотрю на тебя, умен ты, да не совсем. Так слушай! Приехал этот господин сюда из Питера в надежде чрез дворянские выборы карьеру себе сделать. Графство себе какое-то лядащее добыл, именье наследовал порядочное, от природы туп: в силу всего этого аристократом себя почитает.

— Так! подтвердил Степан Акимович.

— В башке его, значит, первым делом сложилось что должен он здесь войти в знакомство и дружбу с такими же аристократами каким почитает он себя сам, и разумеется, первым нумером является тут Троекуров, он о нем еще в Петербурге слышал. На железной дороге, как ехали мы с ним сюда, подробно меня разспрашивал что и как, и что непременно хочет быть у него. "Вы, мол, с ним знакомы"? — "Знаком". — "Можете меня представить"? — "С удовольствием". И действительно, я с удовольствием, и насчет тоже женитьбы его с барышней такую пену ему сбил... Потому все равно он не чрез меня, так чрез предводителя, или сам поехал бы просто, "представился" бы. И, разумеется, обратился бы сейчас в послушного сателлита, безвольно вращающагося вокруг того же генеральского солнца. В магнатском лагере было бы лишь одним голосом больше… А мы на него разчет свой должны вести.

— Какой разчет?

— А такой что чем больше надеется он теперь на дружбу и даже родство с Троекуровым, тем злее станет он на него когда ему там дверь пред носом захлопнут. Понял?

— Понял! А опосля что?

— "А опосля", передразнил его Свищов, — он натурально душою и телом перекинется со злости к нашей партии.

— Добре! А там что?

— А там то что мы его в предводители выберем.

— Ну-у! протянул недоверчивым тоном хозяин.

— И выберем, и будь ты в этом благонадежен.

Глаза так и загорелись у Свищова:- Старик Юшков за дряхлостью лет может и сам откажется, а может и не доживет до новых выборов. А если и захочет опять баллотироваться, так тут железная дорога наша ему поперек дороги ляжет.

— И он на нее не согласен? спросил живо Троженков.

— Разумеется; с генералом одна душа у них как всегда. Тот так прямо при нем мне и сказал: "Мы с Павлом Григорьевичем, говорит, и на сей раз вероятно во мнении не разойдемся". А олух старый годовой кивает: "Само собою", говорит.

— Оппозиция, значит, полная вам будет?

— На их же шею… А потому, понимаешь, половина их партии, коли еще не более, перейдет в этом вопросе на вашу сторону. Кто себе враг, а тут один дурак не поймет что выгоду может себе, почитай, каждый выкроит из такого дела где миллионы потекут в губернии. Кого прямо заинтересоват можно, а кто на поставках будет разчитывать пользу себе получить: кирпич, камни, шпалы, стройка будок и станций, продовольствие рабочих, продажа вина… Кабаков что ты одних новых по линии поставишь, многоуважаемый! воскликнул он с новым смехом, ударяя в порыве восторга приятеля своего по плечу с такою силой что тот даже вскрикнул:

— А ну тебя, сиволапаго! и принялся тереть плечо ладонью. — Выгоду, конечно, каждый свою понять должен, подтвердил он по некотором молчании, — и они могут, действительно, на выборах в меньшинстве остаться.

— А как когда мы им представим человека нового, петербургского, каммергера… Да и самый его этот титул, что конечно, говорю опять, гроша в сущности не стоит, а на уездную-то массу все же эффект он свой произведет… А как еще шепнуть ловко что он де нарочно прислан сюда из Петербурга известною особой, подчеркнул таинственным тоном Свищов, — которой ни в чем отказа не может быть, чтобы добиться для формы заявления земства насчет этой дороги… Так если всю эту обстановку устроить надлежащим образом, можем мы их сломить, как ты полагаешь?

Он говорил спешно, обрывисто, с лихорадочным оживлением, весь словно приподнятый накипью назревшего в нем интрижного замысла.

Троженков, видимо разожженный горячностью речей приятеля, покачивался на своем стуле, раздумывая и соображая:

— Д-да, выговорил он наконец, — может пройти, может… Выберут в предводители чтоб он на земском собраний председал по этому самому вопросу… Даже огромным большинством пройти может, как бы уже про себя промолвил он чрез миг, потирая себе руки нервным движением.

— То-то же, дошел, наконец, своим умом! Ну, а теперь посылай скорее лошадей мне нанять; хочу еще сегодня поднести картель другу моему Степе Говорилову.

— В ночь приедешь; спать уж он будет.

— А я его с постели подниму: пусть терзается от страха смертнаго! злорадно отозвался на это "московский браво".

XVIII

Пошла стряпня, рукава встряхня!

Пословица.

Троженков ошибался: Степа Острометов еще не спал, когда под крыльцо его деревенского дома подъехал, еле-еле дотащившись до него на скверных крестьянских лошаденках, Свищов.

Степа, в халате, всклоченный, с помятою еще после вчерашней попойки физиономией, ужинал или, вернее, обедал, так как поднялся с постели часу в девятом вечера, в своем кабинете в компании некоего соседа своего и приятеля "отставного унтер-офицера из дворян" (таких не мало развелось в наши дни), по фамилии Плеханова, малаго лет двадцати пяти, с красненьким как яблочко, безбородым личиком и румяными губками рта похожаго на пуговку. Пред ним лежали на тарелках обглоданные остатки только что покончeнных цыплят и стояла на три

четверти уже пустая бутылка мадеры.

— Свищура, друже сердечный, здорово! радостно вскликнул Степа, увидав входящаго;- откуда ты? От хохла твоего?... Ну, накатал он меня, брат, запеканкой своею! И добрая же была она, покойница! хрипло загоготал он, — ты такой, Плеша, в жисть не пивал, обратился он к своему компаньйону, — да и не по силишке тебе! На что уж я питух, молодцовато крякнул он, — да и то с ног сшибло.

Свищов тем временем опустился на стул, уткнулся глазами в пол и принялся обеими руками крутить зуавские усы свои с таким мрачным видом что Островетов удивленно поглядел на него:

— Что молчишь, устал, питаться хочешь? Я велю сейчас... Эй, человек, кликнул он слугу:- прибор, и подавай что там есть.

— Я к вам, как бы не почитая нужным отвечать на такие суетные вопросы, проговорил гробовым голосом Свищов, — я к вам от графа Петра Капитоновича Снядецкаго-Лупандина.

— Это ты, значит, к нему после вчерашняго поехал... Я ведь, брат, ничего не помню, примолвил все с тою же самодовольною молодцоватостью Степа, махнув рукой.

— От которого я уполномочен передать вам письмо, продолжал тот как бы опять пропуская сказанное мимо ушей.

— Письмо?...

У Степы как-то вдруг екнуло серди, е от этого страннаго, официального тона человека с которым он состоял в обычной ему "амикошонской" дружбе.

Тот вынул конверт из кармана, поднялся с места, передал его Островетову, кивнув при этом коротким холодно-учтивым поклоном и, усевшись, принялся опять все также мрачно крутить усы свои.

Степа задрожавшими пальцами сорвал обложку письма... Пред ним смутно пронеслось представление о чем-то происшедшем между ним и тем кто писал ему теперь, но что именно произошло, он никак это не мог возстановить в своей памяти.

Письмо, писанное по-французски (оно от слова до слова продиктовано было Петру Капитоновичу Свищовым), гласило между тем следующее:

"Милостивый государь, — ваше невыразимое поведение (Votre inqualifiable conduite) относительно меня вчера за ужином у господина Троженкова (monsieur de Trojenkof) ставит меня в неизбежную необходимость просить у вас удовлетворения, которое приличествует благорожденным людям (qui est d'usage entre gens bien nés), а потому покорнейше прошу вас поручить избранному вами лицу уговориться об условях имеющей быть между вами встрече с подателем сего, господином Свищовым (monsieur de Svistchof) сделавшим мне честь принять на себя звание моего секунданта".

Это было, как говорится, коротко и ясно... Слишком ясно! Роковыя строки запылали в глазах Степы Говорилова в виде огненной надписи начертанной невидимыми перстами на стене пиршеской залы царя Валтасара. Почтовый листок выпал у него из рук.

— Что это... что я ему сделал? пролепетал он, меняясь в лице.

— Это вы должны сами звать, произнес Свищов на глубочайших басовых нотах своего голоса.

— Ничего не знаю… Не помню, Христос мне свидетель! принялся креститься обеими руками "потомок бояр Остромётовых".

— Вы позволили себе, при трех свиеьтелях, тщательно подчеркнул тот, — наговорить графу таких дерзостей которыя могут быть омыты только кровью одного из вас.

— Да я был пьян, до положения риз пьян, сам ты видел! принялся в волнении колотит себя кулаком в грудь Степа, в вящее убеждение посланца от своего врага:- ты пожалуста, друг мой, объясни ему это, образумь… Что-жь в самом деле, из-за такой глупости… Я могу даже написать ему, ты только помоги мне изложит получше…

— Вы забываете, кажется, произнес с высшим достоинством "московский браво", — что я состою секундавтом, а в настоящую минуту и представителем вашего противника и что вы поэтому не имеете никакого права разчитывать на какия-либо приятельские услуги с моей стороны. Тем более что никаких ни устных, ни письменных объяснений от вас граф принимать не намерен; он так меня и просил вам передать.

— Чего-жь он хочет? взвизгнул отчаянным голосом Степа Говорилов.

— Крови, я вам сказал, пробасил Свищов, закусывая губу до боли чтобы не разразиться хохотом удовольствия которое доставляло ему зрелище террора напущенного им на свою жертву. — И полагаю что для вашей репутации, протянул он, — лучше будет отложит всякия такия объяснения в сторону и приступить прямо к делу.

— "К делу", повторил растерянно Степа, безсознательно разводя руками.

— Да… Иначе доверитель мой, и я сам, можем подумать что вы только на оскорбление храбры.

Слова эти внезапно словно хлыстом хлестнули по больному тщеславию Степы. Побледневшее лицо его заалело мгновенно выступившею на нем краской. Он повел быстрым взглядом на говорившего, на кругленькое личико Плеханова, безмолвно, с наивным любопытством в ребяческих чертах внимавшего непонятному для него на половину разговору, и поднял голову с очевидным намерением показать себя со своей стороны на высоте положения. Ему достало даже силы вызвать на уста что-то в роде небрежной улыбки, которая по его мнению как нельзя более приличествовала в данном случае "настоящему джентльмену":

— Что же, театрально проговорил он вместе с тем, — если вашему графу непременно требуется кровь, я для его удовольствия могу пролить мою.

— Или его, докторально добавил "le général Suichef":- в честном бою шансы противников совершенно одинаковы.

— Как случится… Хотя его крови я нисколько не жажду, ответил на это Остромётов, и с такою повидимому спокойною твердостью что вражий посланец как бы с недоумением покосился за него: не ошибся ли я мол в разчете на его трусость?

— Нам остается, значит, приступит к обсуждению условий дуэли… Имеете ли вы в виду секунданта?

— Секунданта?.. Да вот друг мой, Ахилл Аггевич Плеханов, позвольте вас познакомить… Плеша, ты не откажешься быть моим секундантом… за поле чести, сказал Степа, стараясь

придать этим словам тот же небрежно-шутливый тон; но шутливости, ниже небрежности на этот раз не вышло, и в голосе его зазвучала какая-то детски жалобная нота.

— Имеете ли вы опытность в подобного рода делах? спросил Свищов, глядя изподлобья на "Плешу" суровым взглядом и медленно покручивая "грозный ус".

— Я в военной службе был, зарядить пистолет и стрелять, все это могу, скороговоркой, видимо польщенный и обрадованный предстоявшею ему ролью, поспешил отрапортовать тот.

Свищов поднялся, покачался на каблуках, все так же сурово поглядывая на него из-под нахмуренных бровей

— Так пройдемте в другую комнату, решил он, и наставительно прибавил:- секунданты всегда отдельно, без посредства противников, совещаются и определяют условия.

— Мне известно! утвердительно закивал, словно весь сияя от восхищения, "отставной унтер-офицер".

— Захватите свечку, там темно! скомандовал Свищов, направляясь в другую комнату.

Плеханов торопливо схватил один из двух шандалов стоявших на столе и, высоко подымая его над головой, поспешил за ним.

Степа остался один.

Ему хотелось подняться, пройтись по комнате, "размять ноги". Но эти ноги, он чувствовал, были холодны и недвижны как ледяная глыба; руки дрожали, вся кровь приливала к сердцу, и оно мучительно, невыносимо билось у него в груди. А пред внутренними очами, in the mind's eye, по выражению Гамлета, — пробегали картины одна другой страшнее... Вот он стоит на полянке в лесу... Заря, птички поют, утренние лучи играют и трепещут по распускающимся листьям берез, и так мирно кругом, таким счастьем и довольством дышет эта зарождающаяся жизнь весны... А против него, о ужас! стоит "петербургский граф" со своим желтым "чиновничьим лицом" и наводит за него пистолет, — какой-то длинный, ужасно длинный пистолет, по ярко гладкому стволу которого искрится ослепительная струйка света, и от нея он, Степа, не может оторвать глаз своих... А Свищов рядом, в нескольких шагах, накручивая ус за палец, считает каким-то медленным, роковым, безпощадным голосом: "Раз, два, три!.." Дым, выстрел, что-то толкнуло его в грудь... Он падает и слышит, как бы в самой глубине уха своего слышит испуганный крик Плеханова: "Прямо в сердце, на повал, убит!" И все это так живо представлялось ему, так реально, чуть не осязательно... Не даром высшею волей Неба дана была Степе артистическая натура.

Ледяная дрожь пробегала по всему его телу... Он уставил локти за стол и уронил в ладони лицо, по которому ручьем внезапно полилась из его глаз жгучия, неотразимыя слезы...

Но вот как-то вдруг, нежданно, слезы изсякли, лицо отделилось от рук, Степа каким-то приободренным и как бы вопросительным взглядом прищурился за дальний, полуисчезавший во мраке угол просторной комнаты, — а в кончиках губ его заиграло что-то похожее за лукавую улыбку.

— Эй, кликнул он, — кто там?

Из передней на зов этот вышед полусонный слуга.

— Чего прикажете?

— Осветить, что это за темь здесь! Лампу зажги и принеси сюда!

Голос Степы звучал теперь властно и повелительно, как у человека состоящаго в полном обладании своего я… Он пододвинул к себе одинокую свечу остававшуюся за столе, закурил о пламя ея папироску и, откинувшись в спинку своего седалища, принялся пускать кольца дыма вверх, в совершенно уже терпеливом теперь ожидании окончания переговоров секундантов.

Слуга внес зажженную лампу и поставил ее на стол.

— Хорошо, можешь удалиться, уронил Степа.

"А, вот они!" сказал он себе с новым, невольным биением сердца, услыхав шаги входивших из соседней комнаты в кабинет Свищова и Плеханова.

— Ну, чем же вы решили, господа? спросил он, беззаботно затягиваясь и закидывая ногу одну за другую; — считаю нужным сказать вам, cher monsieur Swistchof, прибавил он с театральным жестом, — что я наперед согласен на все условия вашего графа, так как он, судя по его письму, почитает себя обиженным и ему поэтому предоставляется, по правилам дуэли, предлагать их.

— Мы уже все решили, Степа, все. Отлично будет! заявил, радостно разводя руками, Плеханов: — барьер за двадцать шагов; каждый из вас может пройти пять шагов вперед, а стрелять по сигналу… У меня и пистолеты есть, настоящие, кавалерийские, надо их только почистить отдать, заржавели очень, в кладовой они у меня, сыро там очень… Я в город для этого съезжу, там у меня охотник есть знакомый, Кондратий… Отлично будет все, Степа, отлично!

Степа слушал, глядя по сторонам и позевывая с видом человека которому прежде всего смертельно спать хочется.

— Очень хорошо, лениво произнес он, слегка потягиваясь.

"Да он, чорт его возьми, совсем молодцом держится!" говорил себе Свищов, мрачно и, безмолвно поглядывая на него в это время, — "клялся я тому и божился что струсит он непременно и будет на месте прощения у него просить, а тут пожалуй окажется что тот от страха в Петербург удерет… Уж очень глупо выйдет в таком случае…

— Нам остается поэтому решить только насчет времени и места, сказал он громко.

— Когда угодно, исключая завтрашняго дня, поспешно ответил Островетов:- вы понимаете, надо же иметь время сделать кое-какия распоряжения на случай…

Он как бы не счел нужным договорить. — А затем когда вам угодно!

— Насчет места, начал опять секундант графа Снядецкаго-Лупандина, — я предложил бы для удобства противников среднее разстояние entre leurs résidences respectives, ввернул он почему-то по-французски, — а именно, лесок в имении общаго знакомаго нашего Степана Акимовича Троженкова, будто самою природой устроенный для подобного рода приятного времяпрепровождения, уже несколько игриво объяснил он.

— Мне все равно, промолвил все с тем же джентльменским равнодушием Степа, — всякое место годится pour se couper la gorge, щегольнул и он подходящею ad hoc французскою фразой.

Свищов отвечал на это поклоном по всем правилам рыцарского обычая: апробую, мол, и хвалю, Разговаривать дальше было не о чем.

Свищов кашлянул, поклонился еще раз:

— Мне остается затем, проговорил он, выдерживая до конца принятую им на себя официальную роль, — пожелать вам доброй ночи и вернуться к пославшему меня, который уже решит окончательно в какой именно день быть предстоящей между вами встрече. Я буду иметь честь обратился он к Плеханову, — известить вас об этом письменно никак не позднее завтрашняго вечера.

— Отлично, отлично будет! блаженно заголосил тот;- я рано утром съезжу в город к Кондратию с пистолетами, и пуль у него возьму, и всего…

— Да, сделайте милость, это уж на вас возлагается; у графа никакого оружия нет, а у меня револьвер один, — с этим выходить в дуэли не полагается.

— Не полагается, поспешил подтвердить отставной унтер-офицер с видом знатока, — как можно с револьвером! Смешно даже…

И он залился вдруг раскатистым, тоненьким смехом, похожим впрочем более на крысий писк чем на настоящий человеческий смех.

— Итак имею честь кланяться, господа! сурово произнес "le général Suichef", как бы протестуя этим тоном против неприличной в такую минуту веселости. Он кивнул присутствующим коротким кивком, повернулся и зашагал по направлению к передней, весьма недовольный в душе результатом своего бранного посольства.

— Вы могли бы переночевать у меня, крикнул ему в след хозяин дома:- а то что же вам ночью ехать.

— Позвольте на сей раз отклонить ваше гостеприимное предложение, ответил на это с достоинством тот:- я уже имел случай заметить вам что в настоящую минуту обязав забыть мои личныя, как давнишняго знакомаго вашего, отношения к вам… Sauf à les reprendre plus tard, если вам угодно будет, милостиво заявил он в заключение и вышел на этой фразе с победным лицом в переднюю.

Плеханов выбежал провожать его в переднюю, но Степа не счел нужным сделать то же. Он остался сидеть на своем стуле, придав теперь лицу своему новое, печально вдумчивое выражение, имевшее в его разчете произвести надлежащее впечатление на приятеля, так "неприлично", находил он, радовавшегося выпадавшей ему доле участия в предстоящей дуэли.

— Ну вот и устроили, все отличнейшим образом, Степа, заговорил, действительно будто ног под собою от удовольствия не чувствовал, "Плеша", возвращаясь в кабинет, — мы сейчас положили с этим господином что мне нечего оставаться у тебя теперь ночевать, а непременно надо ехать скорее к себе, где у меня пистолеты, чтобы попасть утром рано-рано к Кондратью.

— Вот пистолеты уж блеснули,

Гремит о шомпол молоток,

вспомнил из Онегина Степа и ухмыльнулся трагическою усмешкой. — Тебе это, кажется, большое удовольствие доставляет? проговорил он с некоторою язвительностью.

— Что же, Степа, возразил ему на это тот, осклабляясь в свою очередь широкою, счастливою улыбкой, — я очень рад, действительно, сослужить тебе службу... Ведь это весело, Степа, знаешь!

— Весело! глухо, по театральному, отозвался Острометов.

— Конечно, храбрость свою испытаешь... То-есть, нервы хотел я сказать, потому что собственно храбрости никакой нет на свете, а только нервы; это вам физиология доказывает, с профессорскою важностью пояснил Плеханов.

Степа даже с некоторым изумлением поглядел на него:

— Эх ты, Ахилл!.. А у самого у тебя нервы есть или нет, как ты думаешь?

— А не знаю, право, не думал никогда... Кажется, нет, добродушно разсмеялся он:- мне все равно.

— Все равно, то-есть, жить или умереть?

— Конечно... Нет, вот я тебе разкажу, случай был один, когда я служил в полку, вспомнил вдруг отставкой унтер-офицер: — мы вот так вечером раз сидели на квартире у одного из ваших вольноопределяющихся. Славный такой малый, звали его Пеструшкин, не бедный был и веселый такой, душа общества мы его все звали. И вот именно об этом самом, о храбрости, пошел у вас разговор. И кто-то тут сказал что все же для каждаго должна быть смерть хоть немножко страшна. А Пеструшкин говорит на это: "А вот я, говорит, ни чуточки ея не боюсь; скажи мне кто-нибудь хоть сейчас застрелиться, я так и сделаю"... А у нас был другой вольноопределяющийся, Шефельсон, из крещеных Евреев, — и жид же, я тебе скажу, жид! — он и говорит Пеструшкину: "Так вы, может, застрелитесь от того что у вас денег нет?" и смеется, знаешь, так глупо... А Пеструшкин вынул из кармана конверт и вытащил из него деньги, он только утром получил с почты, — триста рублей было:- "Ошиблись, говорит, вот видите." Жид и расхохотался: "Ну, говорит, теперь, значит, вы ни за что не застрелитесь." — "Пари?.."

— Это, то-есть, кто же, жид предложил? спросил Острометов, сильно заинтересованный разказом.

— Нет, сам Пеструшкин это ему предлагает...

— Сериозно?

— А вот слушай! Сидит он себе, как теперь вижу, на стуле верхом, толстую папироску курит, — сам он знаешь вертел всегда, — и смеется. "Снимите, говорит, пожалуйста со стены вот этот револьвер." Тот снял. "Заряженный!"' спрашивает. — "Не могу сказать наверно, говорит Пеструшкин:- я недавно из него стрелял, а все ли заряды выпустил не помню: кажется не все." — "Так-какое-же вы пари предлагаете?" спрашивает опять жид. "А такое что я сейчас вложу револьвер в рот и буду дергать курок на все шесть зарядов. Не выстрелит, деньги эти показывает, — ваши, а выстрелит, — вы товарищам в память мою пирушку устройте и чтобы вина на ней было столько сколько в кого влезет"... И жид этот, можешь себе представить, начал еще с ним тут торговаться, вынул двадцать пять рублей и говорит что он больше "ни гроша не может пожертвовать на пари". А глаза у подлеца так и впились в деньги на столе. Пеструшкин вынул из пачки двадцатипятирублевую бумажку. "Ну, вот, говорит, мои против ваших, а остальныя все равно пусть идут компании на тризну по мне. Согласны?" спрашивает. Жид даже вздрогнул: он, знаешь, разчитывал на гешефт: держать двадцать пять против

трехсот. "Что же, говорит, делать, согласен". Пеструшкин взял револьвер и сунул его себе в рот…

— И ему позволили? воскликнул, весь даже побледнев Степа.

— Кто?

— Да все вы… Сколько вас тут было?

— Человек шесть.

— Какже вы могли дозволить… не был он даже в силах договорить.

— А какже не дозволять было когда человек хочет? Ведь это было бы же нарушение свободной воли человека, Степа, самым убежденным тоном ответил на это Плеханов.

Стела рукой махнул:

— Ну, ну, продолжай!..

— Вот он положил его в рот и начал за курок держат. Раз — ничего, другой — ничего, третий опять ничего… А жид, знаешь, стоит против него, даже лицо его все дергает. "Не заряженный", говорит… Вдруг, как грянет…

— Череп в дребезги? договорил за него Степа, совершенно отчетливо, с переворачивавшим всю его внутренность ужасом, воспроизводивший всю эту сцену в своем артистическом воображении.

— Да, знаешь, кровью его и мозгом так и обрызгало одного тут. Грек у нас такой был, Психаки, который ближе к нему сидел… Так вот я к тому это разказал, Степа, заключил "Плеша", улыбаясь своею детски наивною улыбкой, — что разве это храбростью следует называть? Это просто у кого только нервы крепки.

Степа, уложив локти на стол, сидел, ухватившись руками за голову и закрыв глаза. Невозмутимое спокойствие приятеля производило на него какое-то подавляющее впечатление.

Так прошло несколько времени. Он поднял наконец голову и воззрился на своего собеседника, который между тем, все с тою же улыбкой на алых губах рта похожаго на пуговку, выбирал с неприбранных еще со стола тарелок с остатками ужина цыплячьи косточки и кидал их в широко открывавшуюся на встречу им пасть большаго, кудластаго тернёва Степы, вбежавшего вслед за ним из передней.

— Эх ты, Ахилл! промолвил еще раз Островетов с каким-то на этот раз странным оттенком не то удивления, не то зависти, — ты, пожалуй, готов при случае такую же штуку отмочить?

Тот беззаботно плечами пожал:

— Что же, Степа, конечно, еслиб я в таком же положении был… Пиль, Блек! крикнул он, приловчаясь кинуть новую косточку так чтоб она попала прямо в нос собаке.

— Да ведь тут какое же "положение", Плеша? Из-за чего, подумай, сделал эту глупость человек.

"Плеша" посмотрел на него как бы с удивлением:

— Да какже, Степа, ведь обидно что какой-нибудь жид смеет говорить что ты можешь застрелиться только потому что у тебя денег нет.

"Степа Говорилов" не нашел ни единого слова ответить на такой резон. Но из разговора с приятелем он вынес окончательное убеждение что "трагические речи", которыя он было намерен был повести с ним относительно грозившей ему мол "гибели" на поединке с графом Снядецким-Лупандиным, были бы совершенно излишними. "Плеша" просто не понял бы их. "Ему, дураку, и в самом деле все равно что жить, что умереть; а я..." недоговорил себе Степа и как-то высокомерно усмехнулся только.

— Вот что, Плеша, сказал он после новаго молчания, — ты оставайся у меня преспокойно ночевать, а завтра утром мы с тобой поедем к тебе; я возьму у тебя пистолеты и сам повезу в город к твоему Кондратию, ты мне только адрес скажи... Или даже, я думаю, можно будет там достать получше чем твои: ведь твои, ты говоришь, старые очень, заржавленные: может-быть и совсем не годиться будут...

— Я уж об этом думал, Степа, поспешил заявить тот;- в городе стоит пехотный баталион, у какого-нибудь офицера непременно, я думаю, найдутся пистолеты. Я отыщу, у всех перебываю, отличные достану, увидишь, отличные!...

— Я сам это все сделаю, перебил его Остромeтов;- а ты должен оставаться.

— К чему же это, Степа! взвизгнул Плеханов плаксивым голосом ребенка у которого отбирают любимую игрушку.

— Ты должен ждать извещения от секунданта моего противника, разве не помнишь? Он тебе сказал что ты должен ждать его никак не позднее завтра вечером: ты следовательно весь день должен ждать его. А то вдруг письмо еще до обеда придет, а тебя нет...

— Так ведь ты же вернешься из города до обеда?

— Конечно, но что-нибудь... непредвиденное может задержать меня... А ты должен сейчас же, немедля, ответить на то что он напишет что мы очень рады и будем на место в тот час в какой они там в письме назначат... Ты понимаешь, Плеша, надо тут показать что мы с тобой de vrais gentilshommes, промолвил он, откидывая назад голову движением исполненным все той же неисправимой в нем театральности и забывая при этом что "Плеша", как говорится, "ни в зуб не знал" никакого иностранного диалекта.

Но непонятая им французская фраза произвела тем не менее решающий эффект на отставного унтер-офицера: он склонил покорно голову, вздохнул изо всей груди и пробормотал:

— Так где же мне ждать, Степа: у себя, или опять приехать сюда?

— Сюда, разумеется. Он сюда пришлет непременно... Ты мне у себя отдашь пистолеты, я с ними поеду в город, а ты сейчас же на своих лошадях возвращайся сюда и жди письма и меня.

— Хорошо, пролепетал печально Плеханов.

Степа поднялся с места, потягиваясь и зевая во всю глотку:

— Ну, а теперь по постелькам... Какую же я высыпку сейчас задам! браво примолвил он к этому, косясь на приятеля с желанием подметить какое впечатление произведут на него эти слова.

Но румяному Ахиллу было не до его бравости: он сидел надувши губки, готовый заплакать. Ему так хотелось к Кондратию, а такия приятныя хлопоты предстояли ему было: достать пули, порох и прочее, к "разным офицерам" съездит (может-быть какой-нибудь из них знакомый найдется, или "веселенький анекдотик" ему разкажет между прочим, думал бедняжка); а тут "сиди один целый день с Блеком!..."

XIX

Много загублено заячьих душ.
Слава усердному гону тявкуш.
Слава тебе, неизменный Нахал,
Ты словно ветер пустынный летал!

Некрасов.

Рано утром, переночевав на полпути у Троженкова, неутомимый Свищов прибыл в Белево, усадьбу унаследованную графом Петром Капитоновичем Снядецким-Лупандиным от покойной тетки. Старуха прожила всю жизнь в деревне, и дом ея был, как говорится, полная чаша. Древняя чета, из бывших дворовых, муж и жена, прослужившая ей с юности до самой смерти и оставленная ея наследником на прежних должностях своих, содержала этот дом в чистоте и "аккуратности", переносивших невольно воображение того кто входил в него в первый раз к мирным временам стародавняго дворянского житья. Петр Капитонович со своей петербургской точки зрения находил что ему "здесь недостает современного комфорта" и что для этого "нужно будет со временем выписать кое-что от Гальпена,[81] переменить обои и обивку, и вообще переставить все по нынешнему," но в сущности находил эту обстановку "довольно приличною для своего звания". А Свищов, входя теперь в эти чистыя и светлыя комнаты, с полинялым от лет, но без пятнышка старинным штофом мебели и занавесей, горками фарфора и серебра в углах гостиной и дубовым подом лоснившимся как паркет, думал со своей стороны: "И совсем даже как следует быть для уездного предводителя дворянства".

Он застал хозяина в его кабинете совсем одетым, хотя было еще очень рано, с похолодевшим стаканом чая на письменном столе, у котораго, погрузившись в глубину старинного вольтеровского кресла, читал он, высоко приподняв книгу к прищуренным глазам, Историю города Глупова, сочинение господина Щедрина.

Он быстро закрыл ее, кинул на стол и обернулся на заслышанные им шаги входившего:

— А, вы!.. Я вас еще ночью поджидал, как вы обещали приехать... И, признаюсь, несколько безпокоился, спад даже дурно.

— Да, вы как-то уж очень желты сегодня, отозвался насмешливо Свищов;- что жь, вы полагали, сократили меня на пути разбойники?

— Нет, а все же, знаете... Отечественныя дороги, да еще в ростепель... Могли вас на какой-нибудь колдобине вывернуть...

— Насилу до Троженкова на возвратном пути дотащился; кляча мужицкия попались невозможныя, объяснил Свищов не садясь, взял безцеремонно папироску из ящика стоявшего на столе, закурил ее и принялся, молча и насупясь, расхаживать по комнате.

Петр Капитонович, действительно как-то "особенно желтый" после дурно проведенной ночи, с видимою тревогой следил за ним глазами.

Прошло несколько минут. Его так и порывало заговорить, но словно что-то задерживало слова его в горле.

— Что же письмо? промолвил он наконец чрез силу.

— Передал, коротко ответил на ходу тот.

— Передали! Господину Островетову?..

— А то кому же еще? По адресу, известно.

— Я, то-есть, хотел спросить, лично ли ему… в руки? сказал, слегка заикаясь, граф.

— В собственныя, подчеркнул с новою насмешливою нотой в тоне Свищов, продолжая, не глядя на говорившего, маршировать по комнате от двери до двери.

У Петра Капитоновича сперло дыхание еще раз.

— Что же он? скорее угадал чем услышал его гость.

— Согласен, точно отрубил он.

— Драться?

— Само собой!

Петр Капитонович судорожно ерзнул в своем кресле, подаваясь всем телом вперед:

— Без разговору?

— Был разговор у меня с его секундантом об условиях…

— Нет, поспешно перебил граф, — я говорю насчет извинений… У вас с вами именно была речь о том что вы от него прежде всего потребуете… des excuses écrites в его глупом поведении… и только в случае еслиб он отказался, тогда уж отдадите ему мое письмо… Вы мне даже честное слово давали что он напишет все, непременно все что вы только сочтете нужным продиктовать ему.

"Московский браво" остановился посреди комнаты, закрутил ус на палец и, покачиваясь с каблука на носки и обратно, выговорил, отчеканивая отдельно каждое из своих слов:

— Я ему сказал что вы никаких, ни устных, ни письменных извинений от него принимать не намерены, а требуете его всенепременно к барьеру. Dixi! заключил он, глядя теперь уже во все глаза на Петра Капитоновича.

Тот в неописанном волнении вскочил с места и схватил себя за волосы:

— Что вы со мной делаете, что делаете!.. Еслиб я мог знать, я бы никогда не поручал вам… Помилуйте, это, что называется, abus de confiance с вашей стороны! Я вас никогда об этом не просил… Помилуйте, растерянно восклицал он, — в моем положении идти на настоящую дуэль с каким-то молокососом… который может меня увечным сделать, или даже застрелит самым глупым образом… как какого-нибудь зайца… Я вас послушался относительно этого… вызова, доверяя вашим словам что он "испугается" — вы мне в этом клялись и божились — и поспешит "униженно извиниться", говорили вы мне именно в этих выражениях, или не говорили?… А вы,

вы…

Он нервно, болезненно закашлялся, замахал отчаянно руками, упал опять в кресло, бледный и вздрагивающий не то от негодования, не то от страха, — "от страха того глупаго положения в которое ставит его теперь этот наглец" объяснял он себе мысленно.

Свищов в свою очередь взирал на него невозмутимо и безмолвно, тешась в душе всею этою, нагнанною им на слабонервного и умоограниченного человека, душевною тревогой. Его мистификаторская натура находила в этом зрелище какое-то специально удовлетворявшее ее наслаждение.

— Я полагал, заговорил он не сейчас, — что в вашем "положении" и в виду того что вы из этого положения думали сделать, переселяясь из столицы в провинцию, вам именно неприлично было стерпеть при свидетелях дерзости от "какого-нибудь молокососа", как вы весьма резонно выражаетесь, и что поэтому вам следует дать ему приличную острастку, заявить себя, так сказать, с перваго же раза, в назидание впредь и во страх всем ему подобным, так как время, известно вам это или неизвестно — не знаю, пошло теперь грубое, и кулачное право, вопреки прогрессу, более чем когда-нибудь у нас в ходу… Зубы надо показывать теперь, ваше сиятельство, прежде всего зубы!.. Насчет извинений я вам говорил и, конечно, имея все данныя предполагать что молокосос этот действительно придет в перепуг от вашего картеля… Но признаюсь, нежданно расхохотался "наглец", я тут "маленьким ошибка давал", передразнивая армянский говор, выразился он словами одного ходячаго анекдота.

— На неожиданный отпор изволили наткнуться? желчно отозвался на это граф.

— Д-да… С начала и совсем было ошалел он, казалось, от испуга, а там вдруг, невесть откуда, прыть какая-то нашла, мы мол сам с усам, драться, так драться, и "наперед", говорит, "на все условия согласен". Удивил даже, признаюсь!.. И ничего теперь с этим не поделать, развел Свищов руками, — выходить вам теперь на барьер необходимо.

— Чорт знает что такое! крикнул Петр Капитонович, ударяя по столу костяным ножом схваченным им тут же и переламывая его при этом на двое.

Он швырнул его куски на пол и словно уронил себя в спинку своего кресла:

— Искалечит, говорю, пожалуй, или и совсем отправит… глухо простонал он, — ведь это же глупо, согласитесь, глупо!

— А как если вы его, напротив? продолжал потешаться Свищов.

— Суд, значит, тогда, скамья подсудимых, скандал…

— Суд оправдает, об этом разговаривать нечего.

— Ах, оставьте пожалуста! заныл Петр Капитонович, оборачиваясь к нему спиной.

Свищов вытянул язык по адресу этой спины, покачался еще раз с пятки на носок и обратно, и проговорил громко:

— Ну-с, вот что: выйти на барьер, как я уже имел честь донести, вам необходимо, а на счет того что из сего далее произойти может, у вас теперь с вами другой разговор пойдет.

— Какой еще разговор?..

— А такой, начал, медленно роняя слова, Свищов, — что действительно, как вы говорите, вышло бы в конце концов довольно "глупо" еслибы затеянная нами история, совершенно впрочем основательно затеянная, поспешил он добавить, — привела к какому-нибудь нежеланному, чтобы не сказать печальному, исходу… Требуя поэтому направить дальнейший ход ваших действий по другому, так сказать, каналу. Как вы об этом полагаете?

— Ничего не полагаю, ибо ничего не понимаю, досадливо отрезал Петр Капитонович не оборачиваясь.

— Да, я вообще уже заметил что вы насчет понимания несколько туги…

— Однако позвольте, милостивый государь, — и уколотый граф перекинулся теперь всем туловищем в сторону дерзкаго своего собеседника, — вы себе позволяете со мною такой тон…

— La paix, la paix, monsieur le comte! прервал его в свою очередь со смехом тот;- я, знаете, тоже не люблю когда меня слушают оборотившись ко мне неподобающею частью тела, а вы вот почитаете это, кажется, признаком хорошаго воспитания.

Петр Капитонович покраснел как рак:

— Прошу меня извинить, пробормотал он, — я… именно… слишком хорошо воспитан чтобы… в моем собственном доме… Вы о чем-то начали говорить? спешил он переменить речь, — я действительно не совсем понял, виноват.

Свищов засмеялся опять:

— И не трудно впрочем: я пока присказку вел, а сказка у вас впереди.

— Сказка? повторил недоумело граф.

Свищов подошел к стулу стоявшему у стены, переволок его к столу за которым сидел хозяин, сел, оперся подбородком на сложенныя им за стол руки и, глядя не на слушателя своего, а прямо чрез окно за синевшую на дворе под яркими лучами солнца большую лужу, заговорил полушелотом:

— Еслиб я, например, попросил у вас лошадей и какой-нибудь экипаж, хотя бы телегу, съездить немедленно в город что бы вы сказали?

Петр Капитонович продолжал недоумевать:

— Могу вам служит. Коляску мою которую я посылал чинить туда, вчера вечером, после вашего отъезда, привезли обратно. Кроме того, я узнал, тут у тетушки были старыя крытыя дрожки, очень покойныя и совсем еще крепкия; так если вам угодно будет воспользоваться ими… Но зачем вам в город и даже "немедленно"? спросил он с видимым уже любопытством.

— Там можно будет с кое-кем переговорить, загадочно промолвил за это "le général Suichef."

— С кем же? дрогнул голос у графа.

— С кем потребно будет…

Петр Капитонович сразу теперь, огулом, понял все — и покраснел пуще прежняго:

— Послушайте однако, залепетал он, — ведь это, знаете…

— Что знаю?

— Это как-то не совсем… Могут сказать…

— Кто сказать, что?

— Я уж не знаю право; но вы понимаете, un homme bien né…

— Дальше же что, хихикал, подгоняя как бы споткнувшегося за этом "bien né" графа, его безцеремонный собеседник.

— Этот господин… Острометов — мальчишка… фат… Он может распустить слухи что я, так-сказать, испугавшись его, предварил… Вы понимаете, человеку в моем положении… прибегать к таким средствам…

— К каким это? невозмутимо проговорил "московский браво".

— Ведь это, согласитесь, в некотором роде… донос…

— На кого же это, на себя самого, то-есть? Ведь вы же Острометова вызвали, а не он вас.

Граф растерянно уперся в него глазами:

— Да, к несчастию, послушался вашего совета… А теперь, вы согласитесь, я поставлен, так сказать, в безвыходное положение…

— Я вам на это пословицей отвечу.

— Пословицей?…

— Да-с: честь приложена, а от убытка Бог избавит.

Петр Капитонович заметался опять:

— Глупейшее положение, глупейшее!

— Как знаете! Можно дело и совсем без последствий оставить.

— Как же так?

— В город я не поеду, о времени встречи о которой я должен был известить Острометовского секунданта ничего не напишу: за этом и замрет.

— Но ведь он в таком случае при первой со мной встрече будет иметь право меня… трусом, так сказать, назвать…

— Ну, это конечно может случиться, и он даже наверно это сделает, самым спокойным тоном подтвердил Свищов.

— Вы видите!… Каково же это в моем положении!…

И такое отчаяние зазвучало при этом в голосе злополучного графа Снядецкаго-Лупандина что нашему мистификатору даже как будто жаль его стало теперь:

— Послушайте, ваше сиятельство, сказал он, — отчего не хотите вы допустить что в нашем

богоспасаемом отечестве имеется у предержавных властей известная доля и собственной инициативы? Разве не может полиция, хотя бы и не столичная, а наша простая, уездная, безо всякаго, как вы безпощадно выражаетесь, "доноса", проведать о том что вот там-то и там-то готовится между такими-то известными в местности лицами то-то и то-то? А в таком случае следует ли ей, или нет, принять к прегражденію сего, плутовски подчеркнул он, — подобающия со своей стороны меры?

У слушавшего эту речь начинало мало-по-малу проясняться чело:

— Конечно, если она сама, так сказать... я не имею средств препятствовать... Но иначе, вы понимаете, в моем положении...

— Сама, конечно, подтвердил Свищов, прикусывая губу, — я иначе и не понимаю... Только ей, знаете, помочь надо немножко... Так я поеду, граф, после какой-то особенно веской паузы примолвил он, поднимаясь с места.

Петр Капитонович почему-то почувствовал себя в эту минуту как-то необыкновенно бодрым и даже отважным духом:

— Лошади мои и экипаж к вашим услугам, а в том что вы намерены там учинить, уже несколько игриво прибавил он, — я умываю руки, предваряю вас.

— Пилат, проконсул, осторожный, travesti et ulustre! воскликнул за это Свищов, безпрепятственно уже оглашая воздух давно мучившим его внутренно хохотом.

Петр Капитонович тоже засмеялся. На унылой еще за несколько мгновений назад душевной ниве его начинали разцветать опять ландыши и незабудки...

Разговор затем перешел как-то вдруг на всякие "веселенькие" мотивы. Граф отдал приказание запрягать лошадей в старыя дрожки тетки, на которых гость его изъявил готовность "пропутешествовать" в город. Но он так увлекся приятностью беседы со своим хозяином что отправился в путь лишь в первом часу пополудни.

XX

Из Белева до города было верст двадцать пять, и Свищов приехал туда часу в пятом. Он ведел везти себя на станцию железной дороги, пообедал там на скоро котлеткой с картофелем, выпил бутылку пива и, приказав кучеру графа дать лошадям корму и ожидать его возвращения, вышел сам на улицу.

Город был ему хорошо знаком, и он своею размашистою походкой направился по главной его улице прямо к дому который занимаем был земскою управой в ту пору когда он состоял в ней членом. Управа и теперь помещалась в этом доме, и он, подходя к нему, увидел сидевшего на ступеньке крыльца, с коротенькою трубкой в зубах, старого солдата сторожа, с самаго введения земских учреждений состоявшего здесь в этой должности.

— Здорово, Ефимыч, сказал он.

— Здравия желаю, вашесблародие, проговорил старый служивый, поспешно вставая и вытягиваясь, и почтительно пряча трубку свою за спину.

— Бравый ты все, попрежнему, милостиво ухмыльнулся Свищов, — здоров все?

— Покорнейше благодарю вашесбла… Бог по грехам терпит, ответил, видимо польщенный комплиментом, тот, приосаниваясь.

— Ну, и отлично!.. А ты вот что мне скажи: где тут у вас исправник живет?

— А тут, вашесбла… по близости, переулочек направо минете, тут сейчас и будет, купца Толстопятова дом, ставни расписныя, фигуристый такой.

— Знаю.

— Так вот в эвтом самом доме, вашесбла…

— Ведь он у вас теперь новый, исправник? спросил опять Свищов.

— Так точно, недавно, с полгода не боле как назначевы сюда; а то был у вас до преж того Сливников господин, из гвардейских…

— Знаю, при мне был, славный малый.

— Легкий господин действительно, осклабился не то одобрительно, не то как бы насмешливо сторож.

— Легкий, повторил машинально Свищов… "Какой ведь всегда меткий эпитет умеет зайти ваш народ!" пронеслось у него в мысли. — Ну, а нынешний каков? сказал он громко.

— Ничего, начальник настоящий можно сказать. С Балканов они, майор.

— Как "с Балканов"?

— С генералом Скобелевым, значит, в поход туда ходили, Егорья даже достали себе там; потому рука у них простреленная, и даже по сей час не владеют.

— Молодчина, значит?

— Ничего, аккуратные…

— Зовут его как?

— Фамилия им Ипатьев будет, Федор Иваныч.

— Что он теперь дома, не знаешь?

— Должно, дома, пообедамши; они завсегда в третьем часу обедают.

— Ну прощай, Ефимыч, очень рад что видел тебя.

— Счастливо оставаться, вашес…

Свищов направился к квартире исправника.

— Дома Федор Ивавыч? спросил он у отворившей ему дверь в сени пожилой, чистоодетой женщины.

— Дома-с, пожалуйте; как об вас сказать?

— Окажите: из уезда землевладелец один, фамилию я сам ему скажу.

— Пожалуйте, повторила женщина, вводя его в небольшую, чисто как она сама, но бедно глядевшую комнату, с разставленными чинно по стенкам дешевыми стульями крытыми полосатым тиком, крашеным столом покрытым ярославскою салфеткой и окнами без занавесей и стор.

— Они сейчас пожалуют, сказала женщина, уходя в соседнюю комнату.

Из нея действительно вышел чрез минуту исправник, человек лет сорока пяти, высокий и худой, с несколько болезненным и строгим лицом и подвязанною черною шелковою полосою рукою, застегнутый за все пуговицы сюртука и с Георгиевским крестом в петлице.

Он приветствовал вошедшаго учтивым наклонением головы и вопросительно уставился за него большими, сериозными и умными глазами.

— Позвольте вам представиться: Свищов, вашего уезда... помещик, как говорилось в крепостныя времена...

И он щелкнул каблуками на военный манер.

Исправник молча кивнул подбородком.

— Желал бы, если позволите, продолжал тот, покручивая ус и как бы шутливо, — получить от вас аудиенцию минут на десять разговору.

— Имеете ко мне надобность?

— В некотором, так-сказать, роде, если милость ваша на то будет.

— Не угодно ли будет пожаловать ко мне в кабинет, ответил майор, видимо несколько морщась от гаернического пошиба тона и приемов обращающагося к нему лица.

То что называл он "кабинетом" была так же скромно как и предшествовавшая ей убранная комната. У окна за двух козлах уставлена была широкая и длинная площадка сколоченного из досок стола, на которых натянута была, обитая по бортам гвоздиками с медною шапкой, американская клеенка желтоватаго цвета. На столе, в серых обложках, с наклеенными на них заголовками, аккуратно сложенныя горкой лежали дела и текущия "к подписи", рядом с двумя-тремя томами Свода Законов в затасканных переплетах. К стене, прямо насупротив плетеного кресла с круглою спинкой, на который сел теперь хозяин, приглашая движением руки посетителя занять место на другом стоявшем подле стола, обитом такою же клеенкой кресле, прикреплены были простыя, не крашеныя полки с книгами, а над ними на темно-сером фоне обоев виднелись хромолитографированный портрет Царствующаго Государя и в резвой деревянной рамочке изображение красиваго молодаго генерала с белым орденом на шее,- генерала Скобелева.

— Чем могу служить? начал исправник.

— Это требует некоторого развития, если позволите мне так выразиться, счел почему-то нужным засмеяться Свищов и, вытаскивая из кармана порт-сигар, набитый им пред отъездом из ящика графа Снядецкаго-Лупандина:

— Позволите закурить? промолвил он pro forma, зажигая тут же спичку и закуривая папиросу

о пламень ея.

Хозяин молча глядел на него только.

— Дело, изволите видеть, заговорил опять "московский браво", — свойства самаго конфиденциальнаго, как выражаются у вас на службе, а потому я считаю нужным просить вас заранее хранить его пока под замком, как говорится… Во всяком случае не проговориться как-нибудь что вы узнали об этом от меня.

— Я не имею привычки "проговариваться", сухо отрезал в ответ исправник.

Свищов чуть-чуть смущенно морганул глазами:

— Я не сомневаюсь, пробормотал он, — но вы изволите усмотреть из моего разказа что здесь требуется некоторая особенная осторожность.

— В чем дело? так же сухо опять спросил тот.

— Вам вероятно не безызвестно что в числе здешних землевладельцев состоит, недавно получивший наследство от тетки, камергер, чиновник особых поручений при министре, граф Снядецкий-Лупандин…. почти сановник, хихикнул неисправимый мистификатор не совсем кстати, но тут же принял многозначительный вид и примолвил веско:- лицо во всех отношениях почтенное.

Исправник кивнул еще раз:

— Имел честь видеть, был у меня по делу о вводе его во владение.

— Д-да… Так вот с этим вполне почтенным лицом случилось на днях весьма неприятное приключение.

— Приключение?…

— Иди, выражаясь правильнее, столкновение с другою личностью… так как "лицом" его собственно зазвать нельзя. Представьте себе недоросля из дворян, как говорилось встарь, богатаго и ни к чему негодного маменькиного сынка, — и этот мальчишка позволил себе наговорить графу в одном доме, при свидетелях, весьма неприличныя вещи, которыя не могут быть терпимы никаким порядочным человеком… Вы конечно согласны с этим? примолвил он, глядя прямо в лицо Ипатьева.

Тот не отвечал и внимательно глядел ему в свою очередь в глаза.

— Что оставалось делать графу после этого, сами скажите?

И не ожидая ответа:- он потребовал от него, как водится между порядочными людьми, надлежащих извинений, или такого же… надлежащаго, то-есть удовлетворения.

— Так! коротко проговорил за это майор;- дальше-с?

— Недоросль наш… фамилия его Остромётов, я кажется забыл зазвать его…

Исправник качнул головой.

— Знаю-с, сказал он.

— Знаете?

И Свищов вперил в него изумленные глаза.

— Так что же вам угодно было мне сообщить? невозмутимо промолвил тот.

Свищов раздумчиво повел на него взглядом еще раз и продолжал:

— Господин Острометов не счел нужным извиниться, как это ему следовало, так как сказаны была им графу дерзости в пьяном виде, в чем он мог сознаться нисколько не роняя своего достоинства, а очень обрадовался, напротив, повидимому, как это часто бывает в его годы, случаю показать себя храбрецом и…

Какая-то тень усмешки пробежала на миг по безцветным губам исправника. Зоркие глаза Свищова как бы на лету поймали ее; он приостановился.

— И…? повторил холодно и уже совершенно сериозно тот.

— Дуэль назначена, вымолвил "московский браво" словно через силу;- факт глупейший, согласитесь? счел он нужным примолвить, высоко вздергивая плечами.

Исправник в свою очередь не почел нужным отвечать на этот возглас.

— Позвольте вас спросить, сказал он, — из какого источника доставлены вам сведения о которых вы сообщаете мне в настоящую минуту?

Свищов как бы оторопел несколько, но тотчас же овладел собой и засмеялся принужденным, обрывистым смехом:

— Вы мне позволите быть совершенно откровенным с вами, заговорил он, наклоняясь и притрогиваясь пальцами фамильярно к коленке своего собеседника (причем Ипатьев невольным, как бы гадливым движением отодвинулся от него и поморщился);- я в некотором роде играю активную роль в этой трагикомической истории, так как граф Снядецкий-Лупандин просил меня передать письмо его господину Острометову, а затем, если тот не согласится за извинение, быть его… секундантом… Вы понимаете что порядочный человек не может отказать в подобных случаях… Я и согласился, надеясь привести к соглашению… Но так как оно приняло этот оборот, я, понимаете, считаю долгом, так сказать, совести сделать все возможное чтобы не допустить встречи… совершенно безсмысленной, согласитесь, по вызывающему ее мотиву, а которая может привести между тем к какому нибудь весьма… печальному исходу… Вы согласны, не так ли? с каким-то будто искательством в тоне заключил он.

Исправник, садя в полоборота к столу и опираясь на него левым локтем, невозмутимо внимал этим речам. Только в сериозных, несколько как бы усталых, глазах его пробегало что-то не то безпокоившее, не то раздражавшее Свищова…

— Надеюсь что сообщение мое во всяком случае будет принято вами в надлежащем смысле и не подаст повода какому-нибудь истолкованию могущему набросить тень на мои намерения, произнес он с выражением словно оскорбленного даже предположением этой "тени" достоинства.

Исправник отделил локоть от стола, потер руки одна о другую и проговорил своим ровным, негромким голосом, с едва опять уловимою усмешкой:

— Мне об этом уж было известно.

— Как известно! вскликнул ошеломленный Свищов, — когда же вы успели…

— Сегодня утром я получил извещение…

— У вас был Островетов!..

И Свищов ударил себя ладонью по лбу. "Как я не догадался что он непременно отмочит эту штуку"! чуть не вслух выговорил он.

— У вас был Островетов! повторил он утвердительно и разражаясь внезапным смехом.

— Я вам этого не говорил-с, а предполагать вы можете что вам угодно, строго отрезал ему на это в ответ исправник.

— Ну конечно, хихикнул безцеремонно нахал, — вы по должности своей обязаны из таких вещей делать тайны…

Но острый и холодный как сталь взгляд остановившихся на нем глаз "майора с Балкан" прервал его на полуслове. "С этим человеком шутки плохи", сказалось ему внутренно.

Он поднялся с места.

— Вам, значит, теперь известно все с обеих, так сказать, сторон, промолвил он с явным, но плохо выходившим в действительности, намерением придать словам своим шутовской тон, — и я могу к имеющимся у вас сведениям прибавить лишь то — так как относительно сего пункта вам ничего еще не могло быть доставлено — что встреча между противниками имеет быть завтра, в восемь часов утра, подчеркнул он, — в лесу, близь усадьбы деревни Быково, принадлежащей Степану Акимовичу Троженкову, о котором вы вероятно слышали, если не знакомы лично…

Исправник поднялся тоже и кивнул подбородком:

— Это теперь безразлично, сказал он:- я послал часа уже два тому назад становаго к графу Снядецкому-Лупандину и к господину Островетову потребовать от них подписки, что они драться не будут.

— А!… так вы не полагаете сами… или тот же становой… выехать на место? пролепетал сбитый очевидно с позиции Овиящов.

— Полагаю безполезным: господа эти драться не будут, ответил на это исправник тоном презрительный оттенок которого не ускользнул от чуткаго уха "московского браво"; его слегка покоробило.

— За сим мне остается только просиять у вас извинения за безпокойство, сухо промолвил он, кланяясь и быстро поворачиваясь на каблуках в сторону двери.

Хозяин проводил его до порога, сухо поклонился в свою очередь и вернулся к своему столу.

Дурное расположение Свищова, вызванное не совсем удачною беседой с этим "Скобелевским ежом", как выражался он мысленно, продолжалось впрочем недолго. Выходя на улицу, он уже ухмылялся под зуавскими усами своими. "Так и лучше, пожалуй, вышло, разсудил он, — в газеты можно будет пустит что дуэль не состоялась по вмешательству полиции, которую

известил о ней отец особы из-за которой должна была произойти она"…

И совершенно довольный такою своею "комбинацией" он, весело посвистывая, направился обратно к станции железной дороги, сел в ожидавшие его там дрожки графа, и велел кучеру ехать, но не домой, а в сторону, в Троженковское Быково.

XXI

Владимир Христианович Пец, управляющий сахарным заводом Всехсвятского, сидел у себя утром в конторе и занимался проверкой каких-то счетов, когда пришли ему доложить что его "кто-то" спрашивает.

— Кто такой? спросил он, не отрывая глаз от лежавшего пред ним листа исписанного цифрами.

— Не знаю-с, ответил вошедший с докладом молодой малый из состоявших в конторе писарей, — фамилию не сказал, а только говорит что пришел из Москвы и желает вас видеть.

— Сейчас!

И, проверив последние итоги, Владимир Христианович поднял глаза и сказал:- Проси.

Писарь вышел и, проговорил "пожадуйте", пропустил в комнату лицо совершенно незнакомое управляющему заводом, но с которым читатель наш встретился недавно у Степана Акимовича Троженкова и которого мы будем продолжат называть тою же фамилией под которою он значился там.

Владимир Христианович, не подымаясь с места, ответил наклонением головы на довольно почтительный поклон которым приветствовал его вошедший и вопросительно и молча уставился на него глазами.

Наружный вид этого "неизвестнаго" не понравился ему на первых порах. "Очень уж он невзрачно глядел и хамовато"… Но Владимир Христианович был весьма мягкий и "жалостливый" человек. "Нужда"! подумал он тут же…

А тот заговорил между тем:

— Извините меня что решился вас обезпокоить, не имея к тому никакого права, можно сказать. И даже единственно чем могу в некоторой степени оправдать себя, так это тем что отношусь к вам как к человеку получившему, мне известно, образование в том же заведении где и я сам заходился.

— Вы технолог? живо спросил Пец.

— Был им действительно, вздохнул ему в ответ тот.

— Не кончили курса?

Бобруйский вздохнул еще раз:

— Обстоятельства не дозволили…

Он сунул руку за борт своего поношенного пальто, вытащил из кармана сложенный вчетверо лист бумаги большаго формата и подал ее через стол Владимиру Христиановичу.

Тот развернул его и пробежал глазами.

Это было форменное, за надлежащими подписью и печатью, увольнительное свидетельство выданное начальством заведения "состоявшему студентом третьяго курса технологического института, сыну крестьянина Льву Гурьеву Бобруйскому", помеченное одним из чисел августа 1878 года.

— Что же вам помешало кончить курс, вам всего год оставался? спросил участливо Пец.

— Голь непролазная и нездоровье, ответил с горечью "технолог";- уроженец я, изволите видеть, Воронежской губернии, гимназию там прошел, а затем куда же!... К техническим занятиям всегда имел охоту, потащился в Петербург, в институт поступил... А средства, сами понимаете, какия у вашего брата! Отец прасол, как у Кольцова поэта, и он скривил при этом губы в виде усмешки, — еле концы с концами сводит, семья большая... Думал я, само собой, уроками пробиваться, да только, сами знаете, какая теперь конкурренция, особенно если ты еще не классик, подчеркнул он язвительно, — а к тому еще стал я катарром горловых связок страдать, иной раз по целым месяцам без голоса сижу, так какие уж тут уроки!.. Три года однако проскрипел, надеялся все до выходного экзамена продержаться... Не вывезло, и он махнул рукой безнадежным движением, — слег, тиф у меня тут голодный сделался, пролежал в больнице с полгода...

— Вы теперь откуда же, из Петербурга? спросил Пец, которого этот разказ, дышавший, казалось ему несомненною искренностью, заставлял забывать неблагоприятное впечатление произведенное на него в первую минуту наружным облаком говорившего.

— Я из Петербурга еще прошлою осенью выбыл, продолжал тем временем тот, — потому доктор в больнице сказал мне что там мне и месяца не прожит в сырости и холоде, а чтоб ехать мне немедленно поправляться за родину. Я и послушался, поехал, прожил там по настоящее время, поправился действительно.... А как почувствовал себя лучше, так, знаете, и потянуло опять туда, курс кончит, права настоящия получить.

— Ну и что же?...

— Дотащился я до Москвы.... Знакомый там у меня есть один из наших воронежских, думал у него малую толику добыть на проезд в Питер. Вдруг узнаю: в Царя стреляли! — Бобруйский даже вздрогнул. — Я, знаете, в ужас пришел.... Потому, известно, как бы счел он нужным объяснить, — первое дело в подобных случаях подвергается подозрению вся учащаяся молодежь; винная она или невинная, полиция все одно преследует, на шее, почитай, сидит.... И в самой молодежи, надо так сказать, от этого самаго неудовольствие и ропот.... а как если ты не разделяешь ея мнений....

Он оборвал, будто застыдясь прорвавшейся у него откровенности.

— Не вся же однако молодежь, я полагаю, заметил тихо Владимир Христианович, — придерживается крайних мнений.

"Бывший студент" словно ужасно обрадовался этим словам.

— Не вся, это вы совершенно справедливо говорите, далеко не вся! вскликнул он, но тут же вздохнул и прибавил:- только ведь, сами знаете, против рожна не прать. Общий тон уж такой: не либеральный человек в глазах товарищей все равно что шпион и подлец: говорить с тобой перестанут, а не то и публично обругают последними словами.... А с моим характером этого не выдержать, сам я обругаю.... Не то что другие что в душе так же как и я протестуют против....

против этого больного течения мыслей, проговорил он напирая, как бы очень довольный подвернувшемуся ему на язык подходящему выражению.

Владимир Христианович внимал ему, одобрительно покачивая головой. Он сам был в свое время в числе этой учащейся молодежи, знал ея нравы и тот ложный стыд который большинству из вся препятствует открыто и отважно заявлять свое личное, независимое мнение наперекор действительно "больному течению мыслей", навязываемому ей ничтожным по большей части, но обладающим дерзостью и глоткой, меньшинством.

— Знав все это, продолжал Бобруйский, — да еще как я в разчете своем на получение денег несколько ошибся, меня, знаете, и взяло раздумье; слова Писания припомнились: удались от зла и сотвори благо. В Петербург попасть теперь, прямо в жерло значит.... Да и к тому же, говорю, не с чем. Тут я и разсудил окончательно поискать себе занятия какого-нибудь по технической части чтобы, знаете, хоть и на самой небольшой должности, да пожит в спокойствии, пока все это смятение пройдет, и чтобы сколотить себе грош ко грошу хоть небольшия средства для поступления опять, чрез год что-ли или даже позднее, в институт, курс кончить.

Все это носило опять в сознании "души человека" Пеца, как называл его Николай Иванович Фирсов, печать "такой задушевности" что он чувствовал себя все более и более расположенным принять участие в этом, так мало возбудившем в нем к себе на первых порах сочувствия "несчастном" человеке.

— Кто вас к вам сюда направил? спросил он.

— Случай. Ѣхал со мной из Москвы какой-то коммиссионер что-ли; так он тут разказывал в вагоне, положения ваши здешния хвалил очень... Я и вздумал на счастье: может, зайдется какое-нибудь местечишко.... Он мне, этот человек, про вас очень даже сочувственно отзывался, примолитал Бобруйский, скорчив какую-то особенную, не то заискивающую, не то пренебрежительную улыбку: ты, мол, не думай во всяком случае что это я из подлости;- "свое, говорит, дело насквозь знает и жить под его началом людям хорошо"... Я и решился окончательно, особенно узнав от него что вы тоже из Технологического.

— Позвольте, эти добрыя слова, усмехнулся Владимир Христианович, — отвести по их настоящему адресу: я творю лишь волю поставившего меня. У нас, действительно, людям жить хорошо, могу это прямо сказать, но все это прямо же исходит от того кому мы здесь все служим. Борис Васильевич Троекуров, которому принадлежат имение это и завод, превосходный человек в полном объеме этого слова, примолвил он с какою-то растроганною нотой в голосе.

— Слышал, какже; этот ехавший со мной человек не находил даже слов достаточно прославлять его. Видно действительно из ряда вон выходящий господин, выговорил тот самым убежденным тоном.

Владимир Христианович был окончательно заполонен этим сочувственным отзывом о его патроне.

— Я должен предварит вас, начал он раздумчиво, — что от нас люди отходят редко, и подходящаго для вас занятия собственно по заводу я в настоящую минуту не могу вам предложить никакого, тем более что, извините меня за откровенность, теоретические познания которыя приобретаются вами вообще в Технологическом институте равняются, к сожалению, нулю как только принимаемся мы за какое-нибудь специальное дело. Тут-с, у нас,

требуется просто навык, внимание и аккуратность. При всем моем желании, хотя бы и имелась у меня свободная по заводу должность, я мог бы предоставить вам ее лишь после полного ознакомления вашего с процессом вашего производства, а для этого не неделя и не месяц нужны… А вот чтоб могу предложит вам: у меня письмоводитель, очень хороший молодой человек из наших здешних крестьян, призвав отбывать воинскую повинность и должен был покинуть нас по этому случаю. Так вот если хотите… Тридцать рублей в месяц, к Рождеству и Пасхе наградныя по заслуге, подчеркнул он усмехаясь, — хорошая светлая комната с бельем, обед общий для всех конторских… Сыты будете, провизия у нас хорошая и кухарка мастерица своего дела, засмеялся уже и совсем добряк.

Лицо "технолога" словно все расплылось от умиления.

— Помилуйте, пробормотал он прерывающимся как бы от нежданной радости голосом, — да я и не за такое положение готов бы был с восторгом… Постараюсь оправдать ваше доверие. Пишу я грамотно, могу прямо сказать, а за неопытность на первых шагах простите; пригляжусь, не хуже другаго орудовать стану, надеюсь.

— И приглядываться-то долго не придется, возразил на это весело Пец, не хитромудрая канцелярщина… А только вот что-с: я принять вас готов и, как это мне предоставлено Борисом Васильевичем, имею полную на то власть, так как за подведомых мне лиц отвечаю я, а следовательно право выбора их и увольнения должно натурально принадлежать мне. Но у меня уж так положено что я никого не назначаю и не смещаю не предварив о том сперва моего генерала. А потому уж вы мне позвольте сходить к нему… Мне же к нему и нужно кстати.

И Пец, собрав лежавшие пред ним на столе листки счетов, вложил их в большой конверт и поднялся с места. — А вы меня тут подождите… Не проголодались ли вы с дороги, заморить червяка не хотите ли?..

— Если будет на то милость ваша, будто смущенно промолвил Бобруйский, — я, знаете, со вчерашняго вечера кроме стакана чаю ничего… притом со станции пешком, отощал действительно несколько.

— Сейчас, сейчас! засуетился Владимир Христианович, — пойдемте со мной.

Он отворил дверь, позвал сидевшего там молодаго писаря докладывавшего ему о посетителе:- Отведи их сейчас, голубчик, в столовую, поспешил он закомандовать, — и вели там подать что есть позавтракать… Я к генералу и чрез полчаса назад буду. До свидания, Лев Гурьевич!

И он, быстро шагая, направился ближайшим путем, то-есть через сад, в дом своего "генерала".

Борис Васильевич сидел за большим столом в своей библиотеке и выписывал карандашем за бумажке какия-то статистические цифры из лежавшей пред ним книги. Он тотчас же отложил свое занятие увидав входившего и ласково приветствовал его.

— Баланс за прошлый месяц, сказал Пец, кладя за стол принесенный им конверт.

— Хорошо-с. Ничего более, Владимир Христианович? спросил Троекуров, которому хотелось скорее возвратиться к своему делу.

Пец заметил это и поспешил заговорить:

— На место вашего Алексея Певцова, письмоводителя, явился тут ко мне один бывший студент технолог, так я хотел доложить вашему превосходительству…

— А разве из наших молодых людей некого вам назначать? прервал Борис Васильевич с некоторым изумлением.

— Соловцова бы можно было, ила Безпятаго, да они как и Певцов подлежат повинности; назначишь, а его тут чрез месяц в присутствие потребуют…

— Да, это так… А этот что же, "технолог" вы говорите? Как же он за такую мелкую, писарскую должность идти хочет?… Ведь у них всегда претензии большия…

— Нет-с!

И управляющий передан о плачевной одиссее явившегося к нему за местом. — Толковый а здравый понятиями, повидимому, человек, заключил он.

Троекуров неопределенно качнул головой:

— Что же, если он за вас хорошее впечатление производит…

Владимиру Христиановичу сделалось вдруг как бы чего-то страшно; ему вспомнилось что "впечатление" произведенное на него в первую минуту этим явившимся к нему "с ветра" незнакомцем было именно не хорошее и что он только потом, подкупленный разказом его о бедственности своего положения, подавил в себе это впечатление… Он хотел сказать об этом, "оговориться за всякий случай"… Но в эту минуту дверь из кабинета отворилась, и на пороге ея показалась Александра Павловна.

— Ты занят, Борис?… Ах, здраствуйте, Владимир Христианович, молвила она, входя и подавая этому руку.

— Нет, мы кончили, сказал ей муж;- тебе нужно переговорить со мной?

— Да, я хотела…

Он обернулся к Пецу:

— Так вы пожалуста распорядитесь насчет этого как вы знаете; мне в выбор чиновников вашей государственной канцелярии, шутливо сказан он, — вмешиваться даже неприлично как-то.

Пец поклонился и вышел с неуспокоившеюся смутой в мыслях. До сих пор "чиновники его государственной канцелярии" были все туземцы, крестьянские юноши, бывшие воспитанники приятеля его Молоткова, главного руководителя школы во Всехсвятском, за добронамеренность каждаго из которых могли ответить и этот воспитатель их, и сам он как за свою собственную. А тут он в первый раз берет под ближайшее себе начало человека совершенно чужаго, — "с ветра, с ветра", проносилось у него опять в мозгу, — и притом вполне зрелаго, даже немолодаго сравнительно с его "безусою командой", у которого следовательно сложились насчет всего вполне определенныя понятия, и с ними, пожалуй, еще считаться придется… "Да нет, он кажется в самом деле человек хороший, добрых правил, хотя с виду действительно на дикообраза смахивает," старался доказать себе добряк, возвращаясь в конторскую столовую, в которой будущий его письмоводитель жадно доедал поданный ему большой кусок мяса и запивал его квасом из объемистаго деревянного жбана. Но прорывавшаяся в чертах управляющаго озабоченность не ускользнула от зорко направившихся на него глазных щелок "технолога". Он поспешно встал со стула, утер усы верхом руки и проговорил глухо и тревожно:

— Отказ получили?

— Отчего вы думаете? живо возразил на это Пец и даже покраснел чуть-чуть:- генерал, как всегда, предоставил моему усмотрению, и я принимаю вас… на свой страх, подчеркнул он как бы невольно.

— Постараюсь заслужить, поверьте!… Кусок хлеба дали… залепетал дрожавшим голосом, словно не находя слов для выражения своей благодарности, тот.

"Несчастный"! подумал опять Владимир Христианович, "моэет быть действительно пропал бы иначе…"

— Пойдемте, я вам комнату вашу покажу, можете сейчас же поселиться.

Бобруйский, торопливо и неловко поклонившись, затопотал, идя ему вслед, своими грубыми, забрызганными грязью сапогами.

XXII

Оставшись одна с мужем, Александра Павловна поглядела, слегка сожмурившись, на дверь из которой только-что вышел Владимир Христианович, как бы с тем чтоб увериться что он запер ее за собой, и обернулась затем к Троекурову:

— Можно говорить, Борис?

— Конечно, друг мой, что такое? поспешно ответил он, в свою очередь глядя на нее вопросительно.

— Я хотела… насчет Маши, зачала она с заметною робостью.

— Насчет Маши? повторил он уже с тревогой в голосе.

— Да… и Гриши, добавила глухо Александра Павловна.

— А!… Что же? спросил он, зная впрочем заранее о чем именно хочет говорить она.

Она подняла за него свои, все так же еще прекрасные, с их строгою вдумчивостью выражения, глаза и слегка вздохнула:

— Мы говорили с тобой об этом в прошлом году… Ты тогда очень переменил твое мнение о Грише, после этого его несчастного amour mal placé к mademoiselle Буйносов…

— Ну да, с каким-то болезненным оживлением прервал ее Борис Васильевич, — и ты со мной согласилась тогда… Дело не в амуре, без этого не обойтись никому в молодости, а Гриша к тому же гораздо моложе своих лет, — даже не в предмете его страсти, а в безхарактерности, в тряпичности которую он показал тут…

— Она не хорошая, Борис, испорченная, она его нарочно с ума сводила, привлекала чтоб отвлечь его от нас; она наш дом терпеть не могла и рада была возможности сделать что-нибудь для вас неприятное, она знала что мы любим Гришу как родного и что нам будет больно видеть…

Борис Васильевич перебил еще раз:

— А он, зная все это лучше чем она, давал себя прельщат и водить за нос, играть собой как мальчишкой такой барыне как эта, у которой из-под красоты живаго существа так и дышет духовною мертвечиной и гнилью. И он ничего этого не видел, не чуял, разобрать не мог, играл у вся не стыдясь роль d'amoureux transi… Разве такого мужа достойна наша Маша!…

И он досадливо вздернул плечи вверх.

— Ах, Борис, тоскливо промолвила Александра Павловна, — дурныя женщины, к несчастию, умеют всегда губить мущин, даже самых лучших.

Он внезапно смутился, воззрился в нее быстрым, полным тревоги и какой-то острой муки взглядом… Но он ошибся: она сказала это без задней мысли, не намеком; да и была ли бы способна на намек эта "голубивая душа"? подумалось ему тут же;- у вся просто вырвалось из уст невинное общее место, труизм прописной сентенции… Но в душевном сознании ея мужа воспрянула опять при этом память прошлаго, живое представление тех дней когда и он шел на такую "гибель", уносимый водоворотом безсмысленной страсти…

— И не дурныя губят, глухо проговорил он, — поддайся только человек на искушение…

Он еще раз пристально вперил глаза на светлый с тихою озабоченностью в чертах облик жены… Веки его судорожно моргнули:

— Ты это сама по опыту знаешь, Саша… Неужели не боишься ты того же для твоей дочери?…

Она побледнела вся вдруг, вскинула в свою очередь с выражением чуть не испуга глаза на мужа… В первый раз после шестнадцати лет, после той ночи когда он, раненый, в том жидовском местечке Царства Польского, просил ее "простить ему", напоминал он ей о прошлом, о том близком ей и роковом существе с ея русалочьими зелеными глазами, исчезнувшем завсегда под мрачными сводами католического монастыря, которое действительно чуть не на век погубило ея счастье…

— Борис, к чему ты это вспомнил! вскликнула она тревожно, — все это давно минуло… Ты настрадался тогда еще более чем я…

Его точно что-то вдруг подхватило, понесло. Он схватил руки жены, прижимаясь к их ладоням горячими устами:

— Ты — ангел, друг мой, ты — вся любовь и прощенье… Но такова ли Маша, простила ли бы она в подобном случае, пронесла ли бы она как ты сквозь испытания свою чистоту душевную?

— Маша, повторила Александра Павловна и задумалась. — Маша в тебя, Борис, промолвила она чрез миг с тихою улыбкой:- она будет всегда голова dans son ménage.

Троекуров утвердительно кивнул:

— Да, она сильна духом, она знает чего хочет… Но есть ли это залог счастья для нея — и, напротив, не будет ли для вся вечный источник душевной тоски в том что будет она сознавать вечно превосходство свое над мужем?

— Ах, не знаю, Борис, тоскливо проговорила Александра Павловна, — я была бы несчастная еслибы со мною так было… Но она знает какой он, и все-таки любит его.

— Гришу? произнес машинально Борис Васильевич;- она тебе говорила?

— Нет, но я чувствую… Я впрочем ошибаюсь может-быть: она привыкла к нему с детства как к брату, как к Васе… Но мне кажется… я вчера с той минуты как он вернулся наблюдала за нею и потом спрашивала.

Она передала разговор с дочерью накануне вечера.

— Ты умнее меня, Борис, заключила она, — разсуди сам как это понимать. Как ты скажешь, так и надо будет действовать.

— Ах, пожалуста не говори ты мне про мой ум! каким-то пылким взрывом вырвалось на это нежданно в ответ у Троекурова:- у нас, кажется, с тобою до сих пор существует какое-то недоразумение на этот счет. Ум мой гроша не стоит сравнительно с тем что подсказывает тебе инстинкт твоего сердца. Его будем слушаться, а не того чего в силах я достигнуть холодным соображением разсудка… Ты пойми это, друг мой, пойми, и верь в себя больше, как я в тебя верю! заключил он, завладевая опять ея нежными руками и глядя любовно в самую глубь ея вишневых зрачков.

Все ея лицо зарделось румянцем; на ресницах заискрились блестки слез… Она высвободила свои руки и закинула их за шею мужа:

— Борис, милый мой!..

Она чувствовала: это было нежданное, внезапное разрешение того чего-то что стояло между ниши в течение стольких лет, колючаго, необъясненнаго… Лед прорвался и свободная волна доверия и счастья охватывала их обоих теперь в свои живительныя объятия.

— Ум, все ум, повторял Троекуров, выговаривая в слух наплывавшие к нему в голову спешно и безпорядочно мысли, — безплодныя потуги времени потерявшего веру во все иное… И в котором именно менее всего видно этого ума которому всем жертвуется, горько улыбнулся он. — Старая вечная правда не из ума вышла, а из того вот что ты душой своей понимаешь…

Он в свою очередь ухватил голову Анны обеими руками, приник к ея лбу крепким поцелуем, встал, словно приободренный весь, отряхнувшийся от какого-то тяжкаго, назойливаго бремени отягощавшего его.

— Ты права, заговорил он снова расхаживая по комнате:- Маша жизнью своей с самаго детства приготовлена к тому чтобы любить его, да и мы сами с тобою видели в нем давно будущаго ей мужа. Не опрометчивы ли мы были в этом случае, не знаю…

— Он все же добрый, благородный, честный, Борис, поспешила сказать Александра Павловна, — и любит нас, особенно тебя, avec fanatisme…

— Да, и я знаю что по крайней мере то что создано мною здесь, во Всехсвятском, я могу передать ему после моей смерти с полною уверенностию что он будет продолжать его, как говорится, свято и ненарушимо, между тем как Вася…

Он не договорил и, сжав как бы болезаенно брови, уставился взглядом куда-то в окно.

— О Васе я хочу с тобой особо как-нибудь переговорить, а теперь вот что, я первая, как ты видишь, je tiens à Гриша, сказала Троекурова, — но я также очень хорошо понимаю его недостатки… И опять то еще что Маша кроме него никакого молодаго человека, можно сказать, не видела, она своего сердца еще не испытала… Не думаю, признаться, но она может как-нибудь встретиться с другим который ей больше понравится.

— Не в роде ли этого певца который у нас был вчера с гитарой? засмеялся за это Борис Васильевич.

Засмеялась и Александра Павловна:

— Нет, Маша a trop bon goût pour cela…

— Или этот другой вербный херувим из петербургского департамента, продолжал шутить он, — который рапортовал вам вчера обо всех Александровских кавалерах состоящих в числе его знакомых?

— Ну, этот и не думает, кажется…

Троекуров иронически усмехнулся:

— Надеюсь во всяком случае что ни один из них не решится явиться к тебе или ко мне просить ея руки.

— Ужь конечно Маша не даст ни одному из них повода надеяться… Но я говорю, Борис, не о таких которые, само собой, не могут быть для Маши des partis sérieux, а о том что, мне кажется, для того чтоб у нас с тобой на совести ничего не оставалось, надо было бы дать ей случай видеть других молодых людей, настоящих, как-то наивно-забавно подчеркнула Александра Павловна, — хотя бы для того чтоб она могла проверит насколько действительно сериозно нравится ей Гриша.

Какая-то тень пробежала на миг по лицу Троекурова:

— Она за границей имела случай видеть таких.

— Иностранцев?.. Боже сохрани ее и нас от них!..

— Нет, и Русских, настоящих, подчеркнул он насмешливо в свою очередь, — из самой петербургской fleur des poix.

— Она, когда вы вернулись, называла мне многих из них которых вы видели в Италии и в Париже, но ни один из них не произвел на нее впечатления, я это знаю.

— Вот видишь!

— Да, но ведь не всех же она там видела, Борис, которые в России есть?

Он не мог не засмеяться опять:

— Совершенно справедливо, и нам поэтому остается с тобой потребовать со всей Империи женихов на смотр нашей дочери, как это водилось встарь относительно невест для русских царей.

Этот легкий, насмешливый тон отозвался каким-то особенно радостным ощущением в душе Александры Павловны. Он напоминал ей те первые, счастливые дни ея супружества когда она с таким блаженным покорством преклонилась пред умственным превосходством мужа и нетерпеливо ожидала и радостно старалась давать ему случай "подразнит ее"…

— Ты хоть и царь во Всехсвятском et autres lieux, Борис, весело возразила она ему, — но власть твоя на всю Россию еще не простирается, да и к чему же собирать когда их можно так увидеть.

— Женихов? Где же это?

— В Москве, например…

— Какие же там женихи, студенты?

— Ну в Петербурге…

— Ты бы хотела в Петербург ехать? воскликнул он изумленно.

— Я! не то испуганным, не то негодующим тоном ответила она;- уж конечно еслибы какое-нибудь несчастие заставило меня покинуть ваше гнездо здесь, я бы менее всего подумала переехать туда. Я бы там просто жить не могла, не умела, я так отвыкла от толпы, от света… И я с ужасом думаю еслиб нам пришлось туда ехать за одну зиму… Но я думаю опять чтобы Маша потом не могла нас внутренно упрекнуть что мы не дали ей возможности видеть, выбрать.

— Кого, из какого мира выбирать там? с заметным волнением, принимаясь опять ходить по комнате, заговорил Борис Васильевич:- из флигель-адьютантов или церемониймейстеров что-ли? Там другаго сорта людей нет в нашем обществе… Они с детства ни к чему иному не готовятся. Старыя имена, дворяне, владельцы еще чуть не целых уездов — и ничего кроме холопства, подвохов друг под друга, лакейской интриги ни у кого у них в предмете нет! Мятутся, добывают всякими низостями чины и кресты, о которых тут же отзываются с "либеральным" презрением, вымаливают как нищие, если не крадут, деньги у безсмысленно тароватой казны и тратят их также безсмысленно как она на роскошь без пользы, без величия и без вкуса… И никому из этих набитых ветром голов, из этих холопствующих soi disant "grands seigneurs" не втемяшишь в голову что ему место не там, не в дворцовых и министерских передних, а у себя в имении, среди народа, на почве той земли которая одна может дать ему и силу, и значение, и уважение, в котором ему по всей справедливости отказывает теперь Россия… А они еще, безмозглые, в своем клубе о конституции теперь толкуют!… Ах, да что тут говорить! раздраженно оборвал вдруг Троекуров, и махнул рукой каким-то безнадежным движением.

— Неужели все такие, все? печально выговорила Александра Павловна; — но ведь еще недавно как-то говорили у нас что в последнее время многие уже, особенно между молодыми людьми, переезжают жить из столиц к себе в имения, и у нас в губернии много даже таких.

— Да, кое-где действительно являются такие… пионеры, — но от того ли что пробудился у них здравый смысл, или просто потому что им в Петербурге не чем более жить, мне до сих пор неизвестно.

— А я думаю именно потому что там начинают понимать теперь то что ты понял давно.

— Если так, усмехнулся он опять, — то, я подагаю, вам нечего с Машей искать там тех которые этого еще не понимают.

Александра Павловна задумалась:

— Я тебе говорила… я думала, pour l'acquit de notre conscience, чтоб она была не в праве упрекнуть нас потом…

Борис Васильевич остановился за ходу. Глаза его усиленно заморгали: обычный у него признак помысла тревожившего его в данную минуту:

— Ты боишься, она может пожалеть в последствии… не договорил он.

Она поняла, задумалась за миг опять:

— Нет, раз полюбит Маша, она сожалеть не станет, и бояться ей нечего. Гриша не такой человек чтоб уйти когда-нибудь из-под ея влияния: он будет любить и верить в нее до смерти.

— Что же, слегка вздохнул Троекуров, — доверимся ея инстинкту… А что он будет у нея под башмаком, это верно, усмехнулся он тут же с невольно прорвавшимся выражением какой-то презрительности в тоне.

— Что же делать, Борис, печально проговорила на это Александра Павловна, — когда у вас теперь у однех женщин остался характер.

— У однех женщин, да!.. уныло повторил он. Маша умна, начал он опять чрез миг, — она во всяком случае приглядываться станет к нему, не решится сразу. Они почти год не видались, она тогда была еще ребенок, и он для нея чуть новый человек…

Он как-то разом оборвал и замолк. Александра Павловна вскинула на него на миг глаза и тотчас же опустила их…

— Я ожидала что ты так решишь, Борис, сказала она после долгаго молчания, — а теперь мне вдруг страшно сделалось.

— Страшно?

— Да; будет ли тут, действительно, счастье?…

Борис Васильевич нервно передернул плечами:

— Что ей придется стоять на стороже его, это более чем вероятно; но для такой натуры как Маша это может-быт и нужно… Помнишь у Лермонтова:

А он, тревожный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой.

Конец второй части.

Часть третья

C'est moins l'amitié qui assemble les gens d'aujourd'hui que la sympathie des haines communes.

G. Droz.

I

…Car les destins et les flots sont changeants.

Béranger

Часу в одиннадцатом утра, светлым, теплым днем, в половине мая, старая дребезжавшая, очевидно извощичья коляска вкатилась под въездныя ворота давно знакомаго нашему читателю Сицкаго[82]. Все тот же грубо отесанный лев разевал над ними свою каменную

пасть, но на позолоченной медной доске, на которую опирались его лапы, вместо бывшего исторического герба князей Шастуновых, красовались теперь две вычурно переплетенныя главныя буквы имени теперешняго его владельца: П. и С. За то прежняя чугунная дрекольем решетка заменена была новою, не отличавшеюся особенным вкусом, но блестевшею такою же позолотой по изгибам и выпуклостям фантастического своего рисунка. Выступавший за нею массивный дом, с его широким, опиравшимся на тяжелыя колонны балконом и висячими галлереями, соединявшими его с длинными параллелограмами стоявших обок его флигелей, блестели под солнцем, словно только-что вымытые, в своей свежей с глянцевитым отливом светло-серой краске. Прежние каменные сплошные парапеты галлерей заменены были решетками одного рисунка с решеткой льва, и над каждым из пересекавших их поставов сероватаго мрамора возносилась высеченная из такого же мрамора ваза полная цветов. Ярко горевший невысокий купол с крестом виднелся на правом флигеле, над церковью, которую устроила покойная княгиня Аглая Константиновна Шастунова в память дочери, на месте той самой залы бывшего театра, где некога княжна Лина, в образе Офелии, промелькнула на миг падучею звездой… Пров Ефремович Сусальцев стремился очевидно обратить место своего жительства в некую царскую резиденцию.

Но этот возобновленный вид старой барской усадьбы вызвал далеко не отвечавшее ожиданиям ея новаго владельца впечатление на молодую. замечательно красивую барыню в щегольском costume de voyage, с опущенною до рта синею вуалеткой и в маленькой круглой шляпе, сидевшую в коляске рядом со скромною, но тоже не безызвестного щегольства одетою девочкой лет шестнадцати, горничною своею. Барыня возвращалась из Италии, и на глаза ея, приобыкшие к чудесам тамошняго искусства, все это золото и глянец отзывались крайнею безвкусицей.

— Купец так и виден! презрительно уронила она сквозь зубы.

Спутница ея, будто очень обрадованная, одобрительно закивала головой и засмеялась немым смехом, широко раскрывая свои алыя губы.

Коляска между тем, обогнув большую раскинутую посередь двора клумбу, усаженную сплошь кустами высаженных из оранжереи роз в цвету, подкатила на двух тощих извощичьих клячах к подъезду дома.

На грохот ея выбежал из-за больших стеклянных дверей, ведших в сени, молодой парень, остриженный в скобку, в безукоризненно чистой белой рубахе, подпоясанной красным снурком над пестрядевыми панталошками, всунутыми в сапоги.

— Европейские претензии — и прислуга из трактира! произнесла как бы про себя опять, но совершенно громко приезжая дама, насмешливо окидывая его чуть-чуть прижмурившимися глазами. — Пров Ефремович дома? спросила она.

— В поля, с час времени будет, выехали… А вам что требуется, сударыня?

— Требуется прежде всего, чтобы ты знал, что надо высаживать дам, когда оне делают честь приезжать к твоему господину, отрезала она ему в ответ, приподымаясь в коляске:- не учили тебя, видно, этому?

Оторопелый малый бросился, вскинув руки вверх, с очевидным намерением подхватить ее под мышки.

Но она быстрым скачком выпрыгнула сама мимо этих рук на гладкия плиты широкой площадки подъезда.

Горничная ея, также быстро соскочив с другой стороны, подбежала к ней, глядя лукаво смеющимися глазами на оторопевшую фигуру парня в белой рубахе.

— Когда-жь он приедет из полей? подчеркнула барыня.

— Это вы, то-ись, насчет хозяина спрашиваете? Так эвтово я не могу знать, проговорил он, встряхиваясь, — потому они как случится, иной раз к обеду, а то и…

Она нетерпеливо перебила его:

— Да что у вас никого толковее тебя нет в доме?

— Никандра Панкратьич, клюшник, у нас есть, окромя других прочих, торопливо ответил он, — а как если милость ваша прикажете, так я могу к Евгению Владимировичу сего минутой избегать.

— Евгений Владимирович? повторила она:- это господин Зяблин, то-есть… Он еще жив?

И она чуть-чуть усмехнулась.

— В полном здравии находятся, видимо уже ободренный ответил парень, проводя верхом руки по губам с тем, чтобы прикрыть слагавшуюся на них такую же улыбку. — Да вот-с они и сами идут, примолвил он уже шепотком, кивая в сторону одного из флигелей на выходившего оттуда, еще моложаваго издали глядя, но видимо тяжело опиравшегося на твердую бамбуковую трость господина в изящно скроенном летнем костюме перловаго цвета, легком голубеньком галстучке и широкополой панаме, защищавшей от лучей солнца его примигивавшие глаза и коротко остриженную голову.

Это был Зяблин, наш старый друг Зяблин, разочарованный "бригант" пятидесятых годов, безподобный "Eugène" бывшей владелицы Сицкаго, — по-прежнему изящный, все так же строго послушный последней модной картинке и ныне, не смотря на подагру, катарр желудка и прочия невзгоды его семидесятилетняго возраста.

Из окон помещения, занимаемаго им в этом флигеле, он увидел приезжую, узнал ее и спешил теперь к ней, — спешил, несказанно изумленный и озадаченный этим ея приездом, не зная, чем будет отвечать на чаемые им "неизбежные" с ея стороны вопросы, но чувствуя присущим ему чутьем благовоспитанного по-старому человека, что "нельзя же так оставить даму на подъезде"…

— Madame… какой неожиданный сюрприз! залепетал он, скидывая с головы еще по пути шляпу и слабо шаркая плохо уже повиновавшимися ему ногами.

— Здравствуйте, monsieur Зяблин!… Вы, кажется, удивляетесь, что я приехала? несколько высокомерным тоном спросила она тут же.

Зяблин мгновенно оробел:

— Помилуйте, я, напротив, могу сказать, tout à fait enchanté, madame… Но вы так нечаянно, не предварив… Мы с Провом Ефремовичем никак не ожидали…

Она насмешливо прищурилась на него:

— Вы с ним думали, может быть, что я навсегда сбежала?

Старый "бригант" окончательно растерялся.

— Mon Dieu, madame, можете-ли вы полагать!.. вскрикнул он, шаркая опять и прижимая руку к сердцу.

— Что же я однако стою здесь! перебила она дальнейшее излияние его протеста:- мои комнаты внизу, надеюсь, никем не заняты?

— Никем, помилуйте... Мы здесь в доме одни с Провом Ефремовичем... Вы желаете там... остановиться? спросил он с некоторым уже, тотчас же и подмеченным ею, колебанием.

Брови красивой барыни сдвинулись мгновенным и гневным движением:

— А где же по-вашему может "остановиться" хозяйка, веско подчеркнула она, — как не в своем покое?

— Mais certainement, madame, certainement, весь изогнулся он любезным поклоном, разсудив мысленно совершенно правильно, что пока друг его Пров Ефремович "не разсудит иначе", он, Зяблин, не в праве видеть в его жене "другое что, как именно хозяйку". Он притом же "un gentilhomme", а она — дама, следовательно...

— Я на тот предмет только говорю, поспешил он заявить, — что будет-ли вам там покойно... Вы нас не предварили, и ваш appartement, как я полагаю, находится в совершенно неприбранном виде, заперт наглухо, как изволите видеть, — и он указал старчески дрожавшею уже рукой на длинный ряд окон нижняго этажа по левой стороне крыльца, наглухо действительно закрытых внутренними ставнями, — с вашего отъезда за границу в таком виде... не открывали. Проветрить, полагаю, прежде всего надо...

— Так распорядитесь, я устала!

Зяблина видимо покоробило от этого тона. Он приосанился, взглянул на нее как бы с удивлением и, обращаясь к малому в белой рубахе, стоявшему все так же с недоумелым видом на крыльце в нескольких шагах от них:

— Сбегай скорее, любезный, проговорил он с достоинством, — за Никандром Панкратьевичем, скажи, что супруга Прова Ефремовича изволила приехать и желает...

Но в то же время, выходя из сеней, появился сам Никандр, высокий и здоровый, со свежим и серьезным лицом, человек лет сорока с чем-то, в такой же русской рубахе на выпуск, и высоких сапогах, подпоясанный утыканным медными головками ремнем, к которому, соответственно занимаемой им в доме должности, подвешена была целая связка ключей.

— Супруга Прова Ефремовича, повторил отчеканивая Зяблин, — желают занять свои комнаты.

Ключник с величавою почтительностью повел головой вниз и проговорил спокойно:

— Пожалуйте, сударыня!..

— Dites moi, je vous prie qu'estce que tous ces половые que je trouve ici? спросила досадливо Антонина Дмитриевна, взглянув на старца, приятеля ея супруга.

"Бригант" опустил глаза в землю и чуть-чуть шевельнул плечами: "половые" самому ему претили давно; "эти волоса в скобку, смазныя голенища, косые вороты в этом старом княжьем

гнезде,- профанация"!.. говорил он себе мысленно не раз.

— Пожалуйте! повторил ключник, отворяя во всю ширину стеклянную дверь в сени.

Варя (читатель, надеемся, узнал в горничной г-жи Сусальцевой немую девочку, с которою он имел случай встретиться в начале нашего разсказа) притронулась слегка пальцами к руке своей госпожи, глядя ей в глаза и беззвучно шевеля губами.

Антонина Дмитриевна поняла.

— С нами один чемодан, сказала она ключнику;- велите его внести ко мне, а за сундуками пошлите сейчас подводу на станцию, чтоб они непременно были здесь к вечеру.

Варя, быстро прижав два пальца левой руки, подняла вверх три остальные вместе с пятью пальцами правой.

— Восемь мест всего, объяснила барыня, между тем как немая проворно вытаскивала из кармана портмоне, а из него багажный билет и передавала его Никандру.

— Слушаю, пошлем-с, промолвил тот с тем же невозмутимым спокойствием:- пожалуйте!

Полный аппартамент в нижнем этаже, состоявший из пяти комнат, — большой гостиной, кабинета, будуара, спальни, туалетной с мраморною ванной и комнаты для горничной, — уготованный Провом Ефремовичем для молодой супруги и в котором пробыла она лишь несколько дней пред венчанием и отъездом своим за границу, оставался наглухо запертым с самой минуты этого отъезда. Раза два лишь в год рачительный ключник входил в него с одним из молодцов, состоявших слугами в доме, и приказывал выколотить мебель и смести пыль с пола, чехлов и холста, прикрывавшего обитыя шелком и дорогим французским кретоном стены гостиной и будуара, — выбирая всегда для этого время, когда "хозяин" уезжал из Сицкаго. Сам Проф Ефремович, проходя большими сенями мимо наружных, запертых и укрепленных теперь широким поперечным железным болтом с большим висячим на нем замком дверей, как-то невольно каждый раз отворачивался и морщился…

— Что же это, из моих комнат кладовую сделали? сердито вскрикнула Антонина Дмитриевна, остановившись пред этими незнакомыми ей еще, обитыми крупными головками гвоздей, дверями.

— На всяк случай, сударыня, объяснил своим спокойным тоном Никандр, выбирая ключ из своей связки и поднося его к замку, — потому как у нас во всем нижнем этаже никто не помещается…

Двери с визгом заржавевших петель и лязгом железа о железо отворились настеж.

На приезжих пахнуло как из погреба сырым и затхлым запахом… Антонина Дмитриевна брезгливо откинула голову назад. Ѣдучи сюда, она готовилась "пережить несколько неприятных минут," но этого первого, физического впечатления она не ожидала, — и оно показалось ей как-то особенно тяжелым.

Ключник спешил между тем отворять оконныя ставни.

— Да и окна скорее, вскликнула она, — тут задохнуться можно!…

Теплый воздух и солнечный свет ворвались разом, словно торжествующее войско на вал

неприятельской крепости, в глубокий до этой минуты мрак просторной комнаты.

Хозяйка ея как бы в изнеможении опустилась на стоявшее посреди гостиной pâté, обводя унылым взором кругом.

Стены, мебель, золотыя рамы блестящих зеркал, художественныя очертания булевых шкафиков и столов с флорентийскою мозаикой — все исчезало под однообразным, "мертвящим", казалось ей, покровом желтовато-серого холста и грубой кисеи с консолей и этажерок убраны были знакомыя и любезныя ей груды фарфора и бронзы; пол без ковра резал глаза неприглядностью кое-где разщелившихся досок своих... Чем-то мертвящим, действительно, веяло от этого запустения. "Я его не предварила, конечно," проносилось в голове молодой женщины; "но тогда он, может быть, уехал бы нарочно, чтобы не встретиться со мною, а теперь je suis maîtresse de la place," сказала она себе тут же, и что-то в роде усмешки пробежало на миг по ея озабоченному лицу.

Зяблин, войдя вслед за нею в комнаты, стоял с панамой своею и палкой в руке в нескольких шагах от нея и слегка покачивал головой, как бы угадывая ея ощущения и слагая с себя и с приятеля своего ответственность за них: мы-мол ведь, вы понимаете, не могли святым духом знать, что вам вздумается приехать.

Варя тем временем успела скользнуть в следующия за гостиной комнаты и возвратиться оттуда. Подбежав к барыне, она, с видимым неудовольствием в чертах, быстро зашевелила губами и пальцами.

— У меня в туалетной воды нет в кранах, обратилась с новою досадой Сусальцева к ключнику...

— Накачаем сейчас, коротко отрезал он, проходя далее в будуар открывать ставни и окна.

— Да велите скорей внести мой чемодан, я переодеться хочу... Будьте так добры, обратилась она по-французски к Зяблину, — когда муж мой вернется, велеть мне доложить об этом чрез мою горничную.

— Приказание ваше будет, сударыня, исполнено, ответил "бригант", галантерейно склоняя свою подкрашенную в цвет воронова крыла голозу.

— Да нельзя-ли пока хотя в моем будуаре снять эти противные чахлы; я не привыкла сидеть на этой гадости.

— Сымем-с, отозвался на это из-за дверей будуара Никандр.

Антонина Дмитриевна, в сопровождении Вари, прошла в туалетную. Зяблин вышел на крыльцо, надвинул шляпу на самыя брови и, усевшись в одно из стоявших тут железных кресел, уложил подбородок на сложенныя над набалдашником палки руки и вперил по направлению льва свои примигивавшие от слабости глаза, в тревожном ожидании возвращения своего приятеля. "Лишь бы только баталии какой не произошло", думал он: "человек он хороший, конечно, только все же за это мужичье отвечать нельзя"...

II

Тит Титыч.
Чтоб я перенес такую обиду над собой!... Да что это за времена пришли! Нет, стой!... Настасья, смеет меня кто обидеть?
Настасья Панкратьевна.

Никто, батюшка, Кит Китыч, не смеет вас обидеть. Вы сами всякаго обидите.
Тит Титыч.
Я обижу, я и помилую, а то деньгами заплачу.

Островский. В чужом пиру похмелье.

Прошло часа полтора. Старый "бригант", сладко пригретый весенним солнцем, опустив голову на грудь и выпустив палку из рук, начинал подремывать на своем железном седалище, когда грохот знакомаго ему экипажа по каменной настилке льва вырвал его внезапно из тесно уже начинавших обнимать его объятий сна. Он встрепенулся, усиленно приподнял веки, устремляя зрачки вперед...

Пров Ефремович Сусальцев, огибая клумбу, катил к крыльцу на беговых дрожках, запряженных доброю, сытою пегашкой, лоснившеюся от пота. Хозяин ея, под стать ей, держа вожжи одною рукой, вытирал другою большим фуляром свое влажное, точно после бани, и загорелое до цвета меди лицо.

— Ну, барин, весело заголосил он, завидя Зяблина, — откатал же я крут сегодня, верст двадцать, без передышки, почитай... Бери Пегаша, крикнул он выбежавшему из сеней парню в белой рубахе,- да, гляди, сказать Артешке кучеру, чтобы до проводки вытереть его досуха, а опосля второй раз!..

Парень поспешно взял лошадь под уздцы, между тем как Сусальцев, тяжело перекинув ногу через сиденье дрожек, спускался наземь и расправлял члены с каким-то блаженным чувством здоровой усталости.

— Ну, веди!.. Здорово, барин, не видались еще сегодня, поднявшись по ступенькам, подал он свою широкую руку приятелю: почивали как прошлою ночью?

— Благодарю!.. Я все поджидал вас, торопливо промямлил тот.

— Во!.. Аль что у вас особенное есть? спросил несколько удивленно Пров Ефремович.

— Действительно... Неожиданное даже совершенно, пролепетал опять одолеваемый смущением "бригант".

Сусальцев дернул нервно плечами:

— Да что у нас, неблагополучие какое? Так говорите прямо, чего тут!..

И он машинально повел кругом себя вопросительным взглядом.

Зяблин не успел ответить.

— Это что-жь? проговорил дрогнувшим голосом Сусальцев, указывая рукой на открытыя сплошь окна по левой стороне нижняго этажа.

— Антонина Дмитриевна прибыла, выговорил чуть слышно "бригант".

— Антонина Дмитриевна!..

Сусальцев побледнел как полотно под своим загарром. — Давно?

— Часа два... Приказала сейчас же предварить ее, когда вы вернетесь, таинственно прибавил

Зяблин и с видимым безпокойством глянул в лицо приятелю: — вы уж пожалуйста…

Голос его оборвался.

— Что? будто разсеянно спросил тот.

— Сдержите себя! еле слышно произнес Зяблин.

В глазах Сусальцева мелькнула какая-то жгучая искра.

Он выпрямился. как бы приосанился, откидывая голову и плечи назад, и внезапным движением, словно купальщикь, собирающийся кинуться в студеную воду, зашагал своею быстрою, подрагивавшею походкой к аппартаменту Антонины Дмитриевны.

Он вошел в гостиную. Она была пуста, но из-за двери соседняго будуара донесся до него хорошо ему знакомый с его гортанными звуками голос, — голос жены. Она о чем-то спрашивала у бывшей очевидно с нею там немой девочки, горничной ея, так как ответов на вопросы ея не слышалось и она продолжала говорить одна… Сусальцев остановился посреди комнаты, тяжело переводя дыхание.

Но шум его шагов донесся до будуара.

— Кто это, mon mari? услышал он ея вопрос и смех, — свежий, беззаботный смех…

— Я! постарался он произнести как можно спокойнее.

— Так войдите же, я одета. Он вошел.

Будуар, со снятыми уже со стен его и мебели чахлами и разложенными по столам и диванам кипами белья и туалетов, только-что вынутых из прибывшего с г-жею Сусальцевой чемодана, походил теперь на какой-то не то модный, не то ювелирный магазин. Яркие лучи солнца перебегали струйками по нежным цветам юпок, корсажей и накидок, горели искристыми блестками на бриллиантовой грани брошек и фермуаров, покоившихся на синем бархате своих раскрытых футляров… Антонина Дмитриевна, наклонившись над круглым столом посреди комнаты, разбиралась в целом кладе лежавших на нем кружев.

— Bonjour, Probe! не переменяя положения, проговорила она тем спокойным тоном, с каким здороваются с людьми, с которыми виделись еще вчера.

"Probe" недвижно и безмолвно глядел на нее: язык его не ворочался, в глазах стоял туман…

Она подняла на него смеющиеся глаза:

— Можете к ручке подойти, я дозволяю…

— К ручке!..

Лицо его сделалось вдруг страшно: яблоки глаз словно хотели выскочить из-под век; в углах губ закипела пена…

— Вон отсюда! крикнул он неестественным, визгливым фальцетом, дрожа всем телом.

Антонина Дмитриевна, повидимому, предвидела этот ожидавший ее прием и заранее приготовилась к нему. Она побледнела слегка, но не смутилась, не отвела глаз, поднявшихся

на мужа, и тем же спокойным тоном, с каким сейчас приветствовала его своим "bonjour, Probe":

— Принеси Прову Ефремовичу стакан воды, Варя! сказала она немой девочке, откладывавшей в особый картон на другой стороне стола кружева, отбираемыя барыней.

Варя злыми как у дикой кошки глазами глянула в свою очередь прямо в лицо Сусальцева и с глухим мычанием вышла из комнаты.

— Если бы вы были порядочный человек, твердо выговорила Антонина Дмитриевна, все также не отрываясь взглядом от мужа, — вы бы знали, что одни варвары могут так обращаться с женщиной!..

Сусальцева как-то невольно повела от этих слов; зрачки его усиленно заморгали…

Она стояла пред ним, бледная и свежая, как белая роза, в восхитительном, шитом гладью батистовом matinée на шелковом подбое модного цвета vieil or, с такого же цвета пышными бантами и кружевами valenciennes от горла и до крошечных mules, обувавших ея ноги поверх ажурных bas chinés. Из-под широких рукавов, белея снежным оттенком на золотистом фоне подкладки, выглядывали ея словно выточенныя, безукоризненной формы руки, с блестевшими на длинных породистых пальцах драгоценными кольцами. Как бы небрежно собранные в один огромный узел, роскошные волосы, вившиеся кудрявою франьей надо лбом, словно едва держались на верху головы под воткнутым в них гребнем из écaille blonde в форме графской короны. Тонкий, знакомый Сусальцеву запах вервены веял от нея, от этих ея тканей и белья, разложенных в комнате, и бил ему как вино в голову…

Но чувство обиды все так же нестерпимо ныло еще в нем:

— Для чего вы приехали, что вам от меня нужно? спросил он сквозь судорожно стиснувшиеся зубы.

— Я вернулась домой, к мужу, очень просто, невозмутимо ответила она на это.

— К мужу! нервно захохотал он:- изволили вспомнить, что у вас муж есть, когда, видно, отказала вам в дальнейшем кредите ваша графиня.

Антонина Дмитриевна спокойно улыбнулась:

— Мне ея более не нужно было; я просто взяла у банкира 30,000 франков, — вы на днях трансферт получите.

У Прова Ефремовича искры запрыгали в глазах.

— Да с чего-жь вы взяли, что я платить буду! крикнул он, затопотав ногами.

Варя возвращалась со стаканом воды на подносе.

— Советую вам охладиться, иначе вы заболеете…

И, обращаясь в девочке, между тем как Пров Ефремович машинальным движением схватывал стакан и проглатывал воду одним глотком:

— Уложи целыя опять в картон, Варя, кивнула она на лежавшие на столе кружева, — и запри его в спальне в шифоньерку, а порванныя отложи в особый пакет; надо будет отослать их в

Москву к Минангуа, там хорошо чинят…

— Слушаю! ответила кивком немая, собрала кипу кружев в картон и вышла с ним в соседнюю спальную.

— Приучись запирать за собою двери, крикнула ей шутливо вслед барыня:- одни коронованныя лица и собаки не запирают дверей.

Девочка поспешила исполнить приказание.

Антонина Дмитриевна лениво потянулась, чуть-чуть зевнула, при чем блеснул жемчугом на солнце двойной ряд ея маленьких, ослепительно белых зубов, и опустилась на близ стоявшую кушетку, закинув за голову свои до локтя при этом движении опроставшияся из-под рукавов пышныя, матово-бледныя руки.

Выпитая вода если и не совсем "охладила", так дала несколько остыть бешеному гневу Сусальцева. "Плюнуть ей опять в безстыжие глаза и уйти", проносилось в мозгу его. Но нет, разсудил он, "не теперь, так позже, а дело на чистоту вывести с нею надо будет; она меня теперича думает хладнокровием одолеть, так еще посмотрим, кто кого!"…

Он опустился на низенькое кресло в трех шагах от ея кушетки, заложил ногу за ногу и, охватив коленку обеими руками, закачался на своем сиденьи:

— Так это вы как же-с, "домой", изволите говорить, "к мужу" вернулись. На кой прах, позвольте спросить?

— Красивое выражение! уронила на это с презрительною усмешкой Антонина Дмитриевна.

— Мы мужики-с, по-мужицки и выражаемся, вам это до замужства вашего должно было быть известно, возразил он ей с такою же усмешкой.

Она искоса повела на него взглядом и безсознательно поморщилась: этот тон, поняла она, заключал в себе гораздо более опасности, чем то, чего могла она ожидать от его запальчивости.

— Да, я знаю, что вы охотно надеваете на себя личину "мужика", когда хотите забыть то, что предписывает вам долг порядочного человека.

— Ну-с, мы этого "порядочного человека" отложим покамест в сторону, иронически перебил он ее, — а обратимся к сути. Для чего, спрашиваю опять, опосля того, что вы почитай в продолжении почти что года не удостоили меня ни единой строчки…

— А вы писали мне? перебила она его в свою очередь.

— Мне что же писать было, когда вы, противно моей воле. решились остаться там, — то-есть, значит, прямо начихались над законным мужем вашим?

Антонина Дмитриевна приподнялась на своей кушетке, растянулась затем на ней опять вся, с ногами, уложив голову на тонкую, с длинными оборками наволочку пуховой подушки, и, упершись щекой на руку, обернулась в сторону мужа.

— "Против вашей воли", повторила она: — ведь так прежде с крепостными объяснялись, а теперь где-нибудь на Востоке в гаремах с рабынями разве говорят, — да и туда уж прогресс

доходит. А вы… я по крайней мере так думала… вы все-таки человек современный, вы должны понимать, кажется, что супружеский деспотизм не допускается в наше время, что "воля" мужа еще не все, а требуется еще согласие с другой стороны, подчеркнула она: — вы не можете не знать, что никто в просвещенной Европе иначе не смотрит на брачныя отношения.

Пров Ефремович, продолжая все также покачиваться на своем кресле, охватив коленку руками, выслушал терпеливо до конца это поучительство.

— Европа Европой-с, сказал он в ответ, — а и у нас в России тоже свой смысл имеется, и даже пословица такая есть, может слышали: со своим-мол уставом в чужой монастырь не ходи… А окромя того, сами мы в Европе были, как вам известно, — знаем-с: там жена не в пример даже более в покорстве у мужа состоит, чем у нас. Так вы это напрасно на тамошние порядки ссылаетесь… Я же, сказать к слову, не из каприза какого пустаго просил вас тогда вернуться со мной в отечество: прожито было нами, сами знаете, не в меру много; в тому же без хозяйского присмотра делов нельзя было оставлять; долее…

— Тратили там вы, а не я "не в меру", воскликнула она:- без вас я в восемь месяцев времени прожила тысяч шестьдесят франков, — ужь, кажется, нельзя скромнее!

— Это мы опять-таки в сторону отложим, сударыня, — он нервно передернул плечами, — да и вообще пространно нам с вами разговаривать пользы не имеется. Взял я вас за себя, почитая, что будете вы соблюдать свои супружеские обязанности, как следует венчанной жене, по закону христианскому, а как если вы полагаете, что состоите со мною в роде этого нынешняго "фиктивного брака", так, может, вы по этому предмету очень ошибаетесь, ибо я на оное решительно не согласен.

— Какой "фиктивный брак", что вы за вздор говорите!…

Он встал в рост, глядя на нее сверху вниз усиленно помаргивавшими глазами:

— Как бы ни сказал-с, все одно, — вы понимать должны.

— Что понимать, вскликнула она:- какия ваши намерения?

Он не нашел ответа в первую минуту. "Намерения"?

Он сам себе определить не мог: были-ли какия такия у него? Он до этого ея вопроса чувствовал только "обиду" свою "во всех суставчиках", чувствовал, что жена своим поступком всю душу "вымотала из него"; он после первоначальных мук и тоски, снедавших его по возвращении из-за границы, тщился всеми силами отогнать от себя самую мысль о ней, понуждал себя видеть в ней "отрезанный ломоть, не стоящий того, чтоб о нем думать". И он действительно, говоря его языком, "только начинал теперь отходить маленько", позабывать ее "на вольной волюшке деревенского житья, в мирном житии с приятелем-барином, безо всяких забот окромя хозяйственных"… И вдруг она опять тут вернулась, все такая же, "дерзкая и красивая", и "куражится" над ним "в этих своих кружевах, шелку и батисте" и, "будто правая, допрашивает его о его намерениях"…

— Вам направо, мне налево — и вся не долга! отрезал он как-то вдруг, скороговоркой, как бы спеша скинуть скорее с плеч непосильное бремя.

Она приподнялась на локте, не то изумленно, не то скорбно воззрившись в него своими широко открывшимися аквамариновыми глазами:

— Вы не шутя "гоните меня прочь от себя, Probe?...

И слезы послышались ему в трепетных звуках этих слов.

"А хороша-то как, негодница"! пробежало у него тут же дрожью по спине.

Но он весь тотчас же словно ощетинился против этого "соблазна", сурово сдвинул брови:

— Если законному мужу покориться не хотели, так и приезжать вам незачем было.

Она закрыла глаза рукой, опустив голову к коленям... Плечи ея вздрагивали словно от рыданья...

Сусальцев этого не ожидал никак. Новое "надсмеяние", колкости, угрозы, "как тогда, в Венеции", — все это не удивило бы его. Но этот безмолвный плач...

— О чем это вы? спросил он с невольною мягкостью.

Она не отвечала, не подымала головы...

На душе у него заскребла жалость... Он подошел ближе к самой ея кушетке:

— Перестаньте, нечего... Сами должны понимать...

— Я понимаю. что вы жестоко, незаслуженно поступаете со мной, промолвила она, не отнимая руки от глаз. И вдруг, чрез миг, — разом привстала, уронила эти руки, подняла на него слегка покрасневшие веки:- И не умно при этом, добавила она совершенно для него неожиданно.

Он оторопело устремил на нее вопрошающий взгляд.

— Да, не умно, не разсчетливо, повторила она:- вы лишаетесь во мне, я уже не говорю жены, ничем в сущности серьезно не виноватой пред вами, но помощницы, хорошаго друга, который мог бы быть вам настоящим образом полезен.

— В чем это-с? все так же изумленно спросил Сусальцев.

Антонина Дмитриевна усмехнулась. Следы слез успели как-то уже совершенно исчезнуть с ея свежаго, оживленного лица.

— Вы имеете время меня выслушать?

— Сделайте милость, проговорил он машинально в ответ.

— Так садитесь тут и слушайте.

И она указала ему на кресло подле самой кушетки, на которой сидела она теперь, несколько наклонившись вперед, с опирающимися на колени руками. Она опустила глаза и начала, раздумчиво перебирая кольца на выточенных пальцах своих:

— Выходя за вас замуж, я, поверьте, прельстилась не вашим состоянием... За бедного человека я не вышла бы, конечно, добавила она тут же с новою усмешкой, — бедный человек в моих понятиях безсильный человек, а я всегда выше всего на свете, я вам это говорила еще до замужства, ставила и ставлю в человеке силу.

— "Сила силу ищет", действительно слышал я тогда от вас, вспомнил Пров Ефремович, кивнув головой.

— Я надеялась, я верила, что в вас именно заключается это качество, которое я так ценю в людях и которого так недостает у нас, куда ни взглянешь, Я была старого дворянского рода девушка, — то, что вы называли "кисейная барышня", воспитанная, вы знаете, каким отцом, аристократом... и пьяницею, промолвила она брезгливо и поспешно, как бы предупреждая то. что сам он мог бы заметить на ея слова;- вы человек не знатный, купец просто, я говорю это вам не в укор. напротив: меня это именно влекло в вас, что вы человек, не связанный ничем с прошедшим, свежий, "почвенный", как говорят теперь, человек, — что до чего бы вы ни дошли, вы всегда будете сын ваших дел, enfant de vos oeuvres, как говорят Французы. Дворянство наше отжило свой век, от него нечего более ждать; будущее, разсуждала я. принадлежит именно людям, как вы, сильным по характеру и независимым по средствам.

"Куда это она ведет"? недоумевал Сусальцев, слушая ее и в то же время с каким-то невольно сладостным ощущением вдыхая веявшее от нея тонкое благоухание.

— Вы человек умный, безспорно, говорила она между тем, все с тем же выражением в наклоненном к кольцам пальцев своих лице,- но погруженный до сих пор весь в личныя ваши дела, вы не имели времени, или просто пренебрегали, обращать внимание на общия, на то, куда течение времени и обстоятельств ведет теперь все наше государство.

— Наше дело коммерческое, возразил он полушутливо на это, — а куда итти государству, на это есть у нас Царь с архистратигами своими!

— А если оказывается, что задача превыше способностей их и средств, если прежний порядок стал ни на что более не годен, и сами эти, как вы выражаетесь, "архистратиги" сознают это вполне,- что вы на это скажете?

— А скажу-с все таки, что дело наше сторона; какой бы там порядок ни был, у нас про то советов спрашивать не будут.

— Кто же вам это сказал? А если, напротив, в более или менее близком будущем, как имею я полное основание думать, должны будут прибегнуть к созыву лучших по опытности своей и практическому знанию людей, которым предоставлено будет обсудить настоящее положение дел в России и спасти ее от окончательной гибели, почему — или никогда в самом деле вы об этом не думали? — не могли бы вы быть в числе этих призванных?

— Я-с! мог только вскрикнуть озадаченно Сусальцев.

— Вы, мой муж, протянула она, озаряя его всего лучистым взглядом, — тот, для кого я была всегда так честолюбива и кто так не благодарен мне теперь за это!...

Голос ея задрожал, как бы не одолевая охватившего ее волнения.

"Probe" был совершенно сбит с толку. С чему "выкладывала" она все это, "на какой конец" и "что правды" могло быть действительно в том, что говорила она? Да и давно-ли стала она так "честолюбива для него?" В первый еще раз со дня первой их встречи, когда он приехал к покойному ея отцу по делу закладной на Юрьево, говорила она ему этим языком и об "этих предметах". Давно-ли сама стала разсуждать "о другом чем, как о тряпках и о связях с высокопоставленными особами... Не даром видно", говорил себе Пров Ефремович, стараясь внутренно иронизировать, "воспользовалась барыня милостивыми разговорами князя Іоанна и ему подобных великих господ мира сего"... Но вместе с тем эти нежданныя откровения ея

задевали за какую-то живую струну его существа, дразнили в нем что-то еще неясное для него самого, но несомненно копошившееся уже в его душевной глуби.

— Как же это, позвольте спросить вас, я по вашему мнению мог бы быть "призван" к этому самому делу, о котором вы говорите, в силу каких прав моих?

— Чрез земство; вы ведь, кажется, член его здесь?

— Состою гласным, действительно.

— Вам надо быть председателем.

— Чего это: земского собрания то-есть? Так, по закону, председает в нем наш предводитель дворянства, старец наш почтеннейший, Павел Григорьевич Юшков.

— Ведь есть управа; так, кажется, называется?

— Это само по себе.

— Ну так вот там, разве вам нельзя быть председателем?

— Коли выберут, — конечно, да и как если будет на то мое согласие; только я никогда на это согласиться не намерен был.

— Это почему?

— А очень просто, что в жалованьи земском я не нуждаюсь, а временем своим дорожу-с; так из чего мне его тратить на делопроизводство пустое?

— Если бы такое положение должно было заключать в себе конечную для вас цель, вы были бы правы; но я вам не даром указываю на него: оно может служить для вас ступенью для того, что я мечтаю для вас…

Антонина Дмитриевна понизила голос и еще ближе наклонилась к сидевшему против нея мужу:

— Я виделась в Риме с людьми, которые очень скоро должны будут играть у нас первостепенную роль… Вы об Алексее Сергеевиче Колонтае слышали, например? спросила она как бы в скобках.

— Как не слыхать-с! Человек влиятельный и, можно даже сказать, между правителями нашими по уму выдающийся!

— Ну так вот вы будете иметь случай познакомиться с ним лично. Он еще зимой вернулся в Петербург и думает после окончания сессии в Государственном Совете ехать в свое Орловское имение. Он обещал мне заехать по пути в Сицкое и провести у нас несколько дней, примолвила Сусальцева, как бы вовсе позабыв или просто пренебрегая вспомнить, что за несколько еще минут пред этим шел у нея с мужем вопрос о том, чтобы самой ей отправляться из Сицкаго, куда глаза глядят.

Пров Ефремович со своей стороны словно вовсе позабыл о том, что сейчас "вышло" у него с женой. Слова ея видимо заинтересовывали его все более и более.

— Так что же этот самый Колонтай, Алексей Сергеич, говорил вам-с? спросил он.

— Все это само собою пока еще секрет, да и окончательно не оформлено и заключается собственно в одних предположениях. Но на то и дан нам ум, чтобы в том, что еще представляется гадательным, распознать признаки имеющаго за собою действительное raison d'être, того, то-есть, что по естественному духу вещей должно осуществиться в более или менее близком будущем.

— Самый этот "созыв", то-есть, как вы говорили? переспросил Сусальцев.

— Да. Правительство, прижатое к стене нигилистическим движением, с одной стороны, с другой — всякими злоупотреблениями, неспособностью и ненадежностью собственных своих агентов, принуждено будет обратиться за помощью и советом к самой стране... Конституции прямо оно не решится дать: слишком сильно связано оно еще традиционными привычками своего самодержавства, вымолвила с многозначительным видом Антонина Дмитриевна, повторяя очевидно наизусть разсуждения, слышанныя ею от "людей, с которыми она виделась в Риме", — оно на первый раз прибегнет к полумере, в роде усиления Государственного Совета выборными людьми, находящимися у него под руками: соберет, например, предводителей дворянства и председателей управ.

— Губернских одних, или и уездных тоже?

— И тех, и других, вероятно... Это впрочем — подробность, поспешила сказать Сусальцева:- главное, чтоб у вас к этой поре была уже нога в стремени.

— То-есть, чтоб я попал в председатели нашей уездной управы?

— Именно.

Пров Ефремович уронил в раздумьи голову на грудь.

— Это, пожалуй, устроить и можно как-нибудь, промолвил он чрез несколько времени. — Место самое это теперь у нас вакантно; бывший председатель — Бароцкий был некто — из моряков, старик хороший, запутался только как-то через сына, растрата у него в кассе оказалась. Деньги-то внес за него, говорят, Борис Васильевич Троекуров, потому по назначенной после смерти его ревизии суммы все оказались налицо. Одначе все же он застрелился с этого самаго сраму, а опосля того на четырнадцатое число прошлаго месяца назначено было экстренное собрание для выборов на его место. Только тут случилось, что у Павла Григорьевича Юшкова старичек брат очень больной сделался и так он этим теперь озабочен, что должностью своею и по нонешний день даже заниматься не может. Так, по общему к нему уважению, решено у нас было с этим делом выборов отложить до сентября, как при том время теперь летнее, собираться гласным, особливо из крестьян, тяжело очень. И даже скажу вам-с, мне даже и говорено было, чтоб я баллотировался, только я оставил тогда втуне, потому не разсчет...

— Огромный "разсчет", вскрикнула Антонина Дмитриевна, — в виду того, что я вам говорила сейчас... и о чем вы, надеюсь, никому, никому не промолвите ни слова: ведь это величайшая еще тайна!

— Для чего говорить, сами понимаем!

Сусальцева примолкла на миг в свою очередь.

— Что у вас тут, все так же, как и прежде, влиятелен Троекуров? спросила она затем.

— Известно, по званию своему и богатству, а и более того-с, надо сказать, по большому разуму своему, человек большой вес имеет.

— Он, пожалуй, усмехнулась она недоброю усмешкой, — сам бы пошел вам в конкурренты, если бы знал то, о чем я вам передала?

Проф Ефремович пожал плечами:

— Борис Васильевич? Как еслиб он захотел, данным-давнешенько был бы у нас губернским предводителем. Только политику он такую держит, что никаких должностей ни по дворянской, ни по земской службе принимать не желает. Гласным уездным и губернским единственно дозволил себя выбрать.

— И всеми при этом вертит? злобно договорила за него жена.

— Что же, дурного совета никому не даст господин этот.

— А с вами как он? спросила она, сожмуривая брови.

— Во взаимном уважении состоим с его превосходительством, чуть-чуть усмехнулся Сусальцев.

— Интриговать не будет, чтобы вас не выбрали?

— С чего-жь это ему!.. Может, конечно, ему и приятнее было бы видеть своего брата-дворянина на этой самой должности, а только я вполне надеюсь, что он против меня ничего иметь не будет, потому прямо могу сказать, ничего дурнаго, окромя хорошаго, ему про меня не известно.

— Ну, так скорее принимайтесь за хлопоты, чтобы вам к сентябрю подготовить себе большинство на выборах, вскрикнула молодая женщина:- ведь это вы можете сделать?

— В моей власти, надеюсь, ответил он протяжно, — а только, знаете, стоит-ли это самое дело труда, потому навяжешь себе обузу на плечи, от своего дела оторвешься, а там, может, пшик один выйдет?

— Ах, Боже мой, заметалась даже с несвойственною ей суетливостью движений Антонина Дмитриевна, — неужели думаете вы, что я вам все это с ветру говорю? Так вот, когда приедет Алексей Сергеевич, вы из его уст можете услышать… И не от одного его: к этому времени будет сюда ваш новый губернатор; он Алексею Сергеевичу племянник…

— Фамилия ему Савинов будет?

— Да, Аполлон Савельевич Савинов, очень милый человек… Он мне сказал, что поедет ревизовать уезды и распорядится так, чтобы к концу иметь возможность заехать к нам.

— Слышали про него, какже-с, в соседней губернии вице-губернатором был, промолвил Сусальцев, как бы насмешливо проведя губами.

Антонина Дмитриевна заметила это:

— Что же такое слышали вы?

— Да так, говорят, свистун великий, карьерист петербургский… А, впрочем, может и врут, равнодушно добавил он.

— Он на старого чиновника не похож, это правда, несколько резко возразила ему жена: — я с ним ехала из Вены: он совсем Европеец, а теперь такие нужны России люди.

— На этот счет, пожалуй, можно и другое сказать, как бы недоверчиво промолвил Пров Ефремович и тут же замолк, не почитая почему-то нужным распространяться далее об этом предмете.

Антонина Дмитриевна повела еще раз на мужа ласковым до нежности взглядом:

— Я могу ошибаться, проговорила она чуть не робко, — но во всем этом для меня главное была мысль о вас, Probe, о том, чтоб устроить вам положение, соответствующее тем способностям, которыя даны вам от природы. Вы имели возможность до сих пор прикладывать их лишь в тесной сфере личных интересов… Вам представляется теперь случай послужить благу всего отечества… а мне гордиться вами, Probe…

Бедный "Probe" чуял чутьем, что это были "слова одни", что ни до какого блага отечества, ни до его, Прова, службы оному ей в сущности дела нет, что во всем этом преследовала она свои особенныя, чуждыя ему цели, — но чувствовал в то же время, что он безсилен пред этими приятно щекотавшими его самолюбие словами ея, что он "прямо идет на ея удочку, пасует пред ея женскою ловкостью"… Гнев его, "законный гнев", смолкал в его душе, или, вернее, рокотал уже глухими, с минуты на минуту все слабевшими перекатами, как удаляющаяся гроза. Другия ощущения насильственно и победно врывались мало-по-малу в существо его. С тонким запахом вервены, веявшим от "этой красавицы-жены его", вносилось в него и впечатление ея женской прелести, пронизал его насквозь забирающий пламень не отрывавшихся от него бледно-голубых ея глаз. Легкая дрожь пробегала по его членам, пальцы рук, уложенных на колени, судорожно подергивались, словно барабаня какую-то боевую тревогу.

— Как бы вы обо мне ни судили, Probe, но лучшаго друга себе, поверьте, вы все же не найдете, говорила она тихим, дрожащим, умиленным голосом, протягивая руку и притрогиваясь оконечностями пальцев к его руке.

У него замутилось в глазах; он схватил эти пальцы, сжимая их в своих до боли.

— Верно это вы говорите, верно? едва был он в силах выговорить.

— А вы, не отвечая на вопрос, залепетала она нежно-укорительным тоном, — как приняли вы меня, неблагодарный! Вы надеялись, вы желали, чтоб я никогда не вернулась, чтобы кончено все было между нами!

— Для чего вы это теперь говорите! вырвалось уже у него неудержимо:- может, я кажный день ждал тебя сюда, кажный час ждал… и ждать перестал, и мучился этим безмерно!..

— Да-а? протянула она, тем же дрожащим голосом, — я, значит, хорошо сделала, что вернулась?

Он уже не владел собою, он с места, с глухим стоном, стоном счастия, скользнул к ея ногам, погружая голову в пахучия складки ея батистовой юпки.

Она тихим движением руки приподняла за подбородок его большую, остриженную голову, глянула, наклонившись к ней, прямо глазами ему в глаза, покачала медленно головой с какою-то снисходительною улыбкой и поднесла розовую ладонь свою под его пылавшие губы. Он так и впился в нее ими…

— Ну, а теперь довольно, сказала она чрез мгновение, — садитесь!

Он повиновался, вздыхая и весь еще вздрагивая от волнения.

Она продолжала улыбаться:

— И признайтесь, что это вы сейчас выдумали из любезности, а в действительности нисколько не ждали меня, не думали даже обо мне.

— Тоня, и не совестно тебе? вскликнул он с невыразимым внутренним услаждением произнося это "Тоня" и это "тебе", и говоря себе, что он теперь "во все старыя права свои вступил опять".

— Нет, потому, что иначе бы позаботились бы вероятно, чтоб я могла въехать сюда в приготовленныя для житья в них комнаты, а не в какой-то подвал, и чтобы были у меня, как я привыкла, приличные слуги, а не половые какие-то из московского трактира...

Пров Ефремович ужасно сконфузился и почувствовал себя уколотым в то же время.

— Что же, Тоня, как мы тут одни с Евгением Владимировичем жили, приемов я никаких не делал... А люди известные мне, верные...

"Притом с родни", мог бы он даже прибавить, так как неречистый ключник Никандр, чествовавший его "вашею милостью" и собственноручно только-что занимавшийся сниманием чахлов в аппартаменте Антонины Дмитриевны, приходился ему троюродным братом по отцу.

Красивая барыня слегка поморщилась.

— Ваши "верные лиоди" могут при вас оставаться; только мне уж вы пожалуйста дайте настоящих и чтоб я этих рубашек и подстриженных голов более не видала: вы понимаете, что с такою прислугой никого порядочного принимать у себя нельзя.

— Хорошо, Тоня, выговорил покорно Сусальцев, — я выпишу людей из Москвы.

Она одобрительно кивнула:

— Я вам дам списочек, каких и сколько их мне именно нужно... Да, вспомнила она тут же, — я хотела вам сказать (она говорила теперь короткою, владычною речью, тоном хозяйки, вошедшей опять в обладание всеми своими правами): я полагаю поместить губернатора и дядю его на той половине, которая называется у вас почему-то "князь-Ларионовыми комнатами", так вы пожалуйста распорядитесь, чтоб оне к этому времени были прибраны, как следует, и чтобы занавеси навесили... Такая гадость эти голыя окна! брезгливо заключила она, щурясь и отворачиваясь от света, вливавшегося действительно ослепительною волною в будуар сквозь окна, кретоновыя занавеси к которым, только что вынутыя из хранившего их сундука, усиленно разглаживались теперь в соседней комнате, по приказанию ключника Никандра, двумя дебелыми прачками в ситцевых сарафанах.

Прова Ефремовича видимо коробило опять от этих речей. Он чувствовал, что ему не следовало дозволять ей принять опять этот повелительный тон, следовало протестовать, не допускать сводить себя с положения полновластного хозяина на степень "какого-то подневольного жене прикащика"... Но он менее всего в эту минуту способен был сосредоточиться на мысли об оскорблении его хозяйского достоинства. Она так неотразимо красиво возлежала теперь пред ним в этих кружевах своих и батисте, так чудно томен, казалось ему, был взгляд обращавшихся на него глаз ея, так свежо и сочно алели ея влажныя губы...

Он потянулся к ней с повернутою вверх ладонью:

— Ручку можно? проговорил он с замирающим голосом.

Она чуть-чуть усмехнулась опять и лениво опустила на нее руку.

Он сжал ее почти до боли, приникая к ней всем лицом своим.

— Тоня… ты моя? уже едва слышно прошептал он опять.

— Ах, оставьте!…

Она быстро высвободила свои пальцы из его железной длани.

— Успеете, бы одумавшись и смягчаясь вдруг, примолвила она тихо:- я устала, спать хочу…

"Успеете" звенело райским звуком в ушах влюбленного мужа.

— Краля ты моя, прелесть неописанная, спи, голубка, спи, залепетал он глухою интонацией старой няни, убаюкивающей ребенка:- сама проснешься, или велишь разбудить когда?

— Да, к обеду… В котором часу у вас здесь обед?

— Когда прикажешь. В пять что-ли?

— Пожалуй… Хорош у вас повар? спросила она, не раскрывая глаз.

— У нас тут без тебя кухарка готовила… Искусная впрочем на русские блюда, поспешил он прибавить в извинение.

— Фи, гадость, я так отвыкла от грубой кухни… Вы уж непременно, сегодня же, подчеркнула она сквозь одолевавший ее повидимому сон, — выпишите из Москвы повара… хорошаго!..

— Сегодня же исполню, Тонечка, успокоительно промолвил Прор Ефремович, осторожно подымаясь с места и окидывая в последний раз жадным взглядом соблазнительный облик жены.

Она чуть-чуть кивнула ему подбородком:

— До свидания, Probe, я сплю…

Он вышел на цыпочках из комнаты. Кровь била ему в виски, глаза застилал радужный, блаженный туман… Он спешил на воздух.

На площадке подъезда, на том же железном стуле, держа палку между ног, со сложенными на набалдашник ея руками, сидел все так же под широкополою панамой своею Зяблин, видимо ожидая его и с заметным безпокойством в напряженном выражении лица.

— Ну что, благополучно? поспешил он спросить, завидев выходившего из сеней приятеля.

— А вы что же думали, катавасия какая-либо произойдет, засмеялся в ответ на это Сусальцев.

— Нет, а все же, зная ваш… пылкий характер…

— Мужик, прямо говорите, думали, кулаки сейчас в ход пустит. Угадал, барин, а?

— Вы ошибаетесь, Пров Ефремович, ответил как бы уже несколько обиженно "бригант":- я такого мнения про вас никогда не имел и не желал иметь…

— Напрасно, барин, напрасно, потому как случится; в иную минуту я за себя не отвечу… Ну, а тут не то вышло, совсем не…

Он оборвал на полуслове и, как-то вдруг болезненно сморщив свое широкое загорелое лицо, устремил безцельно глаза в пространство… То, с чем он вышел из будуара жены, словно развеивал теперь свежий ветерок, несшийся ему в лицо из-под надвигавшейся по небу с севера дождевой тучи. Он жадно втягивал его себе в легкия, словно после пьяной ночной пирушки выходя из спертой атмосферы трактира. И чем бодрее физически начинал он себя чувствовать, тем тяжелее становилось у него на душе.

— Плоть-человек, духом немощен, — вот что, барин! выговорил он неожиданно, обернувшись к Зяблину.

Тот вскинул на него недоумело свои старческие глаза.

— Что такое?

Но приятель его не ответил. Он махнул рукой и направился быстрыми шагами под одну из висячих галлерей по пути к конюшням.

III

O, zarte Sehnsucht, susses Hoffen,
Der ersten Liebe goldne Zeit…

Schiller. Bas Lied von der Glocke.

Мирно по-прежнему текла жизнь во Всесвятском. Но в прежнему прибавилось теперь еще нечто новое, какая-то струя молодаго, животрепещущаго счастья. Нужно-ли докладывать догадливому читателю, из какого источника изливалась и текла она? Нужно-ли говорить ему притом, что не била она искрометными брызгами, не шумела грохотливым потоком, а неслась светлым, еле еще заметным для посторонних глаз, но "отражавшим уже небо" ручьем, как говорили в старину поэты? Маша Троекурова и Гршпа Юшков переживали еще ту первоначальную пору, ту зарю любви, когда чувство, как листья на деревьях весной, только завязывает свои нежныя почки и, словно не веря еще себе самому, ждет, когда "с востока яркаго все шире налетающие дни", по выражению Фета, принесут ему достаточно тепла и силы для полного роста и цветения. Дружеская, почти братская приязнь девушки к Грише еще как бы робко, как бы колеблясь, отдавалась наплыву иного чего-то, более проницающаго и захватывавшего ее, внезапное ощущение чего иной раз нежданно покрывало все лицо ея румянцем. Отношения ея к нему зачастую отзывались прежним, привычным ей ребяческим задором, дразнением, полунасмешливым, полунаставительным тоном, несколько комическим тоном какого-то превосходства, который она издавна приняла в обращении с ним. Он, со своей стороны, старался держаться с нею своей прежней манеры, чуть-чуть высокомерной снисходительности к "балованному ребенку", как называл он ее, "выходки" котораго, как бы иногда и ни были оне колки для его самолюбия, "не могли, само собою, быть принимаемы им в серьез"… Но оба они чувствовали особым, внутренним чутьем, что все это, этот тон, эти насмешки, были не что иное, как какая-то игра, какая-то комедия, которую они "ломали", Бог весть для чего, друг пред другом, и что "не то, не то совсем" говорит у них иной раз язык и смех, "глупый смех", вырывавшийся у них из уст, между тем как глаза его с невольным, всего его озарявшим восхищением останавливались на ней, а она досадливо чувствовала, что рдеет

вся, как маков цвет, под этим его прикованным к ней взглядом.... Их встречи и разговоры притом были не долги и всегда как-то спешны, хотя уже шла вторая неделя, как жили они под одним кровом. Все трое Юшковы, оба старика и Гриша, по приглашению Троекуровых, переехали к ним на жительство из своих Углов, после того, как Николай Иванович Фирсов, испугавшись сильного припадка грудной жабы у почти восьмидесятилетняго теперь Василия Григорьевича, объявил им, что дни почтенного старца изочтены, и что их продлить на некоторое еще время можно лишь при самом тщательном и безпрерывном уходе за ним и постоянном наблюдении врача, а что между тем сам он, Фирсов, связан своею больницей во Всесвятском и может бывать в Углах лишь наездом, а следовательно отсутствовать в ту самую минуту, когда больному понадобиться может более всего его присутствие. Следовало поэтому или выписать особаго "практиканта" из Москвы, или перевезти страждущаго во Всесвятское, "где и он, медик, да и, что лучше его, все женские мозги и руки дома будут к услугам страдальца", объяснял ни в какия тяжелыя минуты не перестававший буфонить доктор... Никакого "практиканта", разумеется, не выписали, а больного с величайшими предосторожностями перевезли во Всесвятское, где он с братом и племянником помещен был со всевозможным удобством в одном из выходивших в сад павильйонов, значившихся "для гостей", где жила когда-то княжна Кира Кубенская. Там действительно нежныя женские руки мягким прикосновением своим заставляли его почти забывать свои страдания, — чуткие женские "мозги" угадывали заранее, предупреждая их, его болезненныя прихоти... Троекуровы мать и дочь дежурили у него весь день, сменяясь чрез каждые два часа. Анфиса Дмитриевна являлась вечером и ночевала у него в комнате на большом диване за его кроватью, невидимая им, но готовая каждую минуту, прерывая свою полудремоту, подбежать к нему, перевернуть его своими сильными руками на другой бок, растереть затекшую руку, приподнять безсильно съехавшую с подушки голову... Старец, впрочем, не испытывал мучительных страданий: он тихо угасал, тяжелее дыша каждый день, начиная "не чувствовать уже более ни рук, ни ног". Но духом он был все также светел; покрывавшиеся мутною пеленой, большие голубые глаза теплились все еще не угасшим пламенем. "Я счастлив", говорил он, когда одышка давала ему быстротечный отдых, — "я не надеялся так умирать; сладко, когда точно ангельские крылья веют над тобой", улыбался он, со стоявшими на волосках ресниц блестящими слезками, наклонявшимся над ним этим женским, старавшимся в свою очередь успокоительно улыбаться ему, лицам. К полдню ему почти всегда становилось легче. Все обитатели дома собирались в те часы кругом его кровати. Он любил видеть их тут "всех", слушать "живой разговор", стараясь вызвать на какое-нибудь "разсуждение" брата своего и Бориса Васильевича, а самому безмолвно внимать, не отрываясь в то же время взглядом от Маши, от "этой другой, явившейся ему райским видением на разстоянии четверти века", как выражался он ей, когда она была еще пятнадцатилетняя девочка, своим романтическим языком времен Светланы... Но теперь эти тускневшие глаза его с каким-то особым, как бы тревожным вниманием перебегали от нея к сидевшему тут же, часто рядом с нею, племяннику, словно допытываясь, словно вопрошая и говоря ему: "Принял-ли ты во внутрь всю ея душевную прелесть, будешь-ли ты век, всю жизнь, разуметь и ценить даруемое тебе от неба сокровище?"...

Изо всех присутствовавших словно один только понимал и в свою очередь "принимал себе во внутрь" значение этих немых вопросов отходившего к вечности старика. Этот один был Борис Васильевич Троекуров, и один он глубоко задумывался и поникал челом от охватывавшей его затем душевной заботы, между тем как и Александра Павловна, и старый моряк, обнимая тем же сочувственным взглядом больного и молодых людей, обменивались мгновенным взглядом и тихо улыбались угадываемой каждым у другаго мысли.

Разумели-ли, в свою очередь, молодые люди сокровенный смысл этих допрашивавших их старческих взглядов, мы не знаем, но в ответной на них улыбке Маши не сказывалось, во всяком случае, смущения. "Не бойтесь за меня, я съумею постоять за свое счастье", гораздо

скорее говорили, казалось, ея прямо смотревшие глаза и твердо очерченныя линии алых губ и круглаго, широкаго подбородка…

Так сидели они все однажды кругом больнаго, когда вошедшая с урочной чашкой молока, которым единственно питался теперь он, Анфиса Дмитриевна Фирсова передала в полголоса бывшей своей "барыне", что приехала "одна особа" и желает видеть ее, Александру Павловну, или Бориса Васильевича, не более как на четверть часа, так как знает, что им теперь не до посторонних и сидят они постоянно, как сказывали ей люди, у больнаго.

— Кто такой? спросила несколько изумленно Александра Павловна: она как-то давно не имела случая принимать визиты.

— Оне теперь другую фамилию носят, Лариной называются, а только-что оне уж были прежде у вас; из Юрьева барышня, Настасья Дмитриевна…

— Борис, слышишь, Anastasie Bouinossof… L'artiste, сочла нужным объяснить Александра Павловна, поспешно вставая.

— А!.. Очень рад… Из Москвы она? спросил он машинально Фирсову.

— От сестры, должно быть, от Сусальцевой, ответила та, ухмыльнувшись;- вернулась ведь та недавно из-за границы к мужу.

Троекуров улыбнулся в свою очередь:

— Это ужь, должно быть, молитвам вашим он обязан: вы ведь у нея с Николаем Ивановичем посажеными были.

Фирсова закачала головой и рукой махнула.

— Однако я пойду к ней… Она и тебя желает видеть, Борис, сказала Александра Павловна, — извините, Василий Григорьевич, милый!

— Ах вы, мои дорогие, да разве вы из-за меня стеснять себя будете? проговорил он сквозь одышку, глядя на нее с безконечным умилением и благодарностью…

— Как я рада, как я рада видеть вас, милая! говорила Александра Павловна, входя в гостиную и издали еще протягивая обе руки быстро шедшей ей навстречу Лариной.

Оне обнялись.

— Наконец-то вздумали вы вернуться в родныя места… Вы из Москвы теперь?

— Да.

— Прямо?

— С железной дороги прямехонько, улыбнулась девушка.

— Вот это прелестно, спасибо, милая, — это значит, вы нас не забыли.

— Никогда, Александра Павловна, никогда не забуду вас и Бориса Васильевича! вскликнула тронутым голосом Настасья Дмитриевна:- вы были для меня утешителями, поддержали мою бодрость в самую тяжелую минуту моей жизни, это не забывается…

— Полноте, милая! поспешила прервать ее Троекурова. — Вы у нас поживете?

— Ах, нет, мне надо к сестре, в Сицкое… И притом, я знаю, вам не до гостей, у вас тяжело больной друг в доме…

— Да, глубоко вздохнула Александра Павловна, — он, бедный, доживает последние дни; ему ведь уж восемьдесят лет скоро, и такая болезнь… Но вы ведь добрая, вы не взыщете, мы перемежаемся у него с Машей, а когда у меня свободные часы, я была бы так рада быть с вами… Видите, какая я эгоистка, примолвила она, пожимая руки молодой гостьи.

— Вы ангел! задушевно ответила та, — и побыть с вами, прямо говорю, было бы для меня счастье, я вот только-что вошла в ваши стены, а уж на меня повеяло чем-то успокоительным и чистым… Все равно, как у Лизаветы Ивановны… Ведь я у нея жила все время в Москве, прибавила она с тихою усмешкой.

— Да, я знаю, она мне писала… Я так рада этому, если бы вы знали! Я скажу вам откровенно, — и Александра Павловна как бы несколько смутилась тем, что желала сказать:- когда вы так решительно объявили мне, что хотите сделаться… артисткой (она словно не смела сказать "актрисой"), мне было ужасно страшно в первое время за вас… Может быть очень глупо с моей стороны, но у меня уж такия старыя понятия; вы меня заинтересовали с перваго того раза, когда приезжали к нам après la mort de monsieur votre père; я все мучилась мыслью, все думала, что такая жизнь для девушки… но когда я узнала потом, — Николай Иванович имел про вас постоянныя известия и вы ему даже писали, — как вы себя умели поставить и что вы в Москве живете у моей доброй Лизаветушки, тогда я совсем успокоилась… Так неужели же вы у нас нисколько не останетесь? прерывая себя, оживленно спросила она опять.

Ларина умиленными глазами глядела на "андела Сашеньку", как продолжала называть Троекурову хозяйка ея в Москве. "Вот здесь, действительно, душой отдохнешь", проносилось у нея в мысли; "а там, я знаю, пытка ждет"…

Она уехала из Москвы после последняго, блестящаго представления Коварства и Любви, данного в пользу какого-то благотворительного дела в театре Секретарева, и на котором она в роли Луизы произвела, как говорится, "настоящий фурор", — уехала, вызванная письмом шурина своего, Прова Ефремовича Сусальцева, заключавшегося в следующих, довольно лаконических строках:

"Любезная сестрица, Анастасия Дмитриевна! Всегдашнее уважение мое в вам и как вы самая разсудительная и способная всякое обстоятельство обсудить здраво и в настоящем разуме, то я осмелюсь вас просить в особую мне милость, а также в удовольствие, полагаю, вашей сестрице, а моей супруге Антонине Дмитриевне, прибывшей на днях сюда из чужих краев, пожаловать к нам погостить в усадьбу мою Сицкое, где все готово для встречи вашей с честью и великою в тому, как не можете сомневаться, с моей стороны радостью. А также и со стороны сестрицы вашей без сомнения. Если благоволите телеграфировать, когда полагаете прибыть, за вами на станцию вышлются лошади.

"С моею постоянною в вам уважительностью и братским, смею сказать, расположением, пребываю ваш готовый в услугам, П. С.

Сестра ея вернулась к мужу?.. Она со дня посещения ея Сусальцевым на ея квартире у Лизаветы Ивановны не имела никакой вести о ней. А теперь шурин обращается в ней за помощью, — "за помощью", да: он очевидно не ждал ея возвращения и теперь "не знает, как быть с этою своевольною, капризною, безсердечною Тоней"; он чувствует, что она, Настя,

нужна ему, им, что без нея, может быть, пойдет, если уж не идет, такая сумятица, "такой кавардак..." Она собралась в два дня и поехала.

— Я не могу оставаться у вас долго, добрейшая Александра Павловна, объясняла она, вздыхая, — за мною выслал beau frère мой лошадей на станцию прямо везти меня к ним в Сицкое, а я, вот видите, свернула на них вместо того в вам, хотела скорее обнять вас, увидеть опять ваши милыя места...

— Вы их отошлите сейчас, а вас потом наши лошади отвезут... — Нет, впрочем, перебила себя тут же Троекурова и даже покраснела слегка, — это может их обидеть, я понимаю, они вероятно нетерпеливо ждут вас, а мы вас точно нарочно на дороге перехватили.

— Я им нужна, я думаю, да, сказала на это раздумчиво девушка, — и думаю даже об этом со страхом, признаюсь вам, добавила она с какою-то внезапною откровенностью, — я, едучи сюда, говорила себе, что надо мне будет об этом именно посоветываться с вами и Борисом Васильевичем; вы показали мне оба так много расположения, что я решаюсь...

— Да вот он сам, Борис, перебила ее хозяйка, указывая на входившего в гостиную мужа.

Настасья Дмитриевна быстро поднялась с места, направляясь к нему. Он крепко, дружески пожал ея руки и, не выпуская еще их из своих, внимательно и ласково, с легкою улыбкой, глянул ей в лицо:

— Хорошо живете? Несколько пополнели даже, и на лице ни следа сценических передряг, ниже притираний, промолвил шутливо он;- очень рад вас видеть, молодая особа. Об успехах ваших знаю, читал; не сомневался, впрочем, никогда и даже, как помните, благословил на дело, не смотря на оппозицию моей генеральши.

И он с ласковою насмешливостью взглянул на жену, вызывая видимо в ней этим какую-то радостную ответную усмешку.

— И кончилось тем, что сама "генеральша", засмеялась Ларина, — помирилась с ним, с этим моим ужасным делом, подчеркнула она тем же веселым тоном.

— А теперь, Борис, наша милая артистка едет к своим в Сицкое и хочет опять посоветоваться с тобою о чем-то, поспешила сказать ему жена.

Он опустился на стул против них.

— И отлично; говорите, а мы будем слушать, барышня.

"Ах, какие милые люди"! говорила себе девушка, вспоминая опять, что "там ждет ее пытка". И она торопливо, как бы не желая пропустить того доброго настроения, которое побуждало ее теперь "выложить все, все" пред этими "милыми людьми", передала им о несогласии, "вышедшем между сестрой ея и ея мужем", о причине этого несогласия, о "трудном характере Тони, с которым не одному Прову Ефремовичу не легко справиться", о ея нежданном теперь приезде к нему после того, как она против его воли осталась одна за границей и целые полгода не давала ему знать о себе, "точно пропала совсем, в воду канула".

— И вот что он мне теперь пишет, молвила она, вынимая из кармана письмо шурина и протягивая его Троекурову.

Он пробежал его глазами, чуть-чуть невольно усмехаясь его своеобразной, купецкой редакции.

— Человек он не дурной и не глупый, этот ваш beau frère.

— Даже и очень не дурной, лучше Тони, прямо скажу, хотя она мне и сестра родная, подтвердила, вздохнув опять, Настасья Дмитриевна.

— Я с ним встречался за границей в прошлом году. Он, скажу вам откровенно, возбуждал во мне всегда жалость к себе. Зепрег себя сам конь в короткия оглобли, длинен шаг, а ходу нет, и наездник помыкает им как опоенною клячей, сестрица, то-есть, ваша в этой должности наездника, если позволите мне так выразиться.

— Именно так! качнула головой она, — и то страшно, что в один прекрасный день конь этот потеряет терпение и может лягнуть так, что и конь, и наездник разлетятся в дребезги.

Борис Васильевич не то презрительно, не то печально шевельнул плечом:

— Вы это что же, по Кит Китычам Островского судите? Но типы Островского в настоящую пору уж пережитой исторический момент. Российский "прогресс" проник и до Китая-города, купеческие дочки зачитываются Дарвином, а маменьки их разсуждают о последнем романе Zola по прочтенному ими фельетону петербургской газеты, а не то даже и по оригиналу. Никто уж в этом мире по Домострою жизни своей не правит, а тем паче передовики в роде почтенного Прова Ефремовича, вкусившего всласть от прелестей парижских бульваров. Отечественный нерв давно уж у него притупился: "покуражится", как выражаются они, малую толику, это еще пожалуй, а в узде все-таки останется: сестрица ваша дело свое знает.

— Мне жаль его и совестно за нее, проговорила уныло Ларина:- я знаю наперед, что он будет мне на нее жаловаться и просить "уговорить" ее… Но в чем уговаривать? Отказаться от своей и подчиниться его воле? Так разве она на это способна, если бы даже и признала это в принципе правильным? Она родилась владычицей.

Троекуров утвердительно качнул подбородком. Молча внимавшая разговору Александра Павловна как-то жалостливо вздохнула и тихо закачала головой: есть же, мол, такия женщины.

— А если хотите принять мой совет, сказал он в ответ гостье,- постарайтесь отстраниться ото всякаго вмешательства и предоставьте им разобраться самим. Сестрица ваша во всяком случае в накладе не останется, а он…

— Может кончиться тем, что они разведутся, проговорила она как бы испуганно.

Он засмеялся.

— Это опять-таки, думаю, вышло бы Антонине Дмитриевне на руку. Но и это едва-ли предполагать можно: в конце концов почтенный Пров Ефремович чувствует себя в душе польщенным иметь женой такую Европейку, как ваша сестрица.

Она поникла головой и еще раз вздохнула.

— А что же вы, вы нам о себе разскажите, участливо заговорил опять Борис Васильевич.

— Я все вам разскажу, все, когда-нибудь в другой раз, если позволите. А теперь я точно на иголках, все думаю, что меня там ждут, безпокоятся… Я только хотела бы на вашу Марью Борисовну прелестную взглянуть, если можно, обратилась она в Троекуровой.

— Я ее велю позвать сейчас, сказала та, протягивая руку в пуговице воздушного звонка у

стены…

Но в эту самую минуту, быстро отворяя дверь, выходившую в сад, внеслась в комнату сама Маша с огромным букетом ландышей в руке.

— Не дам, не дам ни цветочка, кричала она, полуобернувшись лицом к саду, кому-то, очевидно бежавшему за нею; она вся запыхалась и ускоренно переводила дыхание; широкополая соломенная шляпа ея, зацепившись боком за дверь, съехала на сторону, и она со смехом сорвала ее с головы;- можете сами нарвать, я не для вас старалась!

— Маша! кликнула ее мать.

Она быстро обернулась, прищурилась со света в сравнительную темноту комнаты.

— Ах, Настасья Дмитриевна! вскрикнула она, узнавая и кидаясь к гостье.- я и не знала, что вы здесь!

Она своим мужским рукожатием дружески, то-есть чуть не до боли, стиснула тонкие пальцы актрисы, радостно улыбаясь ей, между тем как та с нескрываемым восхищением любовалась во все глаза ея сияющею, молодою красотой.

— Ах, сколько я о вас слышала прошлою зимой в Москве, у тетки Бородиной! Там кажется все влюблены в вас, и мущины, и женщины, все в восторге от вашего таланта, и мне так хотелось, так хотелось вас видеть, но мне не удалось, я всего оставалась там три дня, а в это время вы не играли…

Она тут же обернулась на входившего теперь, в свою очередь, в гостиную из сада молодаго человека и разсмеялась своим звонким, девичьим смехом.

— Ландышей вам ни-ни, не стоите, а ступайте скорее сюда и поднесите их от моего имени большому русскому таланту; жалую вас в звание моего порт-букетмейстера, выговорила она нарочно словно давясь.

Гриша Юшков, несколько смущенно и неловко приняв букет из рук юной красавицы, передал его Лариной с поклоном и насилованною усмешкой. Он никак не ждал видеть ее в эту минуту, да и вообще здесь, и его словно кольнуло, как это бывало каждый раз с ним при воспоминании об отношениях своих к Буйносовым.

Какая-то, тут же впрочем потухшая, искорка пробежала и в глазах актрисы. Но смятения в душе ея не подняла эта нежданная встреча с ним: то прежнее "безследно", сказывалось ей в эту минуту, исчезло из души ея.

— Спасибо вам, моя прелестная, весело промолвила она, — и вашему porte-présent то же. Здравствуйте, Григорий Павлович.

Она протянула ему правую руку, принимая другою подносимые им ландыши и погружая в них лицо.

— Прелесть!… Ведь эти ландыши почти все равно, что ваша фотографическая карточка, Марья Борисовна, улыбнулась она, все с тем же искренним любованием глядя на нее.

Маша комически присела и раскланялась.

— Вы ее окончательно испортите, закачала головой Александра Павловна:- она у нас и так самонадеянна.

— Не "надеянна", а "стоятельна": самостоятельна, отчеканила слогораздельно и смеясь девушка, — спросите у Григория Павловича.

— Самовольны, еще вернее, ответил он на это с полуусмешкой.

Борис Васильевич прищурился на обоих и как-то машинально, про себя, качнул головой в свою очередь.

Маша искоса поглядела на молодаго человека, опустила голову и слегка прикусила себе губу: могла бы, мол, многое тебе на это сказать, да не хочу.

Настасья Дмитриевна между тем собралась уезжать. Она перецеловалась еще раз с Троекуровой и ея дочерью, пожала руки мущинам и, повторив, что ее ждут сестра и шурин, обещала "непременно приехать опять, как только обстоятельства позволят", и торопливо направилась к передней. Ее пошли провожать все на крыльцо.

Александра Павловна по ея отъезде вернулась опять на свое "дежурство" к больному; Борис Васильевич прошел в кабинет. Молодые люди остались на крыльце, как бы не зная, что делать и куда итти.

— Вам когда очередь? спросил Гриша.

Она подняла голову на большие часы башенки, возвышавшейся над фронтоном дома.

— Чрез час и двадцать пять минут;- а что?

— Так, я спрашиваю…

— Pour passer le temps?

— А до того времени что вы полагаете с собой делать?

Она лукаво прищурилась на него.

— Другими словами, вы желаете, чтоб этим еще свободным моим временем я пожертвовала вам?

Голос у него чуть-чуть дрогнул.

— А с вашей стороны это будет "жертва?"

— Смотря как! Если вы обещаете мне быть большим умником…

— А по-вашему что под этим понимается?

Они, между тем, как бы безотчетно спустившись с крылечных ступенек, медленно шли бок-о-бок мимо фасада дома, направляясь к калитке сада, откуда за несколько минут пред этим вбежали в гостиную после прогулки в самой глуби его за речкой, где Маша, в каком-то внезапно налетевшем на нее капризном настроении духа, молча набирала роившиеся в изобилии под старыми кленами благоухающие цветы, из которых "ни одного", как мы уже знаем, не хотела отдать Грише, отвечая на его просьбы об этом, что он "сам нарвать может, а

не сентиментальничать по-немецки". В настоящую минуту настроение это, казалось ему, "успело соскочить с нея: "; но он делал вид, что ничего не замечает, и только поглядывал на нее осторожно избока, стараясь угадать, о чем именно думала она в этот миг.

Но она молчала, оставив его вопрос без ответа, и шла дальше, опустив глаза и вертя около губ сорванную ею мимоходом веточку сирени.

Они вошли в сад под густолиственную сень старых, тихо шелестевших лип.

Она вдруг остановилась, обернулась на него и зорко глянула ему в лицо.

— Вы не ожидали увидеть эту даму? спросила она быстро, как бы обрывая.

— Нет, несколько озадаченно ответил он, хотя еще только сейчас на крыльце говорил себе мысленно, что у нея с ним будет непременно разговор "об этом".

— И что же вы, ничего?

— То-есть что именно? усмехнулся он нарочно.

— Сердце не ёкнуло?

Он пожал плечом:

— Вы опять за то же!…

— Не нравится "тревожить язвы старых ран"… У кого, бишь, это сказано, не помните?

— Не помню.

Она покачала головой и засмеялась:

— Разгневались!… Как вам это не идет, если бы вы знали!…

— Нет, послушайте, Маша… Марья Борисовна, счел он почему-то нужным поправиться, — пора наконец этому положить конец. Неужели ничего другаго не имеем мы сказать друг другу?… Неужели, поправился он опять, — почитаете вы своею непременною обязанностью донимать меня этим вечным напоминанием о том, что давно прошло, сгинуло, стаяло, как прошлогодний снег…

— Так-ли? протянула, перебивая его, девушка;- послушайте, Гриша, заговорила она веско, как бы обдумывая каждое свое слово, — вы слышали, сейчас она говорила: сестра ея вернулась, та, ваша прежняя; ни можете опять с нею встретиться, она вас опять… завертит, вы такой… безпомощный!

— Да что-жь это за мука, Господи! вскликнул он тоскливо, — за кого же вы меня наконец принимаете!…

— Я это не для себя говорю, тем же веским тоном возразила она;- еслиб это случилось, вы знаете, вы бы совсем уже пропали в глазах papa, да и maman тоже; вы знаете, что и теперь… Я не знаю, как это сказать по-русски: il y a hésitation chez eux…

Гриша схватил ее за обе руки: он загорелся весь, глаза его блистали:

— А у вас, Маша, у вас, говорите, ради Бога! У вас этой hésitation, этого колебания нет, вы верите в меня?

Веки ея судорожно моргнули. Она не отняла рук своих и в свою очередь глянула ему прямо в глаза:

— Меня заслужить надо, Гриша, это вы поймите, проговорила она с каким-то странным смешением гордости и нежности в звуке дрогнувшего голоса и обернулась, вся заалев…

IM.

Es ist kein leerer schmeichelnder Wahn
Erzeugt im Gehirne der Thoren,
Im Herzen kündet es laut sich an:
Zu was Besserm sind wir geboren;
Und was die innere Stimme spricht,
Das täuscht die hoffende Seele nicht.

Schiller. Hoffnung.

Больной угасал с каждым днем. Он говорил все реже, все медленнее, все с большим усилием. Он зачастую задыхался, так что с мгновения на мгновение можно было ожидать последняго. Доктор Фирсов уже не отходил от него и не допускал более "собираться гуртом" вокруг его постели: "ему и так мало воздуху", говорил он. Кислород, который давали вдыхать страдальцу, уже не облегчал его, как прежде. "Атрофия нервов", объяснял сквозь зубы Николай Иванович… Уже был священник: исповедал и причастил его… Глубокое уныние завладело всем домом: господа и люди равно скорбели сердцем о "святом старичке", как называла его Анфиса Дмитриевна.

И вот минута настала. Утром, в десятом часу, в столовой только собрались в первому завтраку, поспешно вошла в нее заплаканная Фирсова со словами: "Пожалуйте, желает видеть всех".

Все вскочили с мест.

— Отходит? еле слышно, побледнев как полотно, проговорил Павел Григорьевич… Ноги его подвернулись от внезапной слабости, и он опять упал в свое кресло.

Сын и сидевший подле него учитель Молотков кинулись к нему.

— Ничего, ничего, усиленно пролепетал он, стараясь улыбнуться и приподымаясь опять при их помощи.

Они взяли его под руки.

— Спасибо, сам пойду, говорил, бодрясь, старый моряк, и зашагал за выбежавшею уже из столовой семьей Троекуровых; но Гриша чувствовал, как тяжело опиралась на его локоть рука отца и с каким заметным трудом передвигал он дрожавшие от волнения ноги. "Господи, неужели и он…" пронеслось с ужасом в мысли молодаго человека.

Умирающий лежал, или, вернее, сидел в своей постели, с горой подушек за спиной, на верхней из них покоилась, слегка завалившись назад, его большая, худая голова с широко открытыми глазами, словно в каком-то пушистом облаве облегавших ее как снег белых, длинных и все еще кудрявившихся волос. На лице скрывалось изнеможение, не мука. Потухавший взгляд

направлен был на приходившуюся прямо против его кровати дверь, из которой, притаив дыхание, с тем чувством растерянности и неловкости, которое овладевает людьми в этих случаях, входили один за другим друзья его проститься с ним навеки…

Николай Иванович Фирсов, сумрачный и важный, каким еще никогда не видали его, держал пуль-с у кисти безжизненно лежавшей на белом пикейном одеяле руки его, не отрываясь глазами в то же время от стрелки дорожных бронзовых часов в футляре, стоявших на столике по другой стороне кровати.

— Дорогие мои! послышался задыхавшийся голос старика…

Медлительная, с выражением какого-то таинственнаго, одному ему будто понятнаго, счастия улыбка складывалась на его синевших уже губах:

— Отхожу в лоно Вечнаго, к Творцу моему… Простите, все!..

Померкшие глаза его остановились на Александре Павловне:

— Благословите… меня… чистая! внятно прошептал он.

Она быстро подошла, подняла сложенные пальцы, широко перекрестила его и приложилась губами в его лбу, глотая слезы, удерживая чрез силу душившее ее рыдание.

— Маша, пролепетал он тут же.

Маша, скользнув из-за плеча матери и судорожно кривя губы, припала лбом к его подушке, целуя его седые, шерстившие нежныя щеки ея, волосы.

Он последним усилием как бы прижался к ней; рука, которую он видимо хотел поднять над головой ея, с мучительною натугой шевелила безсильными, костеневшими уже пальцами…

— Там… с нею… о тебе… пролепетал он как в бреду. Но Маша поняла: на пороге иной жизни это было у него все то же представление о какой-то идеальной связи между ею и тою, давно отошедшею в вечность княжною Линой Шастуновой, "с которой встретится он там…"

— За отцом Матвеем послали? отойдя от постели, торопливо спрашивала между тем Александра Павловна на ухо Анфисы Дмитриевны.

Та утвердительно кивнула.

Высокий, строгаго вида священник входил в эту же минуту в комнату.

Окружавшие постель разступились, давая ему пройти… Луч солнца, пробиваясь из-под опущенных стор, блеснул на позолоте креста, поднятаго им над умиравшим…

— Веровах, тем же возглаголах, явственно и умиленно произнес тот.

Доктор, не выпуская руки его из нажатых на пульс пальцев своих, обвел окружающих быстрым, строгим взглядом: "Сейчас конец", говорил этот взгляд…

— Василий, брат!.. неудержимо вскликнул, роняя голову на одеяло, Павел Григорьевич, которого сын опустил на кресло подле постели…

— Голубчик… прощай!.. Все… простите… послышался опять предсмертно хрипевший уже

голос старца. Мутные глаза его как бы старались обнять, собрать в один фокус эти все наклонившияся над ним милыя ему лица...

И вдруг, словно весь озаренный неземным уже восторгом, усиленно моргая веками, как бы отстаивая свой остатный миг жизни для последняго завета:

— Да не гаснут светочи в руках ваших!.. проговорил он и затих весь...

— Отходную, батюшка, шепнула Анфиса отцу Матвею.

— Владыко Господи Вседержителю, Отче Господа нашего Іисуса Христа, иже не хотяй смерти грешному, но обращения и живота, молимся и Ти деем... полушопотом начал священник.

— Господи помилуй! раздался дрожащий юношеский голос, голос Васи. Он стоял за всеми, скрестив опущенныя руки и не отрываясь полными слез глазами от изнеможенного лика отходившего, как бы воспринимая внутрь себя это зрелище безбоязненной, "непостыдной, мирной" кончины...

— Душу раба Твоего Василия от всякия узы разреши и остави прегрешения ему, яже от юности, ведомая и неведомая...

Николай Иванович Фирсов выпустил из своей руку Василия Григорьевича, поднял голову и перекрестился.

Все единым движением опустились на колени... Женщины зарыдали... Все также не отрывавшиеся от усопшаго глаза Васи сияли как две звезды.

— Праведник был! прошептал как бы про себя отец Матвей...

Смерть брата произвела на Павла Григорьевича Юшкова поражающее впечатление, как ни был он приготовлен к ней издавна. Но сам он был далеко не молод, а прежняя трудовая морская жизнь и Севастопольское сиденье конечно не даром были им прожиты... Его должны были на руках поднять со смертного одра брата, на который безсильно рухнул он грудью в минуту последняго целованья: у него отнялись ноги... Доктор уверял впрочем и его, и всех остальных в доме, что это "локальное" и временное нервное поражение, не грозящее нисколько общему состоянию организма, и которое непременно должно уступить лечению электричеством и массажем, "превосходно приспособляемыми теперь наукой к такого рода случаям" (из Москвы поэтому поспешно выписан был для сего какой-то известный массажер, а молодой, недавно поступивший в больницу Всесвятского помощником к Николаю Ивановичу, врач, специально занимавшийся в Москве электротерапией, являлся каждое утро в комнату Павла Григорьевича пользовать его по всем правилам ея), но с женой он был более откровенен: "В эти годы подшибленного танцором опять не поставишь", говорил он со своим всегдашним добродушным шутовством, — "ну, а на облегчение все же надеяться можно"... Усопшаго повезли хоронить в Углы, рядом с покойною Верой Фоминичной Юшковой. Старый моряк, не смотря ни на какия увещания доктора и Троекуровых, присутствовал при отпевании и погребении, вися на плечах сына и слуг, поддерживавших его с обеих сторон, так как сесть в кресло во время службы он ни за что не согласился... Подле могил жены и брата он тут же велел вырыть заранее третью для себя, и долго не соглашался переехать опять во Всесвятское, как о том настоятельно просили Троекуровы и, чуть не бранясь, требовал Николай Иванович. "Оставьте меня с ними последние дни доживать", говорил он, указывая на эти родныя ему могилы... Одно "простое разсуждение" Маши, как выражалась она, заставило его уступить. "А

как же Грише быть?" говорила она: "ведь еслиб он не остался с вами в Углах, я бы его презирала, а без него также мне... и всем нам". поспешила она прибавить, "скучно будет". Как ни глубоко печален был старый моряк, он не мог не усмехнуться. "Против вас, как при Норд-Осте, никакие паруса не устоят", ответил он и переехал опять в павильон Всесвятского, заняв себе теперь под спальню именно ту комнату. где отошел в жизнь вечную "праведник-брат"...

V

Дни, следовавшие за возвращением Троекуровых и Павла Григорьевича из Углов, были тяжелы и для него, и для них. Дом с утра до вечера был полон гостей. "Весь уезд", как говорится, местное дворянство и земство сочли нужным перебывать во Всесвятском у почтенного старика предводителя, которого действительно любили весьма многие, а не уважать не мог никто, для выражения своих соболезнований по случаю кончины его брата и приключившегося с ним самим недуга. Кроме участия, не малое число "соболезновавших" побуждены были к этому желанием узнать, настолько-ли этот недуг важен, чтобы заставить старика решительно отказаться от лежавшей на нем должности, и действительно-ли в таком случае вступит в исправление ея, как подбаллоткрованный к нему кандидат, "генерал" Троекуров, так упорно и в течение столь долгих лет отказывавшийся ото всякой общественной службы. Вопрос этот был весьма важен для некоторых явных и тайных уездных честолюбцев и интриганов. Свищов, узнав о случившемся, возликовал душой: пред ним открывалось теперь обширное поле действий...

Поединок, устроенный стараниями его между графом Снядецким-Лупандиным и Островетовым, в видах нужного ему "скандала", не перешел, как мы уже знаем, за границу предварительных переговоров. Посланный имправником становой для отобрания от противников подписки о том, что они драться не будут, получил от обоих эти подписки без малейшаго возражения. Граф счел только нужным пожать плечом, как бы говоря: "немею пред законом", а Степа не то надменно, не то иронически усмехнулся и, уронив сквозь зубы: "я крови этого господина не жажду", — предложил становому водки. Вышла совсем не та "картина", какую, затевая эту историю, рисовало себе пылкое воображение "московского браво". Но он не даром возился с парижским театральным миром и заимствовал от драматургов его способность строить интригу "на кончике иголки". Имеющихся под рукой данных достаточно ему было для дальнейшаго успешного развития "политики бытовой драмы", как говорил он сам себе, заранее потешаясь веселым зрелищем, которое должна была она доставить ему. Пущены были прежде всего, и довольно ловко, весьма неясные, имевшие подать повод самым обильным вариантам, слухи о чем-то, происшедшем между молодым владельцем Борисова и наследником старушки Лупандиной, петербургским графом, приехавшим-де нарочно с целью присвататься к дочке генерала Троекурова; говорилось даже, что сам "генерал" выписал означенного графа из Петербурга, но что дочке его весьма естественно нравится не граф, а более его юный Степан Гаврилович; — и что из этого все и вышло. Но о том, в чем именно состояло это "все", шла большая разноголосица: большинство толковало о дуэли, но обыватели духа более мрачного и уездныя кумушки утверждали, что Степа "со своею пьяной компанией" собрался поджечь своего "ривала" и подъехал к нему ночью на "четырех тройках" с целью привести этот "ужасный замысел" в исполнение, но граф и гостивший у него в то время Свищов, еще не спавшие в эту минуту, выбежали-де встречать врагов и стреляли в них "из револьверов", вследствие чего те постыдно обратились в бегство... Сам Свищов, рыскавший теперь по уезду в видах пропаганды привезенного им из Петербурга проекта железной дороги, когда спрашивали его про эту "историю", облекался в самую непроницаемую таинственность и ограничивался одним ответом: "Во всяком случае до трагического не доходило еще." Враги со своей стороны никуда не казали глаз, сидели дома безвыездно: граф, занимаясь поверкой старых счетов и инвентаря унаследованного им имения, а Степа

Говорилов за лепкой из воска статуетки-шаржа, изображавшей его "ривала" в виде стрекозы в мундирном фраке, с пером за ухом, в просительной позе, с протянутою в руке бумагой, на которой начертано было: "Une demoiselle à marier"[83].

Вместе с тем отправлена была Свищовым "со всевозможными предосторожностями", то-есть переписанная рукой какого-то дьячка, корреспонденция на имя приятеля своего, некоего Клейна, московского агента газеты Призыв. Этот Клейн, ловкий и беззастенчивый малый, применяя вполне "образцовые порядки европейской печати" к порученной ему службе "отечественному Таймсу" (руководители Призыва иначе и не разумели своего листка как "русским Times"), умел обратить это агентство в очень выгодную для себя оброчную статью. Он отыскивал и поставлял газете корреспонденции изо всех углов России, платя писавшим их по три и оставляя себе две из полных пяти копеек, платимых за строку газетой. Эти две копейки шли ему "за просмотр" и ядовитость, которую обязан он был подпускать в те из этих корреспонденций, добродушные составители которых не успевали еще восприять себе в плоть и кровь требуемый "оппозиционный тон". Но в недостатке "сметки", как известно, менее всего можно обвинить русских людей, особенно последней формации. Незлобивейшие из легиона корреспондентов Призыва так изловчались в самом скором времени напускать надлежащаго "оппозиционного яда" в свои писания, что все они до единого представлялись читателю как бы писанными одною рукой, сообщались-ли в них известия из Архангельска или Эривани, из Екатеринбурга или Бреста-Литовского, и о чем бы ни говорили они: о рыболовстве или о конокрадстве, о самоубийстве гимназиста IV класса, не выдержавшего экзамена из греческого языка, или о тонкорунных овцах в Новороссийском крае. Державшему главный камертон агенту оставалось таким образом просматривать эти вымуштрованныя, как солдаты на плацу, одна под одну строки с улыбкой достодолжного одобрения и упрятывать в карман свои две копейки без дальнейшаго труда... Свищов, умевший при случае "жертвовать малым для большаго", предоставил приятелю получить и все пять за доставляемое им в газету чрез его посредство "Письмо из ***каго уезда", прося только "доставить ему скорее место в нашем уважаемом органе". Он жадно вскрывал теперь у Троженкова или графа Петра Капитоновича, у которых попеременно гостил в это время, бандероли нумеров обоими или получаемаго Призыва, но не находил пока в них своей корреспонденции и начинал безпокоиться.

Об "истории" каким-то глухим эхом дошло и до Всесвятского, но в доме были так поглощены заботой об умиравшем Василии Григорьевиче, что она, как говорится, "прошла мимо ушей" у всех. Сам Николай Иванович Фирсов, которого Троекуров называл "ходячею газетой", не обратил на нее никакого внимания. Он был поэтому очень удивлен, когда однажды утром, несколько дней после похорон старика, возвращаясь из павильйона после обычного своего утренняго визита Павлу Григорьеву (ноги которого находились в том же безжизненном состоянии), нашел у себя Владимира Христиановича Пеца, который, быстро поднявшись со стула, подошел к нему с какою-то газетною вырезкой и со словами:

— Прочтите-ка, Николай Иванович, только-что в письме из Петербурга от брата получил; что за мерзость!

Фирсов вздел на нос pince-nez и протянул руку.

— Откуда это?

— Из Призыва, само собою; если ложь и клевета, так уж само собою там!

Он принялся читать:

Из ***каго уезда (от нашего корреспондента). В нашем богоспасаемом, с немалыми

претензиями на "аристократизм", углу (в котором, впрочем, действительно многие держатся еще упорно затхлых понятий и склада жизни добрых крепостнических времен) чуть не состоялось на днях нечто обещавшее повести за собою довольно печальныя, быть может, последствия, но к счастию кончившееся пока ничем, или, по крайней мере, очень малым, как говорится, благодаря вмешательству нашей уездной полиции. Об этом весьма загадочном впрочем до сих пор происшествии весьма много толкуют по здешним весям. В общих чертах дело сводится к тому, что между двумя весьма состоятельными, принадлежащими к фаланге крупных наших землевладельцев лицами, из которых один еще очень молод, а другой постарее и гораздо починовнее, должна была произойти на днях кровавая встреча, главную причину которой следует, как уверяют, искать в амурном совместничестве. Amour, tu perdis Troie! сказал не даром французский поэт. Предметом страсти обоих наших уездных рыцарей называют некую молодую особу, дочь одного господина, занимающаго, так сказать, первую ступень нашей локальной иерархической лестницы и держащаго себя, в силу ранга своего и богатства, чем-то в роде божка или венгерского магната. Не известно, насколько действительно поощряла вельможная девица искание того или другаго из двух претендателей на ея руку, если и не обоих разом, так как и это бывает иногда в обычае прекрасного пола. Но видно однако, что каждый из рыцарей наших почитал себя в праве разсчитывать на взаимность этой новой Елены Троянской, вследствие чего положили они решить оружием вопрос о том, чье из них чело должна окончательно наградить венком la dame de leurs pensées. День и час поединка был уже назначен, когда, как говорят, отец прекрасной, узнав случайно об этом, поспешил обратиться, к кому следует, перепугавшись скандала, невыгодного во всяком случае для дочери его и его самого. От соперников отобраны были надлежащия в сих случаях "подписки"; тем и кончилась эта трагикомедия, о которой упоминаю здесь ради отсутствия всяких у нас иных, заслуживающих действительного интереса известий. В такой стране, как наша (эти строки пристегнуты были сюда, в видах все того же "общаго тона газеты", уже рукою самого ядовитаго агента Клейна), где общественная жизнь лишена всяких серьезных задач, и мыслящия существа обречены влачить почти животную жизнь; и такого рода, увы, жалкия приключения каких-то двух вздыхателей, собиравшихся уничтожить друге друга, по преданиям давно отжитых времен, из-за прекрасных глаз своей синьоры, могут, за неимением лучшаго, служить предметом оживленных толков в этих наших забытых прогрессом "палестинах"!

Фирсов нервно сощелкнул пальцем pince-nez с переносицы и швырнул вырезку наземь:

— Это из Троженковского Быкова идет! гадливо вымолвил он:- негодяй!... Не в первый раз от него эти пакости!

— Раздавить бы его в ступе за это! пылко воскликнул в негодовании своем Пец.

— Стрихнина бы я ему за этакую штуку в рецепте прописал, заявил со своей стороны комически доктор, — да в Сибирь, пожалуй, за то погонят дураки присяжные, а у меня и рука бы не дрогнула, ей Богу: мир от зловредного бы животного избавил... Ну-с, а только вот что: надо, чтоб эта мерзость не дошла как-нибудь до Бориса Васильевича.

— Откуда же дойдет? газеты этой он не получает, а мы с вами докладывать ему об этом конечно не станем.

Доктор поднял с пола вырезку и принялся опять ее читать:

— "Претендатели!" Разумеются тут само собою этот певец цыганствующий и граф из петербургской министерии... И этим будто чучелам наша Марья Борисовна надежды подавала! Станет она, этакая краля! Да и раз-то всего на всего и видела она их.

— А что у них что-то вышло, об этом уж несколько дней толки идут, заметил Владимир Христианович.

— Слышал, может, что и вышло действительно, так причем же тут Марья Борисовна! Да они, чорт их дери, понастоящему-то не то что думать о ней, а подошвы ея лизать не должны сметь, выходя уже совсем из себя вскликнул толстяк, все более и более разгораясь негодованием.

— О ком это вы? раздался за его спиной голос вместе с шумом отворившейся двери, и в комнату вошел Борис Васильевич Троекуров.

Доктор так растерялся, что не способен был произнести ни единого слова в ответ, и торопливо и неловко закинул за спину руку с корреспонденцией Призыва.

— Здравствуйте, Владимир Христианович, коротко проговорил вошедший, подавая Пецу руку и обращаясь к доктору:- я к вам зашел за какими-то каплями, которыя вы обещали жене.

— Ах да, да, виноват, необычайно засуетился тут же доктор, видимо ужасно обрадованный этою диверсией:- нарочно ведь домой пришел за ними… да вот застал приятеля и заболтался… Сейчас, сейчас, оне у меня тут в аптечке.

И он засеменил своими короткими ножками по направлению соседней комнаты.

— Погодите, остановил его на-ходу Троекуров, — что это у вас за бумажка в руке?

— Ка… какая бумажка? заикнулся тот во весь рот.

— Да вот эта, кусочек газеты какой-то.

— Это… ничего, так, ничего не значащий клочек, пробормотал опять доктор.

— Дайте мне его сюда; раз напечатано, секрета тут быть не может, с улыбкой, но настойчивым, не допускавшим возможности отказа тоном, выговорил Троекуров.

Пец даже побледнел весь. Голос Николая Ивановича Фирсова застонал какою-то детскою фистулой.

— Ваше превосходительство! Борис Васильевич! Не читайте, ради Бога! Не стоит, клянусь вам!

— Дайте сюда, я знаю, что это.

Он был совершенно спокоен, только бледные глаза у него, как всегда в подобных случаях, моргали усиленнее обыкновеннаго.

Он только-что получил письмо от Пужбольского… Пламенный князь дней за десять до смерти старика Юшкова уехал в Петербург, по делу залога последняго своего имения в Обществе Взаимного Поземельного Кредита, и, встретив там какия-то затруднения, сообщал о них приятелю, прося совета; в заключение же едва разборчиво, видимо от волнения, водившего пером его в эту минуту, приписывал следующее (письмо разумеется писано было по-французски):

"Мне говорили в одной гостиной об одной корреспонденции из ваших мест, касающейся между прочим тебя и твоих. Я прочел и еще весь дрожу. Дорого бы дал, чтобы знать имя автора и наклеить ему это пакостное писанье посредством оплеухи на харю (et lui coller son infâme libelle au moyen d'un soufflet sur la face)".

"Libelle" этот очевидно для Троекурова заключался именно в том клочке газеты, который доктор держал в руках, и о нем разсуждали домочадцы его в ту минуту, когда он входил в комнату.

Он взял вырезку из дрожавших пальцев Фирсова, поднес ее к глазам, с какою-то безсознательною брезгливостью поведя при этом поджавшимися губами, и прочел до конца. Ни один мускул не шевельнулся в это лице, только само оно стало страшно бледно…

— Так дайте же капли, пожалуйста, так же невозмутимо произнес он, протягивая руку с печатными строками, которыя возвращал ему.

Но доктор, избегая встретиться с ним глазами, уже мчался в другую комнату, откуда вылетел чрез миг опять с требуемым в зажатых пальцах руки.

— Вот-с; чрез два часа по десяти капель. Я говорил Александре Павловне, и жене тоже, чтобы в темном месте пузырек держали, от света портятся.

— Спасибо! сказал Борис Васильевич, кивнул в виде поклона и вышел.

Управляющий заводом чуть не восторженным взглядом поглядел ему вслед:

— Воля над собою у человека какая! Видели, ведь бровью не шевельнул!

Доктор озабоченно качнул головой.

— Да-с, а в душе-то этой его гордой что деется теперь… Подлецы! вскликнул он, харкая во весь рот в вырезку из газеты Призыв, выпавшую из руки Троекурова, неистово топча и растирая ее ногой…

Борис Васильевич шел по двору из флигелька, занимаемаго доктором, по направлению к павильону Павла Григорьевича Юшкова, с которым оставил жену, нарочито замедляя шаги, чтобы дать остыть несколько первому накипу хватившего его негодования. Безполезно, чтобы кто-нибудь догадывался, что он в данную минуту тем или другим взволнован, — стояло первым правилом в его житейском обиходе, а более всего с этой стороны боялся он нежной душевной чуткости Александры Павловны, угадывавшей всегда каким-то тончайшим инстинктом все, что происходило в нем.

Быстро приближавшийся лошадиный топот заставил его поднять глаза и обернуться.

К крыльцу подъезжал на взмыленной тройке небольшой тарантас с кем-то сидевшим в нем в форменных пальто и фуражке. Троекуров узнал не очень еще давно назначенного в уезд исправника, майора Ипатьева, с которым впрочем он имел уже случай познакомиться.

Майор, узнав его в свою очередь, вылез из своего экипажа и направился не спеша в нему, учтиво прикладывая в то же время руку к козырьку.

Его сдержанные приемы и несколько строгий вид нравились Борису Васильевичу. К тому же он был Кавказец, почти товарищ. Он радушно протянул ему руку:

— Очень рад видеть вас у себя… Хотя, примолвил он с ласковою улыбкой, — я едва-ли ошибусь, предполагая, что на сей раз удовольствием видеть вас я обязан гораздо более желанию вашему навестить нашего дорогаго больнаго, чем меня и моих собственно.

— Я, действительно, ответил не смущаясь исправник, — желал узнать лично о состоянии здоровья Павла Григорьевича… Но мне тем более приятно…

Он поклонился.

Они пожали еще раз друг другу руки.

— А я тем более рад вам, начал затем Борис Васильевич, — что думал сам на днях ехать в город, чтобы поговорить с вами об одном… обстоятельстве.

— Всегда к услугам вашего превосходительства, проговорил на это несколько официально тот.

Троекуров взял его под руку:

— Павел Васильевич живет, в павильоне, в саду; я вас проведу, а по пути потолкуем.

— Сделайте милость!…

— В одной петербургской газете помещена на днях корреспонденция из наших мест, в которой передается о дуэли, предполагавшейся якобы быть между двумя здешними землевладельцами и которая остановлена была своевременным распоряжением уездной полиции, то-есть, вами.

— Знаю-с, читал, сказал коротко исправник.

— А!.. Признаете-ли вы, что факт этот верен?

— Не солгу, верен, ответил не сейчас исправник.

— Говорится там дальше, что полиция, то-есть, вы же опять, извещены были об этом факте отцом той особы, из-за которой будто бы должна была произойти эта дуэль. И это верно?

— Безстыднейшая ложь! вскликнул на это майор, быстро поднимая на собеседника своего вопрошающие и как бы даже несколько испуганные глаза.

Троекуров чуть-чуть усмехнулся:

— Из тона вашего ответа не трудно понять, что вы заключающийся в этой корреспонденции более чем прозрачный намек на этого отца и дочь отнесли по настоящему его адресу. Это избавляет меня от необходимости объяснять вам, почему счел я себя в праве обратиться к вам с настоящими моими вопросами.

— Это грязных рук дело, Борис Васильевич! вырвалось как-бы невольно у "майора с Балкан".

Новая, горькая усмешка скользнула по губам бывшего Кавказца:

— И не в нашей власти казнить их за это, — таково положение вещей у нас! пропустил он сквозь сжатые зубы. — Позвольте еще один вопрос… последний, примолвил он.

— Извольте…

— Считаете-ли вы возможным сказать мне, из какого именно источника получили вы сведение о том, что предполагается эта дуэль? Имен имевших драться я не спрашиваю: они всему уезду известны.

Игнатьев еще раз поднял на него глаза.

— Нет, Борис Васильевич, ответил он, подумав:- я полагаю, что обязанности мои не дают мне на это права.

Троекуров одобрительно кивнул:

— Да, вы честный человек, и другаго ответа я не должен был ожидать от вас… Но вот что я вам скажу, добавил он нежданно, пристально воззрясь сам теперь в лицо своего собеседника: — вы презираете того… или тех, подчеркнул он, — кем доставлено вам это сведение.

Исправник не отвечал, но что-то действительно презрительное сказалось на миг на его сериозном и бледном лице.

VI

Тяжелы были живому, деятельному старому моряку недвижность и бездействие, на которыя был он облечен своим недугом. Еще тяжелее, быть может, отзывалась в душевной глубине его смерть нежно любимаго брата и сознание, что и для него самого с потерею ног наступало "начало конца". Но тем спокойнее, тем безтревожнее старался он являть себя в глазах других. Он, улыбаясь, чуть не весело приветствовал входившего к нему с хозяином дома исправника, сидя у открытаго окна в выписанном для него из Москвы кресле о двух колесах, с накинутым ему на колени Александрой Павловной, в ограждение от сквозного ветра, пледом.

— Здравствуйте, майор, очень рад; спасибо, что не забыли инвалида… Да-с, вот видите, как подрезало, указал он на свои ноги, протягивая ему руку и сжимая пальцы ему до боли.

Ипатьев чуть-чуть поморщился даже.

— По руке судя, сила не преминет вернуться вам и в ноги скоро, усмехнулся он слегка. почтительно кланяясь в то же время Александре Павловне и дружелюбно Грише, сидевшим на низеньком диване подле недужнаго.

— Дай Бог, дай Бог, как бы небрежно проговорил тот, — а только полагаю, что данный мне непрошенно отдых от службы следует мне разуметь, как безсрочный отпуск… Я уже подал формальное заявление об увольнении моем от должности…

— Знаю-с… В исправление ея, значит, вступит его превосходительство? указал глазами исправник на Троекурова.

— Не надолго, сказал тот:- я подаю со своей стороны заявление о болезни… Пусть бремя власти, усмехнулся он, — падет на молодыя плечи нашего депутата от дворянства, зде предстоящаго, — и он кивнул на Гришу. — пусть поработает на пользу общую.

Давно уже и Троекуров, и Павел Григорьевич, никогда впрочем не сговариваясь об этом друг с другом, питали желание видеть Гршпу преемником отца в должности предводителя их уезда. Состоя депутатом от дворянства уже второе трехлетие, он в прошлые выборы (за три без малаго года до настоящаго момента нашего разсказа) должен был быть подбаллотирован кандидатом к отцу, но пред самыми выборами принужден был ехать в Петербург, как и в настоящем году, по делам своего процесса, — и Троекуров принужден был согласиться на баллотирование самого его в эту должность, чтобы не дать враждебной партии возможности провести имевшегося у нея своего кандидата (с тех пор умершаго), в лице некоего отставного подполковника Нахгольца, заведомаго пьяницы, но "господина", державшегося за то самих

"современных убеждений", что и требовалось его сторонникам. На ожидавшихся нынешнею осенью выборах Павел Григорьевич (это было решено уже давно) должен был окончательно отказаться от баллотирования, а Борис Васильевич предложить на его место Гришу, выбор которого был обезпечен, так сказать. наперед при том большинстве, которым до сих пор располагала партия "охранителей", как называли ее Троженков и К°. В виду этого теперь представлялось совершенно уместным, чтобы, за выходом в отставку отца его и отказом его кандидата, Григорий Павлович вступил в отправление предводительской должности и имел таким образом случай заявить о себе на деле заранее, несколькими уже месяцами службы в ней, имевшему избрать его окончательно дворянству.

Исправник видимо понял эту комбинацию и как бы одобрительно качнул головой, но ни слова не сказал при этом. Ни Павел Григорьевич, ни Троекуров со своей стороны не нашли нужным продолжать на эту тему. Разговор примолк.

В дверях в эту минуту показался слуга с докладом.

— Граф Лупандин приехали; спрашивают, могут-ли видеть господина предводителя.

— Ох, уж эти мне визиты сожаления! досадливо морщась, воскликнул старик, тут же смущенно поведя взглядом на Ипатьева, и поспешно протянул ему руку: — вам я искренно рад, а тут человек, которого я едва знаю, петербургской породы…

Троекуров обернулся к слуге:

— Скажи, что Павел Григорьевич утомлены, принять не могут.

Слуга было двинулся итти и вернулся:

— Они спрашивали также на счет вашего превосходительства и генеральши…

Александра Павловна поднялась с места:

— Я пойду сейчас, Борис, в дом…

— Безполезно! проговорил он властным, резким голосом. Глаза его мгновенно блеснули своим давнишним, стальным блеском.

Она недоумело, почти испуганно воззрилась в него. Но он уже усмехался слегка дрожавшими, показалось ей, губами:

— Не лишайте нас вашего приятного общества, проговорил он с насилованною шутливостью;- мы все вас об этом просим, не так-ли, господа? обратился он к старому моряку и Ипатьеву.

— Само собою! добродушно засмеялся Павел Григорьевич.

Исправник повел головой вниз, искоса взглянув на Троекурова: он еще более, чем Александра Павловна, имел основание не разуметь как шутку слышанное им сейчас.

— Скажи, что извиняются, не принимают, взглянул еще раз Троекуров на слугу, кивнул и, как бы вспомнив о чем-то вдруг, вышел за ним из комнаты, затворив за собою дверь.

— И когда бы этот господин ни приезжал, говорить тоже: не принимают… А также если… другой этот… господин Остромётов… приехал бы, тоже не принимать. Понимаешь?… И другим скажи, чтобы ни генеральше, ни мне никогда об них не докладывали.

— Слушаю-с, выговорил слуга, робко потупляя глаза пред "страшным", чувствовалось ему в эту минуту, взглядом барина.

Борис Васильевич вернулся в комнату.

Александра Павловна, слегка побледневшая, жадно, но осторожно следила за ним из-под век, опущенных на кусок канвы, по которому водила она иглой. Гриша в свою очередь, безмолвный и сосредоточенный, старался объяснить себе, "что все это должно было значить". Предводитель и исправник вели беседу о каком-то новом случае конокрадства, при котором еще раз суд оправдал преступников.

Троекуров, уже совершенно овладевший собою, вмешался в разговор.

Но не прошло пяти минут, как тот же слуга вошел с новым докладом хозяйке дома:

— Госпожа Ларина приехали.

— Ларина? повторил недоумело Павел Григорьевич.

— Это Настенька, Настасья Дмитриевна Буйносова, ея театральная фамилия, поспешно объяснила Александра Павловна. И глаза ея вопросительно обернулись на мужа. — Что же, ее принять, или не принять?

— Да, да, вспомнил... Я бы рад был ее видеть, вскликнул Павел Григорьевич, — интересная особа, знаете! прибавил он по адресу Ипатьева.

— Так ее, если желаете, можно попросить сюда к вам, живо отозвался на это Троекуров, взглянув в свою очередь на жену как-бы с ответом: — это совсем другое дело!

— Я приведу ее сейчас!

И она, как-то радостно торопясь. вышла принимать гостью.

Настасья Дмитриевна была видимо тронута приемом, который был сделан ей старым моряком. Она знала, как в оны дни недружелюбно относился он ко всей семье ея, помнила, что при первой встрече ея с ним здесь, во Всесвятском, не смотря на всю повидимому любезность, с которою он говорил с ней, он, казалось ей тогда, только перемогал в себе внутреннее чувство враждебности к ней, Буйносовой, из-за дружбы и уважения к хозяевам дома, дружески принявшим ее под свой кров. Теперь чувствовалось ей совершенно иное. Он с какою-то почти нежною внимательностию говорил с нею, разспрашивал об ея "артистической деятельности", поощрял ее на "дальнейшие успехи", как бы совершенно позабыв о той брезгливости, с которою в ту первую встречу их выражался о "грязи, которую придется ей видеть" на избираемом ею поприще. Но она ошибалась: почтенный старец. именно потому, что помнил, что говорил ей тогда, старался "заставить ее теперь забыть об этом"... Опухшие старческие глаза его с каким-то особым выражением мягкости и ласки глядели на девушку, так бодро выносившую свою девичью честь и достоинство сквозь "рифы и скалы", невзгоды и соблазны своей тяжелой карьеры...

Исправник между тем собрался уезжать, отказавшись решительно от приглашения хозяев остаться обедать. Гриша пошел проводить его.

— А Марья Борисовна? спросила Ларина по их уходе.

Маши не было дома; она уехала верхом верст за десять от Всесвятского, к больной жене одного знакомаго ей священника, которой повезла стклянку лекарства, предписанного ей доктором Фирсовым.

— Что же у вас, милая, в Сицком? спросила вполголоса Александра Павловна гость-то.

Та слегка усмехнулась.

— Ничего… Лучше, чем я думала, примолвила она чрез миг и громко, как бы говоря этим, что она готова на полную откровенность пред всеми ими, так явно доброжелательными ей людьми.

— Я не ошибся, усмехнулся Троекуров, — предсказывая вам заранее, что почтенный Пров Ефремович впряжется опять в свои оглобли.

— Почти, ухмыльнулась она опять. — Он, впрочем, какой-то странный: очень мне обрадовался и с первых же почти слов объявил мне, что хочет "много по душе мне разсказать", — но так во все время, пока я там была теперь, ничего не разсказал и даже, как я могла заметить, избегал случаев остаться со мной наедине.

— Как и следует, подтвердил кивком Троекуров:- смирился… и хорошо сделал, примолвил он не то иронически, не то сериозно.

— Он, узнав о вашем несчастии, обратилась Ларина к старику Юшкову, — на другой же день после похорон брата вашего поехал к вам в Углы, но уже не застал вас и теперь собирается опять…

Она запнулась и как-то вдруг примолкла.

— Что же, я очень рад, он человек хороший, Пров Ефремович, сказал как бы поощрительно Юшков.

— Он хотел бы также и вас, и Александру Павловну видеть, заговорила опять та, подняв на хозяев будто чего-то робевшие глаза.

— Мы с ним давно знакомы, сказал Троекуров:- добро пожаловать!..

Настасья Дмитриевна опять помолчала: она видимо чем-то затруднялась…

— Вот видите, решилась она наконец выговорить: — Прова до сих пор знали все здесь, как холостаго человека. а потом он женился, уехал с женой за границу и вернулся сюда опять без нея… Но она теперь приехала, будет жить с ним здесь… Он бы желал повезти ее ко всем знакомиться…

Александра Павловна безсознательно качнула головой, невольно как бы одобряя законное чувство мужа, стремящагося "поставить жену на настоящий путь".

Ларина заметила это движение и видимо обрадовалась.

— Он прежде всего желал бы ее представить вам, но не знает… будет-ли вам это приятно.

Троекурова совершенно растерянно взглянула еще раз на мужа.

Его как бы передернуло слегка теперь от этого немаго вопроса.

— Мы не имеем никакого права отклонить такое желание вашего beau frère… Для нас во всяком случае очень лестно, вымолвил сухо, но светски-учтиво он.

— Конечно, конечно, милая, заспешила обрадованно Александра Павловна, завладевая рукой гостьи и пожимая ее обеими своими.

Павел Григорьевич в это время обратился к мужу ея с каким-то вопросом, относившимся к суду над конокрадами, о котором у них-только что была речь с исправником. Тот подсел за столик у окна насупротив его. Дамы продолжали разговаривать, сидя друг подле друга на диване, как-то безсознательно понизив голоса до шопота.

— Что же сестра ваша? спрашивала Троекурова.

Ларина чуть-чуть повела плечами:

— Все та же спокойная, самоуверенная, повелительная… как всегда!

— Было у нея какое-нибудь объяснение с мужем на приезде, вы не знаете?

— Я ей говорила, с каким раздражением он отзывался мне прошлою осенью, когда был у меня в Москве, о том, что она против его воли осталась за границей, и что я уверена была тогда, что он не захочет более никогда видеть ее.

— Что же она вам сказала на это?

— Засмеялась только. "И неужели же, спросила я, он тебе ничего не сказал про это, когда ты теперь так нечаянно для всех нас вернулась сюда, не упрекал тебя, не сделал тебе сцены?" Она мне на это говорить: "Да, он что-то там было начал, зашипел, но ведь это со мною не берет; ты видишь, какой он теперь шелковый, как следует". И, действительно, между ними как будто ничего и не происходило… Только все же я предвижу, что ни говори Борис Васильевич, а у них когда-нибудь дурно кончится.

И Настасья Дмитриевна вздохнула.

— Детей у них нет, вот что дурно и для нея, и для него, сердобольно вздохнула и Александра Павловна, и добавила чрез миг каким-то скачком мысли и как бы несколько конфузливо: — ведь про нее, кроме того только, что она все по-своему хочет делать, ничего дурного нельзя сказать… про вашу сестру, n'est-ce pas? Я, по крайней мере, ничего такого не слыхала никогда.

— И никогда не услышите, я так полагаю, ответила Ларина: — увлекающияся страстью женщины подают повод к невыгодным толкам о них, а Тоня никогда в жизни не увлечется… во всяком случае не выдаст себя, медленно промолвила она по минутном размышлении.

— Как я вас понимаю, милая, заговорила опять Троекурова, — pardon pour ma franchise, вам, должно быть, не очень по себе было там у них?…

— Нет, прямо ответила та, — не "по себе", именно; тяжело и одиноко я там себя чувствовала.

— Поживите с нами! Я уверена, что вы у нас отдохнете; мы все душой, как видите. расположены к вам.

Ларина обняла ее:

— Знаю, дорогая Александра Павловна, и воспользуюсь, если позволите, вашим

предложением, — подышу вашим целебным воздухом несколько дней… Только хотела бы я все-таки съездить хоть на сутки к себе, в Юрьево… к бедному отцу моему на могилу, домолвила она дрогнувшим голосом.

— Когда хотите, милая, когда хотите, скажите только накануне, чтобы лошади были для вас готовы.

VII

Вечером пред сном в тот же день, оставшись одна с мужем, Александра Павловна приступила к разговору, в которому готовилась с утра:

— Борис, ты не хотел, чтоб я приняла сегодня этого графа из Петербурга… я всегда забываю его фамилию… Я так поняла, что ты вообще не желаешь, чтоб он ездил в нам. Так это?

— Совершенно так, подтвердил он, кивнув.

— Ты имеешь что-нибудь против него?

Он поморщился.

— Имею во всяком случае причину не желать его видеть в моем доме… Ни того тоже, этого певца с гостинодворскою физиономией…

— И его также?… Ты узнал, что они нехорошие люди? протянула она, глядя на него тревожно своими большими глазами.

— Хорошаго в них действительно не много, полагаю, но до этого мне дела нет, — и он повел пренебрежительно губами, — а нахожу просто, что им не для чего сюда ездить.

Александра Павловна потупилась на миг, вскинула опять глаза на мужа и вскликнула:

— Борис, c'est a cause de Маша?

Он коротко повел только головой опять.

— Бедные! нежданно вздохнула она.

Он поглядел на нее с удивлением.

— Ну да, Борис, если они в самом деле влюбились в нее, — все-таки жалко…

Он досадливо дернул плечом:

— Какая тут любовь, мерзость одна!

Воспоминание о прочтенном им утром в Призыве подняло ему опять всю желчь в голову.

— Понимаешь ты, обрывисто и злобно вырывались у него слова, — они вздумали драться из-за нея… и не дрались… И разгласили… И об этом в газетах подлейшие намеки… Довольно тебе знать?

Она всплеснула руками, вздрогнув вся от волнения:

— В газетах! Господи, как же смеют печатать такия вещи! Маша, разве она подала какой-нибудь повод…

— А им разве какой-нибудь повод нужен?.. Они все могут теперь, все, и ничего к ограждению тебя от них не существует! Выносить имя твое на площадь, врываться в семейную твою святыню имеет теперь право каждый наглец, и ты безсилен против него, безсилен, понимаешь?

Он стал вдруг страшно бледен, губы его тряслись, веки судорожно моргали и сжимались.

Перепуганная Александра Павловна принялась крестить его:

— Борис, голубчик, успокойся, ты себе только вред делаешь…

Он налил себе стакан воды из графина, стоявшего на столе подле его кровати, выпил его залпом, медленно провел рукой по лицу и усмехнулся:

— Ты права. Пора бы мне привыкнуть давно к тому, что все у нас теперь возможно… Пора спать, прощай.

Но ни он, ни жена не смыкали почти глаз в эту ночь.

В этот же день, по возвращении графа Снядецкаго-Лупандина в себе в усадьбу после неудачного его визита во Всесвятское, произошло между ним и остававшимся ждать его "московским браво" довольно бурное объяснение.

Свищов ждал его нетерпеливо. В отсутствие Петра Капитоновича привезены были из города письма и газеты и в том числе Призыв, в котором, едва успел он развернуть лист, кинулась ему прямо в глаза его корреспонденция. Он самодовольно и жадно перечел ее в ея печатном виде, снисходительно улыбнулся пристегнутому к ней приятелем его Клейном "обязательно либеральному припеву" и радостно стал тереть себе руки. "Как раз приспело вовремя, как раз!" ликовал он. Недаром под всякими предлогами старался он со дня на день оттянуть этот визит своего приятеля-жертвы к Троекуровым, чтобы пришелся он никак не ранее того времени, когда "камуфлет", пущенный Призывом, успеет уже там произвести свое действие. "Лишь бы только успели они сегодня же прочесть это, да и получают-ли они Призыв?" тревожил его теперь только вопрос.

У него даже сердце от удовольствия усиленно забилось, когда увидел он из окна въезжавшую во двор коляску возвратившегося графа и, по разсчету времени прошедшаго между отъездом его и возвращением, разсудил, что "он, мол, там и четверти часа не успел пробыть"… Не приняли! победным возгласом вырвалось из груди Свищова, и он выбежал встречать вернувшегося хозяина на крыльцо.

— Что так скоро? спросил он с притворным изумлением.

Петр Капитонович, не отвечая, чтобы не признаться в своем злоключении пред кучером и выбежавшим встретить его слугой, медленно вылез из экипажа, поднялся по ступенькам и, подхватив Свищова под руку, вошел с ним в дом.

Он остановился в первой комнате и, снимая с головы щеголеватый летний фётр, приобретенный в Петербурге у Брюно, широко отнес вместе с державшею его рукой в сторону:

— Вообразите, не приняли! проговорил он упавшим голосом.

— Гм! промычал многозначительно Свищов и, опустив голову, принялся наматывать ус свой на палец:- как это, то-есть, не приняли, не могли по какой-нибудь… основательной… причине, или намеренно, вы полагаете? отчеканил он.

Тот руками развел:

— Да вот как было. Спросил я сначала, можно-ли видеть старика предводителя. Побежали… Он не в доме, а где-то во флигеле или в саду живет… Времени прошло довольно, знаете, ждать меня заставили в коляске… Возвращается наконец лакей: "Утомился, говорит, они, принять не могут…"

— Ну что же, это, может, и действительно так…

— Я так и понял… Только спрашиваю я его после того: А генерал, спрашиваю, а супруга его? А он мне на это так решительно, знаете: "Извиняются, говорит, не принимают". Да вы, говорю, докладывали обо мне? - "Точно так-с, отвечает, они изволили сказать, что извиняются, не могут принять*. Мне, знаете, это так странно показалось. — Что, говорю, вашему больному не хуже-ли стало? — "Нет-с, говорит, все в том же положении…" И даже, я вам скажу, показалось мне при этом, будто он как-то… улыбается… Я, разумеется, не стал с ним больше разговаривать и уехал… И, должен вам сказать, всю дорогу об этом думал… и решительно недоумеваю, что это может значить.

— Значит, прочесть уже успели, нежданно для Петра Капитоновича промолвил ему на это в ответ его постоялец.

Он вперил в него широко раскрывшиеся зрачки:

— Что прочесть?…

— А вот пойдемте в кабинет: в последнем нумере Призыва… Увидите!..

Граф кинулся туда со всех ног.

Нумер газеты, развернутый на третьей странице, с отмеченною красным карандашом корреспонденцией из ***ского уезда, лежал на самой середке его письменного стола, противу самаго его кресла (Свищов старательно подготовил "полный эффект").

Он грузно, разом, опустился в него и принялся жадно за чтение.

"Московский браво", став к нему в полоборота по другой стороне стола, молча и внимательно следил, косясь на него избока, за выражением его физиономии, продолжая крутить свой безконечный ус и покачиваясь, по обыкновению, с носков на пятки и обратно.

Петр Капитонович попеременно бледнел и краснел по мере чтения. Он за последнею строкой вскочил внезапно с места, сгреб лихорадочною рукой газету в ком и швырнул ее бешено наземь.

— Это чорт знает, что такое, скандал на весь мир… Кто это писал, кто… Вы! крикнул он, глядя на Свищова так, будто готовился вцепиться ему тут же в глаза.

— Колиб я, так я бы вас об этом предварил заранее, возразил тот, не смущаясь.

И веки, и руки Петра Капитоновича безпомощно опустились за этим ответом. Он разсудил, что, мол, действительно "какая могла бы произойти из этого польза для Свищова..."

— Ведь это же все-таки, очевидно, кем-нибудь здешним написано... пробормотал он.

Мистификатор наш принял вдумчивый вид.

— Может быть да, а может и нет. К действительному факту, как видите, примешана чистейшая ложь; это, напротив, должно было бы нам указать, что корреспонденция писана лицом не из здешних, или, по крайней мере, из таких, которыя, по пословице, слышали звон, да не знают, где он... Но, с другой стороны, можно полагать и то, что написано это так, намеренно, для отвода глаз...

— Но кем же это тогда, кем? восклицал растерянно Петр Капитонович.

— А старую юридическую формулу не помните: fecit cur prodest? Кому выгодно, тот и настрочил.

Граф еще раз развел руками:

— Не понимаю!... Неужели же господин Острометов? проговорил он шопотом:- но ведь его это точно так же задевает, как и меня... с весьма, можно сказать, оскорбительной для каждаго благорожденного человека стороны... Конечно, в моем звании это особенно чувствительно, чуть не плачущим уже голосом простонал он, — но и для него все же, хотя он и...

— Без титула и без придворного мундира, договорил за него Свищов, лукаво подмигивая обоими глазами;- а если, положим, он, разсудив, что ему с таким соперником, как вы, не в силу тягаться, — положил, что коли ему уже приза не взять, так пусть он и вам не достанется, — и подвел вот эту мину (и Свищов при этом отшвырнул кончиком сапога подкатившийся ему под ноги ком смятой графом газеты), от которой, в его разсчете, должны вы были оба взлететь на воздух. Я, впрочем, вы понимаете, никого не считаю себя в праве обвинять, счел нужным он тут же прибавить с пошибом perfect gentleman'a в интонации и движении вскинутой небрежно в воздух руки, — je poée des arguments vis-à-vis des vôtres, voilà tout.

Но Петр Капитонович его не слушал:

— Я этого никак не могу оставить так, восклицал он, принимаясь шагать безпорядочно вдоль и поперек кабинета, — не могу... в моем положении... оставить это без протеста... Я должен иметь объяснение с генералом Троевуровым... Если он не захочет лично выслушать меня, я напишу ему...

— Что вы ему напишете?

И Свищов, быстро повернувшись на каблуках, очутился, лицом в лицу с метавшимся по комнате собеседником своим.

— Что-с? Что напишу? воскликнул на, это тот с каким-то взмахом новаго злобного отчаяния, — это все вы-с, вы, с вашею дуэлью... Я должен был презреть... в моем положении... с таким мальчишкой!... А тут полиция понадобилась... Не благовидно ведь это, вы понимаете, у меня имя... Генералу могло быть передано...

Он схватился вдруг за голову и упал в изнеможении в подвернувшееся ему по пути кресло:

— Он там именно был в ту минуту, когда я приехал… Вот только теперь вспомнил я…

— Кто?

— Исправник.

— У Троекурова?

— У предводителя, мне сказали. Стояла тут тройка в тарантасе; я спросил, чья… Его, мне сказали. Теперь понимаю, почему этот… афронт мне… Он передал о… о вашем визите ему…

Свищова видимо передернуло; он сдвинул озабоченно брови и просунул безсознательно язык между губ.

— Не полагаю, не такой, повидимому, человек… А впрочем, чорт их знает! пробурчал он.

Петр Капитонович раскинул руками во всю ширину их:

— Понимаете вы теперь, милостивый государь, в какое положение вы меня поставили! Ведь я теперь, так сказать, на дне реки, на самом дне реки нахожусь, как говорит где-то Тургенев… или кто-то другой… из известных писателей…

К немалому его удивлению, наперсник его отвечал на это громким взрывом смеха:

— А я так полагаю, что при всей вашей петербургской опытности вы лишены, можно сказать, всякой нужной в решительныя минуты жизни сообразительности.

— Это что-жь такое значит? совершенно растерявшись опять, пробормотал граф.

— А то-с, что, вместо того; чтобы бить тревогу и приходить в лихорадочный трепет, весьма не соответствующий вашему положению, soit dit en parenthèse, иронически протянул он, — вы должны были бы отслужить молебен за то, что, благодаря именно всему этому нашему эпизоду, создается теперь для вас уже не фиктивное, не фигуральное, так сказать, а настоящее положение, une vraie situation, на котором у вас уже все шансы померяться с генералом Троекуровым, как равный с равным, а не состоять у него, при вашем имени и звании, в роли сеида или мальчика на побегушках, как стремились вы к этому очевидно — и во что вы бы непременно и обратились, не случись того, на что вы так слабодушно теперь жалуетесь.

— Позвольте, милостивый государь, позвольте, у вас тут какой-то выходит поток совершенно не имеющих смысла фраз, заявил, не понимая, Петр Капитонович.

Свищов еще раз иронически захихикал:

— Говорю, сообразительности вам недостает. Так вот вам-с просто-напросто: желаете вы в нынешнем же году попасть в предводители дворянства здешняго уезда?

— В предводители… в нынешнем году… повторил машинально граф.

Читатель уже знает из объяснений московского "браво" с приятелем его Троженковым о комбинации, при которой "петербургский граф" имелся в виду, как номинальный вождь "протестантов" ***ского уезда против партии "охранителей", во главе которой стоял ненавистный им "магнат". Недуг и несомненный затем выход в отставку старика Юшкова, "его послушного орудия", являлись теперь для наших интриганов исходным пунктом для начала решительных действий. Необходимо было прежде всего не допустить, чтобы на

предводительскую должность была опять избрана "генеральская креатура", как выражался Свищов, для котораго, в виду проводимой им железной дороги, весьма было важно то, чтобы в имевшем быть осенью земском собрании председало лицо, не враждебное его планам. Он имел в настоящую пору, после многочисленных его экскурсий с этою целью по уезду, довольно основательныя причины надеяться, как предсказывал он это и ранее Троженкову, что на приманку выгод, обещанных всякими работами при чаемой постройке этой дороги, "подловятся" и такия лица, которыя до сей минуты примыкали всецело к "Троекурово-Юшковскому лагерю". Соответственно этому, голоса этих лиц должны были в его разсчете на дворянских выборах перейти на сторону оппозиции в пользу имеемаго быть ею выставленным кандидата.

— Оппозиция эта, доказывал теперь Свищов Петру Капитоновичу, — не могла вообще взять верх над охранителями не по недостатку популярности в уезде,- напротив, этот наш здешний генерал гнетет, можно сказать, здесь все и всех и внушает к себе общее омерзение, — а потому главным образом, что некого было ей до сих пор выставить во главу свою. Подходящаго лица не было, представительного лица, вы понимаете, подчеркнул он опять, — соединяющаго в себе условия, необходимыя для такой влиятельной и почетной в данной территории должности, как предводитель… Ma-ré-chal, протянул он с хохотом:- поезжайте только в Париж и карточки ваши покажите с таким титулом, maréchal de la noblesse de и прочая, и посмотрите, какие вам там падам до ног будут делать… А вы у нас теперь этот марешаль tout trouvé, особою благостью Провидения дарованный нам от берегов Невы.

— Позвольте однако, скромно пытался возразить Петр Капитонович, — я полагаю, что, как человек новый, совершенно еще незнакомый господам дворянам уезда, которому ныне имею честь принадлежать, я не могу сметь надеяться на успех там, где, по собственным же словам вашим, такое подавляющее влияние имело до сей минуты лицо, о котором мы говорим… Я не прочь, конечно, — мы уже имели случай об этом с вами говорить, — послужить моим… согражданам, но я первоначально думал, признаюсь вам, опереться, так сказать, именно на это лицо, как на представителя партии… или, чтобы выразить мою мысль вернее, представителя тех мнений, которых я, вы согласитесь, при положении моем и звании, обязан, так сказать, держаться, многозначительно домолвил он.

"Московский браво" в ответ на это упер руки в бока и громко фыркнул:

— Sancta simplicitas! "Опереться" на генерала Троекурова, чтобы попасть к нам в предводители, ха-ха-ха!… Так неужели-жь вы не знаете, что у него давным-давно кандидат свой готов, от юности своея на то воспитанный и вспоенный…

— Кто такой? тревожно зазвучал голос графа.

— А будущий зять его…

Это был окончательный удар.

— Зять! повторил, замирая весь, Петр Капитонович, — кто такой?

— Да сын того же закадычного друга его; предводителя бывшего…

— Этот белокурый молодой человек, которого звали Гриша и который все время пребывал в молчании?

— Он самый… А вы и не догадались? Эх вы, петербургские Юпитеры! надрывался Свищов, наслаждаясь растерянным видом своей жертвы.

— Вы мне однако, везя меня в этот дом, ничего об этом не говорили, вскинулся вдруг "петербургский Юпитер".- и даже напротив…

— Что "напротив?"

— Поощряли… в некотором роде.

— А если я, например, ответил на это мистификатор, едва удерживавший смех, не перестававший пронимать его, — знав обо всем этом, не счел нужным предварять вас, чтобы не смущать вас заранее, надеясь со своей стороны, что, какие бы там планы ни строил наш генерал насчет своей дочери, но что, увидев вас, и он, и она переменит свои намерения. оценят и положение ваше, и звание… и наконец личныя ваши качества и преимущества пред таким, можно сказать, ничтожным во всех отношениях, сравнительно с вами, субъектом. как этот Гриша Юшков. Так я не виноват, что вы…

Граф не дал ему договорить очевидно нелестной для него фразы:

— А что он действительно из себя изображает, этот господин? спросил он, стараясь придать в свою очередь иронический оттенок своему, все еще обрывавшемуся от внутренняго волнения, голосу.

— Ничего ровно: в деревне при папаше, депутат от дворянства нашего уезда.

— Только-то! высокомерно ухмыльнулся граф.

— Д-да-с, и вот изволите видеть, какую Василису-царевну уготовляют ему в супруги… А вы вот со всеми вашими петербургскими авантажами за флагом остались, до того, что и в щелочку-то теперь взглянуть вам на нее не дозволяется.

И Свищов даже язык ему высунул в виде приятельской шутки.

Петр Капитонович вспыхнул весь, заерзал на месте, хотел ответить, резко ответить, "положить конец этому нахальству"… Но ничего не сказал и уныло поник головой. Он вспомнил во-время, что "опереться" может только теперь на этого человека, на этого нахала. "Он во всяком случае умен и прожжен", разсудил постулянт на предводительскую должность: а ему, Петербуржцу, нельзя обойтись без проводника, без нити для прохождения сквозь мытарства предстоявшей ему выборной одиссеи. Притом это был заядлый враг его недругов, а Всесвятское со всеми его обитателями представлялось уже теперь Петру Капитоновичу не то ястребиным, не то вороньим гнездом, подлежавшим разору и уничтожению. Воспоминания о тех "мнениях", которых он за пять минут пред этим, "в виду положения своего и звания", считал себя "обязанным держаться", успели и вовсе вылететь у него из головы. Граф Снядецкий-Лупандин весь уже теперь принадлежал "оппозиции".

VIII

Прожив с неделю во Всесвятском, Настасья Дмитриевна Ларина собралась ехать в свое Юрьево. Шел третий год, как она покинула его. Театральныя странствования по России и пребывание сестрой милосердия за Дунаем не давали ей до сих пор достаточно свободного времени для исполнения давнишняго желания посетить это мрачное, покинутое, но все же "родимое гнездо",помолиться над покоившимся там прахом "несчастнаго" и все же дорогаго ей отца. К тому же шурин ея Сусальцев, когда она была в Сицком, просил ее об этом. "Побывайте", говорил он ей; "поставлен мною туда верный человек дело вести. А все же хозяйский глаз не мешает". — "Какая я хозяйка", возражала на это Ларина. "А такая, что одне.

Супруга моя, Антонина Дмитриевна, ни во что это входить не хочет; братец же ваш... в безвестной отлучке", объяснял полуиронически, полусожалительно Пров Ефремович... Настасья Дмитриевна почуяла в этих словах деликатный намек на то, что как бы ни был мало достоин уважения в глазах его "Володя", он не считает его de facto лишенным тех прав на наследство после отца, которых, как "выбывшего самовольно за пределы отечества*, лишил его закон. "Хороший вы человек!" сказала она ему, тотчас же и прерывая этот разговор.

Благодарность к "хорошему человеку" вызвала у нея уже слезы на глазах, когда одним светлым вечером, после ранняго обеда у Троекуровых приехала она в Юрьево. Она едва узнавала его. Мрачный, почти развалившийся дом, из которого выехала она, растерзанная мукой, глядел теперь почти весело, свежеокрашенный, под новою, железною крышей, с чисто выметенным пред ним и усаженным липками красным двором, по другой стороне которого тянулся целый ряд исправленных или нововыстроенных хозяйственных построек. Запущенный сад, в котором в ту пору безпрепятственно разгуливали и паслись крестьянские лошади и скот ближайшей деревни, обнесен был теперь здоровою оградой, частоколом, с вырытою пред ним широкою и глубокою канавой, чрез которую никакой шаловливый жеребенок или парнишка не решились бы перескочить; все аллеи были возобновлены, расчищены и посыпаны песочком; пред террасой, выстроенною вновь на каменных столбах, раскинут был цветник с кустами алевших на нем под лучами заходившего солнца пионов... На всем лежала печать порядка, обдуманности и присмотра, "как бы ожидающаго", показалось Настасье Дмитриевне, "похвалы с минуты на минуту имеющаго прибыть хозяина".

Вышел ее встречать плечистый и загорелый мущина лет 40, в коротеньком пиджаке поверх рубахи с косым воротом, с пушистою белокурою бородкой и весело улыбавшимися живыми глазами — "поставленный" Сусальцевым "прикащик", прирожденная смышленость которого говорила с перваго раза в этих умных глазах и каждом движении его бодрого и чрезвычайно подвижного тела.

Он почтительно высадил приезжую из экипажа, каким-то ловким движением руки и локтя отворил пред лею настежь обе половинки входных дверей и, пропустив ее в сени, старательно запер опять эти половинки во избежание сквозного ветра.

Внутри дома поразило ее то же возрождение, как и в наружном его облике. Все полы были перестланы и свеже выкрашены, паркет возобновлен в приемных комнатах, стены оклеены красивыми обоями, мебель исправлена и обтянута ситцем под обои или пеньковою материей приятного цвета для глаз, на всех окнах навешены занавеси и сторы... Ее видимо ждали: в столовой на круглом столе посреди комнаты лежали тщательно выглаженныя и уложенныя скатерть и салфетки, стекло и полдюжины серебряных приборов, имевших очевидно служить трапезе, заказанной для нея, в какой бы час она ни приехала.

Она медленно переходила из одного покоя в другой, не находя при этом новом виде их ни одного из тех колючих ощущений, к которым готовилась она, едучи сюда всю дорогу и мучась уже одним предвкушением их... "Добряк, видимо, заботился все время, чтобы ничто тут слишком тяжело не напомнило мне о прежнем", думала она теперь, вся растроганная, заметив, что в бывшем кабинете ея отца оставлена была вся бывшая в нем мебель, но разставлена в совершенно ином порядке, и большое кресло, на котором он так печально покончил с жизнью, отставлено было, с заметным намерением не привлечь на него ея перваго взгляда. в самый темный угол горницы, за перегородку,

Но она отыскала его глазами, слегка вздрогнула и, проведя себе рукой по векам, обвела взором опять кругом свежо и весело глядевших на нее теперь темно-синих стен кабинета с золотым багетом, бежавшим у его карниза... "Ах, Володя, Володя", неслось у нея в мысли, — "ведь мог

же бы ты"…

Она не договорила себе своей мысли и обернулась к провожавшему ее и остановившемуся на пороге комнаты прикащику:

— Давно это все… переделано?

— Собственно дом или и прочее? спросил он в свою очередь.

— Да… это все? повела она неопределенно рукой.

— Ремонт-то мы собственно начали в позапрошлом году, по заграничному приказу Прова Ефремовича. Больно уж было все упавши, объяснил он, — почитай, что одне стены целы оставались. Службы тоже, по хозяйству, это уж первым делом требовалось, потому хозяйство повели мы, теперича в полном виде, как следовает. А насчет собственно дома, так что изволите видеть здесь, обои и материи — все это они сами по собственному скусу выбирали в Москве осенью прошлою.

"Это он тогда, после свидания со мною в Москве, когда говорил мне, что не избалован он лаской и готов всю душу положить за того, кто окажет ему ее", вспоминала Настасья Дмитриевна;- "я отклонила помощь, которую он предлагал мне, так вот он нашел средство устроить так, что я на этот раз отказаться не могу: Юрьево принадлежит жене его, как и мне… как и Володе", тут же примолвила она мысленно.

— Прикажете чего покушать, сударыня? спрашивал ее между тем прикащик.

— Я не голодна… разве позднее захочется…

— Когда прикажете. У меня супружница завсегда может — за настоящаго повара, в Москве училась; довольны останетесь.

— Большое вам спасибо, сказала Настасья Дмитриевна;- скажите мне пожалуйста, как зовут вас.

Крупные, ровные, белые зубы сверкнули из-под раскрывшихся в широкой улыбке губ управителя:

— А зовут меня, как и хозяина, Провом.

— Отчество ваше и фамилия?

— И фамилия тоже Сусальцев.

— Сусальцев? повторила невольно девушка.

— Так точно: Пров Сусальцев, только отчество будет у нас разное, потому он от Ефрема, а я от Панкрата; он Ефремович, а я Панкратьич. Никандру ключника изволите знать в Сицком?

— Видела, да…

— Так он мне брат родной, а мы с ним хозяину троюродными будем, из одного роду, значит.

"Новая Россия!" сказалось почему-то в мозгу Настасьи Дмитриевны, между тем как "троюродный" прикащик ея шурина глядел на нее каким-то добродушно насмешливым

взглядом, как бы забавляясь внутренно тем изумлением, которое угадывал в ней. Но она понимала, что он ни мало не оскорблялся этим изумлением ея, как и не думал внушать ей какого-либо особаго решпекта к своей особе этим указанием на родство свое с "хозяином". Он видимо сам не придавал этому никакого значения. "Ефремович" — сам, выражаясь купеческим словом, а "Панкратьич" у него наемник и слуга, хотя оба они Провы и оба Сусальцевы, и ничего тут удивительного и неестественного нет, потому "каждому свой предел, его же не прейдеши".

Было еще светло, и Настасье Дмитриевне не захотелось откладывать до завтра того, что составляло главную побудительную причину ея приезда в Юрьево.

— Я хочу на батюшкину могилу сходить, сказала она:- чрез сад можно?...

— Пожалуйте-с; на тот случай, что пожелают хозяева ближайшим путем в храм Божий, калитка в ограде проделана и мостик чрез канаву; прямо на дорогу выйдете.

Она поблагодарила его дружественным кивком и, выйдя на новую террасу, спустилась с нея в сад, направляясь чрез него к знакомой читателю из начала нашего разсказа церкви.

И здесь узнала она щедрую и заботливую руку шурина. Наружный вид стараго, чуть не разваливавшегося три года тому назад храма был не узнаваем; стены, крыша были исправлены, подштукатурены и выкрашены, ограда поставлена новая, надгробныя плиты предков ея очищены ото всякаго хлама и сора времен господского оскудения... "Тени бояр Буйносовых, благодарите попавшего к вам в родство мужика за то, что могил ваших не топчут более коровьи копыта!" с невольною горечью пронеслось в голове девушки.

Под стать общему характеру этих фамильных плит, лежала гладко выполированная доска из темно-серого мрамора над могилой отца ея. Дмитрий Сергеевич Буйносов родился 1811, ум. 1876 года, читалось на ней, и ниже два слова: Господи помилуй. Памятник этот поставлен был ею, Настей (она отдала на него четвертую часть денег, полученных ею в наследство от тетки Лахницкой), и никакой другой надписи на нем она не хотела: чего, кроме помилования, могла она просить за него, и о чем вспоминать в его многогрешной жизни?..

Она опустилась пред ним на колени, низко склонила голову, и вся ушла в сосредоточенную, глубокую и умиленную молитву.

Когда, отерев наконец обильно лившияся в течение ея слезы свои, она перекрестилась в последний раз, поднялась и отошла от могилы, она увидала Прова Панкратьевича Сусальцева, поджидавшего ее у калитки ограды. Он держал в руке наскоро видимо собранный, но довольно искусно связанный букет из красных и белых пионов пополам с сиренью, который и подал ей со словами:

— Может, пожелаете на могилку положить? Цел останется лежать хоть до весны до будущей, потому у нас теперь калитка на погост запирается, и ключ я к батюшке отнесу опять.

— Спасибо вам от души!.. А я бы желала видеть батюшку, примолвила она поспешно, — попросить его завтра отслужить заупокойную обедню...

— Так что-жь вам безпокоиться, я ему сейчас объясню; в котором часу прикажете?

— В каком ему удобнее будет, скажите ему, а я весь день свободна...

Настасья Дмитриевна легла спать в этот вечер в каком-то давно ею не испытанном умиротворенном настроении духа.

На другой день, отслушав заказанную ею заупокойную обедню, она вернулась домой и, открыв старое бюро, ключ от которого привезла с собою, принялась перебирать хранившияся там письма и бумаги покойного отца. Это дело так заняло ее, что она не заметила, как летели часы, и что она, кроме чашки чая, оставалась без пищи с самаго утра. Рачительный управитель пришел ей напомнить об этом. Она наскоро пообедала и тотчас вернулась в своему бюро,

Пров Панкратьевич пошел за нею.

— Хозяин приказывал, когда вы пожалуете, сударыня, сказал он ей, — представить вам все книги и счеты по имению; может, что пожелаете заметить или переменить…

— Нет, нет, живо перебила его Настасья Дмитриевна, — нечего мне смотреть и замечать нечего. Имение при отце моем ничего не приносило, а если приносит теперь, так это потому, что Пров Ефремович вложил в него деньги, и следовательно доход не что другое, как процент с его капитала, а я в его денежныя дела не имею ни права, ни желания вмешиваться.

Он поглядел на нее:

— Мне это не известно-с, потому у нас по книгам так значится, что на вашу часть, сударыня, из чистаго дохода отсчитывается третья доля…

— А я не хочу, не хочу об этом слышать! воскликнула она досадливо и, тут же смягчая тон:- И я вас очень буду просить написать ему… потому что я всегда стесняюсь сама говорить о деньгах… Напишите, что мне ничего не нужно, что я зарабатываю достаточно, чтобы жить без нужды, и что я ему очень благодарна, но не могу принять от кого бы то ни было то, на что я ни с какой стороны не имею права. Он и без того сделал для нас слишком много, заключила она невольно, поведя взглядом кругом комнаты.

— Как вам будет угодно, сударыня, промолвил управитель сочувственным и, как почуялось ей, одобрительным тоном в голосе. — Побудете здесь еще? спросил он чрез миг, — или желаете обратно ехать, потому в таком случае насчет лошадей в котором часу прикажете?

— Да так часу в седьмом, чтобы засветло туда приехать.

— Слушаю-с.

Он вышел. Она принялась опять за отцовские бумаги. Но не прошло получаса, как он опять, осторожно отворяя дверь, вошел в комнату.

— Извините, сударыня, за безпокойство; тут вас один спрашивает.

— Кто такой? изумленно обернулась она на него.

— Не сказывается. "Желаю, мол, говорит, видеть барышню, Настасью Дмитриевну". Я его даже совсем пущать не хотел, потому много их теперь, проходимцев этих, шляется. Только кучер, что привез вас от генерала, говорит, он у них в конторе на заводе служит, так я так подумал, что он, может, к вам за делом за каким.

— Не случилось-ли чего во Всесвятском, не дай Бог! представилось девушке. — Просите его, пожалуйста, что ему надобно?

Чрез пять минут вслед за управителем вошел человек, увидав котораго, Настасья Дмитриевна внезапно дрогнула и как бы смутилась.

Это до безобразия некрасивое лицо, эти зловещие, с каким-то выражением лукавства и хищности глядевшие из-под нависших бровей глаза, — она их видела еще недавно во Всесвятском. Раза два или три, на прогулках по аллеям обширного тамошняго сада, представала пред нею фигура этого человека где-нибудь на перекрестке дорожек или за каким-нибудь кустом, и всегда как бы не ненароком, а словно, говорило ей какое-то внутреннее чутье, с намерением встретиться, подойти, заговорить с ней. Но он не подходил и скрывался тут же, заметив, что она была не одна, видимо избегая попасть на глаза другим. Она однажды даже прямо наткнулась на него на повороте какой-то аллеи и с безсознательным испугом отшатнулась назад. Он как-то странно ухмыльнулся, готовясь очевидно начать разговор с нею. Но в ту же минуту раздался голос нагонявшей ее Маши. Он быстро повернулся и исчез; но она успела указать Маше на его неуклюжий, заворачивавший в боковую дорожку облик и спросила кто это. "Я его не знаю", ответила та: "какой-то новый, в конторе у Владимира Христиановича служит". Настасья Дмитриевна с этой встречи никогда не выходила уже одна гулять в сад.

Он стоял теперь пред нею, неловко и угрюмо отвесив ей при входе короткий цоклон, и зорко глядел на нее своими узкими, недобрыми глазами.

Далекое уже воспоминание мелькнуло внезапно в ея памяти, и сердце мгновенно сжалось острою болью. Она видела его еще раньше, чем теперь во Всесвятеком, видела в Москве, в годы первой юности, у брата, "у Володи". "Волк!" проговорила она мысленно, и нервная дрожь пробежала еще раз у нея по телу.

Читатель в свою очередь узнал, не сомневаемся, в нежданном посетителе то загадочное лицо, которое в настоящую пору разгуливало по России с законным видом в кармане, выданным на имя студента третьяго курса Технологического института Бобруйского.

— Вы желали меня видеть? проговорила Ларина, насколько могла спокойнее.

— Точно, отрезал он коротко и грубо.

— Что вам угодно?

Он повел изподлобья глазами на стоявшего с ним рядом Прова Панкратьевича.

— Имею сообщить о брате вашем, прохрипел он.

— О Володе?

Он только кивнул на это.

Она смущенно взглянула на управителя, который в свою очередь, подозрительно и внимательно устремив глаза на введенного им гостя, видимо определял его теперь окончательно в мозгу своем одним из тех "шляющихся проходимцев", о которых только-что говорил свояченице "хозяина".

Но он не счел возможным ослушаться немой просьбы, сказывавшейся в ея глазах, и тут же медленно вышел из комнаты, притворив за собою дверь наполовину, дабы "в случае чего" быть тут "наготове".

Но Бобруйский заметил это и, презрительно усмехнувшись, быстрыми двумя шагами стал прямо пред лицом девушки.

— Шпионов тут не надобится; желаю разговора с вами наедине, прошептал он скороговоркой.

Она, молча повинуясь, направилась нервною, неровною походкой из гостиной, в которой находились они, в кабинет, опустилась на стул у окна, лицом к двери и проговорила, овладевая смущением первой минуты:

— Что вы знаете о Володе?

— Имею от него письмо к вам, ответил он, уставившись ей глазами прямо в лицо.

Она быстро протянула руку:

— Давайте.

— Подавайте прежде свое! резко выговорил он.

— Что это "свое?" воскликнула она в недоумении.

— Известно что: с чем вы сюда Мурзиным присланы.

— Я… Мурзиным… прислана?… Вы с ума сошли!

Лицо его все повело.

— Аль шутки шутить со мною вздумали?… Так уж лучше оставьте, потому я этого не терплю, вымолвил он грозно.

Но у Настасьи Дмитриевны натура была не робкая: она безстрашно воззрилась в него теперь в свою очередь.

— Тут недоразумение какое-то; я господина Мурзина не видала с прошлой осени и не имею с ним никаких сношений. Пред моим отъездом из Москвы, я вспоминаю теперь, у меня была одна… одна общая моя с ним знакомая и просила меня от его имени взять письмо для передачи: здесь какому-то неизвестному мне лицу, но я отказалась.

— Отказались? протянул он не то недоверчиво, не то глубоко изумленно:- почему так?

— Имею на то свои причины, твердо произнесла она.

— Во как! хихикнул он злобно. — А приходил от него кто же к вам?

— Не полагаю нужным называть, тем же недопускавшим дальнейшаго об этом разговора тоном ответила она.

Приходила в ней девушка, с которою познакомилась она у Лизаветы Ивановны Сретенской, Лидия Петровна Курсакова. Из разговора маленькой особы с нашею актрисой мы уже знаем о тех таинственных отношениях не то любви, не то чего-то иного, быть может, более опаснаго, которыя существовали между этою девушкой и влиятельным в известных московских кружках, ученым юристом, которого звали Мурзиным. Ларина, которую она очень интересовала своею молодостью, миловидностью и заметною в ней какою-то нравственною растерянностью, не раз пыталась вызвать ее на откровенность, с доброю целью "облегчить ей душу, если возможно". Но Лидия Петровна с видимым страхом уклонялась от всякаго разговора, в котором могла бы она дать возможность чужому оку заглянуть хоть на миг в душевный тайник свой. Она или просто не отвечала на иные, казавшиеся ей опасными вопросы Настасьи Дмитриевны, или сжимая ей крепко руку, говорила, глядя на нее влажными карими глазами: "Нет, милая, оставим, для вас не интересно"… Ларина поэтому невольно удивилась, когда однажды,

очутившись с нею вдвоем в зальце Лизаветы Ивановны, молодая знакомая ея сообщила ей торопливым тоном, что имеет до нея "большую, большую просьбу". — "Рада служить вам, в чем дело?" ответила она ей. — "Вы едете на днях к себе в деревню, в ***ский уезд". — "Да, я говорила вам". — "Не можете-ли вы" — и голос девушки уже чуть не болезненно задрожал при этом, — "взять на себя доставку одного письма..." — "Кому?" "Тут написано". Она осторожно вытащила из кармана довольно объемистый пакет, адресом вниз, и как бы не смея протянуть его прямо своей собеседнице: — "Это вы посылаете?" пожелала узнать та, не отрывая от нея взгляда. — "Нет... меня просили"... — "Я знаю, кто", веско произнесла Ларина. Девушка вспыхнула по самыя брови; руки ея протянулись вперед безсознательным, умоляющим движением. — "Я не назову его", успокоительно промолвила Настасья Дмитриевна, — "но не возьму на себя никакого его поручения и, по тому искреннему участию, которое вы мне внушаете, не советую и вам, милая"... Она не успела договорить: Лидия Курсакова вскинулась одним прыжком с места и, как испуганная лань, выбежала из комнаты.

Непрошенный гость тем временем продолжал глядеть на Ларину своими злыми, полуприщуренными глазами.

— Так, значит, не имею я от вас ничего получить? пропустил он сквозь зубы.

— Ничего, подтвердила она.

— Значит, и письма Володькиного не получите, объявил он, подымаясь с места.

Она вспыхнула даже от негодования:

— Да какое же право имеете вы не отдавать его мне?

— А такое, что не отдам: велено в обмен; колиб от вас что получил, так и я бы вам предоставил, а как от вас ничего нет, так и с меня требовать вам нечего.

Он злорадно ухмылялся, видимо потешаясь над нею. Ее взорвало.

— И не надо! сказала она, вставая в свою очередь: — прощайте.

Он этого никак не ожидал. "Характер — девка!" пронеслось у него в голове.

— На аккомодацию что-ль итти с вами? пробурчал он, между тем как она, не глядя на него, направлялась назад в гостиную.

Она приостановилась на миг, полуобернулась.

— Что еще? с невольною гадливостью уронила она.

Он зашипел от злости:

— Да вы, госпожа, с этим вашим барским презрением не могите глядеть на меня, потому я, может, еще более всех вас, господ-то, презираю, а окромя того вам это и отозваться может...

— Я не боюсь вас и... и ненавижу! вскликнула Настасья Дмитриевна в неудержимом порыве: — вы погубили моего брата, вы заставили его вести преступную... и позорную жизнь, домолвила она как бы уже помимо воли.

— Ага, узнали! хихикнул он опять своим противным, язвительным смехом.

— Да, я вспомнила, я видела вас тогда… Он гимназистом еще был, а вы уже давно взрослый… Вы ловите этих простодушных, доверчивых мальчиков…

— Не ловим — сами просились, истины искали, аки елень к источникам водным сами бежали ко мне за нею, с нежданным эмфазом и засверкавшим взглядом возгласил он, — я им и дал ее… А и сами-то вы не единым духом разве с братом дышали в ту пору? я ведь тоже помню!

— Да! горячо вскликнула она на это, — мы в те дни истины искали с Володей, всею душой алкали ея… Мы смущены были нашею жизнью дома, горем, непосильными испытаниями; мы ребячески думали, что мир может быть перестроен на началах справедливости, общей для всех и каждаго… не вашими путями, нет, не тем, во что уклевли вы его!

— Так вот вам, нате же, читайте! к немалому ея изумлению, поспешно вытаскивая из кармана и протягивая ей письмо в порванной обложке, возразил на вспыльчивую речь ея "технолог":- коли вы от истины отвернулись опять в вашей старой барской лжи, так вот что вам брат ваш пишет на поучение ваше.

— Вы прочли его письмо ко мне? негодуя вскливнула она опять.

— Мы прочли, действительно, подчеркнул он:- семейных тайн для нас нет;- открыто и прозрачно как стекло должно быть каждое действие каждаго, и все обязаны знать высшия партии… А вы полагали, перебил он себя, язвительно ухмыляясь еще раз, — что правительство ваше одно пользуется правом перлюстрации?

Ларина его не слушала более: она вся погрузилась в чтение братниного письма.

Это был весьма опоздалый ответ на письмо ея, писанное еще в прошлом октябре, после разговора ея о нем с Провом Ефремовичем Сусальцевым. Он извинялся за этот поздний ответ тем, что не находил до настоящей минуты (письмо его по дате отправлено было три недели тому назад, из которых более двух, заключила она, пролежало у Мурзина и в кармане "Волка") верного случая для доставки его ей "в собственныя руки", и затем прямо приступал к главному мотиву ея письма. "Я должен быть очень благодарен супругу прекрасной госпожи Сусальцевой", иронически писал он, "с которым не имею чести быть знакомым, хотя и встречались мы каждый день в разных местах Италиянского государства, так как супруга его не только не сочла нужным познакомить нас, но и сама не нашла для себя удобным признать во мне единоутробнаго, о чем я впрочем, как ты можешь себе представить, сожалею мало, а удивляюсь еще менее. Удивляюсь более тому, что ты мне пишешь о предложении ея мужа. Тебе должно быть известно, что я эмигрировал из кары патрии не для того, чтобы набивать себе карманы коммерческими предприятиями, а чтобы служить честному делу, которому посвятил всю жизнь. Убеждения мои тебе известны, и никакия силы в мире, ни личныя соображения не заставят меня изменить им как здесь, так и в России, куда я могу очень неожиданно для тебя вернуться в более или менее близком будущем."

Последния слова эти были два раза подчеркнуты в подлиннике.

— Он пишет, что, может быть, скоро будет в России! испуганным голосом воскликнула Настасья Дмитриевна, дойдя до этого места.

— Вызовут, так само собой вернется, повел на это плечом "технолог".

— "Вызовут!"… Кто?

Он поглядел на нее сверху вниз:

— Известно, кто: мы.

— Для чего, на что он нужен вам?

— Ну, уж это дело не ваше!

Она поледенела вся; ей ясно представилось, что они могут вызвать его лишь для какого-нибудь темнаго, "ужаснаго" дела. Рыдание сперлось в ея горле.

— Уходите, довольно! махнула она ему отчаянным движением.

— Это с чего вы? хрипло спросил он, насупившись и кусая губы.

— Оставьте вы его, пощадите! растерянно вырвалось у нея.

— Эх вы! гражданского-то чувства ни на грош не осталось! Поганый, узкий эгоизм семейного курятника... А ведь из вас, пожалуй, мог бы толк выйти, добавил он чрез миг, как бы с сожалением окидывая ее новым взглядом.

Она как бы встряхнулась вся от этих слов.

— Довольно, я вам сказала, перебила она его:- мне говорить с вами более не о чем.

— И мне-то более нечего с вами толковать, высокомерно возразил он, — а только вот что: болтать о том, что я в вам сюда приходил, я вам не советую.

— Я от вас советов никаких принимать не намерена и ни к чему не обязываюсь.

— Ну, это вы лжете, самоуверенно и дерзко отрубил он, — потому знаете, что у нас по Моисееву закону: око за око, зуб за зуб; за себя не боитесь, так ведь руки у нас длинныя, до Володьки достанут.

И так действительно безпощадно-страшно сверкнул пристально остановившийся на ней взгляд его при этом, что слова замерли в ея горле и веки сожмурились во мгновенном, нервном испуге, побороть который в эту минуту была она не в силах.

Когда открыла она их опять, "Волка" уже не было в комнате.

IX

"Волк", выходя от Настасьи Дмитриевны, походил действительно на того зверя, названием которого окрещен был в обществе своих единомышленников. Он весь, словно ощетинясь и сверкая запламеневшими глазами, быстро шагал по пыльной дороге, направляясь обратно ко Всесвятскому по тому же образу пешаго хождения, по которому пришел и оттуда в Юрьево. Десяти, пятнадцативерстные переходы были шуточным времяпровождением для человека, исходившего сотни таких верст по Забайкальским вершинам и низям, в пору бегства его с каторги. Он воспользовался сегодня отлучкой дня на два по заводским делам начальника своего, Владимира Христиановича Пеца, в Москву и, выйдя из села с палочной в руке как бы для прогулки, отмахал в три часа разстояние, которое мужицкая лошадь едва успела бы пробежать своею мелкою рысцой за это время. Неутомим был "Водк" и телом, и вечною кипенью своего духа. Но дух этот был возмущен в настоящее время перенесенной им сейчас "неудачей". Он никак не ожидал, что будет возвращаться "от этой особы" ни с чем. Ему в Москве, откуда отправлялся он с известною нам карточкой Мурзина к Троженкову, было

"положительно" сказано, что он "в весьма непродолжительном времени получит известныя инструкции и деньги чрез эту самую особу, имевшую ехать в ту местность". Он знал особу эту издавна, знал за сестру "Володьки" Буйносова, "выученика" своего в "деле революции", и которая в "те дни" единомыслила с братом во многом, а теперь, полагал он, после ссылки этого любезного ей брата, и "совсем, должно быть, готова, — не даром же состояла она", по соображению его, "в кружке такого человека, как Мурзин"... И вдруг — "осечка": никаких инструкций", и не своя, а враг — прямой враг, и к тому же "характер", с которым ничего не поделаешь (он был слишком опытен в практике борьбы с чужою волей, чтобы не понять сразу, с кем приходилось ему иметь дело). Он и не пытался, как мы видели, переубеждать, ни даже вовлечь ее в серьезное разсуждение; "плюнул и ушел", говорил он себе теперь фигурально, "зарубив ей только на память, что руки у них длинны и что, в случае чего, не сдобровать ни ей, ни Володьке". "И придушим, коли что", бормотал он на-ходу сквозь судорожно стиснутые зубы. Но в груди его шевелилось и что-то другое, похожее на безпокойство. Он был не доволен и Мурзиным, и собою... "Как же так, зря, прямо указать, что вот такая-то передаст тебе... А она вон что за тварь выходит... И теперь она меня с лица признала, и чорт ее еще знает, не способна-ли она действительно"... "Волк" не договаривал и нервно надувал щеки. "И никакого извещения ни из Москвы, ни из Питера, оставаться, аль махнуть в Киев, на свидание с тамошними, как было о том предположение. Деньги теперь есть, как бы опять на след свой жандармов не навести... Нет хуже, как вот так, Иваном Царевичем, на перепутьи стоять, вправо аль влево итти — не знать, а настоящее дело, может, в это самое время у тебя из рук выплыло". "Волк" был в некотором роде романтик этого своего дела. Оно влекло, обнимало, поглощало его всего этою своею именно романическою стороной, мрачною поэзией подпольного житья, безпрерывным напряжением нервов в безпрерывной битве за существование, блаженными минутами только-что избегнутой смертельной опасности и торжества изощренных обманов над вражьими предосторожностями и розысками. Он в самых неуспехах партии почерпал каждый раз новую бодрость, находил новые поводы к убеждению себя и товарищей в неминуемости ея ближайшей победы, умея с какою-то особою проницательностью отыскивать Ахиллесову пяту противника и изобретать новые виды и способы предприятий, направленных против него. В партии, или, говоря вернее, в среде высших руководителей ея, столько же ценили эти неотъемлемыя качества "Волва", сколько боялись безграничной дерзости его замыслов, в ту пору еще казавшихся слишком смелыми "многим". Он почитался "ничем не заменимым орудием", но "господином о двух головах, бьющим слишком на риск", а потому до самаго sanctum sanctorum революционного дела он не допускался. Тот таинственный Далай-Лама, в руках котораго, по догадкам "Волка", должны были сходиться в один узел все раскинутыя по России нити "движения", оставался ему неизвестен, как не известен был тем пешкам, которыми сам "Волк" самовластно двигал, личный персонал того загадочного "исполнительного комитета", во имя которого командовал "Волк"... Его до болезненности развитое самолюбие и алчность ко власти мирились не легко с тою оппозицией, которую нередко встречали его предложения у лиц, занимавших равное с ним положение в революционной иерархии, и которую объяснял он "несомненным"-де влиянием этого высшаго для них, а ему неведомаго и ненавистного уже поэтому авторитета; он и действовал, где мог, на свой страх, не советуясь с другими и пользуясь лично имеющимися у него под руками средствами и подначальною ему группой чистых "анархистов". В замысле и подготовлении покушения 2 апреля он играл значительную роль, успев с замечательною обдуманностью замести следы свои настолько, что действительное участие его в нем осталось не только не доказанным, но даже проблематическим для производившегося по этому делу в то время следствия. Обстоятельство это объяснялось главным образом тем, что настоящее имя "Волка", то, под которым судился он и осужден был в процессе ста девяноста трех, не значилось более в судебно-полицейских списках политических преступников. Он помечен был там утонувшим в одном из притоков Ангары во время бегства с завода, на котором должен был отбыть назначенный ему судом срок каторги, чему основанием послужило полученное от

сибирского начальства донесение с обстоятельным изложением подробностей этого случая и законно засвидетельствованными показаниями двух Бурят и какого-то казака, представивших даже выброшенную на берег течением шапку бежавшего, после того как сам-де в виду их, свидетелей, преследовавших его, "пошел ключом ко дну, не доплыв и до половины реки". Насколько при этих показаниях обманывали, или сами обмануты были помянутые свидетели — вопрос, на котором мы останавливаться не станем. Но законно засвидетельствованный факт смерти известного по Жихаревскому процессу революционера отнимал естественным образом у следователей всякий повод узнать его в лице, промелькнувшем нак-то сбоку в разследовании настоящаго преступного дела. "Волк" был для них лицо новое, без живаго образа, с неизвестным прошлым, на котором можно было бы построить какую-нибудь близкую к истине гипотезу для уразумения степени его личного участия в преступлении. Он мог поэтому без особенных затруднений выбыть из Петербурга и найти в Москве указание, куда итти дальше для исчезновения и вовсе на время с "главной арены движения"... У Троженкова, как нам известно, узнал он о заводе во Всесвятском и о владеющем оным "магнате", и весьма основательно разсудил, что надежнейшее на нужное ему время отдыха убежище может он найти под кровом этого "аристократа", под которым "менее всего", конечно, станут искать его "шпионы".

В разсчете своем "Волк" не ошибся и мирно проживал уже третью неделю под крылом Владимира Христиановича Пеца, занимаясь немудреным делом заводской переписки, трапезуя здорово и сытно и внушая возрастающее с каждым днем доверие ближайшему начальнику своему тем усердием и "безответностью", с которыми он вел свое письменное дело и исполнял кое-какия поручения, которыя давались ему собственно по заводу... На заводе он близко присматривался и прислушивался в нравам, настроению и суждениям рабочих — и со свойственною ему сообразительностью смекнул с первых же разов, что "никакой пропаганды" тут вести нельзя. Рабочим было слишком жить хорошо при тех "Лассалевских" порядках, как выразилась когда-то Настасья Дмитриевна Буйносова Владимиру Христиановичу[84], которые введены были в заводское положение Всесвятского, чтоб оставалась малейшая надежда возбудить среди них смуту. Да "Волк" и не думал о "пропаганде". Он один из первых в партии уразумел ложь и тщету хождения в народ и давно обозвал ее "идиллией тупоголовых баранов". "Не с того конца, по-дурацки начато", проповедывал он своим: "бей по голове, и во имя ея же веди массы к анархии"... Не даром же Володя Буйносов, послушный ученик его, еще до ссылки их обоих говорил сестре, что Русский народ можно поднять только "из-за царя, а не против царя"...[85] "Волк" поэтому внимательно выслеживал то впечатление, какое недавнее покушение на жизнь "Государя-освободителя" должно было произвести на это многочисленное и почти все грамотное, следовательно "более развитое", заводское население. Но случаев разговаривать с ним представлялось ему мало: на работе каждому было не до болтовни. А на "откровенныя беседы" в кабаке разсчитывать было нечего, так как и кабаков-то ни одного верст на пять кругом "Троекуровского царства" не существовало. Оставались одни воскресные дни, в которые имелась возможность, прогуливаясь вечерком по ближайшим деревням, присесть на заваленке в "калякающим старикам" и мало-по-малу навести искусно разговор на желанную тему.

Так и удалось сделать на днях "Волку", но воспоминание об этой недавней его беседе с "мужичьем", рядом с тем, что он только-что вынес из разговора с Лариной, усиливало еще в нем теперь то "сознание неудачи" и назойливое какое-то чувство безпокойства, с которыми возвращался он во Всесвятсвое.

Он шел быстрым, гимнастическим шагом, глядя себе под ноги, весь погруженный в невеселыя размышления.

Шум мчавшегося за ним по дороге экипажа заставил его первым, безсознательным движением кинуться в сторону за кусты, мимо которых, рядом с дорогой, лежала протоптанная пешеходами тропинка, и, уже скрытый этими кустами, глянул он на перегонявшую его коляску четверкой, в которой, глубоко задумавшись в свою очередь и прямо глядя пред собою из-за опущенной вуали, ехала по одному с ним направлению сестра "Володьки Буйносова".

"У, проклятое барское отродье"! пробурчал ей "Волк" во след с невыразимою ненавистью.

Был уже час осьмой на исходе. Экипаж Лариной давно перегнал его. Вот и последняя, верстах в двух от Всесвятского, лежащая на пути его деревня Бужарово. Он зашагал по длинной, единственной улице ея, заворачивавшей крутым поворотом к мосту, перекинутому через протекавшую тут грязную речку, и, очутившись за этим коленом ея, остановился внезапно под инстинктивным впечатлением какой-то сразу почуянной им опасности.

У крайней, тотчас им узнанной, большой чистой избы, на приставленной к стене скамейке сидел его патрон, "генерал", а рядом с ним длиннобородый, седой как лунь старик, которого "Волк" точно так же узнал, — хозяин этой избы. Уложив руки на колени и обернув опущенную голову к своему собеседнику, он повидимому передавал ему нечто, чему тот внимал, не отрываясь от него взглядом. Расположившиеся по другой стороне улицы несколько человек пожилых крестьян следили оттуда с заметным любопытством за этим разговором, представлявшим для них, надо было полагать, какой-то особый интерес. Один из них держал под уздцы красиваго караковаго иноходца, впряженного в легкий кабриолет, в котором очевидно приехал сюда " генерал".

Первым, таким же инстинктивным побуждением "Волка" было — бежать. Но он был слишком опытен и властен над собою, чтобы отдаться этому первому движению. Бежать приходилось бы по той же улице, вперед или назад, на-виду у всех... К тому же тут лошадь: "нагонит, сшибет сразу. А тут, может, и вовсе не о том"... пронеслось и не досказалось в его мозгу.

— Да вот этот самый человек и есть, громко проговорил в эту минуту седой старик, увидав его первый своими зоркими мужицкими глазами, выпрямил свою согбенную спину и указал на него быстро протянувшимся в сторону подходившего пальцем.

Троекуров так же быстро обернулся на него.

Будто только ожидая этого, группа любопытствовавших двинулась к ним стеной чрез улицу.

"Волк", как бы не слыхав сказанного и не обращая ни на кого внимания, зашагал опять вперед, небрежно помахивая палочкой.

Но пройти мимо самого "генерала" и притвориться, что не заметил его или не узнал, было бы черезчур "нелепо", разсудил он, и, не доходя шагов пяти до Бориса Васильевича, снял шляпу, не замедляя шага и прищуриваясь каким-то невольным морганием век на лесную чащу, зеленевшую по другую сторону моста, к которому направлялся он.

— Пожалуйте сюда! услыхал он повелительный голос.

Он остановился, поводя глазами с видом человека не увереннаго, что кличут именно его.

— Подойдите, я вас зову, повторил Троекуров.

"Волк" двинулся еще на шаг, поднося опять руку к шляпе.

— Вы состоите у Владимира Христиановича в конторе в должности письмоводителя?

— Так точно, ответил он, как бы с некоторым удивлением: ты, мол, знаешь, так зачем спрашивать?

— Фамилия ваша Бобруйский?

— Бобруйский.

"Генерал" обернулся к старику:

— Он?

— Самый он и есть, как сказывал тебе, ваше превосходительство. Не один я, вот соседей спроси, указал старик на подошедших крестьян, — все тут слыхали, как он этто ономнясь расписывал.

— Чаво это?

— А на счет того самаго, что господа быдто на Царя убивцу выслали.

— Так, так, знамо тот самый. Безпременно, баит, господское это дело, потому некому как им… Батюшка-Царь народ из-под земли вырыл, всем тракт показал, землей оделил, так за эвто, мол, самое господа извести его хотят, милостивца нашего, загалдели крестьяне.

Приземистый, кривой мужиченко подполз под самое ухо Бориса Васильевича:

— Смутьян, ваше превосходительсгво барин, возмущал нас поистине!…

— Может, сам он из ихних, из эвтих самых некудашев, пробасил другой, взирая на "Волка" с лютым лицом и неестественно вытягивая шею в его сторону.

— Хорошо, вымолвил Борис Васильевич своим властным голосом, подымаясь со скамьи:- не откажетесь подтвердить это, коли спросят вас?

— Это, тоись, это же, батюшка?

— Исправник, следователь, все равно, кому требоваться будет.

Крестьяне не успели ответить. "Волк" браво выступил вперед.

— Что это вы показывать будете? спросил он, поводя кругом искривившимися злым пламенем глазами.

Крестьяне как бы смутились на миг и подались назад, не отвечая.

— Чаво вы, испужались что-ли? выговорил укорительно все так же оставшийся сидеть на скамье старик:- при вас говорил, сами сейчас пред генералом показывали.

— Да что я говорил, дурачье? принялся вдруг смеяться "Волк", — сами болтали: "Бают, говорили, что царя господа извести хотят", — а я вам на это: "И я, говорю, слыхал, да только мало-ли что люди врут"…

— Не… неправда твоя… Сам об этом зачал. Доподлинно сказывал, что господа… И про

присягательную господчину тоже, и про все прочее таковое… заголосили кругом.

— Врете вы, олухи! протестовал со своей стороны обвиняемый.

— Подай, брат, сюда лошадь! крикнул Троекуров державшему ее. — Вы во Всесвятское шли? обернулся он к "Волву".

— Домой, пробормотал неуверенным голосом тот.

— Так я вас довезу. Садитесь.

— К чему-жь это? я и сам дойду… Для чего вам безпокоиться, ваше превосходительство! поспешил он принять тон, имевший соответствовать подначальному положению его относительно "патрона".

— Садитесь, говорю вам! повторил Борис Васильевич тоном, в свою очередь не допускавшим возражения.

"Волк" быстрым взглядом обежал еще раз окружавших и молча вскочил в кабриолет.

Троекуров сел подле него, подобрал вожжи.

— Пусти, спасибо!

Крестьянин, державший лошадь под уздцы, отошел в сторону.

— Прощай, Капитон… Сиди, сиди, ноги у тебя плохи! крикнул он владельцу избы, пытавшемуся подняться с места на прощание с барином, "генералом".

— До свидания, ребята!

— До свидания, батюшка, ваше превосходительство, счастливо оставаться! зазвучали хором голоса^ закивали усердно крестьянские бороды и затылки.

Добрый конь понесся, плавно перебирая ногами. Мостоныя бревна гулко задрожали под ними… Дорога пошла лесом.

— Я, ваше превосходительство, заговорил вдруг Бобруйский, — никак не могу понять смысла того, что сейчас тут произошло. Я в чем-то будто обвиняюсь, между тем как…

— Я с вами не говорю, не дал ему продолжать Борис Васильевич.

Он не глядел на него и правил, рачительно сдерживая иноходца на рытвинах и колеях плохой лесной дороги.

"Задушить тут тебя сразу, а сам в лес"… промелькнуло опять в мозгу "Волка". Но он тут же машинально дернул плечом и погрузился в размышления. "Попался, да не совсем еще. Разсчитает, само собою, беда не большая: на первое время у этого Троженкова схорониться можно, а там увидим… Вот если полиции выдать думает, так тут опять вопрос: к чему придраться могут? Разговор с крестьянами — ерунда; на том и стоять буду, что они же говорили, а я только то и сказал, что действительно уже об этом слышал, но что это, мол, одне людские враки".

И "Волк" с проясненным уже челом глянул искоса на сидевшего рядом с ним "генерала"…

"Безстрашный тоже!" промолвил он мысленно, с какою-то странною смесью одобрения и прирожденного чувства ненависти к "барской породе" взирая на невозмутимо спокойный облик этого "господина", которому очевидно и в голову не приходило, что помещавшийся рядом с ним человек не обинуясь задушил бы его тут же, в этом лесном безлюдьи, еслиб это действительно понадобилось ему в эту минуту.

Из-за деревьев мелькнули красныя стены и высокая дымящаяся труба завода Всесвятского, и кабриолет, огибая его, подкатил ко крыльцу небольшаго флигеля, служившего помещением Владимиру Христиановичу Пецу. На крыльце его, с сигарой в зубах, сидел кто-то, одетый в полицейский мундир, вид которого заставил "Волка" безсознательно сморщиться. "Вот оно что, ждал меня, чорт!... Обыск, знать, произвел ужь", сообразил он тотчас же — и тут же усмехнулся: "да найти-то ничего не нашел".

Он угадал не совсем верно.

— Вот господин Бобруйский, проговорил Борис Васильевич, кидая вожжи выбежавшему на стук его кабриолета слуге управляющаго и подымаясь по ступенькам крыльца в исправнику.

Тот приложил учтиво руку к фуражке в знав благодарности и, не теряя времени, обратился к "Волку":

— Господин Бобруйский, так?

— Сказали вам сейчас! грубо вырвалось у того в первую, минуту.

— Состоите здесь письмоводителем в конторе? продолжал исправник совершенно спокойно.

— Состою.

— Давно?

— Третья неделя будет.

— Паспорт имеете?

— Без того не приняли бы, полагаю, уже как бы шутливо и спокойным, в свою очередь, тоном возразил спрашиваемый.

— Где он?

— Взят от меня, как водится, управляющим здешним, господином Пецом.

— Он, к сожалению, в Москву уехал дня на два, сказал на это Троекуров.

— Все равно-с, ваше превосходительство, улыбнулся "Волк", — поспорт я сейчас могу предоставить, потому он у меня же со всеми прочими в конторском шкапу.

Исправник и Борис Васильевич невольно переглянулись: "что у таких людей всегда паспорты в порядке, само собою разумеется", пронеслось у обоих их в мысли.

— Я вас попрошу, отнесся опять исправник к "письмоводителю", — провести меня в занимаемое вами здесь помещение.

— Сделайте милость.

И он, повернувшись, зашагал к заводу, где в особом флигеле для служащих отведена была ему комната.

Исправник и Троекуров пошли за ним.

Навстречу им попался шедший из своей школы учитель Молотков с одним из механиков завода.

— Я попрошу вас, сказал им Борис Васильевич, — последовать за господином исправником; ему нужны будут понятые люди. добавил он, чуть-чуть усмехаясь, и кивнув им, направился к себе в дом.

Проворный отставной служивый, состоявший сторожем по коридору, на который, в числе других, выходила комната, занимаемая Бобруйским, поспешно отворил ее имевшимся у него двойным ключом. В ней, кроме мебели и белья, с которыми отдавались эти помещения под жительство всех служащих на заводе должностных лиц, не оказалось на первый взгляд ни одного предмета, принадлежащаго лично постояльцу ея, ни платья, ни сапогов, ниже чего-либо иного.

— Что же вашего тут есть? спросил у него невольно исправник.

Бобруйский засмеялся.

— Что на мне видите, подчеркнул он, — то и есть.

— Девствительно, что ничего у них нету, ваше вскородие, окромя что на себе, да перемены одной из белья, счел нужным подтвердить сторож, отворяя на обе половинки вделанный в стене шкап, в котором "девствительно" оказалась одна свеже вымытая ситцевая рубаха с косым воротом. — Сак-вояж был с ними такой махонький, как они прибыли к нам, а больше ничего и не видал я у них.

На лице учителя Молоткова выразилось чувство какой-то щемящей жалости к "несчастному: "

— Я слышал точно от Владимира Христиановича Пеца, что господин Бобруйский явился к нему в крайней нужде, с тем, что имел на теле… и даже сутки не евши.

Лицо исправника осталось безстрастным.

— Где ваш этот сак-вояж? спросил он.

— Можете полюбопытствовать, ухмыльнулся еще раз Бобруйский, шагнув к кровати и вытаскивая из-под лежавшей на ней подушки подержаную до ветхости кожаную сумку с плохо державшимся на ней медным ободочном замка, который он тотчас же и раскрыл на обе стороны. В ней оказалось несколько медных пятаков и десяток папирос, завернутых в оборванный кусок газетного листка, на оголовке которого в глаза исправника тотчас метнулся день его выхода: 3 апреля 1879 года.

Он быстро и зорко взглянул в лицо "письмоводителю". "Что взял!" прочел он как-то инстинктивно на этом лице.

Исправник тут же опустил глаза на высокие, забрызганные грязью сапоги "Волка".

— Я попросил бы вас разуться, сказал он.

Всклокоченная голова Бобруйского вскинулась вверх неудержимым движением:

— Это вам на что же?

— Я вас попрошу исполнить мое требование, медленно, но с неотразимою настойчивостью произнес тот.

— Да что вы меня в воровстве каком подозреваете! вскликнул тот, сверкая глазами.

— Сапоги долой, говорят вам!

Дикая натура "Волка" не выдержала. Быстрым, мгновенным движением запустил он руку в сапог под сгиб голени… Что-то блестящее, металлическое сверкнуло в нем — и тут же звякнуло на пол, выбитое кулаком кинувшегося на него сторожа.

— А-а, револьвер, так и надо было ожидать, невозмутимо проговорил исправник.

— Разувайтесь, господин, коли сказывают, говорил между тем бравый служивый, стискивая "для предосторожности" кисть руки Бобруйского до боли.

Механик, вошедший с Молотковым, шагнул к нему в свою очередь, видимо возмущенный оказавшимся в сапоге револьвером и готовый со своей стороны воспрепятствовать всякой дальнейшей попытке виновного к сопротивлению.

— Это не законно, я протестую! хрипел в бешеном сознании своего безсилия тот.

— Выворачивай! скомандовал коротко исправник сторожу, между тем как Молотков, волнуемый самыми противоположными чувствами жалости, негодования, брезгливости, отворачивался морщась к окну.

— Пакет какой-то, ваше вскоролие! вскликнул сторож, отворотив голенище и запуская руку до локтя в глубь одного из сапогов: — деньги, стало быть, доложил он тут же, вытаскивая оттуда и протягивая исправнику пачку ассигнаций, обернутую в порванный лоскут носоваго платка.

Исправник взял их и, обернувшись в Молоткову:

— Не потрудитесь-ли пересчитать? сказал он, кидая пакет на близ стоявший стол.

Молодой учитель, с заметным отвращением перекидывая ассигнации ногтем указательного пальца, перечел их.

— Четыреста семьдесят пять рублей, выговорил он тихо и как бы чрез силу.

— Это ваши деньги? отнесся исправник к Бобруйскому.

— Значит мои, коли у меня нашли, отрезал грубо тот.

— Это не резон, чуть-чуть усмехнулся исправник: — сейчас было заявлено, что вы пришли сюда "в большой нужде" и даже голодный.

— А с тех пор я мог и получить, почем вы знаете!..

— Бумажка какая-сь, доложил в это время сторож, шаривший в другом сапоге.

— Покажи!

— Это был обрывок какого-то, наполовину вылинявшего письма, некоторыя строки которого можно было однако прочесть без затруднения. Затруднение, как мог тотчас же в этом убедиться исправник, заключалось в их содержании: оне не представляли никакого смысла и походили на какой-то безсвязный подбор слов, какия пишутся иной раз для пробы новаго пера. "Шифр", сказал он себе мысленно.

— Больше ничего? спросил он опять у сторожа.

— Ничего, а ни-ни, ваше вскородие, ответил тот, захватывая сапоги за подошвы и встряхивая их, обернув голенищами 'вниз.

— Позволите обуть, значит, опять? иронически и с полным уже хладнокровием спросил "письмоводитель".

— Можете... А затем попрошу вас передать мне ваш паспорт:- вы говорили, что он у вас где-то в шкапу.

— В конторе, точно так... Могу свободно итти, или почтете сперва нужным связать мне руки назад, как мазурику? спросил "Волк" тем же хладнокровно глумящимся тоном.

— Мы пойдем за вами, ответил на это просто исправник, давая ему этим понять, что не считает нужным принимать с ним какия-либо "экстраординарныя меры".

Слух об "обыске у письмоводителя" успел уже между тем разнестись по всему заводу. Целая толпа набралась в коридор, теснилась у дверей комнаты....

— Позвольте пройти, господа, говорил исправник, выходя из нея вслед за Бобруйским, — и ничего любопытного нет, я попросил бы вас разойтись.

Оттеснились, но не послушались, и вся толпа длинным хвостом потянула за направлявшимися в контору лицами.

Известное уже нам свидетельство, выданное из Технологического Института бывшему студенту Бобруйскому, оказалось действительно в шкапу в числе конторских бумаг.

— Хорошо-с, сказал исправник, укладывая его в карман:- я попрошу вас подождать меня здесь минуту.

— А мои деньги! вскликнул "письмоводитель".

— Оне будут переданы мною здешнему владельцу и, если окажутся действительно вашими, будут возвращены вам в свое время.

— Это когда же, то-есть? крикнул "Волк".

Исправник не отвечал, обвел глазами комнату с набившимся в нее народом и вышел, направляясь к дому. "Волк" в свою очередь довел вокруг себя взглядом зверя, попавшегося в клетку. "Уйти нельзя", это было для него ясно. Он презрительно ухмыльнулся; опустился на стул и, обернувшись на Молоткова:

— Папироску можете дать? уронил он высокомерно, будто одолжая его этим обращением к нему.

Тот молча, стараясь не глядеть на него, протянул ему свой порт-сигар…

— Владимира Христиановича нет, и я не могу сказать наверное, отвечал Троекуров на сообщение зашедшаго к нему для этого исправника о результатах обыска, — но заранее поклясться готов, что найденныя вами деньги не похищены у нас. Эти люди подкапываются под казначейства, но не таскают платков из кармана. Во всяком случае вопрос о воровстве следует, мне кажется, вовсе устранить. Он пришел сюда с этими деньгами…

— И я то же думаю, кивнул утвердительно исправник.

— А нужда и голод пущены были в дело в виду разжалобить моего доброго Пеца. Надо было ему усесться тут, найти надежный центр, откуда мог бы он раскинуть свою паутину…

— И не глупо придумано, усмехнулся его собеседник:- если его ищут, так менее всего, разсчитывал он, сунутся сюда…

— Во владения такого известного ретрограда, как ваш покорный слуга, усмехнулся слегка Борис Васильевич:- это верно. И действительно мог бы он прожить здесь долго в полной безопасности: мой добряк Пец в восхищении был от его исправности и скромности. Да натура не выдержала, языка сдержать не мог.

Троекуров передал о показании крестьян и о предварительном разговоре своем со стариком Капитоном, умным и степенным домохозяином, которого он давно знал и любил и который со своей стороны питал в "генералу" полное, так редко теперь встречаемое в отношениях "народа" к "господам", доверие.

— Спасибо вашему превосходительству, сказал исправник, — без вашего содействия, на формальный спрос, который нужно мне будет им сделать, крестьяне, пожалуй, не стали бы отвечать откровенно, а теперь им отказаться нельзя: я сошлюсь на то, что они вам говорили.

— Пожалуй. Вы человек новый в уезде, они вас еще не знают. Ну, а мне они съиздавна привыкли верить… А впрочем они такого франта ни в каком случае покрывать бы не стали: не любит у нас народ этих некудашек.

— "Некудашек"? повторил вопросительно исправник. Борис Васильевич усмехнулся.

— Не слыхали до сих пор? Удивительно меток наш народ на прозвища. Некуда итти, некуда деваться, ни на что негодный человек…

— Да, видно не долюбливает он их. Я, признаюсь, несколько удивился даже поспешности, с которою прибежал мне об этом донести сотский из той деревни, прямо, помимо становаго…

— Тут все того же Капитона рука. Без ног уж старик, еле движется, а все знает, все видит и всем ворочает там… Когда вы заехали сегодня сообщить мне об этом, я разсудил, что я скорее, или вернее, ближе узнаю от него всю подноготную, и просил вас обождать меня здесь, пока сам съезжу. Оказывается, что этот "некудашка" действительно под видом прогулки являлся уже несколько дней сряду по вечерам в деревню, прилаживался к крестьянам и заводил издалека разговор о событии 2 апреля, которое гораздо более волнует народ, сказать кстати, чем это вообще могут думать. Норовил он подделаться совершенно под негодующее чувство крестьян и страх их за любимаго Царя, так что на первых порах они относились к нему как бы даже сочувственно. Ну, а затем он и начал на тему "господского", будто бы, заговора "против Царя-Батюшки, желающаго-де наделить народ остающеюся у помещиков землей, а господ взять всех на жалованье". Тут они и насторожились; проповедь эта в нашей местности

никакого успеха иметь не может... И с этой стороны, смею сказать, выговорил Борис Васильевич с какою-то невольною гордостью, — мое почти двадцатилетнее пребывание здесь не осталось без доброго влияния. Что ни толкуй наши умники о прирожденном, исторически развившемся будто недоверии и недобрых чувствах "мужика" к "барину", я смело скажу, что это ложь, будь только барин настоящий, а не прощалыга-эксплуататор или не петербургский верхогляд. Меня здесь знают крестьяне на сто верст кругом и из-за ста верст приходят за советом...

— И за помощью, Борис Васильевич, я это знаю, в которой вы никогда не отказываете.

— Не отказываю, нет, потому что знают, что я даю ее только тем, кто в ней истинно нуждается, а дармоедов, норовящих сорвать "что из милости" у человека имущаго, гоню в шею. И это народ здесь понимает и, позволю себе сказать опять, уважает меня, может быть, более всего за то именно, что я никаким дрянным людишкам потачки не даю...

Он оборвал вдруг, как бы застыдясь того, что так долго говорил о себе...

— Вы, говорите, нашли у него лоскутов письма какого-то шифром?

Исправник вынул этот лоскуток из кармана и протянул ему:

— Да, и такой же клочок оборванного газетного нумера от 3 апреля, — дня, то-есть, когда в газетах сообщены были первыя известия о покушении... Это конечно ничего не значит: он мог, как и всякий другой из публики, купить экземпляр газеты, где бы то ни было, из любопытства узнать подробности события, всех поразившего... но мне что-то говорит, что куплен он был в Петербурге, а что следовательно молодец этот прибыл оттуда прямым путем в нашу местность.

— Очень может быть, по времени сходится... Вы его увезете с собою?

И глаза Троекурова заморгали.

— Непременно.

— И?..

— Отберу показания от крестьян, а его посажу, а затем сдам жандармам.

Борис Васильевич только кивнул.

— До свидания, еще раз благодарю, ваше превосходительство.

Исправник пожал протянутую руку хозяина и вышел.

В конторе состояло все, по-прежнему. Бобруйский, сидя у конторского стола, молча и сосредоточенно курил папироски одну за другою, безцеремонно вынимая их из оставшегося лежать на столе порт-сигара Молоткова. Молодой учитель, отвернувшись от него, барабанил машинально пальцами по стеклу закрытаго окна, пред которым стоял. В душе его продолжало бороться чувство жалости с воспоминанием о неприятном впечатлении, какое произвел на него "письмоводитель" при первой его встрече с ним у Владимира Христиановича Пеца и об одном случайном его разговоре с ним на совместной прогулке по саду Всесвятского, в котором "этот человек" — Молотков это еще тогда заметил, но пропустил без внимания, — как бы старался выведать, каких именно "убеждений" держится он, Молотков... Еще увеличившаяся толпа любопытствующих все так же наполняла комнату и соседний коридор.

— Я прошу решительно, господа, выйти отсюда, с неудовольствием выговорил исправник, входя:- Ваше присутствие здесь совершенно лишнее… Не угодно-ли вам будет собраться ехать со мною? отнесся он к своему арестанту.

— Куда это? спросил тот с тою же опять презрительною усмешкой безобразных губ, которая давала его наружности какой-то особенно антипатичный характер.

— Пожалуйте! сказал на это исправник, движением руки показывая ему на дверь.

— Сила солому ломит, хихикнул "Волк" во весь рот, подымаясь с места:- будь по-вашему.

И он неспешным, тяжелым шагом вышел в коридор.

У крыльца стояла тройка под тарантасом исправника.

— Ваше высокородие, подбежал к нему и залепетал механик, свидетель при обыске,- не прикажете-ли к вам на козлы сесть? Дорога у нас, куда ни ехать, скрозь лесом пойдет, так чтобы не вздумал на езде-то выскочить и бежать.

— А что же, пожалуй, садись!..

"Волк" сам между тем вскочил в тарантас и разселся, продолжая дымить папироской в углу его, с видом человека, собирающагося в приятное путешествие и желающаго совершить его самым комфортабельным образом.

Исправник сел в свою очередь. Механик полез на козлы.

— Трогай!

— Куда прикажете? обернулся кучер.

— В деревню Бужарово. Знаешь?

— Я знаю, отозвался механик:- из ворот направо.

— Кланяйтесь Владимиру Христиановичу, авось скоро увидимся, крикнул бравурно "Волк", подымая голову в окну конторы, из которого отворивший его Молотков глядел невеселым взглядом на отъезжавших.

Тарантас покатил.

X

Dem bösen Geist gehört die Erde,
Nicht dem guten.

Schiller. Wallensteins Tod.

Степан Акимович Троженков стоял на крыльце своего дома в Быкове, готовясь сесть в поданную ему тележку и ехать по своим кабакам, когда хорошо знакомыя ему старыя дрожки покойной тетки графа Снядецкаго-Лупандина, в которых совершал теперь свои путешествия по окрестным весям приятель его Свищов, вкатили на двор, и сам он, завидев издалека еще хозяина, замахал ему поспешно шляпой с видом человека, имеющаго сообщить важную, нетерпящую отлагательства новость.

Троженков, велев своей тележке отъехать от крыльца, к которому подкатывал экипаж гостя, торопливо в свою очередь сбежал со ступенек к нему.

— Случилось что? спрашивал он не то с любопытством, не то с какою-то невольною тревогой, объяснявшеюся сильно озабоченным, чтобы не сказать мрачным, выражением лица московского "браво".

Тот соскочил с дрожек своих наземь, подхватил его под руку и, подымаясь с ним вместе опять вверх по ступенькам крыльца, зашептал ему на ухо многозначительно и угрюмо:

— Нарочно к тебе из города свернул, предупредить в случае, что ты тут можешь быть замешан...

— Что такое... в чем замешан? повторил Троженков дрогнувшим голосом.

Свищов оглянулся, нагнулся еще ниже к самому его уху:

— Этот твой-то, из Москвы, что собирал деньги на студентов...

— Ну?..

— Забрали!

Троженков побледнел:

— Жандармы?

— Исправник вчера вечером из Всесвятского привез.

— В острог?

— Известно.

— С чего это?

— Не знаю. Факт только тот: привез и посадил... А ты надуть меня вздумал намедни: "в Воронежскую, мол, губернию, на родину свою отправился". А он во куда затесался: в самому магнату на завод!

— Так я почем же знал! Как сказывал он мне, так и я тебе...

— Ври больше!..

— Да ты говори настоящее, заметался Степан Акимович:- видел ты его сам что-ли?

— Где-жь сам! Говорю, вчера привезли, а я только сейчас ездил туда... Сторож управский, Ефим, передавал...

— А с чего-жь Ефим этот его знает, того?

— И не знает он его совсем, а только видел, как приехал с "каким-то" исправник, а от кучера исправникова узнал, что "с завода с генеральского". "Повез, говорит, его сначала на квартиру жандармского подполковника, да того дома не было:' уехал в кому-то в гости в деревню. Следователя тоже в городе нет. Так он его в острог и сдал от себя"... И как описывал его с лица

Ефим, никто это другой, как он.

Троженков слушал, видимо смущенный и растерянный, устремив на говорившего как бы вдруг совершенно потухшие глаза.

— Что, брат, штука скверная, проговорил его приятель с какою-то смесью иронии и сожаления, косясь на него в свою очередь:- говорил я тебе, не сдобровать… А я, поспешил он вдруг прибавить, — так это наперед и знай, коли потянут меня в допросу, все покажу, как было, что он у тебя с нами ужинал и собирал пожертвования на "преследуемую правительством учащуюся молодежь", и что я один на это денег не хотел дать, потому я приверженец порядка, законности и прочаго…

— Ну, это брешешь, ответил нежданно Троженков, подымая голову и как бы совершенно уже совладав со своим первым впечатлением, — не покажешь, потому что деньги давал и твой граф петербургский, а он у тебя теперь первый козырь в игре.

Московский "браво" расхохотался теперь уже во весь рот.

— Не напугаешь ведь тебя, старую лису, всякую штуку знаешь… А все же дело скверное и для тебя, как я понимаю, заговорил он опять серьозным тоном: — если станут выслеживать и доберутся, что он у тебя тут был… Сам он конечно не покажет, люди эти не выдают своих.

— Да ты с чего-жь взял, что я ему "свой"? воскликнул с каким-то даже не совсем лицемерным негодованием Степан Акимович:- видел я его тут, как и ты, в первый раз от роду; отъявился он во мне с карточкой одного знакомаго…

Он опять задумался:

— Треба дело сие справить, пробормотал он и, подняв глаза на Свищова:- в Москву треба сейчас ехать, пояснил он.

— Эй, Федька!

Выбежавшему на этот зов малому он приказал уложить ему в сак перемену белья, гребешок и щетку и ждать его домой в завтраму вечером.

— Ну, заявил ему московский "браво", когда они остались опять на крыльце,- а я, так и знай, раньше в тебе не буду, как когда все это ты "справишь", не то, пожалуй, еще попадешься с тобою, а у меня, брат, кожа одна, не купленая, так я ее беречь должен.

— И береги, и береги себе ее, и ничего от тебя я и не прошу; тилипайся[86] соби, як знаешь, язвительно засмеялся на это Хохол, — ловкий ты, ловкий сам как лис и шельма прожженая.

— Не даром я, брат, хохотал на это в свою очередь тот, — все части света произошел, людей насквозь видеть научился.

Приятели затем, покивав друг другу самым дружелюбным образом, сели каждый в свой экипаж и покатили один вслед за другим в ворота, за которыми разъехались один вправо, другой влево.

Дорога была гладкая, лошади добрыя, и Степан Акимович успел прибыть в город за целый час

до отхода поезда в Москву. Он за это время повидался со сторожем Ефремом, шустрым и пронырливым малым, знавшим всегда и все, что происходило в маленьком городке, и от которого за "целковый рупь" можно было все проведать, и с секретарем мироваго съезда, желчным господином из бывших учителей уездного училища, ненавидевшим "по принципу", как выражался он, администрацию, — и убедился из их сообщений (секретарь жил прямо насупротив квартиры исправника и видел привезенного им вчера арестанта), что "забранный" во Всесвятском был действительно, как говорил Свищов, не кто иной, как явившееся в нему с карточкой Мурзина лицо, назвавшееся ему технологом Бобруйским.

В одиннадцатом часу вечера поезд привез его в Москву. Он взял извощика и велел везти себя в Старую Конюшенную.

Не доезжая шагов на двадцать до дома, где жил-тот, в кому он ехал, Троженков отпустил извощика, дал ему проехать далее и исчезнуть в ночной тме, а сам неспешным и осторожным шагом дошел до этого дома и дернул таким же неторопливым движением за пуговку звонка, блестевшего медным ободком при свете уличного фонаря.

Дверь полуотворилась и в ней показалась рослая фигура парня в сибирке, служившего в доме привратником.

— К кому вам-с? как бы недоверчиво оглянув быстрым взглядом прибывшего, спросил он.

— Желал бы видеть Степана Михайловича Мурзина, ответил тот скороговоркой:- дома он?

Парень ответил не сейчас:

— Дома-с… Только они в этот час не принимают, потому заняты…

— Меня он примет, я знаю, живо возразил Троженков.

— А как о вас сказать? спросил, подумав, тот.

Степан Акимович подумал в свою очередь. Он почитал "излишним" называть себя этому "подозрительному" привратнику…

— Погоди, вот сейчас.

Блестящая мысль осенила его. Он вытащил из кармана бумажник, а из бумажника сохранявшуюся там карточку самого Мурзина, с которою явился к нему арестованный во Всесвятском, быстро надписал на ней карандашем "от Бобруйского" и передал ее парню.

— Снесите ему сейчас.

Тот молча пропустил его в сени, запер за собою и за ним входную дверь и, указав ему рукой на ясеневый плетеный диван, приставленный к одному из боков подымавшейся вверх широкой лестницы, — посидите, мол, дома, — неспешно поднялся сам во второй этаж.

"Как до министра какого, сразу не допустят", язвительно говорил себе Степан Акимович в ожидании его возвращения.

Действительно, прошло минут десять, пока послышались ему опять шаги на лестнице и голос привратника, звавшего его сверху:

— Пожалуйте, просят.

Невзрачного вида пожилая женщина, с недобрым взглядом и подтянутыми к низу углами рта, приняла от него пальто в передней и молча кивнула подбородком на дверь первой комнаты, служившей гостиною, неосвещенной, или, вернее, освещенной только светом, исходившим из соседняго с нею кабинета хозяина. Троженков вошел, направляясь на этот свет.

Но в это время вышел к нему из кабинета сам хозяин, держа свечу над головой:

— А, это вы... Я никак не мог понять... Что-жь это вы прямо себя не назвали?

— Да у вас тут швейцар таким лютым глядит, будто на мазурика какого, пускать даже не хотел. Может, подумал я себе, вы чего опасаетесь, так я для верности вашу же карточку послал.

Мурзин сожмурился с видимым неудовольствием:

— Опасаться мне нечего, пропустил он сквозь зубы. — А к чему вы это приписали "от Бобруйского"? быстро спросил он тут же.

— А оттого написал, что приехал нарочно из села поговорить об этом с вами.

Тот внимательно глянул на него своими холодными, бледно-голубыми глазами и, указав ему на кабинет:

— Войдите пожалуйста, медленно выговорил он.

Он пропустил его вперед и, затворив за собою дверь, спустил обе половинки висевших над нею занавесей.

Гость уселся, по его немому приглашению, в кресле, стоявшем близ письменного стола, покрытаго всяким печатным и рукописным материалом. Сам хозяин опустился в свое рабочее кресло с деревянным сиденьем и спинкой и, наклонясь быстрым движением к гостю, спросил полушопотом:

— Где он теперь, во-первых?

— В остроге сидит, быстро прошептал тот в свою очередь.

— Во... Бобруйский? тут же поправился спрашивавший, и его как бы застывшие обычно глаза мгновенно блеснули, и широко раскрылись. — Давно?

— Вчера взяли.

— Где, как случилось? спрашивал Мурзин, проводя себе рукой по лицу с видимым намерением не дать заметить охватившего его волнения:- говорите!

— Что сам знаю, то и вам передам, ответил, поводя плечами, Степан Акимович, стараясь тоже казаться совершенно спокойным, между тем как глаза его тревожно допрашивали лицо собеседника, стараясь угадать по выражению его, насколько действительно грозил им обоим опасностью арест "этого человека".

Мурзин внимательно выслушал его разсказ. Он только слегка поморщился опять, когда Степан Акимович счел нужным повиниться ему в том, что произнес его имя при представлении Бобруйского своим гостям — "для авторитета", объяснял он, "потому без того, с какой стороны было мне рекомендовать сего неизвестнаго", — но не обратил видимо на это особаго внимания, весь поглощенный важностью самаго факта.

— Он арестован незаконно! воскликнул Мурзин, когда Троженков кончил: — исправник не в праве был motu proprio взять его без предварительного соглашения с судебным следователем… и в данном случае с уездным жандармским начальником, присовокупил он с брезгливою гримасой, — так как предполагается тут, разумеется, политическое, а не какое-либо иное злое деяние. Он может быть тотчас же освобожден на основании этого прокурорским надзором.

— И я то самое в голове держал, закивал одобрительно Степан Акимович: — колиб умница наш, Семен Семенович Тарах-Таращанский, товарищ прокурора, был сейчас в городе, я-б и к вам сюда не приехал, потому он сего небога сейчас выпустил бы; я знаю… он их всех, бисовых детей, становых да исправников як чорт ладону не терпит.

— Он теперь в Москве и в эту минуту даже винтит в клубе, сказал Мурзин, подымая глаза на стоявшие у него на столе часы: — можно было бы сейчас его повидать, промолвил он, как бы соображая.

— Доброе дело! закивал опять Троженков, примолк на миг, а затем:

— Время только теперича очень скверное, вздохнул он вдруг, — самое жандармское; может, он и не решится теперь, а?

И маленькие глаза его так и впились в лицо собеседника.

Та же мысль очевидно копошилась в это время и в мозгу Мурзина. Он весь как бы ушел в себя; острые белые зубы его нервно покусывали поджавшияся губы, недвижные зрачки не отрывались от тех же часов, на которые устремились они за минуту пред тем.

Так прошло еще несколько мгновений.

— А дать его увезти в Петербург нельзя… Нельзя, повторил он как-то странно веско.

— Нельзя? повторил за ним вопросительно и гость, впиваясь в него опять глазами.

— Нет… Человек нужный, ответил тот как бы про себя, все так же не отводя глаз от часов.

Троженков пододвинулся к нему с креслом на самое близкое разстояние и выговорил таинственно:

— Из главных он, а?

Мурзин, словно пробужденный внезапно ото сна, встряхнул головой и обернул ее в сторону гостя:

— Что это вы спрашиваете?… И кто-жь его знает: главный он, или не главный?… И на что он главный? Пустой это разговор только, извините! уронил он досадливо и пожал плечами.

— Так вы-жь сами говорите, возразил несколько обиженно Троженков, — что нельзя его дать на съедение жандармам.

— Ну да, говорю; грешно давать губить людей способных, преданных делу, на которых партия прогресса может возлагать твердыя надежды и…

Он вдруг разом оборвал и закусил губу.

— А он же погибнет, когда Тарах не выпустит его сейчас из острога, ядовито выговорил Степан

Акимович.

Мурзин обернулся на него теперь уже всем телом и проговорил, словно отчеканивая:

— А в таком случае придется вероятно его оттуда вызволить.

Троженков как-то невольно откинулся на спинку своего кресла.

— Кто-жь это его "вызволять" будет? машинально выговорил он.

— Не знаю... Вам, может быть, поручат.

— Мне? А не дай Боже! привскочил он даже на своем месте.

— Вы были бы не одни, конечно, еслиб это потребовалось, тем же медлительно веским тоном молвил на это Мурзин, — но содействие ваше, как человека, хорошо знакомаго с местностью и имеющаго там нужныя отношения, признают, может быть, необходимым.

Степан Акимович и руками замахал:

— А ну их всех!

— Не захотите, протянул Мурзин, — так так и скажете; ваше дело... Разумеется, примолвил он затем таким тоном, от которого у Троженкова пробежала мгновенно дрожь по спине,- принимая уже на себя и всю ответственность за те последствия, которыя может повлечь ваш отказ.

"Зарежут, отравят, серною кислотой обольют!" проносилось в перепуганном мозгу Степана Акимовича...

— Подумайте, залепетал он, — как же это я... никогда еще такой активной роли не приходилось мне играть...

— Потому что до сих пор не имелось в вас нужды. Но никто, принадлежащий к известному... лагерю, выговорил, как бы затруднившись на миг найти подлежащее выражение; Мурзин, — никто не в праве отказать в личном своем содействии, когда этого требуют общия цели.

— Общия цели, повторил, заикаясь от волнения, Троженков:- я, конечно, сочувствовал всегда, и не отказывал... У Герцена еще корреспондентом был, не страшился никого...

Собеседник его усмехнулся пренебрежительною улыбкой:

— Ну, дело-то теперь посерьезнее выходит, чем в розовую эпоху Герцена. Ведь вы идиллии с ним разводили в те дни; это младенческое состояние мысли давно пережито русским... освободительным движением, договорил он, опять приостановившись на миг на выборе соответствующаго прилагательнаго.

— Я до ваших тайн никогда допущен не был, не знаю; отозвался на это Степан Акимович.

Мурзин поглядел на него недовольным взглядом, точно так же, как несколько часов тому назад глядел сам Степан Акимович на приятеля своего Свищова, когда тот назвал Бобруйского ему "своим", и ответил ему почти такими же словами:

— Отчего же до моих, и какия такия тайны вы предполагаете? Я, как и все сочувствующие идее

прогрессивного движения, служу ей и борцам за нее, насколько позволяет мне это мое общественное, не только легальное, но и служебное положение, подчеркнул он, — а про те какия-то особенныя "тайны", на которыя вы почему-то намекаете, я ничего не знаю.

— Так все-жь больше, чем я, знаете, уже с некоторою ядовитостью возразил Троженков.

Тот чуть-чуть усмехнулся опять.

— Немногим, может быть, больше. Ступеней много на этой лестнице, до верху не добраться, вырвалось у него как бы невольно.

Но Степан Акимович чутьем почуял, что загадочность этих слов была намеренна и имела в виду произвести на него наибольшее впечатление, а вместе с тем что это впечатление и произведено на него действительно, и что его тут же объял опять какой-то неотразимый террор этой незримой, но безконечно вверх тянущейся "лестницы", с одной из "ступеней" которой, может быть, ему изречена гибель за ослушание... "Убьют, как пить дадут", пронеслось у него опять в мысли...

— Так вот что-с, заговорил после некоторого молчания Мурзин:- не придумает-ли он сам средства уйти... Человек он находчивый, прибавил Мурзин, которому, очевидно для Степана Акимовича, был хорошо известен "человек", со своей стороны говоривший ему, Троженкову, что он Мурзина "никогда не видал".

— А кто-жь его знает, может, и придумает, я про то ничего не могу сказать.

— А передать ему туда записку можете?

— Передать...

— Ну да, уже нетерпеливо проговорил Мурзин:- и в центральных тюрьмах с их инквизиторским надзором находят средство, а не то что в каком-нибудь первобытном уездном остроге... И не такую даже простую вещь, записку, а всякий инструмент, нужный для данной цели, отчеканил он в заключение.

Степан Акимович громко вздохнул:

— Постараюсь.

— Нет, уж вы пожалуйста так не говорите, — это должно быть сделано.

И от "грознаго, как блек кинжала", показалось Троженкову, звука этих слов пробежала у него опять дрожь по спине.

— Хорошо, исполню, промолвил он чуть слышно.

Хозяин поднялся со своего места.

— Я попрошу вас подождать меня здесь несколько. Не поскучайте, примолвил он уже с любезною улыбкой: — вот тут лежит последний нумер Глашатая Европы: прочтите там во "внутреннем обозрении" очень бойкую выходку против наших московских генералов от обскурантизма.

Он направился к маленькой, незамеченной до сих пор его гостем, оклеенной обоями двери, ведшей из кабинета в его спальню — довольно большую комнату, служившую ему?

повидимому, другим, интимным, кабинетом, судя по заваленному бумагами столу, стоявшему у стены, противоположной той, у которой виднелась кровать, покрытая большим вязаным одеялом, падавшим до полу.

За этим столом, опершись локтями о покрывавшее его сукно и уронив голову в ладони, сидела молодая женщина, наклонившись над лежавшим пред ней вырезанным из какой-то газеты и слегка уже пожелтевшим от времени печатным столбцом, рядом с каким-то письмом.

Она так была погружена в чтение или в свои мысли, что не повернулась, очевидно не слыхав, на шум шагов вошедшаго Мурзина.

Он стоял теперь у самаго стола и с мягкою усмешкой спрашивал ее тихо и ласково:

— Что, разобрали, Лидия Петровна?

Она вздрогнула вся, откинулась назад и как бы испуганно подняла на него свои темные, красиваго очерка глаза, казавшиеся особенно большими и блестящими от худобы и бледности ея красивого, глубоко-печального лица.

— Да, разобрала, произнесла она трепещущим голосом.

— Что же?

— Говорится, что назначено собираться в Липецке и когда… Больше ничего, прибавила она с каким-то изнеможением.

— Ничего больше и не нужно, одобрительно завивал он:- в Липецке — хорошо, место центральное… Можете вы мне сделать удовольствие, дитя мое?

Она, не отвечая, подняла только опять на него свои печальные глаза.

— Надо тем же шифром передать это сведение в записке.. к одной личности, и прибавить в этому следующия слова: "Можете-ли бежать сами, или нужна помощь, известите".

Девушка (читатель, не сомневаемся, узнал в ней ту Лидию Петровну Курсакову, с которой он имел уже случай встретиться у Харитония в Огородниках, в доме Лизаветы Ивановны Сретенской,) все также молча взяла крошечный листик почтовой бумаги из стоявшего на столе картона и принялась писать, вскидывая от времени до времени глаза на печатный столбец, заключавший в себе, надо было полагать, ключ в тем непонятным для обыкновенного смертного строкам, которыя выписывала она на этом листке.

— Спасибо, сказал Мурзин, принимая его из протянувшейся к нему руки, когда она кончила, и нежно тут же пожимая эту руку. — Что, устали? спросил он, внимательно глядя ей в лицо.

— Нет, слабо выговорила она, высвобождая пальцы свои из-под его губ и проводя ими медленным движением по лбу.

Он наклонился к ней с улыбкой, плохо скрывавшею досадливое выражение, сказывавшееся в его надвинувшихся бровях:

— Упреки совести опять!

Она не отвечала.

— Я, видно, безсилен успокоить ваши внутренния возмущения... И против чего, подумайте! Против того святаго дела, которому вы служите! тоном упрека промолвил он.

— "Святаго"! повторила она глухо, каким-то надтреснутым звуком.

Лицо его потемнело:

— Вы его можете всегда оставить, вы знаете, вы ничем не связаны, холодно уронил он.

Она быстро, страстно вскинула на него глаза:

— И тогда что же... кончено? зазвенел, обрываясь, ея голос.

Он пожал плечами:

— Раз порвано будет то существенное, что связывало нас, остальное исчезает само собою.

Она закрыла себе лицо руками и припала ими в столу. Плечи ея, спина вздрагивали от прорывавшихся у нея из груди рыданий.

Мурзин глядел на нее, опустив голову и нервно покусывая губу. Но ни единого слова не почел нужным выговорить в успокоение бедного создания.

Так прошло несколько мгновений.

— Виноват, Лидия Петровна, сказал он наконец, отыскивая глазами картон на столе и вынимая оттуда обложку, в которую вложил взятый у нея листик бумаги:- у меня там в кабинете посетитель ждет эту записку; я пойду...

Она быстро откинулась от стола и повела кругом себя растерянным взглядом:

— Который час? вскрикнула она как с-просонков.

Мурзин вынул часы из кармана.

— Половина двенадцатаго.

— Ах, Боже мой, — она вскочила с места, — дома что подумают! Я отпросилась к одной знакомой... У нея я никогда так поздно не сижу. Папаша встревожится, пошлет за мною, а меня там не будет...

Мурзин видимо встревожился в свою очередь:

— Зачем вы мне ранее не сказали? я бы не задержал вас этим писаньем...

Он поспешно подал девушке лежавшие на стуле шляпку, ея и мантилью, которую накинул ей на плечи.

— Ну, до свидания, дитя мое, успокойтесь и спите хорошо, как можно ласковее старался он выговорить и, наклонившись к ней, поцеловал ее отечески в лоб.

Она без слов припала этим лбом к его плечу и залилась новыми слезами.

Он давно привык властвовать над собою, но на лице его помимо воли сказалось, что он охотно

вышвырнул бы ее в эту минуту за окно… Он осторожно отстранил ее от себя и, прошептав ей на ухо: "Однако вам в самом деле пора, милая", быстро прошел в коридор, соединявший жилыя комнаты с кухней и черным ходом.

— Афимья! кликнул он прислуживавшую ему пожилую женщину:- доведи барышню до перваго извощика.

Лидия Петровна вышла за ним.

— Прощайте, каким-то внезапно сухим, обрывистым голосом произнесла она, проходя мимо него и протягивая ему руку.

Он хотел поцеловать ее, но она вырвала у него свои холодныя, как лед пальцы и исчезла вслед за Афимьей.

"Чистое мученье!" сказал он про себя, поглядев ей вслед, и быстрыми шагами повернул обратно в кабинет, где Троженков, в ожидании его, наслаждался "бойкою выходкой" Глашатая Европы против "московских генералов от обскурантизма".

— Вот-с вам, сказал он ему, передавая обложку:- постарайтесь, чтобы завтра же он ее получил. Времени терять нечего; пожалуй, они его увезут в Петербург, прежде чем успеешь что-нибудь сделать.

— Так и передать, незаклеенною? спросил тот.

Мурзин вспыхнул даже:

— Послушайте, вы или притворяетесь, или совершеннейший агнец чистоты и невинности. Не в обложке, кажется, дело, а в том, чтобы записка дошла, а мне не известно, каким путем сочтете вы удобным доставить ее. Может быть просто из руки в руку чрез сторожа, а то потребуется в хлеб запечь или в сапог зашить… Мало-ли как это делается! Для удобства видите, на какой мелкаго формата бумаге написано, — он вынул ее из конверта и показал, — а что в ней написано, поймет только тот, к кому она адресована.

— Так, так, подтвердил сконфуженно Степан Акимович, кивая и укладывая бережно ее в свой бумажник.

— И вот-с, на всякий случай, еще, нежданно для него примолвил Мурзин, выдвигая один из ящиков своего письменного стола и доставая оттуда какой-то завернутый в бумагу небольшой, узкий, повидимому металлический, предмет, — это вы доставите ему вместе с запиской… Ну-с, а теперь извините, сказал он безцеремонно:- я думаю еще в клуб, поймать там Тараха. До свидания, — он протянул ему руку:- вы уж пожалуйста завтра с первым же поездом уезжайте: передать надо непременно завтра, а там увидим!

Степан Акимович уложил переданное ему в карман, вздохнул и раскланялся.

XI

Настасья Дмитриевна Ларина, которую Троекуровы удерживали со дня на день во Всесвятском, вошла однажды рано утром в Александре Павловне с записочкой, полученною ею только-что с нарочным, посланным к ней Провом Ефремовичем Сусальцевым из Сицкаго.

— Beau frère меня спрашивает, не обезпокоит-ли он вас сегодня своим посещением… Он хочет

привезти вам Тоню, сестру, промолвила она с легкою запинкой.

— Ах, милая, разумеется, поспешила ответить Александра Павловна, заметив это:- я… мы очень будем рады увидать и его, и ее.

— Так я ему так и напишу.

— Конечно, конечно… Надо будет предварить Бориса, чтоб он куда-нибудь не*уехал.

Выходя из покоя Александры Павловны, Настасья Дмитриевна наткнулась в гостиной на Бориса Васильевича, входившего туда из сада, где он с некоторого времени принял привычку пить после завтрака чай под тенью одной старой, очень любимой им липы; она сообщила ему о записке Сусальцева.

Он учтиво склонил голову:

— Милости просим, мы дома, сказал он при этом сдержанно.

Она склонила, голову в свою очередь и хотела итти далее. Он остановил ее движением руки:

— Настасья Дмитриевна, два слова.

— И побольше, Борис Васильевич, усмехнулась она:- я каждому вашему слову рада, вы знаете.

— Так вот что: я проведу вас до вашего павильйона (она помещалась во флигеле насупротив того, в котором жили Юшковы) и переговорим по пути.

— Очень рада.

Они спустились в сад.

— Третьяго дня, начал он, — когда у нас за завтраком заговорили об этом бывшем у Владимира Христиановича в конторе письмоводителе, которого накануне арестовал исправник, все были так заняты этим происшествием, что не имели времени наблюдать друг за другом. Но я — не знаю, заметили-ли вы это? — не покидал вас глазами…

— Я чувствовала на себе этот взгляд ваш, Борис Васильевич, быстро ответила она, — и понимала, что волнение, которое я действительно испытывала в эту минуту, не ускользнуло от вас…

— Вы знали этого человека? быстро спросил и он, заморгав веками.

— Я встретила его раза два, три здесь у вас, в саду, — но только в тот самый день, когда его взяли, имела случай припомнить, что я его гораздо раньше еще этого видела… знала…

— Но позвольте, вы в этот день были у себя в Юрьеве и проехали оттуда обратно мимо меня в Бужарове за какие-нибудь полчаса пред тем, как я его оттуда увез сюда?

— Он приходил туда ко мне, в Юрьево, каким-то невольным шопотом проговорила девушка.

— А!.. Будет-ли с моей стороны нескромностью спросить вас, в силу чего позволил себе он это?

Она как бы смутилась на миг, но, тотчас же преодолев себя, ответила твердым голосом:

— Он доставил мне письмо от брата.

— От сосланнаго?

— От эмигранта: он успел бежать за границу.

— В Женеву?

— Нет, он в Италии… на месте.

И голос Лариной заметно дрогнул.

— Чем же он там занимается?

— Он учитель у одного мальчика, сына одной знакомой мне русской дамы…

Борис Васильевич как то безсознательно покачал головой.

— Удивительно!… Вы меня извините, молодая особа, поспешил он сказать тут же, — но умеют же вечно русские даны выискивать именно таких наставников для своих детей!

— Не извиняйтесь, Борис Васильевич, вскликнула она болезненно, — меня не мало мучит эта мысль! Я ее знаю, эту даму, служила у нея под начальством в госпитале за Дунаем; ее зовут графиня Елена Александровна Драхенберг. Вы ее, может быть, также знаете?

— Графиня Драхенберг? Конечно знаю и постоянно встречался с нею в прошлом году за границей… Да я, должно быть, и вашего брата в таком случае видел, вспомнилось мгновенно Троекурову: — на площади св. Марка, однажды вечером, в тот самый день, когда получено там было известие о смерти Мезенцова, сидел за нею один белокурый, красивой наружности молодой человек…

— Это был он, наверное, Володя, брат мой.

— И он еще тут затеял с приятелем моим Пужбольским разсуждение о том, что правительство в России не в силах справиться с революционным движением. А эта барыня видимо сочувствовала ему, одобрительно кивала и вскрикивала "браво"! Но, усмехнулся Борис Васильевич, — мне приходится еще раз просить у вас извинения: мне представилось в то время, что этот красивый оратор состоял при ней далеко не на скромном положении учителя ея сына.

Болезненное чувство сказалось еще раз на лице Лариной. Она нервно провела по нем рукой:

— Ах, не говорите!… Я не могу этого не сознавать, и это гложет меня. Я ему писала именно в виду этого… Мой beau frère, он истинно добрый человек, хотел было его устроить там по моей просьбе, найти ему место по торговле… Но он не хочет принять, он пишет мне, что ушел из России не для того, чтобы набивать себе карманы, а чтобы служить все тому же своему делу…

— И весьма вероятно, служит ему действительно, промолвил раздумчиво Борис Васильевич: — эта его рыжая барыня очень богата, а революции нужны деньги… Так вот это самое письмо с отказом вашего брата, обратился он снова к первоначальному предмету их разговора, — и приходил к вам в Юрьево передать этот Бобруйский… Бобруйский, само собою, не его настоящая фамилия.

— Нет! веско произнесла Ларина.

— А настоящую вы знаете?

— Знаю, по крайней мере, прозвище, под которым он известен был брату Володе, когда в Москве — Володя тогда вольнослушателем в университет ходил, — он бывал у него, и я его видела тогда, разговаривала даже с ним… Я ведь тогда тоже, Борис Васильевич, мечтала о переустройстве общественного здания, договорила Настасья Дмитриевна с какою-то полувиноватою, полусмущенною улыбкой.

Что-то милое, чистосердечное и просящее сказывалось при этом в ея больших коричневых глазах, и слабый румянец заиграл при этом на ея желтовато-бледном, задумчивом лице.

Троекуров сочувственно взглянул на нее и усмехнулся опять:

— И это прозвище?… спросил он.

Она остановилась на ходу, поднесла руку к глазам.

— Позвольте мне не называть его, Борис Васильевич… Я боюсь, объяснила она прямо.

— Чего это? воскликнул он, сдвигая брови.

— Он мне прямо пригрозил, что малейшая нескромность моя выместится на брате, на Володе.

— Они на это действительно способны, сказал на это, подумав, Борис Васильевич, — но я спросил вас не с целью передать его имя следователю.

— Лучше в таком случае, чтоб оно осталось для вас неизвестным, поспешно возразила Ларина: — если он окажется, может быть, очень важный преступник, вы не будете, по крайней мере, мучительно колебаться между желанием помочь розыскам, открыв его имя, и боязнью довести этим до отчаяния страх мой за брата… О, если бы не этот страх! вскликнула она в неудержимом порыве, с загоревшимся мгновенно пламенем во взгляде,- с каким блаженством предала бы я… да, предала этого преступного человека, погубившего моего несчастного Володю!

Борис Васильевич повел одобрительно головой.

— Мысль ваша основательна, и на этом мы покончим наш разговор.

Они доходили до ея павильйона. Он пожал ей руку.

— А знаете, судя по тому, как выразилось у вас в звуке голоса и в выражении черт негодование на этого негодяя, вы должны быть действительно очень хороши в роли Марии Стюарт.

Она вся заалела даже от удовольствия:

— Надеюсь, что как-нибудь зимой в Москве вы меня увидите; я была бы так счастлива, Борис Васильевич!

Часу в третьем пополудни щегольская дорожная карета четверкою крупных, сытых лошадей, подкатила под крыльцо дома Всесвятского. Из нея прытко выскочил одетый с иголочки Пров Ефремович Сусальцев и, вытягивая вперед могучия свои руки, бережно высадил всю потонувшую в изящных складках накидки и самоновейшаго визитного туалета красавицу жену.

Он подставил ей затем локоть и повел вверх по ступеням лестницы с ловкостью самаго завзятаго светского элемента. Пребывание в Париже так и отзывалось в том особом шике, очень похожем на то, что на православном языке называется "с кондачка", сказывавшемся в его подрагивавшей при этом походке и особой старательности, с которою он норовил итти в ногу с медленно двигавшеюся, благодаря узким своим юпкам, спутницей своей.

Хозяйка ждала их в гостиной.

Пров Ефремович, никогда не видавший ее до тех пор (он до того времени бывал во Всесвятском единственно по делам и виделся там только с Борисом Васильевичем), расшаркнулся пред нею еще за десять шагов, откинув левую со шляпой руку в сторону, а правую приложив в сердцу. Антонина Дмитриевна спокойно и величаво, будто королева, осчастливившая посещением своим дом одного из ея подданных, подошла в Александре Павловне и, неторопливым движением силоняя голову, произнесла не громко:

— Je tenais à me rappeler à votre souvenir, madame, en qualité de voisine.

— Prenez place, je vous prie, пролепетала на это в ответ та с какою-то робостью.

И действительно, эта блестящая светская женщина, этот поражающий "прелестью ансамбля и гармонией подробностей" туалет, самоуверенность каждаго движения, взгляда и вместе с тем "несомненная distinction", веявшая, казалось, от этой женщины вместе с исходившим от нея едва слышным, но сладко проницающим запахом ея духов, навели на бедную Александру Павловну, так давно не бывавшую "dans le monde", какой-то инстинктивный страх. Она почувствовала себя "такою провинциалкой" пред этою представительницей "de toutes les élégances", как выражались, вспоминала она теперь, французские газеты, про эту сидевшую у нея теперь в гостиной "русскую звезду всемирного Парижа"... "О чем говорить мне с нею?" думала она с тоской.

Но та, будто нисколько не замечая ея замешательства, поставила ее тотчас же à l'aise, заговорив о брате ея, генерале Лукоянове, много уже лет состоявшем военным агентом при одном из европейских правительств и которого Антонина Дмитриевна "очень часто видала в Париже, а нынешнею зимой и в Риме".

— Мы с ним так давно не видались, вздохнула Троекурова, — что я бы его, кажется, теперь и не узнала совсем; он и не пишет никогда, точно чужой стал...

— Большой поклонник моей супруги! приятно осклабился Пров Ефремович.

— Je l'aime beaucoup, уронила в свою очередь его супруга со своею царственною величественностью.

— Борис Васильевич! воскликнул в то же время громко муж, поднимаясь навстречу входившего в комнату Троекурова.

— Здравствуйте, Пров Ефремович, очень рад вас видеть.

Он пожал ему руку и склонился пред женой его холодным, но изощренно учтивым поклоном благовоспитанного человека и хозяина.

Она медленно протянула ему руку и, как бы не замечая, пожимает-ли он ее или нет, обернулась в хозяйке:

— Ваш муж решительно избегал меня за границей, mais j'espère que vous le ramènerez à de meilleurs sentiments pour moi, chère madame, et que nous ferons bon voisinage.

Троекуров притворился, будто не слышал, но Александра Павловна совершенно сконфузилась от этих слов:

— Mais certainement, madame… Я так люблю сестрицу вашу…

— Да, я знаю, вы и генерал всегда ее предпочитали мне, когда я еще в девушках бывала здесь с нею; ведь мы с вами очень давнишние знакомые, примолвила она к этому таким неожиданным тоном bonne enfant, что у Александры Павловны и сердце размякло. "Она очень много выиграла с тех пор, как замужем", подумалось ей.

— Да вот и сама mademoiselle Anastasie! воскликнула она, ласково кивая на входившую Ларину.

— Здравствуй, Тоня, приветствовала сестру та и, обменявшись рукопожатием с шурином, присела в дивану, на котором беседовали гостья с хозяйкой.

— А как чувствует себя наш почтеннейший Павел Григорьевич? спрашивал между тем Бориса Васильевича Сусальцев:- узнав о смерти его братца, я разлетелся было к нему в Углы, да узнал там, что и с ним этот недуг приключился и что он в настоящую пору находится под вашим дружеским, так сказать, кровом. Очень бы желал засвидетельствовать мое высокопочитание этому достопочтеннейшему патриарху нашему.

— Несколько позднее разве: он об эту пору обыкновеные отдыхает.

— Искренно уважаю человека… Во всяком случае, очень прошу ваше превосходительство выразить ему от меня мое искреннейшее…

Он не договорил слова, шаркнул, сидя, ножкой и приложил руку к сердцу.

Антонина Дмитриевна между тем полуиронически, полуодобрительно сообщала Троекуровой о страсти мужа ко всяким переделкам, украшениям и улучшениям, производимым им в своем Сицком:

— Cela tourne à la monomanie, усмехнулась она чуть-чуть своими пышными и надменными губами.

— Смею надеяться, ввернул тут же Пров Ефремович, чувствовавший себя как-то особенно в ударе вследствие мало почему-то ожиданного им ласковаго приема жены его "генеральшей", — смею надеяться, что вы, сударыня, с его превосходительством Борисом Васильевичем… и со всею семьей, не откажете по-соседски приехать к нам на денек хлеба-соли нашей откушать…

— Ах, Боже мой, конечно, я непременно… залепетала опять Александра Павловна, взглядывая на мужа.

— Да уж позвольте, без церемоний без этих визитных, а понастоящему, как водится в деревне.

Антонина Дмитриевна повела головой:

— Sans faèons, oui, n'est-ce pas?

— Да вот-с позвольте, продолжал совсем уже расходившийся Сусальцев, — мы с женой ждем на будущей неделе одного ея хорошаго знакомаго, Борис Васильевич с ним наверное тоже

знаком, Алексей Сергеевич Колонтай… Изволите наверное знать, ваше превосходительство?

Троекуров усмехнулся:

— Знаю с ротмистрского чина.

— Изволите видеть, угадал… Так он вот обещал быть, и с племянником своим, Савиновым, Аполлоном Савельичем, что назначен к нам губернатором… Может, повидаться с ними вам интересно будет, так милости просим в ту пору на скромную трапезу, чем Бог послал.

Веки Бориса Васильевича нервно моргнули, но он не почел себя в праве отказывать и наклонил молча голову в знак согласия.

Внимательный наблюдатель мог бы заметить по легкому дерганью лицевых мускулов сидевшей на диване красивой барыни, насколько коробил ее внутренно купецкий тон приглашений ея мужа, но она со свойственным ей тактом не почитала удобным осадить его в "этом доме".

— Laissez moi de mon côté vous dire sans phrase: venez, chère madame, сказала она, протягивая любезно руку Александре Павловне.- Et avec votre charmante demoiselle, n'est ce-pas? примолвила она, оглядываясь, как бы ища глазами ту, к которой относился этот лестный эпитет.

— Я не знаю, где она, Маша… Не уехала-ли верхом? обернулась Троекурова к Настасье Дмитриевне.

— Нет, я ее видела с четверть часа тому назад в саду, ответила та.

— А вы, сестрица, обернулся на нее в то же время шурин, не вернетесь к нам к этому времени?.. Совсем отбило вас от нашего Сицкаго прекрасное Всесвятское, широко засмеялся он, поводя глазами на хозяев: понимаю, мол, и не могу не извинить.

— Вернусь, вернусь, не безпокойтесь! ответила весело Ларина.

Сестра ея с каким-то странным вниманием устремила на нее глаза:

— А!.. Я очень рада…

— Чему это?

— Нет, я почему-то думала, что ты отсюда прямо собираешься назад, в Москву, небрежно уронила "Тоня".

Настасья Дмитриевна вспыхнула по самые глаза… Она поняла: сестра считала для себя нисколько не желательным вводить ее, актрису, в общество ожидаемых ею друзей из "гран-монда".

Александра Павловна поняла тоже. Она схватила руку артистки:

— Нет, мы ее от себя ни за что так скоро не отпустим! вскликнула она, притягивая ее к себе за эту руку и нежно целуя Ларину в разгоревшуюся от обиды и боли щеку.

Пров Ефремович взглянул на жену и со своей стороны покраснел как рак: он охотно побил бы в эту минуту эту невозмутимо и разсеянно глядевшую куда-то в угол, сияющую в своем шелку и бархате, красавицу.

Он хотел что-то сказать, заявить, что "и он-с женой точно так же будут стараться удержать сестрицу как можно долее в здешних странах"... Но в это время из передней раздались торопливые шаги, и в гостиную вошел, увидел гостей и, весь переменившись в лице, остановился недоумело и неловко посреди комнаты Гриша Юшков.

Борис Васильевич, метнул на него с места зорким и безпокойным взглядом.

Александра Павловна насилованно засмеялась:

— Что же вы, Гриша, испугались? Подойдите!

— Нет, я... я не ждал... пробормотал он растерянно, стараясь усмехнуться в свою очередь и подходя к дивану.

Он быстро наклонился поцеловать руку хозяйке и, успев кое-как справиться с собой, раскланялся пред гостьей глубоким поклоном.

— Вам представлять Григория Павловича не нужно ведь, не правда-ли? сказала Александра Павловна.

— Нет, мы давно знакомы, ответила та с короткою усмешкой и повела милостиво головой в сторону молодаго человека, не подавая ему руки.

Сусальцев за то стиснул его тонкие пальцы в своей могучей длани так, что тот чуть не крикнул.

— Рад вас видеть, Григорий Павлович, от души рад, поверьте, всегда! Только вы вот нас знать не хотите, никогда побывать в Сицком не желаете!

Гриша неопределенно мотнул своею белокурою головой... Он был зол донельзя, зол прежде всего на себя. "И с чего он это смутился, растерялся так глупо при виде ея? Что она теперь ему"?... И он мгновенно, смело вскинул и остановил на ней глаза. "Прямо с модной картинки соскочила, такая же бездушная и красивая, как она, как размалеванная бумага", иронически поторопился прибавить он мысленно... Нет, она для него "ничто", ничто теперь, он глядит на нее теперь спокойно, "невозмутимо спокойно, сердце не колыхнется", и какая-то победная улыбка заиграла у него на губах. Он был уже доволен собою...

— Вы из Углов, Гриша? спрашивала его между тем Александра Павловна, с тайною тревогой следя за ним взглядом.

— Да, ответил он, взирая на нее в свою очередь какими-то счастливыми глазами, — возился там три дня с наймом рабочих на косовицу, насилу вырвался... А где же Марья Борисовна? спросил он, оглядываясь и как-бы подчеркивая имя девушки с особою старательностью.

— Не знаю, говорят — в саду... Она верно не знает, что у нас... любезные гости... Вы бы ее сыскали и привели, Гриша...

Он вскочил с места:

— Сейчас!..

И побежал в сад.

— Марья Борисовна! крикнул он в большой аллее, оглядываясь во все стороны.

— Ау! раздалось в ответ не издалека, и сквозь ветви мелькнуло голубенькое кисейное платье, летевшее к нему по газону через лужайку.

— Вы вернулись... когда... сейчас? спрашивала его Маша, протягивая ему обе руки и внимательно заглядывая ему в глаза.

— Сейчас, да, — он торопливо, нежно, не выпуская этих рук из своих, целовал их попеременно одну за другою:- а у вас гости; вы не знали?

— Нет, напротив, знала и нарочно не пошла.

Она продолжала все так же глядеть на него вопросительным взглядом... Но он улыбался так "ясно", так "искренно"! Все лицо ея осветилось:

— Я так рада, Гриша, что вы вернулись!..

— Maman вас требует туда, послала меня за вами, говорил он.

— "Послала"... И вы сейчас и побежали?

— Сейчас, как видите.

— А если бы не послала, сами бы не вздумали?... Вы там долго без меня сидели?

Он весело, юношески расхохотался:

— Девка косы не успела бы расплести, как говорят крестьяне.

— То-то! И она с комическою строгостью погрозила ему пальцем:- Без меня не сметь!

— Так пойдемте вместе, вас ждут.

— Да не хочу я, топнула она ногой, — не хочу, понимаете, видеть эту женщину!

— А какая она разодетая, изящная, поддразнивал ее молодой человек:- вот вы также из Парижа что туалетов, я думаю, себе навезли, а против нея, нет, вам далеко!

— А вам туалеты нужны, тряпки! вскрикнула она полусердито, полусмеясь:- вы духовную красоту ценить не умеете? протянула она с самым забавным эмфазом.

— Стремлюсь к ней всею душой, да не нахожу, продолжал он блаженно подтрунивать:- какая же у вас "духовная красота". когда вы родной матери приказания не хотите исполнять?

— Ну так пойдемте-жь! вспорхнула она сразу, как птица с ветки, и понеслась бегом в дому.

Он поспешил за нею.

Добежав до террасы, она мигом остановилась, обернулась в нему и, усиленно переводя дыхание:

— Смотрите же! многозначительно проговорила она и, медленно поднявшись по ступенькам, вошла, спокойная и сдержанная, en grande demoiselle, в отворенныя на обе половинки двери гостиной.

Антонину Дмитриевну даже кольнуло будто что-то при виде этой свежей, как весенний цвет, девичьей красоты. "Она еще похорошела с-за границы", подумалось ей.

— Je suis heureuse de vous revoir, mademoiselle Marie, выговорила она, любезно вместе с тем протягивая ей руку, и, обернувшись к ея матери, произнесла тем шопотом, которым говорят в сторону на сцене:

— Plus charmante que jamais!…

Маша, не отвечая, опустила глаза и, будто не замечая или не смея взять эту протянувшуюся к ней руку, присела пред гостьей церемоннейшим, низким реверансом и опустилась, все так же не отрывая глаз от полу, на самый кончик стула, стоявшего подле Настасьи Дмитриевны Лариной.

И та, и мать оглянулись на нее с изумлением: Маша теперь очевидно нарочно изображала из себя пугливую и глупенькую пансионерку, не знающую, куда деть руки, ноги в присутствии "чужих".

Сусальцева чуть-чуть прищурилась на нее, потом на Гришу, на лице которого прочла тотчас же какое-то необычное ему "праздничное" оживление, и слегка прикусила нижнюю губу своими острыми белыми зубами. "Все это" ей очень не нравилось.

Она повела усталым взглядом на мужа: довольно, мол, сидели.

Он послушно поднялся с места. Поднялся за ним и хозяин.

Александра Павловна подумала: "Следовало бы, кажется, из учтивости удержать, просить остаться", но вслед затем разсудила, что "так, должно быть, теперь принято и в деревне приезжать с визитом на четверть часа", — и не удерживала.

Стали прощаться.

— Родители ваши, обратилась еще раз к Маше на том же французском языке Антонина Дмитриевна, — обещали приехать к нам обедать на будущей неделе. Надеюсь, что и вы сделаете нам это удовольствие?'

Маша ответила новым церемонным реверансом:

— Pardon, madame, но меня еще никуда не возят в свет.

— Какой же "свет" обедать запросто у соседей?…. Впрочем я понимаю, добавила она тут же с едва уловимым, тонким, как острие иголки, намерением укола, — вам и дома хорошо.

Глаза Маши блеснули каким-то торжеством, вскинувшись мгновенно на красавицу барыню:

— Очень хорошо, да… очень! повторила она, напирая.

Мать испуганно уставилась на нее опять.

"Elle же moque de moi, la péronnelle!" пронеслось в голове Антонины Дмитриевны. Но она только усмехнулась и равнодушно отвела глаза. "Что, мол, с дурочкой дольше говорить, думает она про нее", объяснила себе Александра Павловна.

Хозяева пошли провожать гостей до передней. Сусальцев заторопился принести жене ея

модный, шелковый с большими перламутровыми пуговицами и бантами "cache-poussière".

Она, совершенно автоматично давая себя ему укутывать и застегивать, лениво повернула голову в сторону молодаго человека, машинально двинувшегося вслед за прочими.

— А вы, Григорий Павлович, уронила она с губ, — могу-ли я надеяться тоже видеть вас у себя?

Он подошел, кланяясь и не зная, что ответить…

— Приезжайте, а то я могу подумать, что вы меня боитесь, засмеялась она самым незлобивым, казалось, смехом, но тайный, вызывающий смысл которого резнул как ножом по сердцу Маши.

— Вы поедете? точно выстрелила она тут же, между тем как красивая барыня, отвернувшись от того, с уже с кем говорила, и, подав в последний раз руку Александре Павловне, выходила вслед за мужем на крыльцо, к которому подъезжал ея блестящий дорожный экипаж. Гриша не успел ответить.

— А почему же бы не поехал он? раздался за ним строгий голос возвращавшегося из передней Бориса Васильевича: — или в самом деле ты думаешь, что для него опасен один уж вид этой обольстительной особы? Но ведь это был бы тогда окончательный ему приговор!

И он прошел мимо в свой кабинет.

Молодой человек засмеялся не совсем искренно.

— Ну что вы скажете, Марья Борисовна?

Она подумала, подняла на него глаза (она ему ужасно напоминала отца своего в эту минуту).

— Папа прав, как всегда… Увидим!…

XII

…Tous ces baladins qui dansent sur la phrase.

Barbier.

Новый губернатор, приехавший в знакомый нам уездный город для ревизии, только-что вернулся со смотра пожарных лошадей и, инструментов в дом городского головы, где была приготовлена ему квартира. Он отпустил любезным поклоном на крыльце сопровождавших его уездных чинов и быстрыми шагами вбежал в комнату, служившую ему кабинетом и спальней. Скинув широкополую шляпу с орлиным пером, привезенную им из Тироля, в котором вояжировал месяц тому назад, он кинул ее на стол, отирая тончайшим батистовым платком несколько запотевший лоб (день был жаркий), и опрокинулся в кресло с блаженным видом человека, только-что отделавшегося от скучного и, в его понятиях, ни на что в сущности не нужного занятия. Это был прыткий и юркий, средняго роста, худой и темно-русый человек лет 36–37, одетый в безупречный парижского фасона черный, бархатный veston, светло-синие панталоны и прюнелевыя escarpins (ботинки), тесно охватывавшие довольно маленькую ногу, которою он очень щеголял… Аполлон Савельевич Савинов был сановник. последней формации, считал форму вещью совершенно несовременною и готов был бы пожалуй скорее отказаться от своей должности, чем решиться воздеть на свою "интеллигентную" и раздушенную голову ту безобразную фуражку с красным околышем и а кокардой, в которую облекаются "по старой рутине" в пору своих официальных разъездов по губернии иные "допотопные", как выражался

он презрительно, из его коллег. Он в этом "veston", "escarpins" и тирольской шляпе ездил по дорогам, городам и селам вверенной просвещенному управлению его части России, в них же ревизовал подведомыя ему учреждения, поощрял или "давал нагоняи" подначальным ему лицам.

Молоденький, с год тому назад выпущенный из Петербургского лицея, почти так же безукоризненно элегантный, как и его патрон, чиновник особых поручений усталою походкою вошел за ним в комнату и словно выронил из рук на стол довольно объемистый портфель с бумагами, вынесенный им из экипажа, в котором они разъезжали все утро по всяким "присутствиям".

— Quelle corvée, mon cher, hein! взглянул на него с улыбкой губернатор, потягиваясь и зевая во всю глотку. Говорил он как-то особенно мягко и сочно, точно карамельку сосал в это время.

— Sale métier, va! ответил ему на это в тон чиновник, старательно подражая голосу и ухваткам опереточного буффа Ру, которого с особенною любовью изучал в последний год пребывания своего в лицее, и, скорчив брезгливую гримасу, взглянув на свои руки, посеревшие на оконечностях пальцев от пыли, покрывавшей портфель:- je vais fourrer mes doigts dans votre cuvette, mon général, продолжал он все тем же комическим тоном, направляясь в столику, на котором разставлен был выложенный из дорожного несессера серебряный умывальный прибор изящного его начальника.

— Faites, mon cher, faites! засмеялся опять тот, вытягивая ноги и туловище уже в совершенно горизонтальное положение.

У дверей послышались шаги.

— Кто та-ам? певуче протянул губернский сановник, не переменяя положения и устремив в потолок свои небольшие, но чрезвычайно живые, блестящие, как у мышенка зоркие и постоянно с каким-то безпокойством бегавшие кругом глаза.

Показался урядник, исправлявший на время ревизионной поездки его превосходительства должность разсыльнаго.

— Товарищ прокурора, Тарах-Таращанский, доложил он, — желают видеть ваше…

— Тарах, а! Проси… Une forte tête, mon cher, обратился он к чиновнику, — et à convictions très avancées.

— Вашему превосходительству… протянул, входя в комнату, товарищ прокурора с тем особым оттенком аллюра и произнесения слов, который значится на простонародном языке под выражением "неглиже с отвагой". Он был в виц-мундире и белом галстуке; тяжелый золотой pince-nez надменно сверкал над мясистою пуговочкой, служившей ему вместо носа.

— Привет вам, солнце юстиции! фамильярно-веселым тоном ответил на это губернатор, приподымая туловище с кресла и, обратив его разом из горизонтального в вертикальное положение, протянул гостю своему руку:- никак не ожидал, очень рад! Какими судьбами?

Он указал ему рукой на другое кресло.

Тарах сел, вытянул в свою очередь ноги во всю длину, снял pince-nez с носа и, держа его в руке, глянул сквозь стекла замигавшими глазами на молодаго чиновника, только-что успевшего отереть руки о губернаторское полотенце и поглядывавшего со своей стороны на

Таращанского ленивыми и несколько оловянными глазами.

— Прескучная история… Как все оне, впрочем, как бы гадливо уронил он:- я впрочем знал, что вы будете здесь с этому времени…

Мышиные глазки Аполлона Савельевича перебежали мигом от него на чиновника:

— Mon cher Соловцов, сказал он, — портфель надо передать Ивану Ивановичу (Иван Иванович был правитель канцелярии, сопровождавший его превосходительство в вояже). Соловцов кивнул, подошел к двери:

— Урядник! крикнул он:- возьмите, отнесите к Ивану Ивановичу.

И вслед за ним вышел из комнаты.

— Мы одни, обратился теперь губернатор в Тараху, подвигая в нему ящик с папиросами, стоявший на соседнем столе,- если имеете что сообщить мне, прошу, я вас слушаю.

Тот взял папироску, помял ее в пальцах, вздел опять свои оптические стекла на нос и заговорил все тем же скучающе-гадливым тоном:

— Все то же опять, глупо, не современно… Та же вечная повадка администрации к произвольным деяниям, к стеснению человеческой свободы… Я вам говорю это без церемонии: вы недавно назначены, не солидарны с тем, что если не заведено, то поддерживалось во всем традиционном безобразии своем вашим предшественником.

— Что такое: взятки? быстро вскрикнул молодой сановник, и лицо его тут же облеклось в выражение самой неумолимой строгости.

— Ну что это! вскинул пуговкою своей вверх товарищ прокурора: стоит-ли, мол, говорить о таком вздоре! — нет, у нас тут исправник какой-то безкорыстный Торквемада оказывается.

— Хороший человек, говорят, возразил Аполлон Савельевич:- Скобелевский герой, примолвил он не то снисходительно, не то чуть-чуть насмешливо.

Тарах досадливо дернул плечом:

— А я вот этих самых "героев", воспитанных на автоматической деревянности своего милитаризма, никогда бы не назначал на должность, где прежде всего требуется человееком быть, веско подчеркнул он, — и уметь сдерживать излишнее усердие своего верноподданничества.

— Пожалуйста, передайте, что он учинил, торопливо выговорил губернатор:- я сам… вы меня давно знаете… я ненавижу и никак не намерен терпеть в моем управлении этого нестерпимаго "trop de zèle", лежащаго вообще во плоти и крови представителей нашего административного элемента.

— А то учинил, отвечал все так же досадливо товарищ прокурора, — что поставил меня в положение самое затруднительное,

— Именно?…

— История состоит в следующем, начал тот, хмурясь и нервно перебирая плечами:- владычествует тут в окрестностях некто генерал Троекуров, сахарозаводчик, богач… Ну-с и

держит себя тут в роде, знаете, какого-то Екатерининского вельможи…

— Слышал, — Савинов слегка кивнул, — умный человек говорят.

— Тем хуже-с, возразил язвительно его собеседник:- этой касте людей, подобает по существу самаго дела быть дураками, а как если выродится ненароком какой-либо из них неглупым, так совсем выходит дело дрянь.

Аполлон Савельевич чуть-чуть насмешливо прищурился на него:

— Не любите вы ату "касту"…

— Не люблю-с, злобно отрезал Тарах:- я демократ-с и горжусь этим.

Губернатор поспешил успокоить его:

— В наш век, конечно… я совершенно понимаю вас… Так что-жь этот генерал Троекуров?

— Поступил к нему в контору письмоводителём не кончивший курса студент Технологического Института, Бобруйский некто… Студент, само собою, как есть, не преображенец или кавалергард какой-нибудь, воспитанный на "преданности": идеи молодыя, свежия… Отец прасол, мужик, ненависть в "барам" с молоком матери впитал… Так ведь этаких теперь сотни тысяч, все молодое поколение, можно сказать…

Аполлон Савельевич пустил струйку дыма вверх и еще раз одобрительно качнул головой.

— А генералу это претит? усмехнулся он.

— Не любят-с эти господа, не любят-с, громко хихикнул и товарищ прокурора и продолжал:- Пошел он как-то вечером от скуки погулять по деревне, присел у избы в крестьянам; разговор пошел. Затолковали об этом глупом покушении 2 апреля: кому, мол, нужно Царя Батюшку извести. Известно кому — у народа это из головы не выбьешь — господам, в отместку за лишение их крепостных прав над народом. А ты, мол, что думаешь? спрашивают письмоводителя. Ну, а у того, понятно, прирожденная злоба заговорила: "И я, говорит, слышал тоже, что господа"…

— Позвольте однако, перебил губернатор, — ведь это ложь, и он очень хорошо должен был знать, что ложь. Какой же этот Соловьев "господин"! Сын придворного служителя, во всех газетах напечатано.

— Я его с этой стороны и не защищаю. С прирожденной злости, говорю, сказал… Так ведь в этом и дело-с, чтоб отличать степени и оттенки преступного деяния. Ну, замечание можно было сделать, выговор, отказал бы, наконец, от должности, — это понятно. Нет-с, почувствовал себя барин в самом принципе, в самом существе своего кастоваго мировоззрения задетым, потребовалось ему неосмотрительное слово возвести в государственное преступление. Сам на место выехал, барскими ручками своими забрал раба Божьяго и сдал его вашему исправнику, покорному послушнику своему и раболепцу. А тот его своею властью в острог посадил.

— Гм! неопределенно промычал на это губернатор, раздумчиво сдвигая брови.

— И совершенно незаконно-с, заметьте, вскликнул Тарах:- лиц, заподозреваемых в участии в политическом преступлении, полиция имеет право задерживать лишь с обоюдного соглашения жандармского начальства и судебного следователя. В данном случае исправник ваш арестовал

это лицо по первому донесению какого-то деревенского сотского и просьбе этого здешняго ландлорда, с собственной инициативы, не истребовав на то разрешения подлежащих властей. Он извиняется тем, что в эту минуту ни одного из них не было в городе, но что на следующий же день оне были им об этом извещены и со своей стороны не протестовали против его распоряжения. Но во всяком случае арест по букве закона не имел надлежащаго основания… и я мог бы, в сущности, сейчас же отпустить этого несчастнаго…

Он не договорил и досадливым движением скинул пальцем pince-nez со своей пуговки…

— И прекрасно бы сделали, — я-б уж конечно не протестовал со своей стороны, засмеялся губернский сановник, спрашивая себя мысленно в то же время, имел-ли бы он в этом случае самое право протестовать.

— Да-с, вам легко говорить, возразил раздраженно товарищ прокурора, — а не угодно-ли вам в нашу кожу влезть, ваше превосходительство, когда в настоящую пору судебное ведомство служит козлом отпущения за все безобразия русской жизни и все промахи, произволы и стеснения этой жизни нашим убогим правительством. Отпусти я теперь этого неосторожного болтуна, вся-то вина которого состоит в сущности в том, что он не сходится понятиями с аристократическим оптимизмом генералов Троекуровых, так одна уж эта московская печать подымет такой гвалт… Вот где она у нас сидит, эта печать! хрипнул он, проводя себе пальцем по горлу.

— Злая сила, действительно! подтвердил многодумно Аполлон Савельевич.

— В настоящую минуту в особенности, после этого покушения, надо всем верх взяла, в трубы и литавры трубит и звонит, грозит и пугает; мы, мол, предупреждали, мы, мол, всегда говорили, вне нас, охранителей и сикофантов, несть спасения!

И Тарах даже раскашлялся от хватавшей его за горло злости.

— Вы понимаете, что при таких условиях приходится, стиснув зубы, как говорит Тургенев, уступать беззаконно и произволу и поступаться голосом совести… Положение трагическое, поверьте!

Аполлон Савельевич Савинов сочувственно вздохнул:

— Да-с, всем порядочным людям в России надо подать друг другу руки и тесно сплотиться против этого обскурантизма и мракобесия…

Он оборвал, задумался — и все лицо его вдруг осветилось лучом какой-то внезапно налетевпией на него мысли:

— Враги прогресса, заговорил он нежданно конфиденциальным и многозначительным тоном, — враги прогресса слишком рано, впрочем, заторопились торжествовать победу. Их дело далеко еще не выгорело. Настоящей реакции не будет, я могу вас в этом заверить. После первого, понятного смущения, произведенного этим фактом покушения, правительство само поймет, что, для избежания повторения таковых, оно должно пойти откровенно на уступки, требуемыя духом времени и возрастающею с каждым днем возмужалостью русского общества.

— Э, полноте, ваше превосходительство, возразил, кривя губы, представитель юстиции, — давно морочат нас этими обещаниями; ничего из этого не выходило и не выйдет!

— Посмотрим! выговорил как бы против воли губернатор.

Тарах внимательно воззрился в него:

— А вам разве что-нибудь новое по этому предмету известно?

— Ничего ровно! произнес тот с какою-то искусственною торопливостью;- а что далеко не в угоду партии, говорящей в московской печати, начинают искать людей, лучшим доказательством этому может вам послужить хотя бы мое назначение, промолвил он шутливо и самодовольно.

Товарищ прокурора молча повел головой: аргумент юркаго его собеседника мало удовлетворял его повидимому.

— Ну-с, так как же вы думаете насчет этого студента? спросил через миг губернатор, возвращаясь к первоначальному предмету их разговора.

— Что мне думать!.. Я даже не был в состоянии допросить его настоящим образом: сиатика у него, боль до крика, повернуться не может. Велел перевести его в земскую больницу… Поправится, препроводят в Московский тюремный замок… Если что окажется такое, от чего его выгородить нельзя будет, — процедура известная: нашим судом судить будут — присяжные, по всей вероятности, оправдают; военным — сошлют безо всякаго сомнения в тар-тарары. Как Господь Бог им там в Петербурге на душу положит, от того и будет зависеть судьба человека. Во всяком случае успеет озлиться в тюрьме до бешенства, пока еще решат, какому суду его подвергнуть…

— У него, само собою, должен был быть сделан обыск? Нашли что-нибудь?

— Деньги, четыреста рублей, и какой-то обрывок письма.

— Компрометтантного для него?

— Нельзя ничего сказать пока… Шифром писано, ключ которого мне не известен, ответил небрежно Тарах со все более и более скучающим видом на лице,- в Москве разберем.

— А денег у него откуда столько, из жалованья накопил?

— Нет, он всего три недели как поступил на этот Троекуровский завод. Говорит, получил их от одного должника отца его для передачи ему… Это, впрочем, не важно…

— Интересная он личность по впечатлению вашему?

— Субъект интеллигентный, во всяком случае… Мне о нем еще в Москве говорил Мурзин, Степан Михайлович. Слышали о нем?

— Мурзин, кому же не известен он по репутации?.. заторопился заявить Аполлон Савельич, выражая в лице как бы даже некоторое неудовольствие за предположение, что ему могло быть неизвестно такое "светило": — он знает этого студента?

— Не лично, говорит, но слышал с очень похвальной стороны о нем… А ты тут вот, вскликнул с новым взрывом досады товарищ прокурора, — лишай такого человека свободы, тащи на суд, распинайся, чтоб ему обвинительный приговор вынесли присяжные… Ведь это мы, сказать правду, ваше превосходительство, лучший цвет и сок молодой России приносим в жертву правительственному Молоху!..

— Люди идеи, сознаться надобно, таинственным шопотом поддакнул губернский сановник, уныло разводя руками: что же, мол, с этим делать!

Тот поглядел на него сквозь свои стекла:

— Мы все-таки надеемся, уронил он, — что вы, как человек порядочных убеждений, несколько умерите, по крайней мере, безтолковое по большей части рвение к "долгу службы" ваших полицейских чинов?

— В этом не сомневайтесь, ответил на это, веско качнув головой, губернатор:- девизом моего управления я поставил: примирение администрации с судебным ведомством и земством, или даже вернее скажу: полное подчинение административного орудия руководящей функции этих двух живых либеральных элементов, от которых Россия единственно может ожидать света.

— И в накладе не останетесь, поверьте, захихикал вдруг, как бы вспомнив что-то очень приятное, Тарах:- как там ни грызи нас московская печать, а предшественника-то вашего мы сковырнули... Да и в Казани воеводу тоже снесли. Жить с нами в ладах не мешает, ваше превосходительство... А этот у вас здешний исправник Ипатьев, скажу вам-с, — и он еще раз скривил губы на сторону, — настоящий салдафон, безо всякаго гуманного развития, топорщина.

— Что же, его устранить можно, зевнул на это Аполлон Савельевич, поднося руку к глазам и прищуриваясь на свои щегольски-отточенные ногти.

— И хорошо сделаете! одобрил товарищ прокурора, вставая и подавая ему руку на прощанье.

Губернатор поднялся в свою очередь проводить его до дверей:

— Я воображаю, как его скверно кормят, этого вашего арестованнаго, в здешнем отвратительном остроге,- я сегодня мельком его видел... Одною из главных задач предстоящей мне деятельности, счел он нужным заявить, — будет улучшение вообще в моей губернии содержания арестантов и вообще мест заключения. Я, бывши вице-губернатором в ***, исправлял там в течение нескольких месяцев должность губернатора и успел устроить за это время в тамошней тюрьме буфет и кабинет для чтения. В настоящую пору, когда в этих местах содержится так много лиц интеллигентного класса, нельзя их оставлять без тех известных удобств жизни, которыми они привыкли пользоваться на свободе. Они — арестанты, конечно, но все же люди-с, — этого забывать не надо!

— Люди, именно, подтвердил Тарах, — и при других социальных условиях были бы, может быть, лучшим украшением и славою общества своей страны... До свидания, ваше превосходительство, до приятнаго!..

Не успел он исчезнуть, как урядник вошел с новым докладом:

— Господин Свищов.

— Свищов... Свищов.... повторил молодой сановник, прищуренно взглянув на него, потом на потолок: — кто такой?..

— Не могу знать, ваше...

— А, вспомнил, знаю!

И веселая улыбка сложилась на губах Аполлона Савельевича:- Проси!

"Московский браво" внесся гимнастическим шагом в комнату, склонил голову, шумно пристукнул каблуками и поднял вверх до высоты глаза свой безконечный ус:

— Позвольте напомнить вам собою, превосходительный губернатор, веселые вечера в Ambigu, ужины у Brébant и mademoiselle Amanda de folle mémoire.

— Здравствуйте, cher monsieur Свищов, отозвался тот, протягивая ему руку со смехом, — как я рад вас видеть!.. Que bon temps vous me rappelez!..

— Век юный, прелестный…

запел глубоким басом Свищов. — Да-с, времечко хорошее было, бремя государственных забот не придавливало еще тогда юной главы вашей в долу, примолвил он своим обычным нахально-шутовскимь тоном.

— Ну, какия там "государственныя заботы!" с небрежною скромностью заявил Аполлон Савельевич:- un pauvre préfet, исполнитель высших предписаний.

— И в губернии своей "маг и волшебник", загоготал гость, — в которому я являюсь ходатаем о благе вверенного ему края.

Губернатор комически всплеснул руками:

— Как! Et toi, Brutus, aussi! Боже мой! На что же надеяться после этого! Увидев вас, я было совсем забыл мою официальность и перенесся душою в счастливым дням моей парижской жизни десять лет тому назад…

— Ohé, l'amant d'Amanda! подмигнул на это и присвистнул Свищов, — quelle noce, crédié, в те дни!… А помните, как она, бывало, подопьет и затянет своим визгливым французским фальцетом:

Lon, lon, la, quand ma tasse est pleine,
Lon, lon, la, de vin d'Argenteuil,
Lon, lon, la, que l'orage vienne,
Lon, lon, la, moi je m'en bats l'oeil…

— Отличная девочка была, и не жадная!

Аполлон Савельевич, с видимо элегическим намерением, испустил глубокий вздох и закачал раздушенною головой:

— Les myrtes sont flétris, les roses mortes, произнес он на распев стих из Гюстава Надо.

— "Таков в удел прекрасного на свете!" выпалил в ответ из Шиллера Свищов и вскинул ногой вверх.

— Да вы мне скажите прежде всего, начал опять губернатор, — чему обязан я удовольствием видеть вас здесь, в этой трущобе? Вы что: здешний обыватель, землевладелец, земский деятель, или просто проезжий, опоздавший на поезд, — где собственно обретается теперь ваш центр тяжести? Ведь вы, кажется, до сих пор были лишь блаженный cytoyen de l'univers?

— "И здесь, и там, везде я твой",

запел снова в ответ "московский браво", уже из Варламовского романса, и приложил руку к сердцу, — а в настоящую минуту пребываю в этих палестинах с целью даровать неблагодарным соотчичам ближайшее средство сообщения с Европой… Вам, вероятно, не безъизвестно, как говорится на вашем официальном языке, объяснил он тут же, упершись многозначительным взглядом в самые глаза своего собеседника, — о предполагающейся в Петербурге железнодорожной линии, имеющей пройти чрез всю вашу губернию на ***?

Губернатор насторожил уши.

— Слышал как-то действительно, осторожно пропустил он своим женски-мягким голосом.

— Знаете, кто этим интересуется? протянул таинственным шопотом тот, все также не отрываясь от него глазами.

Мышиные глазки губернского сановника так и забегали: "Ты-то почему знаешь и какую роль играешь при этом?" говорили они.

— Я полагаю, все, ответил он с дипломатическою ловкостью, — кто только желает наиполнейшаго развития железной сети в России.

— Vivent les gens d'esprit, мы друг друга поняли!

И Свищов, лукаво прижмуривая правый глаз, трепнул широкою ладонью своей, в виде одобрения, по лядвее посадившего его подле себя "хозяина губернии".

Тот даже привскочил на месте от этой неожиданной и далеко не показавшейся ему лестною "фамильярности":

— Однакоже вы… не договорил он, хмурясь и вскидывая плечами.

— Мы поняли друг друга, превосходительный, повторил Свищов, будто ничего не замечая:- вы видите во мне агента компании, к которой примыкает известная вам особа, подчеркнул он, — а я с этой минуты уже не сомневаюсь, что вы всем влиянием вашим будете содействовать нашим планам.

— Позвольте, проговорил с достоинством Аполлон Савельевич, — мое "влияние" здесь ни причем; я не инженер и не директор департамента железных дорог.

— Laissez donc, mon cher préfet, иронически напирая, перебил его с хохотом "московский браво";- вы очень хорошо знаете, чем можете быть в этом случае полезны. Дело теперь стоит так…

И он быстро, в жару изложения безпрестанно тыкая пальцами в ногу или туловище своего собеседника, — во избежание чего тот откатил от него наконец кресло свое на некоторое разстояние, — сообщил ему то, что уже известно нашему читателю: о "необходимости" иметь официальное заявление земства тех уездов, чрез которые должна была пройти предполагаемая линия, относительно чаемой от нея пользы для края; о том, что здесь предвидится такому заявлению сильная оппозиция со стороны "охранительной партии", во главе которой стоит генерал Троекуров, "человек, решительно враждебный всякому прогрессивному начинанию, и эксплуататор народного труда всей здешней местности", но "вредное влияние которого может быть парализовано благоприятными для прогрессивной партии новыми выборами на земские

должности", — к чему он, Свищов, и прилагает теперь все свои старания…

Губернатор внимательно прислушивался в его словам, покусывая губу и разбегаясь глазами во все стороны, но лицо его при этом выражало как бы полную безучастность. Он отнюдь не намерен был "комирометтировать" себя "avec un quidam de cette espèce", как называл он мысленно Свищова, и досадовал на "неосторожных", довериших такому "quidam'y" закулисную тайну предполагаемой постройки, содействие которой им было обещано, кому следовало, в Петербурге при назначении его, на воеводство.

— Вы понимаете, mon cher monsieur Свищов, засосал он свою карамельку, когда тот кончил, — что желаемое вами заявление зависит единственно от свободного решения господина земства вверенной мне губернии… Говорю "господина", как говорилось в старину: "господин Великий Новгород", "господин Псков Великий", ввернул он, любезно смеясь, — и гнести, так сказать, моим губернаторским авторитетом на соображения этих господ я и не в праве, и не намерен никак. Je tiens en trop haute estime les assemblées publiques, я немею пред ними, voila ma devise! Могу только сказать поэтому, что, каково бы ни было там решение, протеста с моей стороны не будет: это я могу обещать вам положительно заранее.

— Ну-с, а направить, а шепнуть, как сами вы и в Петербурге как об этом думают, подмигнул еще раз Свищов, — вы полагаете несогласным с вашею haute impartialité?

— Я своего мнения не скрываю, уже с некоторою величественностью произнес просвещенный губернатор:- в каком бы пункте и между какими бы пунктами ни вздумалось современному прогрессу провести железнодорожное сообщение, я бы только порадовался и содействовал бы этому всею зависящею от меня властью.

— Слушаю-с! протянул гаерническою интонацией Свищов и, ухватив руку сановника, потряс ею сверху вниз, точно тыкая пестом в ступе,- nous nous entendons!..

Тот вырвал у него с сердцем свои помятые пальцы, готовясь протестовать самым решительным образом против этого нахального обращения с собою.

Но в то же время у дверей комнаты раздался еще раз голос урядника:

— Пров Ефремович Сусальцев!

Губернаторе вскочил с места и, с нахмуренным еще челом, пошел навстречу входившему.

— Почтеннейший Пров Ефремович, вы предупредили меня, возгласил он сладчайшим голосом, протягивая ему обе руки:- сегодня же с вечерним поездом я жду сюда дядю, с которым мы должны были тотчас же ехать в ваше княжеское, как его здесь все называют, Сицкое.

Пров Ефремович не понял льстиваго намерения, заключавшегося в этих словах:

— Оно действительно, допрежь того как мною куплено, Шастуновых князей было, ответил он.

— Ах, я не в этом смысле, засмеялся тот: оно, говорят, у вас удивительно устроено и великолепно содержится.

— Ничего-с, уголок сносный, скромно и небрежно ухмыльнулся на это Пров Ефремович.

Он держал себя холодно, чтобы не сказать строго: ты, мол. губернатор, да мы и не таких видали.

— Достопочтеннейшему мануфактуристу и землевладельцу мое высокопочитание! ворвался тут же в разговор неугомонный Свищов, подбегая к Сусальцеву с протянутою рукой. И, не давая тому времени ответить на его приветствие, обратился в губернатору:

— Вот, превосходительный, мы сейчас с вами говорили о местных интеллигентных силах: вы видите пред собою крупнейшую, можно сказать, из них: капитал, ум, энергия — все-с соединено в предстоящем здесь человеке.

— Это уж вы слишком, позвольте... залепетал Сусальцев.

— Такой отзыв не должен вас удивлять, поспешил любезно заявить со своей стороны "начальник губернии", хмурясь в то же время в сторону "московского браво", — этот отзыв всеобщ... Вы, смею думать, земец, и усердный, примолвил он торопливо, с видимым намерением не дать говорить Свищову.

— Гласный, и даже из самых последних по деятельности, как бы смеясь над самим собой ответил Пров Ефремович.

— Ах, это стыдно, стыдно! засосал карамельку Аполлон Савельевич:- в настоящее время, когда в дальнейшем развитии нашего государства земским учреждениям предстоит играть такую важную роль...

Свищов не дал ему договорить:

— Эгоист он, превосходительный, захихикал он, — о приращении своих миллионов единственно помышляет. А мы его вот на зло возьмем, да и выберем в председатели нашей управы; поневоле придется послужить общему благу.

Сусальцев даже покраснел слегка:

— Что же... я служить никогда не отказывался... Не выбирали до сих пор, проговорил он с искусственным смехом.

— И прекрасно, прекрасно, закивал головой губернатор:- такие люди, как вы, должны принимать на себя общественныя функции... именно такие, подчеркнул он, — свежие, можно сказать... Мы об этом уже говорили с Антониной Дмитриевной, наклонился он к нему на ухо с этим сообщением.

"Понял! от тебя, должно, и идет!" вспомнил Сусальцев разговор свой с женой. Но продолжать на эту тему в присутствии "такого хлыща безпардоннаго", каким был в его понятиях давно знакомый ему "по деянием своим" Свищов, было бы, по его мнению, излишне.

— Когда вам будет угодно, обратился он к Савинову, — лошади и экипажи к вашим услугам. Они прибыли со мной и будут ждать тут у вас на дворе... Дядюшку вашего, Алексея Сергеевича, позвольте мне встретить на станции. Буду туда в часу прибытия поезда.

— Ах, зачем вам безпокоиться, он враг всяких официальностей, счел нужным заявить громко Аполлон Савельевич: "Еще бы ты не поехал встретить!" говорил он себе мысленно в то же время.

— Считаю долгом... хозяина, отчеканил с достоинством Пров Ефремович, вставая и расшаркиваясь.

Губернатор, пожимая я не выпуская его руки до самых дверей, провел его до половины соседней комнаты, раскланялся и быстрым шагом вернулся в кабинет.

Остававшийся там Свищов кивнул ему головой по адресу уходившего, потянул пальцем к низу угол праваго глаза и высунул язык во всю его длину.

Но Савинову он успел уже надоесть как горькая редька.

— Pardon, monsieur Свищов, безцеремонно отнесся он в нему:- мне еще надо заняться с моим правителем канцелярии… Наши дебаты, кажется, с вами кончены.

Несколько огорошенный "московский браво" поглядел на него:

— Vous me mettez à la porte?

Изящный сановник пожал плечами:

— Извините меня, но у меня есть обязанности… Nous ne sommes plus à Paris…

— "Ах, тяжела ты, шапка Мономаха"! Понимаю-с! До пршиемнего видзенья, пане вельможный!..

И, повернув налево кругом, "le général Suicheflf" вышел тем же своим гимнастическим шагом из комнаты, не оборачивая головы.

XII

Прибавилось духа,
Затихла тоска,-
И слушает ухо,
И пилит рука.

Фет.

"Волк" нервно и озабоченно, склонив голову и покусывая крупныя губы, расхаживал вдоль и поперек небольшой камеры в одно окно с железною решеткой, имевшейся для арестантов в земской больнице города ***. Он с видимою осторожностью ступал по доскам пола, разминая свои обутыя в войлочныя больничныя туфли ноги, во избежание шума, могущаго выдать обман, которому одолжен он был переводом сюда из острога. Он очень ловко там, на другой же день после своего ареста, притворился пораженным ревматическим припадком, лишившим его будто бы способности не только двигаться, но и подняться с досок нар, на которых лежал он, когда утром смотритель острога зашел взглянуть на него. Он казался таким страдающим и безпомощным, что тот счел нужным послать за доктором. Доктор явился, осмотрел… Это был еще довольно молодой и взъерошенный парень, не глупый, очень разсеянный с виду и весьма себе на уме в действительности, страстный поклонник Щедрина и сам пописывавший обличительно-юмористические статейки в разных московских и петербургских сатирических листках под псевдонимами "Мал да удал" и "Панург козлиного стада". "Политический арестант" вызвал в нем тотчас же, само собою, полное сочувствие в себе. Поверил он или не поверил его недугу, но вид он не медля принял подобающий, "серьезный", и, отведя смотрителя несколько в сторону, объяснил ему, что "держать человека при таком страдании в этом клоповнике безсовестно и что его необходимо положить на койку в больнице… Ведь и каторжным милосердие оказывают", говорил он с некоторою уже язвительностью, "а тут человек может быть еще и совсем невинный"… Смотритель, придерживавшийся также

убеждений "самых гуманных", пришел в великое от таких слов смущение, отвечая, что он "конечно сам вполне разделяет", но что он лицо подначальное и что об этом надо доложить жандармскому помощнику, а не то, как он слышал, должен прибыть сам товарищ прокурора, господин вполне либеральный, так тот непременно велит перевести... "Вы уж потерпите крошечку"! обратился он с просительным видом к арестанту.

Тот только страдальчески замычал в ответ.

Товарищ прокурора, вызванный еще накануне из Москвы телеграммой жандармского подполковника, заехал в тот же день в тюрьму. Мы уже знаем из разговора его с губернатором, что в виду болезненного состояния арестанта он не счел возможным продолжать начатаго было им допроса и, отложив "формальность" до выздоровления его. велел немедленно перевести в больницу.

"Волк" провел там ночь на покойном матраце, спал отлично и, совершенно бодрый духом, размышлял теперь, расправляя члены после долгаго насильного лежанья, о том, как он "выберется из этого места". А что он выберется так или иначе, в этом он не сомневался. Не в таких "переделках" случалось ему бывать. К тому же у него были и основания надеяться.

От него сейчас только ушел доктор, заставший его лежавшим на кровати.

— Ну что, батенька, не полегчало за ночь? спросил он фамильярно веселым тоном, присаживаясь ему в ногам.

— Ломит все, простонал тот.

— А нуте-ка, дайте я вас маленечко ощупаю... Болит? спросил он, надавливая на какой-то нерв на бедре.

— Да-а...

— А тут?

— Тоже.

Доктор посмотрел ему вдруг прямо в глаза и засмеялся:

— На койке-то у нас попокойнее будет лежать, чем в остроге?

"Волк" не ответил и зорко в свою очередь глянул ему в лицо.

Тот безцеремонно трепнул его ладонью по якобы больному месту и хихикнул опять:

— Полежите у нас, батенька, полежите, ничего... В Московский замок не хочется небось, прошептал он тут же скороговоркой, лукаво прижмуривая правый глаз...

И, не дождавшись ответа, обратился ко входившему в эту минуту фельдшеру:- натереть бок скипидарным маслом, да суконкой докрасна... Приятели у вас тут, проговорил он опять со своим разсеянным видом, когда они остались одни:- Троженкова, Степана Акимовича, знаете?

— Знаю.

— Ну вот!.. В обед полную порцию! скомандовал он возвращавшемуся со стклянкой своему подчиненному, — коли булки свежей нет, ко мне пошлите, саек мне из Москвы привезли...

— Спасибо, доктор, счел нужным простонать опять мнимый больной, подставляя бок под суконку фельдшера.

— Ну чего там! качнул головой тот, и снова как бы невзначай подмигнул ему обращенным на него глазом.

Он встал и направился к двери.

— Поправляйтесь, батенька, поправляйтесь!.. У нас тут спокойно, тревожить никто не станет, добавил он, как-то едва заметно подчеркивая, и вышел из камеры.

"Теперь ясно, от этого Троженкова надо ждать..." неопределенно мурлыкал себе под нос натертый докрасна "Волк", оставшись один, осторожно подкрадываясь к круглому со вставленным в него стеклом отверстию двери, выходившей в общий больничный коридор, по которому прохаживались в эту минуту два выздоравливающие больные из крестьян в больничных халатах и молодой солдат с ружьем на плече, поставленный на часы пред самою его "арестантскою камерой".

"С этой стороны нечего и думать", сказал себе "Волк" в заключение своих каких-то особенных мысленных посылок, и, отойдя к кровати, улегся на спину, скрестив руки на груди вперив неподвижно зрачки в потолок... Он ждал.

Так прошло с час времени.

Замок в двери щелкнул. Вошел больничный сторож, старый отставной солдат, держа в обеих руках миску в больничным бульйоном, а под мышками суповую тарелку и оловянную ложку.

Он уставил все это на ночной столик подле кровати и затем полез своею заскорузлою, слегка дрожавшею — он был "в легком подпитии", — рукой за борт своего полукафтанья, откуда вытащил румяную, пятикопеечную московскую сайку:

— К самому, значит, фершел посылал взять вам, пролепетал он, — нате вот...

— Это от доктора? сказал арестант:- спасибо ему.

— "Спасибо"! проговорил укорительно сторож, получивший только-что от доктора строгий выговор "за нетрезвое состояние", — а за что ругается, спросите, так и сам того не знает...

— А он у вас, видно, человек хороший, поддразнил его "Волк", торопливо принимая у него из рук сайку и сжимая ее инстинктивно обеими руками.

Тот злобно рукой мотнул.

— Хороший! Оболдуй облезлый, а не то что... Купил он теперича пару лошадей, заплатил пару полтин, думал на них до неба доехать, а оне у него за город не успели выехать, обе охромели. Как есть облезлый!

— А разве он куда ездил сегодня? с любопытством спросил арестант.

— Не! Ночевал у него один из его, значит, приятелев, вчера из Москвы приехал, Острожников господин, может слышали? Так он ему этих самых своих одров запречь велел, в имение их отвезти, а они не успели из улицы выехать, оба и охромели, так и вернулись домой, захихикал ядовито старик.

— Почем ты все это знаешь? вторил ему "Волк", чувствовавший себя все в более и более хорошем расположении духа.

— Чего-жь не знать, когда он у нас тут на дворе на самом во флигеле помещается… Квартиру тоже дала управа ему…

— Так этот, ты говоришь, Острожников и не уехал?

— Лошадей у Кривого, у извощика, наняли, чего ему тут валандаться: богач, кабаков держит дюжины две, за ценой не постоит.

— Ну, хорошо, старина, я лопать стану, а ты иди себе; другое блюдо может есть? сказал "Волк", желавший теперь как можно скорее остаться одному.

— Кура, известно, полагается, принесу-пойду…

Едва успел он выйти за дверь, как "Волк", для большей предосторожности обернувшись на кровати лицом к стене, принялся медленно разламывать принесенную ему от доктора сайку. Она, очевидно для него, передана была тому Троженковым, а следовательно заключала в себе нечто, что должно было служить его "вызволению из узилища", говорил он себе уже шутовски мысленно.

Он не ошибался: внутри сайки нашел он прежде всего две сложенныя в квадратики самаго мелкаго объема записки, из которых одна, писанная рукою Лидии Петровны Курсаковой, уже знакома нашему читателю, а другая, начертанная чьим-то неведомым почерком, гласила следующее:

"Роща за больницей. Лошади. Нынешнею ночью. Тут нужное".

Задрожавшие пальцы "Волка" нервно ткнули дальше в хлебную мякоть. "А!" вырвалось у него невольно из груди. Он нащупал там что-то узкое, металлическое, колючее, и, не глядя, не разламывая дальше, судорожно сунул сайку под подушку и прилег на нее головой, прижмурив глаза от усиленно забившегося у него в эту минуту сердца. Он знал, это была тончайшая английская пила, с помощью которой ничего не будет ему стоить "сегодня ночью" уйти "сквозь вот это самое окно", говорил он себе, глядя на довольно жидкия и уже ржавыя железныя полосы, скрещивавшияся двойным рядом за этим, отворявшимся внутрь камеры, окном. "Молодец Мурзин!" Он не сомневался, что "это придумано в Москве", куда ездил очевидно Троженков для совещания, узнав об его, "Волка", арестовании… "За больницей, роща", да, вот она зеленеет своею темно-зеленою хвоей… Там его будут ждать, очевидно; Троженков увезет его к себе… "Камыши по реке", вспомнил он, "в случае чего не отыщут"… Да нет, времени терять нечего, ему надо в Липецк… "В Липецк, все они там будут; вот мы и увидим, и увидим"… И глаза "Волка" загорались и метали искры действительно, как у того зверя, чье он носил название, когда лютою морозною ночью щелкает он на перепутьи кровожадными зубами, чуя близость свежаго мяса. Они должны будут подчиниться его слову, его воле, его неустранимой логике, он возьмет верх, он станет во главе движения, вопреки всему тому неизвестному для него, чему очевидно подчинялись они до сих пор… У него денег нет: "отняли, проклятые!", скрежетал он, вспоминая об этом. Все равно, он у того же Троженкова возьмет. Лишь бы добраться скорее… "В Липецк, в Липецк!…"

Нервы расходились у него страшно. Оконечности ножных пальцев сводило каким-то невыносимым судорожным замиранием, в виски била кровь до боли… "Ну, вздор, справиться с собой надо", решил он, вскакивая с постели и принимаясь опять шагать в своих неслышных туфлях, держась ближе к стене, чтобы не попасть под угол зрения часового, расхаживавшего

по коридору... "Добрую высыпку надо задать до вечера", сказал он себе, приведя себя наконец ходьбой в несколько более спокойное состояние.

Он действительно лег и заставил себя уснуть.

Солнце заходило за темно-лиловую, грозовую тучу когда он проснулся. Собиралось ненастье... "Отличное дело!" блеснуло тут же в голове арестанта. Камера его начинала уже утопать во мраке. Сквозь окно, из-за прогалин шуршавшей под ветром, шагах пятидесяти от больничных зданий, рощи инде сверкали узкия багровыя полоски заката. Глухой гуд далекаго еще грома доносился по временам до чуткаго слуха "Волка" сквозь затворенныя оконныя рамы... "Не замазаны ли оне?" пришло ему вдруг на мысль, — и как это я до сих пор не проверил!"

И быстро вскочив, он кинулся к окну, но тут же остановился. "Нет, погодить маленько, когда совсем темно станет."

Он опять лег... Но нетерпение превозмогло. Он подкрался к окну, ухватил обеими руками задвижки сверху и снизу, потянул к себе... Рама поднялась, слабо визгнув заржавленными петлями... Он быстро притворил ее и прыгнул к кровати: сквозь стекло двери косым лучом падал в камеру свет только-что зажженной керосиновой лампы на стене коридора противоположной его двери... "До окна не добегает", с новым радостным ощущением заметил "Волк".

Замок двери щелкнул в то же время.

Он уже лежал на своей койке, скорчившись и глухо охая, как бы пересиливая боль.

Вошел фельдшер с мазью и стклянкой какой-то невинной микстуры.

— Помазать вам еще? спросил он сонным голосом.

— Ах, не трогайте, я только что покойно улегся, как бы чуточку полегчало... Оставьте, если можно, я сам потом могу... Не безпокойте себя.

— Извольте, я могу оставить, равнодушно проговорил тот опять. — Свечу вам принести?

— Пожалуй, только я спать хочу... Вы мне спичек оставьте.

— Могу...

— Послушайте, начал опять "Волк" стонущим тоном, — нельзя ли попросить этого часоваго... Спать не могу, как начнет он ходить точно меня в больное место ножом тычет.

— По должности своей ходит, нельзя, пропустил фельдшер сквозь зубы;- а впрочем, я скажу... Коли вам какая надобность, так тут у вас в стене у койки звонок к сторожу, добавил он зевая, — придет.

— Хорошо, мне бы только уснуть скорее...

Он остался опять один. В коридоре шаги часоваго замолкни: он уселся с ружьем в руке на стоявшую там скамью. Раскаты грома все чаще и все ближе рокотали за окном... Арестант лежал на кровати, на спине, с закинутыми за голову руками. Время неслось, а с ним и тысячи мыслей, образов, представлений мелькали в мозгу его, а ему казалось иной раз что целые часы успели, пробежать с минуты ухода фельдшера... Но нет, он знал что часовые сменяются

каждые три часа и что при новой смене могут к нему войти, для удостоверения что он тут действительно. Надо поэтому дождаться ея, и там уже, когда, новый часовой уходится и присядет, как этот...

Вот и она, смена. Топот тяжелых шагов, лязг опускаемых ружей раздались за дверью. Она отворилась на миг, мелькнуло чье-то лицо, струя света добежала до лежавшего, заставив его невольно прижмурить глаза, — и все исчезло затем, дверь защелкнулась опять; новый часовой. зашагал мерным, увесистым шагом, с регулярностью маятника застилая теперь тенью своей чрез каждыя полминуты тускло светнвшее сквозь стекло двери пламя лампы в коридоре. "Когда-то он еще уходится как тот которого смевил он... а там, в роще, уже ждут, приехали наверное..."

Оглушающий удар грохнул словно над самою больницей и крупный ливень вслед за ним, сопровождаемый внезапным порывом вихря и дребезжащими отгулами грома, зазвенел в стекла окна.

"Самое время!" пронеслось в голове "Волка"... Он подбежал в окну, дернул за задвижки — и едва удержал в руках раму от ударившего в нее напора ветра. Одно из стекол треснуло, слабо звеня...

Он быстро обернулся, тревожно устремив взгляд в круглое оконце двери... Но там, за ним, все тою же регулярною походкой, то застилая, то открывая вновь свет коридорной лампы, прохаживалась автоматическая фигура часоваго.

Вихрь тут же стих, словно разбитый в прах неотразимою силой ливших с неба потоков...

"Волк" отворил теперь рамы на обе половины. Он стиснул вынутую им из сайки узенькую пилу, укрепленную на твердом стальном стержне, между тем как каменные зубы его пережевывали в мякоть сунутыя им в рот найденныя в сайке записки. "Спилить края, а там сами погнутся", сказал он себе, пробуя рукой степень устоя одной из продольных полос решетки окна и чувствуя в этой руке как бы прилив такой силы, которая погнула бы и не такое препятствие.

Пила завизжала по железу сквозь шум дождя, обливавшего его снаружи своими брызгами... "Услышит!"... Он вспомнил о мази, оставленной ему фельдшером, прыгнул к столику и, зажав пузырек в руке, вернулся к решетке.

Свет из дверного оконца как бы мгновенно померк. Он живо обернулся. "Лампа погасла?"

Нет, она светила, но между ею и окном он различил лицо часового, вглядывавшегося в его камеру... "Волк" быстрым шагами, наклонив голову, приполз в своей кровати, сел и принялся усиленно кашлять.

Звук этого кашля достиг слуха любопытствовавшего солдата и успокоил его повидимому. Он отошел от двери, а затем шаги его и совсем смолкли... "Уходился!" И мгновенная усмешка зазмеилась по безобразным губам арестанта.

Смазанная скипидарным маслом пила действовала отлично. Чрез несколько минут одна из вертикальных полос решетки была снизу подпилена. "Волк" надавился на нее всею силой своих железных мышц. Она подалась, крякнула и, скользнув в его руке, грохнулась оземь с расщепившимся деревом обшивки, в которую вбита была вверху... "Волк" глухо и язвительно засмеялся про себя: "Из гнилья строили, а земские денежки в карман себе положили..."

Он быстро принялся теперь за нижнюю продольную полосу... Ливень стихал, но рука двигалась

с какою-то словно с каждым мигом все возрастающею силой. Еще одно последнее движение… И локоть его неосторожным взмахом, выдергивая пилу, ударил о раму оконной половинки. Разбитое стекло полетело со звоном на землю…

И в то же время явственно донеслись до него тяжелые и торопливые шаги поднявшегося очевидно на этот звон часоваго в коридоре.

"Волк", перегнувшись чрез подоконник, навалился весь на полосу, встряхивая ее руками, погнул, сдвинул, сорвал ее — и вслед за нею, не выпуская ея из рук, готовый разможжить голову первому, кому вздумалось бы остановить его, очутился на земле, прыгнув из окна с полуторасаженной высоты, но целый и невредимый, попав как в кашу в густую грязь, успевшую образоваться на дворе от ливня.

Он кинулся бежать в направлении к роще.

Он внимательно изучил окружающую местность в течение дня, но теперь на дворе стояла темь непроглядная и дождь, сыпавший в эту минуту уже мелкими, но непрерывными и стремительными каплями, сек его по лицу, по векам глаз словно железными опилками. Сквозь влажную пелену он едва различал огоньки в окнах служб, обнимавших двор больницы четыреугольником со свободным между корпусами пространством земли, обнесенным со стороны поля невысоким забором.

Но терять времени было нечего. Из окна, откуда выскочил он, доносились до него лязг замка в двери, торопливый топот ступней, бежавших в камеру, и крив: "Держи, держи!" Он пустился бежать стремглав прямо на те мелькавшие пред ним огоньки сквозь дождь и тьму и, в нескольких шагах от них, круто завернул влево к забору, где утром он заприметил калитку.

Ничего не видя по-прежнему, держа одну руку вперед на всякий случай и не выпуская из другой железной полосы, вырванной им из окна, он ударился изо всей силы ладонью о забор, которого не предполагал столь близким и не удержался от невольного стона, вызванного болью. И в то же время кто-то, выскочив из ближайшаго здания, кинулся на него с новым криком: "Стой, кто там? Держи!" Тяжелая рука ухватила его за рукав, дернула…

Он вырвался, взмахнул своею полосой… Что-то грохнулось оземь с глухим воплем… "Волк", шаркая ладонью по забору, побежал к углу к калитке… Вот она: рука удачно набрела прямо на железное кольцо ея. Он рванул за него — и вылетел в поле.

А на дворе стояла уже тревога, из изб выбегали люди, замелькали фонари, кто-то ударил в колокол, созывавший служащих на обед… "Волк" бежал без оглядки, скользя и утопая в грязи пустыря, чрез который несли его обутыя в больничные "шлепанцы" ноги. Ему чудилось преследование, людские голоса, лошадиный топот… И он бежал, едва переводя дух, потеряв всякое сознание разстояния, безсильный дать себе отчет, далеко-ли ему еще до этого леса, в котором ждало его спасение…

Он уже достиг его, и что-то, словно чернее самой ночи, зияло оттуда на него из-под нависших ветвей и игл высоких сосен, когда набегу нога его задела за широко раскинувшийся корень дерева, и он со всего размаха полетел головой вниз, разбив себе при падении все лицо в кровь. Он потерял на минуту сознание и, придя в себя, вскочил на ноги, но тотчас же упал опять от нестерпимой боли зашибленного им колена.

Новый стон вылетел из его груди и замер тут же.

До него явственно донеслось фырканье и встряхиванье лошадей на самом близком от него

разстоянии. "Это от Троженкова", сказал он себе; пересиливая боль, он поднялся опять и направился хромая на эти звуки.

— Эй, там, помоги! решился он крикнуть, хватаясь за ствол дерева, чтобы не свалиться еще раз.

— Тут, пожалуйте, отозвался на это шопотливо чей-то голос.

— Подойдите, я расшибся, итти не могу.

— Вы из больницы? спросил тот же голос, и чья-то рука дотронулась до него.

— А вы из Быкова?

— Так точно, Степан Акимович прислали, я вас два часа места больше как жду здесь... Счастливо выбраться изволили? хихикнул к этому знакомый читателю Федька.

— Убил там кого-то, должно быть, ответил на это как бы невольно "Волк";- ну, усади меня там скорее и вези; мочи нет.

Федька довел его до тележки, усадил, подсел к нему, и лошади, гулко шлепая по лужам и промоинам лесной дороги, побежали крупною рысью по пути к Быкову.

XIV

Часу в одиннадцатом утра на другой день после переданного нами читателю, тарантас исправника Ипатьева подъезжал ко крыльцу большаго дома в Сицком, где молодой губернатор и дядя его, действительный тайный советник, член Государственного Совета, Алексей Сергеевич Колонтай имели пребывание уже третий день.

Исправник выскочил из экипажа и вошел в сени, из которых вышел ему навстречу благообразный слуга во фраке и белом галстуке, из целой команды слуг, выписанной в последнее время Провом Ефремовичем Сусальцевым из Москвы, по требованию его изящной супруги. Рубахи с косым воротом, подстриженные в скобку волосы изъяты были вовсе теперь из обращения в Сусальцевских палатах, поставленных вновь "на вполне европейскую ногу", как выражался Евгений Владимирович Зяблин.

— Мне требуется видеть господина губернатора, объяснил исправник, — проведите меня пожалуйста к нему.

Слуга замялся несколько:

— Они в настоящую минуту изволят завтракать с прочими господами...

— Все равно, доложите.

Тот как бы недоумело глянул на него изподлобья, провел рукой по весьма внушительным бакенбардам, пушисто топырившимся по его щекам, и направился затем неторопливым шагом к лестнице, уставленной кадками с померанцовыми деревьями до самаго перваго этажа.

Прошло пять минут, прошло десять, — он не возвращался.

Ипатьев расхаживал вдоль и поперек пространных сеней, уткнувшись глазами в землю и нервно пощипывая кончики усов. "Точно просителя какого заставляют ждать", невольно

приходило ему на мысль.

— Пожалуйте! раздалось наконец сверху.

Он поднялся по ступенькам.

— Просят обождать, они к вам выйдут, объявил слуга, введя его в первую гостиную, где на стене висел все тот же "portrait d'ancêtre", Екатерининский генерал-аншеф князь Шастунов на боевом коне, повешенный сюда княгинею Аглаей Константиновной[87] и проданный Сусальцеву вместе со всею прочею родовою движимостью Сицкаго ея безпутным "Базилем".

Тут пришлось исправнику ждать еще минут двадцать, и с каждою минутой становилось ему все тяжелее. Он мельком взглянул на образ свой, отражавшийся в одном из огромных зеркал, украшавших стены гостиной, на цветные канты своего полицейского мундира. "Почитают за одно с лакеем". И желчная улыбка скривила его губы.

Но вот отворилась дверь ближайшаго покоя и в комнату вышел Аполлон Савельевич Савинов в летнем, ослепительно белом и мастерски выглаженном coutil с головы до ног, клетчатом шотландском галстучке и с папироской в правой руке.

Он протянул два пальца левой своему подчиненному и, прищурившись:

— Я завтракал, извините, уронил он небрежно: — вы ко мне по делу, или как добрый знакомый? добавил он в виде любезной шутки.

Но "майору с Балкан" шутка эта показалась неуместною:

— Знакомство мое с вашим превосходительством зависит единственно от служебных отношений, и на другое я не почитаю себя в праве претендовать, сухо выговорил он в ответ.

Едва заметное смущение пробежало в мышиных глазках губернского сановника, но он тотчас же подавил его, усмехнулся чуть-чуть насмешливо и склонил голову по пупоклоном:

— В таком случае мне остается только выслушать то, что вы имеете мне сообщить.

Он повернул к себе близ стоявшее кресло, уронил себя в его мягкое сиденье, закинув ногу за ногу и указал рукой исправнику на другое кресло против себя:

— Сделайте милость.

— Я счел долгом приехать доложить вашему превосходительству, начал медленно тот, — что нынешнею ночью из земской больницы в городе ушел переведенный туда из острога третьяго дня, по приказанию товарища прокурора, политический арестант, о котором вашему превосходительству известно.

— А, да, этот Бобруйский, знаю… Как же это он ушел, интересно? спросил губернатор с тем выражением любопытства, с каким досужий читатель пробегает дневник происшествий в своей газете.

Исправник передал факт бегства так, как он уже известен нашему читателю.

Аполлон Савельевич покачал головой и засмеялся:

— Ловко однако!.. И зашиб этого сторожа, вы говорите… Серьезно?

— Оказалось, к счастию, не опасно… Разсек кожу на черепе однако…

— Удивительно решительный этот народ, надо признаться, заключил сановник в виде морали басни. — Вы говорите, он скрылся в лесу?

— Так точно. Следы его ног в больничных туфлях ясно отпечатались на мокрой земле до самой опушки леса. Там ждал его экипаж, телега или тарантась, который увез его далее. Это видно из свежей колеи, проведенной колесами этого экипажа, и из того, что следы его подошв пропадают в нескольких шагах от опушки, смешиваясь с отпечатком ступней человека в обыкновенных сапогах. который очевидно ждал его тут с лошадьми. Пред тем, как ему влезть в телегу, он, надо полагать, где-нибудь зацепился и поранил себя, так как видны следы крови на одном месте посуше, где дождь не успел смыть их.

— А вы уж успели побывать на месте?

— На заре выехал произвести дознание.

— Д-да, протянул неопределенно губернатор, — и куда же это могли увезти его?

Короткая усмешка пробежала по губам исправника: — Весьма недалеко-с.

— А! Вы почем же знаете?… Ну да, конечно, как бы вдруг догадался Аполлон Савельевич, — вы проследили колеи, оставленныя этими колесами?

— Колеи действительно идут по тому направлению, но для меня и без этого совершенно ясно, что его могли увезти только в одно место, куда я и отправил одного человека проследить его окончательно и где, не сомневаюсь, можно будет арестовать его сегодня.

— Какое же это место?

И брови губернатора строго и многозначительно сдвинулись.

— Быково называется. Владелец его, по фамилии Троженков, человек давно известный по неблагонамеренности своей и состоящий у нас под негласным надзором, был когда-то корреспондентом лондонского Колокола…

— Человек интеллигентный значит?

Ипатьев чуть-чуть поморщился.

— Это уж как понимать, проговорил он с невольною пренебрежительною улыбкой, — а только что он тут в уезде пользуется, и основательно, весьма незавидною репутацией, держит целую массу кабаков, занимается кулачеством, а при этом разыгрывает какого-то либерала, интригует и мутит против всех здешних порядочных людей.

— А "порядочными" кого вы именно называете? ухмыльнулся в свою очередь, прищурившись на говорившего, его собеседник.

— Я уже имел честь докладывать вашему превосходительству в городе: в настоящую пору весь должностной, персонал дворянства и земства здешняго уезда состоит из лиц совершенно почтенных, начиная с предводителя, который, к сожалению, принужден теперь по болезни отказаться от должности…

— Да, знаю, из бывших севастопольских героев… Ну, генерал Троекуров само собою, о котором

мае постоянно приходится слышать теперь? подчеркнул с несколько насмешливым оттенком Аполлон Савельич.

— Действительно, подтвердил Ипатьев, — человек из ряду выходящий.

— Вы находите?…

Губернский сановник прищурился опять и закурил новую папироску:- он, говорят, феодалом каким-то держит себя здесь.

— Не замечал, ваше превосходительство, коротко ответил на это тот.

— Так вы что же, заговорил после небольшаго молчания его начальник, — полагаете ехать арестовать этого Бобруйского у господина Троженкова?

— Так точно; я так думал даже прямо отсюда…

Губернатор не дал ему договорить:

— Я смею думать, со своей стороны, что если он там и действительно находится, так все-таки его вам там, прямо руками не выдадут.

— Само собою; придется тщательный обыск произвести.

Аполлон Савельич вскинул голову вверх с некиим негодующим видом:

— Другими словами, ворветесь в дом совершенно, быть может, мирного и непричастного к делу этого бегства гражданина, так как положительных улик вы против него не имеете и основываетесь только на личных ваших догадках, потревожите его, спокойствие, неприкосновенности его home, как говорят Англичане, и все это для того> чтобы, по всей вероятности, ничего не найти и подать повод только к новым нареканиям на произвол администрации… Позвольте, — и новый просвещенный представитель этой "администрации" остановил величественным движением руки чаемое возражение со стороны своего очевидно придерживавшегося "старых взглядов" подчиненнаго, — я имею со своей стороны некоторыя сведения о лице, которого вы заподозриваете, как участника в бегстве вашего арестанта. Господин Троженков, здешний землевладелец, принадлежит к земской партии, состоящей в настоящую минуту не во власти, следовательно партии, легально оппозиционной, говоря европейским парламентским языком, и с этой стороны придираться к нему мы не имеем никакого права. Положим, что, помимо этого, он придерживается убеждений несколько крайних, но и до этого нам с вами дела нет, позволю я себе заметить. Мы, слава Богу, дожили, кажется, в России до той степени гражданского понимания, когда за убеждения людей не преследуют, если за ними нет фактов, свидетельствующих прямо о каком-нибудь злом умысле. А ведь вы таких фактов в оправдание того насильственного обыска, который вы намерены произвести у него, представить не можете, я полагаю. Но допустим, что арестант действительно увезен Троженковым, — кто вам поручится, что вы найдете его там? Не следует-ли предполагать, напротив, что он его, в таком случае, в прошлую же ночь успел отправить далее, или так припрятал, что никакие ваши обыски ничего не в состоянии будут открыть? В обоих случаях из этого выйдет только скандал на весь уезд, на всю губернию, новые крики, новое возбуждение общественного мнения против власти, которая теперь более, чем когда-нибудь, должна бояться возбуждать его против себя и держаться относительно его как можно осторожнее и… скромнее, прямо скажу.

Ипатьев поднял на начальника свои строгие, серьезные глаза и воззрился в него с видом

глубокаго изумления.

— Как же быть однако, ваше превосходительство? медленно выговорил он:- факт тот, что арестованный чело век ушел из места заключения, что полиция имеет полное основание предположить, что он нашел убежище там-то; следует ей, или нет, исполнить прямую свою обязанность, то-есть, употребить все зависящия от нея меры задержать его там, где он находится, или выследить дальнейший путь его следования, если его уже тут нет?

Губернатора слова эти как бы сбили несколько с позиции; он нахмурился.

— Все это прекрасно, сказал он, приискав новый аргумент, — но здесь дело идет не о каком-нибудь простом арестанте, а о политическом; относительно этих лиц существуют особыя правила; инициатива здесь принадлежит не полиции; она в этих случаях должна служить лишь послушным орудием распоряжения двух специально поставленных для этого учреждений: прокурорского надзора и жандармского начальства. Имеете-ли вы от них полномочие на обыск у господина Троженкова?

— Товарищ прокурора и здешний жандармский штаб-офицер уехали вчера в Москву, ответил Ипатьев, — я им телеграфировал по первом известии о случившемся, но до сих пор ответа не имею ни от того, ни от другаго.

— Вот видите! хихикнул как бы победно Аполлон Савельевич.

— Я вследствие того, холодно возразил исправник, — и счел нужным приехать доложить об этом вашему превосходительству. Не может быть никакого сомнения в смысле тех ответов, которых я жду от этих господ, но они могут запоздать еще, а время между тем теряется, и бежавший действительно направлен может быть куда-нибудь дальше своим соучастником.

Спокойный, самостоятельный тон, с которым говорил с ним этот его подчиненный "из фронтовиков", решительно не нравился Аполлону Савельевичу и оскорблял его внутренно какою-то чуемою им нотой как бы презрения к его, как он понимал, вполне "интеллигентным" и "современным" воззрениям.

— Вы, сделайте милость, меня в это дело не вмешивайте, вскликнул он раздраженно, — а поступайте на свой страх, как знаете… Я, надо вам сказать, враг всякаго лишняго усердия, так как из моей служебной опытности убедился, что оно ведет всегда к последствиям, о которых приходится потом жалеть… И вам могу предложить только тот же совет.

Бледныя губы Ипатьева дрогнули:

— Из этих слов вашего превосходительства мне следует заключить, что никаких мер для поимки убежавшего арестанта мне принимать не следует? веско отчеканил он.

Изящный губернатор окончательно осердился:

— Вы ничего подобного из моих слов заключать не в праве; я вам выразил мое мнение, а затем предоставляется вам поступать по вашему усмотрению… А что, до усердия, так я вам сказал не даром: мне именно с этой стороны жаловалось на вас одно из специальных лиц, от которых вы ждете теперь ответа на вашу телеграмму. Говорят, что при исполнении ваших обязанностей вы руководствуетесь лишь одним жестким применением буквы закона и совершенно пренебрегаете тою гуманною осмотрительностию, без которой нельзя обойтись в наш век, если мы, то-есть. администрация, не хотим оказаться окончательно одиозными в глазах общественного мнения.

Ипатьев выслушал до конца, чуть-чуть усмехнулся кончиком губ и встал в рост.

— В прежнее время, ваше превосходительство, люди в моей должности получали замечания от начальства в случае какого-нибудь упущения по службе; в настоящем случае я получаю таковое от вас за слишком точное исполнение моих обязанностей. Но я иначе служить не умею и не желаю.

Юркие глазки губернского сановника забегали теперь с пугливым выражением сторожеваго овражка в новороссийских степях.

— Почтеннейший.... он старался припомнить его имя и отчество и никак не мог. — почтеннейший... майор, спешно заговорил он, — вы меня не поняли... я вас попрошу присесть опять и выслушать.

Голос его зазвенел чуть не умоляющим звуком.

Но его тут же откинуло каким-то особым течением мысли в совершенно противоположную сторону. Он поднялся с места в свою очередь.

— А впрочем, произнес он с величавым движением руки, которому мог бы позавидовать сам граф Паванов, родоначальник администраторов того сорта, к коему принадлежал Аполлон Савельевич Савинов, — а впрочем, я не привык стеснять ничьей свободы; если вы находите, что убеждения ваши не дозволяют вам служить со мною...

— Я буду иметь честь прислать вам формальную просьбу об увольнении меня от должности сегодня же из города, невозмутимо выговорил на это исправник, поклонился и направился к двери.

"А как же в самом деле с этим арестантом", вспомнилось вдруг губернатору: "ведь он теперь станет всем разсказывать, что я не дозволил ему принять своевременныя меры... Может дойти до московской печати..."

Он кинулся было вслед уходившему, но приостановился опять. "Тарах au fait скажет мне за это великое спасибо, и в судебном ведомстве я буду находить после этого полную поддержку... Mais quel fichu métier", заключил он, подумав опять, — "не даром говорят: положение хуже губернаторского."

Он усмехнулся остроумию этой ходячей поговорки, ловко швырнул окурок своей папироски в пустой очаг соседняго камина, оглянул с видимым удовольствием в стоявшем над ним зеркале изящное отражение своего белоснежного coutil и шотландского галстучка, и отправился, глядя по пути с неменьшим удовольствием на блестящие носки своих escarpins, в апартамент прекрасной хозяйки Сицкаго, за которою третий день отчаянно ухаживал.

XV

В пятом часу в тот же день Пров Ефремович Сусальцев забежал в большую, отделанную им в "русском стиле", столовую, взглянуть последним хозяйским взглядом на убранство стола к "парадному обеду", который давал он в этот день своим "именитым гостям". "Убранством" он остался доволен и, заметив pro forma распоряжавшемуся тут толстопузому, весьма внушительного вида метрдотелю, чтобы "не перемораживать шампанского, а подать в аккурате", собирался кстати зайти в кухню для каких-то инструкций повару, выписанному им за большия деньги из Москвы, но вместо кухни быстро повернулся и устремился в сени, завидев чрез окно подъезжавшую к крыльцу дома коляску.

В коляске этой сидели Борис Васильевич Троекуров и Гриша Юшков.

— Ваше превосходительство!... Григорий Павлович! восклицал хозяин, встречая их на крыльце и пожимая им руки с выражением самой нелицемерной радости во всей своей массивной фигуре. — А Александра Павловна что же, а ваша прелестная барышня? залепетал он тут же с видимым безпокойством, вскидывая глаза в даль: — или оне за вами едут?

— Жена вчера, гуляя в саду, оступилась, вытянула себе жилу в ноге и принуждена была лечь, а Маша никуда без нея не выезжает... Мне очень жаль, прибавил учтиво Троекуров.

Лицо Сусальцева видимо омрачилось. Он подхватил Бориса Васильевича под локоть и наклонился к нему, давая пройти вперед его молодому спутнику:

— Ваше превосходительство, извините меня, залепетал он, — но я так дорожу вашим... добрым расположением, и как я знаю, сколько это будет моей жене больно... и, можно даже сказать, обидно, позвольте просить вас сказать мне откровенно: не имеется-ли — "у генеральши", срывалось у него с языка, но он сдержался и сказал:- у Александры Павловны какой-нибудь особой причины... избегать, так сказать, знакомства с нами?

Борис Васильевич успокоительно усмехнулся.

— Полноте, любезнейший Пров Ефремович, я вам не лгу, говоря, что жена лежит, а как только поправится, она непременно будет у вашей супруги.

— Конечно, пробормотал бедный Пров Ефремович, стараясь принять шутливый тон, — с официальным, так сказать, визитом... Но я полагал так, чтобы попросту, по-соседски... Или, может быть, она думала, что может у нас встретиться за обедом с кем-нибудь для себя... и для вас неприятным? добавил он уже совсем шопотом.

— С кем же это? спросил нахмурившись Троекуров.

Сусальцев сразу сконфузился. Он имел в виду графа Снядецкаго-Лупандина и Островетова, с которыми был знаком, но вследствие "отказа им от дома" у Троекуровых не пригласил их на сегодняшний обед; — теперь же он сразу понял, что "дал маху", и что никак не следовало дать разуметь, что он об этом знает.

— Нет, принялся он изворачиваться, — я хотел сказать, что никого мы на сегодняшний обед не приглашали из здешних, окромя вашего семейства... и само собою наши гости, губернатор наш с дядюшкою Алексеем Сергеевичем Колонтаем и генералом Бахратидовым, получившим, как вам известно, новое назначение на Юге. Мы с ним по Парижу давно знакомы, и вот он теперь сделал любезность жене заехать по пути к нам... Оказывается, он вашего превосходительства старый сослуживец и отзывается о вас самым, то-есть, дружеским и, можно даже сказать, восторженным образом; жалеет, что вы рано покинули службу, что вас ожидала блестящая карьера.

Борис Васильевич слабо усмехнулся и качнул головой.

— Да, я его давно знаю...

Все это говорилось, пока они медленными шагами проходили чрез сени и подымались по мраморным ступеням уставленной померанцовыми деревьями лестницы, на верхней площадке которой стоял в ожидании их Гриша Юшков. Молодой человек был видимо в самом скверном расположении духа. Он приехал сюда единственно потому, что это было, как выражался он

мысленно, потребовано у него отцом Маши "в виде испытания его твердости", — и эта мысль глубоко раздражала его. "Какая-то вечная опека, надзор за мною, как за ребенком, недоверие"... Он упорно молчал во все время пути от Всесвятского к Сицкому. Борис Васильевич не прерывал этого молчания: он угадывал источник его, и в свою очередь; уткнувшись в угол коляски, глядел прищурившимися глазами в даль, погруженный в свою обычную невеселую думу.

Прекрасная хозяйка Сицкаго, само собою, сочла за басню "историю" вытянутой жилы Александры Павловны Троекуровой (хотя тут действительно ничего, выдуманного не было, и Троекурова лежала с холодными компрессами на ноге в своем будуаре,) и приняла это за прямое доказательство нежелания со стороны этой "pécore" вести знакомство с нею, Сусальцевою. Но, как ни глубоко оскорбилась она этим, ни единый мускул не дрогнул в ея лице, когда Пров Ефремович, введя в гостиную новоприбывших, счел первым делом нужным торопливо и вздыхая доложить ей о "прискорбном случае, лишающем их удовольствия" и так далее.

— C'est bien fâcheux! произнесла она тоном банального сожаления, величественно протягивая руку Троекурову с кушетки, на которой полулежала в волнах своего шелка и кружев, окруженная избранными лицами, гостившими в это время под ея роскошным кровом.

— Le général Troécourof, выговорила она протяжно, обнимая их всех одним ленивым взглядом.

Громкия восклицания раздались на это в ответ.

— Троекуров, cher ami, как давно!

И Алексей Сергеевич Колонтай, быстро поднявшись с кресла, заспешил с обеими протянутыми руками к вошедшему.

— А ну-ка, ну-ка, увидим, узнаешь-ли старого камрада? засмеялся в свою очередь сидевший подле хозяйки темнокудрый генерал с южным типом лица. — В одной палатке жили, под одною буркой ночевать случалось, обратился он, лукаво почему-то подмигивая своей красавице-соседке.

— Узнаю, переменился мало наружно, а внутренно как, не знаю, засмеялся со своей стороны Борис Васильевич, обменявшись дружеским рукожатием с Колонтаем.

Генерал прыгнул с места и кинулся обнимать его:

— Тот же все брат, теплый человек, душа-человек, как был, возгласил он таким тоном, что в сущности слова эти могли равно относиться и к "старому камраду", и с нему самому.

— Скажи, зачем ты совсем исчез с горизонта, сколько ведь уж лет хоть бы плюнуть приехал в Петербург. говорил Колонтай.

— Он это и делает: плюет на него и дома сидит, острил весело генерал.

— Нас радует за то его превосходительство пребыванием своим меж нас, ввернул свое слово хозяин и самодовольно улыбнулся такому "ловкому" своему комплименту.

— Нечего мне у вас делать, ответил с насилованною шутливостью Троекуров.

— И правда твоя, брат, правда, поддакнул генерал, — нечего в Петербурге здоровым людям

делать. Я и сам не долго там оставался, а как выехал, так точно из погреба на свежий воздух вылез.

— Не уйдешь ведь от него рано или поздно, сказал ему на это Алексей Сергеевич с каким то многозначителным, показалось Троекурову, оттенком в интонации.

Генерал замахал обеими руками:

— Бог с ним, Бог с ним! Вот временную свою должность исполню, да и сбегу на хуторочек какой, чтобы виноградничек был, да орешник большой с тенью; так там и застряну до самой смерти.

— Как великие люди древняго Рима, засмеялась хозяйка, — уходившие после триумфов к себе в имение, землю пахать и капусту садить?

— Именно, именно, прекрасная женщина! расхохотался он горловым смехом и, завладев ея рукой, припав к ней галантным поцелуем.

— Познакомьте меня с господином Троекуровым, шептал тем временем Аполлон Савельевич Савинов, находившийся тут же, на ухо хозяину дома.

Сусальцев засуетился.

— Ах, Боже ты мой, извините!.. Ваше превосходительство, Борис Васильевич, позвольте познакомить: наш новый, молодой начальник губернии, Апо…

— Мой племянник, обернулся Колонтай к Троекурову, — прошу любить и жаловать.

— Я очень рад случаю, заговорил льстиво "племянник", — ко мне со всех сторон доходит так много о высшей степени полезной деятельности здесь вашего превосходительства…

— Мне о вашей также пришлось слышать не далее как час тому назад, ответил ему на это весьма для него неожиданно Троекуров.

— Вот как, молвил он с невольным ощущением, вызванным далеко "не симпатичным ему", понял он тотчас же, выражением стальных глаз "этого господина":- я в губернии без году неделя, от кого же могли вы слышать…

— От здешняго исправника… или вернее бывшего исправника, Ипатьева, так как он, кажется, принужден вами теперь подать в отставку.

Глазки интеллигентного юного сановника так и разбегались; на щеках выступила краска:

— Это не совершенно согласно с истиной, ваше превосходительство, начал было он уже кисло, но в то же время генерал Бахратидов подхватил "старого камрада" под руку и быстро отвел его в сторону:

— Я так рад, брат, встретить тебя здесь; ты такой умный был всегда, голова твоя толковая, посоветоваться бы с тобою хотел, чтобы поучил ты меня. Попал я теперь, брат, знаешь, сам уж я и не знаю как, на высокий административный пост, во время такое трудное, и сам не знаю, прямо тебе скажу, на каком инструменте теперь играть.

Борис Васильевич засмеялся:

— Сколько помню, здравый смысл у тебя всегда был; вот тебе и "инструмент".

Генерал подмигнул и ущипнул ему локоть:

— Так, брат, и я своим умишком разумел, да вот как побыл теперь в Петербурге, так и совсем с панталыку сбился: там теперь совсем иное требуется.

— Чем здравый смысл? договорил Троекуров:- так ты что же, полагаешь, что тебе от своего отказаться нужно?

Бахратидов со смехом принялся трепать его по спине:

— Эх ты, бритва старая, все также остро бреешь!.. Поговорить мне надо с тобою по душе; вот как-нибудь после обеда найдется случай. Сам бы к тебе приехал, да спешу на место, в ночь отсюда выезжаю.

Гриша Юшков в это время, войдя в след за Борисом Васильевичем, стоял несколько поодаль оживленной группы говоривших, не замечаемый ими, и несколько растерянно оглядывался, не зная, садиться-ли ему, или ожидать, пока "усядутся наперед старшие". Он как бы сквозь туман видел пред собою красивое пятно тканей, в которых утопала хозяйка; ему как-то безсознательно не хотелось вглядываться в нее пристально.

Но она — он это скорее почуял, чем увидел, — подзывала его к себе заморгавшими по его направлению веками:

— Ваш генерал одарен повидимому таким даром поглощения, насмешливо сказала она ему, указывая на место подле себя, — что все меня, как видите, покинули для него. Постарайтесь хот вы быть несколько любезнее... Способны? промолвила она, вглядываясь лучистым взглядом в самую глубь его глаз.

— Насколько съумею, постараюсь, ответил он развязно, храбро выдерживая этот взгляд и говоря себе: "прошла пора, напрасно!"... — Только чем занять вас, право уже не знаю; я так не богат мотивами, а вы их столько наслышались с тех пор, как мы виделись, полагаю, и со стольких струн.

— А у вас что же, как на родной балалайке, засмеялась она, — всего две или даже одна? Все равно, концертируйте!

Он засмеялся в свою очередь:

— Спасибо за сравнение.

— Балалайка, c'est peu élégant, вы находите?

— Оригинально за то, а вы всегда этим отличались.

— Это как понимать следует: в поощрение мне, или в укол?

— А это уж решительно как вам Господь Бог на душу положит.

Она еще раз как бы пытливо глянула ему в глаза. Он еще раз с полным повидимому спокойствием выдержал этот взгляд.

— Скажите, правда? нежданно спросила она.

— Что? вскликнул он с видом глубокаго изумления, хотя как-то разом угадал внутренно, к чему относился этот вопрос.

— У вас все кончено, говорят?

— Что "кончено". Где? продолжал он наружно недоумевать.

— Не понимаете?

— Уверяю вас, нет.

Антонина Дмитриевна загадочно усмехнулась:

— И я, если хотите, понимаю это с трудом, но это повидимому факт. Гнев на вас изволили преложить на милость?

И она еле заметным движением указала на Бориса Васильевича Троекурова.

Молодой человек неудержимо вспыхнул по самые глаза.

— Что же для вас, спросил он, стараясь сохранить все свое хладнокровие, — может быть тут непонятнаго?

— Многое…

По губам ея пробежала новая, странная усмешка:

— Вы: какое намерены теперь принять положение относительно меня, враждебное или союзное?.

— "Союзное?" повторил Гриша, — против чего или кого же это?

— Contre la malchance, неопределенно ответила она: — или вы все того же мнения, что на меня положиться нельзя?

— Сколько мне помнится, вырвалось на это у него, — вы прежде всего не хотели сами…

Голос его оборвался вдруг.

— Чего не хотела?

— Изображать собою каменную гору, на которую "можно положиться", ответил он, уже овладев собою и насилуя себя опять на шутливый тон.

— Таких гор нет, во-первых, потому что каждая может при известных условиях дать трещину и осыпаться, а во-вторых…

Он ждал заключения, но она не договорила и засмеялась опять:

— Признайте во мне одно доброе качество — откровенность.

Он преувеличенно развел руками:

— О, на счет этого отдаю вам полную справедливость.

— Вот видите!

— Вы в этом отношении самому князю Бисмарку не уступите, продолжал молодой человек с какою-то странною смесью тайного раздражения и удовольствия за то направление разговора, которое давало ему возможность, как представлялось ему в эту минуту, "колоть" ее в свою очередь.

— Признаю справедливость сравнения, с комическою серьозностью выговорила она, — мне не даром приходилось слышать в Европе, что я родилась pour être ambassadrice, и я чувствую действительно в себе все способности какой-нибудь княгини Ливен…

И вдруг какая-то мгновенная искра мелькнула в ея аквамариновых глазах; всякий признак шутливости сбежал с ея лица. Она опустила веки и принялась вертеть блестящия каменьями кольца на своих тонких пальцах, как бы в каком-то невеселом раздумьи.

Гриша с невольным вниманием глядел на ея все так же прелестное и как бы "размягченное", казалось ему, лицо. "Достигла своего и довольна", проносилось у него с каким-то горьким осадком в мысли. "И отлично", спешил он сказать себе тут же, "между нами теперь глубь океана." И он как-то преувеличенно усмехался и поглядывал в сторону Бориса Васильевича Троекурова: "ты видишь-мол, что я ея не боюсь."

Но Борис Васильевич продолжал разговаривать с генералом Бахратидовым и Колонтаем и не глядел в его сторону.

Антонина Дмитриевна подняла голову:

— А что сестра моя, все еще во Всесвятском? проговорила она с разсеянным видом:- отчего она не приехала с вами?

— Вы ея, кажется, не звали, подчеркнул все с тем же намерением укола Григорий Павлович.

Она усмехнулась чуть-чуть:

— К чему? Ей и там хорошо.

— А здесь она вам не нужна?

— Нисколько, подтвердила Антонина Дмитриевна самым невозмутимым тоном, и чрез миг:- что она, не ревнует?

— К кому это?

— Разумеется, к вам; ведь это такое давнее обожанье…

— У Настасьи Дмитриевны одно обожание — ея искусство, ответил холодно и резко Гриша, — она особа, достойная величайшаго уважения.

— Совершенно верно! кивнула одобрительно Сусальцева, — и я, признаюсь, всегда удивлялась в оны дни, как вы не обращали на нее того внимания, которого она всегда заслуживала.

— Вы ошибаетесь: то, что я вам выразил теперь про Настасью Дмитриевну, я всегда про нее думал.

— Ну да, засмеялась она уже громко:- on respecte, mais on n'épouse pas… А знаете, продолжала

она, не давая ему времени на возражение, — ведь она создана была для вас; вы всегда хотели души, идеальных стремлений, добродетели и страсти, или, вернее, добродетельной страсти, la passion dans la vertu, — все это могла дать она в изобилии, с придачей великолепнейших в мире глаз, — потому что у сестры моей Насти глаза необыкновенно хороши, вы согласитесь, — и прелести "искусства", подчеркнула она с эмфазом, — которое вы так высоко цените. А вы мимо всего этого прошли с холодным равнодушием, чтоб отдать в ваши лета, говоря поэтическим языком, паруса вашей ладьи на произвол семнадцатилетняго шкипера.

Гришу Юшкова всего повело от этих слов:

— Вы все так же остроумны, Антонина Дмитриевна, отчеканил он, — но личность моя, право, не стоит того, чтоб об нее притуплялись ваши стрелы. Есть предмет, гораздо более интересный не только для вашего собеседника, но и для вас самих: это — сами вы. С тех пор, как вы вышли замуж, вы так много видели мест и людей, вынесли так много новых своеобразных впечатлений и радостных чувств...

— Столько новой скуки, столько тоски! к невыразимому удивлению его как бы вырвалось у нея вдруг, с неодолимою, показалось ему, силой искренности. На сердце у него что-то екнуло. Он вскинул на нее глаза и тут же отвел их.

— Никаких радостных чувств и не ожидала я, выходя замуж, договорила она как бы в объяснение, отвернулась от него и, прищурившись с места в сторону мужа, подозвала его к себе движением головы.

Он ринулся к ней с противоположного конца гостиной.

— Пора обедать, кажется, уронила она в полголоса.

Он быстро вытащил часы из кармана:

— A la minute, madame, à la minute, поспешно ответил он давно заученною и обычною ему с Парижа фразой, — в шесть часов ровно приказано подавать, остается до срока тридцать две секунды.

Двери действительно чрез миг отворились на обе половинки, и пузатый метрдотель торжественно возгласил с порога:

— Кушанье подано.

Хозяйка поднялась с места.

— Vos bras, messieurs! сказала она смеясь, проходя мимо генерала Бахратидова и Колонтая:- вы оба так важны, что между вами я не знала бы, кого выбрать.

Оба они кинулись к ней; она продела руки под локти их справа и слева и направилась с ними к столовой.

— Ваши превосходительства, захохотал Пров Ефремович, обращаясь в Троекурову и губернатору, — позвольте уж и мне, как хозяину, послужить вам кавалером. И, подхватив их под руки, повел их вслед за супругой.

Внизу в столовой присоединились к обществу, вместе с безукоризненно облеченным во фрак и белый галстук "другом дома", Евгением Владимировичем Зяблиным, два новыя лица:

губернаторский чиновник особых поручений и несколько постарше его молодой человек, красивый и здоровый, состоятельный помещик одной из хлебородных русских губерний, сопровождавший генерала Бахратидова в одной, предшествовавшей его новому назначению, экскурсии его по делу, которому придана была в известный момент чрезмерная важность, в виде добровольца, великодушно желая посвятить себя на деятельность живую — и опасную, как представлялась она в первую минуту. Опасность и самое дело оказались вскоре призраком, но генерал старался удержать при себе молодаго человека (звали его Гордыниным), поучаясь и заимствуя у него полезныя для себя практическия, а равно и всякия иныя сведения о новых учреждениях земли Русской, о которых он, как человек военный и служивший всю жизнь до сих пор на отдаленных окраинах государства, имел весьма неполныя, чтобы не сказать шаткия, понятия.

Оба молодые человека только-что вернулись с прогулки по окрестным полям и лесам, едва успели переодеться к обеду. Пров Ефремович поспешил представить их Борису Васильевичу и познакомить с Юшковым, с которым они и уселись рядом за столом.

Обед оказался великолепный. Алексей Сергеевич Колонтай, тонкий гастроном, то-и-дело поглядывал на хозяина и кивал ему, с одобрительною усмешкой, отведав того или другаго тонко приправленного и мастерски поданного блюда. Он был человек весьма приятной наружности, с лицом, несколько напоминавшим чисто русский тип какого-нибудь старосты былаго новгородского яма, но возведенный и выхоленный воспитанием и довольством до высшей утонченности приемов, склада наружности и речи. Он был крайне вежлив, мягок и обходителен, отличался несомненным умом и почитался специалистом по некоторым важным отраслям государственного управления. Вдовый, бездетный и богатый, член высшаго учреждения в Империи, он был, не смотря на свои уже немолодые годы, предметом всяких искательств и ухищрений со стороны знатных маменек, имевших в предмете пристроить не совсем первой молодости дочек, но счастливо миновал до сих пор уготовляемыя ему с этой стороны западни. Ленивый по природе, он далеко не был склонен пожертвовать благами одиночества сомнительной выгоде родства с fine fleur des pois петербургского гранмонда. Как у всех холостяков, главную роль в его существовании играла привычка. Этим единственным путем могла женщина привязать его, удержать, заставить "пустить корни". Антонина Дмитриевна, с прирожденною ей тонкостью чутья, хорошо понимала это: прожив одновременно с ним часть зимы в Риме, она приучила его являться каждый день в известный час в ея гостиную, и он затем, вернувшись в Петербург, не знал уже, куда деваться в эти часы и томился по ней, как елень по источникам водным… В Сицком он теперь блаженствовал.

Племянник его, губернатор, находился, напротив, в довольно раздраженном состоянии духа. Он, во-первых, ревновал несколько дядю к прекрасной хозяйке, подле которой сидел тот, отвлекая ея внимание от него каким-то забавным разсказом, которому она видимо весело улыбалась, сверкая промеж алых губ "жемчужными" зубами. Во-вторых, его точно сверлило от незастывшего впечатления, произведенного на него коротким разговором с Троекуровым об исправнике Инатьеве; он не мог не заключить, что "этот господин" был видимо ему враждебен "из-за этого исправника", и говорил при этом с ним "таким тоном", который он считал решительно для себя оскорбительным; он "не намерен был дозволять кому бы то ни было de le traiter de haut en bas" и искал случая "дать это понять à ce monsieur".

Он обратился громко к хозяину, сидевшему между ним и предметом его недовольства:

— До меня дошли слухи, что у вас в уезде жалуются на бездействие местной земской управы. Бывший председатель ея отошел ad patres, а исправляющий его должность, почитая себя резонно калифом на один час, ведет, говорят, дело по-канцелярски, отписывается и откладывает самые существенные вопросы до лучшаго будущаго.

— Да пожалуй что так, засмеялся Пров Ефремович.

— А новаго председателя когда думают выбирать?

— Да у нас еще в мае должно было быть на этот именно предмет экстренное земское собрание, но в виду того, что почтеннейший наш предводитель бывший, Павел Григорьевич Юшков, по случаю болезни брата был совершенно разстроен и не мог председать в нем, мы отложили собрание до сентября.

— Кто же теперь будет председательствовать?

Сусальцев с некоторым удивлением повел на него глазами: должно же, мол, быть это тебе, губернатору, известно. Но он тут же улыбнулся опять и наклонил голову в сторону Бориса Васильевича:

— Да вот собственно возлежать это должно было на его превосходительстве, так как они у Павла Васильевича кандидатом состояли, только они отказались, и как должность предводителя исполняет теперь депутат от дворянства, сын его (Пров Ефремович понизил тон до шопота и кивнул чуть-чуть на сидевшего по другой стороне стола Гришу), так он и в земском председать будет.

— То-есть, заметил губернатор шопотом же, но так, чтобы слова его дошли до слуха Троекурова, — лицо, совершенно в этом неопытное?...

— А ты ото всего отказываешься? обратился нежданно со смехом к Борису Васильевичу генерал Бахратидов, слышавший начало этого разговора.

— Отказываюсь, коротко отрезал тот.

— Вот и разсчитывайте на участие общественных сил, о которых вы все толкуете, обернулся генерал к Алексею Сергеевичу Колонтаю, — ведь вот человек, чего вам лучше, а ничего не хочет: моя, говорит, хата с краю...

Он не договорил, заметив, как от этих слов резко сдвинулись брови у "старого камрада".

— Лучшие и способнейшие люди в России, заговорил своим мягким, напоминавшим голос племянника, голосом Алексей Сергеевич, — обречены роковым образом на бездействие, так как для способностей их и несколько живой, серьезной деятельности нет никакой подобающей арены, а изолированныя там и здесь попытки этих людей принести свою личную долю пользы разбиваются в прах о стену общаго застоя и апатии. Они естественно ото всего устраняются и считают безполезным приложить в чему-нибудь руки.

— Общая прострация, подтвердил мрачным тоном губернатор: — это действительно может служить лозунгом теперешняго времени.

— Известно, засмеялся опять генерал Бахратидов, — как еслиб его в старшую палату в Англии выбрали, пошел бы небось!

Борис Васильевич невольно усмехнулся:

— В верхней палате в Англии члены сидят не по выбору, а по наследственному праву.

— Вот он чего хочет. Аристократ! сказал на это, нисколько не смутившись, Бахратидов.

Колонтай внимательно чрез стол уперся глазами в лицо Троекурова.

— Неужели ты в самом деле питаешь иллюзии о возможности палаты лордов в России? спросил он чуть-чуть насмешливо.

Бориса Васильевича всего как бы передернуло:

— Никаких палат и никаких иллюзий у меня в голове нет, резко выговорил он.

Все как-то разом кругом примолкло за этими словами; только Аполлон Савельевич не то язвительно, не то высокомерно ухмыльнулся про себя, да густоволосый генерал, поведя искоса взглядом на Колонтая, подмигнул ему машинально, со свойственным ему лукавством выражения.

Антонина Дмитриевна, слегка прищурившись и склонив голову над своею саксонскою тарелкой, внимала, казалось, безучастно этому разговору. Но Гриша Юшков, каким-то безвольным движением подымавший на нее от времени до времени глаза, не мог не заметить, что разговор этот гораздо более интересовал ее, чем это могло казаться с перваго раза. Сама она вслед за сказанным Борисом Васильевичем остановила на миг глаза на молодом человеке, и в лице ея высказалось выражение какого-то глубокаго пренебрежения и насмешки. Его внутренно укололо словно булавкой.

Аполлон Савельевич Савинов между тем почел нужным заговорить опять с Сусальцевым о местных делах.

— Наш почтенный губернский предводитель, я слышал, намерен предложить здешнему дворянству собраться в настоящее время, то-есть ранее обычного срока, для выбора предводителя на место выбывшего Павла Васильевича Юшкова. Этим, я полагаю, урегулируется, так сказать, и вопрос о председателе имеющаго у вас быть земского собрания. Земство в настоящую пору приобретает такую важность, прибавил он уже с пафосом, — что нельзя, кажется, быть достаточно осторожным во всем, что до него касается.

Пров Ефремович растерянно взглянул на Троекурова и на Юшкова, которые не могли не слышать этих слов, и ничего не ответил.

Борис Васильевич очень хорошо знал, что губернский предводитель был человек ничтожный и по характеру, и авторитету, попавший на свою должность единственно за оскудением настоящаго дворянского персонала в уезде и полагавший единственным долгом своим жить в ладу "со всеми ведомствами". "Предложение" не могло итти от его инициативы. Для Троекурова было совершенно ясно, что оно родилось тут же, за столом, в голове самого Савинова и имело прямо в виду причинить ему неприятность в лице Гриши, исправлявшего в настоящее время должность отца. "Либеральный" губернатор почитал очевидно нужным противодействовать его, Троекурова, влиянию в уезде и как бы официально заявлял заранее о нерасположении своем к тем, в которых видел его креатур. "Вся здешняя мерзость, Троженковы и К°, все это теперь неудержимо всплывет вверх", сказалось Борису Васильевичу, и выражение горечи и омерзения сложилось на его слегка дрогнувших губах…

XVI

Words, words, words.

Hamlet.

По окончании обеда общество перешло пить кофе в аппартамент хозяйки, в нижнем же этаже. Но неугомонный Пров Ефремович, вспоминая парижские обычаи, не допускающие табачного дыма в дамских гостиных, поднял своих "именитых" гостей, опять предложив им "попробовать отличных вылежанных сигар, приобретенных им по случаю", в "курильной", устроенной им подле столовой.

Алексей Сергеевич и Бахратидов тотчас же согласились: обоим им очень хотелось потолковать с Троекуровым, о котором оба были издавна очень высокаго мнения, по предмету, о котором распространяться подробно за столом, в присутствии бывших тут молодых людей, они сочли неудобным. Молодых людей они оставили занимать "l'amiable hôtesse". Изящный губернатор собирался было остаться тоже, но, вспомнив во-время, что "position oblige", вздохнул, взглянул на Антонину Дмитриевну скорбным взглядом — "пожалейте мол меня!" — и отправился за "сериозными людьми".

Мягкие, низкие диваны "курильной", возможность разстегнуться после обильного обеда, превосходныя старыя сигары и тонкие ликеры подействовали отлично не только на такого сибарита, каким был Колонтай, но и на гораздо более трезваго и искушенного лишениями военной жизни генерала Бахратидова. Оба они чувствовали себя настроенными на самый приятный, дружеский и обстоятельный обмен мысли. Троекуров, со своей стороны, был не прочь побеседовать с ними: ему было интересно познакомиться в известной подробности с кругозором и точкой отправления этих двух старых товарищей своих, уже и теперь весьма видных по занимаемым ими положениям и которым, судя по преобладавшим в ту минуту течениям, предстояла еще более авторитетная роль в близком будущем. Алексей Сергеевич начал первый:

— Ты драгоценный человек, old fellow, — и он ласково прикоснулся рукой к локтю расположившегося подле него на диване Бориса Васильевича, — независимый ни от кого и ни от чего, близко стоишь к народу, к настоящей жизни, знаток своего дела; у тебя, должно быть, сложилось целое сокровище всяких наблюдений, практических указаний и точных ответов на вопросы, которые нам в Петербурге представляются то-и-дело неразрешимою грамотой.

Троекуров усмехнулся:

— Мне не от тебя одного приходится слышать эти комплименты по адресу моей независимости и практичности, и меня всегда удивляло одно: почему люди, которые мне делают их, ничего не предпринимают, чтобы сделаться в свою очередь независимыми и практичными; ведь это далеко не мудрость.

— История наша не приучила нас к этому, возразил Колонтай, — не приучила быть гражданами, заниматься сериозно, прочно и последовательно своим личным, имущественным и в тесной связи с этим находящимся общим, общественным делом…

— И вы, в силу того, что история нас ничему не выучила, вы наградили нас под видом земских учреждений говорильнями, которыя внесли окончательную путаницу в русскую жизнь?

— Ты не доволен земством вообще, или его направлением? с каким-то особым оживлением, видимо очень интересуясь чаемым на вопрос этот ответом, выговорил государственный сановник.

— На это, милый мой, я спрошу тебя в свою очередь, что имелось в виду, даруя их России: создать государственный институт в содействие, или в противодействие существующей правительственной власти?

— Как ты странно однако ставишь вопрос! Тут прежде всего, кажется, дело идет не о "власти", а о пользе, о благе, которого в праве от этого "института" ожидать те, для кого он создан.

— "Благе"! повторил Борис Васильевич: — это как разуметь надо: наивозможно большая доля благоустройства и благочиния при наименьшей на них сумме затрат со стороны обывателя? Согласен ты будешь на такое определение?

— Пожалуй! неопределенно уронил его собеседник.

— Достигается-ли такой идеал нашими земскими учреждениями, или нет, это должно быть и в вашем государственном совете известно.

Колонтай поморщился:

— Конечно, стоят они дорого, а результаты, достигаемые ими, могли бы быть более существенны; но как же быть однако? Ведь это все же самоуправление, подчеркнул он, — начало воспитательное, живительное…

— Готовящее общество к будущей, настоящей свободе, ввернул Аполлон Савельевич, забегав кругом себя своими безпокойными глазками.

— К какой? спросил, не глядя на него, Троекуров.

Тот как бы хихикнул слегка:

— Я полагаю, что у всех образованных народов она одна… Формы могут быть другия, поспешил он прибавить, — формы того или другаго правительства у того или другаго народа, но сущность везде одна и та же.

— Зависит от взгляда, продолжая не глядеть на него, холодно возразил Борис Васильевич.

— Как же это однако…

— Очень просто: для иных это царство политических авантюристов, жаждущих власти; для других — средство к быстрейшей наживе; для третьих наконец — вернейший путь к анархии. Этого последняго вида "свободы" Россия давно достигла, чего же нам еще нужно?

— Ты совершенно прав, проговорил торопливо Алексей Сергеевич, находя нужным потушить в самом зародыше очевидное для него "раздражение" старого приятеля своего и племянника друг против друга: — Россия в настоящую минуту находится действительно в "анархическом", как ты говоришь, состоянии. Какая-то общая распутица во всех углах, как и во всех отправлениях государства. Так долго итти не может, иначе впереди нас ждет всестороннее, то-есть финансовое, политическое и общественное банкротство.

— Вы это начинаете чувствовать в Петербурге? усмехнулся еще раз Троекуров.

Тот засмеялся в свою очередь:

— Вы в провинции нас уже слишком презираете и почитаете encroûtés dans le bureaucratisme в такой степени, что мы будто бы потеряли всякую способность слышать и видеть… Многие из нас и в самом деле застряли в старом болоте и выкарабкаться из него не могут… Но есть же наконец другие, готовые… и способные вернуться к духу реформ начала царствования и довести их до естественного заключения. Вот тебе, например, человек tout neuf, — и он кивнул

на Бахратидова, молча, с упершимися на говоривших большими любопытствующими глазами внимавшего этому разговору, — не связанный никакими из тех отношений, компромиссов и уступок, на которых иступилась энергия большей части из нас, прошедших чрез всю сутолоку известных тебе, как и всей России, колебаний и противоречий в высшей сфере… Он говорит, что, сойдя со временного поста, на который назначен теперь, уйдет к себе под тень дубов, продолжал шутливо Колонтай, — но ты ему не верь…

— Верь, уйду, клянусь Богом! крикнул на это тот с места.

— Не верь! Уже потому не уйдет, что не дадут уйти. Понравился он, во-первых, так, веско отчеканил Алексей Сергеевич, — как редко кому удавалось заполонить сразу оригинальностью, свежим взглядом…

— Дикаря такого не видали еще, что правду-матку с плеча рубит, расхохотался на это генерал по собственному адресу.

Алексей Сергеевич как бы невольно прижмурился на него: "ах ты, мол, тонкая штука!"

— Такой, "дикарь", сказал он громко, — что патентованные куртизаны пред ним все нас. Между женщинами succès fou!…

— Ну, брат, это оставь! Какия тут женщины для старой фигуры, как я; и не привык я с ними…

— А так "не привык", что оне вознесут тебя, куда, может быть, ты и сам не думаешь теперь. Женщины в настоящую пору более, чем когда-нибудь, сила. И я рад, потому, что именно такой свежий, крепкий человек нужен нам теперь. Очень уже дряблы все мы стали, да и пригляделись к нам к тому же; а тебе поверят, в тебе будут видеть как будто посланного особым предопределением судьбы разрешить и совершить то, на что пока не смеют еще решиться…

Под темными ресницами генерала блеснул мгновенный, как зарница, луч какой-то неодолимой радости. Но он тут же вскинул поспешно голову и замахал руками.

— Не слушай ты его пожалуйста, Троекуров! Клянусь Богом, насочинил он такого, что и подходящаго к тому ничего нет.

— Ну, это нам покажет близкое будущее, возразил, Колонтай, — и говорить об этом нам более нечего.

Он примокл на миг, затянулся сигарой и начал затем опять:

— А общее положение наше скверно, — согласен ты, Троекуров?

— Не красиво, холодно подтвердил тот.

— И надобно же наконец серьозно подумать, как из него выпутаться.

— Не мешало бы, тем же тоном проронил Борис Васильевич.

— Как ты это безучастно говоришь, с шутливым упреком заметил Колонтай:- ты точно не придаешь этому того серьезнаго, грознаго, можно даже сказать, значения, какое оно имеет на самом деле.

Троекуров поглядел на него загадочным взглядом:

— Я жду того, что ты мне скажешь о твоих соображениях по поводу этого.

— Что я скажу? А вот, например, самое свежее. На днях велись у него переговоры с Ротшильдом о займе для возстановления нашей валюты, которая, пожалуй, может скоро упасть наконец до ценности рубля за франк. Знаешь, что он ответил?

— Не знаю.

— Усмехнулся очень нелюбезно и сказал: "Quand vous aurez un gouvernement sérieux, on pourra causer; jusque là vous ne trouverez d'argent nulle part."

— "Gouvernement sérieux", — это должно значить, надо думать, констинуционное правительство?

— Само собою, как во всем образованном мире.

— Так. Ну, а в былую пору, когда за самое слово "конституция" можно было в Сибирь попасть, как высоко стояла наша валюта и находили-ли мы деньги за границей?

— Послушай однако, mon cher, — и собеседник его пожал плечами, — нельзя так аргументировать. Не желаешь же ты в самом деле вернуться к Николаевским временам, да еслиб это кому-либо серьезно и вздумалось, разве это возможно было бы сделать?

— Времена дикаго абсолютизма отошли, к счастию, безвозратно в вечность, отпустил в виде сентенции губернатор и высокомерно приподнял углы губ.

— Мы следовательно, спросил Борис Васильевич, как бы вовсе не слыхав его возражения, — мы следовательно теперь, испугавшись, что нам Ротшильд денег не даст, поспешим завести у себя "gouvernement sérieux?"

— Никто не думает ничего пока "заводить", возразил своим все также мягким голосом, но как бы с легким оттенком нетерпения, Алексей Сергеевич; — мы говорим здесь между собою, как люди, равно заинтересованные в одном всем нам общем... патриотическом, можно сказать, деле. Истины скрывать от себя нечего. Царствование приходит в концу, и конец этот, к несчастию, далеко не осуществляет тех радужных надежд, на которыя давало нам всем право его блестящее начало. Обещаний этих оно не сдержало; начав за здравие, как говорит пословица, оно сводит за упокой. Оно оставило в стороне, откинуло, пренебрегло ту историческую логику, которая требует, под страхом гибели, чтобы, принявшись за перестройку государственного здания, утверждался в нем камень за камнем до самаго его clef de voûte, так как иначе возведенный свод обрушится и подавит все, что под ним находится... Мы именно теперь в этом положении. Совершенныя у нас реформы не вытекали строго, последовательно одна из другой, не соображались в органически существующей между ними связи. Оне, как бы вполне случайно, точно выскакивали из портфеля того или другаго министра и, пройдя для проформы сквозь дырявое сито нашего старья в государственном совете, насаждались на русскую почву безо всякаго участия, безо всякаго права контроля над ними со стороны живых общественных элементов страны. Из этого в результате вырос на деле невообразимый ералаш. Те же министры вслед затем обрезывали, коверкали, калечили их, иногда до неузнаваемости, всякими произвольными толкованиями и циркулярами, заставляли их служить целям, совершенно противоположным идее, положенной в их основание... Так оно, или нет?

Троекуров утвердительно кивнул:

— Так!

— Оставить итти дальше дела, так, как они идут, нельзя, ты согласен?

— Согласен.

— Само правительство сделать это не в состоянии?

— Ты находишь?

— Ты, кажется, сам, как и всякий несколько толковый человек в России, должен это видеть. Инициатива у власти замерла окончательно. Различные представители ея идут врознь и в помеху друг другу, общей программы не существует. Колебание, недоверие к себе, резкий разлад между вчерашним и сегодняшним сказывается в каждой принимаемой новой мере, в каждом распоряжении. Недовольство страны растет ежедневно все сильнее... Нечего нам делать себе иллюзий, милый друг: пистолет Соловьева зарядило это всеобщее недовольство России своим безпомощным, сводящим себя на нет, правительством. Наши нигилисты не что иное, как перелившаяся чрез край пена общественного раздражения. Комическим сиденьем дворников у ворот, ниже временными генерал-губернаторствами, с полномочиями, которыми один воспользуется, пожалуй, так, что заставит бежать из-под своего начала самых мирных и благорасположенных граждан, а другой и вовсе не сочтет нужным воспользоваться, — такими мерами делу успокоения общества не поможешь, а возбудишь разве только новый смех, новое глумление над собою.

— Правда, коротко выговорил Троекуров.

Алексей Сергеевич, полулежавший до сей минуты на диване, приподнялся, кинул недокуренную свою сигару в красивую майоликовую вазу-пепельницу, стоявшую на соседнем столе, и заговорил с возрастающим оживлением, видимо ободренный утвердительным откликом старого товарища:

— Ты сказал "правда", и я не сомневался ни единой минуты, что с основными посылками моими ты непременно согласишься. Позволь же мне теперь вывести из них заключение в трех словах?

— Говори, я слушаю.

— Положение вещей в России долее терпимо быть не может. Настоящая форма правительства оказывается неспособною изменить его к лучшему. Ergo...

— Созовем парламент? договорил за него Борис Васильевич.

По лицу его собеседника пробежала как бы тень.

— Слово это тебе не нравится, но я и не имел его в виду... До европейского полного парламентаризма нам еще далеко, и ты, надеюсь, не считаешь меня способным увлекаться с этой стороны юношескими мечтами. Но узнать мнения самой страны о том, как спастись от бездны, к которой несомненно она идет быстрыми шагами, это я считаю неизбежным, неотвратимым, произнес с особым веским ударением Колонтай, — и чем скорее будут иметь мужество прибегнуть к этому, тем будет лучше!

Не отрываясь ухом и глазами, с напряженным вниманием прислушивался к этим словам генерал Бахратидов. Он видимо поучался и наматывал себе, как говорится, на ус суть этой проповеди, о предмете которой в мозгу его очевидно состояли до сих пор весьма еще смутныя понятия. Пров Ефремович, в свою очередь, сложив руки на животе и опустив глаза, выводил в

своей смекалке из этих слов свои особыя, личныя заключения, о чем можно было судить по некоторым признакам улыбки, пробегавшей инде и тут же пропадавшей под его подстриженными усами. Главки зоркаго губернатора так и бегали с выражением торжествующаго сочувствия к силе аргументации красноречиваго дяди.

— A vous la parole, обратился тот к Троекурову полушутливо:- признаешь-ли ты вывод мой логическим?

— Совершенно, медленно выговорил Борис Васильевич; он был несколько бледнее обыкновенного и глаза его усиленно моргали; — вы ни до чего иного в Петербурге додуматься и не могли.

Глаза всех в каком-то словно тревожном ожидании поднялись на него.

Он продолжал, видимо насилуя себя на разговор, мотив которого глубоко, болезненно волновал его внутренно:

— Вы в Петербурге фатально, роковым образом приведены к таким выводам. Колесница ваша несется к "бездне", как ты выражаешься, и вы не находите другаго средства, как посадить всадников со шпорами на коней ваших, чтобы те как-нибудь сами собою, животным своим чутьем, не свернули на безопасную дорогу. Реформы царствования, по-твоему, недостаточно соображены были в общей их совокупности и взаимнодействии их друг на друга. Этого вы не могли не заметить, это отзывается слишком осязательно, грубо, слишком наконец ежедневно в каждом из отправлений вашей правительственной машины, чтобы вас это наконец не заставило задуматься. Но пришло-ли в голову хоть одному из вас остановиться сериозно на той мысли, что все реформы эти, исключая крестьянскую, какая-бы там верная в абсолютном значении слова и "великодушная", если хочешь, идея не легла в основании их, не вытекли из потребности русской жизни, а не что иное, как плод произвольнаго, в кабинете задуманнаго, сочинительства по нахватанным изчужа образцам, по избитым шаблонам, гнилым уже и там, откуда берутся они, и несущим с собою смерть в применении их к нашему быту…

— Позвольте, перебил его негодующим тоном губернатор, — вы признаете "гнильем" гласный суд, градское и земское самоуправление…

— Позвольте мне кончить, не оборачиваясь к нему, проговорил на это Троекуров, — коль скоро требуют от меня откровенного мнения.

— Parlez, mon cher, parlez, je vous prie! поспешил сказать Колонтай, неодобрительно покосясь на племянника.

Тот слегка покраснел и закусил губу.

— Ты жалуешься на колебания, на tâtonnements, на вечное противоречие "вчерашняго сегодняшнему". Ни одно из насаженных вами европейских деревъ не пустило прочных корней в почве, чуждой им по химической натуре своей; ни один из настроенных вашими реформами храмов не лег прочным фундаментом в русскую землю, и ты удивляешься тому, что деревья эти не дают тени, а ветви их засыхают и обламываются под первым к ним прикосновением, что в храмах замечаются каждый день новыя трещины и что приставленные оберегать их недоумевают и спрашивают себя, испуганные и растерянные: какие контрфорсы еще нужно пристроить к их стенам, чтоб оне не рухнули? Вы в Петербурге роковым образом, повторяю, осуждены на этот государственный баламут и на искание спасения от него в лекарстве, горшем, чем сама болезнь.

— Mais, mon cher, вскликнул недоумело Алексей Сергеевич, — ведь все это однако посажено и настроено, и надо всем этим пронеслось вот уж почти четверть века; не претендуешь же ты в самом деле все это снести с лица земли теперь?

— К чему! Вы сами постараетесь посредством этого привести весь государственный организм к параличу и смерти.

Живая краска выступила теперь и на щеках государственного сановника:

— Послушай, сказал он, видимо сдерживая поднявшуюся в нем досаду, — так разсуждать нельзя: это даже не возражение, это произвольное обвинение людей в том, от чего именно они желали бы предохранить свою страну.

— Кто же в этом сомневается? Есть совершенно добросовестные доктора, которые предписывают своим пациентам подкожныя вспрыскивания морфия, но от этого средства больной почти всегда умирает ранее времени.

— А попробую я вас помирить, заговорил в эту минуту Бахратидов:- как если, по мысли Колонтая, отнестись в самой России, как она думает себе помочь, так она, может быть, так и решит, как вот Троекуров говорит. Мы этого наперед знать не можем.

Невольная, тут же сдержанная усмешка, вызванная этою простодушною редакцией мысли приятеля, мелькнула на лице Алексея Сергеевича:

— Это только и требуется, ответил он, — и каково бы ни было решение, пред ним нужно будет преклониться.

— А Россию кто из себя изображать будет в вашем воображении? спросил Троекуров.

— На первый раз, полагаю, достаточно было бы созвать губернских предводителей и председателей управ.

— Губернских одних, или тоже уездных? так словно и выскочило из мгновенно раскрывшихся губ Сусальцева.

— Конечно… желательно и тех, и других, как бы несколько смущенно ответил Колонтай, — но это пока вопрос второстепенный; важно то, чтобы самая мера принята была в принципе.

Губернатор замигал одобрительно по адресу Прова Ефремовича:

— Одни губернские, само собою, не составят достаточно веской по составу массы…

— И эти предводители, и председатели, заговорил опять Борис Васильевич, — выскажут вам, по-твоему, живое и непреложное по существу мнение России об источниках ея недугов и средствах к ея исцелению?

— Полагаю, сказал Алексей Сергеевич, — и даже освещение подлежащих вопросов с двух противоположных сторон, так как предводители, по всей вероятности, внесут сюда элемент чисто консервативный, а представители земств — убеждения более либерального или даже, если ты хочешь, несколько оппозиционного характера.

Троекуров нервно передернул плечами:

— Готова карета! И "консерваторы", и "опозиция его величества", все есть, по рецепту… Вы их

соберете, а они станут поучать вас.,

— То-есть, изложат свои взгляды, поправил серьезным тоном член Государственного Совета, — по совести к крайнему разумению своему, не сомневаюсь, поспешил он прибавить, как бы в предупреждение новаго ироническаго замечания со стороны своего собеседника.

— "По совести" — хочу верить. "По разумению" — какому? собственному?.. У кого есть оно теперь, у кого осталось? Правильное разумение вещей есть результат трезвого, последовательного и прежде всего независимаго процесса мысли, не принимающаго ничьих чужих разглагольствий на веру, а подвергающаго каждое жизненное явление строгой оценке и разбору в совокупности его с однородными ему но природе и происхождению явлениями. Где у нас люди теперь, способные на самостоятельный процесс мысли? Четверть века вы употребили на то, чтобы придавить в России, осмеять, вырвать с корнем все, что оставалось у ней Богом ей данного здраваго смысла. На место его вы поставили вашу уродливую, безсмысленную, гнилую интеллигенцию. Вы обрекли прирожденныя способности русских людей на долгое, вековое, может быть, безплодие, воспитав их на отрицании, на презрении всего роднаго, древнезаветнаго, на развращающих фразах и отсутствии всякаго нравственного идеала. Вы из чужеземной цивилизации, с невыразимою горечью подчеркнул Борис Васильевич, — умели привить к своей стране одну лишь гангрену отживающих народов; вы отравили русский народ безначалием, забавами, "аблакатами"; вы сочинили атеистическую, невежественную, злобную прессу, точащую яд каждою своею строкой, прессу — бич всего, еще остающагося неисковерканным в нашем крае, прессу, получающую прямо внушения свои от революционного подполья, — и пред которою вы же, вы, сочинившие ее, дрожите, как неразумные и трусливые ребята... Этот безобразный и пошлейший изо всего имеющагося пошлаго в мире кумир вы поставили на место всякой иной власти и падаете пред ним ниц, и заставляете волей или неволей покланятьему все, что ни на есть в государстве. Какого же можете вы ожидать от людей взросших, вскормленных на таком порядке вещей настоящаго, правильного "мнения" и "освещения"? Сбитые повально с толку, запуганные двадцатипятилетнею проповедью знаменитых "освободительных идей", обращенные в чистейшее Панургово стадо, лишенные давно всякой независимости характера и привычки мыслить сами по себе, что способны будут вам сказать эти, "интеллигентные" советники короны, "консерваторы" и "либералы", на которых возлагаете вы ваши надежды, — что, кроме тех же невыразимо пошлых фраз общегазетного содержания, которыми то-и-дело пробавляются они на своих местных "собраниях"? А если между ними и найдутся, — я допускаю и хочу верить, что найдутся и такие, — если выищутся люди, у которых удержалось каким-нибудь чудом, не смотря на общее умственное и нравственное крушение, достаточно здраваго толка в голове, а в душе мужества, чтобы выложить вам правду во всей ея наготе, так вы же дадите выпустить на них всю стаю псов из подворотен той же вашей прессы, вы же отдадите их на съедение, на осмеяние, на опозорение пред всею Россией и внесете без протеста этот факт в ваши протоколы, в силу-мол "уважения к общественному мнению".

Просвещенный губернатор не выдержал и опять вломился в разговор:

— Так неужели же, ваше превосходительство, следует, по-вашему, правительству заставить молчать русское печатное слово?

Троекуров не отвечал. Государственный сановник покосился еще раз с недовольным видом на племянника и заговорил сам:

— Mon cher, то, чты ты говоришь — это... c'est un réquisitoire absolu... et impérieux, прибавил он как бы чуть-чуть колко, — против всего настоящаго положения вещей... Ты, может быть, несколько и преувеличиваешь: я полагаю, что людей мыслящих здраво и независимо у нас

гораздо более, чем это может казаться с перваго взгляда. Но положим даже, что нарисованная тобою картина и совсем верна. Дальше что же? Le remède?... Я тебе высказал мое посильное мнение, и могу лишь прибавить к этому, что не я один держусь его. Ты его считаешь неправильным и разбиваешь в прах. Прекрасно! Что же по-твоему нужно?

— Нужна сильная власть, только с открытыми глазами, выговорил Борис Васильевич.

Впечатление чего-то похожаго на удар бича произвели эти слова на слушавших. Алексей Сергеевич Колонтай опустил мгновенно веки не то смущенно, не то досадливо. Генерал Бахратидов с каким-то инквизиционным выражением вперил взгляд в "старого камрада": из чего, мол, брат, ты в эту сторону гнешь? "Quelle ganache!" говорили, казалось, запрыгавшие опять во все стороны мышиные глазки просвещенного губернатора. Один Пров Ефремович кивнул как бы одобрительно головой.

Борис Васильевич провел рукой по глазам, обвел ими кругом и прочел эти выражения на лицах:

— Что, странно вам кажется? Раб — готовы были бы вы сказать?

— Троекуров, что ты? воскликнул Колонтай, быстро оборачиваясь на него, — кому может притти в голову...

Тот усмехнулся в его успокоение:

— Не трудись доказывать!... Ты, разумеется, да и не один ты, вырвалось у него неудержимою вспышкой гордости, — знаете, что это ко мне относиться не может... Но вам, — я разумею ваш петербургский сановный и "интеллигентный" мир, — вам, помимо воли вашей, звучат фальшивою нотой, чем-то подозрительным такия слова в устах человека, ничего не ищущаго у власти, когда вы привыкли видеть кругом себя людей, которые единственно от нея кормятся и в то же время употребляют все усилия "свести ее на нет", по твоему выражению. Говорить о власти, когда у вас последний мальчишка перестал признавать ее!... Вы до такой степени потеряли там чутье, смысл вашей народности, — извини за откровенность, Колонтай, — что в ваших понятиях монархический принципе в России то же, что какой-нибудь pouvoir exécutif в прочих странах вселенной, что русский Самодержец, тот же король или президент, разумеемый как одно из звеньев общей государственной машины и движущийся в ней как в ящике, в тесных рамках известной, строго отведенной ему доли деятельности. А он, этот русский Царь, — в представлении о нем сказался для русского народа весь смысл его бытия, оправдание всех его прошлых жертв, солнце, без которого заледенел бы он в своих снегах. Без Царя, единовластнаго, ни пред кем, кроме Бога, неответственнаго, говорит ему его прирожденный государственный инстинкт, Россия — дикая бродячая орда, безначальная дебрь, добыча чужеземца, та же бывшая Польша, которую он так метко окрестил "безголовою". Для народа этого "Царь" — все: хоругвь, палладиум, святыня горняя, от которой одной льются на него свет и милость и к которой единственно возносятся все его упования... И вы безразсудно почитаете возможным посягнуть на эту его святыню!..

— Верно, ваше превосходительство, верно! вырвалось вдруг неудержимо у Сусальцева, и он даже весь вспыхнул при этом.

— Любезный друг, il faut s'entendre, поспешно заговорил Алексей Сергеевич, — разумеешь-ли ты под "русским народом" одно крестьянство и вообще податныя сословия, или включаешь сюда и нас, образованный класс, то, что называется "обществом". которое, ты согласись однако, имеет тоже некоторое право быть удовлетворенным в разумных своих требованиях?

— Нет, не имеет, резко возразил, сдвигая брови, Борис Васильевич. — не имеет никакого, если требования эти противоречат всему тому, что органически выработала история его страны, когда идут они в разрез с разумением всей огромной массы ея населения... И что такое сочиненное вами теперь "общество", определите мне его общую физиономию! Было когда-то дворянство; хорошо оно было, дурно-ли, но положение его в общем составе государства было совершенно ясно и определенно: служилое сословие с одной стороны, землевладельческое с другой, — оно было тесно связано равно с верхом и с низом: со властью — службой, с землепашцем — общими им интересами почвы. Естественно, более образованный, чем мужик, помещик-дворянин был вместе с тем естественный Kulturträger, проводник света в обитаемой им местности... Дворянство упразднили; его двойная традиционная связь с престолом и народом порвана, самое значение его, как класса передоваго по образованию. злобно отрицается нынешним повсюду воцарившимся разночинцем... Кто же занял теперь его место, кто восполнил собою образованную его упразднением пустоту между царем и сермягой? Нажившийся кабатчик, жид-концессионер, адвокат, газетчик, профессор из "прогрессистов", чиновник-либерал. Вот оно — ваше "общество"... Но спросили-ли вы себя хоть раз, что имеют общаго интересы людей этого сорта с настоящею, реальною, как говорится теперь, Русскою землей?.. Подумали-ли вы, наконец, хотя бы уже с вашей европейски-конституционной точки зрения, о том, что ни в одной стране никакое представительство не мыслимо без так называемаго "консервативного элемента", а что в теперешнем русском общественном сброде вы и тени ему подобного найти не в силах?

— Позволь однако, возразил еще раз Колонтай, — если по-твоему все то, что называется у нас теперь "интеллигенцией", состоит из оппозиционных элементов, то что же мешает создать для них противовес в призыве к тому же представительству, наиболее развитых и способных к обсуждению общих вопросов из того же крестьянства, которое ты, кажется, одно, добавил чуть-чуть иронически Алексей Сергеевич, — признаешь консервативным в России? Из него уже много есть теперь таких, которые сами стали помещиками, ворочают сотнями тысяч и посылают детей своих в университеты.

Троекуров отвечал не сейчас:

— Ты, любезный друг, как истый "Европеец". привел мне в виде аргумента слова Ротшильда о необходимости для России иметь "un gouvernement sérieux". А я, в моем качестве простаго здравомысла, позволю себе передать тебе то, что пришлось мне на днях слышать от старика Капитона, большаго моего приятеля-мужика, об этом самом вопросе.

— Вот как! воскликнул удивленно Коллонтай:- неужели и между крестьянами ходят уже об этом толки?

— Вы в Петербурге, разумеется, об этой м и не догадываетесь? А не мешало бы вам это знать и принимать кое-когда к сведению...

— Что же говорил тебе твой Капитон?

— А вот что. "Правда-ли". спрашивает он меня, — "бают в народе, будто теперича, заместо Царя, будет у нас присягательная господчина?". "Что такое?" спрашиваю, не понимая. "А так что допрежь того господа Царю присягали, а что нонче сам он будто станет господам на книге присягать, сам от себя, значит, отступится и будут они заместо его править всею Рассей".

— "Книга", это какое-то путаное понятие о хартии, должно быть? спросил Колонтай, заинтересовавшись разсказом.

— Само собою.

— Что же ты сказал ему на это: подтвердил, или разуверил?

— Ни то, ни другое. Я спросил его, что он сам об этом думает?

— Что же он?

— "А коли", говорит, "это так, значит, надо будет всем народом итти Царя вызволять".

Словно электрическая искра пробежала в глазах слушавших; все переглянулись с выражением какого-то инстинктивного безпокойства.

Алексей Сергеевич первый подавил в себе это ощущение.

— Болтовня одна, разумеется, уронил он небрежно.

— Смотря как... О настоящем настроении народа вы понятия не имеете. Если бы в самом деле дошло до ограничения Царской власти, не сомневайтесь, пойдут!

— Что же, их пушками встретят! фыркнул величественно губернатор.

— Кто же это их так встретит: тот, за кого они пойдут? ответил, оглянув его чрез плечо, Борис Васильевич.

— Ты так передаешь это все, cher ami, поспешил заговорить Колонтай, стараясь свести разговор на шутку, — будто сам готов стать в ряды этих... революционеров особаго сорта.

— Ты не ошибаешься, веско выговорил на это Троекуров:- между ними и тем, что сочиняется теперь в Петербурге, мой выбор сделан давно.

Решительныя слова эти привели видимо государственного сановника в некоторое смущение: он никак не ожидал такой "категоричности" в ответе человека, ни в искренности, ни в уме которого он сомневаться не мог. Но он и себя почитал не менее умным и компетентным в предмете, о котором шла у них речь; ему стало досадно.

— Я уже тебе говорил, любезный друг, начал он, подавляя, насколько мог, эту досаду, — что ничего в Петербурге не "сочиняется" и что на моими словами ты совершенно неосновательно предполагаешь иное что, а не мое личное мнение, естественно вызванное тем неустройством, от которого страдает теперь вся Россия. Могу тебя уверить, что ограничивать монархическую власть у нас никому из сериозных людей, подчеркнул он, — и в голову не приходит.

Он примолк на миг и продолжал:

— Но допустим однако возможность такого положения, что сама эта власть вздумала бы, как говорит твой Капитон, "отступиться от себя", — что, в виду нынешних, возникающих со всех сторон и каждый день, все новых и новых затруднений и замешательств, она, по той или другой причине, избегала бы, не хотела бы принять лично на себя разрешение их в ту или другую сторону, что тогда делать?

— Пусть уполномочит тогда избранное ею лицо, пусть доверит ему действовать от ея имени, вскликнул с необычною ему горячностью Борис Васильевич, — но да сохранит ее Бог от иного образа действий, от мысли хотя на единый миг уронить обаяние своего самодержавства в глазах Русского народа!

Глаза у Колонтая мгновенно блеснули:

— Ты хотел бы, то-есть, перваго министра avec un cabinet homogène?..

— Называйте, как хотите, — и плечи Троекурова передернулись с судорожным нетерпением, — но только исполнителя той же царской воли, представителя того же единоличного начала власти. Всякий иной путь, повторяю, гибель и преступление, которого не простит вам народ.

Он внезапно и порывисто поднялся с места:

— Однако пора и честь знать, мы заболтались, кажется, до крайних пределов возможнаго.

— Куда-жь это вы, ваше превосходительство? вскликнул, вскакивая в свою очередь. хозяин: — неужто уж собираетесь?

— Пора, Пров Ефремович, меня ждут дома. Пойду, раскланяюсь с вашею супругой.

Только-что замолкший разговор болезненно взволновал его внутренно, и он видимо не хотел продолжать его.

Все направились из "курильной" обратно к аппартаменту хозяйки.

Генерал Бахратидов подхватил "старого камрада" под руку и зашептал ему на ухо:

— Умница ты, брат, большая умница! Удивляюсь я и тебе, что ты ничего не хочешь, а еще более, что никто не думает позвать тебя и поставить на настоящее место.

— Позвать одно, а итти на зов другое, ответил на это со слабою усмешкой тот.

— Да что ты? Неужели не пошел бы, коли-б попросили?

— Нет, потому что чрез месяц точно также попросили бы меня убраться.

— С чего же ты это взял?

— Сообрази сам, дипломат! засмеялся уже совсем откровенно "старый камрад".

XVII

Совсем другаго рода беседа шла в изящной гостиной Антонины Дмитриевны, оставленной в обществе молодых людей, пока старшие занимались в курильной "спасением России", выражаясь словами одного петербургского остроумца, окрестившего так все "политические" разговоры, которым так много и повсеместно предаются русские люди в наши дни. Прекрасная хозяйка никогда еще, казалось, не была так оживлена, так искренно расположена в веселой, беззаботной болтовне. Одному лишь Грише Юшкову казалось порой, что она насилует себя на эту веселость, что за ея смехом "сочится все та же давно знакомая ему рана душевной тоски и "злобы на жизнь", которая между прочим в "оны дни" едва-ли не главным образом обусловливала ея обаяние в глазах юноши... Но все же он едва узнавал ее: в ней теперь было так много блеска, так много игры; прежнее огульное отрицание, прежнее какое-то тусклое в выражении своем раздражение противу всего и всех уступило место чему-то забавно остроумному в неожиданности и колкости замечаний ея и намеков. Светский навык, следы тесного общения со всею обширною семьей космополитического, разношерстного "monde", в который вступают ныне люди по праву богатства, заменившему прежния привилегии рождения и образования, — сказывались теперь во всех ея приемах, в складе речей, в каждом

из ея движений. Она не стеснялась пред этою молодежью; в тоне ея было что-то полураспущенное, полухудожественное, смесь какого-то изысканного внешняго приличия с безудержностью мысли и слова, чуть не граничившею с цинизмом, — форма, доведенная до изумительной прелести, и содержание, внутрь которого "было страшно глядеть". Так, по крайней мере, представлялось Грише, "провинциалу" Грише, как называл он себя, вся жизнь которого протекла под "отческим законом", в целомудрии старозаветных семейных преданий и добрых примеров. Он ужасался под час... и в то же время слушал с каким-то неодолимым, трепетным любопытством. В разсказах Антонины Дмитриевны проходили пред ним, будто в каком-то фантастическом калейдоскопе, картины неведомаго ему до тех пор мира, в котором княгини и певицы из cafés chantants, жиды-биржевики и потомки крестоносцев сваливались в одну пеструю кучу, лихорадочно состязаясь в преследовании тех же грубо-материальных целей, — мира, где успех оправдывал все, grandes dames хвалились громко любовником, отбитым у кокотки, вчерашний проходимец, нажившийся шулерством или маклерством всякаго рода, становился сегодня именитым амфитрионом, на приглашение к которому напрашивались люди самых почетных общественных положений, и купить, "en y mettant le prix voulu", прибавляла беззастенчиво смеясь, Сусальцева, можно было все, от титула и должности до чести любой матери семейства... Все это передавала красавица совершенно просто, откровенно, как факты, не подлежащие протесту, ниже осуждению, и о которых упоминала она лишь с той комической стороны их. которая в данный момент послужила предметом забавы для досужих любителей скандала. Но во всем этом, смутно и тревожно сознавал молодой человек, было нечто, что в ея устах приобретало неотразимую привлекательность, нечто задорное, захватывающее, говорившее о "безконечном, безконтрольном, всецелом наслаждении жизнью", которого не ведал он до сих пор, не ведал "до тридцати шести готов своего улиточного существования".

Непосредственно, unreflektirt, как говорят Немцы, потешались за то остальные два слушателя хозяйки. Все, что разсказывала она, было для них так тонко, забавно и "интересно!"

— Un trou-la-la universel! надрывался хохотом, сияя несколько воловьими глазами губернаторский чиновник Соловцов, воспитывавшийся в лицее на философии Petit Faust и эстетике Прекрасной Елены.

— В сущности скверно ведь! вскликнул Гриша, встряхнув головой и как бы отгоняя этим движением соблазн, вкрадывавшийся к нему в душу.

— Чем "скверно?" обернулся в нему с изумлением тот:- c'est bigrement amusant, cette noce-là!

— Никаких целей, кроме наживы, и все существование один безшабашный и... безнравственный, как-то искусственно веско прибавил Гриша, — пир жизни.

— А на что-жь она иначе нужна? возразил современный юноша:- jouir, c'est vivre!

— Не всегда, впрочем, заметил Гордынин, скромный и сдержанный молодой человек, говоривший вообще мало и как бы неохотно.

Антонина Дмитриевна полуобернула в нему голову:

— Нет, не всегда, но и отрекаться я не вижу причины.

— От чего это?

— От того, что Григорий Павлович называет "жизненным пиром". Как ни безсмыслен религиозный аскетизм, его все же понять можно. Но когда ты не Антоний Печерский и не

Мария Египетская, засмеялась она, — проходить мимо того, что может нам дать жизнь приятнаго, я не понимаю, признаюсь... Главное, что никто тебе за это не скажет спасибо, добавила она с ироническим оттенком, который Гриша чутьем почуял относящимся в нему.

— Да иной просто по натуре своей не расположен в "пированию": он и "отходит", как вы говорите, возразил Гордынин.

— А я вам вот что скажу, mon cher monsieur, — и красавица так и осветила молодаго человека искристыми глазами своими, — il y a le baptême de la vie, без которого не может обойтись теперь человек, как не мог обойтись новорожденный без погружения в купель в понятиях первоначального христианства. Еслиб я была мать дочери-невесты, я бы никогда не согласилась отдать ее à un petit godiche, не прошедшему ни чрез какой struggle of life и видящему в жизни какой-то математический икс, в разрешению которого он не знает формулы.

— Почему же вы думаете? счел нужным вступить опять в разговор Юшков:- формул для вывода этого икса есть много совершенно известных.

— Например?

— Например... долг, произнес он нетвердым голосом, как бы мгновенно оробев.

— Le devoir! протянула она с комическим эмфазом, раскидывая руки врознь, — je m'incline... Добродетельно, хоть и не совсем ново!.. И далеко вы уедете с этою формулой, вы полагаете? Удовлетворится ею, по-вашему, молодое существо, которое вверит судьбу, свою этому вашему человеку "долга", когда на живыя требования ума ея и воображения он будет отвечать ей цитатами из прописной морали? Я отвечаю вам, это не пройдет шести месяцев после свадьбы, как она повиснет на шее перваго gandin, который заговорит с нею настоящим языком.

— J'crois ben, saperlipopette! расхохотался во всю силу Соловцов, восхищенный нескромным намеком, заключавшимся, понял он, в этих словах.

Гриша вспыхнул по самые глаза; голос его задрожал:

— Есть, в счастью, между женщинами и такия, в которым не осмелится подступить ни один "gandin" ваш и не пристанет ни одного брызга от его настоящаго языка.

Сусальцева, как бы не замечая его раздраженного тона, лениво откинулась в расшитыя подушки дивана, на котором возлежала:

— Желаю вам такую встретить, небрежно уронила она:- я не встречала.

— Вы клевещете на ваш пол, кажется, из любви в спору, тихо усмехнулся Гордынин:- вы первая, как говорит общий голос, оставались век свой глухими на какия бы ни были речи, которыя говорились вам, и на каком бы языке оне ни говорились. Она пожала плечами:

— Uniquement parceque je suis pratique и очень рано вкусила от того горькаго древа, которое называют опытом... Но кто же вам сказал, примолвила она, медленно и как бы устало сожмуривая веки, — что и для меня нет языка, которого звуки были бы в состоянии пробудить меня от спячки... Поверьте, в любой повести женского сердца, как называют это романисты, все зависит от музыканта. Он не нашелся для меня, — вот и все!

— Пока? подчеркнул, лукаво подмигивая ей, лицеист.

— Пожалуй…

Она слегка кивнула и усмехнулась опять. У лицеиста все лицо загорелось:

— Что же нужно… que faut il pour vous plaire, madame?

— Как вы молоды! разсмеялась она:- разве существуют ответы на такие вопросы?.. Почем я знаю сама!

— Но приблизительно однако, приставал он, — какия именно качества…

— "Качества?" Que vous êtes donc naif, jeune homme! Скажите недостатки, это еще понятно.

— Quelque vice grandiose alors? подмигнул он почему-то, принимая вид самаго прожженного roué старых времен.

— Наш век так измельчал, презрительно отозвалась она, — что ни на что "грандиозное" люди более не способны ни в хорошем, ни в дурном… Конечно, примолвила она чрез миг с новою, не то ленивою, не то надменною усмешкой, — если бы кто-нибудь, как тот испанский гранд, влюбленный в свою королеву[88], поджег бы свой дворец, чтоб иметь только случай пронести меня сквозь огонь в своих объятиях…

— Вы полюбили бы его? так и вскрикнул Соловцов.

— Не знаю… mais il aurait eu des chances…

— Дорогой шанс, во всяком случае! добродушно съострил Гордынин.

— А вы полагаете, что я стою дешево? спросила Антонина Дмитриевна с невыразимою дерзостью выражения.

Бедный Гордынин, смутившись, растерянно заворочал плечами. Лицеист за то восторженно захлопал в ладоши:

— Adorable, splendide, épatant! нанизывал он подлежащие эпитеты из сво. его опереточного лексикона.

Гриша сидел бледный, словно весь съежившись и уйдя в себя. Он не мог оторваться от мысли, что все это говорилось ею, "для него собственно", что она опять, опять, "как в те проклятые дни", пробовала над ним "могущество своих чар", манила его призраком соблазнительного "шанса", с тем, чтоб и он "сжег дворец свой, как тот гранд"… "Никогда, никогда!" восклицал он внутренно в глубоком смятении: "я не люблю ея, презираю… Маша, Маша!… Скорей, скорей отсюда вон… Когда же соберется ехать Борис Васильевич!"…

Антонина Дмитриевна как бы угадала душевное состояние бывшего ея обожателя. Она обернулась к нему с лицом, на котором уже не оставалось и следа того шаловливаго настроения, с которым вела только-что слышанныя нами из уст ея речи:

— Вы серьезный человек, Григорий Павлович et nos racontars frivoles мало вас интересуют, я понимаю. Мне в тому же и нужно поговорить с вами о предмете совсем иного рода.

— Что вам угодно? проговорил он сдержанно.

— Вот видите, я нахожу, что муж мой, при его состоянии и в его двойном качестве крупного

землевладельца, — так ведь это говорится официально? — примолвила она с шутливым оттенком, — и большаго здешняго фабриканта, должен непременно сделать что-нибудь для этой местности, в которой он живет; он даже к этому обязан, по-моему, принадлежа к земству… Я и думала, что было бы очень хорошо устроить школу в нашем городе специально для девочек. Я бы ею занялась, как попечительница, и могла бы даже, когда эти девочки кончат курс, пристраивать их по возможности и давать беднейшим из них приданое, если захотят оне выйти замуж… Как находите вы мой проект?

Гриша с изумлением поглядел на нее и не нашел в первую минуту ответа.

— Вам не нравится? быстро спросила она, пристально взглядываясь в него в свою очередь.

— Ответить вам на это прямо, Антонина Дмитриевда, довольно трудно, сказал он:- школа дело хорошее вообще, но вопрос в том, имеется-ли здесь настоящая потребность в ней, что именно имеете вы в виду, задумывая ее, в каких размерах полагали бы вы ее учредить, и так далее.

— Конечно, конечно, qu'à l'état d'embrion dans ma tête, мне только пришла в голову эта мысль, и я не имела еще времени разработать ее и дать ей определенную форму. Я поэтому и подумала, что никто не может быть мне более полезен в этом случае, как вы… Вы при том теперь и власть в уезде… Вы не откажетесь быть моим советчиком, руководителем?

Гриша наклонил голову.

— Очень благодарен вам за доверие, но я не специалист по школьному вопросу, и полагаю, что гораздо более меня мог бы вам быть полезным наш инспектор народных училищ, совершенно компетентный в деле и при том очень хороший человек.

Она перебила его быстрым движением руки.

— Это казенный то-есть, министерства народного просвещения? Ни за что, нет, я лучше откажусь от всякаго моего намерения сделать добро, чем иметь дело avec ce ministère odieux!… Вот спросите monsieur Соловцова, что говорили про него еще сегодня утром у меня его начальник и такой государственный человек, как Алексей Сергеевич Колонтай.

— Le ministère de la crétinisation publique! захихикал лицеист, в виде résumé того, что именно говорили эти: "государственные" люди.

Гриша намеревался возражать, но Сусальцева не дала ему на это времени.

— Нет, мы это с вами сочиним и соорудим вдвоем, безо всяких "компетентов", и прекрасно сочиним, вы увидите! Я хочу, чтоб это было uniquement une oeuvre à nous deux, чуть-чуть подчеркнула она, как бы сочетая мысленно его с собою в чем-то особенно любезном ей и дорогом, и скользнула бархатным взглядом по смущенному лицу молодаго человека:- мы с вами такие старые друзья, неужели вы решитесь поступить со мною, как с докучливою просительницей, от которой люди во власти прячутся, или отделываются какими-нибудь казенными фразами?

Что было делать Грише? Он попытался обратить дело в шутку.

— Я не "власть", во-первых, и не знал бы даже, как сложить "казенную фразу", если бы приходилось мне уклоняться от "докучливых просительниц". Но вы и не принадлежите к числу их…

— J'crois ben, saperlipopette! воскликнул губернаторский чиновник, нежно вскидывая глаза на хозяйку и вздыхая.

— Оставьте же говорить серьезных людей! капризно крикнула она на него. — Вы что-то начали издалека, Григорий Павлович, но я вас избавляю от предисловия; прошу отвечать прямо: согласны вы, или нет быть моим помощником в том, о чем я вам сейчас говорила?

— Если я вам непременно нужен… пролепетал он.

— Нужны-ли? Еще как, необходимы!… Так вы согласны? Merci, merci de coeur!

И она протянула ему руку.

Он взял ее. Он почувствовал в своей теплоту и мягкость ея, нежной ладони, почувствовал, как сжимала она каким-то трепетным, показалось ему, пожатием его мгновенно заледеневшие пальцы. Словно какие-то огни запрыгали у него пред глазами.

— Ведь это надобно скорее, Григорий Павлович, торопливо заговорила она опять, — я хочу, чтобы к началу осени у нас было все готово и открыто…

— Это не возможно так быстро, возразил Юшков, овладев еще раз собой:- формальности берут у нас всегда очень много времени, требуется утверждение в Петербурге, теперь же время летнее…

— Об этом не безпокойтесь, наш милый губернатор обещал мне устранить все затруднения. Надобно только нам в вами все сообразить хорошенько… Если бы вы могли, например, переночевать сегодня в Сицком, мы бы завтра же утром могли устроить наш первый сеанс.

— Это совершенно не возможно, Антонина Дмитриевна: у меня завтра занятия по опеке.

— Так после завтра; приезжайте завтракать vers midi.

— Право, не знаю, — у меня теперь очень мало свободного времени.

Она нахмурилась на миг, но тотчас затем приняла свой прежний оживленный вид:

— Как хотите, но знайте, я теперь от вас не отстану, буду хоть каждый день гонять в вам посланцев во Всесвятское, чтобы напоминать вам, что вы мне нужны, необходимы, что я без вас наконец жить не могу! разсмеялась она громко, раскидывая еще раз обе руки движением, выходившим у нея как-то необыкновенно щеголевато.

— Epatant! вскликнул тут же Соловцов и тут же запел, подмигивая и закатывая глаза под лоб, из известного письма в Grande Duchesse:

Qu'on l'aime tant,
Le brigand,
Que vraiment on en perd la tête…

Гриша растерянно и злобно уперся в него взглядом, готовый разразиться каким-нибудь жестким словом…

Но в ту же минуту дверь соседней комнаты широко растворилась, пропуская возвращавшихся из курильной "именитых гостей" Всесвятского, с хозяином его и Троекуровым.

— Enfin! воскликнула Антонина Дмитриевна, смеясь, — cela a-t-il-été assez long! И уж непременно о политике говорили, не правда-ли?

— Коснулись легонько, коснулись, нельзя же, счел нужным хихикнуть в свою очередь в ответ Пров Ефремович, — да вот его превосходительство, к сожалению, не захотел больше, уезжать сбирается.

И он указал на Бориса Васильевича, искавшего свою шляпу.

— Уже! протянула Антонина Дмитриевна, и глаза ея как бы с безсознательною, невольною тревогой вскинулись на Гришу Юшкова: ты, мол, сейчас с ним уедешь!

Нервная дрожь пробежала у него по телу, но он только чуть-чуть усмехнулся, как бы отвечая: и давно пора!

— У меня к вам просьба, mon général, выговорила она, протягивая руку подошедшему раскланяться ей Троекурову.

— Что прикажете? ответил он с холодною учтивостью.

— Отпустите ко мне скорей Григория Павловича: он мне нужен для одного хорошаго дела, о котором он вам скажет.

Веки у него судорожно заморгали:

— Григорий Павлович не ребенок, отрезал он как можем, — и на отпуски его или неотпуски я не имею ни прав, ни притязаний.

Он поклонился и быстро отошел, раскланиваясь и пожимая протягивавшияся ему руки.

Гриша в свою очередь торопливо вскочил с места…

— Так я вас жду, вы будете… Непременно? удерживая на миг его руку в своей, в полголоса, будто сообщая ему какую-то тайну, проговорила Антонина Дмитриевна. Глаза ея так и впились в его лицо.

Он, не отвечая, еще раз поспешно склонил пред нею голову и зашагал вслед за уходившим Борисом Васильевичем и провожавшим его хозяином.

Гордынин, почувствовавший к нему симпатическое влечечение с первой минуты знакомства, и губернаторский чиновник, которому внутри что-то говорило, что он, Соловцов, был не совсем "correct" в разговоре с этим новым своим знакомым, и желавший поэтому "исправить" дурное впечатление, которое он мог произвести, на него, пошли в свою очередь проводить его до экипажа.

Оставшись одна со своими интимами, Сусальцева быстро обернулась к Колонтаю и спросила:

— Ну, что он говорит?

Тот слегка усмехнулся и пожал плечами:

— C'est un Николаевский генерал dans toute l'odieuse acception du terme! засосал вместо него свою карамельку губернатор, неестественно хихивая:- какой-то поросший мхом допотопный fossile. Он ничего кроме кулака не допускает, никаких современных потребностей не признает,

озлоблен и даже… даже груб, добавил он, подпуская видимо уже в карамельку уксуса.

— Умная голова, нет, не говори, твердый человек! закачал головой генерал Бахратидов.

— Умный, несомненно, mais très encroûté, уронил Колонтай, — не даром так долго живет в провинции; самые умные люди в ней поневоле ржавеют.

— Вообразите, продолжал горячиться Савинов, — вместо требуемых теперешними обстоятельствами мер либерального свойства, которыя могли бы несколько успокоить общество и призвать его вместе с тем к живому участию в государственных вопросах, он кричит о каком-то великом визире с неограниченными правами власти, диктатуры какой-то хочет.

— Диктатуры? протянула Антонина Дмитриевна.

Глаза ея блеснули и остановились на Бахратидове.

— Mais le voilà, le dictateur tout trouvé! проговорила она победным тоном.

Алексей Сергеевич усмехнулся и повел чуть-чуть головой. Генерал замахал руками:

— Что вы, что вы, красавица! — и он приложил правую руку к левому боку:- я на одну диктатуру способен, на диктатуру сердца.

— Браво, браво, — она захлопала в ладоши, — нам такая именно и нужна теперь. Tout par le coeur, и Россия будет благословлять тот день, когда вас назначат:- c'est moi qui vous le dis!…

XVIII

В ней были всесильныя чары,
Была непонятная власть.

Лермонтов.

— Какое у этой барыни там "доброе дело", о котором вы должны передать мне? спросил Борис Васильевич своего спутника, когда коляска их выехала из Сицкаго.

— Она говорила мне, желает учредить в городе школу для девочек, ответил со слабою усмешкой Гриша.

— Вот как! Которою сама она будет руководить? с невеселою усмешкой примолвил Троекуров.

Гриша насилованно усмехнулся тоже:

— Она действительно хочет быть там попечительницей и лучшим из выходящих думает давать приданое.

— Поздравляю тех, кому достались бы в жены эти воспитанницы госпожи Сусальцевой… Но полагаю, что из ея намерения ничего не выйдет и что на счастье наших мещанок она забудет об их цивилизации… А вы тут при чем? спросил он чрез миг.

— Ей представилось, что я ей необходим, как исправляющий должность предводителя, для содействия ея плану, как-то особенно торопливо поспешил сказать молодой человек.

Собеседник его примолк на минуту:

— Вы слышали или нет, начал он опять, — что говорил этот сноб-губернатор за столом относительно экстренного собрания дворянства для выбора предводителя вместо Павла Григорьевича?

— Слышал, как же; он говорил достаточно громко для этого.

— И поняли, для чего это было сказано?

— Как не понять, Борис Васильевич: известной партии, которой этот господин видимо покровительствует, хочется устранить меня скорее от исправления этой должности и затем не допустить, чтобы меня выбрали. Интрига по уезду ведется очень бойко в пользу ея кандидата.

— Лупандина?

— Да; им руководит, как говорил мне всезнающий Николай Иванович, наглец этот Свищов…

— Знаю.

— С губернатором они знакомы были еще в Петербурге, служили вместе, и Николай Иваныч уверяет, что тот из Сицкаго должен проехать к этому графу в усадьбу, провести там несколько дней… Все это, главное, ведется в виду известной вам железной дороги, против которой батюшка и вы высказались прямо, между тем как для весьма многих в уезде она представляется источником великих выгод.

— Да, единомыслить со мною в настоящую пору вообще неразсчетливо, ироническим тоном промолвил на это Троекуров и не раскрывал рта более во всю дорогу.

Въезжая на широкий двор Всесвятского, они увидели Машу, сидевшую на крыльце с Анфисой Дмитриевной Фирсовой. Она видимо поджидала их, кинулась с места обнимать отца, едва успел он выйти из коляски, крикнув ему: "Мама гораздо лучше, она сидит у себя с Васей и Вячеславом Хлодомировичем", — и тут же, быстро обернувшись на Юшкова, впилась глазами в его лицо и спросила, стараясь выговорить это как можно "проще" и беззаботнее.

— Что, весело вам было там в княжьих палатах madame de Soussaltzef?

— Очень, чрезвычайно! насмешливо напирал он, пожимая и не выпуская ея руки из своей, между тем как отец ея направился в покой Александры Павловны.

— Пир был на весь мир, воображаю, les petits pots dans les grands, говорила она тем же тоном, продолжая допытываться в его лице того "настоящаго" впечатления, какое он мог вынести из Сицкаго.

Но он, "что бы там ни произошло с ним", он — "она читала это теперь на лице его, как в книге", — был таким, "каким она всегда желала его видеть: " счастливый, оживленный, веселый. И у самой у нея на душе стало вдруг так светло, так лучисто-светло… Но не показывать же это ему прямо, "еще зазнается пожалуй"…

— Посмотрите на него, обернулась она к Фирсовой, — каким он глядит именинником.

— Рад, что вернулся, засмеялась та.

— Совсем нет: рад, что был там, что видел, что слышал райский голос.

— Ну уж "райский" совсем тут не к предмету, Машенька, заметила Анфиса Дмитриевна.

— А он находит… Не правда-ли, ведь вы находите, Гриша?…

— Что нахожу?

— Что "лучше Олимпиады Самсоновны барышни на свете нет", как говорится в этой пиесе Островского, которую я видела в Москве, хохотала Маша. — О чем у вас с нею были разговоры, говорите сейчас? приставала она к нему.

— Она перещеголять вас намеревается по части науки, смеялся он тоже: — школу женскую хочет завести в городе, с приданым вместо похвального листа за успехи учениц.

— И вас приглашает быть у нея помощником? живо выговорила девушка без всякаго уже следа веселости.

— Почем вы знаете? вскликнул он с удивлением.

— Как трудно догадаться!… Вот видите! обернулась она еще раз к Фирсовой! — я знала наперед, что она непременно уж что-нибудь выдумает.

— Так мало-ли что!

И Анфиса Дмитриевна пожала плечами:- С тем и останется.

Гриша взял опять обе руки Мании в свои.

— Ну что, скажите, могла бы она "выдумать", о чем бы стоило вам безпокоиться?

Но она перебила его и даже ножкой топнула.

— Нисколько я не безпокоюсь, и не воображайте, пожалуйста! Но я знаю, что она будет делать все, чтобы привлечь вас в свой "cercle d'attraction", comme on dit, и отвести от нас, от папа. Им это теперь нужно… Вот тут сейчас Николай Иванович был, и мы говорили с ним… Против папа подымают всех в уезде теперь, против его влияния.

— Так что же, вы думаете, воскликнул Гриша, морща брови, — что я поддамся на эту интригу?

— Еще бы вы поддались!.. Но вы… вы… Я не знаю, но уж она наверно не без какой-нибудь mauvaise arrière-pensée ищет теперь… дружбы с вами, подчеркнула Маша с какою-то особенною, тревожно звучавшею интонацией.

— И конечно, сказал Гриша, — если допустить, что она действительно ищет этого, а не просто, безо всякой хорошей или дурной задней мысли, минутного разсеяния от все той же, как я мог заметить, снедающей ее внутренно скуки и тоски… Нет, Маша, вскликнул он в каком-то мгновенном восторженном порыве, и глаза его нежно устремились на девушку, — я провел там три часа точно под душью ледяной воды, падавшей мне капля за каплей на голову и от которой все нервы мои приходили в судорожное содрогание. И вот вижу вас опять, и снова мне легко и сладко дышать, и опять чувствую себя бодрым, здоровым, верующим…

Он говорил искренно, ото всей души, забывая в эту минуту, под лучами этих девственных, любовно и тревожно глядевших на него глаз, что там, к тем "ледяным" каплям, падавшим ему на голову, примешивалась еще иная струя, струя соблазна, и шептали внутри его презрительные звуки о его "ничего не испытавшем до сих пор улиточном существовании".

— Бог с ней, не нужно мне их никого, горячо продолжал он, — лишь бы мы по-прежнему были друзьями, моя честная, чистая Маша!

Прелестное лицо ея все разцвело опять.

— Ворона и лисица, басня Крылова. Ворона выхожу я; ведь так, Анфиса Дмитриевна? а он лисица:

Какия перышки, какой носок,
И верно ангельский быть должен голосок!

— Ну уж на лису-то вовсе не похож, закачала смеясь головой Фирсова.

— Нет, нет, не похож, я шучу, Гриша! вскликнула Маша, вскидывая вверх свои белыя, несколько большия и длинныя руки и роняя их на плечи молодаго человека:- мы у нас беленький, добренький, мягонький как овечка Божия!

Антонина Дмитриевна Сусальцева между тем, вопреки чаянию Троекурова, была повидимому решительно намерена заняться "цивилизацией" женского населения города ***. Дня четыре после известного нам обеда в Сицком, Гриша Юшков получил от нея записку на изящном, цвета "verre d'eau", листке, с изображением на заголовке его белоснежной голубки с письмом в клюве и девизом: "Vole et reviens vite", в которой говорилось на изысканно шутливом французском языке, что "замок ея опустел после отъезда разлетевшихся из него гостей и что она, свободная теперь духом и движением (libre d'esprit et de mouvement), желает облечь в плоть (donner corps) то зародившееся у нея в идее предположение, о котором она говорила ему при последнем их свидании, вследствие чего просит его прибыть к ней без отговорок и не откладывая (sans faute ni retard) для необходимых об этом переговоров". Гриша прочел эту записку медленно, строку за строкой, перечел ее еще раз, словно желая удержать каждое из выражений ея в памяти, но вдруг затем нервно порвал ее в мелкие куски и вышвырнул их в открытое окно. а посланному красивой барыни велел передать на словах, что "очень извиняется, не имея возможности отвечать ей письменно, так как сейчас едет в город и никак не может обещать быть в скором времени в Сицком вследствие занятий по должности, требующих постоянного присутствия его в городе"... "Пусть называет меня неучем", сказал себе при этом Гриша, "а так по крайней мере разом конец будет!.." Антонина Дмитриевна, получив этот словесный ответ, не назвала его никак; губы ея только слегка дрогнули и сложились в недобрую усмешку.

Прошло еще несколько дней. Гриша сидел однажды часу в третьем пополудни на городской квартире, издавна нанимавшейся отцом его в доме, где помещалась и дворянская опека, с секретарем которой временной предводитель в эту минуту занимался бумагами. Они сидели друг против друга за письменным столом, помещавшимся между двух окон, выходящих на улицу. День был чудесный; солнце пекло, и на половину спущенныя в ограждение от лучей его темныя зеленыя сторы надувались и шелестили под взрывами набегавшего в открытыя окна от времени до времени ветра,

Легкий грохот подъехавшего экипажа отвлек внимание обоих от лежавших пред ними отпусков и отношений.

Секретарь опеки, молодой человек со взъерошецною "чортом" шевелюрой, какия только встречаются в провинции, быстро откинулся с места головой к окну, подсунул ее под стору и выглянул на улицу.

— Барыня какая-то, великолепная! объявил он шепотливо и поспешно, быстро оборачиваясь

ликующим лицом к своему начальнику.

И в то же время донесся до Гриши женский голос, спрашивавший громко: — Григорий Павлыч Юшков здесь живет?

Нервная дрожь пробежала у него по спине. Он трепетною рукой поднял стору на своем окне, выглядывая из него в свою очередь.

Антонина Дмитриевна Сусальцева в низеньком обитом внутри темно-малиновым атласом соломенном портшезе, запряженном парою пони модной соловой масти, с коротко остриженными гривами и букетами свежих роз под ушами, держа в одной руке возжи, а в другой длинный бич с высокою резною рукояткой из слоновой кости, между тем как чуть видный от земли грум в подобающей ливрее соскакивал с задняго сиденья и ухватывал лоснившихся как зеркало лошадок ея под уздцы, — Антонина Дмитриевна, в круглой шляпке с птичьим пером на боку, в джерси, тесно охватывавшем роскошныя очертания ея бюста, вся зарумянившая от езды и воздуха, предстала пред ним во всем очаровании своей вызывающей и самонадеянной красоты. Она подняла глава и увидела его:

— Вы знаете, что сказал Магомет, когда гора отказалась двинуться на его зов? крикнула она ему со смехом снизу:- вот я и сама явилась, — пожалуйте!

"Господи!" досадливым взрывом сказалось внутри молодаго человека, между тем как гораздо более юный секретарь его спрашивал через стол все тем же шопотом и восторженно сияя широко раскрытыми глазами:

— Кто эта богиня, Григорий Павлыч?

Он не отвечал ему, нахлобучил сердитым движением шляпу на голову и вышел на крыльцо.

— Что угодно вам, Антонина Дмитриевна? спросил он, подходя к ней и кланяясь с холодною учтивостью.

Она отодвинулась к другому углу портшеза и, указав кивком на опроставшееся подле себя место:

— Садитесь! сказала она.

— Куда это? спросил он, недоумевая.

— Разве об этом спрашивают, quand une jolie femme vous fait l'honneur de vouloir vous enlever? засмеялась она;- садитесь!

— Извините, сказал он несколько раздраженным тоном:- я занят, мне решительно не возможно…

Секретарь опеки, прислушивавшийся с этому разговору из окна и которого вид "великолепной барыни" приводил все в большее и большее восхищение, провел поспешно рукой по растрепанным своим вихрам и, стараясь придать как можно более развязности "светского тона" выражению лица своего и речи, крикнул ему сверху:

— Не безпокойтесь, Григорий Павлыч, остальную корреспонденцию мы можем отложить до завтра: не к спеху.

Сусальцева подняла на миг глаза на говорившего. чуть-чуть кивнула ему, как бы благодаря, и обернулась, сдвинув брови, на Юшкова:

— Вы видите! Ne faites donc pas l'enfant, примолвила она вполголоса:- c'est ridicule!

Он повиновался угрюмо и безмолвно.

— На место! скомандовала красивая барыня груму, собирая возжи.

Мальчик поспешно побежал в своему сиденью.

Лошадки тронули и побежали крупною разбежистою рысью, какой, казалось, никак нельзя было ожидать от их крохотного роста. Антонина Дмитриевна, натягивая сильно возжи, правила ими со всем мастерством опытной наездницы. Утром шел крупный дождь, и недавняя пыль обратилась в иных местах в жидкую кашу черной грязи, но она ловко и смело; объезжала их, свободно ворочая своего упряжной то вправо, то влево, поглощенная, повидимому, этим занятием и как бы находя в нем какое-то особое, увлекательное удовольствие.

Так проехали они город, не обменявшись словом друг с другом.

За заставой пошла торная, успевшая уже обветриться дорога, обсаженная старыми березами Екатерининских времен. Сусальцева стала мало-по-малу умерять ход разбежавшихся пони и вдруг обернулась на своего спутника:

— Скажите, начала она по-французски:- вы почитаете нужным избегать меня?

Он не отвечал.

— Потому что, продолжала она с оживлением, — эти ваши чрезмерныя занятия, q которых вы говорили мне в Сицком и в несколько неучтивом, позвольте это сказать кстати, словесном ответе вашем на мою записку, оказываются, как это сейчас доказано было, вздором! Но есть положения, понимаю, почти обязывающия на неучтивость. Почитаете-ли вы себя в таком положении относительно меня, Григорий Павлыч?

— Позвольте… начал было он.

Но она не дала ему времени договорить:

— Нет, прошу вас сперва отвечать прямо на мой вопрос: вы решили, что я такая женщина, которой лучше не видать?

Болезненное чувство сказалось на миг к лице Гриши:

— Да, Антонина Дмитриевна, вымолвил он с усилием:- вы не ошиблись, я решил, что так лучше.

Она повела на него искоса ироническим взглядом:

— Сами вы, медленно роняя слова, проговорила она, — или по чьему-нибудь приказанию?

Он вспыхнул весь, готовый ответить жестким словом, но тут же сдержался, улыбаясь насильственною улыбкой:

— Вы ошибаетесь, Антонина Дмитриевна, сказал он, — если полагаете уязвить самолюбие мое

вашим намеком. Я вижу в этом только желание ваше доказать мне лишний раз, что вы ненавидите тех, на кого намекаете, но я смею думать, что вам… что вообще лучше не говорить о том, к чему мы не можем относиться безпристрастно.

Она презрительным движением шевельнула своими великолепными плечами.

— Ненавижу, это для них слишком много чести; я просто не люблю тупых людей… Но я пощажу деликатность ваших благородных чувств, я знаю, что вы там на испытании.

— На каком испытании, что вы говорите!

— То, что есть. Я все знаю, а чего не знаю, угадываю так же верно, как если бы слышала собственными ушами: относительно вас там существует то, что сказывается в известной пословице: и хочется, и колется, и бабушка не велит. Вы намеченный жених несравненной Марии Борисовны чуть-ли не с самаго дня ея рождения. Это совсем по традиции, как в благонамеренных старых романах: друзья родители предназначают с колыбели детей своих к будущим узам Гименея et autres exercices patriarcaux et touchants. Прелестно! Но вышло так, что в ожидании той счастливой минуты нареченный будущий обладатель нашей Машеньки чуть-чуть свихнулся и запутался было в сетях одной жалкой особы, дочери разоренного и пьяного отца, которую мы поэтому имели полное основание презирать и не пускать к себе в дом. Особа эта, отдадим ей справедливость, была со своей стороны горда и не хотела способствовать своим поощрением этого вероломного суженого нашей Машеньки в окончательному разрыву с нами и всем нашим миром: она предпочла, во избежание соблазна, выйти замуж за человека, не равного ей ни по рождению, ни по воспитанию…

Судорожное движение пробежало по губам Юшкова, но он не шевельнулся, не взглянул на нее.

— Вы этим огорчились тогда, Григорий Павлович, продолжала она, — и голос ея слегка будто дрогнул при этом, показалось ему:- или я ошибаюсь?

— Нет, сказал он после минутного колебания.

Под веками ея блеснул быстрее, чем молния, какой-то луч самодовольного торжества.

— Мы это, само собою, заметили, начала она опять язвительным тоном говорить от имени Троекуровых, — и, понятно, сильно на это вознегодовали. Машеньку мы увезли за границу, где, встречаясь с ненавистною нам купчихой, едва удостоивали ее поклона… в то время, — примолвила с высокомерною улыбкой Сусальцева, — когда принцы крови et tout ce que l'Europe possède de grands noms почитали себя счастливыми быть принятыми в ея гостиной… Злополучного суженого послали в ссылку в петербургские тундры: изнывай там от тоски вдали от нашего рая. Гнев наш на него преложили мы на милость только недавно, и то с оговорками и на кондициях. Он у нас теперь не то жених, не то монастырский послушник, на искус поставлен: будет паинькой ходить в наших шорах, не глядя ни вправо, ни влево, впряжем пожалуй в одну пару с Машенькой; вздумает увлечься опять свободным чувством, — укажем ему дверь и величественно возгласим, как тот комический beau-père в Le chapeau de paille d'Italie: "Mon gendre, tout est rompu".

Гриша поднял опущенную голову с каким-то, поразившим Сусальцеву, "знавшую его так близко", взмахом душевной бодрости:

— Вы забываете здесь одно, Антонина Дмитриевна: мою личную волю. Вы очень остроумно смеетесь над "традициями старых романов", над какими-то "оговорками" и "кондициями". Но

ничего этого в действительности нет и не нужно: я просто люблю Марию Борисовну Троекурову.

— "Любите?" странным тоном повторила она.

Она опустила возжи, обернулась еще раз на него:

— А меня?...

— Вас?... был он в силах только пролепетать в первую минуту.

— Меня, да, — на лице ея заиграла какая-то неотразимая улыбка:- помните подчеркнутые вами однажды стихи в томике Alfred de Musset, которого давала я вам читать:

Quand un coeur vous a contenue,
Juana, la place est devenue
Trop vaste pour un autre amour.

Разве после меня можно полюбить другую? Allons donc!...

"Что же это такое, чего она хочет от меня?" спрашивал себя в смятении Гриша. Сердце его усиленно билось, пред глазами стоял какой-то туман... Но ему надо было "выбиться из такого состояния", чувствовал он; надо было "не дать себя одолеть этому призраку". Он вызвал опять улыбку на уста:

— К чему вы это говорите, Антонина Дмитриевна? на что я вам теперь нужен, на что? повторил он невольно дрогнувшим голосом.

Она попридержала лошадей:

— А если мне тяжело видеть в вас теперь врага, Григорий Павлыч! воскликнула она, как бы одолеваемая каким-то неотразимым желанием высказаться: — если я не переношу мысли, что вы можете меня презирать!...

— "Презирать", "враг", он тихо закачал головой: — ничего подобного нет в душе моей к вам.

— Ну да, как бы с горечью отозвалась она, — безграничное равнодушие, не так-ли?

Он не отвечал, устремив прищуренные глаза в бежавшую пред ними даль... А сердце его все так же усиленно билось и в ушах "невыносимым звоном", казалось ему в эту минуту, звенели "предательские" звуки ея проницающаго гортанного голоса.

Она еще раз повела на него из-бока взглядом, и губы ея побелели:

— Наша беда с вами, Григорий Павлыч, состоит в том, что вы слишком, как говорится, прямолинейны, rectiligne. В теории это может быть прелестно и во всяком случае очень почтенно, за это во Франции дают даже людям le prix Monthyon[89], но дело в том, что вашей прямой линии в природе не существует вовсе, il n'y a que des courbes, а вы этого допустить до сих пор не хотели. Я всегда была виновна в ваших глазах тем, что не подходила под тот казенный шаблон, под который привыкли вообще люди подводить известную категорию человеческих существ, к которым, по видовым признакам, должна была принадлежать и я. Оказывалось, что видовые признаки одно, а в действительности выходило нечто совсем иное. Все это лицемерие девичьей скромности, в которую никто давно не верит и которой все между

тем продолжают требовать, — несомненный будто бы признак d'une "jeune personne comme il faut", — все это во мне отсутствовало. Было существо, ненавидящее фальшь и условность, свободное умом и разумеющее жизнь такою, какова она в действительности, а не в "нравственных" книжках английских старых или безобразных blue stockings, которым никто в жизни не решился дать случая согрешить... Я вам нравилась, не смотря на это, быть может даже, именно поэтому, но вы все же почитали обязанностью своею "протестовать" словом и мыслью против моей разнузданности... Правда?

— Я не протестовал, мне было больно, невольно вырвалось на это у Юшкова.

— Да, потому что... я не знаю, как это выразить нежнее, усмехнулась она, будто извиняясь за то, что хотела сказать ему, — у вас нет широкаго захвата в мысли, l'envergure vous manque, вы слишком, повторяю, прямолинейны, вы не допускаете, что большому кораблю, как говорит пословица, требуется простор океана, а не лужа деревенского пруда. А я всегда, sans me flatter, чувствовала себя большим кораблем, Григорий Павлыч; я не могла довольствоваться малым, не могла переносить нищенского существования в Юрьеве; мне нужно было все, что может. только дать жизнь тому, кто сознает себя способным стать над нею владыкой... Я вышла замуж; мне нужен был прочный фундамент для моего будущаго здания; я и взяла для него первый материал, какой давался мне в руки. Выбора у меня в тогдашнем моем положении не было... Вы, промолвила она тут же со смехом, — "вы, принц", как говорит Беатриса у Шекспира[90], "годитесь только для праздников", а мне нужен был муж для будней... Но вы ничего, ничего этого не хотели, не в состоянии были понять, вскрикнула она словно с отчаянием, — вы перечеркнули меня и память обо мне большим крестом с той минуты, когда я решилась, по-вашему, "продать себя", выходя за monsieur Сусальцева.

Он все так же сосредоточенно молчал, уставившись машинально глазами в ея державшую возжи левую руку в шведской по локоть перчатке, застегнутой на двенадцать пуговиц. "В каком романе", проносилось у него в голове, "читал я что-то совершенно похожее на эти слова?.."

— По-вашему, говорила она меж тем с возраставшим жаром, — я хотела богатства для богатства, а я в нем видела лишь двигательную силу...

— Она у вас в руках теперь: счастливее-ли вы стали? поднял на нее строгие глаза ея спутник.

— "Счастливее!" повторила она чуть не плачущим голосом:- разве я в таком случае сидела бы здесь с вами, увезя вас насильно от ваших "занятий", добиваясь от вас тщетно хоть одного слова прежней... — она как-бы искала надлежащаго выражения, — прежней... дружбы! Счастливые забывают, а я ничего не забыла, как видите. В душе моей все та же жажда и та же мучительная, смертельная неудовлетворенность.

— Я это угадал, прошептал Гриша, — когда вы так весело, повидимому, так цинично, — извините меня за выражение, — разсказывали нам в тот раз все эти невероятныя парижские истории.

— "Цинично?" повторила она опять, — пожалуй, если ухо ваше не дослушалось той горечи, которая говорила за этими циническими словами моими. Вам никогда не приходило в голову, Григорий Павлыч, какое иногда хорошее чувство скрывается под грубым ругательством и что смех иной раз надрывает душу хуже самых горючих слез?.. Я смеюсь и проклинаю, потому что благословить ничего не могу, поймите это!

Он внимал ей, прислушиваясь со странною смесью изумления и жалости к этим ея спешным,

горячим, так мало обычным ей речам... "Или это ложь?" говорил он себе,- "но она прежде никогда не лгала"...

Она неожиданно засмеялась.

— Вообразите себе простаго русского мужика, которого какая-нибудь волшебница перенесла бы в роскошный дворец под южным небом и стала бы кормить каждый день самыми изысканными гастрономическими блюдами. Он нашел бы тут, что может удовлетворить самый прихотливый вкус, от ласточкиных гнезд до соловьиных языков римского пира, все, кроме одного, — своего родного ржаного хлеба. Как вы думаете, не зачах-ли бы он под конец от этого режима? Сравнение мое не элегантно, а между тем voila mon cas! Я изнываю среди моей роскоши, среди всех этих hommages, вздохов и признаний, которых навиделась, наслышалась я до оскомины, до отвращения в эти два года моего замужства... Я не даром практична, не даром реальна, Григорий Павлыч, ухо мое не пропустит ни одной фальшивой ноты, а тут все ноты фальшивы.

Она примолкла на миг. Пышная грудь ея высоко и учащенно подымалась под тесно облегавшим ее джерси...

— Да, глухо зазвучал ея голос опять:- быть любимою — мечта каждой женщины, будь она чиста как Гретхен, преступна как лэди Макбет, или продажна как Manon Lescaut, — любимою исключительно, самоотверженно, безумно... без ума, подчеркнула она в объяснение.

Гриша старался не глядеть на нее, старался улыбнуться равнодушно и насмешливо.

— Есть женщины холодныя, сказал он, — для которых ничего этого не нужно.

Она засмеялась опять.

— Как я, разумеется, un être froid et immaculé, остававшаяся до сих пор глухою ко всякому слову прельщения, из каких бы уст оно ни исходило: мне при вас говорил этот молодой человек, Гордынин?

— Да, при мне.

— А вы что же, верите или не верите?

И она взглянула на него не то надменным, не то вызывающим взглядом.

Он как бы не слышал вопроса и, обежав безпокойными глазами окружавшее их пространство:

— Куда же мы едем, однако, Антонина Дмитриевна? спросил он поспешно.

— На край света!..

Она хлестнула бичем по лоснившимся крупам своих пони, и легкий экипаж понесся по дороге чуть не с быстротой локомотива, уносимаго паром.

— Антонина Дмитриевна, с невольною тревогой проговорил Юшков, — я вас очень прошу дли отвезти меня обратно в город, или выпустить здесь на дороге, я пешком дойду.

— К чему! Это крюк, а я вас прямо во Всесвятское доставлю.

— Не нужно этого, не нужно! воскликнул он испуганно.

Она захохотала опять своим злым смехом:

— Кого боитесь вы компрометтировать: меня, или себя самого? Обо мне не безпокойтесь: репутация моя сделана, ея не подорвет сантиментальное путешествие мое с вами, по проселкам ***ского уезда.

Гриша внезапным движением поднялся на-скаку со своего места в портшезе:

— Я сейчас соскочу, если вам угодно продолжать эту шутку…

— Перестаньте, вы ногу себе сломите! вскликнула она и откинулась всем телом назад, сдерживая разомчавшихся лошадок.

Она перевела их на рысь и поворотила по направлению к городу.

— Библейский Іосиф, Ипполит Расина,[91] — не знаю ужь, на кого вы более походите, — довольны-ли вы?

— Вы себя однако не, щадите, давая мне такия лестныя названия, заметил Гриша, не удерживаясь более от желания сказать ей в свою очередь что-нибудь колкое.

Но она только пожала плечами на это и уронила с какою-то величавою небрежностью:

— Да, у женщин бывают иногда самые безсмысленные и глупые капризы…

— Проходящие, к счастию, так же скоро, как и приходят, сказалось на это Юшкову как-то совершенно безвольно.

— И в большему еще их счастью, преимущественно к тем, кто этим пользоваться не умеет, добавила, она в свою очередь. И тут же, переменяя вдруг эту беззастенчивую насмешливость речи на тон дружеского, заботливаго участия;.

— Вы меня сейчас спросили, счастлива-ли я, я ответила вам, как чувствовала. A votre tour maintenant, mon ex-ami, подчеркнула она:- счастливы-ли вы, скажите?

— Сколько это может быть дано человеку на земле, с какою-то намеренною преувеличенностью выражения ответил он ей.

— Примите все мои поздравления по этому случаю… И того же счастия ждете впереди?

Она глядела на него не смеющимся и проницающим взглядом. Ему было не ловко от этого взгляда, он отвел от него глаза свои:

— Имею к этому полное основание… если только ничего не переменится в моем настоящем положении, неопределенно выговорил он.

— И никаких черных точек не предвидите на этом светлом горизонте вашего будущаго? спрашивала она мягко. чуть не нежно.

Гришу начинало коробить:

— Какия тут могут быть точки!…

— Мало-ли! Разница лет, например, нрава… Ведь Марья Борисовна, кажется, по папеньке

пошла, командиршей смотрит… Или вы уже так привыкли вечно жить под чьим-нибудь гнетом, мой бедный Григорий Павлыч, что вас эта перспектива не страшит?

Его окончательно взорвало:

— Подчиняться тем, в кого глубоко веришь, кого безпредельно уважаешь, — не гнет, а счастье, Антонина Дмитриевна! резко промолвил он:- "страшиться" действительно пришлось бы мне лишь в том случае, если бы речи ваши были в состоянии меня смутить.

Она выслушала эту суровую отповедь, не моргнув бровью; только уголки рта ея подергивало чуть заметное судорожное движение.

Так прошло несколько минут в натянутом с обеих сторон молчании. Грише становилось неловко: "грубо это вышло, грубо", проносилось у него в голове.

— Вот и город, промолвила его спутница:- мне нечего там делать, а вы хотели, кажется, пешком пройтись… Возвращаю вам вашу свободу, кивнула она ему, останавливая лошадей.

Он быстро выскочил из портшеза, снял шляпу и робко протянул ей руку.

Она подала ему свою и слабо сжала его пальцы.

— Прощайте, Григорий Павлыч, не знаю, где и как увидимся мы опять… Но помните одно — и в голосе ея зазвучала не то страстная, не то надрывающая нота:- вы раскаетесь рано или поздно в том, что так безпричинно… и безразсудно, примолвила она веско, — отвергли искреннее участие к себе особы, для которой вы были единственным светлым воспоминанием в ея темном прошлом. Вы сочли нужным и это отнять у нея, — да будет по вашему!

Он хотел ответить, объяснить, извиниться… Но она поспешно ударила возжей, и портшез, описав большой полукруг по дороге, быстро покатил в сторону Сицкаго, мелькая на солнце медными ободками своих фонарей и втулками быстро обращавшихся колес.

XIX

Гриша и не заметил, как дошел до своей городской квартиры: так поглощен он был по пути к ней одолевавшими его ощущениями самаго разноречиваго свойства. Внутри его было в то же время и смутно, и бурно, и какая-то истома, будто после усиленной мозговой работы. Он имел как бы полное основание быть довольным собою, своею "неподатливостью", своею "твердостью против искушения". Но он мучился уже тем, что было это искушение, что он должен был бороться против него и что борьба эта, сознавал он, была для него не легка. "Другому бы это было. только смешно", говорил он себе,- "а я страдал, страдал все время; этот голос со своим каким-то медно-звенящим отливом, эти аквамариновые глаза, холодным лучом своим проникающие до самой глубины души твоей, они волновали меня, как и прежде, своею непонятною, проклятою властью. Я не дал себя побороть ей, но еще одна такая беда, и я…" Он не договаривал и болезненно сжимал брови и стискивал зубы. Как все слабые люди, он сознавал свою слабость и мучился ею даже в тех случаях, когда, как теперь, выходил повидимому торжествующим из испытания. Но он не признавал себя торжествующим, так как коварныя речи, против которых протестовал он сейчас, успели тем не менее, — он это чувствовал, — влить не мало своего острого яда ему в душу. Оне подняли в нем опять не раз смущавщия его мысли о "подчиненном", о подначальном положении своем по отношению к семье Троекуровых. И самолюбие его опять начинало возмущаться против этой подначальности, и опять начинало его мучить сознание того устричного образа жизни "на деревенских пажитях", которым "прожил он целыя тридцать пять лет, не видав еще себя

никогда на полной своей волюшке", так как и самыя нечастыя поездки его в Москву или Петербург имели всегда характер деловой, почти обязательный, а не вызывались просто, "как у всех", желанием развлечения, свободного пользования жизнью... И при этом безсознательно, помимо его воли, проносился в его воображении рой соблазнительных образов, как бы вызванных одним видом этой женщины, дышащей опасным, но проницающим обаянием той иной, неведомой ему области жизни, и ему казалось порой, что ему не совладать никогда против этого "навождения" ея лукавства, ея прелести...

Придя к себе, он велел сейчас же закладывать, сел в тарантас и поехал во Всесвятское.

Верстах в двух от усадьбы нагнала его повернувшая с проселка четверка подобранных рысаков и коляска, в которой сидела Александра Павловна Троекурова.

Увидав его, она крикнула кучеру своему остановиться и подозвала знаком молодаго человека к себе.

Он поспешил выпрыгнуть из экипажа и подбежал к ней.

— Садитесь со мною, Гриша, одной так скучно ехать, засмеялась она.

— Откуда это вы? спросил он, повинуясь.

— Из Сицкаго, визит ездила отдавать, вместе с Настенькой Буйносовой; она собирается в Москву и хотела проститься с сестрой. Но мы ея не застали, чему я au fond была очень рада, весело подмигнула Александра Павловна:- она уехала в город, сказал мне ея муж. Вы не видели ея там?

Гриша никак не ожидал этого вопроса:

— Н-нет, как-то совершенно безвольно ответил он...

"Зачем, зачем я вру!" молвил он тут же внутренно, готовый взять сейчас же свое слово назад, сказать, что он обмолвился, что он не только ее видел, а даже... Но как же это сказать, объяснить, почему, выдержать, пока он будет это объяснять, пристальный взгляд этих больших, честных и печальных, — "непременно уж будут печальны", предвидел он, — "глаз Машиной матери"... "И Маша в этом случае сейчас же узнает и ей придется объяснять опять..."

— А Настасья Дмитриевна там осталась? поспешил он спросить вместо объяснения.

— Там, да; beau frère упросил ее остаться у них дня два... Он ее гораздо более любит, чем родная сестра... C'est un très brave homme этот Сусальцев, а она...

И Александра Павловна, не договорив, с укорительным как бы выражением закачала головой.

— Я ей отдала визит, сказала она чрез миг, — и, надеюсь, этим между нами кончится. Общаго между нами ведь очень мало, не правда-ли, Гриша?.. Вы хоть и были в нее влюблены, засмеялась она с добродушным лукавством, — но ведь и вы с этим согласитесь?

Гриша подумал, что звук его голоса выдаст не улегшееся еще внутри его смятение; он вместо ответа наклонился к руке милой женщины и поднес ее к губам.

Александра Павловна ошиблась, впрочем, разсчитывая на то, что после ея визита в Сицкое между блестящею его хозяйкой и обитателями Всесвятского ""все будет кончено". Ровно через

двое суток после этого ея визита знакомый нам портшез и соловые пони остановились у крыльца, на котором Маша с некоторого времени приняла привычку усаживаться с какою-нибудь ручною работой, рядом с приходившею туда же Анфисой Дмитриевной Фирсовой, в известные часы дня; именно те, когда исправляющий должность предводителя депутат дворянства возвращался, покончив свои занятия в городе, домой; тут обыкновенно с первой минуты, когда он выскакивал из тарантаса, и почти вплоть до самаго обеда велись у нея с ним безконечные, живые, веселые разговоры.

И теперь на шум колес экипажа, не видного еще ей за кустами большаго сквера, расположенного посреди двора, она быстро оторвала глаза от работы и направила их в лихорадочном ожидании в сторону, откуда должен был появиться он.

Веки ея тут же дрогнули под ощущением недочета и досады, которое она не могла скрыть.

Она увидала в этом подъезжавшем щегольском экипаже, рядом с Настасьей Дмитриевной Буйносовой, сестру ея, женщину, "противнее которой ничего для нея не было в мире".

А та, завидев ее в свою очередь, закивала ей еще издалека с очаровательнейшею из своих улыбок.

— Bonjour, très mademoiselle, je vous ramène ma soeur, говорила она, подъезжая под самое крыльцо: — она у вас чувствует себя гораздо счастливее, чем в Сицком, и я не в силах была удержать ее дольше. Je vous la rends….

Маша, ответив на это холодным поклоном, сбежала со ступенек к выходившей из портшеза Настасье Дмитриевне.

Оне нежно обнялись под прищуренным на них, "недоброжелательным и насмешливым", чуяла Маша, взглядом Сусальцевой. Она все так же сидела на своем месте с возжами и бичем в руках, видимо не намереваясь выходить из экипажа, или, что, быть может, было вернее, ожидая, чтобы молодая хозяйка пригласила ее "войти в дом".

Маша, со своей стороны, знала, что это была ея "прямая обязанность" и что от матери "ей будет непременно замечание за то, что она этого не сделала", — но нет, это было "просто сверх ея сил!"

— Ты когда же думаешь решительно в Москву? спросила сестру красивая барыня, — я бы могла приехать, проводить тебя на железную дорогу.

— Ах, нет, пожалуйста, живо возразила Ларина, — ты вдруг приедешь, а меня нет; я еще сама наверно не могу сказать!..

— Как знаешь, равнодушно уронила та. — Желаю тебе всякаго успеха!.. Madame Фирсов, здравствуйте! милостиво кивнула она, только теперь будто заметив скромную докторшу, бывшую у нея посаженою матерью.

Та молча поклонилась ей с высоты крыльца.

Сусальцева натянула возжи, как бы собираясь сейчас уезжать, но вдруг словно вспомнила:

— Григорий Павлыч Юшков здесь или в городе? спросила она, глядя чрез головы дам на вышедшаго из передней на шум экипажа слугу.

Но за него поспешно, с загоревшимися глазами, ответила Маша:

— Он в городе… А вам нужно его видеть?

— Да, небрежно выговорила Антонина Дмитриевна, — в тот раз, когда мы ездили с ним, я не успела все ему сказать…

"Вы ездили с ним, когда, зачем?" чуть не крикнула Маша, — у нея помутилось в глазах, но она удержалась всем напряжением воли, всею проснувшеюся мгновенно в душе ея гордостью. Она даже нашла силу усмехнуться и проговорить, насколько была в состоянии, равнодушным тоном:

— Я ему скажу, что вам нужно его видеть; он вероятно поспешит сделать все, что вам угодно.

— Merci, vous êtes charmante! очаровательно улыбнулась ей еще раз Сусальцева:- передайте ему пожалуйста, потому что сегодня я в городе не буду, не увижу его.

Она тронула лошадок своих и укатила, между тем как Ларина направлялась к павильйону в саду, где жила она во Всесвятском.

— Машенька, что с вами! вскликнула испуганно Анфиса Дмитриевна, оставшись на крыльце вдвоем с девушкой и вглядываясь в ея побледневшее как холст лицо.

— Вы слышали? он с нею куда-то ездил… И ничего не сказал, пропустила Маша сквозь нервно стиснутые зубы.

— Так ведь и врет, может быть, ничего ей не стоит, старалась успокоить ее Фирсова.

— Нет, погодите… Это было в четверг, когда мама ездила к ней с визитом в Сицкое; ей там сказали, что она уехала в город… Я сейчас узнаю!

Она вскинулась с места, как спугнутая с ветки птица, и побежала в покой матери.

Александра Павловна сидела за письменным столом и своим длинным и крупным английским почерком писала в Москву приятельнице своей, Лизавете Ивановне Сретенской, с которою состояла в вечной переписке по разным делам благотворения, на что сердобольная маленькая особа постоянно выпрашивала у нея денег. Пред нею лежало несколько крупных, только что вытребованных ею из конторы ассигнаций, имевших сопровождать письмо; но, заслышав шум дочерних шагов, она торопливо подсунула их под бювар (никто и никогда, по ея правилам, не должен был знать, кому и как она помогает).

— Мама, вскрикнула с-оника Маша, влетая к ней в кабинет, — два дня тому назад, в четверг, когда ты возвращалась от этой… от Сусальцевых, ты съехалась с Григорием Павловичем, как бы невольно подчеркнула она это необычайное ей обозначение Юшкова именем его и отчеством, — он ехал из города, и ты пересадила его к себе в коляску и привезла?

— Да, конечно, ответила Троекурова, глядя на дочь во все глаза.

— Он не говорил тебе, что виделся там с этою госпожей, и что они даже ездили куда-то вместе?

У Александры Павловны от тревожного изумления даже вспыхнула краска на лице:

— Нет, Маша, не говорил… Я даже, помню, спросила его, не встретился-ли он с нею в городе,

потому что мне в Сицком сказали, что она туда уехала, и он отвечал, что нет.

— Значит, он солгал… Солгал! с каким-то неодолимым выражением омерзения выговорила девушка и опустилась разом, будто подкошенная, на кресло против матери.

— Друг мой, что это ты, почем ты знаешь! пролепетала та, стараясь сохранить все свое хладнокровие и все сильнее волнуясь между тем.

— Она была здесь сейчас, Настасью Дмитриевну привезла обратно, и говорила прямо при ней и при Анфисе Дмитриевне, что "в тот раз", в четверг то-есть, непременно, она куда-то с ним ездила и не успела всего сказать ему, что хотела. Так нельзя при всех лгать… Она говорила правду! И даже спросила еще, дома-ли он… чтоб опять с ним куда-нибудь ехать, верно! со взрывом негодования домолвила Маша.

Александра Павловна растерянно глядела на дочь, не находя ни единого слова в ответ ей, в утешение. Прошло несколько минут в каком-то оцепенелом с обеих сторон молчании. Маша недвижным взглядом уставилась в противоположную стену, на которой висел в большой золотой раме портрет бабушки ея, Лукояновой, и словно так и замерла на нем.

Но вот она внезапно оторвалась от него и, обернувшись к матери чуть-чуть примигивавшими глазами (она ужасно напомнила отца своего в эту минуту), заговорила совершенно спокойным и ровным голосом:

— Вот видишь, мама, тут, может быть, ничего нет дурнаго; она, может быть, пригласила его поехать с нею в лавки, или куда-нибудь, все равно… Но он солгал, мама, понимаешь ты, солгал, и я этого перенести не могу… Ты объяснись с ним, или не объяснись, это как знаешь, а я не могу, не могу, я не хочу его видеть!..

— Маша, как же это? вскликнула Александра Павловна:- ты сама говоришь, что тут, может быть, ничего нет дурного и какое-нибудь недоразумение вышло, а он, может быть, в рассеянности отвечал мне "нет" вместо "да"… И как же это ты сделаешь, чтобы не "видать" его, когда живем мы в одном доме, и он обедает с нами, и все…

— Мама, как хочешь, и голос Маши зазвучал тем металлическим оттенком, который еще раз напомнил Троекуровой ея мужа в те редкия мгновения, когда не в силах бывал он сдержать пронимавшего его возбуждения мысли или чувства, — но я сказала, как есть: видеть это теперь я не могу. Пусти меня уехать отсюда!

— Куда это, куда? совсем перепугалась Александра Павловна.

— Вася давно уже просился у тебя ехать в Саровскую пустынь с Вячеславом Хлодомировичем, и ты обещала ему, только все не решаешься спросить папа, боясь, что это ему не понравится. Я сейчас к папа схожу и скажу, что и мне хочется туда и что с нами поедет Анфиса Дмитриевна, — она конечно не откажет, если я попрошу ее… А не то отпусти меня к тетушке Бородиной; она тебе еще на прошлой неделе писала, прося, чтобы я приехала погостить на неделю. Это даже лучше, потому что папа ее любит и к ней отсюда по железной дороге всего два часа езды.

Но бедная мать все еще не в состоянии была "сообразить", уяснить себе, насколько "серьозны" были побуждения, вызывавшие это нежданное решение дочери.

— Маша, заговорила она, слегка заикаясь, — в какое же думаешь ты теперь стать положение с… Гришей?.. Est-ce que tu voudrais rompre avec lui? сама, словно испугавшись своей мысли,

досказала она шопотом.

— Не знаю, мама, ничего не знаю! пылко возразила девушка, — только мне надо успокоиться, а не то я Бог знает что сделаю, чувствую!… Папа не нужно об этом говорить, будто спохватилась она тут же, — он не как ты, он emportée смотрит… Сходи к нему сейчас, мамашечка, и скажи просто, что мне очень хочется к тетушке Бородиной. Поезд отходит на *** в 6 часов 5 минут, я знаю, а у него сегодня в городе присутствие, и он раньше семи оттуда не вернется. Так и прекрасно будет: мы с ним не встретимся.

"Пожалуй, так лучше: она такая цельная, toute d'une pièce, пусть успокоится, а не то и в самом деле Бог знает на первых порах, что готова сделать", решила Александра Павловна после видимаго долгаго колебания, и закрыла свой бювар с начатым письмом.

— Хорошо, сказала она, — я пойду к твоему отцу. А ты пойди сюда, tête folle, я тебя поцелую.

Маша прыгнула с места, перебежала мимо стола в матери, пала пред нею на колени и со внезапным рыданием уронила ей голову на грудь.

Слезы ручьем брызнули на это в ответ и у Александры Павловны. Она стремительно захватила обеими руками эту белокурую головку, прижимая ее в себе и целуя эти заплаканные глаза.

— Ну полно, Машутка, полно, сумасшедшая, шептала она, — все объяснится, все хорошо будет: грех так отчаиваться… и стыд, Маша.

Маша не даром была дочь своего отца: она вся как-то разом собралась, пришла в себя; по свежим губам ея скользнула улыбка:

— Правда твоя, мамашенька, грешно и стыдно; вот я и тебя, мою святую, довела до слез…

Она вырвала платок из рук матери и стала в свою очередь отирать им глаза ей и страстно целовать их:

— Дай я благословлю тебя, голубка моя мамаша, чтобы тебе легче итти было пред грозного судию, уже смеялась она, насилуя себя на веселость, — а я тебя тут подожду… И в твои секреты заглядывать не буду, добавила она, кивнув на бювар.

Александра Павловна невольно усмехнулась, покачала в виде шутливаго упрека головой и отправилась на половину мужа.

Он сидел в библиотеке и читал, низко, по обыкновению, склонившись над книгой, со слегка прищуренными глазами.

Он поднял их на входившую жену и тотчас же заметил, как ни старалась казаться она спокойною, следы только-что испытанного ею волнения…

— Что такое? вырвалось у него с невольною тревогой. Она торопливо усмехнулась:

— Ничего, Борис, решительно ничего… Отчего ты думаешь?

— Мне показалось, что ты…

— Тебе "показалось", именно, ничего нет… Я хотела тебе только сказать, что la cousine Borodine очень просила отпустить с ней Машу погостить на несколько дней…

— Да, знаю; ты мне, кажется, еще на прошлой неделе говорила?

— Да… и Маше очень хочется к ней ехать, не совсем твердым голосом произнесла Александра Павловна.

Он внимательно глянул ей в лицо:

— Давно-ли это? Она тогда говорила, что ей "незачем к чужим, когда и дома хорошо".

Она слегка покраснела и ответила с видом беззаботности, плохо ей удававшейся:

— Caprice de jeune fille, ты знаешь…

— Этого до сих пор в ней не было заметно, возразил он как бы про себя, задумался и чрез миг спроил опять:- когда же хочет она ехать?

— Сегодня же, Борис; поезд из города отходит в 6 часов 5 минут, — она приедет к Бородиным как раз к вечернему чаю… Анфиса Дмитриевна отвезет ее и вернется с ночным поездом.

— Когда же она объявила тебе о своем желании ехать?

— Сейчас вот приходила ко мне.

Брови Троекурова сжались; он задумался опять, взглядывая от времени до времени на жену, как бы вызывая ее этим немым вопросом на дальнейшее объяснение. Но Александра Павловна молчала, и только краска, то сбегая, то покрывая опять ея щеки, свидетельствовала о том волнении, которое снова охватывало ее всю.

— Это не спроста, не из "каприза", проговорил наконец Борис Васильевич, — но я не спрашиваю, живо примолвил он, останавливая движением руки чаемый им ответ жены, — если ты не находишь нужным сказать мне, мне и знать не нужно.

— Борис, милый, воскликнула встревоженно она, — поверь, что если бы было что-нибудь важное…

Он остановил ее еще раз:

— Разве я этого не знаю, друг ой! он протянул ей руку и нежно пожал ей захолодевшие пальцы:- ты должна помнить, что я всегда и во всем верю более инстинктам твоего сердца, чем самым мудрым соображениям… Да и дочери твоей инстинкту верю, добавил он как-то особенно веско, — скажи ей, чтоб она ехала с Богом, коли разсудила, что ей так надо.

Он усмехнулся и прибавил:

— И даже может не приходить прощаться со мною, если думает, что почему-нибудь ей будет при этом неловко.

Александра Павловна охватила его шею рукой и нежно прижалась губами в его лбу:

— Лучше тебя человека нет на свете, Борис!

XX

Гриша вернулся во Всесвятское часу в восьмом — он пообедал в городе,- и прошел прямо к

отцу: состояние его здоровья с некоторых пор, как замечал Гриша, заставляло задумываться Николая Ивановича Фирсова. Он застал у него толстяка-доктора, видимо старавшегося разсеять больного какими-то смехотворными разсказами от чего-то (сын это сейчас же прочел на лице отца), явно тревожившего старика.

Объяснение этого чего-то не замедлило:

— А ты знаешь, едва вошел он в комнату, обратился к нему Павел Григорьич, — "райская-то птичка наша", как называл ее покойный Василий...

— Марья Борисовна! вскликнул с каким-то внезапным предчувствием "несчастия" Гриша.

— Да.

— Что же... она...? не был в силах договорить он.

— Улетела.

— Как улетела?..

Доктор насилованно (Гриша это чутьем почуял,) расхохотался:

— Как взлетают вообще пернатыя — взмахнут крыльями и прр...! Пристала к Александре Павловне графиня Бородина: пришли да пришли твою красавицу погостить ко мне. Той и не хотелось, и откладывала... а тут вдруг решилась, как это у них всегда бывает, — возьму-мол и поеду. И поехала с женой моею на несколько дней. Очень просто.

— Нет, недоверчиво закачал головой старый моряк, пытливо и с новою тревогой вглядываясь изподлобья в лицо сына, — не так просто, как вы говорите. Прибежала она ко мне проститься, и пяти минут посидеть не хотела. "Спешу", говорит, "ехать надо", разцеловала в обе щеки, и вон! Только лицо ея темнее тучи и сдерживается, вижу, насилу, чтобы не расплакаться... Вышло у тебя что-нибудь с нею, суровым тоном вырвалось у него вдруг.

— Что же могло выйти, батюшка? трепетно возразил Гриша:- мы у вас все вместе вечером сидели, и вы видели сами, как она была весела и, по обыкновению... дружелюбна со мною. А сегодня я уехал в город до завтрака и не видел ея.

— Не знаю, протянул неопределенно старик и опустил голову опять. — Ну, а ты что же так поздно вернулся сегодня, спросил он чрез миг, стараясь видимо отвлечься от волновавших его мыслей, — особенное что-нибудь было, новое?

— Н-нет, ничего особеннаго, пролепетал Гриша, насколько мог твердо.

"Особенное" и "новое" было, напротив, им получено в этот день, а именно — официальное, письмо на его имя от губернского предводителя, с предложением созвать экстраординарное собрание ***ского дворянства для выбора преемника выбывшему из должности Павлу Григорьевичу (новый, очевидно, враждебный ему губернатор не терял времени, как мог из этого убедиться Гриша). Но сообщить об этом отцу в эту минуту он не почел возможным: это значило бы еще более растревожить старика. "Переговорю лучше прежде с Борисом Васильевичем", решил он внутренно... Его к тому же разбирало самое мучительное волнение, хотелось скорее разузнать, что могло действительно побудить Машу к этому ея внезапному, "невероятному" отъезду "без слова объяснения, без намека на него. Она еще вчера решительно не хотела ехать", вспоминал он, — "и вдруг"...

Глаза его безпокойно перебегали от отца к доктору. "Он все знает, Николай Иванович", чуял он — "и скрывает, и нарочно отворачивает глаза от меня. Что же случилось, Господи!.. Неужели"... И сердце его нестерпимо забилось теперь в груди: о прогулке его с Сусальцевой, сказалось ему совершенно ясно, тем или другим путем дошло до нея...

— Я еще никого из наших не видал сегодня, сказал он громко с притворным равнодушием и в то же время стараясь еще раз уловить видимо избегавший его взгляда взгляд доктора.

— Ступай, ступай, поспешно промолвил Павел Григорьевич, — да скажи, если спросят, что я их опять жду чай пить ко мне сегодня.

— А я вам не советую, воскликнул на это Фирсов, — вы нынче утомлены, спать вам лечь раньше следует.

— Ну, там увидим! Сами вы сегодня соломенный вдовец, останетесь у меня чаевать; там, коли что, скажете в свое время, а я пока чувствую себя ничего.

Гриша поцеловал руку отца и вышел со спокойным видом из комнаты. Но с лестницы слетел он со стремительностью двадцатилетняго юноши.

Он быстро пошел чрез сад по направлению покоев Бориса Васильевича.

В большой аллее кинулся ему в глаза облик Лариной, в светлом летнем платье, сидевшей на скамье с книгой в руке.

— Настасья Дмитриевна! проговорил он, невольно останавливаясь.

— Ах, это вы, Григорий Павлыч, произнесла она в свою очередь с необычайною ей живостью:- вы только-что вернулись?

— Да, сказал он, подходя, — только-что...

— И знаете?..

Голос ея чуть-чуть дрогнул.

— Об отъезде Марьи Борисовны? необинуясь договорил он за нее:- знаю... Что побудило ее к этому, скажите ради Бога, если это вам известно! вскрикнул он неудержимо.

Она медленно повела головой вниз.

— Да, и могу вам сказать, потому что, полагаю, это вам нужно знать, медленно выговорила она. — Садитесь сюда, Григорий Павлыч!

И она кивнула на место подле себя на скамье.

Он повиновался.

В первый еще раз с тех пор, как гостила она во Всесвятском, очутились они наедине. Они до этой минуты словно по какому-то немому соглашению избегали друг друга. В присутствии ея Гриша чувствовал какую-то странную неловкость, которую и он едва был в силах скрывать, и на первых же порах подметили все видевшие глаза Маши, не раз подсмеивавшейся над ним по этому поводу. "Не похожа на старшую сестрицу, так и не имеет счастья вам нравиться", говорила она ему... Что сказывалось в сердце Лариной при виде человека, первого,

"единственнаго", о котором в мучительные дни многострадальной жизни своей в Юрьеве думала она с размягченным, полным неведомой ей до тех пор сладостной тревоги чувством, мы не знаем. Но дни эти были уже далеки, и ничего не хотела теперь более любит Настасья Дмитриевна, ничего, кроме своего искусства... Ничто и в настоящую минуту не говорило в ней, кроме горячаго желания "помочь" ему, "помирить" с нею, — с этим "прелестным молодым созданием", к которому влеклась она каким-то двойным чувством сердечного сочувствия и артистического восхищения.

— Сестра была здесь сегодня, начала она прямо.

— Сестра ваша! повторил, замирая, Гриша.

— Да... и спрашивала про вас, говоря, что не успела сказать вам все, что хотела, когда вы — она не сказала, когда именно, — ездили куда-то вместе, и что ей надобно поэтому опять вас видеть...

— При Марье Борисовне говорила? с судорожною поспешностью спросил он.

— Она ее именно просила передать вам.

Он схватился за голову:

— Что же сказала на это... Маша?..

— Что она исполнит ея поручение.

— А потом?..

— Я тут ушла к себе переодеться после дороги, а затем зашла к Александре Павловце и узнала от нея, что Марья Борисовна сегодня же едет к тетке...

— Как же, как же говорила она вам об этом? спрашивал он сам не свой: — не говорила, не намекала ни на что?

— Я не могла не заметить, что на душе у нея было не хорошо, и мне тут же пришло в голову, что этот внезапный отъезд имел причиной то, что сказала сестра. Но сама Александра Павловна ни словом не намекнула на это, а я конечно не решилась спросить.

— А Маша?.. Марья Борисовна что? Видели вы ее пред отъездом?

— Она забегала ко мне проститься, извинялась, милая, за "неучтивость", говоря, что "должна, непременно должна уехать".

— И не объяснила, почему?..

— Объяснила, Григорий Павлыч, ответила не сейчас Ларина и вздохнула:- я спросила ее, отчего же так внезапно, так неожиданно решилась она на этот отъезд. "Спросите вашу сестрицу", ответила она и тут же убежала стремглав, видимо не желая ни слова сказать больше.

— Ах, эта ваша "сестрица"! вырвалось у Гриши стоном.

Он схватил обе ея руки, сжав до боли.

— Так слушайте же, слушайте, что она со мной сделала; я считаю себя в полном праве разсказать это вам!

Он передал ей спешно, горячо, стараясь не забыть ни малейшей подробности и постоянно путаясь в словах от волнения, весь эпизод "нежданной, негаданной" прогулки своей с Антониной Дмитриевной, этой "проклятой прогулки", говорил он, безсильный уже умерять свои выражения.

Ларина слушала его глубоко внимательно и печально; горькая улыбка поводила то-и-дело углы ея сжатых губ. Она "узнавала сестру" в этом холодном, в этом лукавом прельщении…

— Да, протянула она, когда он кончил, — Тоня не переменилась, она все та же, безсердечная, безпощадная… Берегитесь ея, Григорий Павлыч, вырвалось у Настасьи Дмитриевны каким-то глухим взрывом, — она сама несчастна в душе и не переносит счастья других… Я понимаю теперь, она нарочно захотела сама отвезти меня сегодня сюда, чтоб иметь случай сказать Марье Борисовне то, что сказала, зная, что встревожит этим пылкое молодое сердце.

— Ведь это просто из одного желания зла, безо всякаго сколько-нибудь уважительного побуждения! вскликнул Гриша.

Ларина покачала головой.

— Не совсем так! Уязвить, нанести сердечную рану она намерена была, это само собою; но при этом, поверьте, и сама она страдает. Любить она едва-ли кого в состоянии, но едва-ли кем, я убеждена, дорожит она в эту минуту более, чем вами, потому именно, что вы ушли из-под ея власти и отдали сердце другой.

— Она в этом сомневается, сказал он с горечью, — она прямо говорит, что после ея нельзя полюбить другую.

— И говорит это, вполне в этом уверенная, я знаю, и в то же время терзается не то ревностью, не то досадой душа ея — темный лабиринт, из которого сама она не знает, как выйти на свет солнечный… Берегитесь ея, Григорий Павлыч! горячо произнесла Ларина.

— Я надеюсь никогда более не иметь случая встретиться с нею! чуть не закричал в возбуждении своем Гриша, — она поступила со мною, как злейший враг, предательски постыдно… но это должно разъясниться для всех, для Маши, и вы, именно вы можете это сделать. Она, Марья Борисовна, полюбила вас, Настасья Дмитриевна, я знаю, и очень уважает; она поверит вам, если вы ей напишете все, как я вам разсказал, и узнает, почему в первую минуту я ничего не сказал об этой прогулке Александре Павловне, не придавая этому значения и смущаясь в то же время… ну да, смущаясь передавать об этой попытке сестры вашей… искусить меня что-ли… не знаю уж право, как сказать, но вы понимаете меня, надеюсь?

Она слабо усмехнулась.

— Понимаю, Григорий Павлыч, и объясню Марье Борисовне, как съумею. Я напишу ей сегодня же, чтоб она завтра утром получила письмо.

— Спасибо вам от души!

Он встряхнул ей руку крепким дружеским пожатием и поднялся с места.

— Я еще никого не видел сегодня; иду к Борису Васильевичу… ни он, ни Александра Павловна, это наперед можно сказать, ни словом, ни взглядом не намекнут мне обо всем этом; я со своей стороны никакого объяснения вызывать не стану, надеясь на благотворную силу вашего письма, договорил Гриша с умоляющим оттенком в голосе,- которое избавит меня, надо полагать, от тяжелаго… и глупаго положения какого-то подсудимаго на скамье обвиняемых.

— Я сейчас же пойду писать, ответила она ему на это, подымаясь с места в свою очередь.

У Бориса Васильевича Гриша застал бывшего исправника Ипатьева, гостившего уже третьи сутки во Всесвятском и поступавшего, по предложению Троекурова, главноуправляющим его малорусскими имениями. Они были заняты разсмотрением всевозможных документов по этим имениям, которые хозяин вынимал один за другим из особаго большаго портфеля и, окинув их взглядом, передавал затем Ипатьеву, делавшему по ним какия-то отметки в своем бумажнике.

— Вы заняты? сказал Юшков, входя и раскланиваясь.

— Сейчас кончаем… Вы не мешаете, Гриша, и знакомы со всем этим, примолвил Троекуров (молодой человек действительно был досконально знаком со всеми делами Бориса Васильевича и ревизовал даже раза два на месте, по его поручению, управляющих этими его имениями в Малороссии).

Гриша присел. Борис Васильевич передал последний документ из лежавших в портфеле Ипатьеву и обернулся к нему:

— Засиделись сегодня в городе! произнес он своим обычным спокойным тоном, но в котором Грише, в его душевной тревоге, почуялось будто что-то холодно насмешливое.

— Бумагу получил от губернского предводителя, поспешил он ответить, — с предложением созвать дворянство для новых выборов на место батюшки.

— А, успели ужь!

Ипатьев записал в бумажник нумер переданного ему документа и поднял голову:

— Об этом самом, должно быть, и писалось господином губернатором предводителю в губернию из Лупандинской усадьбы, когда он там был. В пакете с бумагами, доставленном мне оттуда от него, было и это письмо для отправки по почте.

— А тот, само собою, поспешил исполнить желание его превосходительства, презрительно уронил Троекуров.

— И не совсем законно, заметил Юшков:- по 247 статье тома IX о дворянстве, "если кандидат уездного предводителя, имеющий заменять его в случае отсутствия или болезни, не может по той или другой причине исправлять эту должность, то она поручается депутату дворянства, а если и этот не может, то в должность вступает старший заседатель опеки" — до новых выборов, разумеется.

— Да, но в предъидушей статье, взгляните — и Борис Васильевич кивнул на одну из полок библиотеки, на которой разставлена была вся многотомная коллекция Свода Законов, — сказано, что "когда откроется вакансия уездного предводителя дворянства, и для замещения ея не будет кандидата, или он занять ее не может, то она замещается во всяком случае по выборам дворянства, под руководством депутата, хотя бы и до общей баллотировки оставалось менее года". Назначить новые выборы со стороны губернского предводителя совершенно

законно, как и со стороны губернатора имеется законное основание напомнить ему об этом… Само собою, если бы тут не было задней мысли, они оставили бы status quo до общих выборов в ноябре, но отступления от закона тут нет никакого.

Гриша снял с полки IX том, перечел указанную статью и последния, не приведенныя Троекуровым, строки ея редакции:

"При сем дворянству предоставляется избирать предводителя или только до общих выборов, или вместе с тем и на следующее трехлетие".

— Да, в этом весь фортель, сказал Ипатьев, — им требуется скорее выбрать своего человека, и они, разумеется, потребуют избрать его на трехлетие. Он же у них готов в лице этого protégé, губернатора. В уезде большая агитация идет в пользу его.

Троекуров молчал, медленно проводя рукой по усам.

— Что же, как-то невольно вскрикнул Гриша, — пусть его и выбирают, я баллотироваться не стану.

— Это почему же? поднял на него холодно вопросительные глаза Борис Васильевич.

— Что же за охота проехаться на вороных!

— А еслиб и так! убудет вас, что-ли, от этого?

— Для чего же итти прямо на унижение, Борис Васильевич.

— Пасть в правом бою почиталось прежде всегда подвигом; не знаю, как на это смотрится теперь, у вас… А впрочем как знаете.

Бывший исправник заговорил снова:

— Для чего им так и уступать без борьбы, Григорий Павлыч! На то конечно разсчитывать нечего, чтобы вам без баллотировки поднесли ящик с белыми шарами, но возьмут-ли они верх, это еще бабушка на-двое сказала. Батюшка ваш таким общим уважением пользовался, что из-за одного этого многие не решатся положить вам налево; да притом и те-то господа не особенно много почтения к себе внушают. Хоть бы самый этот господин Свищов, который всю эту интригу ведет, со своею железною дорогой…

— И таинственною особой в Петербурге, от имени которой будто бы работает он… Позор это все! с неудержимым негодованием вырвалось у Бориса Васильевича.

— Я батюшке ничего еще не говорил о предложении предводителя, как бы робко сказал, взглянув на него, Гриша, — боялся его встревожить…

— Да, он не хорош в эти последние дни, и брови Бориса Васильевича озабоченно сдвинулись. — Что же вы, распоряжения сделали по этому предложению? коротко спросил он чрез миг.

— Да, сегодня же повестки послал и прочее. Разговор как-то разом замолк.

Гриша чувствовал, что ему нужно, "необходимо" коснуться "так или иначе" отъезда Маши. Это был слишком веский факт в интимной жизни Всесвятского, и нельзя было "пройти его молчанием". Он несколько раз подымал глаза на погрузившегося в новое молчание Бориса Васильевича и снова опускал их, поводя в сторону Ипатьева, сидевшего у стола с карандашем в

руке, которым выводил на клочке бумаги какия-то цифровыя вычисления, и наконец решился:

— А Марья Борисовна уехала? произнес он, насколько мог спокойнее.

— Да... К двоюродной сестре моей Бородиной, объяснил "тоном какого-то официального отчета", показалось Грише, отец ея.

— И надолго?..

— Не знаю.

Разговор опять упал, словно от собственной тяжести.

— Это так неожиданно... пролепетал Юшков.

— Да.

"Что же еще, что спросить"? мучительно томясь, говорил себе Гриша.

— С Лисьяго Дола, начал в эту минуту Ипатьев, обращаясь в новому своему патрону, — по существующей арендной цене, полагая даже крайнее по шести рублей с десятины, меньше 18,000 рублей, по моему разсчету, нельзя получить, и безобидно будет для народа, Борис Васильевич.

— Можно было бы конечно и до половины спустить, возразил тот, — но ведь это значило бы прямо посягнуть на доходы всех соседних землевладельцев.

— Само собою, ваше превосходительство.

Гриша поднялся с места и ушел в сад.

[1] Впервые печаталась в "Русском Вестнике" в 1, 2, 3, 4, 7, 9 и 11 книжках за 1880 год и в 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 книжках за 1884 г., и тем же набором последовательно перепечатывалась и в начале 1885 г. выпущена отдельным изданием. Смерть застигла автора, прежде чем он успех довести "Бездну" до конца. В. В. Крестовский написал к ней послесловие, впервые напечатанное во 2 книжке "Русского Вестника" за 1885 год.

[2] Перелом, часть IV.

[3] Некрасов.

[4] Pound — фунт стерлинг.

[5] Ужасно дико и неестественно. Король Лир, акт III, сцена 3.

[6] Перелом, части III и IV.

[7] Он усаживается сплошным рядом медных или посеребренных пуговиц.

[8] Известная теория Бакунина.

[9] В ту пору в Колоколе напечатано было, между прочим, презабавное в напыщенной фразистости своей воззвание Виктора Гюго "к русским солдатам" (sic!), которым "великий

поэт" приглашал их не сражаться против Поляков, возставших-де во имя общей свободы их родины…

[10] Riviera di Genova называется вся полоса моря, омывающая Лигурийский берег, и разделяется на Riviera di Ponente (западная река), идущую от Порто-Фино (высокой горы, возвышающейся над Генуэзским заливом со стороны востока) и до самой Ниццы, и на Riviera di Levante, от того же Порто-Фино вниз, к Специи.

[11] Гёте. Песнь Миньйоны.

[12] Перелом. Часть IV. Глава XII.

[13] Один из мужественнейших сподвижников и любимцев короля Генриха IV, происходивший от древней италиянской фамилии Бальби.

[14] От Giudo, Жид — широчайший канал в Венеции, по левому берегу которого единственно имели право селиться и жить Евреи во времена республики.

[15] Гондолы, как известно, в силу неизменного обычая выкрашены все в черный цвет; республика строгим постановлением не дозволяла иной для них окраски.

[16] К обоим бортам гондол, у впадин, в которыя устанавливается над ними будка, прикреплено по одному, служащему повидимому одним украшением, мифическому, с загнутым крючком вверх рысьим хвостом, конику из литой и золоченой бронзы, содержимой всегда гондольерами в весьма блестящем виде.

[17] Венецианка, вышедшая замуж за Петра Лузиньяна, короля Кипрского; она по смерти его передала свое королевство во владение Венецианской республики (1480 года), от которой отвоевали его Турки в 1571 году.

[18] Быть может славянского происхождения (тепло), как и фамилия знаменитаго "Пелопонезского" (Peloponesiacus) Морозини (мороз). Значительная примесь славянской крови в венецианской расе наглядно дает себя знать в женских портретах и типах, оставленных нам великими живописцами Венецианской школы. Дворец Тиеполо принадлежит теперь графу Пападополи, происходящему от италиянизованной греческой фамилии.

[19] Libro d'oro, в которой значились все патрицианские фамилии Венеции. Честь быть записанным в ней почиталась выше всяких титулов, которых республика не признавала за своими nobili, но которыми довольно щедро награждала сама за службу ей и услуги в вассальных ей землях. Отсюда графские титулы многих фамилий греческого (на Іонических островах) и хорватского (далматинского) происхождения.

[20] Английский Бедекер, путеводитель по Европе.

[21] Ella è incommodata, signora? По-италиянски, как известно, в учтивом разговоре употребляется третье лицо единственного числа вместо второго множественнаго.

[22] Флориани — кафе, а Квадро — кафе-ресторан, первый в Новых, а второй в Старых Прокураториях, на площади Святаго Марка, один почти напротив другаго.

[23] L'Aveugle, А. Шенье, в переводе К. К. Павловой.

[24] Возвышенность над Люцерном.

[25] Псевдоним дамы, пишущей в Figaro отчеты о светской жизни.

[26] "Ты лесть его вкусил, земных богов напиток". Послание к князю Юсупову.

[27] На Гардском озере.

[28] На Комском.

[29] На Lago-Maggiore.

[30] Сокращенное от Giovanni, Иван.

[31] Весьма популярный в Италии исторический роман Массимо д'Азелио.

[32] Бывший во времена республики заезжий дом, каравансарай Турок в Венеции, на левом берегу Gran Canale, постройка в романском стиле X века, обращенная ныне в музей (называемый museo Correr от palazzo этого имени, в котором он помещался прежде). Находящийся там между прочим портрет Цезаря Борджии приписывается Леонардо ди Винчи.

[33] Право быть гондольером, в силу сохранившегося поныне старого закона, прекращается по наступлении 60-летняго возраста.

[34] Centesimo, французское centime, сотая часть лиры, одноценной с франком.

[35] Фет. В стихотворении Ревель.

[36] Часовая башня на западной оконечности Старых прокураторий (здание, в котором жили высшие после дожа девять сановников Венецианской республики, prokuratori, с их канцеляриями), построенная в 1496 году над широкою и высокою дверью в форме триумфальной арки. Над нею помещается большой циферблат часов с единою стрелкой, не бегущей, а перескакивающею с часа на час; каждыя пять минут в особом отверстии появляется новая цифра пробегающаго между этими часами времени. На вершине башни, под сквозным куполом, колокол с двумя по бокам его бронзовыми фигурами кузнецов, "Vulcani", бьющими молотом надлежащее число ударов каждый час, исключая трех часов пополудни, когда удары эти замедляются на десять минут (в воспоминание, как объясняют гиды, казни Марино Фалиери в 1354 году, совершенной именно в этот момент дня).

[37] Италиянским пехотинцам сапог с голенищами не полагается.

[38] Время, господа, Время, Капитан Фракасса, Вестник, благополучно прибывшие из Рима.

[39] См. Марина из Алаго Рога.

[40] Подкузьмили надоедчика.

[41] Поручик четырнадцатаго полка.

[42] Городок на острове, отстоящий на полчаса езды на пароходе от Венеции, главный центр производства знаменитаго венецианского стекла.

[43] Известный претендент на Испанский престол; живет почти постоянно в Венеции.

[44] Известные пираты в Антильских морях, потомки буканиеров острова Сан-Доминго, торговля которых уничтожена была Испанцами. Флибустьеры потомственно мстили этим исконным врагам своим, разоряя их колонии, грабя и сожигая их торговыя суда, а нередко и самые города (Панаму и др.)

[45] Vilhelm Tell.

[46] Ассигнации в 1.000 франков.

[47] Название raffinés, или более определительно, raffinés d'honneur носили во Франции в царствование Карла IX придворные молодые люди отличавшиеся особливым изяществом и вкусом своих костюмов, многочисленностью любовных приключений и количеством противников убитых на дуэли. Это были львы той эпохи.

[48] Выражение Полежаева.

[49] Première — первое представление. Monsieur Alphonse — название комедии Александра Дюма-сына.

[50] Марина из Алаго Рога.

[51] Добролюбов.

[52] Mignet, Histoire de Marie Stuart.

[53] Лохлевен — замок в Шотландии, из которого бежала Мария Стюарт в Англию — на новый, нежданный плен.

[54] Зайцев.

[55] В подлиннике:

Der Thron von England ist durch einen Bastard
Entweiht, der Britten edelherzig Volk
Durch eine list'ge Gauklerin betrogen. Act. 3 sc. 4.

[56] Во Флоренции.

[57] Превосходно, ослепительно, какая милая картина.

[58] В галлерее Degli Uffizii находится не менее известная нагая Венера того же мастера, писанная с той же красавицы.

[59] Сад при дворце Pitti.

[60] Известный во Флоренции кабинет для чтения, один из богатейших в Европе по числу выписываемых им повременных издании и книг на всевозможных языках.

[61] Поток-богатырь, баллада.

[62] Возвышенная часть города по левому берегу Арно.

[63] Чем-то сладострастным.

[64] Триста фунтов стерлинг.

[65] Одна из очаровательных окрестностей Флоренции. Старинное бенедиктинское аббатство XI века, на склоне холма Prato magno, в густом лиственном лесу; с высоты его открывается великолепная панорама всей долины Арно.

[66] Набережная Арно, обычное место прогулки Флорентинцев.

[67] * Гр. А. Толстой.

[68] Глупость — Божий дар, но злоупотреблять ею все же не следует.

[69] Персонаж из Barbe-bleue Оффенбаха.

[70] Четверть века назад.

[71] Непереводимый каламбур: comte, граф; conte, сказка.

[72] Ученик или подмалевщик в мастерской художника.

[73] Фор — известный баритон французской парижской оперы; Котоньи — тоже баритон, хорошо известный Петербургу и Москве.

[74] Та порода модников что в 30-х и 40-х годах обозначалась во Франции кличкой львов, "lions", получила затем постеленно прозвища "gandins", "petits crevés", "cocodè" и наконец "gommeux", под каковым ныне и состоят (от "gomme" клей).

[75] Словно в новейшие дни заменившее в Париже прежнее "chic".

[76] Известный гитарист.

[77] Цыганские пополам с русскими слова: "Ту", ты; "мира", моя "матессе", пьяна (на том основании что береза качается).

[78] Битву жизни.

[79] Старая водка.

[80] Перелом, ч. I.

[81] Известный мебельщик в Петербурге.

[82] См. Четверть Века Назад. Глава II.

[83] По-французски, как известно, девица и стрекоза называются равно "demoiselle".

[84] См. Пролог, гл. XVI.

[85] Там же, гл. VI.

[86] Тилипаться, по-малороссийски: мотаться, барахтаться, качаться.

[87] Четверть века назад. Ч. I.

[88] Герцог Медина-Силониа.

[89] Премия за добродетель, учрежденная еще в 1782 году филантропом, имя которого она носит, и выдаваемая поныне ежегодно лицам, отличившимся каким-нибудь особенным подвигом на пользу ближняго.

[90] Much ado about nothing.

[91] В Федре.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch